

ТАЙНЫ

Бек XVIII

Баронесса Орчи
ЦАРСТВО ЮБОК

Ф. Мюльбах
ТРАГЕДИЯ
КОРОЛЕВЫ



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Бек XVIII

Баронесса Орчи
ЦАРСТВО ЮБОК

Ф. Мюльбах
ТРАГЕДИЯ
КОРОЛЕВЫ

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1998

УДК 82/89
ББК 84.4
О-70

Художник
Р. АЮПОВА

Орчи, баронесса. Царство юбок; Мюльбах Ф. Трагедия королевы. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 512 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).

ISBN 5-300-01798-1

В сборник включены два романа о Франции XVIII века: «Царство юбок» баронессы Орчи, рассказывающий о дворе Людовика XV, и «Трагедия королевы» Ф. Мюльбах — история жизни Марии Антуанетты.

УДК 82/89
ББК 84.4

ISBN 5-300-01798-1

© ТЕРРА—Книжный клуб, 1998

Баронесса Орчи

ЦАРСТВО ЮБОК

I

— Домон! Э, Домон! — прозвучал среди общего смеха, звона серебра и стаканов голос человека еще в расцвете лет, но уже несколько силпый от бессонных ночей и утомленный частыми оргиями.

— К вашим услугам, ваше величество!

С этими словами герцог Домон, маршал Франции, первый и ответственный министр Людовика «Обожаемого», слегка наклонился вперед и быстро перевел беглый, испытующий взгляд своих серых выпуклых глаз с лица короля на лицо молодого человека с курчавыми и напудренными волосами, голубые глаза которого были задумчиво устремлены в бокал с вином.

В зале воцарилась внезапная тишина, но она была прервана громким смехом короля.

— Друг мой, эти англичане — просто сумасшедшие люди, не правда ли? — сказал Людовик, значительным кивком головы указывая на белокурого юношу, сидевшего неподалеку от него.

— Да, ваше величество, сумасшедшие, но сегодня не более обыкновенного.

— В сто тысяч раз больше! — произнес немного резкий женский голос. — И это может быть доказано по самым строгим правилам головоломной арифметики.

Наступило молчание. Взоры всех с напряженным вниманием обратились к говорившей. Это была ни более, ни менее, как Жанна Пуассон, теперь маркиза Помпадур.

Едва она раскрыла свой хорошенький ротик, Людовик «Обожаемый», потомок Людовика Святого, король Франции и всех ее владений по ту сторону океана, затаив дыхание,

* Людовик XV (1710—1774 гг.)

впился взором в ее нарумяненные губки, а «Франция» молча внимала ее словам, ревниво стремясь уловить тень улыбки, околдовавшей короля и разорившей народ.

— Сообщите же нам, моя красавица, то непреложное арифметическое правило, которым вы можете доказать, что сидящий здесь рыцарь в сто тысяч раз более сумасшедший, чем его проклятые соотечественники,— весело сказал король.

— Это очень просто, ваше величество,— объяснила маркиза.— Рыцарю необходима помощь ста тысяч сумасшедших англичан, чтобы завладеть королевством дождей и туманов; следовательно я права, утверждая, что его сумасшествие в сто тысяч раз больше сумасшествия его соотечественников.

Громкий смех приветствовал эту остроуту. Маркиза Помпадур не осталась равнодушной к успеху и расточала направо и налево свои ангельские улыбки, а взгляд ее глаз, подобных темно-голубым незабудкам, как выразился воспевавший ее поэт, скользил по лицам гостей, сидевших за роскошно убранном столом и представлявшим собою цвет старой французской аристократии. Ее встречали восхищение и лстивый шепот; даже женщины, которых много присутствовало на этом празднестве, старались выразить одобрение той, чья воля долгое время была законом для короля Франции.

Только одно лицо оставалось строгим и непроницаемым. Это было лицо молодой женщины, почти ребенка, с низким, открытым лбом над прямыми бровями, в раме мягких темно-русых волос, чудные оттенки которых не мог скрыть слой традиционной пудры.

При взгляде на молодую девушку ясная улыбка внезапно исчезла с лица маркизы Помпадур, и оно омрачилось легкой тенью; но через минуту она уже отдала свои унизанные кольцами пальчики в распоряжение царственного поклонника, который осыпал их жадными поцелуями, и, пожав плечами, сказала с притворной дрожью:

— Брр! Как грозно-неодобрительно смотрит на меня мадемуазель Домон! Не правда ли, рыцарь? — прибавила она, обращаясь к молодому человеку, сидевшему рядом с нею,— удобное кресло в вашем роскошном дворце в Сен-Жерменском предместье стоит трона в вашем туманном Лондоне?

— Только не тогда, когда этот трон принадлежит ему по праву,— спокойно заметила мадемуазель Домон.— Дворец в Сен-Жермен — лишь подарок королю Англии, которым он обязан французскому монарху.

Внезапная краска залила щеки юноши, до сих пор, казалось, не обращавшего внимания ни на остроуты мадам Пом-

падур, ни на направленные против него насмешки. Он бросил быстрый взгляд на надменное, несколько повелительное лицо мадемуазель Домон и на ее красивый рот, на котором играла едва заметная довольная улыбка.

— О, мадемуазель,— едко возразила маркиза,— разве все мы не получаем подарков из рук короля Франции?

— Да, но у нас нет «собственных» владений,— сухо ответила молодая девушка.

— Что касается меня,— быстро вмешался в дамскую пикировку король Людовик,— то я пью за здоровье благородного рыцаря Святого Георга, за его величество Карла Эдуарда Стюарта*, короля Англии, Шотландии и Уэльса, и за все его королевство. За успех вашего дела, рыцарь! — прибавил он и, подняв бокал, благосклонно кивнул молодому претенденту.

— За здоровье Карла Эдуарда, короля Англии! — весело воскликнула маркиза Помпадур, и этот возглас был подхвачен всеми.

— Благодарю вас,— сказал молодой человек, мрачное настроение которого, казалось, нисколько не рассеялось при этом выражении доброжелательства и дружбы.— Успех моего дела обеспечен, если Франция окажет мне обещанную помощь.

— Какое же вы имеете право сомневаться в данном вам слове, ваше высочество? — серьезно спросила мадемуазель Домон.

— Пошадите! Умоляю, пошадите! — воскликнул Людовик с притворным ужасом.— Ведь мы на празднике, а не в заседании совета. Герцог, вы — наш хозяин; прошу вас, дайте разговору другое направление.

Стаканы снова зазвенели, поднялась веселая болтовня, которая была больше по вкусу собравшемуся здесь блестящему обществу, чем разговоры об английском троне и его претенденте.

Беспокойные взоры голубых глаз Карла Эдуарда пылливо блуждали по лицам; его мучила лихорадочная мысль: насколько мог он доверять всем этим прожигателям жизни и этому толстому потомку великого Людовика, безумно расточавшему народные деньги ради капризов и прихотей маркизы Помпадур?

* Карл Эдуард (1720—1788 гг.), будучи внуком низложенного в 1688 г. английского короля Иакова II, претендовал на английский престол. В 1744 г., при содействии французского правительства, им была совершена первая попытка вернуть своей династии английский трон, закончившаяся неудачей. Так же неудачна была и вторая его попытка в 1745 г., предпринятая им за свой личный страх. В 1746 г. К. Э. бежал во Францию и прожил там два года при дворе Людовика XV. Позднее он то появлялся в Лондоне, то во Франции, то в Риме, где и умер под именем графа Альбани.

«Какое право имеете вы не доверять слову Франции?» Этот вопрос был ему сделан гордыми устами женщины, почти девочки. Карл Эдуард посмотрел через стол на мадемуазель Домон. Она, как и он, молчаливо сидела среди этой шумной толпы, очень невнимательно слушая, что ей нашептывал сидевший рядом с ней красивый кавалер.

Если бы все они были похожи на нее, если бы она была представительницей всей французской нации, тогда он с легким сердцем, бесстрашно ринулся бы в свое рискованное предприятие... А теперь?

Громкие тосты, хорошее вино и дорогие кушанья за прощальным ужином герцога Домона, первого министра Франции; тысячи увядающих роз, на которые истрачено целое состояние, рукопожатия друзей-французов и их «да хранит вас Бог, рыцарь!», да сдержанное, серьезное поощрение молодой девушки. И с этим, рыцарь Святого Георга, тебе приходится идти и покорить свое королевство там, за морем!

II

В коридорах и кухнях старого замка царило большое оживление. Главный повар в белом колпаке и переднике, окруженный толпой поварят и помощниц, спокойно и с достоинством распоряжался отправлением к столу яств, которые на серебряных и золотых блюдах разносили гостям лакеи в роскошных красных с голубым ливреях, между тем как дворецкие, более степенные в своей скромной одежде коричневого цвета, неслышно подавали громадные бокалы и хрустальные кувшины.

На другой стороне замка, в оружейном зале, царила торжественная тишина. В массивных канделябрах горели ароматические свечи, туманными кругами отражаясь на резьбе дерева, мраморном полу и тяжелых драпировках. Посреди комнаты, на парчовом диване, полулежал в галстук, являвшем собой чудо дорогой простоты, со стройными ногами в тонких шелковых чулках, мсье Жозеф, личный камердинер герцога Домона. Перед ним, в свободной дружеской позе, стоял Бенедикт, сиявший яркими цветами ливреи графов Стэнвил, между тем как Ахилл в красном с золотом держал табакерку, из которой последний удостоил взять щепотку табака.

— Где ваш маркиз достает свой нюхательный табак? — спросил Жозеф с грациозной небрежностью.

— Мы получаем его прямо из Лондона,— многозначительно ответил Ахилл.— Я лично знаком с мадам Вероникой, кухаркой мадам де ла Бом и любовницей Жана Лорана, что слуг камердинером у генерала Пюизье. Старый генерал — начальник таможни в Гавре, и таким образом мы беспошлинно получаем отличный табак по очень низкой цене.

— И везет же вам, добрейший Эглинтон! — сказал со вздохом Бенедикт.— Ваш маркиз, конечно, незнаком лично с мадам Вероникой и ему, вероятно, приходится платить за свой табак «настоящую» цену.

— Надо же чем-нибудь жить, друг Стэнвил! — важно возразил Ахилл.— А я ведь тоже не промах.

— А что, ваш англичанин очень богат? — спросил Бенедикт.

— Безгранично! — ответил тот с сознанием собственного достоинства.

— А что, если бы вы представили меня мадам Веронике? А? Я вот должен платить громадные деньги за табак для графа, так как он нюхает самые лучшие сорта; а если бы мне удалось заручиться протекцией мадам Вероники...

— Это трудно, очень-очень трудно, добрейший Стэнвил,— сказал Ахилл, подняв плечи чуть не до ушей и растягивая каждое слово.— Видите ли, положение мадам Вероники крайне деликатно; конечно, она имеет большое влияние, но получить ее протекцию нелегко. Однако я посмотрю, что я могу для вас сделать, и, может быть, вам удастся изложить ей вашу просьбу.

— Только, пожалуйста, не утруждайте себя, дорогой Эглинтон,— возразил Бенедикт.— Я полагал, что, так как вчера вы просили меня посодействовать через мадемуазель Мариетту повышению в пользу вашего племянника, то, может быть... впрочем, все равно, все равно! — прибавил он, махнув рукой.

— Вы совершенно не поняли меня, дорогой Стэнвил,— горячо возразил Ахилл.— Я сказал, что это трудно, но не невозможно. Можете положиться на нашу дружбу. Я сумею представить вас мадам Веронике, если вы в свою очередь похлопочете за моего племянника.

— Не будем больше говорить об этом, добрейший Эглинтон,— снисходительно сказал Бенедикт,— ваш племянник получит повышение; верьте моему слову.

Когда между друзьями снова водворилось согласие, Жозеф подумал, что пора и ему прервать долгое молчание.

— Конечно,— сказал он,— в нашем положении очень трудно удовлетворять все просьбы, которые поступают к нам благодаря нашему влиянию и протекции. Вот я, например... все назначения герцог предоставляет мне. Утром, пока я его брею, мне стоит произнести какое-нибудь имя в связи со свободным местом в государстве — и почти всегда названный мною счастливец получает желаемое. В настоящее время я глубоко взволнован предложениями реннского и парижского парламентов.

— Относительно образования нового министерства финансов? — осведомился Ахилл. — Знаем, знаем!

— С непосредственным контролем государственных сумм и ответственностью исключительно пред парламентами,— подтвердил Жозеф. — Парламенты! Ба! — прибавил он довольным тоном. — А кто там сидит? Одни буржуа и больше никого!

— Милорд говорит, что их требования нелепы. Удивительно, что его величество дал свое согласие.

— Я советовал герцогу не обращать внимания на эту сволочь,— сказал Жозеф, поправляя галстук. — Министерство, ответственное пред парламентами! Да ведь это просто смешно!

— Насколько я понимаю,— вмешался Ахилл,— парламенты из уважения к его величеству желают, чтобы король сам лично назначил нового контролера финансов.

— Король? — спокойно возразил Жозеф. — Нет, он предоставит это дело нам. Поверьте моему слову, что нового министра назначим мы. И какой это будет приятный пост! Все налоги будут проходить через его руки. Какое широкое поле для честолюбивого человека! — и Жозеф подошел к письменному столу и позвонил. Через минуту в комнату вошел молодой ливрейный лакей и почтительно остановился у двери. — Есть кто-нибудь в приемной, Поль? — спросил Жозеф.

— Да, мсье Жозеф. Около тридцати человек.

— Поди и скажи им, что мсье Жозеф сегодня не принимает, так как проводит время в кругу своих друзей. Принеси мне все прошения, а тех, у кого есть личные рекомендации, я приму завтра в своем кабинете в одиннадцать часов утра. Можешь идти.

Молодой человек удалился с молчаливым поклоном, а Жозеф, с торжеством взглянув на своих друзей, заметил:

— Тридцать человек!

— Это все — претенденты на новую должность? — осведомился Ахилл.

— То есть их представители,— пояснил Жозеф.— О, моя приемная всегда полна! Понимаете ли? Я каждое утро брею герцога; ну, а всякому, мне кажется, желательно контролировать финансы Франции.

— Гм... гм...

— Я желал бы знать, что вы хотели сказать «гм... гм...».

— Я думал о мадемуазель Люсьене,— сказал Бенедикт, сопровождая свои слова сентиментальным вздохом.

— Вот как!

— Да, я — один из ее поклонников. Мадемуазель Люсьена имеет влияние на вашу молодую госпожу, а все мы знаем, что герцог в делах Франции руководствуется желаниями дочери.

— И вы через мадемуазель Люсьену желаете приобрести для своего графа пост контролера? — спросил Жозеф, неистово барабанив пальцами по столу.

— Мадемуазель Люсьена обещала нам свою помощь.

— Я думаю, едва ли это будет иметь значение,— произнес Ахилл,— на нашей стороне мадам Огюст Байон, ключница доктора Дюбуа, домашнего врача мадемуазель Домон...

В эту минуту в комнату снова вошел Поль, неся на серебряном подносе кипу бумаг, и почтительно передал их Жозефу.

— Прощения? Хорошо! Что, ты всех выпроводил из приемной?

— Кроме одного старика, который не хочет уходить.

Дальнейший разговор был прерван появлением маленького, худенького человечка во всем черном, в черных шерстяных чулках, с книгами и бумагами под мышкой, которые при входе его в комнату рассыпались по полу. Глаза у него были светлые, водянистые, а волосы желтые, как солома.

— Я желал бы минут пять побеседовать с герцогом Домоном,— робко произнес он.

— Герцога видеть нельзя,— важно ответил Жозеф.

— Может быть, попозже сегодня или завтра утром, у меня есть время,— настаивал странный человек.

— Но у герцога его нет.

— У меня письмо к господину камердинеру герцога,— смиренно продолжал проситель.

— Рекомендательное письмо? Ко мне? — более мягким тоном спросил Жозеф.— От кого?

— От моей дочери Агаты, которая каждое утро подает шоколад вашей милости.

— Так вы — отец Агаты! Хорошо, я повидаюсь с нею и поговорю о вашем деле. Кстати, чего вы просите? — прибавил он, видя, что старик не двигается с места. — Можете говорить при этих господах, они извинят вас.

— Благодарю вас, мсье, и вас, господа! Я, видите ли, хорошо знаю счет, а в новом министерстве финансов, наверное, будет нужен человек для счетной части, да и не один, конечно. У меня есть дипломы и аттестаты.

— Какого черта мне в ваших аттестатах, дружище? — надменно сказал Жозеф. — Я уже пришел к заключению, что вы будете очень подходящий счетовод в новом министерстве. Ваше дело сделано, дружище. Но как вас зовут?

— Дюран, с вашего позволения.

Маленький человечек хотел было рассыпаться в благодарностях, но в это время послышались шум шагов и гул голосов. Мысль, что блестящее общество может застать его здесь, привела старика в ужас, и, забыв свои книги и бумаги, он боком добрался до двери, в которую и юркнул в сопровождении Поля.

III

Это он сделал как раз вовремя, так как мужские и женские голоса звучали все ближе и ближе. Осанка трех друзей изменилась с быстротой, выработанной многолетней практикой, и, когда дамы и кавалеры, вошедшие в зал, проходили мимо них, они давали дорогу, бесшумно скользя по вылощенному полу в своих мягких башмаках; Жозеф искал глазами взгляда герцога, но последний был занят разговором с английским претендентом и не нуждался в услугах своего камердинера; Ахиллу удалось отыскать своего английского лорда, поглощенного разговором со своей тучной, разряженной мамашей, а Бенедикт так и не мог нигде найти своего господина.

Его величество король, разгоряченный вином, полузакрыв отяжелевшие веки, отодвинул от стола свое кресло и, сонно склонившись к маркизе Помпадур, лениво играл драгоценным шнуром ее веера. Она забавляла его; ее смелые, остроумные словечки моментально разгоняли мучившую его смертельную скуку. Она смеялась и болтала, но ее мысли были далеко; она стремилась проникнуть в тайные помыслы собравшихся гостей, угадать направленную против нее зависть и скрытую ненависть. К окружавшему ее

блеску и власти она еще не успела привыкнуть; еще так недавно она была незначительной единицей в далеко не знатном обществе Парижа, где ее красота терялась среди серой толпы, как блеск драгоценного камня, незаметный в простой оправе. Ее сердце горело честолюбием, особенно с того времени, когда она поняла, какую власть может дать красота. Деньги сделались ее кумиром! Траты! Траты! Да и почему нет? Народ и буржуазия сделались для нее источником, из которого она черпала средства для удовлетворения своей жажды роскоши. Драгоценные камни, платья, дворцы, сады... она жаждала всего, что было богато, красиво и дорого!

Это продолжалось всего два года, но около нее уже поднимался ропот, парламенты уже требовали контроля над королевскими расходами. Помпадур надеялась, что Людовик не допустит такого унижения, и он успокоил ее уверениями, что все останется по-старому. Пусть парламент требует и ворчит, но контролер будет назначен герцогом Домоном, а Домон был и останется ее рабом. Но у герцога есть дочь, суровая девушка со строгим взглядом, неженственная и властная, которая управляет отцом так же, как она, Помпадур, управляет Людовиком. Лидия Домон, это — ее враг! Да и, кроме этой девушки, мало ли у нее врагов? Друзья королевы, д'Аржансон, маршал де Ноайль, Карл Эдуард Стюарт, претендент на английский престол. Но он, к счастью, уезжает.

— Отчего вы так рассеянны, дорогая? — спросил Людовик.

— Я думаю, ваше величество, — ответила Помпадур, улыбаясь.

— Ради Бога, не думайте, умоляю вас! — воскликнул король с комическим ужасом. — Думы порождают морщины, а ваш прелестный ротик создан только для улыбок.

— Могу я высказать одну мысль? — лукаво спросила маркиза. — Этот государственный контролер, ваш будущий господин, а также и мой...

— Ваш раб, — лениво перебил король, — если жизнь ему дорога.

— Почему бы не назначить милорда Эглинтон?

— «Маленького англичанина»? — и жирное тело Людовика затряслось от неудержимого смеха. — Из всех ваших восхитительных острот последняя — самая восхитительная! — воскликнул он.

— Милорд Эглинтон очень богат, — продолжала Помпадур.

— Колоссально богат, будь он проклят! Я удовольствовался бы и половиною его доходов.

— Такое ничтожество, по крайней мере, не будет мешать нам.

— У него есть мамаша, которая, наверно, будет во все вмешиваться; нет, умоляю вас, дорогая, не мучьте себя этими вопросами,— уже с раздражением добавил король.— Назначение зависит от Домона, и я советую вам обратить ваш благосклонный взор на него.

Помпадур не рискнула продолжать этот серьезный разговор, зная, что ее власть над Людовиком продлится лишь до тех пор, пока ее блестящее остроумие будет развлекать и забавлять его. Поэтому она перешла к более игривым предметам, хотя ее мысль продолжала работать в прежнем направлении, и она невольно искала глазами стройную фигуру «маленького англичанина», которого горячо желала видеть во главе нового министерства финансов. Изящный, в изысканном, сшитом по последней французской моде, костюме, который он носил с присущей англичанам чопорностью, он стоял, разговаривая с Карлом Эдуардом, и мягкое, приятное выражение его лица представляло резкий контраст с мрачным видом его царственного друга.

По низложению Иакова II дед лорда Эглинтон последовал за ним в изгнание, а его сын, хотя и рисковал жизнью и состоянием ради реставрации Стюартов, однако сумел сохранить в целости и то, и другое. Сознывая, что дело Стюартов безвозвратно проиграно, но не мирясь с мыслью видеть на троне Англии монарха немецкого происхождения, он предпочел добровольное изгнание перспективе служить иноземцу. Обладая несметным богатством и блестящим даром слова, этот безукоризненный джентельмен вскоре завладел сердцем мадемуазель де Майль, принесшей в приданое, помимо ежегодных трех тысяч франков «на булавки», еще пышный исторический замок Бофор, который с помощью денег лорда Эглинтон удалось спасти от продажи за долги. Благодаря своему богатству, лорд Эглинтон пользовался во Франции независимым положением, и хотя считался другом как французского короля, так и Карла Эдуарда, но всегда умел держаться в стороне от всяких политических интриг. В такой обстановке и вырос «маленький англичанин», во всем подчиняясь матери, женщине с сильным характером, которая, несмотря на все старания, никак не могла помешать дружбе молодого Эглинтон с претендентом на английский престол. Однако ей удалось поселить в душе сына некоторое прене-

брежение к смелым попыткам Карла Эдуарда, неизменно кончавшимся изменою друзей, гибелью приверженцев и постыдным бегством самого претендента.

Когда Людовик, убаюканный нежным щебетанием маркизы Помпадур, погрузился в сладкую дремоту, она тихо, насколько позволяло ее шитое золотом платье, поднялась с кресла и подошла к леди Эглинтон, которая вела важную беседу с герцогом Домоном.

IV

Мадемуазель Домон между тем в нише, отделенной от главного зала полупущенными драпировками, вела серьезный разговор с графом де Стэнвилем, который, повернувшись спиной к блестящему обществу, заслонял рукой глаза от слишком сильного света, в то время как взгляд Лидии не отрывался от двигавшейся пред нею нарядной толпы. В своем белом парчовом платье, одной рукой придерживая занавес дамасского шелка, другую уронив на колени, она представляла собою сюжет, достойный кисти крупного художника. Ей едва минул двадцать один год, но в посадке ее головы, в каждом движении ее грациозного тела было что-то, выдававшее в ней женщину, привыкшую к власти, женщину мысли и дела, чуждую сентиментальности и чувствительности. Причина этого, по мнению многих, крылась в том, что она росла без матери. Герцог Домон потерял молодую жену через пять лет исключительно счастливой супружеской жизни и всю любовь перенес на дочь. Девочка с самой колыбели была упряма и своевольна и уже с десятилетнего возраста сделалась призрачной королевой всех своих товарищей по играм и полновластной госпожой в доме отца. Мало-помалу она приобрела на него огромное влияние, и он гордился ею столько же, сколько любил. Едва окончив свое образование, она уже помогала ему составлять деловые письма и поражала его своей сообразительностью и верным пониманием вещей. Вначале ему приходилось объяснять ей современные политические вопросы; он добродушно выслушивал ее толковые замечания, а впоследствии его доверие к ее мнению увеличилось настолько, что, сделавшись первым министром Франции, он ничего не предпринимал без ее совета.

Некоторое время между Стэнвилем и Лидией царил молчание; наконец граф, заметив пристальный взгляд Лидии, устремленный на Карла Эдуарда, произнес:

— Я не знал, что вы — такая сторонница этого молодого авантюриста.

— Я всегда на стороне справедливости,— спокойно ответила она, взглянув ему прямо в лицо.— Вы верите в законность его притязаний?

— О, я верю всякому делу, которое вы берете под свою защиту!

Лидия пожала плечами, и усмешка появилась на уголках ее губ.

— Достоинно мужчины! — нетерпеливо произнесла она.

— Что достойно мужчины? — в свою очередь пылко возразил Стэнвиль.— Любить так, как я люблю вас?

Эти слова он произнес едва слышно, как будто боясь, что кто-нибудь может услышать их. Суровое выражение лица девушки слегка смягчилось, но улыбка мгновенно исчезла с ее лица, когда она заметила устремленный на них с другого конца зала чей-то горячий взгляд, и она холодно произнесла:

— Мадемуазель де Сэн-Роман смотрит на вас.

— Почему же ей не смотреть? — небрежно ответил граф, хотя как будто слегка смутился.— Мир знает, что я вас обожаю.

— С какой легкостью вы говорите о любви, Гастон!

— Я говорю серьезно, Лидия. Почему вы сомневаетесь? Разве вы недостаточно прекрасны, чтобы зажечь страсть в мужчине?

— Вы хотите сказать, что мое положение достаточно высоко, чтобы удовлетворить честолюбие любого мужчины?

— Да, я честолюбив, и вы не можете ставить мне это в вину,— с убеждением сказал граф.— Помните, когда мы еще детьми играли в садах Клюни, разве я не был первым среди других мальчиков всегда и везде?

— Да, даже ценой горя и унижения более слабых.

— Успех сильного в жизни всегда бывает за счет слабых,— сказал Гастон.— Я честолюбив только ради вас, Лидия; любовь к вам вызвала у меня сомнения в себе; я чувствую, что такой, как я есть, я недостоин вас. Я хочу быть богат, могуществен, чтобы вы не только любили меня, но и гордились мной.

— Когда-то вы имели богатство, Гастон,— холодно сказала она,— ваш отец был очень богат.

— Разве я виноват в том, что теперь беден?

— Говорят, вы любите карты и другие удовольствия, еще менее дозволенные.

— И вы этому верите?

— Не знаю,— прошептала она.

— Вы уже не любите меня, Лидия!

— Гастон!

В этом восклицании был такой нежный упрек, что молодой человек сразу заметил его; он видел, как краска заменила обычную матовую бледность ее лица, как задрожали ее губы, а глаза наполнились слезами.

— Ваше лицо выдало вас, Лидия,— горячо прошептал он.— Если вы не забыли своих обещаний, данных там, в Ключни... Ваша детская ручка покоилась в моей руке, детская, но ваша, Лидия, и вы обещали мне, помните? Если вы не забыли, если вы любите меня,— о, нет, не так, как я люблю вас, а только немного больше, чем всех остальных людей,— так к чему же все эти препирательства и упреки? Я беден, но скоро буду богат! У меня нет власти, но с вашей помощью я скоро сделаюсь полновластным правителем Франции. О, Лидия, если бы вы любили меня, то помогли бы мне, а не упрекали бы меня!

— Что же я могу сделать для вас, Гастон?

— Ваше слово — закон для герцога, он ни в чем не может отказать вам. Вы сами сказали, что я честолобив; одно ваше слово — и это новое министерство... — Роковое слово было произнесено; испугавшись своей поспешности, Гастон сразу умолк, чувствуя, что если сердце Лидии еще не вполне принадлежало ему, то в эту минуту он мог потерять все. Заметив ее быстрый, испытующий взгляд, он невольно отнял от лица руку и, стукнув ею по столу, произнес: — Лидия, сбросьте хоть на минуту свою непроницаемую броню. Жизнь коротка, молодость мимолетна; не теряйте золотого времени в погоне за властью,— шепнул он со страстной нежностью,— моя маленькая Лидия с курчавыми каштановыми волосами, сойдите со своих высот на землю, где вас ждут мои горячие объятия! — и граф разжал пальцы девушки, поддерживавшие тяжелый занавес. Последний опустился с легким шумом, скрыв их от глаз толпы.

Тогда, отбросив в сторону всякую сдержанность, Гастон упал пред девушкой на колени и обвинил руками ее тонкую талию.

— Лидия, моя гордая, прекрасная королева! — пылко зашептал он.— Разве я могу быть достоин умнейшей женщины во Франции, если мое честолобие и надежды не будут равны ее горделивым замыслам? Я с радостью отдам всю, до последней капли, кровь своего сердца ради исполнения твоего каприза!

— Молчи, молчи,— сказала она,— не оскверняй любви такими безумными словами!

— Это — не безумие, Лидия! Дай мне твои губки, и ты поймешь меня.

Девушка закрыла глаза. Неизведанное еще блаженство наполняло ее сердце; она, привыкшая повелевать, почувствовала сладость подчинения. Он просил поцелуя, и она дала ему поцелуй, потому что это было его желание, и она почувствовала, что он был прав: теперь она поняла. Он говорил о своем честолюбии, и он был прав; мужчины не то, что женщины. Из любви к ней он хотел проявить свою силу, управлять, властвовать; это так понятно, и она рада была передать ему свою власть и покориться его воле. Новое министерство? Он получит его, если хочет; одно ее слово отцу — и дело будет сделано. Ее муж должен быть могущественнейшим человеком во Франции. Она устроит ему это назначение, а затем будет всегда и во всем только повиноваться ему.

Улыбаясь сквозь слезы, Лидия стала просить у графа прощение за свое недоверие и сомнение.

— Сегодня мой отец все устроит, — сказала она наконец. — С завтрашнего дня вы — мой повелитель, но сегодня власть еще в моих руках; сделайте мне удовольствие и еще раз изложите мне свою просьбу почтительно и смиренно.

— На коленях, моя королева! — сказал граф и торжественно произнес: — Прибегая к вашей милостивой благосклонности, смиренно прошу вручить мне управление Францией, предоставив мне занять пост главного контролера министерства финансов.

— Ваше желание будет исполнено, граф; последняя моя милость будет оказана вам; завтра я сама выхожу в отставку. О, Гастон, муж и властелин мой, — прибавила Лидия уже совсем другим тоном, и слезы наполнили ее глаза, — будь добрым господином для твоей рабы!.. она столь многим для тебя пожертвовала!

Молодую девушку внезапно прервал резкий смех. Увлечшись сладкими мечтами, она совершенно забыла о существовании другого мира, который шумел и волновался за шелковыми портьерами, отделявшими ее от действительной жизни. Что касается Гастона де Стэнвиля, то он был более подготовлен к неожиданному вторжению. Быстро вскочив на ноги, он отдернул драпировку и встал между Лидией и назойливой гостьей, прервавшей их беседу.

— Наконец-то вы спустились на землю! — сказала мадам Помпадур. — Честное слово, из-за вас я очутилась в ужасном положении. Его величество желал видеть вас и, ожидая вас, задремал. Пожалуйста, не извиняйтесь и не торопитесь!

Повторяю вам — король спит, иначе я не была бы здесь, чтобы напомнить вам о ваших обязанностях.

Она лукаво посматривала на Гастона, стараясь в то же время заглянуть в полутемную нишу, где сверкали бриллианты на белом платье Лидии.

— Что вы на это скажете, миледи? — обратилась она к стоявшей возле нее полной, нарядной женщине. — Граф Стэнвиль затрудняется найти себе извинение, но, мне кажется, теперь все ясно.

Однако, прежде чем леди Эглинтон успела ответить, Лидия встала и, вполне овладев собою, положила руку на плечо Стэнвиля.

— Единственное извинение графа Стэнвиля в том, что он забыл свои светские обязанности, стоит пред вами, — сказала она, окинув обеих женщин горделивым взглядом.

— О, мадемуазель, — возразила маркиза, — его величество настолько рыцарски относится к дамам, что, конечно, примет такое извинение, так же, как и все гости вашего отца, кроме, разумеется, мадемуазель де Сэн-Роман, — не без ядовитости прибавила она.

— Если я не ошибаюсь, маркиза, — с полным самообладанием произнесла Лидия, — король чувствует себя утомленным и желает покинуть нас?

Маркиза поняла шпильку и обменялась с леди Эглинтон многозначительным взглядом, которого Лидия не заметила.

— Да, правда, король несколько времени тому назад спрашивал про графа де Стэнвиля, — вмешалась леди Эглинтон, — а рыцарь Святого Георга уже начал со всеми прощаться.

— В таком случае мы не станем больше задерживать мадемуазель Домон, — сказала Помпадур. — Она, наверно, хочет пожелать молодому претенденту счастливого пути. Пойдемте, мсье де Стэнвиль! Мы подойдем к его величеству всего на минуту, а затем вы будете свободны и можете начать хлопотать о примирении с «красавицей из Бордо». Брр! Даже страшно подумать: ее черные глаза метали молнии в вашу сторону.

Хотя Гастону все еще было не по себе, но Лидия с грустью заметила, что он с полной готовностью последовал за маркизой.

— Мужчины так непохожи на нас, женщин! — вздохнула молодая девушка, провожая их взглядом.

А маркиза, когда они скрылись из глаз мадемуазель Домон, со смехом выдернула свою руку из-под руки Стэнвиля и промолвила, указывая на запертую дубовую дверь:

— Вот идите и заключайте мир, а я уж постараюсь отвлечь мысли его величества от вашей недостойной особы. Но, добившись полного примирения, не забудьте, что этим счастьем вы обязаны исключительно Жанне де Помпадур,— и жестом она заставила Гастона войти в гостиную. Когда он исполнил это, Помпадур окинула взглядом комнату, чтобы удостовериться, что молодая девушка там одна, и промолвила: — Мадемуазель де Сэн-Роман, я привела вам этого бездельника; не будьте к нему слишком строги. Поверьте мне, все скоро забудется, если вы позволите ему высказаться и принести к вашим ногам свое раскаяние.— С этими словами она затворила тяжелую дверь, отделявшую гостиную от коридора, и добавила: — Ну, если миледи умно поведет свою игру, то этот вечер не будет для нас потерян.

V

— Гастон!

Когда Стэнвиль вошел в обитую шелком комнату и в бледном мерцании свечей под розовыми абажурами увидел красавицу Ирэну, протягивавшую ему руки в порыве страстного призыва, его дурное настроение мгновенно рассеялось.

— Я думала, что ты совсем забыл меня,— сказала она, когда он быстро подошел к ней,— и даже не надеялась перекинуться с тобой хоть словом.— Взяв его за руку, она усадила его рядом с собой на низком диване, несколько секунд пытливо вглядывалась ему в лицо, а затем резко спросила: — Это было необходимо?

— Ведь ты же знаешь, Ирэна, что это было неизбежно. Я же предупредил тебя, что сегодня вечером постараюсь вырвать у мадемуазель Домон нужное мне обещание.

— И ты добился своего? — спросила она.— Лидия Домон обещала, что ты будешь назначен министром финансов?

— Она дала слово.

— За какую цену? Да, да, именно! Ведь не даром же Лидия дала тебе такое обещание; ты в свою очередь дал или обещал ей что-нибудь? Что именно?

Губы красавицы дрожали, она с трудом удерживалась от желания изломать в куски свой перламутровый веер; но она дала себе слово удержаться от пошлой сцены ревности.

— Это безрассудно с твоей стороны, Ирэна! — заметил Гастон.

— Безрассудно? Муж мой получает...

— Ш-ш! — быстро прервал граф, схватив ее за руку. — Стены могут услышать!

— Пускай! Я не могу больше притворяться, Гастон. Ты веришь слову Лидии Домон?

— Да, если ты не испортишь всего дела, — мрачно ответил Стэнвиль. — Повтори еще раз то слово, которое ты только что произнесла, или заставь меня продолжить это упоительное tête-a-tête! — и мадемуазель Домон отдаст это место другому.

— Значит, я была права. Она обещала тебе место за объяснение в любви! Почему ты скрываешь это? Разве ты не видишь, как я терзаюсь ревнивым страхом? Для меня была попытка видеть тебя подле нее. Правда, я не могла расслышать слова, но видела твои жесты, которые знаю наизусть. Потом портьера опустилась, и я больше ничего не видела, но догадывалась и... и боялась. Я не могу больше выносить эту тайну; мое фальшивое положение давит, унижает меня. О, будь добр ко мне! — уже истерически рыдала она. — Я провела такой ужасный, мучительный вечер! Я была совсем, совсем одна!

Легкая усмешка скривила его губы. «Будь ко мне добр!» Несколько времени тому назад те же самые слова сказала ему Лидия Домон. Как мало смыслят женщины в честолюбии, даже Лидия, даже Ирэна! И к обоим он был в сущности совершенно равнодушен. Лидия, как и Ирэна, была только ступенью для удовлетворения его честолюбия.

Года два назад Стэнвиль мечтал о военных почестях. Маркиз де Сэн-Роман, друг и воспитатель дофина*, доверенное лицо королевы, был в то время всемогущ. Не будучи в состоянии добиться согласия маршала на брак с Ирэнной, так как тот лелеял более честолюбивые планы, Гастон уговорил молодую девушку тайно обвенчаться с ним. Но судьбе угодно было разрушить все его замыслы. С появлением при дворе Жанны Пуассон нежное влияние королевы на Людовика XV исчезло, и все ее друзья впали в немилость. Маршалу де Сэн-Роману дано было важное поручение во Фландрию, и брак с его дочерью не мог принести графу никакой пользы. Скрыв от света свою женитьбу, Гастон де Стэнвиль направил свое ухаживанье к вновь засиявшей звезде и был принят с благосклонной улыбкой; но он уже не мог сбросить с себя добровольно надетые узы Гименея. Быстрое возвышение герцога Домона и всем известное влияние Лидии на отца не раз заставили Гастона пожалеть о сделанном им необдуманном шаге и о преграде, которую он воздвиг между своими мечтами и их исполнением.

* Людовика XVI (1754—1793 гг.).

Вначале Ирэна довольно легко согласилась хранить тайну их брака; она верила Гастону и спокойно относилась к его успехам у женщин, но сегодня наступил кризис: что-то новое в его отношениях к Лидии раздражило ее и переполнило чашу терпения. Она знала, что муж давно охладел к ней, и мирилась с этим, но уступить его другой женщине было выше ее сил.

Стэнвиль боялся, что она перестанет владеть собой и, выдав тайну их брака, разрушит все его планы. Поэтому он пустил в ход всю свою ловкость и серьезно сказал:

— Ирэна, я слишком уважаю тебя и не могу допустить, чтобы этот ребяческий порыв и слезы были действительно следствием твоего душевного состояния. Ты просто расстроена, вот и все! Дай мне твою руку.— Ирэна протянула ему свою дрожащую руку; Гастон долго целовал ее в холодную, как лед, ладонь, а затем сказал тихим, глухим голосом, обыкновенно доходившим до самого сердца женщин: — Пусть этот поцелуй вселит в тебя веру в мою искренность и правдивость! Ирэна, если сегодня я переступил границы благоразумия, то верь мне, что мысли мои были с тобой, и если мои честолюбивые мечты спустились на землю, то лишь для того, чтобы быть у твоих ног. Ирэна, еще немного терпения... два дня, неделя — не все ли равно? Закрой глаза на все, помни только эту минуту! Дай твои губки, дорогая моя!

Она не могла сопротивляться и склонила к нему свою головку; а ему вспомнились в это время былые дни, проведенные около Бордо, на покрытых виноградниками холмах, когда он домогался руки Ирэны и покорила ее сладким поцелуем.

Лидия все еще смотрела вслед удалявшемуся Стэнвиллю, когда почтительный, ласковый голос вернул ее к действительности.

— Вы устали, мадемуазель Домон? Могу я... то есть я хотел сказать... не разрешите ли вы мне...

Очнувшись от задумчивости, она увидела пред собой красивое лицо «маленького англичанина»; в его глазах она прочла и сострадание, больно задевшее ее самолюбие, и мольбу позволить ему оказать ей услугу.

— Благодарю вас, милорд, я ни капли не устала,— холодно ответила она.

— Тысяча извинений! — поспешно произнес Эглинтон.— Я думал, что, может быть, стакан вина...

— Довольно, дитя мое,— вмешалась леди Эглинтон,— ты же слышал, что мадемуазель Домон чувствует себя вполне

хорошо. Предложи ей руку и проводи ее к рыцарю Святого Георга, который желает проститься с нею.

— Уверяю вас, что я могу идти одна. Где его величество король Англии? — спросила Лидия, намеренно подчеркивая этот титул. Но робкий, застенчивый взгляд Эглинтон заставил ее почувствовать легкое угрызение совести, и она продолжала уже мягче: — Мне иногда кажется, что благородному рыцарю не придется называться этим титулом в его родной стране и что поэтому ему особенно приятно, когда друзья так называют его. Пойдем же к королю Англии сказать ему на прощанье: «Бог в помощь!»

Лидия жестом пригласила Эглинтон следовать за нею, но тот, еще не оправившись от смущения, не двигался с места.

— Он у меня такой скромный, — с материнской гордостью сказала леди Эглинтон, — но под скромной внешностью таится золотое сердце!

Лидия нетерпеливо пожала плечами, зная, к чему ведут эти восхваления. Ее мысли невольно обратились к Гастону; он, конечно, не так красив, как лорд Эглинтон, но сколько в нем мужества и силы!

— Он не внушает доверия, дорогая мадемуазель Домон! — послышался вкрадчивый голос леди Эглинтон. — Обратите внимание, как долго тянется его история с мадемуазель де Сэн-Роман.

Лидия вздрогнула. Неужели она, сама того не замечая, громко высказала свои мысли?

— Что касается моего сына, то на него можно положиться. Рыцарь Святого Георга, то есть я хотела сказать — английский король, вполне доверяет ему; они ведь с самых малых лет были друзьями. Гарри и хотел бы многое для него сделать, но не имеет власти. Вот если бы он был министром финансов... понимаете? Вы так сочувственно относитесь к делу Стюартов, а общность симпатий многое могла бы сделать... понимаете? Гарри! Гарри! — нетерпеливо обратилась она к сыну, — неужели же я все время должна говорить за тебя?

Лидия взглянула на Эглинтон и, прочтя в его глазах выражение искренней преданности, ласково сказала:

— Я думаю, что, если бы лорд Эглинтон серьезно вздумал ухаживать за кем-нибудь, ему не надо было бы прибегать к посторонней помощи.

— Уверяю вас, это совершенно серьезно, — с неудовольствием ответила леди Эглинтон.

— Может быть, так же серьезно, как его желание сделаться министром финансов?

— А кто более моего сына достоин занять этот пост? Он — самый богатый человек во Франции, а в наш развращенный и продажный век... Вы, конечно, понимаете?... Могу сказать, что в денежных делах англичане необыкновенно строги.

— Ради Бога, миледи, — с раздражением перебила ее Лидия, — позвольте вашему сыну самому говорить за себя. Если он желает ходатайствовать у герцога или у меня, пусть он сделает это сам лично.

— Я вовсе не желаю занимать пост, для которого не считаю себя способным, — быстро заговорил Эгlington, — но об одном умоляю вас, мадемуазель... не думайте, что мое поклонение вам несерьезно. Сознаю, что я недостойн быть даже вашим слугой, хотя с радостью согласился бы взять эту должность, чтобы находиться вблизи вас. Не сердитесь на меня! Моя мать говорит, что стоит мне открыть рот, чтобы все испортить; вот теперь я сделал это и рассердил вас.

Он умолк, красный и взволнованный, а Лидия не знала, плакать ей или смеяться. В какие-нибудь полчаса в этой самой комнате она услышала признание в любви двух человек; но какая разница — Гастон де Стэнвиль и «этот»! К счастью для нее, на другом конце зала показался претендент, окруженный друзьями, и, увидев Лидию, быстро направился к ней.

— Счастье еще не совсем отвернулось от нас, — любезно сказал он, отвечая на почтительный поклон молодой девушки. — Мы боялись, что нам придется уехать, не простившись с нашей музой.

— Ваше величество уже покидает нас? — спросила она. — Так скоро?

— Увы! Уже поздно! Мы уезжаем завтра на рассвете.

— Да поможет вам Бог, государь!

— Умереть! — добавил он мрачно.

— Победить, ваше величество! Смотрите, — прибавила Лидия, указывая на англичан, почтительно стоявших в некотором отдалении, — около вас есть отважные сердца, чтобы поддержать в вас мужество, и острые кинжалы, чтобы, когда нужно, помочь вам.

— Если бы я был уверен, что найдется корабль, на котором и я, и они могли бы спастись в случае неудачи!

— Но ведь Франция обещала вам такой корабль, ваше величество! — серьезно сказала Лидия.

— Я не сомневался бы, если бы Франция и вы были одно и то же, — с убеждением произнес Карл Эдуард.

— Франция и Лидия Домон — почти одно и то же!

— Надолго ли? — вмешалась леди Эглинтон. — Девушки выходят замуж, а не всякий муж позволит водить себя на помочах.

— Если бы Франция не сдержала своих обещаний, ваше величество, — слышался тихий голос Гарри, — у Эглинтонов достаточно денег, чтобы снарядить для вас корабль; я уже говорил вам об этом.

— Хорошо сказано, милорд, — одобрительно воскликнула Лидия, восхищенная его словами. — Теперь, когда в вашем лице у меня есть союзник, моя мечта может обратиться в действительность. Ваше величество, вы можете смело ехать в Англию, с полной уверенностью в успехе. Если же вас и ваших друзей постигнет неудача, мы спасем вас. Хотите выслушать мой план?

— Охотно.

— Лорд Эглинтон — ваш друг; по крайней мере, вы в нем уверены, не так ли?

— Я твердо верю в честное отношение дома Эглинтонов к моему дому.

— В таком случае условьтесь с ним, и только с ним одним, относительно места в Англии или Шотландии, где бы вас нашел корабль в случае неудачи.

— Это уже сделано, — просто сказал Эглинтон.

— Если судьба будет против нас, то мы скроемся в назначенное место и будем ждать помощи из Франции.

Разочарованная Лидия замолчала. Она надеялась в случае неудачи претендента побудить короля Людовика выслать корабль на помощь молодому принцу, организовать экспедицию на деньги Эглинтон и вырвать Карла Эдуарда из рук его врагов. Теперь эта мысль была у нее похищена. Леди Эглинтон, очевидно, не знала подробностей этого плана и казалась очень недовольной. Карл Эдуард быстро шепнул несколько слов на ухо своему другу, которому, по-видимому, доверял более, чем обещаниям Франции и энтузиазму мадемуазель Домон. «Маленький англичанин», беспокойно переведя глаза с Лидии на своего царственного друга, нервно вертел кольцо с печатью, которое носил на левой руке; затем он быстро снял кольцо, Карл Эдуард так же быстро и внимательно осмотрел его и с многозначительным и одобрительным взглядом возвратил по принадлежности.

Итак, Лидия опоздала; эти два человека раньше ее обдумали все до мельчайших подробностей, до кольца включительно. Ей было досадно.

— Значит, ваше величество заранее уверены, что Франция не сдержит своего обещания? — спросила она.

— Почему вы так думаете?
— Это кольцо, этот договор между вами и милордом...
— Разве это не было вашим желанием, мадемуазель?
— О, нет, нет,— произнесла она,— сознаюсь, что с моей стороны глупо упрекать вас! Простите меня, ваше величество! Для меня было большой радостью участвовать в деле спасения вашего величества, но тем не менее я охотно уступаю первенство лорду Эглингтону.

Она так просто, с таким благородным самоотвержением произнесла эту маленькую речь, что Карл Эдуард стоял перед нею в немом восхищении.

— Умоляю вас, мадемуазель,— сказал он наконец,— не делайте моего отъезда таким тяжелым для меня! Вы слишком наглядно доказываете мне, что я теряю, покидая берега прекрасной Франции.

— Ваше величество оставляете здесь много преданных вам сердец, хотя они и не могут следовать за вами. Мы же с лордом Эглингтоном заключим дружеский договор и часто будем беседовать о вас, когда вас не будет с нами.

— Напоминайте обо мне также и королю,— сказал Карл Эдуард.— Я предчувствую, что мне понадобится его помощь.

Лидия сделала такой глубокий реверанс, что ее хорошенькая головка очутилась почти на одном уровне с коленями претендента; он взял ее руку и почтительно поцеловал.

— Прощайте, ваше величество, и да поможет вам Бог,— прошептала она.

Простившись с теми, кто оставался во Франции, принц обратился наконец к человеку, которому доверял больше всех:

— Эглингтон,— сказал он,— постарайся, чтобы во Франции не совсем забыли меня.

И, опершись на руку своего друга, он быстро отошел от молодой хозяйки.

Прислонясь к холодной мраморной стене, Лидия следила за группой молодых английских и шотландских джентльменов, окружавших своего юного принца. Людовик, также собиравшийся уезжать, со свойственной Бурбонам любезностью, каждому сказал приветливое прощальное слово. Каждый в свою очередь приложился губами к пухлой белой руке короля, не забывая также наградить любезностями всесильную фаворитку, которая, опершись на плечо короля, старательно подчеркивала знаки королевского расположения, отнесенные лично к ней. Мадемуазель Домон почувствовала необычное отвращение при виде родовитой знати, низкопоклонничавшей перед авантюристкой; когда же и Карл Эдуард

низко склонился пред Жанной Пуассон, как только что сделал это пред дочерью герцога Домон,— глубокая грусть засветилась в ее глазах.

А впрочем, не все ли ей равно? Гастон любит ее, и она еще чувствовала на своих губах сладость первого поцелуя.

VI

Между тем герцог Домон уже начал церемонию проводов. По строгим правилам придворного этикета, его величество французский король первым должен был покинуть замок. В сопровождении Помпадур и хозяина дома Людовик спускался по величественной лестнице, ведущей в громадный вестибюль.

Словно движимая чьей-то властной рукой, Лидия прошла сквозь толпу и, на правах хозяйки дома, взяла короля под руку; герцог следовал за ними с Помпадур.

Толстые фламандские кони короля нетерпеливо били копытами о землю. Волны ароматного воздуха вливались в открытые двери, и Лидия почувствовала радость, что на ее обязанности лежало проводить короля до самой кареты. Свежий ночной ветерок приятно ласкал ее щеки, воздух был напоен запахом роз и гвоздики, а снизу, из парка, спускавшегося террасами к реке, доносился тихий плеск Сены, катившей свои воды к всемирному городу. Между нежными очертаниями кедров и кипарисов блеснул холодный серп луны.

— Эмблема нашей прелестной хозяйки,— любезно сказал Людовик, указывая на небо, в то время как Лидия целовала его руку.

Затем она холодно поклонилась Помпадур; прелестная маркиза ехала с королем в Версаль и вошла в карету, напутствуемая лстивым шепотом окружающих. Даже Карл Эдуард особенно любезно произнес свои прощальные слова, и, когда он целовал ее руку, до Лидии донесся его умоляющий шепот: он просил не забыть его. Когда он отошел, Помпадур подождала леди Эгlington и быстро шепнула:

— Не теряйте времени даром; если не поторопитесь, будет уже поздно.

Наконец высочайший отъезд состоялся; толпа, согнув спины и метя песок шляпами, оставалась в этой неудобной позе до тех пор, пока карета, с лакеями в роскошных голубых с золотом ливреях на запятках, не исчезла в мраке каштановой аллеи. После этого, следуя правилам этикета, Лидия простилась с Карлом Стюартом и его друзьями, и к подъезду

одна за другой стали подъезжать кареты, увозившие злополучных участников сомнительного предприятия. Когда-то еще придется им ужинать в такой роскошной обстановке? Завтра их трапеза будет совершаться наскоро, может быть, в седле и под звон оружия. «Марионетки! Марионетки!» — шептала Лидия. А впрочем, не все ли равно?

— Вы не думаете, что ночной воздух может повредить вам, мадемуазель? — с обычной робостью спросил Эглинтон. — Боюсь, что вам холодно; разрешите принести вам мантилью.

Лидия ласково поблагодарила его. Его нежный голос не раздражал ее. Если с нею не было Гастона, ей приятнее было присутствие этого ненавязчивого, приветливого юноши, чем кого-либо другого. В нем было что-то женственное и нежное.

Часы на старой башне пробили одиннадцать. Сердце Лидии стремилось к Гастону. Всего полчаса прошло с тех пор, как она рассталась с ним. Полчаса! Для нее это была вечность. Гастон, может быть, искал ее; быть может, как и она, жаждал ее видеть. Без колебания отвернулась она от тихо мерцавшей ночи, от серебристой луны и, бросив через плечо своему кавалеру: «Вы правы, сэр, стало немного холодно, и меня ждут гости», — быстро вошла в замок.

Вестибюль был теперь совершенно пуст, за исключением нескольких важных, надутых лакеев, стоявших в ожидании отъезда своих господ. На другом конце, где начиналась главная галерея замка, Лидия с неудовольствием заметила фигуру леди Эглинтон. Она уже собиралась незамеченной пробежать мимо последней, как внезапно ее внимание было привлечено вопросом миледи, обращенным к величественной особе в красной ливрее с широкими белыми нашивками.

— Вы не знаете, ваш господин все еще в гостиной?

— Не знаю, маркиза, — ответила «особа», — я уже с полчаса нигде не вижу графа.

Человек в красной ливрее с белыми нашивками был слуга графа Стэнвиля.

— У меня к нему поручение от маркизы Помпадур, — небрежно сказала леди Эглинтон, — я сейчас найду его, — и она направилась в галерею.

Лидия последовала за нею. В эту минуту она совершенно забыла о существовании «маленького англичанина» и точно во сне двигалась за тучной фигурой в голубом парчовом платье и за автоматом в красной ливрее; ей казалось, что они ведут ее неизвестными путями, что впереди она встретит ужасных чудовищ. Наконец леди Эглинтон остановилась и взялась за ручку двери.

— Позвольте, миледи, — сказал в эту минуту автомат в красной ливрее, отворяя пред дамами дверь и отдергивая шелковую драпировку. Лидия стояла как раз против открывающейся двери, когда Бенедикт доложил: — Ваше сиятельство, вас желает видеть маркиза Эглинтон.

Лидия увидела, как Гастон повернулся, чтобы взглянуть на непрошенных гостей. Его лицо было красно, с губ готово было сорваться проклятие. Молодая девушка поняла все. Резкий голос леди Эглинтон заставил задрожать в ней каждый нерв.

— Мадемуазель де Сэн-Роман! — со смехом сказала миледи. — Тысячу извинений! У меня поручение к графу Стэнвиллю от маркизы Помпадур, и я думала найти его одного. О, тысячу извинений! Моя нескромность была вынуждена; да и поручение вовсе не так важно; я передам его, когда граф будет находиться не в таком приятном обществе.

Лидия застыла на месте. Мечта исчезла, пред нею была отвратительная действительность. Эта прелестная женщина с горящими глазами, недоверчиво устремленными на леди Эглинтон; губы, полураскрытые для поцелуя, прерванного докладом лакея; черные волосы, выбившиеся из-под искусной прически и прилипшие к влажному лбу — все это была действительность. А розы, украшавшие ее корсаж и теперь лежавшие на полу, измятые и увядшие, взор Гастона, в котором сперва было бешенство, сменившееся страхом, — все, все это была жестокая действительность.

Ощущение мучительного стыда охватило Лидию, и она невольно поднесла руку к губам, точно желая стереть само воспоминание о поцелуе. Она, гордая весталка, чистая и холодная Диана, навсегда осквернила свои губы прикосновением к губам лжеца. Да, лжеца, обманщика и предателя! Она мысленно беспощадно бичевала себя, чтобы сильнее почувствовать свое унижение.

Лидия молчала, да и что было говорить? Гастон даже не старался взглядом вымолить у нее прощение; в его глазах не было ни стыда, ни горя, а только бессильная ярость и страх обманутого честолюбия. Боясь выдать себя пред этими людьми, Лидия повернулась и, закрыв лицо обеими руками, направилась вниз по галерее.

Не успела она пройти и пяти шагов, как услышала за собой шелест шелка по мраморному полу и резко произнесенное свое имя. Чья-то рука крепко схватила ее за руку и отвела ее от лица, в то время как взволнованный голос быстро произносил слова, смысл которых Лидия не сразу могла уловить.

— Вы не уйдете так, как мадемуазель Домон,— первое, что могла понять Лидия.— Вы не имеете права; несправедливо, нехорошо будет с вашей стороны уйти, не выслушав меня.

— Мне нечего слушать,— холодно прервала Лидия, создавая наконец, что с нею говорит Ирэна де Сэн-Роман.— Прошу вас, пустите меня.

— Нет, вы выслушаете меня, вы должны выслушать,— возразила та, не выпуская ее руки.— Это будет нехорошо с вашей стороны: я не желаю быть пойманной, как какая-нибудь кухонная девчонка, которую застигли целующейся в темном углу за дверями. Взгляните на леди Эглинтон, какая у нее злая, презрительная усмешка! Я не хочу больше переносить все это, не хочу, не хочу! Гастон! Гастон! — воскликнула она, обращаясь к Стэнвилю, молча и угрюмо наблюдавшему, как его жена все больше и больше выходила из себя.— Если в тебе осталась хоть капля мужества, то скажи этой хитрой интриганке и этой презирающей меня женщине, что если бы даже я целый вечер провела с тобой, запершись в будуаре, то никто не посмел бы слова сказать, потому что я имею право оставаться наедине со своим мужем.

— Ваш муж? — вырвалось у леди Эглинтон, но ни один мускул не дрогнул в лице Лидии.

Торжествующее признание Ирэны не произвело на нее никакого впечатления. Не все ли равно, в какую форму Гастон облек свою ложь? Что бы ни сказала Ирэна или ее муж, это уже ничего не могло прибавить к его низости и подлости.

— Да, миледи, мой муж,— со смехом продолжала Ирэна, выпуская руку Лидии.— Мое имя — графиня де Стэнвиль, и с этой минуты я буду называться так уже открыто. Теперь можете отправляться к гостям, мадемуазель Домон; моя репутация вне всяких подозрений, так же, как была и ваша, пока вы не провели с моим мужем таинственных полчаса в нише за спущенной портьерой,— и она повернулась к Стэнвилю.

Он проклинал судьбу, сыгравшую с ним злую шутку, проклинал всех этих трех женщин, бывших одновременно виновницами и свидетельницами его злоключений.

— Твою руку, Гастон! — повелительно произнесла его жена.— А вы, Бенедикт, велите подать карету вашего господина и мою коляску. Прощайте, мадемуазель Домон; можете проклинать меня за то, что сегодня я разбила вашу счастлившую иллюзию, но зато завтра, я уверена, вы будете благословлять меня. Гастон обманул вас так же, как обманул когда-то и меня, но он — мой муж, и я его никому не уступлю. Ради него и его честлюбивых замыслов я скрывала наш брак,

чтобы дать ему возможность занять высокое положение, которое я сама не в силах была создать для него; но, увидев ваш презрительный взгляд, я наконец возмутилась. Надеюсь, гордость не позволит вам мстить Гастону за ваше разочарование, а если вы будете способны на это — все равно я найду средство утешить его.

Она сделала хозяйке дома глубокий реверанс, в ее глазах вспыхнул огонек насмешливого торжества.

Как это ни странно, но именно это выражение глаз Ирэны больно укололо Лидию, может быть, более чем вся предыдущая сцена, так грубо и внезапно разрушившая ее счастье. Лидия сразу пришла в себя. До этой минуты она видела перед собой только смущенное лицо Гастона, теперь же ясно представляла себе все светское общество, которое будет осмеивать ее так же, как издевалась над нею Ирэна. Полчаса тому назад, в порыве нежданного счастья, она выставляла напоказ свою гордость и свою любовь пред ненавидевшими ее завистниками; через какой-нибудь час весть об унижительной сцене в галерее будет на устах у всех в Париже и Версале. Лидии казалось, что она уже слышит, как Помпадур с прикрасами передает королю мельчайшие подробности и как Людовик заливается довольным смехом; она чувствовала злорадство своих поклонников и направленные на нее саркастические или соболезнующие взгляды толпы.

Теперь Лидия ясно сознала, что стоявшая перед нею прекрасная женщина — в самом деле жена Гастона де Стэнвиль. Она даже заметила смешное выражение лица совершенно растерявшейся от изумления леди Эглинтон и «маленького англичанина», который казался таким же виноватым и смущенным, как и сам Гастон.

Лидия подошла к нему и положила свою холодную руку на рукав его камзола.

— Графиня де Стэнвиль, — сказала она, вполне овладев собой, — простите, но я должна задержать вас на несколько минут: я хочу дать вам объяснение, на которое вы сами меня вызвали. Я действительно была несколько удивлена внезапной новостью, за что и прошу извинения, но относительно причины моей неловкости (если только была какая-нибудь неловкость) вы совершенно заблуждаетесь. Должна вам сказать, что ни романы, ни женитьба графа де Стэнвиля меня совершенно не касаются. Он просил меня похлопотать о назначении его министром финансов, но это назначение зависит всецело от моего отца, который и отдаст его наиболее достойному. Мне было бы неприятно сознавать, что вы покидаете меня с мыслью, будто сообщение о вашем браке с человеком, отец которого был другом герцога, могло доста-

вить мне неудовольствие. Позвольте поздравить вас с удачным выбором и от души пожелать вам счастья, тем более, что я сама получила сегодня очень лестное предложение: маркиз лорд Эглинтон только что просил моей руки.

Она повернула голову и обменялась с Эглинтоном быстрым взглядом, но в его глазах не было и тени смущения; это ее успокоило. Он молча поднес ее руку к своим губам. Леди Эглинтон также сохранила полное присутствие духа, хотя, может быть, она одна поняла, что таким неожиданным осуществлением ее планов и надежд ее сына они обязаны лишь глубоко уязвленной гордости Лидии Домон.

Трудно сказать, что испытывал в эту минуту Гастон; что же касается Ирэны, то из ее груди вырвался вздох облегчения. Если минутное раскаяние в необузданном порыве и омрачало слегка ее радость, то она быстро справилась с ним, не понимая, какие серьезные последствия в будущем могло повлечь за собой ее признание.

— Коляска мадемуазель де Сэн-Роман!

— Карета графа де Стэнвиль!

Бенедикт появился в конце галереи с мантильей и капором Ирэны. Взяв жену под руку, Гастон быстро направился к выходу.

Леди Эглинтон, взволнованная, пораженная, боясь верить свалившемуся на нее счастью, имела настолько такта, чтобы скрыться в гостиную, и Лидия осталась наедине с человеком, которого так решительно ввела в свою жизнь.

— Милорд, — холодно сказала она, — я должна благодарить вас за ваше любезное содействие. То, что вы не выказали ни удивления, ни недовольства, доказывает ваше рыцарское отношение.

— Я был действительно немного удивлен, но слишком счастлив, чтобы показать это.

Он хотел приблизиться к ней, но она быстро отступила, и лицо ее снова приняло жесткое выражение.

— Надеюсь, вы понимаете, милорд, что с моей стороны нет никакого желания связать вас, — ледяным тоном произнесла она. — Я попрошу вас быть терпеливым на... на очень короткое время; поверьте, я сумею, не роняя своего достоинства, порвать цепи, которые должны быть очень тяжелые для вас.

— Мадемуазель, — тихо сказал он, — вы заблуждаетесь. Теперь это уже невозможно; что касается наших уз, то, уверяю вас, они не будут тяготить меня.

— Вы хотите поймать меня на слове?

— Ради вас, мадемуазель, так же, как и ради меня, вы не должны отступать от него.

— Это недобросовестно с вашей стороны. Вы молоды, богаты, скоро вы пожалеете о рыцарском чувстве чести, связавшем вас с женщиной, которая только с досады отдала вам свою руку. Я не буду обманывать вас,— быстро прибавила Лидия, заметив судорогу, пробежавшую по его лицу,— я не люблю вас; все, что было в моем сердце молодого и свежего, женственного и нежного, безвозвратно похоронено сегодня. Впрочем, если я не могу дать вам любовь, зато у меня есть мое безграничное влияние, и некоторые ценят его очень высоко. Вы ведь знаете, что будущий министр финансов будет действительным правителем Франции, и мой отец с радостью назначит на этот пост моего мужа.

— Умоляю вас, мадемуазель,— сказал лорд Эглинтон,— ради моего и вашего достоинства, не будем останавливаться на этих вопросах. Я люблю вас, я полюбил вас с первой нашей встречи при королевском дворе, но это не должно ни смущать, ни оскорблять вас. Вы будете для меня божеством, на которое я стану молиться. Если я вам буду нужен — вам стоит только приказать мне, и, хотя по законам Франции я буду считаться вашим мужем и господином, я останусь вашим рабом и буду на коленях служить вам. Вся душа моя изнывает от желания прикоснуться к вашей руке, но клянусь вам, что я не позволю себе поцеловать даже край вашей одежды.

И, как верующий склоняется перед изображением Богоматери, Эглинтон преклонил колени пред Лидией.

VII

Маркиз Эглинтон, главный контролер финансов, кавалер ордена Св. Людовика, пэр Англии и Франции, занимал западный флигель Версальского дворца. Его величество король имел частую и серьезную необходимость в свидании с ним, а мадам де Помпадур дня не могла прожить без тайного совещания с этим влиятельнейшим человеком Франции, который, по настоянию всей нации, был назначен, чтобы ставить преграды ее расточительности.

И *petit-lever** господина контролера было, без сомнения, обставлено гораздо торжественнее, чем *petit-lever* герцога Домона и даже самого короля. И хотя все знали, что маркиз

* Вставание по малому церемониалу, на котором присутствовали имевшие право домашнего входа.

был только исправляющим должность и что все милости зависели от его супруги, однако все заискивали пред ним; по той же самой причине ожидавшие милостей короля усиленно целовали руки мадам Помпадур.

Маркиз очень любил час своего вставанья, считавшегося в Версале важным общественным событием; любил свой утренний шоколад, который Ахилл, король камердинеров, с неподражаемой грацией подносил ему, пока он лежал в кровати. Как горяч и ароматен был этот напиток! Мудрено ли, что час от десяти до одиннадцати сделался любимым временем маркиза?

Он и не подозревал, что быть главным контролером финансов — такое легкое и приятное занятие. Все было необыкновенно просто. Он управлял Францией, лежа на мягких подушках необыкновенно комфортабельной постели с нежно-голубыми шелковыми занавесками, вышитыми золотом. Пока Ахилл хлопотал, мадам Помпадур или графиня Стэнвилль рассказывали Эглингтону пикантные анекдоты.

Да, все это было чрезвычайно приятно и вовсе не трудно. Если посетители были слишком назойливы и вопросы туманны, то одним движением руки контролер направлял их к своей жене, сидевшей в амбразуре окна. Обладая проницательным умом дипломата, она очень удачно разрешала всякую трудную задачу; она любила управлять Францией по выработанной ею собственной системе, избавлявшей милорда от всякой ответственности. Все шло, как по маслу. Во Франции все оставалось по-старому: мадам Помпадур тратила массу денег, король же неизменно платил ее долги; а так как его карманы почти всегда были пусты, то, чтобы заполнить их, он постоянно обращался к министру финансов. Министр приказывал Ахиллу принести чашку шоколада для мадам Помпадур, пока его величество король проводил неприятные четверть часа в обществе маркизы Эглинтон. Результатом этой беседы всегда являлось то, что его величество целый день был злобно настроен против Лидии; на «маленького англичанина» никто не сердился: он всегда был так любезен и угощал таким вкусным шоколадом.

С дня возвышения маркиза Эглинтон Ахилл оказался на высоте призвания. Стоя на страже около голубых занавесей постели главного контролера, он обращал в соляной столб своим строгим взглядом слишком надоедливых просителей и был незаменим в управлении делами. Из дружбы к Жозефу, камердинеру герцога Домона, он доставил Батисту Дюрану место личного секретаря милорда, которому Дюран оказался необыкновенно полезен. Для его занятий отвели маленькую

приемную, и никто из желавших присутствовать на *petit-lever* министра не мог миновать ее. Дюран отлично знал, кто может быть допущен и кто нет. Так было и в утро 13-го августа 1746 года.

— Это невозможно, дорогой друг, — говорил он настойчивому просителю. — Комната милорда набита битком.

— Я опять зайду на днях; мой господин непременно желает добиться личного свидания с милордом.

— А как ваше имя? Я все забываю.

— Меня зовут Ипполит Франсуа; я — доверенный камердинер маршала де Коньи, и...

— Мой милый, это все равно — маршал вы или простой лейтенант. Что касается меня, то помните, что я ни у кого не служу, а только помогаю господину главному контролеру финансов в выборе заслуживающих внимания прошений. И еще раз повторяю, что спальня маркиза переполнена, он очень занят и будет занят еще много дней. А чего желает ваш маршал?

— Получать пенсию и занять освободившийся пост военного министра.

— Невозможно! У нас есть уже четырнадцать кандидатов.

— Господин маршал уверен, что, если бы ему удалось лично переговорить с министром...

— Министр занят.

— Может быть, завтра?

— Завтра у него будет еще больше дела.

— Ну, ради вашей дочери... помните Генриетту, ее подругу?

— Ну, как же, маленькая Генриетта Десси, модистка; она была с моей дочерью в школе при монастыре. Так что же Генриетта?

— Мадемуазель Генриетта — моя невеста.

— Ваша невеста? — весело воскликнул Дюран. — Так что же вы раньше мне этого не сказали? Моя дочь ее очень любит. Хорошенькая девочка! Вашу руку! А что насчет вашего маршала, то я его пропущу; для друга все можно сделать.

В мемуарах графа д'Аржансона упоминается, что в 1746 году маршал де Коньи действительно получил пост военного министра. Он должен был благословлять день, когда его камердинер сделался женихом Генриетты Десси, близкой подруги любимой дочери Батиста Дюрана.

Последний нисколько не преувеличивал, говоря, что спальня главного контролера в это достопримечательное утро была переполнена народом. Вся французская знать, все представители ума и таланта сумели проникнуть в это чудное

августовское утро в заветную комнату, где милорд в «халате» возлежал на своей пышной постели, а мадам, в светло-сером платье модного покроя, занималась в амбразуре окна делами Франции.

— Ахилл, башмаки!

— Еще только половина одиннадцатого, милорд,— с укоризной произнесли розовые губки графини де Стэнвиль.

— В самом деле? — с притворным удивлением воскликнул лорд Эглинтон.

— Вы так соскучились в моем обществе, что время кажется вам бесконечным! — продолжала молодая женщина, делая вид, что сердится.

— Соскучился! — воскликнул он. — Да самая мысль о скуке исчезает в обществе графини де Стэнвиль.

Но, несмотря на это любезное заявление, милорд почему-то очень торопился покинуть свое лазоревое ложе. Ахилл с упреком смотрел на него. Милорд должен был знать, что, по этикету, он не имел права вставать с постели, пока не будет дана аудиенция каждому из высоких посетителей, желавших говорить с ним наедине.

Ярко-розовое платье графини де Стэнвиль резким пятном выделялось на фоне бледных тонов общей картины. Она стояла у самой кровати министра, бесцеремонно обернувшись спиной к остальному обществу; надо сказать, что она имела в этом отношении большие привилегии. Всем было ясно, что в свите милорда одной прекрасной Ирэне было дозволено не стесняться, и она широко пользовалась этим правом.

Главный контролер, которому она исключительно дарила свои улыбки, конечно, не имел намерения уклоняться от приятных обязанностей, сопряженных с этим вниманием: хотя он никогда не был блестящим оратором, но в разговоре с Ирэной не пропускал ни одного случая вставить лестное словечко, приятно шекотавшее ее слух.

Сегодня утром, здороваясь с ним, она сказала, указывая на сплошной ряд спин, теснившихся около маркизы Эглинтон, и важных людей, окружавших его кровать:

— Пусть они сами решают важные государственные дела: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такие пустяки.

— На то, чтобы ухаживать за хорошенькими женщинами, времени у меня довольно, — ответил контролер, любезно поднося к губам руку Ирэны.

— За хорошенькими женщинами? — недовольно возразила она. — О, милорд, недаром англичане пользуются репутацией изменников!

— Но я же стал совершенным французом, — запротестовал он. — Теперь Англия не узнала бы меня.

— Вы, кажется, сожалеете об этом?

— О, нет, — ответил он, — здесь нет места сожалению так же, как не может быть места скуке при виде улыбки на ваших очаровательных губках.

— Вы считаете меня красивой? — тихо прошептала Ирэна.

— Что за вопрос?

— Самой красивой из всех здесь присутствующих?

— Честное слово! — весело воскликнул он. — Был ли когда-нибудь женатый человек поставлен в такое затруднительное положение?

— Женатый человек? — пожала она своими хорошенькими плечиками.

— Я — женатый человек, прелестная графиня, и закон запрещает мне отвечать на такие двусмысленные вопросы.

— Это — не больше, как трусливая отговорка, — возразила она. — Ваша жена признает только превосходство ума. Она презрительно рассмеялась бы, если бы кто-нибудь сказал, что она — самая красивая женщина в этой комнате.

— А ваш супруг пронзил бы меня шпагой, если бы я высказал настоящую правду.

Ирэна, по-видимому, сочла за лучшее истолковать двусмысленные слова маркиза в свою пользу. Бросив взгляд через плечо, она заметила, что свита маркизы д'Эглинтон рассеялась и что к последней подходит ее отец, герцог Домон. Она заметила также, что Лидия была чем-то взволнована и бросила на нее неодобрительный взгляд. Но, кроме удовольствия, это ничего не доставило Ирэне. Ее необузданному тщеславию немало льстило то исключительное внимание, которое оказывал ей лорд Эглинтон в глазах всей версальской знати, но задеть и уколоть свою бывшую соперницу, которая между всеми пользовалась наибольшим уважением, в то время как она, Ирэна, пользовалась любовью — было для нее двойным удовольствием.

Ирэна не могла простить Лидии ту памятную ночь, когда унижительная огласка и последовавшая за нею сцена заставили ее открыть тайну своего брака и воздвигли препятствия честолюбивым замыслам ее мужа. Правда, эти препятствия были отчасти устранены. Благоклонность маркизы Помпадур создала ему прочное и влиятельное положение, которого ему никогда не удалось бы достичь без ее помощи. Брак с Лидией дал бы ему гораздо больше; теперь же золотым руном завладел лорд Эглинтон.

В ту эпоху царства женщин женская протекция была единственным рычагом для возвышения и движения вперед; поэтому Ирэна пустила в ход все свое обаяние, чтобы проложить дорогу своему мужу, и не нашла ничего лучшего, как обратить свой томный взор на главного контролера финансов. Ее успех, доставляя удовольствие ей самой, в то же время мог быть выгодным для Гастона, составляя некоторый противовес неограниченному влиянию на Эглинтон Лидии, которая с оскорбительным равнодушием смотрела на Ирэну и на все ее ухищрения.

VIII

Если бы Ирэна де Стэнвиль была проницательнее или внимательнее взглядела в лицо Лидии, ей ни на минуту не пришло бы на мысль, что мелкая зависть или женская злоба могли ужиться в хорошенькой головке, занятой исключительно мыслями о благе Франции.

История уже сказала свое слово по поводу этого кратковременного междуцарствия, когда властная рука женщины пыталась положить предел сумасбродству короля и разорительным капризам фаворитки и когда воля одной женщины хотела удержать нацию, стремившуюся по наклонной плоскости в мрачную бездну революции. Заметив неодобрительный взгляд Лидии, графиня де Стэнвиль окрылилась надеждой, что ей удалось наконец возбудить ревность соперницы; она не догадывалась, что мысли молодой женщины тревожнее, чем когда-либо, останавливались на печальных событиях последнего времени, а строгое выражение лица являлось результатом состояния тяжелой ответственности пред страной.

Льстивые придворные и назойливые дамы казались ей в это утро особенно глупыми и пустыми. Даже отец, неподкупная честь которого всегда была для нее поддержкой, сегодня был необыкновенно рассеян и угрюм; в окружающей обстановке она чувствовала себя невыразимо одинокой и подавленной. Ей хотелось слиться с толпой, сталкиваясь с гражданами ее родины, с надменным дворянством и раболепными крестьянами, с купцами, чиновниками, докторами, учеными,— все равно, с кем; одним словом, с нацией, с народом, в котором не заглохло чувство и живы были высокие идеалы и ясное сознание того, в чем настоящее достоинство Франции.

И в то время как льстецы, стоявшие пред нею с протянутыми руками, со своими ненасытными аппетитами хватали на лету взятки, комиссии, влиятельные и выгодные места, Карл Эдуард Стюарт, которого еще недавно так чествовали при дворе французского короля, поднимая кубок за его здоровье и успех, теперь был несчастным беглецом, скрывавшимся в крестьянских хижинах на пустынных берегах Шотландии. За его голову была объявлена большая денежная награда! А Франция обещала помочь ему, обещала в случае неудачи поддержать его, не оставить в несчастье ни его, ни его друзей!

И вот беда пришла, такая страшная, подавляющая беда, что Франция снова отказывалась верить. Все были поражены; ведь французы были уверены, что Англия, Шотландия и Ирландия жаждали видеть на троне Стюарта, что весь британский народ ждал его и готов был принять с распростертыми объятьями. И вместо этого — бегство, измена, страшные преследования. Франция знала, что молодой принц в настоящее время, может быть, умирает с голода, и ни одна рука не протянулась помочь ему, а уста, некогда ободрявшие его или смеявшиеся над его сомнением, продолжали улыбаться и болтать, как прежде, случайно произнося имя изгнанника. И это после всех обещаний!

Как только герцог Домон подошел к толпе, окружавшей Лидию, последняя легким наклоном головы отпустила всех просителей. При первом же взгляде на отца, она заметила, что он был взволнован и избегал смотреть на нее, а когда один за другим де Коньи, граф де Байель и другие отошли в сторону, он, видимо, хотел их удержать, чтобы не оставаться наедине с дочерью.

При таких ухищрениях с его стороны подозрения Лидии возросли; очевидно, ее отца расстроило сегодня нечто такое, что он не хотел сказать ей. Она увела его в амбразуру окна и усадила рядом с собой на диванчике, нетерпеливо глядя на вдовствующую леди Эгlington, которая не двинулась с места, несмотря на то, что даже самые интимные посетители удалились. Лидии даже показалось, что ее свекровь и герцог обменялись многозначительными взглядами. Сама вполне искренняя и чистосердечная во всех своих поступках, касавшихся политики, она не допускала и мысли о каком-либо тайном соглашении; кроме того, она, безусловно, верила отцу, хотя и побаивалась его слабохарактерности.

Она сразу заговорила о Карле Эдуарде, так как теперь он был ее главной заботой. Она и восхваляла, и жалела его, го-

ворила о его стесненном положении, о самоотверженности преданных ему шотландцев и наконец об обещании, данном ему Францией.

— Боже упаси, чтобы Франция опоздала исполнить свой долг относительно этого несчастного монарха,— горячо сказала она.

— Дорогое мое дитя, просто безумие думать о подобных вещах,— заговорил герцог тоном нежного упрека.

— *Pardieu!** — раздался резкий голос леди Эглинтон,— то же самое и я стараюсь объяснить Лидии в последние две недели, но она и слышать ничего не хочет, даже перестала разговаривать на эту тему. Пожурите-ка ее хорошенько, герцог; я все сделала, что могла, я знаю, что из-за ее упрямства мой сын впадет в немилость у короля, который вовсе не одобряет ее планов.

— Миледи права, Лидия,— сказал герцог,— и если бы я предполагал, что твой муж...

— Прошу тебя, дорогой отец,— спокойно прервала Лидия,— не переноси на лорда Эглинтонна своего неудовольствия. Разве ты не видишь, что графиня де Стэнвиль прилагает все старания, чтобы отвлечь его мысли от его несчастного друга?

Теперь герцог в свою очередь пытливо посмотрел в лицо дочери, стараясь подметить в ее словах долю горечи; он несколько обрадовался, надеясь, что новое направление мыслей отвлечет ее от вечной заботы о безнадежном деле Стюарта.

Слегка обернувшись по тому направлению, куда были устремлены взоры Лидии, он увидел на тусклом фоне драпировок ярко-розовое пятно и изящные очертания стройной женской фигуры, заслонявшей от него лицо зятя. Герцог нежно любил свою дочь, но в то же время безгранично ценил силу ее ума, а потому при виде розовой фигуры только презрительно пожал плечами, решив, что Лидия слишком умна, чтобы думать о таком вздоре, как флирт этой безмозглой куклы, стремящейся покорить сердце милорда.

Леди Эглинтон тоже заметила неудовольствие на лице Лидии, когда она говорила об Ирзене.

— Наконец-то мой сын проявляет немного здравого смысла,— решительно сказала она.— С какой стати Франции совершать безрассудства и впутываться в это, может быть, безнадежное дело?

— С такой стати, что она должна исполнить торжественно данное обещание,— тихо прервала ее Лидия,— и безнадеж-

* Боже мой!

ность дела, о которой вы упомянули, делает это обещание вдвойне священным.

— Его величество иначе смотрит на это, — с неудовольствием возразила старая леди, — а ему, я думаю, лучше знать, чего Франция должна держаться, чтобы не запятнать своей чести.

Разумеется, на это заявление нельзя было ничего возразить, и хотя про себя Лидия шепнула: «Не всегда!» — ее уста не произнесли ни одного слова. Она умоляюще взглянула на отца; ей больше, чем когда-нибудь, хотелось остаться с ним наедине, расспросить его обо всем, успокоить себя относительно мучивших ее подозрений, а главное — отделаться от пошлой болтовни свекрови.

Но герцог не пришел ей на помощь, хотя обыкновенно тоже избегал вступать в прения с леди Эглинтон.

— В дипломатии бывают моменты, дорогое дитя... — начал он после минуты тяжелого молчания.

— Отец, — твердо прервала его Лидия, — позволь мне раз навсегда сказать тебе, что у меня на это свои взгляды. Пока я имею право голоса в деле управления Францией, я не позволю ей пятнать свое честное имя чудовишным предательством и не позволю бросить на произвол судьбы друга, доверившегося ей и ее обещаниям.

Голос ее дрожал. Ее смутил многозначительный взгляд, которым ее отец обменялся с леди Эглинтон, а между тем ведь все зависело только от нее самой. Никто, даже король, никогда не требовал у нее отчета в том, как она распоряжалась государственными финансами, а тут весь вопрос был только в деньгах. Последнее слово принадлежало, конечно, самому Эглинтону, но он предоставлял ей полную свободу действий. В то же время, как это ни было странно, Лидии хотелось чьей-нибудь поддержки в этом деле, почему — она сама не могла объяснить себе. Она не сомневалась в правоте своих намерений, но ей нужна была чужая инициатива или, по крайней мере, одобрение отца или короля, а вместо этого она смутно чувствовала какую-то интригу.

Отношение короля к молодому претенденту открыло ей глаза: интриги, ложь, фальшь и предательство гнездились в каждом углу роскошного Вестфальского дворца, а эгоизм был единственным двигателем всех разряженных кукол.

Впервые, может быть, с тех пор как в ее руках была власть, почувствовала Лидия разочарование и полную безнадежность своих стремлений. Открыв стеклянную дверь, она вышла на балкон и дала полную волю своим мечтам. Но мысли ее были тревожны и печальны, а с лица не сходило озабоченное вы-

ражение. Воздух с каждой минутой становился все жарче; с гигантской клумбы красной герани несся острый запах, приятно освежавший обоняние. Пред молодой женщиной растянулся широкий горизонт с легкими перистыми облаками. Стараясь не слышать резкого смеха миледи и болтовни безмозглых глупцов, она прислушивалась к плеску воды в фонтанах, к чириканью воробьев да к далекому-далекому, сладкому и грустному пению жаворонка, несшемуся к ясному небу.

Раздавшийся на плитах балкона шум шагов прервал размышления Лидии. К ней подходил отец, все еще с тем же смущенным выражением на красивом лице. Порывисто, вся дрожа от внутреннего волнения, бросилась Лидия к единственному человеку, которому вполне доверяла, и схватила его за руки.

— Дорогой, дорогой мой отец,— с мольбой заговорила она,— ты ведь поможешь мне, да, ты поможешь?

— Но что же можем мы сделать, дорогое мое дитя?

— Послать корабль «Монарх» на помощь Карлу Эдуарду,— ответила она,— это так просто.

— Это очень рискованно и будет стоить больших денег. При настоящем положении казны...

— Отец, Франция может позволить себе эту маленькую роскошь, чтобы не ставить на карту своей чести.

— Да, но англичане обозлятся на нас.

— Англичане будут сражаться с нами, но они и теперь это делают.

— Риск, дорогое дитя мое, риск!

— Да где же риск, отец, милый? — горячо сказала Лидия. — Скажи мне, в чем ты видишь риск, если мы пошлем «Монарха» к берегам Шотландии с секретными предписаниями, к месту, известному только лорду Эглинтону и мне, так как несчастный принц открыл его моему мужу пред своей несчастной экспедицией. У капитана Барра ничего не будет с собою такого, что могло бы выдать цель его тайной поездки, кроме кольца на пальце с печатью моего мужа; это кольцо капитан Барр сам снесет на берег; во избежание предательства даже судовая команда ничего не должна знать.

— Но англичане могут перехватить «Монарха».

— Мы должны пойти на этот риск,— возразила Лидия. — Лишь бы пройти мимо Англии,— Шотландия же достаточно пустынна. «Монарх» не встретит там никакого судна, а капитан Барр хорошо знает свое дело; он уже готов к отплытию.

— Это — просто ребяческое упорство. Я не вижу больше государственного ума в сентиментальной девочке, которая

говорит пустяки, точно школьница, начитавшаяся романов, — с явным нетерпением сказал герцог. — Ну, а что, если король запретит тебе пользоваться каким бы то ни было кораблем для этой экспедиции?

— Я предлагаю завтра же выслать «Монарха», — спокойно ответила Лидия. — Капитан Барр получит приказания непосредственно через министерство финансов, а разрешение его величества мы достанем на следующий день.

— Ведь это же — безумие, дитя мое! — воскликнул герцог. — Ты не можешь так открыто идти против желания короля.

— Желания короля! — запальчиво воскликнула она. — Конечно, отец, ты не думаешь того, что говоришь. Рассуди сам, вникни хотя на одну минуту! Бедный юноша, которого мы все любили... он ведь сидел с нами за одним столом в нашем собственном доме, в нашем чудном замке, еще ни разу не оскверненном изменой или предательством!.. И ты хочешь покинуть его там, в чужой, далекой стране, оказавшей ему такой ужасный прием? Покинуть его, чтобы он или погиб от нужды и голода, или попался в руки этих ганноверских мясников, чье имя вошло в поговорку за их необычайные жестокости? Нет, дорогой отец, прошу тебя, прекратим этот спор; в первый раз во всю нашу счастливую жизнь мы смотрим на вопрос чести с разных точек зрения.

— Да, дорогая моя, я тоже это вижу, — несколько нерешительно сказал герцог. — Мне очень хочется убедить тебя бросить это дело.

— И покинуть несчастного юношу на произвол судьбы, но почему, почему? — воскликнула Лидия, а затем, видя, что отец молчит, упорно глядя в пространство, она сказала, словно вдруг на что-то решившись: — Отец, весь вопрос заключается в деньгах?

— Отчасти, — нерешительно ответил он.

— Отчасти? Хорошо, в таком случае мы устраним одну из причин твоего противодействия. Можешь уверить короля, что «Монарх» не будет стоить казне ни одного сантима. Лорд Эглинтон не откажет мне, ты это знаешь; он богат, а Карл Эдуард — его друг. То, что стоило снаряжение «Монарха», будет немедленно возвращено казне. Мы нанимаем «Монарха» у короля. В этом он не может нам отказать. И я даю слово тебе и его величеству, что «Монарх» ничего не будет стоить казне; даже плата экипажу с момента выхода его из Гавра будет производиться за наш счет, до той счастливой минуты, когда он снова вернется в гавань и привезет Карла Эдуарда и его друзей целыми и невредимыми.

Некоторое время царил молчание. Глаза герцога Домона по-прежнему были устремлены на какую-то точку далекого горизонта; а Лидия ни на минуту не отводила взора от его лица.

— «Монарху» предстоит долгое путешествие? — небрежно спросил герцог. — К берегам Шотландии?

— Да.

— Конечно, к западному берегу?

— Зачем ты спрашиваешь, дорогой мой?

Лидия случайно задала ему этот вопрос, но так как отец ничего не ответил, то она снова задала его, на этот раз с сильно бьющимся сердцем. Ей вдруг пришли на ум подозрения, возникшие в ней при виде многозначительного взгляда, которым ее отец обменялся с леди Эглинтон.

В страшном волнении она схватила герцога за руку и едва слышно прошептала:

— Отец.

— Что, дорогая? Что с тобой?

— Отец! Я... меня недавно очень взволновало одно обстоятельство. Ты справедливо говоришь, что дело Стюарта слишком подействовало на мое воображение. Вот я и хочу спросить тебя... ты простишь меня, дорогой мой, если я задам тебе вопрос, который может тебе показаться непочтительным? Может быть, ты даже увидишь в нем недоверие к тебе.

— Конечно, я все прощу тебе, дорогая! — сказал герцог после минутного колебания. — В чем дело?

— Даешь ли ты мне свое честное слово, — уже спокойно произнесла Лидия, — что тебе лично неизвестно никакое предательство, замышляемое против человека, который верит чести Франции?

Горящими глазами впиалась она в лицо отца; казалось, она хотела проникнуть в самые затаенные уголки его души. Герцог Домон надеялся, не колеблясь, вынести это испытание; но он не был хорошим актером, не был в сущности и бесчестным человеком: он просто считал свою дочь чересчур рыцарски настроенной и не применял к политическим соображениям обыкновенных мерок чести и нравственности. Во всяком случае он не мог дать ей определенный ответ и, так как рука Лидии все еще сжимала его руку, то он поднес ее к губам и поцеловал.

— Отец! — дрожащим голосом умоляла она, глядя ему прямо в глаза. — Отчего ты не отвечаешь на мой вопрос?

— Я уже ответил тебе, дитя мое, — уклончиво произнес он, — я нахожу недостойным защищать свою честь пред собственной дочерью.

Лидия отвернулась от него и тихо высвободила свою руку. Она поняла, что в сущности получила ответ на свой вопрос.

IX

Некоторые черты характера, унаследованные маркизом Эглинтоном от его деда-англичанина, были причиной того, что милорд для своего *petit-lever* выбрал себе более изысканный костюм, чем тот, какого требовал строгий придворный этикет. Согласно предписанию моды и обычаю, в то самое время, как он, сидя со спущенными ногами на краю постели, так решительно потребовал в половине одиннадцатого у Ахилла свои башмаки, он должен был иметь на себе пестрый халат, отделанную кружевом ночную сорочку и высокий ночной колпак с кисточкой, вместо отсутствующего у него парика. Тогда, по крайней мере, все окружавшие его знатные вельможи знали бы, что им делать. Все они присутствовали на *petits-levers* королей, министров, куртизанок, насколько их обязывали к этому их происхождение и положение при дворе. Графиня де Стэнвиль в таком случае отошла бы в сторону с низким реверансом, может быть, нежно улыбаясь и делая глазки, благо ей разрешалось свободное обращение; а Ахилл, с надлежащей церемонией, подобающей такому торжественному действию, передал бы дневную сорочку господина контролера самому знатному из присутствующих, который так же торжественно надел бы ее на милорда. По окончании этой важной церемонии весь остальной туалет великого человека мог быть закончен камердинером. Но слыханное ли дело, чтобы *petit-lever* министра обошлось без помощи принца крови или по крайней мере маршала Франции?

Однако, очевидно, у «маленького англичанина» были на этот счет свои собственные понятия, без сомнения унаследованные им от предков, и напрасно Ахилл убеждал своего господина не нарушать так бесцеремонно придворного этикета Франции: в этом отношении все его старания оказывались тщетны.

Д'Аржансон, присутствовавший на *petit-lever* министра 13-го августа 1746 года, рассказывает, что, когда милорд потребовал свои башмаки на целых десять минут раньше, чем следовало, выслушав нежные упреки графини де Стэнвиль за его более чем нелюбезную поспешность, он был уже наполовину одет. Правда, на нем был пестрый халат, с красивой

вышитой отделкой, но, когда он с чисто мальчишеским жестом нетерпения сбросил с себя одеяло, то оказался в прелестно гофрированной денной сорочке, панталонах из тонкого сукна и белых шелковых чулках. Парик, правда, еще отсутствовал, но зато не было и ночного колпака; у милорда, по присущей всей британской нации эксцентричности, была сделана прическа из слегка напудренных собственных волос, перевязанных на затылке широким черным шелковым бантом. Лицо Ахилла приняло непроницаемое, каменное выражение; только едва заметный вздох вырвался из его груди при виде такого пренебрежения к придворному этикету.

В самый разгар обсуждения с графиней де Стэнвилль вопроса о том, насколько удачно будет сочетание ярко-розового цвета с бирюзовым, Эглинтон, неожиданно прервав спор, потребовал свои башмаки. Неудивительно, что Ирэна при этом надула губки; впрочем, это выходило у нее очень мило.

— Если бы я была так счастлива, что моя глупая болтовня доставляла удовольствие милорду, — сказала она, — то вы не спешили бы отделаться от моего общества.

— Нет, графиня, позвольте мне объяснить вам, — любезно возразил Эглинтон. — Помните, что последние полчаса я имел счастье быть недостойной целью стрел, направленных в меня вашим умом и красотой. Но теперь я чувствую себя совершенно беспомощным без своего жилета и башмаков. Я похож на несчастного воина, которому помешали надеть оружие в то самое время, как он столкнулся лицом к лицу с могущественным неприятелем.

— Вы забываете этикет, — возразила Ирэна.

— Неужели, графиня, мы с вами станем обращать на него внимание?

В это время Ахилл с надлежащим поклоном взял камзол и жилет милорда в свои достойные руки и стоял в такой позе и с таким выражением лица, какое бывает у деревенского священника, держащего в руках Святые Дары.

Все с тем же пренебрежением к установленному церемониалу лорд Эглинтон взял жилет из рук Ахилла и, натянув его на себя, с такой быстротой застегнул пуговицы, как будто всю свою жизнь, кроме этого, ничем иным и не занимался.

На секунду Ахилл окаменел. В первый раз, может быть, во все время существования Франции, министр финансов сам надел на себя жилет. И это во время его, Ахилла, правления! С отчаянием уцепился он теперь за камзол, готовясь пролить свою кровь, лишь бы поддержать старинные традиции Франции.

— Не угодно ли вам, милорд, принять свой камзол из рук монсиньора принца де Куртенэ, принца крови? — спросил он, делая невероятные усилия для восстановления столь жестоко погранных традиций.

— Сейчас сюда придет его величество король, — быстро произнесла Ирэна.

— Его величество никогда не приходит позднее половины одиннадцатого, — нерешительно возразил Эглинтон, — и не имеет ни малейшего представления о том, как надо помочь надеть камзол. У него не было практики, и я уверен, что мой камзол превратится в лохмотья, если его августейшие руки попробуют натянуть его на мои недостойные плечи.

Он сделал отчаянное усилие, чтобы завладеть своим камзолом, но на этот раз Ахилл остался непоколебим. Казалось, он готов был пожертвовать жизнью, лишь бы не расстаться с камзолом.

— В таком случае эта честь принадлежит монсиньору принцу де Куртенэ, — твердо сказал он.

— Но ведь Куртенэ отправился ухаживать за моей женой! — с отчаянием воскликнул Эглинтон.

— В таком случае, без сомнения, его светлость герцог Люксембургский потребует...

— Конечно! — поспешно сказал герцог и, несмотря на протесты милорда, взял у Ахилла камзол.

Герцог Люксембургский действовал очень торжественно, но не очень умело, а для лорда Эглинтонна не было ничего ненавистнее «лакеев-любителей», как он обыкновенно говорил. Однако в настоящую минуту ему оставалось только терпеливо покориться своей судьбе. Собрав в руки кружевные оборки рукавов, он смотрел куда-то в сторону, от души желая, чтобы герцог Люксембургский провалился куда-нибудь подальше; но в эту минуту принц де Куртенэ, по-видимому, и не думавший ухаживать за маркизой, занятой с кем-то другим, вдруг заметил, что его собирались лишить одной из его многочисленных привилегий. Нельзя сказать, чтобы у него было особенное желание помочь главному контролеру надеть камзол; он просто всегда заботился, чтобы его превосходительство, как «почти» принца крови, всеми признавалось в полной мере. Поэтому он слегка кашлянул, чтобы привлечь внимание Ахилла и предостеречь герцога Люксембургского от излишней самонадеянности. Камзол беспрекословно был взят из руки маршала и передан принцу «почти королевской» крови, между тем как Эглинтон, с видом покорной жертвы, продолжал ожидать своего кафтана, сжимая в руках кружевные оборки рукавов.

Все движения принца де Куртенэ всегда отличались степенностью, и ему было приятно осознавать, что каждый мог даже в таком маловажном вопросе заметить предпочтение, оказанное ему никем другим, как главным контролером финансов Франции. Он очень ловко держал камзол, и лорд Эглинтон уже готовился свободно вздохнуть, как вдруг двери в конце комнаты настежь распахнулись, и громкие голоса королевских слуг торжественно возвестили:

— Его величество король!

Шум голосов сразу стих, уступая место почтительному шепоту. Послышались шуршанье шелковых платьев и бряцанье шпаг по паркетному полу, и толпа разделилась надвое, чтобы дать дорогу Людовику XV. Группы разговаривавших рассыпались в разные стороны, точно от прикосновения волшебного жезла; нарядные бабочки, ютившиеся в самых отдаленных углах комнаты, порхнули к магическому центру, обозначав проход посреди шелковых платьев, парчовых тюников и вышитых кафтанов, над которыми поднимался ряд напудренных париков, склонившихся почти до самой земли, когда его величество король Людовик XV, толстый, веселый, без тени скуки на лице, медленно проходил через всю комнату, опираясь на руку неизбежной маркизы Помпадур, попутно снисходительно кивая всем головой.

У амбразуры окна его встретила молодая маркиза Эглинтон со своим отцом. Он милостиво протянул Лидии руку и сказал несколько незначительных фраз. Это дало возможность маркизе Помпадур бросить на герцога Домона быстрый вопросительный взгляд, на который тот ответил едва заметным наклоном головы.

Все это время главный контролер, с выражением покорного отчаяния на лице, стоял с зажатыми в руках кружевными оборками, с грустью глядя на свой камзол, которого Куртенэ уже не протягивал ему. Принц был слишком строгим блюстителем этикета, чтобы забыть свой долг относительно династии Бурбонов и помочь министру надеть кафтан в ту минуту, когда его величество входил в приемную.

Когда Людовик XV, пройдя через всю комнату, подошел к группе, окружавшей Эглинтон, его глазам представилась следующая картина: его кузен де Куртенэ стоял перед ним, почтительно склонившись, Ахилл почти касался носом своих колен, и только главный контролер, хотя стоял в одной сорочке и чувствовал себя немного не по себе, нимало не смутился при приближении его величества.

— А, дорогой милорд, — сказал король с очаровательным добродушием, с одного взгляда поняв настоящее положение

вещей.— Нет, милый кузен, я требую себе старую привилегию. Господин контролер, случалось ли вам когда-нибудь пользоваться услугами короля Франции.

— Никогда, насколько мне помнится, ваше величество,— пробормотал «маленький англичанин».

Людовик XV был сегодня просто обворожителен; его движения были быстры, как у юноши, а манера держаться была так свободна и дружелюбна, что почти у всех присутствующих можно было прочесть в глазах удивление, и многие сердца забились быстрее.

— Пусть же это будет первым опытом в нашей жизни,— весело сказал король.— Это — ваш камзол? — и он, не теряя времени, взял из рук де Куртенэ злополучную одежду.

Такого снисхождения, такой любезности уже целые годы не было оказано ни единому человеку, а между тем король не особенно доволен был действиями министерства финансов, во главе которого официально стоял лорд Эглинтон.

— Должно быть, его величество весьма нуждается в деньгах,— слышался в толпе единодушный шепот.

Но король, казалось, не замечал интереса, возбужденного его любезностью и хорошим расположением духа. Держа кафтан воротом вниз, он с улыбкой смотрел на милорда, который волновался еще больше прежнего и, казалось, потерял всякую охоту надеть еще недавно столь желанную часть своего туалета.

— Ну, милорд, я жду,— сказал наконец король.

— Дело в том,— жалобно прошептал лорд Эглинтон,— что... не могу ли я надеть кафтан на правую сторону?

— О, и правда! — добродушно воскликнул король.— Простите, милорд; мне так редко приходится брать в руки подобные вещи, и я вполне допускаю, что держал камзол не только вниз воротом, но и вдобавок с вывернутыми рукавами.

Король рассмеялся и хохотал до тех пор, что у него заболели бока, а из глаз полились слезы; наконец, под скромный шепот восторга при виде такого снисхождения и любезности, церемония надевания кафтана была доведена до конца королем Франции, и милорд, совершенно одетый, с облегченной душой, мог наконец засвидетельствовать свое почтение маркизе Помпадур.

По всему можно было ожидать, что любезности короля в это утро конца не будет. Как только кафтан очутился наконец на плечах министра, король вступил с ним в разговор, между тем как маркиза Помпадур опустилась в соседнее кресло. Хорошо знающие приличия кавалеры и дамы, в том числе и прелестная Ирэна, скромно отошли в сторону. Вокруг центральной группы снова образовалась пустота, а эту группу

составляли теперь его величество король, маркиза Помпадур и главный контролер. И никто не решился бы вступить в этот священный круг. Лидия, оказав его величеству надлежащие почести, не присоединилась к этому интимному кружку, и, заметив ее отсутствие, Людовик XV почувствовал, казалось, заметное облегчение. Герцог Домон приблизился к королю и подал ему стул. Король взял его, успев в это время шепнуть старику на ухо:

— Ну, что же ваша дочь?

Между тем лорд Эглинтон искал места, куда он мог бы поместить свою скромную особу, и густо покраснел, когда маркиза Помпадур со смехом махнула веером по направлению к его величественной кровати. Воспользовавшись этой минутой, герцог, подкладывая подушку за спину короля, успел шепотом ответить:

— Невозможно, ваше величество.

— А англичанин?

— Я еще не пробовал.

— Ха-ха-ха! — смеялась Помпадур. — Неужели все англичане так же скромны, как вы, господин министр финансов?

— Я, я... не знаю, маркиза. Я очень мало с кем знаком из англичан, — ответил он.

— Смотрите, наш господин контролер так стыдлив, что не решается сидеть в моем присутствии на краю своей постели, — продолжала она, все еще смеясь. — А между тем, милорд, я готова биться об заклад, что вы занимались флиртом с графиней де Стэнвиль, развась на этих самых пуховых подушках.

— Только по настоянию моего камердинера, маркиза, — возразил контролер, — иначе я встал бы несколькими часами раньше.

— Неужели он — такой тиран? — спросил Людовик.

— Ужасный, ваше величество.

— И вы его боитесь?

— Трепещу от одного его взгляда.

— Это хорошо, что контролеру финансов приходится когда-нибудь трепетать, хотя бы даже пред своим камердинером, — с комическим пафосом вздохнул Людовик XV.

— Но, ваше величество, мне вообще часто приходится трепетать.

— Клянусь, он говорит правду! — засмеялась мадам Помпадур. — Он дрожит даже пред своей женой.

— А мы все трепещем пред контролером, — весело закричал король. — С тех пор как парламент поставил вас, как дракона, стеречь нас.

— Но сознайтесь, ваше величество, что дракон достаточно кроток и добродушен.

— Охотно сознаюсь, милорд! — сказал Людовик с несколько преувеличенной веселостью. — И вам не приходится раскисать в своей кротости, так как король остался вашим другом. — И так как лорд Эглинтон молчал, или чувствуя себя слишком подавленным милостью короля, или просто из застенчивости, то Людовик продолжал: — Мы хотим доказать вам нашу дружбу, милорд.

— Ваше величество застаете меня врасплох, — пробормотал Эглинтон, действительно вконец смутившийся, причем его взоры беспокойно блуждали по комнате, точно ища поддержки в эту критическую минуту.

— Нет, нет, — снова милостиво заговорил Людовик, — мы понимаем это. Король Франции нечасто выбирает себе друзей из своих подданных; ведь теперь мы считаем вас своим подданным, раз вы принесли нам присягу. У вас в жилах осталось ровно столько английской крови, чтобы сделать вас вдвойне честным и верным вашему королю. Нет, нет, не надо благодарности. Мы говорим так, как нам подсказывает наше королевское сердце. Но мы сейчас говорили о доказательствах нашей дружбы. Милорд, скажите нам откровенно, правда ли, что вы так страшно богаты?

Этот вопрос последовал так непосредственно за сентиментальными излияниями, что лорд Эглинтон был совсем сбит с толку. Он не привык к интимным беседам с королем; все дела государства вела его жена, и это обстоятельство застало его совершенно неподготовленным.

— Да, я... я думаю, что да, ваше величество, — пробормотал он.

— Но во всяком случае не настолько богаты, чтобы отказываться от миллиона ливров или около того, а?

— Я не могу ответить в точности, ваше величество, все зависит от того, откуда возьмется этот миллион?

— Не один, любезный милорд, а, может быть, целых два, — соблазнял король и ближе придвинул свой стул.

Эглинтон последовал совету маркизы Помпадур и присел на край постели. Можно было подумать, что сидеть здесь было очень жестко и неудобно, так как милорд все время вертелся на месте и имел очень несчастный вид. Его колени упирались в колена короля, а ноги путались в юбке маркизы Помпадур. Шум голосов в большой комнате заглушал шепот короля, а широкое пустое пространство было естественной преградой для всякого подслушивания. Таким образом никто не мог слышать то, что король намеревался поверить своему

министру; к тому же, наклонившись вперед, он до того понизил голос, что сам Эглинтон с трудом мог расслышать его; ему пришлось для этого даже наклонить голову так, что он чувствовал на своих щеках горячее дыхание короля. Быть главным контролером финансов и поверенным короля! По временам это также имело свои неприятные стороны.

— Милорд, — зашептал король, — мы предлагаем вам прекрасное дело. Мы, конечно, могли бы обойтись и без вашего содействия, но вы — наш друг и потому нам желательно, чтобы и вы приняли в нем участие.

— Я слушаю, ваше величество.

— Герцог Кумберлендский подавил восстание и посрамил знамя надменного претендента Стюарта.

— Друга вашего величества? Я это знаю, — наивно произнес Эглинтон.

— Ба, нашего друга! — Людовик пожал плечами, а маркиза Помпадур презрительно рассмеялась.

— О, в таком случае прошу прощения, — покорно сказал милорд. — Я думал... Прошу ваше величество продолжать.

— Карл Эдуард Стюарт никогда не был нашим другом, — решительно произнес король. — Обратите внимание на то волнение, которое он вызвал вокруг нас. До настоящего времени у нас с Англией были бы полный мир и согласие, если бы не этот проклятый авантюрист и его притязания; но теперь, когда он потерпел полное поражение...

— Понимаю, — сказал со вздохом сочувствия Эглинтон. — Конечно, вашему величеству теперь уже неудобно: данное вами торжественное обещание...

— Ба, милейший, нечего болтать об обещаниях, — с раздражением перебил его король. — Я ровно ничего не обещал Карлу Эдуарду, и молодой безумец прекрасно это знает.

— Не будем думать о нем; это только волнует ваше величество.

— Да, волнует, очень волнует. До сих пор даже враги считали Людовика добрым человеком.

— О, у вашего величества золотое сердце. Может быть, мы перейдем к дамам?

— Милорд, — резко сказал король, крепко сжав руку Эглинтон, — мы не должны допустить этого юного безумца нарушать дольше внешнюю политику Франции. Герцог Кумберлендский, наш личный враг на поле брани, доказал, что Англия доверяет чести Франции даже во время военных действий; но он требует доказательства.

— Конечно, мы должны дать это доказательство, ваше величество; принц Карл Эдуард Стюарт...

— Вот именно, милорд,— спокойно сказал Людовик,— это и есть то доказательство, которого Англия от нас желает.

— Боюсь, что я не совсем понимаю,— сказал немного озадаченный лорд Эглинтон.— Говоря правду, я ведь очень плохо соображаю, а вот моя жена, может быть...

У короля вырвалось резкое восклицание нетерпения; но тут вмешалась мадам Помпадур и заговорила голосом, которому она со свойственным ей умением постаралась придать почти ласковое выражение, и ее нежные пальчики легли на руку контролера.

— Это все очень просто, милорд,— прошептала она так же таинственно, как это делал король.— Этот Карл Эдуард Стюарт,— вечное мучение для Англии. Его светлость герцог Кумберлендский был обвинен в ненужной жестокости, так как принужден был принять строгие меры для подавления такого рода восстаний; очаг этих восстаний — Шотландия, благодаря постоянному пребыванию там молодого претендента. Легкое возмущение он разжигает до степени пожара; он возбуждает страсти и создает ложно направленный энтузиазм, ведущий к бесконечным для всех тревогам.

Когда она умолкла, задыхаясь от волнения, пристально глядя на короля своими голубыми, цвета незабудки, глазами, «маленький англичанин» сказал:

— Как превосходно вы рассказываете, маркиза! Клянусь, я никогда не слыхал такого безукоризненного красноречия.

— Дело не в красноречии маркизы,— нетерпеливо перебил король,— хотя она изложила этот вопрос удивительно ясно. Герцог Кумберлендский обратился к нашей чести. Хотя мы и воюем с Англией, но мы не питаем никаких враждебных чувств к ее царствующему дому и вовсе не желаем, чтобы из-за молодого безусого авантюриста с головы короля Георга слетела корона, тем более, что Карл Эдуард имеет столько же прав на английский престол, сколько вы, милорд, имеете прав на корону Франции.

— И его светлость герцог Кумберлендский просил помощи у его величества,— прибавила мадам Помпадур.

— Как странно! Принц Карл Эдуард также просил помощи его величества.

— Герцог Кумберлендский хочет овладеть самим претендентом,— продолжала Помпадур, не обращая внимания на это заявление,— чтобы он больше не мог возбуждать энтузиастов к восстанию и перестал вовлекать Шотландию и Англию в ужасы междоусобной войны.

— Его высочество, мне кажется, просит немногого,— с расстановкой произнес лорд Эглинтон.

— И Англия всегда готова заплатить за исполнение ее требований.

— Также и в этом случае? — спросил министр.

— Его высочество герцог Кумберлэндский предложил передать нам из рук в руки пятнадцать миллионов ливров за выдачу претендента, — сразу решившись, сказал король, в упор глядя в лицо контролера.

— А, из рук в руки!

Людовик и маркиза Помпадур с облегчением вздохнули. Эглинтон совершенно спокойно выслушал объяснение. Он вовсе не был поражен, и его доброе лицо не выразило ничего, кроме легкого удивления, весьма естественного при данных обстоятельствах; голос же его, ровный и чистый, как всегда, ни на йоту не повысился.

— Из рук в руки! — повторял он, качая головой, как будто стараясь вникнуть в смысл этой фразы.

Какое необыкновенное счастье! Милорд не сделал ни малейшего возражения! Даже досадно, что было потрачено столько напряжения мысли, беспокойства и красноречия, когда все совершилось так легко и просто! Мадам Помпадур сделала своему царственному покровителю ободряющий знак. Сколько значения было во взгляде, сопровождавшем это движение!

«Он принял это сообщение с легким сердцем, — казалось, говорил этот взгляд, — и считает это вполне естественным. Так как мы не знаем, где находится принц, нам пока необходима помощь милорда, который один может нам открыть его местопребывание, а также передать нам условный знак, по которому Карл Эдуард доверчиво попадет в подставленную ему ловушку. Он-то считает, что все это очень просто, и нам совсем ни к чему давать ему, как мы сперва хотели, такую крупную долю из наших миллионов».

Все это и еще больше можно было прочесть во взгляде мадам Помпадур, устремленном на «обожаемого» Людовика; прежде чем продолжать разговор, он также кивнул ей в ответ, а затем произнес уже более спокойным и деловым тоном:

— Это — очень выгодное предложение, хотя, конечно, исполнить его будет не так-то легко, как предполагает его светлость. Он хочет, чтобы мы послали к берегам Шотландии корабль навстречу молодому искателю приключений и его друзьям, взяли их на судно и, доставив их в английский порт, передали с рук на руки властям. Воображаю, как это будет просто сделать!

— Замечательно просто, ваше величество.

— Разумеется, вам придется немного нам помочь, милорд. О, очень немного: дать указание относительно места, где наш корабль легче всего может настигнуть Карла Эдуарда, и вручить нам условный знак, который заставит молодого бунтовщика отнестись с доверием к его подателю; получив его, принц добровольно взойдет на корабль в сопровождении хотя бы нескольких друзей... Вы следите за мною, милорд?

Вопрос был вполне уместен: лицо лорда Эглинтонна выражало такое равнодушие, что даже король был озадачен, так как приготовился к некоторому протесту со стороны человека, которому предлагали продать друга. В этот период своей жизни Людовик был глух к вопросам не только чести, но даже простой честности, из-за постоянной настоятельной нужды в деньгах для удовлетворения своих прихотей; все же в его жилах текла кровь Бурбонов, и она громко вопила против согласия на поступок, который покрыв бы позором любого из его подданных. Вот почему он и со стороны лорда Эглинтонна ожидал открытого протеста и взрыва негодования. Но такая готовность принять этот постыдный, возмутительный торг привела Людовика в ужас: Эглинтон хладнокровно согласился продать своего друга, словно дело шло о продаже лошади.

— Вы следите за мной, милорд? — повторил король.

— Да, да, ваше величество, — поспешно ответил Эглинтон, — я слежу за вами.

— Вы понимаете, в чем состоит услуга, которой мы у вас просим?

— Да, понимаю.

— За эту услугу, милорд, вы будете щедро вознаграждены. Нам кажется, что миллион ливров* на вашу долю — достаточное вознаграждение?

— Ваше величество очень великодушны, — безучастно сказал Эглинтон.

— Мы только справедливы, милорд, — произнес король, с облегчением вздохнув.

Казалось, главный контролер был вполне удовлетворен, и королю больше не о чем было с ним говорить. В душе Людовик уже сожалел, что так много пообещал ему; по-видимому, было бы совершенно достаточно и пятисот тысяч ливров.

— Итак, дело можно считать решенным, — заключил его величество, отодвигая стул и приготовляясь положить конец разговору, которого он так боялся и который, однако, прошел так удачно. Вот только жаль миллиона ливров! Можно было обойтись половиной этой суммы, в крайнем случае — обе-

* Старинная французская серебряная монета, ценностью несколько ниже франка (около 35 коп.).

шать семьсот тысяч. Однако личное состояние контролера оказывалось вовсе не так велико, как гласила молва! А, может быть, все деньги были в руках Лидии? Значит, решено, милорд? — еще раз повторил Людовик. — Мы подумаем о выборе корабля и о секретных предписаниях. Вы видите, нет никакого риска, а, кроме того, мы будем очень рады приобрести расположение герцога Кумберлендского. Оказать услугу врагу, а? Что вы на это скажете, милорд? Мирный, благожелательный поступок во время войны! Рыцарство, достойное нашего предка, Генриха Наваррского! Этот факт будет отмечен историей.

— Я тоже так думаю, ваше величество, — с видимым убеждением сказал Эглинтон.

— Теперь нам с герцогом Домоном остается привести этот план в исполнение. Вы счастливы, милорд: ваша роль в деле крайне проста. Как только корабль будет готов к отплытию, мы обратимся к вам за необходимыми указаниями. Это — чудесное дело для всех нас, милорд: вам, в ваш карман — миллион за одно слово и какой-то знак, в нашу королевскую кассу — остальные четырнадцать миллионов и благодарность его светлости герцога Кумберлендского в придачу; не говорю уже о нравственном удовлетворении от сознания, что мы помогли подавить мятеж и связали нашего врага вечной признательностью. И все это исключительно для блага Франции. — Людовик поднялся с места. Он был необыкновенно доволен; на его губах появилась масляная улыбка; все его существо дышало благодушным приветом. Пошарив в широких карманах своего кафтана, он вынул письмо с большой красной печатью. — Вот письмо его светлости, милорд, — произнес он, в знак высшего доверия протянув документ контролеру, который принял его в глубоком молчании. — Прочтите это письмо и убедитесь, что мы не заблуждались, что это дело ясное, справедливое...

— Проклятое, отвратительное, грязное дело, ваше величество!

Без сомнения, эти слова были произнесены лордом Эглинтоном; его правая рука, как бы следуя течению его мыслей, скомкала находившуюся в ней бумагу, а левая поднялась, словно готовясь разорвать в клочки это бесчестное предложение. Да, это был именно мягкий голос министра, произнесший проклятия таким бесстрастным тоном и так тихо, что двое стоявших около него едва могли расслышать его; в голосе не было ни страсти, ни дрожи, ни даже волнения! Было только констатирование неоспоримого факта, личное мнение, высказанное в ответ на предложенный вопрос.

Совершенно сбитый с толку Людовик смотрел на Эглинтон, словно пробудившись от сна; с минуту он думал, что просто ослышался или придал другой смысл словам, сказанным так спокойно; он инстинктивно схватился рукою за стул, с которого только что встал; казалось, ему нужна была прочная материальная опора, чтобы не упасть,— так сильно закружилась у него голова.

Мадам Помпадур также быстро поднялась со своего места, сердито оттолкнув кресло. Разочарование наступило слишком ярко и неожиданно, в тот самый момент, когда полная победа казалась несомненной. В то время, как Людовик почти печально смотрел на контролера, фаворитка кипела бешенством, презрением и жадой мщения. «Маленький англичанин» одурачил ее, насмеялся над нею и над королем, делая вид, будто сочувствует их планам, и в то же время тайно издеваясь над ними! Презренный, самонадеянный плут!

Эглинтон по-прежнему сидел, прислонясь к углу кровати и глядя прямо перед собой в окно, выходившее в парк, бесстрастный и спокойный, как будто это дело совершенно не касалось его, как будто он не сознавал всей чудовищности своего поступка.

— Проклятое?... Отвратительное? — в смущении пробормотал король.— Но, милорд...

— Умоляю вас, ваше величество,— вдруг произнес серьезный голос,— кажется, мой муж разгневал ваше величество? Удостоите объяснить мне все дело.

Крутом по-прежнему стоял гул голосов, и тихий разговор около постели милорда не привлекал ничьего любопытства. Удивление, возбуждение благожелательной снисходительностью короля сменилось полным равнодушием; ясно было, что любезность Людовика к министру финансов была вызвана экстренной нуждой в деньгах, а требования все новых и новых сумм были со стороны короля так часты, что уже не возбуждали больше интереса.

Подслушать разговор, не нарушая почтительного отношения к королевскому сану, было невозможно, а такое нарушение считалось гораздо менее простительным, чем самое ненасытное любопытство. Одна Лидия, пользовавшаяся особыми правами, не обращала, по-видимому, внимания на преграду, отделявшую Людовика, маркизу Помпадур и Эглинтон от остальных присутствовавших. Теперь она стояла в изножье кровати; ее грациозная фигура в сером платье напоминала монахиню. Одной рукой держась за резьбу кровати, она пристально глядела в лицо короля своими блестящими, серьезными глазами.

Наконец Людовик вышел из оцепенения, в которое его повергли слова Эглинтон; изумление уступило место гневу. Появление Лидии и ее вмешательство, конечно, должны были окончательно разбить все его надежды на поправление финансов. Пред его глазами стояли соблазнительные миллионы, он почти чувствовал их в своих королевских руках и слышал их упоительный звон, и вдруг «странное» поведение милорда лишило его этого сокровища. Теперь все изменилось. Дело надо было начинать сначала, и при настоящих обстоятельствах оно затянется на долгое время. Милорда, пожалуй, еще можно было бы уговорить, но Лидия, наверно, будет неумолима.

Его величество нахмурился, увидев пред собой изящную фигуру в светло-сером шелковом платье, олицетворявшую собою молодость и красоту, с высоко поднятой гордой головкой, с большими серыми глазами, в которых светились сила и власть. В его голове мелькнула мысль, что внезапная перемена в мыслях Эглинтон (а в этой перемене он ни минуты не сомневался!) произошла из инстинктивного страха, который заставило его почувствовать присутствие Лидии, так как видеть ее приближение он не мог. Это соображение еще враждебнее настроило короля против молодой женщины, спокойно ожидавшей его разъяснений.

— Вы ошибаетесь, маркиза,— сурово заговорил он,— уверяю вас, что между нами и милордом царило полное согласие, по крайней мере, так было несколько минут назад.

— Пока я не подошла? — спокойно спросила она.— Я очень рада этому, так как, надеюсь, мне нетрудно будет убедить ваше величество, что мое присутствие не может повлиять на поступки господина контролера и его чувство глубокого уважения к вашему величеству.

— Надеюсь! — едко прервала маркиза Помпадур.— Мы надеемся также, что милорд приобрел наконец способность говорить и выскажет нам свои доводы.

Но Людовик вовсе не желал возобновлять разговор при Лидии. Он так же, как и герцог Домон, отлично знал, что позорное предложение, которое он, несмотря ни на что, решил принять, не возбудит в ее душе ничего, кроме отвращения и ужаса. Конечно, трудно было обойтись без содействия лорда Эглинтон, а этот безвольный глупец, наверное, станет поддакивать своей жене. В то же время в голове Людовика мелькнул другой план захватить Карла Эдуарда, и он с жадностью ухватился за эту мысль. Рано или поздно молодой претендент будет вынужден покинуть берега Шотландии; его друзья могли выслать помимо ведо-

ма французского короля другой корабль для освобождения беглеца. На обратном пути домой этот корабль может быть перехвачен; Карлу Эдуарду придется тогда провести некоторое время во Франции, а затем...

Кроме того, были, конечно, и другие средства приобрести эти соблазнительные миллионы, но эти средства нужно было еще изобрести, обдумать, нужно было составить план действий и привести его в исполнение; решение вопроса будет таким образом отсрочено, а королевские сундуки необходимо было немедленно пополнить. Для короля только одно было ясно: говорить на эту тему с маркизой Эглинтон не представлялось возможным, — это грозило ненужным унижением в случае отказа.

Как будто в ответе на вызывающие слова маркизы Помпадур лорд Эглинтон спокойно возвратил королю письмо герцога Кумберлендского, а тот в свою очередь с величавым равнодушием спрятал бумагу в карман, сказав при этом:

— Нет, нам не к чему беспокоить маркизу этим вопросом; она совершенно незнакома с делом, а повторять все сначала утомительно, да и скучно.

— Прошу извинения у вашего величества, если я злоупотребила своим правом, — возразила Лидия, — но жажда служить Франции и вашему величеству необыкновенно обострили мои чувства. Мои глаза видят в темноте, а уши слышат на далеком расстоянии.

— Одним словом, маркиза Эглинтон подслушивала, — с усмешкой произнесла Помпадур.

— Не подслушивала, а слышала, — хладнокровно возразила Лидия.

— Значит, вам все известно? — с напускным равнодушием спросил Людовик.

— О, да! — и Лидия улыбнулась.

Сегодня положительно был день сюрпризов, так как в ее улыбке ясно сказывалось поощрение.

— А... что же вы скажете на это? — с тревогой спросил король, немного ободренный ее улыбкой.

Неужели ему суждено было найти союзника там, где он ожидал наткнуться на самое упорное противодействие?!

— Мне кажется, что милорд немного поторопился, — спокойно ответила Лидия.

— А-а!

Людовик глубоко вздохнул, почувствовав сильное нравственное удовлетворение, и вслед за ним с облегчением вздохнула и маркиза Помпадур.

— Это предложение, насколько я поняла, идет из Англии, не так ли, ваше высочество?

— От его светлости, герцога Кумберлендского, — подтвердил король, снова вынимая письмо из кармана.

— Ваше величество позволите мне взглянуть? — спросила Лидия.

Людовик с минуту поколебался, но затем передал ей письмо. Раз она знала его содержание, то он ничем не рисковал. При содействии Эглинтонов дело пойдет неизмеримо быстрее и успешнее.

Лидия сначала до конца прочла письмо, по-видимому, вся уйдя в его содержание; она даже ни разу не подняла глаз, чтобы поинтересоваться, как за нею наблюдают. Тем не менее она прекрасно знала, что взоры короля жадно впились в ее лицо и что на лице Помпадур не было ничего, кроме алчности к предложенным миллионам. На мужа Лидия также ни разу не взглянула. С той минуты, как у него в порыве негодования вырвались резкие слова, когда его гибкие пальцы смяли проклятое письмо, которое Лидия читала с таким вниманием и которое он готов был с отвращением и презрением разорвать в клочки, он не произнес ни одного слова. В ту минуту, как она заговорила, он обернулся и посмотрел на нее, и теперь она чувствовала, что он уже больше не сводил с нее взора, чувствовала — и не смотрела на него. Он был слишком слаб и наивен, чтобы понять ее; она одна могла располагать своими поступками; это было главным условием их брачного договора.

Ее тонкое понимание двора, при котором она жила; ее подозрения относительно слабовольного монарха, доведенного своими необузданными прихотями до таких поступков, которые прежде его самого заставили бы сторечь от стыда; ее ужас пред интригами и предательство, — все это нашептывало ей благоразумные слова: «Повремени немного!». В то время как ее изящная фигура двигалась среди жужжащей толпы, ум ее все время стремился к группе людей около постели ее мужа. Она заметила выражение лица короля, когда он начал разговор с Эглинтоном, его необыкновенное добродушие, его интимную позу и шепот и горячее участие в этом маркизы Помпадур. Мало-помалу, не отделяясь вполне от остальной толпы, Лидия незаметно подвигалась все ближе и ближе, пока не заметила перемены в выражении лица Эглинтонна, скомкавшего данное ему королем письмо. Тут она смело приблизилась к их кружку. Благодаря своему положению, она могла это сделать, не привлекая ничьего внимания. Презрительные слова Эглинтонна, английский королевский герб на

печати письма в связи с сегодняшним обращением ее отца так же, как и его намеками, открыли Лидии все, что она хотела знать. И ее женский инстинкт, подобно молнии во время летней грозы, мгновенно осветил ей положение дела, подсказав мудрое решение:

«Сначала все узнать, потом выжидать. Дипломатией сделаешь больше, чем открытой борьбой».

Прочитав письмо, она уже не сомневалась, что король Франции готов был принять чудовищное предложение. От такой гнусности она почувствовала настоящую физическую тошноту, но, несмотря на это, аккуратно сложила документ и, спокойно взглянув на короля, сказала, принудив себя улыбнуться:

— Герцог Кумберлэндский очень щедр.

— Еще бы! — весело подтвердил Людовик, к которому сразу вернулось хорошее настроение, так как дело, по-видимому, складывалось как нельзя лучше.

— Если я верно понимаю, то ваше величество желаете, чтобы мы приняли предложение герцога?

— А что вы сами думаете, маркиза?

— Об этом стоит подумать, — с расстановкой произнесла она.

— *Parbleu!** Вы — настоящая женщина! — воскликнул Людовик, сияя от радости. — В вас столько мудрости, как у любого государственного мужа. Подумать только, что мы могли сомневаться в этом светлом уме и его здравом суждении!

— Надеюсь, ваше величество всегда будет помнить, что мое единственное желание — быть полезной Франции и ее королю.

— *Par ma foi!*** Поверьте, мы не забудем вашей помощи в этом деле, маркиза, — искренне воскликнул он. — Итак, мы можем положиться на ваше содействие?

— Чего ваше величество желает от меня?

Король вплотную подошел к Лидии, и она принуждена была сделать усилие, чтобы не отступить от него хоть на один дюйм. Ради принца-беглеца и его друзей, доверившихся чести Франции, ради этой чести, которая была ей так же дорога, как ее собственная, она не смела теперь отступать, она должна была скрыть отвращение и страх, хотя все ее существо возмущалось от близости повелителя Франции, ее дорогой родины! Его лицо в эту минуту казалось ей отвратительным,

* Черт возьми!

** Клянусь Богом!

глаза косыми, и в них светились жадность к деньгам и постыдное предательство.

— Мы все уже объяснили милорду, — задыхаясь, прошептал король. — Следует снарядить корабль и выслать его навстречу Стюарту. У капитана будут секретные предписания; конечно, нужен человек, на которого мы могли бы вполне положиться и которому надо будет потом заплатить, понимаете?

— Понимаю, ваше величество.

— От вас мы хотим узнать место в Шотландии, где капитан найдет Карла Эдуарда. Да еще нам нужен знак — кольцо или слово, по которому этот молодой искатель приключений доверит себя и своих друзей нашему кораблю. Видите, как все это просто?

— Совсем просто, ваше величество.

— Как только корабль примет на палубу Стюарта и его приверженцев, он должен немедленно плыть в ближайшую английскую гавань, вот и все! — любезно прибавил Людовик.

— Да, это — все, ваше величество.

— А в день, когда Карл Эдуард Стюарт будет передан английским властям, ваш король, маркиза, получит пятнадцать миллионов ливров, из которых один миллион будет выдан «на булавки» самому способному государственному деятелю в целой Европе.

Людовик с преувеличенной любезностью низко-низко склонился пред Лидией и обеими руками пожал ее холодную, бесчувственную руку. Он был слишком взволнован, слишком ликующе радостен, чтобы обращать внимание на что бы то ни было; одно было ему ясно: ему удалось заручиться содействием Лидии Эгlington, без чего все его планы откладывались в долгий ящик, а, может быть, и совсем рушились бы. Да, он недаром провел сегодняшнее утро.

— Я — ваш вечный должник, маркиза! — весело сказал он. — Поверьте мне, очень выгодно служить королю Франции.

— Но я еще ничего не сделала, ваше величество, — возразила Лидия.

— Да, но вы сделаете, — уверенно произнес Людовик.

Она наклонила голову, и король опять истолковал это движение в свою пользу. Нетерпение терзало его; ему хотелось поскорей окончательно обо всем условиться, сообразно с его желанием.

— Вы не дадите мне сейчас решительного отъезда?

— Среди такого шума, государь? — сказала она, заставив себя весело улыбнуться. — Это слишком серьезный вопрос, и я должна посоветоваться с отцом.

По губам Людовика пробежала довольная улыбка. В этом деле герцог Домон был с ним заодно. Как это ни странно, письмо было послано на имя первого министра. Герцог питал слабость, даже больше — он был рабом династии Бурбонов и, зараженный, — увы! как и вся французская аристократия, ужасным ядом — ненасытной жадностью к деньгам, был подкуплен, чтобы идти рука об руку с королем. Поэтому Людовик мог быть спокоен. Будет даже очень кстати, если Лидия поговорит с отцом: он рассеет в ней последние сомнения.

— А ваш муж? — с ядовитой улыбкой прибавил король, бросив через плечо быстрый взгляд на Эглинтону.

— О, мой муж всегда будет на моей стороне! — уклончиво ответила Лидия.

При мысли об отце и о любезной улыбке короля она содрогнулась. Еще одна минута — и ее напускное спокойствие могло покинуть ее. Ей казалось, что она больше не выдержит этой возмутительной комедии; ей хотелось громко кричать от ужаса, отвращения и глубокой скорби при мысли о том, что ее отец купается в такой грязи.

Молодая женщина взглянула на мужа. Он уже больше не смотрел на нее, а спокойно стоял возле маркизы Помпадур, которая, предоставив королю сговориться с Лидией, завязала с лордом Эглинтоном легкий разговор. Он опять был совершенно спокоен, и в его лице, по обыкновению скромном и застенчивом, не было и следа недавнего возмущения.

Лидия по-прежнему держала в руке письмо герцога Кумберлендского. Ей казалось, что оно жгло ей пальцы своим отвратительным прикосновением; но оно ей было нужно, и, сделав над собой нечеловеческое усилие, она принудила себя взглянуть прямо в лицо Людовику и успокоительно улыбнуться.

— Я поговорю с моим отцом, государь, — повторила она, пряча конверт за корсаж платья, — и снова перечту письмо, когда буду одна и никто не будет мешать мне.

— И тогда вы дадите мне окончательный ответ?

— Да, послезавтра.

— Отчего не раньше? — с нетерпением произнес Людовик.

— Послезавтра, — с улыбкой повторила она. — Мне надо хорошенько все взвесить; кроме того, единственный знак, которому поверит Карл Эдуард, находится у лорда Эглинтону.

— Понимаю, — многозначительно сказал король. — *Par ma foi!* Приходится поневоле запастись терпением. Целых два

дня! Ну, а пока мы займемся приготовлениями к отправке корабля. Мы имели в виду «Монарх»; что вы на это скажете?

— «Левантинец» быстроходнее.

— Это — правда. И к тому же можно положиться на его капитана. Он многим обязан маркизе Помпадур. А для того, чтобы отвезти тайный приказ капитану «Левантинца», мы, как только корабль будет готов к отплытию, пошлем в Брест племянника маркизы, Люжака. Думаю, что мы можем довериться ему. Его интересы слишком тесно связаны с нашими. На тайном приказе будет наша собственная королевская подпись, и вы сами вручите его, вместе с условленным знаком, избранному нами посланцу.

Король еще раз любезно кивнул Лидии головой, а она с полным почтением низко присела пред ним, как того требовал этикет. Людовик пристально посмотрел на нее, но ничто в ее спокойном, ясном лице не могло, по-видимому, поколебать его уверенность и испортить хорошее, радостное настроение. Он протянул ей свою пухлую руку с короткими, толстыми пальцами, униженными драгоценными кольцами, и Лидия, не желая коснуться губами его тела, поцеловала большую печать — знак королевского достоинства, который она уважала и которому оставалась верна.

Что произошло в течение последующих десяти минут, она не могла бы с точностью сказать. Ее мысли путались, и она невольно содрогалась всякий раз, как проклятое письмо шуршало у нее за корсажем. Машинально следила она за уходом короля, и ей, по-видимому, удалось соблюсти необходимый декорум.

Так же машинально смотрела она на гудевшую, расходившуюся толпу. Громадная комната все больше и больше пустела, гул голосов понемногу затихал. Лидия видела согнутую спину своего мужа, молча склонявшегося в ответ на прощальные приветствия придворных льстецов; в ее ушах звучал шепот голосов, большею частью выражавших просьбы: не забыть или исполнить, в крайнем случае — обещать. Пред нею медленно двигалась процессия придворных льстецов, друзей и врагов; среди них она смутно различала яркое платье графини де Стэнвиль.

Прелестная Ирэна долго оставалась около лорда Эглинтонна и ушла одна из самых последних; хотя Лидия принуждала себя не смотреть в ту сторону, она не могла не слышать раздражающей болтовни этой женщины и ровного голоса Эглинтонна, говорившего комплименты, лыстившие ненасытному тщеславию пустоголовой куклы. И это в ту минуту, когда он знал, что хотели предать его друга! Бесчестие! Ужас! Грязь!

К счастью Лидия не виделась с отцом. Если бы она заметила в его лице то же отвратительное выражение предательства, возмущившее ее в Людовике, силы, наверное, изменили бы ей.

Наконец ушли и последние из этой эгоистичной и равнодушной толпы. Громадная комната опустела. Лорд Эглинтон пошел провожать до дверей графиню де Стэнвиль. Шум голосов и смех долетали теперь, как слабое, отдаленное эхо. Наконец и эти звуки замерли в далекой галерее.

Лидия дрожала, как в лихорадке.

Х

Теперь она осталась одна!

Оцепенение прошло, равно как и острое чувство отвращения, которое в последние полчаса притупило все ощущения Лидии и заставляло двигаться и говорить подобно не отвечающему за свои поступки автомату. У нее было такое чувство, как будто и на самом деле ей пришлось дотронуться до нечистого, гадкого пресмыкающегося, исчезнувшего в эту минуту из ее глаз. Конечно, оно скоро снова выползет из своей норы, но к тому времени она успеет подготовиться.

Да, она должна быть готова. Она больше не дрожала от ужаса пред ним, но призывала на помощь весь свой ум, всю свою холодную рассудительность и привычный, быстрый способ действия, чтобы уничтожить чудовище или, по крайней мере, обессилить его.

Лидия понимала, что король не позволит кормить себя неопределенными обещаниями. По прошествии двух дней отсрочки он начнет приводить в исполнение то, что она хотела только отсрочить, не имея, конечно, намерения помешать ему в его гнусных планах. Тогда он начнет действовать самостоятельно.

Когда он поймет, что она намеревалась обмануть его, он, при своей изобретательности, всегда найдет средства не дать этим заманчивым миллионам ускользнуть у него из рук.

Хотя в настоящее время он и не знал, где и как захватить Карла Эдуарда и его друзей, однако он мог догадаться, что они по необходимости будут искать убежища на уединенном западном берегу Шотландии. Об этом береге всегда упоминали более или менее определенно в связи с экспедицией на помощь несчастному принцу, и хотя снаряжение судов находилось всецело в ведении главного контролера финансов, но Людовик, имея в перспективе милли-

оны, всегда мог снарядить «Левантинца», не прибегая к средствам казны, и послать его на розыски. К тому же было более чем вероятно, что Карл Эдуард, из опасения быть открытым и взятым в плен, будет готов доверить себя и своих приверженцев первому французскому судну, которое попадется на его пути, независимо от того, передаст ему капитан условный знак от его друга или нет.

Лидия была уверена, что все это, разумеется, придет в голову королю Людовику в случае ее решительного отказа в содействии или при ее попытке отложить ответ еще на несколько дней. Таким же путем, как и она, он рано или поздно дойдет до подобных соображений. Великое дело было выиграть два дня. Задержка в осуществлении планов короля на целые сорок восемь часов даст ей все-таки возможность противодействовать им.

Так обстояло дело относительно короля Людовика и его соображений. Что же касалось лично Лидии, то она считала своим священным долгом отвратить и предупредить это недостойное предательство; а это представлялось ей не так уж трудным, если умело воспользоваться двухдневной отсрочкой и найти человека, которому можно было бы довериться.

Ее мысли понемногу прояснились. «Монарх» был готов в любой момент выйти в море. Капитан Барр, командир судна, был сама честность. Необходимо отправить расторопного и верного человека в Гавр с приказанием капитану немедленно сниматься с якоря и плыть к уединенному месту, известному только ей и ее мужу, где Карл Эдуард и его сподвижники, вероятно, уже укрылись в ожидании помощи.

Кольцо с печатью лорда Эглинтон, доверенное капитану Барру, сейчас же пробудит доверие в беглецах. Задержки быть не может, и, если ветер и погода будут благоприятствовать, то «Монарх» примет на палубу принца и его друзей, прежде чем «Левантинца» успеют снарядить к отплытию.

«Монарх» не должен сразу возвращаться домой: сначала он пристанет к берегам Ирландии, а затем обойдет Британию кружным путем. Это будет, разумеется, гораздо дольше, но так или иначе надо довести до минимума риск для беглецов быть перехваченными в пути.

Сначала беглецы могут поселиться в какой-нибудь уединенной деревушке внутри страны, пока будут приняты меры для приискания им постоянного места жительства в Австрии, Испании или другой стране, где они были бы в безопасности от вероломных замыслов Людовика XV.

Лидия говорила себе, что этот грандиозный план надо приводить в действие с крайней осторожностью. Ведь опасно навлекать на себя гнев Бурбона. В лучшем случае, если

даже народ и парламент открыто примут ее сторону, то, по всей вероятности, этим будет положен конец ее карьере, так же, как и карьере мужа, а следовательно — конец и всем ее мечтам.

Само по себе исполнение начертанного плана не представляло особенных трудностей, если бы только у нее был человек, которому она могла бы слепо довериться. В этом заключалась главная суть дела, от этого зависел весь успех.

Ее единомышленник, кто бы он ни был, должен был сегодня же после полудня отправиться в Гавр, захватив с собой инструкции для капитана Барра и перстень с печатью ее мужа.

Между Версалем и Гавром было ровно полтораста лье*, и Лидия хорошо понимала, какая сила и выносливость потребуются для такой форсированной езды, почти без остановок. Для этого прежде всего нужно быть молодым и верить в дело. До Гавра необходимо добраться, прежде чем восходящее солнце бросит свои первые лучи на море и прибрежные утесы, и «Монарх» должен уже плыть на всех парусах к далекой Шотландии, пока Франция еще будет спать безмятежным сном. Чтобы с успехом выполнить такое поручение, всадник должен запастись добрым конем и обладать силой молодого быка и хитростью лисицы.

Обдумывая все это, Лидия продолжала сидеть в амбразуре окна. Ее глаза были закрыты; хорошенькая головка с массой густых каштановых волос покоилась на цветной, нежных тонов подушке кресла; словно точеные, обнаженные до локтей руки бессильно лежали на коленях, и одна из них все еще держала позорное письмо герцога Кумберлендского. Вся фигура молодой женщины олицетворяла собой мечтательную задумчивость.

Так сидела она без малейших признаков внутреннего волнения, обдумывая мельчайшие подробности своего плана — без малейших признаков волнения, хотя внутри нее все кипело. Ей страстно хотелось действовать, двигаться, но она презирала бы себя, если бы не сумела подавить внешние признаки своего волнения, если бы не могла справиться с горячим желанием ходить взад и вперед по комнате, рвать на части гнусное письмо и ломать на куски попадающиеся под руку безобидные предметы.

Мало-помалу пред ее умственным взором на фоне общей картины вырисовалась фигура ее мужа, «маленького англичанина», друга Карла Эдуарда Стюарта; это был слабовольный, изнеженный, бестактный, но, несомненно, честный человек.

* Старинная французская мера длины, немного более четырех верст.

При мысли о нем Лидия улыбнулась. Как мало знала она своего мужа! Она только что была свидетельницей того нескрываемого отвращения, с каким он отнесся к низким предложениям английского герцога, но почти презирала его за такое яркое отсутствие дипломатического такта. Как и подобало мужчине, он не мог скрыть свое отвращение пред вероломством Людовика и, пытаясь доказать верность своему другу, чуть было не ускорил катастрофу, которая предала бы Карла Эдуарда в руки его врагов. Только благодаря своевременному вмешательству Лидии король, рассерженный и взволнованный, будет колебаться и обдумывать свои планы, и этим временем можно будет воспользоваться, чтобы помешать исполнению его замыслов.

В отношениях молодой женщины к мужу была странная смесь презрения и доверия, и в своих поисках человека, на которого можно было бы положиться, она невольно вспомнила о муже, чувствуя, что его одного она могла посвятить в свою тайну. Впрочем, ей во всяком случае пришлось бы спросить у него заветное кольцо, а также справиться относительно последних распоряжений и точного местопребывания Стюарта и прочих беглецов. В таком случае, отчего бы ему самому не отправиться в Гавр?

При этом предположении она опять улыбнулась. Она ведь даже не знала, умеет ли Эглинтон ездить верхом, а если бы и умел, хватит ли у него сил и выносливости для такой безостановочной езды с головокружительной быстротой, да еще почти без пищи, в течение целых суток?

В сущности она крайне мало знала своего мужа. Они всегда жили врозь. В этот короткий год их совместной жизни они стали друг другу еще более чужими, чем были до свадьбы. Он без сомнения считал ее черствой и неженственной, а ей он казался слабым и недостаточно мужественным. Но, кроме него, никого не было под рукой, и Лидия с обычной решимостью выбросила из головы мысли о его недостатках. Она постарается не видеть в нем человека, погрязшего в искусственной жизни версальского двора с его раздражавшим ей нервы этикетом; человека, поддающегося лести Ирэны де Стэнвиль и в свою очередь восхваляющего ее женственность, разумеется, по контрасту с более сильной натурой его жены.

Позже, вспоминая обо всем происшедшем, Лидия не могла бы описать события этого утра в точной последовательности. Ей казалось, что по прошествии некоторого времени она оторвалась от своих мечтаний, намереваясь от начала до конца привести в исполнение весь свой план;

что, все еще держа в руках постыдное послание, она встала с кресла и прошла через весь громадный приемный зал, направляясь в свой кабинет, чтобы там спокойно обдумать последние подробности. Конечно, ее мысль вовремя была сосредоточена на судьбе молодого принца и его друзей, почему невольно касалась и ее мужа; но она никак не могла в строгой последовательности припомнить, в какой именно момент голос лорда Эглинтон примешался к ее мыслям о нем.

Одно она твердо помнила: проходя мимо напоминавшей трон кровати и невольно вспоминая Эглинтон, ухаживавшего за Ирэнрой в ярко-розовом платье, она неожиданно услышала его голос:

— Одну секунду, маркиза! Прошу вас уделить мне только одну секунду!

Лидия уже взялась за золоченую ручку двери, в которую намеревалась пройти, однако голос мужа слышался совсем близко позади нее. Она слегка повернулась к нему. Он стоял, пристально глядя на нее серьезными глазами, в которых читались мольба и, кроме того, что-то неуловимое, что она сразу не могла понять.

— Я шла в свой кабинет,— сказала она, невольно отступая, так как не ожидала встретить здесь мужа.

— Потому-то я и прошу у вас прощения за свое вторжение,— просто сказал он.

— Чем могу я быть вам полезна?

— Если вы удостоите меня...

Он запнулся.

— Да?

Она привыкла к застенчивости мужа и его нерешительной манере говорить, всегда раздражавшей ее; но теперь ей хотелось быть с ним ласковой; она даже была рада, что встретила его здесь. Ей казалось, что его появление было ответом на ее желание поручить ему отвезти тайный приказ командиру «Монарха».

Он перевел свой взгляд на ее опущенную руку.

— Прошу вас, маркиза, отдайте мне письмо, которое вы держите в руке.

— Вам? Зачем? — спросила она, причем улыбка мгновенно исчезла с ее лица.

— Я не могу допустить, чтобы маркиза Эглинтон, моя жена, хотя бы одну секунду грязнила свои пальцы прикосновением к подобной гнусности.

Эглинтон говорил свойственным ему спокойным, ровным и застенчивым тоном, не сводя с жены испытующего взора.

Она инстинктивно крепче сжала письмо в руке; ее лицо снова приняло жесткое выражение, глубокая складка легла между ее бровей, и она взглянула прямо в лицо мужа с выражением гордого изумления, смешанного с презрением. В громадном зале воцарилась мертвая тишина; только слегка шуршала бумага, зажатая в руке Лидии, и это наводило на мысль, что эта изящная рука далеко не была спокойна.

Казалось, что после короткого разговора эти двое людей, почти чуждых друг другу, вдруг, по каким-то неуловимым причинам, сделались почти врагами и, стоя друг против друга, как будто взаимно измеряли силы, точно боясь скрытого удара. Женщина приготовилась отстаивать свою независимость, свое право на господство, которое, как ей казалось, хотели у нее оспаривать и которое она не хотела уступить ни за что на свете; мужчина был все так же нерешителен, смутно надеясь, что она не пойдет на борьбу, и чувствуя, что его панцирь был уязвим и что она владела оружием, сломить которое было ему не по силам.

— Я снова повторяю свое требование, маркиза,— сказал Эглинтон, помолчав.— Эта бумага...

— Странное требование! — холодно произнесла Лидия.

«Маленький англичанин» ничего не ответил, очевидно, уловив в ее тоне насмешку, так как легкая краска покрыла его бледные щеки. Помолчав несколько времени, чтобы сгладить впечатление от своих ядовитых слов, Лидия возразила со спокойным равнодушием:

— Вы, надеюсь, извините меня, милорд, если я обращаю ваше внимание на то, что до сих пор я считала себя единственным судьей своих поступков.

— Во всех других отношениях я согласен с вами,— ответил он, не обращая внимания на ее сарказм.— Но в данном случае я принужден просить вас, как это мне ни тяжело, отдать мне это письмо и объяснить, как именно вы намерены поступить.

— В свое время вы это узнаете,— надменно сказала она,— теперь же прошу у вас извинения; у меня есть дело и...

Лидия была слишком раздражена внезапным вмешательством мужа и, не желая показать это и тем нарушить законы учтивости, хотела удалиться. Но он бесцеремонно взялся за ручку двери и загородил ей дорогу.

— Милорд?! — возмутилась она.

— Боюсь, что я очень груб, маркиза,— мягко произнес он.— Но допустим, что тонкое французское обращение не могло исправить мою английскую грубость. Я знаю, что, за-

гораживая вам дорогу, нарушаю самые элементарные правила этикета, но я униженно просил вас дать мне разъяснения, а также и это письмо, а потому не могу разрешить вам уйти, пока не получу того и другого.

— Разрешить? — сказала Лидия с коротким, язвительным смехом. — Надеюсь, вы не заставите меня напомнить вам о договоре, на который вы добровольно согласились, прося моей руки?

— В этом нет никакой надобности, — я хорошо помню его. Я обещал вам не вмешиваться в вашу жизнь, предоставив вам устраивать ее по-своему, и оставить вам полную свободу мысли и действий, как вы пользовались до того времени, когда удостоили согласиться носить мое имя.

— Следовательно? — спросила она.

— Теперь совсем другое; дело касается моей чести и чести моего имени, — спокойно ответил Эгlington. — Я желаю сам быть охранителем этой чести.

Так как, по-видимому, Лидия не собиралась возражать, то он продолжал, но в его голосе не чувствовалось обычного спокойствия:

— Предложение, сделанное мне несколько времени тому назад его величеством, и письмо, которое вы продолжаете держать в руке, — так подлы и зловредны, что одно прикосновение к ним уже граничит с нравственным падением. Когда я вижу в ваших пальцах, которые я имел честь целовать, этот гнусный документ, мне кажется, что они держат ужасную ядовитую змею, самый вид которой должен внушать вам отвращение; вы должны отвернуться от нее, как от скользкой жабы.

— Что вы и сделали? — сказала она, презрительно пожав плечами при воспоминании о его безрассудстве, которое могло только ускорить катастрофу, тогда как она своей разумной дипломатией сумеет, быть может, отвратить беду.

— Что я и сделал, и, вероятно, очень грубо, — скромно согласился Эгlington, — в тот самый момент, когда мне все стало ясно. Видеть вас, мою жену, — да, мою жену! — повторил он с не свойственной ему твердостью в голосе, как бы в ответ на едва уловимое, неопределенное выражение, скользнувшее при этих словах по лицу Лидии, — видеть вас среди этой грязи, хотя бы самое короткое время, слушать, как вас склоняют на предательство, и смотреть, как вы целуете ту самую руку (хотя бы и короля Франции, — это для меня безразлично!), которая держала это позорное письмо... это было ужасно, невыносимо! Мне казалось, что я лишусь сознания. Я выдержал пытку, насколько это требовалось по эти-

кету; я с нетерпением ждал минуты, когда из вашей груди вырвется крик негодования и презрения по поводу этого гнусного письма; если бы вы не вмешались, я швырнул бы это письмо в лживое лицо этого царственного предателя. Но вы улыбались ему в ответ; вы взяли от него письмо. Господи, я видел, как вы спрятали его на вашей груди!

Он на минуту умолк, точно стыдясь своего страстного порыва, так непохожего на его обычное равнодушие. Казалось, надменный взор и плохо скрытое презрение жены только подстрекали его, заставив выйти из границ его обычной сдержанности.

Теперь Лидия уже не пыталась уйти; она стояла прямо перед ним, слегка прислонившись к портьеру из тяжелого блестящего красного шелка таких разнообразных оттенков, какие можно видеть только на редких сортах герани.

На этом фоне особенно рельефно выделялась ее тонкая, стройная фигура, полная непреклонной гордости. Красный шелк придавал теплый колорит ее каштановым волосам и белоснежной шее. Строгий, почти монашеский серый цвет ее платья, изящно собранная на груди косынка, волны кружев, выгодно подчеркивавших красоту ее рук, — все это составляло восхитительное сочетание нежных тонов на почти огненном фоне портьеры. В одной руке она все еще сжимала письмо, другою крепко держалась за занавес. С откинутой назад головой, с полураскрытыми, презрительно улыбающимися губами она смотрела на него сквозь длинные полупущенные ресницы.

Это была картина, способная зажечь страсть в сердце каждого мужчины. Лорд Эглинтон машинально провел рукой по лицу, точно отгоняя от себя тягостную, навязчивую мысль.

— Что же вы остановились? Поверьте, мне очень интересно слушать вас, — промолвила Лидия.

«Маленький англичанин» нахмурился, закусив губы, а затем сказал уже спокойнее:

— Прошу извинения! Забывшись, я переступил границы светских приличий. Мне уже немного остается сказать вам. Я не должен был утруждать вас таким долгим разговором, зная, что мое чувство в этом отношении не может заинтересовать вас. Когда несколько времени тому назад этот зал очистился от склонявшихся пред вами льстецов, я терпеливо ждал от вас первого слова, вроде того, что честь моего имени, одного из древнейших имен Англии, не должна быть запятнана вмешательством в двусмысленную дипломатию Франции. Тогда я не думал просить у вас объяснения; я ждал, что вы сами дадите его, что вы заговорите первая. Вместо того вы изучали

это гнусное письмо, не думая обо мне, даже не бросив на меня мимолетного взгляда, а затем с ясным, спокойным лицом и уверенной осанкой опытного государственного мужа намеревались пройти мимо меня.

— Значит, вы хотели требовать от меня разъяснения относительно моих поступков, хотя год тому назад дали торжественную клятву никогда в это не вмешиваться?

— Требовать? Слишком сильно сказано,— проговорил Эглинтон уже совсем мягко.— Я не требую, а на коленях прошу объяснения,— и подобно тому, как год назад, когда Лидия впервые положила свою руку на его руку, а он излил ей всю свою душу, он опустился на одно колено и склонился перед женой так, что его горячий лоб почти касался ее платья.

Лидия смотрела на него с высоты своего горделивого величия.

Откроют ли когда-нибудь боги тайну женского сердца? Лидия с таким же отвращением, как и сам Эглинтон, отнеслась к предложению короля; но она лучше его знала, с кем имеет дело, и хотела только выиграть время. Хотя она сознавала, что ее муж прав, однако в ее сердце зародилось чувство какого-то странного озлобления и обиды. С самого дня свадьбы она и Эглинтон были чужими друг для друга; она никогда не старалась понять мужа; в ее душе все росло чувство презрения, возбуждаемого его застенчивостью и мягкостью. Но теперь, когда он так явно не понял ее, когда он допустил, что она готова была согласиться на гнусное предложение или, по крайней мере, не вполне осуждала его,— гордость ее возмутилась.

Он не имел права считать ее такой низкой! Именно он был предметом ее мыслей, когда она соображала, как лучше и скорей спасти его друга; она даже хотела прибегнуть к его помощи и содействию. Он должен был понять ее, должен был угадать истину, а теперь она ненавидела его за то, что он посмел подозревать ее.

Лидия была слишком горда, чтобы вступить в какие бы то ни было объяснения: это значило бы, что она оправдывается, а в чем? Во всяком случае это было бы унижением для нее. По мнению Эглинтона, во Франции, кроме него, не было ни одной честной и прямой души, не существовало чести, кроме чести его имени?

Она вдруг разразилась громким и продолжительным смехом, но он и не заметил неестественности этого смеха. Он сделал ошибку, однако не сознавал ее. В простоте своей души он все еще надеялся, что жена поймет его, объяснится с ним, а затем они вместе придумают, каким способом швырнуть обратно королю его гнусное предложение. Услышав смех

Лидии, он вскочил на ноги; вся кровь отхлынула от его щек, покрывшихся смертельной бледностью.

— Знаете,— с едкой насмешкой сказала Лидия,— вы приготовили мне сегодня массу сюрпризов. Кто мог подозревать, что вы так необыкновенно красноречивы? И потом, клянусь, я до сих пор не могу понять, когда вы успели наблюдать за мною? Ваше внимание было всецело поглощено Ирэнной де Стэнвиль.

— Графиня де Стэнвиль не имеет никакого отношения ни к этому делу, ни к тем объяснениям, которых я у вас просил,— возразил «маленький англичанин».

— Я отказываюсь дать вам их,— гордо сказала Лидия,— и так как вовсе не желаю мешать вам и портить ваше удовольствие, то и прошу вас вспомнить наш договор: предоставить мне полную свободу говорить и действовать по моему усмотрению, а также управлять делами Франции, если ей нужна будет моя помощь; вас же я попрошу только ни во что не вмешиваться.

И с утонченной жестокостью, на какую женщины бывают способны в минуты сильных душевных волнений, молодая женщина тщательно сложила письмо герцога Кумберлендского и снова спрятала его за корсаж. Затем, не удостоив мужа ни единым взглядом и не спеша подобрав платье, она повернулась и, спокойно пройдя через всю комнату, вышла в другую дверь и скрылась из его глаз.

XI

Дюран очень смутился, когда Лидия неожиданно вошла в его святилище; но она едва ли заметила его отсутствие, едва ли отдавала себе отчет в том, где сама находилась.

Большой приемный зал, из которого она только что вышла, имел всего два выхода: один, возле которого она только что разговаривала с мужем, другой — ведущий в приемную, где помещался Дюран со специальной целью отбирать плеве-лы от пшеницы, другими словами — отделять просителей, заручившихся рекомендательными письмами для присутствия на *petit-lever* главного контролера финансов, от тех, которые таких писем не имели.

Нечасто случалось, чтобы маркиза проходила этим путем, и этим можно объяснить волнение Дюрана, когда он увидел, что Лидия внезапно открыла дверь. Если бы она не была так поглощена собственными мыслями, то заметила бы, как его

руки принялись нервно перебирать бумаги на письменном столе, а бледные, водянистые глаза стали беспокойно перебегать от ее лица к тяжелой портюре, висевшей на одной из дверей. Но в эту минуту ни сам Дюран, ни окружавшая его обстановка не существовали для Лидии; она быстро прошла через комнату, даже не заметив его присутствия. Ей хотелось как можно скорей уйти отсюда, поскорее оставить за собой целый ряд приемных комнат, которые отделили бы ее от только что пережитой сцены.

В ушах у нее звенело. Она не могла бы сказать, действительно ли она слышала крик, или это была фантазия ее до крайности натянутых нервов; но через всю громадную приемную, сквозь закрытые двери до нее донесся пронзительный, отчаянный призыв, напоминавший стон раненого зверя. Сколько упрека, мольбы, душевной тоски и оскорбленной страсти слышалось в этом возгласе: «Лидия!» Она бежала от него, боясь принять его за действительность, боясь поверить своим ушам. Сама она чувствовала себя настолько оскорбленной, что не могла обращать внимание на страдания других. Она надеялась, что нанесла жестокий удар гордости мужа, его достоинству, даже любви, которую он когда-то питал к ней и которая, по-видимому, навсегда погасла в его душе.

Давно-давно, стоя пред нею на коленях, он сравнивал ее с Мадонной, говорил о поклонении, об обожании, а сегодня вдруг заговорил о падении, о запятнанной чести и просил ее держаться подальше от грязи!

Как смел он не понять ее? Если бы он любил ее, то, наверно, сумел бы и понять. Постоянное общение с Ирэнной де Стэнвиль затуманило его внутренний мир: чистая, безупречная Мадонна побледнела и сошла с пьедестала; теперь он стремился на землю, к более доступным идеалам.

Лидия не могла допустить, что это произошло по ее собственной вине. Она вышла за лорда Эглинтон потому, что он сделал ей предложение, стремясь спасти ее оскорбленное тщеславие под покровом своего обожания и в блеске своего богатства и титула. Он знал, как она холодна, недоступна и лишена всякой сентиментальности, но с определенным направлением ума, со страстным стремлением к могуществу и власти. Трудиться на благо Франции и ради этого добиться власти!

Такой Эглинтон узнал ее, такой и полюбил. Она ничего не скрывала от него, когда он осмеливался предлагать ей вопросы. Таков был между ними договор, который он теперь пытался нарушить. Но, если бы он по-прежнему любил ее, ему

не для чего было бы спрашивать о том, о чем он сам догадался бы. Как догадался бы, благодаря какому тонкому процессу мышления — в этом Лидия не отдавала себе отчета.

«Он знал бы!», «Он понял бы, если бы все еще продолжал меня любить!» — эти две фразы все время копошились в ее мозгу, как дополнение к тому призыву, который, казалось, все еще раздавался в ее ушах, несмотря на то, что целая анфилада парадных покоев отделяла ее от этого назойливого крика.

Конечно, она была совершенно равнодушна к любви мужа. С его стороны это было немое, собачье обожание, горячее, бескорыстное чувство, которое ничего не требовало, довольствуясь поклонением издали. Однако она везде чувствовала эту любовь: на приемах, среди толпы, в присутствии короля — она всегда видела глаза, с безграничным обожанием следившие за каждым ее движением. Но теперь любви больше не было! Она все время повторяла себе это, несмотря на то, что это болезненно действовало на ее нервы и возбуждало в ней странную слабость, против которой так возмущался ее свободный, гордый дух...

Дойдя до роскошной лестницы, она почти бегом спустилась вниз, не обращая внимания на удивленные взгляды целой армии лакеев, стоявших на площадках и в галереях. Через минуту она уже была на террасе, с жадностью вдыхая чистый, свежий воздух.

В первую минуту она остановилась, ослепленная светом, игрой в воде солнечных лучей, блестящей зеленью, трепетавшей под ласковым поцелуем полуденного солнца, а потом медленными шагами вышла на небольшую лужайку, где простоя садовая скамья словно манила ее на отдых. Под ногами у нее расстился толстый зеленый ковер с богатыми узорами из прошлогодних листьев и серебристых почек, которые еще не успело заглушить полуденное солнце; кругом была двойная стена стройных зеленовато-серых стволов, с яркими золотистыми пятнами, на которые мягко ложились темно-голубые тени; дальше — кусты высокого папоротника причудливой формы, сквозь который дерзко пробивались ярко-красные и белоснежные пучки наперсточной травы.

Опустившись на скамью и прислонившись головкой к грубой спинке, Лидия мечтательно устремила взоры вверх, на кусочек голубого неба, казавшегося резко намалеванным над густым сводом зеленых ветвей. В эту минуту она чувствовала себя невыразимо одинокой и покинутой. Несправедливое отношение к ней угнетало ее, пожалуй, еще больше, чем окружавшая ее атмосфера предательства, в которой она бук-

важно задыхалась. Ей не на кого было положиться. Ее отец был лжив и слабохарактерен; ее муж — непостоянен и несправедлив; принц Карл Эдуард был всеми покинут, а она, лишенная всякой помощи и поддержки, едва ли будет в состоянии одна привести в исполнение задуманный ею план для спасения несчастных беглецов. До этой минуты она не сознавала, как сильно рассчитывала на помощь своего мужа. Теперь, когда она уже не могла обратиться к нему с просьбой ехать в Гавр и отвезти приказания капитану «Монарха», она тщательно искала себе помощника, человека, которому могла бы довериться. Возможно ли было надеяться, что среди окружающих ее льстецов найдется человек, который согласится в одну ночь сделать верхом сто пятьдесят лье, чтобы сдержать обещание, данное Францией?

От сильного напряжения мысли у Лидии разболелась голова. Ужасно было сознавать, что ее любимая мечта должна навсегда разбиться. О, если бы она была мужчиной!

Слезы выступили у нее на глазах. В другое время она презирала бы себя за такую слабость, теперь же обрадовалась этим слезам: они как будто снимали тяжесть с ее души. Ей стало тягостно сияние яркого голубого неба. Она закрыла глаза и, казалось, забыла на минуту и свет с его предательством, и Версальский дворец, и злополучных беглецов в Шотландии... все, кроме своего одиночества и тоскливого призыва: «Лидия!»

Придя в себя после неожиданного появления маркизы в его святилище, Дюран подбежал к портьеру, за которой все время тревожно следил, и, отдернув ее, настежь распахнул находившуюся за нею полуоткрытую дверь.

— Господин граф! — осторожно позвал он.

— Она ушла? — слышался шепот из соседней комнаты.

— Да, да, ушла. Пожалуйста, войдите, граф, — сказал Дюран, с раболепным видом поддерживая отдернутую портьеру. — Маркиза только быстро прошла через комнату; уверяю вас, она ничего не заметила.

Войдя в комнату, Гастон де Стэнвиль бросил вокруг испытующий взгляд, нервно теребя бывший у него в руках кружевной платок. Нечего и говорить, что необходимость скрыться при появлении Лидии была крайне унизительна для его гордости. Он не хотел появиться пред нею слишком внезапно, и его раздражало, что он вынужден был прибегнуть к помощи слуги.

— Чтобы поставить меня в такое глупое положение, — злобно сказал он, обращаясь к Дюрану, — надо быть или дураком, или же просто плутом, а в таком случае...

— Тысячу извинений, граф,— стал оправдываться маленький человечек.— Маркиза никогда не проходит здесь после *petit-lever*. Обыкновенно она удаляется в свой кабинет, куда я и намеревался проводить вас, согласно вашему желанию.

— Вы, кажется, очень уверены в том, что маркиза согласилась бы дать мне аудиенцию?

— Я сделал бы все, что от меня зависит, чтобы устроить эту аудиенцию для вас, и полагаю, что мне это удалось бы; немножко такта, немножко дипломатии, и, поверьте, мы, имеющие то преимущество...

— Хорошо, хорошо! — нетерпеливо перебил граф.— Но что же теперь делать?

— О, теперь дело значительно осложнилось! В кабинете маркизы нет, и...

— И вы хотите, чтобы я заплатил вам дорожке? — воскликнул Гастон с злобной улыбкой.— Ну, хорошо!.. Сколько же?

— Чего собственно желаете вы?

— Я хочу говорить с маркизой наедине.

— Гм... гм... это трудно!

Терпение Гастона де Стэнвиля истощилось; впрочем, у него никогда его и не было. С громким проклятием он схватил маленького человечка за шиворот и прошипел:

— Слушай ты, раб! Если ты сейчас же устроишь мне эту аудиенцию, то получишь два луидора, если же будешь продолжать дурачить меня, то твоя спина скоро узнает, какова палка у моего лакея.

По-видимому, для Дюрана этот взрыв не был неожиданностью: весьма возможно, что ввиду исключительности своего положения ему нередко приходилось подвергаться подобным вспышкам со стороны раздражительных высокопоставленных просителей. Как бы то ни было, он нисколько не смутился и, как только граф выпустил из рук его воротник, поправил кафтан и галстук, а затем покорно сказал, протягивая руку:

— Прошу вас, граф, пожаловать мне два луидора. А теперь,— прибавил он, когда Гастон с новым проклятием положил на его худую ладонь две золотые монеты,— удостойте следовать за мной.

По анфиладе роскошно убранных приемных Дюран провел Гастона на ту самую лестницу, по которой только что спустилась Лидия. Граф следовал за ним, отвечая небрежным кивком головы на почтительные поклоны бесчисленных лакеев, попадавшихся на его пути.

Граф де Стэнвиль был при дворе важной персоной: всем была известна склонность, которую питала к нему маркиза

Помпадур; да и король охотно проводил время в обществе этого любезного кавалера; кроме того, все были уверены в неограниченном влиянии его жены, графини Ирэнны, на главного контролера финансов. Таким образом Гастон, несмотря на свои ограниченные средства, всюду, где бы ни появлялся, встречал лесть и раболепство. От всякого другого за услугу, подобную той, которую он оказывал графу, Дюран, конечно, потребовал бы гораздо большую мзду.

Когда они вышли на террасу, Дюран пальцем, напоминавшим гвоздь, указал налево, на поросшую кустами лужайку, говоря при этом:

— Вы найдете маркизу вот под теми деревьями; что же касается меня, то я не имею права дольше оставлять свой пост, так как могу понадобиться господину контролеру; да и вам едва ли будет приятно, если маркиза заметит вас в моем обществе?

Гастон согласился с этим мнением. Он рад был отделаться от своего сладкоречивого спутника, краснея от стыда при мысли, что ему по необходимости пришлось прибегнуть к его помощи. В противоположность Лидии, он оставался совершенно холоден к красоте чудного августовского дня: на него не действовали ни щебетание птиц, ни острый аромат цветов позднего лета, а группа молодых буковых деревьев привлекла его внимание лишь потому, что в тени их он надеялся найти Лидию одну.

Выйдя на маленькую лужайку, он увидел грациозную фигуру, полулежавшую на скамейке в сладкой дремоте. Утомленная жарой и ярким светом, Лидия моментально заснула; но теперь что-то заставило ее открыть глаза, и она с изумлением увидела пред собою Гастона де Стэнвиля, пристально смотревшего на нее. Застигнутая врасплох во время сна, она испугалась, что Гастон застал ее в неподходящей позе.

— Боюсь, что я помешал вам, — кротко сказал он.

— Я замечталась, — холодно ответила она, оправляя платье и машинально поднося руку к волосам, чтобы подобрать выбившийся локон, а затем она сделала вид, что хочет встать.

— Вы не уйдете отсюда! — умоляющим голосом произнес граф.

— У меня есть дело. Я присела здесь только на одну минуту, чтобы отдохнуть.

— А я помешал вам?

— О, неособенно! — спокойно ответила Лидия. — Я все равно уже собиралась идти заниматься.

— Разве это так спешно?

— Дело, касающееся целого народа, всегда спешно.

— Такое спешное, что вы не можете уделить несколько времени старым друзьям? — с горечью сказал он.

Лидия пожала плечами и иронически рассмеялась:

— Старым друзьям?... о!

— Да, старым друзьям, — тихо повторил Стэнвиль. — Мы ведь были друзьями в детстве.

— С тех пор случилось много нового, граф!

— Нет, была сделана только одна ужасная ошибка, которая сама по себе уже служила искуплением.

— Разве так необходимо возвращаться к этому вопросу? — спокойно спросила Лидия.

— Да, да, необходимо, — с убеждением ответил он. — Лидия, неужели я никогда не буду прощен?

— А разве мне есть за что прощать вас?

— Да, заблуждение... ужасное заблуждение... ошибка, если хотите...

— Я назвала бы это предательством, — сказала маркиза.

— Не выслушав моих оправданий, не разрешив мне сказать ни одного слова?

— Что бы вы ни говорили, граф, я не имею теперь права слушать вас.

— Почему? — порывисто сказал он, подходя к ней и загромождавая ей дорогу. — Даже преступнику пред смертью дозволяется сказать несколько слов в свою защиту, я же не совершал преступления. Разве преступно было с моей стороны любить вас? Сознаюсь, я был ужасным безумцем, — прибавил он более спокойно, быстро сообразив, что своей горячностью только раздражал Лидию. — Такая благородная женщина, как вы, способна понять те ловушки, которыми усеян путь человека богатого, имеющего громкое имя и недурную внешность, одним словом — все, что может дразнить жадные инстинкты некоторых лукавых женщин, стремящихся главным образом к замужеству, власти и независимости. Я попал в одну из таких ловушек, Лидия... попал глупо, пошло, сознаюсь в этом, но в этом — мое оправдание.

— Вы, кажется, забываете, граф, что говорите о своей жене.

— О, нет, — сказал Гастон с каким-то мрачным достоинством, — я стараюсь не забывать этого! Я не обвиняю, а только констатирую факт и делаю это пред женщиной, которую уважаю больше всех на свете; ей первой я поверил свои детские тайны, она была для меня и первой утешительницей в моих отроческих горестях.

— Все это было в то время, когда вы были свободны, граф, и имели право верить мне свои тайны; теперь это право принадлежит другой, и...

— Клянусь небом, я не причиняю той, другой, ничего неприятного, открывая вам свои печали и моля об утешении.

Стэнвиль заметил, что теперь Лидия уже не делала больше попыток уйти. Она сидела, прижавшись в уголке грубой садовой скамейки, положив руку на ее спинку и склонив голову на руку. Легкий ветерок шевелил ее локоны; теперь, когда он заговорил так серьезно и печально, она бросила на него быстрый, сочувственный взгляд, и надменное выражение ее лица несколько смягчилось.

Хотя Гастон и не преминул подметить эту перемену, но продолжал держаться покорного тона, стоя перед молодой женщиной с низко опущенной головой и потупленным взором.

— Я могу дать вам так мало утешения,— сказала Лидия уже мягче.

— Напротив, очень много, если только вы захотите.

— Каким же образом?

— Не изгоняйте меня совершенно из вашей жизни! Неужели же я — такой презренный человек, что вам противно хоть изредка бросить на меня ласковый взгляд? Я причинял вам зло... я знаю. Пусть это будет предательство, по-вашему, но, когда я вспоминаю тот вечер... мне все-таки кажется, что я достоин вашего сожаления. Ослепленный безумной любовью к вам, я в этот короткий час забыл все на свете, забыл, что я (хотя, Богом клянусь, не по своей вине!) попал в западню, забыл, что другая имеет право на любовь, которую я никогда не мог дать ей. Да, правда, я забыл все это: музыка, шум, ваша красота затуманили мой рассудок... прошлое было забыто, я жил только настоящим. Можно ли обвинять меня за то, что я — мужчина, а вы так обворожительно хороши?

Граф старался говорить, не повышая голоса, чтобы не показаться несдержанным и нетерпеливым. Лидия видела перед собой человека, некогда любимого ее, причинившего ей, правда, много горя, но теперь с краской стыда на лице, покорно и крайне почтительно молившего ее о прощении.

— Не будем больше говорить об этом,— сказала она.— Поверьте, Гастон, я никогда не питала к вам неприязни.

В первый раз она назвала его по имени. Лед растаял, но поверхность озера была все еще холодна.

— Да, но вы меня избегаете,— снова заговорил Гастон, ловя взгляд маркизы.— Вы смотрите на меня с презрением, между тем, как я готов пожертвовать жизнью, чтобы с благоговением служить вам, подобно древним мученикам, умиравшим за свою веру.

— Это все — слова, Гастон,— со вздохом проговорила Лидия.

— Позвольте мне доказать это на деле,— горячо сказал он.— Лидия, я только что смотрел на вас, пока вы спали; хотя это продолжалось всего несколько минут, но мне многое стало ясно. Из вашей груди вырвались тяжелые вздохи, на ваших ресницах дрожали слезы. О, в эту минуту я готов был умереть, чтобы только снять тяжесть, очевидно, угнетающую вашу душу!

Ободренный молчанием и смягчившимся выражением лица молодой женщины, граф сел рядом с нею и положил свою руку на ее руки. Она высвободила их спокойно, но без гнева. Она больше не сердилась на него, и, как это ни странно, весь ее гнев обратился теперь на ее мужа. Для нее было унижительно сознавать, что Гастон был свидетелем ее слабости, и этим унижением она была обязана обиде, нанесенной ей Эглинтоном.

Гастон умел выбирать подходящие выражения: он обратился к ее чувству сострадания и молил о прощении. С его стороны не было сделано попытки оправдаться, и его рассказ разрушил преграду, воздвигнутую между ними озлобленностью Лидии против него. Его почтительное отношение смягчило ее гордость, и она действительно искренне жалела его.

Гастону помогло еще и то обстоятельство, что в настоящее время ее собственные поступки не были правильно поняты: она вдруг пришла к заключению, что слишком быстро осудила его; теперь же она знала по себе, какую боль может причинить подобное суждение.

А граф продолжал говорить серьезно и просто, напоминая ей о том, как она любила его, любила и верила. Когда-то, в детстве, он был ее героем, и хотя она безжалостно свергла свой кумир с высокого пьедестала, однако в самой глубине ее сердца должна была еще остаться тень прежней нежности к нему.

— Лидия! — умоляюще произнес он.

— Что, Гастон?

— Позвольте мне снять с вашей души гнетущую ее тяжесть. Вы только что говорили о моей жене. Видите, я не боюсь называть ее. Клянусь своей детской любовью к вам, которая была самым чистым и возвышенным чувством в моей жизни, что, умоляя вас подарить меня вашей дружбе, я не наношу своей жене и тени оскорбления. Вы настолько неизмеримо выше всех других женщин, Лидия, что в вашем присутствии даже страсть переходит в экзальтацию, а желания — в жажду жертвы.

— О, как бы я хотела верить вам, Гастон! — вздохнула она.

— Испытайте меня.

— Каким образом?

— Позвольте мне угадать, что вас мучит в настоящее время. Я — не такой пустоголовый фат, каким вы меня считаете. У меня есть глаза и уши, и, если я держусь в стороне от придворных интриг, то лишь потому, что мне известны все их скрытые пружины. Неужели вы думаете, я не понимаю, что происходит вокруг? Неужели я не знаю, что приходится вам переживать из-за доброго расположения к несчастному принцу, которого вы удостоиваете своей дружбой? Разумеется, вы не можете поощрять преступное легкомыслие, заставляющее Францию бросить несчастного на произвол судьбы.

— Это не Франция, Гастон, — прервала Лидия.

— И, разумеется, не вы. Я готов ручаться жизнью, что вы остались верны другу.

— Конечно, — просто сказала молодая женщина.

— Я это знал, — с торжеством воскликнул Стэнвиль, как будто это открытие на самом деле доставило ему неожиданную радость. — Я чувствовал всеми фибрами души, что мои мольбы не будут тщетны. Вы умны, Лидия, вы богаты, могущественны. Я могу говорить с вами, как с женщиной. Принц Карл Эдуард удостоивал меня своей дружбой: с моей стороны не будет самоуверенностью, если я скажу, что занимал в его сердце второе место после лорда Эглинтон... Но именно потому, что я занимал «второе» место, я не мог приставать к нему с советами или предлагать ему помощь: я был твердо убежден, что его «первый» и лучший друг сам обо всем позаботится. Но я не могу больше выносить эту неопределенность. Положение слишком обострилось. Принцу грозит смертельная опасность не только от бездействия, но и от измены.

Как тонко и как искусно повел дело умный Гастон! Лидия никогда не подняла бы с ним этого вопроса, но он сам навел ее на этот путь. Он не предлагал направить ее колеблющиеся шаги; нет, он сам притворился слабым и просил у нее помощи, отнюдь не навязывая своей.

Теперь Лидия отбросила всякую осторожность. При слове «измена» она пытливым взглядом посмотрела графу прямо в глаза и спросила:

— Почему вы думаете?

— О, это висело в воздухе в последние дни! Сам король смущается, когда упоминают о Стюарте, а мадам Помпадур недавно говорила об окончании постройки нового дворца в Оленьем парке, как будто деньги должны были явиться из

какого-то неожиданного источника. Затем пришло письмо из Англии, которое его величество тщательно скрывает у себя в кармане; король постоянно шепчется с мадам Помпадур, и оба мгновенно умолкают, если к ним кто-нибудь подходит. А сегодня...

— Что сегодня? — с живостью спросила Лидия.

— Я просто не смею об этом говорить, боясь огорчить вас.

— Я привыкла к огорчениям, — сказала молодая женщина, — и мне хотелось бы знать все.

— Я был в передней, когда его величество пожаловал к *petit-lever* господина контролера финансов. Питая смутную надежду увидеть вас сегодня утром, я рассеянно бродил по приемным комнатам, размышляя о печальных известиях из Шотландии. В королевской передней я встретился с вашим отцом, герцогом Домоном.

Он остановился, точно ему было противно продолжать, но Лидия сказала совершенно спокойно:

— И вы слышали нечто такое, что мой отец сказал королю, и это «нечто» подтвердило ваши подозрения?

— Начал говорить его величество, очевидно, не подозревая, что я могу слышать. Он весело сказал: «Ну, если нам не удастся убедить милорда, то мы должны действовать помимо него. Стюарт, наверное, устал жить в скалах и не будет настолько осторожен, чтобы не доверить своей почтенной особе удобному французскому кораблю». Тут герцог положил свою руку на руку его величества, предупреждая его о моем присутствии, и между ними больше не было сказано ни одного слова.

— И вы думаете, что французский король готов предать принца Карла Эдуарда Стюарта его врагам? — спокойно спросила Лидия.

— Я уверен в этом, и эта мысль для меня невыносима. Вся Франция завопиет от стыда при таком вероломстве. Одному Богу известно, что в конце концов выйдет из всего этого, но мы ни в каком случае не должны допустить, чтобы молодой принц, которого мы все так любили и чествовали, был предан в руки английских властей. Вот почему я и осмелился явиться к вам сегодня. Лидия, — прибавил Стэнвиль со страстной мольбой, — ради этого благородного и несчастного юноши попытайтесь забыть ту ужасную обиду, которую я в слепом безумии нанес вам! Я не хочу, чтобы он искупал за меня мой грех. На коленях молю вас: помогите ему! Ненавидьте меня, если хотите, презирайте, наказывайте меня, но не отказывайте мне в вашей помощи — ради него!

Хотя Гастон говорил почти шепотом, но его голос дрожал от страсти. Он опустился на одно колено и, взяв в руки край платья Лидии, поднес его к губам.

Умный, умный Гастон! Ему удалось-таки тронуть молодую маркизу. Ее спокойствие и холодная невозмутимость исчезли, она сидела, вся выпрямившись, дрожа от волнения; ее глаза горели, губы полураскрылись, все ее чувства востребовались.

— Как же я должна помогать вам, Гастон?

— Я думаю, что король с герцогом ничего не успеют предпринять ранее одного-двух дней, и надеялся предупредить их, если только вы, Лидия, захотите помочь мне. Я не богат, но кое-что из своего имущества обратил в деньги и думал нанять хороший морской корабль, снарядить его, насколько позволят мои средства, и тотчас же плыть в Шотландию, а затем убедить принца перебраться со мной в Ирландию; если счастье улыбнется нам, я могу проводить его даже до самой Бретани. Но вы видите, как я был беспомощен: я не смел приблизиться к вам, а между тем не знаю, где именно могу найти принца.

— А если я откажу вам в необходимой помощи?

— Тогда я все-таки зафрахтую судно и отплышу в Шотландию,— спокойно сказал Стэнвиль.— Я не могу оставаться здесь в бездействии, чувствуя, что гнусная измена грозит человеку, с которым я постоянно делил хлеб-соль. Если вы не откроете мне, где я могу найти Карла Эдуарда, я, несмотря ни на что, сумею снарядить корабль и как-нибудь попытаюсь отыскать его. Если меня постигнет неудача, я больше не возвращусь сюда; но тогда, по крайней мере, я не буду принимать участия в измене, не буду свидетелем несмываемого позора Франции.

— Для выполнения вашего плана нужны большая отвага и выносливость.

— И того, и другого у меня хватит. Меня будут сопровождать двое-трое из моих друзей. Я намеревался сегодня же вечером отправиться в Брест или в Гавр. Но если вы согласитесь помочь мне, Лидия...

— Нет,— сказала она,— не я — вам, а вы поможете мне. Составленный вами план уже давно созрел в моей голове: я тоже знала про измену французского короля. Боже мой! Но мои планы практичнее ваших, хотя в них больше благородства и самопожертвования. Вы сами говорили, что в моих руках влияние и власть; но, несмотря на эту власть, я не могла быть полезной принцу Карлу Эдуарду, как хотела того: у меня есть отвага и выносливость, но я — не мужчина.

— И вы хотите моей помощи? Слава Богу, слава Богу! Скажите же, что я должен делать?

— Ехать в Гавр! Не в Брест... сегодня же после полудня! В Гавре надо быть на рассвете.

— Понимаю.

— Там отыскать «Монарха», он стоит в гавани; его командир — капитан Барр.

— Да, да.

— Вы передадите ему пакет, который получите от меня, а затем вернетесь сюда так же поспешно, как уедете отсюда.

— И это — все? — спросил Стэнвиль с видимым разочарованием. — А я-то надеялся, что вы попросите меня отдать за вас мою жизнь.

— Добросовестное и быстрое исполнение этого поручения, Гастон, стоит самого высокого самопожертвования. В пакете будут находиться подробные инструкции для капитана Барра, где и как отыскать принца Карла Эдуарда Стюарта. «Монарх» уже совсем снаряжен и готов к отплытию, но... — Лидия с минуту молчала, как бы стыдясь своего признания, а затем продолжала: — Но у меня не было никого, кому бы я могла дать это поручение.

Гастон де Стэнвиль был слишком тонким дипломатом, чтобы останавливаться на таком деликатном вопросе. Он ни разу не упомянул имени мужа Лидии, боясь рассердить ее или задеть ее самолюбие. Он знал, что она была слишком верна долгу, чтобы позволить постороннему человеку малейшее осуждение ее мужа. Поэтому он ограничился тем, что сказал:

— Я готов.

Она встала и протянула ему руку. Почтительно склонив голову, граф приложился к кончикам ее пальцев. Его лицо не выражало ничего, кроме желания быть полезным, и нималейшая мысль о возможности с его стороны предательства не нарушила спокойствия Лидии.

— Сегодня в четыре часа я буду в седле, — сказал он прежним невозмутимым тоном. — Где и когда получу я от вас пакет?

— Вы будете ждать меня здесь, — ответила она. — Пакет уже готов, но во дворце стены имеют глаза и уши.

На этом они расстались: Лидия — полная доверия и надежды, не стараясь скрыть от него свою радость и благодарность; Гастон — наиболее спокойный из них, боясь выдать чувство торжества и все еще трепеща, не переменила бы она своих намерений.

Когда грациозная фигура Лидии быстро исчезла за деревьями, из его груди вырвался вздох полного удовлетворения.

Его величество будет доволен, а мадам Помпадур выкажет ему нечто больше обычной доброты. Угрызения совести ни на минуту не смутили радостного настроения графа по поводу одержанной им блестящей победы; он гордился тем, что сумел так ловко обойти самого проницательного дипломата в целой Франции. Тихо опустил он на скамью, бывшую свидетельницей поединка между ним и женщиной, которую он уже один раз так бессердечно обманул. Перебирая в уме все подробности последней сцены, он как-то зловеще улыбнулся, ясно сознавая, что никогда не доверился бы вторично женщине, которая один раз уже обманула его.

Но у Лидии не было никаких подозрений. Под впечатлением всего только что пережитого она радостно восхищалась старым парком, вовсе не казавшимся ей искусственным, как прежде. Воздух живительной струей вливался в ее легкие; цветы посылали ей свое сладкое благоухание, а щебетание птиц восхитительно ласкало ее слух. Много есть прекрасного на этом свете, но лучше всего — верность преданного друга.

XII

Лидия вернулась во дворец совсем в отличном настроении духа. Надежда утешила ее, а мысль, что взлелеянный ее план будет все-таки осуществлен, сняла отчасти с ее души гнет и вызвала на глаза облегающие слезы. Ей, кроме того, радостно было сознавать, что товарищ ее детства, герой ее ранней юности не был таким низким предателем, каким она его считала.

Гастон говорил о ловушках и признался, что был обманут; а в целом мире не найдется ни одной женщины, которая не считала бы своей счастливой соперницы пустой и лукавой кокеткой. Что касается женщин, то Гастон всегда был слаб в этом отношении; Лидия прощала ему эту слабость, потому что он сам признавался в ней, и ей приятнее было видеть в его проступке слабость, чем явное вероломство.

Но теперь ее мысли были заняты только ее планами. Когда она впервые подняла вопрос о снаряжении «Монарха», муж дал ей все необходимые указания для того, чтобы капитан Барр легко мог найти Карла Эдуарда и его друзей. Еще очень немного дней тому назад она была уверена, что король первый поддержит общее желание отправить экспедицию для освобождения несчастных якобитов* и что снаряжение этой

* Приверженцев Стюартов. (Так назывались они по имени Иакова II, последнего короля этой династии.)

экспедиции, конечно, будет поручено ей, а попутно — и ее мужу.

Указания Эглинтонна она хорошо помнила, но теперь их надо было в виде «тайных приказов» вручить Гастону де Стэнвиллю для передачи командиру «Монарха». Дальнейшие приказания будут касаться принятия принца и его друзей на судно и выбора обратного, безопасного для беглецов, пути.

Кроме того, ей необходим был какой-либо знак, который возбудил бы в Карле Эдуарде и его друзьях безусловное доверие к «Монарху». В день отъезда молодого претендента шла речь о кольце с печатью лорда Эглинтонна, но теперь Лидия, разумеется, не могла попросить у мужа это кольцо. В то же время она была твердо уверена, что коротенькая записка, написанная ее рукой и запечатанная печатью Эглинтонна, будет вполне достаточна для вышеупомянутой цели.

Мысль о печати, как о дополнительном удостоверяющем знаке, впервые пришла Лидии в голову, когда она уже подходила к западному крылу дворца.

Направо от широкой площадки, на которой она теперь стояла, виднелась массивная дверь, ведущая в ее собственные комнаты; налево была длинная анфилада приемных покоев с громадным залом для аудиенции, рядом с которым находился личный кабинет главного контролера финансов.

Лидия намеренно повернула налево и еще раз пошла по громадным, пышным покоям, где полчаса тому назад выстрадала столько унижения и разочарования. Теперь она старалась не вспоминать об этой сцене и даже закрыла глаза, как бы боясь, что это воспоминание примет реальный образ.

По ту сторону зала для аудиенций находились две или три приемных; из последней дверь, завешенная тяжелой портьерой, вела в кабинет Эглинтонна. Все эти комнаты были теперь совершенно пусты; лишь несколько лакеев стояли кое-где в амбразурах окон. Лидия обратилась к одному из них с вопросом: у себя ли милорд? Однако ей сообщили, что со времени *petit-lever* никто не видел маркиза, и слуги думали, что он отправился в Трианон. Лидия с минуту колебалась, прежде чем открыть дверь; она редко посещала эту часть дворца и ни разу не переступила порога частных апартаментов своего мужа. Но ей необходима была печать с гербом Эглинтонна, и она никогда не создалась бы самой себе, что присутствие или отсутствие мужа хоть сколько-нибудь интересовало ее. Однако на пороге она остановилась. Эглинтон сидел за громадным письменным столом, стоявшим прямо пред окном, и, по-видимому, что-то писал.

При легком скрипе двери и шелесте платья он поднял голову и оглянулся, но, увидев жену, тотчас же поднялся с места.

— Прошу извинения за невольную помеху, — холодно сказала она, — но ваши слуги сказали мне, что вас нет дома.

— Вам что-нибудь угодно здесь?

— Мне нужна печать с гербом Эглинтонов, — небрежно ответила Лидия, — она мне необходима для частной корреспонденции.

Отыскав печать между дорогими безделушками, разбросанными на столе, Эглинтон подал ее жене.

— Напрасно вы беспокоились и сами так далеко шли за нею, — холодно сказал он, — кто-нибудь из моих людей мог бы отнести ее в ваш кабинет.

— А я очень сожалею, что помешала вам, но мне сказали, что вы отправились в Трианон.

— Я действительно отправлюсь туда через несколько минут, чтобы подать его величеству прошение об отставке.

— Значит, вы хотите покинуть Версаль?

— Да, чтобы очистить место моему преемнику, как только его величеству будет угодно назначить его.

— А вы сами... куда уедете?

— О, не все ли это равно? — небрежно ответил Эглинтон. — Лишь бы я больше не мешал вам своим присутствием.

— Значит, вы ничего не будете иметь против того, чтобы я возвратилась к моему отцу, пока вы не выясните дальнейших своих намерений?

— Я буду иметь что-либо против? — воскликнул лорд с коротким смехом. — Вам угодно шутить, маркиза!

Лидия была озадачена: этот неожиданный шаг со стороны мужа разбивал все ее планы. С минуту она даже не могла дать себе отчет, как ей поступать дальше, если ее муж оставит свой пост в министерстве. Вдруг в ее голове с подавляющей ясностью мелькнула мысль, что отставка ее мужа будет и ее собственной отставкой; но она слишком растерялась, чтобы разобраться в массе сложных ощущений, волновавших ее с той минуты, когда она ясно представила себе такую возможность.

Машинально вертя в руках печать, она совершенно забыла, для какой цели взяла ее и какие планы были с нею связаны. Но так как решение Эглинтонна не грозило их осуществлению, то она могла пока не думать о них.

Ее занимала в настоящее время мысль об отставке мужа и о ее собственном будущем. И — странно! — в манере ее мужа было столько твердой решимости, что некоторое время она

не могла подобрать никаких убедительных доводов, которые могли бы хоть сколько-нибудь повлиять на него. Теперь она несколько не сомневалась в том, что поколебать принятое им решение ей не удастся; но с первого же дня их брака он никогда не брал на себя инициативы в важных делах, и потому она была совершенно не подготовлена к его настоящему поступку.

— Значит, мои желания в таком животрепещущем вопросе, по-видимому, уже не играют никакой роли? — спросила она после минутного молчания.

— Может быть, вы будете любезны и откроете их мне?

— Вы должны снова обсудить вопрос об отставке, — решительно сказала Лидия.

— Это невозможно.

— У меня на руках много государственных дел, которые я не могу передать незаконченными вашему преемнику, — надменно сказала она.

— В этом нет необходимости; нация не будет сразу лишена вашего талантливого руководства. Пост контролера финансов вовсе не должен быть замещен немедленно. Он может остаться некоторое время вакантным, в полном вашем ведении, к удовольствию его величества и герцога Домона; и ни тот, ни другой — я в этом уверен — не пожелают ничего изменять в управлении, исключительная цель которого — благо Франции.

Лидия испытующе посмотрела на мужа, прищутив глаза, точно изучая его лицо и стараясь прочесть его мысли. Но в его глазах не было сарказма, а спокойный голос звучал серьезно, без всякой насмешки. В ней опять поднялось безотчетное чувство раздражения, то же самое ощущение обиды и несправедливости, которое вспыхнуло в ней при их первом разговоре.

— Но ведь это — безумие! — с нетерпением воскликнула она. — Вы, кажется, забыли, что я — ваша жена, что я имею право на ваше покровительство и на приличное помещение, если мне придется уехать из Версаля.

— О, что вы — моя жена, этого я не забыл! Мое покровительство вообще имеет мало значения и едва ли достойно вашего внимания. Что касается остального, то мой Венсеннский дворец всецело к вашим услугам: штат прислуги находится там в ожидании ваших распоряжений, а мой нотариус изготовит сегодня же акт, которым я почтительно прошу вас принять от меня в подарок дворец с прилежащими землями и все приносимые им доходы, хотя все это, вместе взятое, может быть, и недостойно вашего внимания.

— Это просто чудовишно, и я отказываюсь от такого подарка,— возразила Лидия.— Неужели вы думаете, что я так легко приму на себя роль покинутой жены?

Странная мысль зародилась в ее мозгу. Каким-то необъяснимым путем она открыла странное совпадение некоторых событий сегодняшнего дня. С отъездом Гастона де Стэнвиля, объявившего ей, что с ее ли помощью, или без нее, он все равно уедет в Шотландию, Ирэна временно останется свободной, почти вдовой, так как возвращение Гастона при существующих обстоятельствах является более чем проблематичным; спокойное решение Эглинтонна оставить Версаль, его намерение подарить Венсеннское поместье — конечно, в виде «подачки» — покинутой жене и наконец вызывающее поведение сегодня утром графини де Стэнвиль — все это заставило Лидию прийти к известному выводу.

Она почувствовала, как вся кровь бросилась ей в голову, и ее щеки запылали от волнения. При ее последней фразе лорд Эглинтон слегка побледнел.

— Мне остается думать, что мадам де Стэнвиль играет некоторую роль в вашем решении,— надменно произнесла она,— а потому, поверьте мне, я не буду больше восставать против него. Что касается блага Франции и моей работы на ее пользу, то, по-видимому, все это так мало интересует вас, что я не буду больше возвращаться к этому вопросу. Во всяком случае вы можете подать его величеству прошение об отставке. Я вполне понимаю, что вы хотите быть свободным. Надеюсь, однако, что вы поможете мне устроить все таким образом, чтобы в свете не слишком много болтали о наших отношениях. У меня много врагов, и я не позволю, чтобы из-за ваших измен и фантазий все мои труды на пользу страны пропали даром. Я еще посоветуюсь со своим отцом, который и передаст вам мое окончательное решение! — И она быстро направилась к двери.

Все время, пока Лидия резким, отрывистым голосом наносила мужу оскорбление за оскорблением, он ни одним словом не прервал потока ее речей. Она заметила только, что он был очень бледен и что его лицо, как ей казалось, было совершенно бесстрастно; она же, напротив, испытывала такую невыносимую муку, что все время боялась выдать себя: ее губы дрожали, и слезы готовы были выступить на глазах.

Когда она замолчала, Эглинтон холодно поклонился ей, не сделав ни малейшей попытки оправдаться. Она поспешно вышла из комнаты, так как еще минута, и она не выдержала бы. Ее душили рыдания, невыносимая боль сжимала сердце; если бы это было в ее власти, она нанесла бы мужу физичес-

кие раны, подобно тем, которые, как она думала, она нанесла его душе. О, если бы у нее хватило сил, если бы рыдания не kloкотали в ее груди, она сумела бы подыскать такие смертельно-оскорбительные слова, которые наконец удивили бы Эглинтон и заставили бы его страдать так же, как она сама страдала в эту минуту. Все ее существо негодовало и возмущалось; в ней кипела жгучая, непримиримая ненависть.

С горящими глазами и дрожащими губами быстро шла Лидия по залам и бесконечным галереям. Слуги с удивлением глядели на нее, когда она проходила мимо них; она была так непохожа на всегда сдержанную, надменную маркизу Эглинтон: щеки ее пылали, грудь тяжело поднималась под кружевной косынкой, и с ее губ по временам срывался странный звук, похожий на заглушенное рыдание.

Таким образом она достигла своего кабинета — маленькой четырехугольной комнаты — на самом конце западного крыла дворца; два больших окна выходили в уединенную, поросшую кустарниками часть парка с ее любимой лужайкой.

Как только Лидия вошла в кабинет, ей бросились в глаза ее любимые буковые деревья. Глубокий вздох вырвался из ее груди, когда она вспомнила свою высокую цель, единственное, что теперь было ей бесконечно дорого.

Грациозные буковые деревья, между которыми блестели на солнце папоротник и наперсточная трава, напомнили ей Гастона, ожидавшего ее поручений. Слава Богу, хотя эту радость не могли у нее отнять! У нее еще было настолько власти и воли, чтобы привести в исполнение любимую мечту ее жизни: спасение принца Стюарта из рук его врагов и от вероломства его бывших «друзей».

Воспоминание о разговоре с Гастоном и о деле, которое ей оставалось довести до желанного конца, несколько успокоило нервы Лидии и облегчило невыносимую боль в сердце. Сделав над собою нечеловеческое усилие, она постаралась изгнать из памяти преследовавшее ее бледное, бесстрастное лицо и принудила себя забыть унижение, несправедливость и обиду, выстраданные ею сегодня, и смертельные оскорбления, произнесенные ею в ответ.

В кабинете царила приятная прохлада; тяжелые занавеси на окнах умеряли блеск полуденного солнца. Присев к стоявшему посреди комнаты письменному столу, Лидия открыла потайной ящик и в течение четверти часа быстро исписала два листика тонкой бумаги.

Пред нею лежала карта западного берега Шотландии с тщательно написанными на полях указаниями и различными заметками; она писала приказ командиру «Монарха», чтобы

он как можно скорее достиг этой части берега, отыскивал там принца Карла Эдуарда Стюарта, который, наверное, будет следить за появлением французского судна; найдя принца, Барр должен был перевезти на корабль и его, и всех его друзей, сколько бы их ни было с ним, а затем плыть вдоль западного берега Ирландии и дальше до Марлэ, в Бретани, где принц должен был высадиться на берег.

В действиях Лидии не было ничего неясного и неопределенного; она ни на минуту не останавливалась, чтобы собрать свои мысли, так как, покорные ее воле, они в полном порядке выстраивались в ее уме: ей оставалось только изложить их на бумаге.

Написав инструкцию капитану Барру, она тщательно сложила бумагу вместе с картой и скрепила, запечатав официальной печатью министерства финансов; потом она взяла еще лист бумаги и написала твердым, ясным почерком:

«Податель этого письма выслан Вам навстречу Вашими искренними и верными друзьями. Вы можете безусловно довериться ему сами, а также доверить и своих друзей».

Теперь нечего было бояться, что у Стюарта возникнут какие-либо подозрения, когда он получит эту весть утешения.

После этого, тщательно связав все бумаги и спрятав их в складках широкого пояса, Лидия еще раз спустилась с лестницы и, пройдя через террасу, вошла в буковую рощу, где ее ожидал граф де Стэнвиль.

Гастон в ленивой позе сидел на садовой скамейке, удивляясь долгому отсутствию Лидии; ему и в голову не могло прийти, какое потрясение ей пришлось только что пережить. В последние четверть часа этого тяжелого ожидания он начал не на шутку тревожиться.

«Женщины непостоянны и капризны!» — мысленно произнес он, но его здравый смысл сейчас же поборол это опасение.

Гастон отлично знал, что Лидия не была похожа на других женщин; она в одно и то же время была и сильнее, и слабее других представительниц ее пола: тверже в преследовании намеченной цели и менее податлива в своем упорстве. Он также знал, что, что бы ни случилось в стенах этого великолепного дворца, ничто не заставит ее изменить свое намерение.

Но время шло, и беспокойство графа возрастало. Не будучи в силах усидеть на месте, он начал лихорадочно ходить взад и вперед по маленькой лужайке. Выйти из рощицы он боялся: Лидия могла вернуться, и, не найдя его здесь, стала бы сомневаться в нем.

Таким образом, когда она наконец снова явилась пред ним, он не был настолько спокоен, насколько желал этого, а потому и не мог заметить едва уловимую перемену во всем ее существе. Желая скрыть свое волнение, он при ее приближении опустился на колени и в такой позе принял из ее рук драгоценный пакет.

Этот поступок поразил молодую женщину своей театральностью, тем более, что пред ее умственным взором стоял другой образ: образ человека в неподвижной, напряженной позе с бледным и бесстрастным лицом, которое все-таки казалось ей гораздо более естественным, нежели у Стэнвиля.

Благодаря этой театральности в манерах Гастона, ее радостное чувство в эту торжественную минуту точно растаяло. Она должна была бы испытывать больше радости, смотреть в будущее с более радужными надеждами и питать к Гастону более глубокую благодарность. Она попыталась сказать ему что-нибудь вдохновенное, что-нибудь подходящее к его внезапному романтическому отъезду в Гавр, его самопожертвованию и храбрости, благодаря которым он взял на себя выполнение этого дела и которые так не вязались с его привычкой к комфорту и роскоши.

— Прошу вас, Гастон, — сказала она, — хорошенько беречь этот пакет; сделайте все возможное, чтобы прибыть в Гавр ранее того времени, когда утренняя заря прогонит ночь.

Больше она ничего не могла сказать, чувствуя, что ее слова одобрения или похвалы будут звучать так же искусственно, как искусственна была его поза у ее ног.

— Я буду хранить этот пакет, как собственную жизнь, — серьезно произнес граф, — и, если случайно вы пробудитесь ночью от грез о несчастном принце, которого ваша преданность спасет от смерти, пусть ваша мысль долетит до меня через плодородные поля Нормандии — в это время они окажутся уже далеко позади меня, так как я буду в Гавре задолго до того времени, когда солнце позолотит колокольни его церквей.

— Да поможет вам Бог! — сказала Лидия. — Я не буду вас больше задерживать.

Теперь, видя, что Гастон весь горел от волнения, она устыдилась своей холодности. Расстегнув камзол, он спрятал пакет на груди и, вскочив с колен, собрался уходить.

В последнюю минуту, когда по его просьбе она протянула ему руку для поцелуя и он дрожащими губами коснулся ее пальцев, Лидии отчасти передалось его волнение, и она повтори-
ла уже мягче:

— Да поможет вам Бог, Гастон!
— Да благословит вас Бог, Лидия, за то доверие, которое вы оказали мне! Не пройдет и двух дней, как я вернусь обратно. Где я могу вас тогда увидеть?

— В моем кабинете. Попросите аудиенции, я вас приму.

Когда Стэнвиль ушел, маркиза долго следила за ним глазами, пока его красный камзол не исчез за высоким папоротником. Даже тогда ни малейшего подозрения не закралось в ее душу. Она продолжала думать, что поступила правильно и что это был единственный путь, которым она могла обеспечить безопасность Карлу Эдуарду; Франция ручалась ему своим словом и своей честью, а Лидия считала себя ответственной за честь родины, которую вела по торному пути дипломатии.

XIII

В одной из меньших комнат Трианонского дворца король Людовик XV назначил графу де Стэнвиль частную аудиенцию в присутствии маркизы Помпадур. Она сидела в кресле рядом со своим августейшим поклонником, поставив хорошенькие ножки на низенькую скамеечку; король держал ее руку в своей, чтобы иметь возможность при всяком удобном случае целовать ее.

Гастон де Стэнвиль сидел в приличном расстоянии на табурете. В руках у него были письмо с печатью и карта со множеством пометок на полях. Его величество казался в превосходном расположении духа; он сидел, прислонившись к спинке кресла, и его жирное тело тряслось время от времени при взрывах неудержимого смеха.

— Хе-хе, пленительный граф! — добродушно говорил он. — *Par ma foi!* Подумать только, что все эти годы кокетка обманывала и нас, и наш двор своей неприступностью и святым видом! Даже ее величество королева считает маркизу Лидию образцом добродетелей, — и, наклоняясь вперед, он сделал Гастону знак придвинуться поближе.

Гастон де Стэнвиль придвинул табурет ближе к королю, так как нельзя было пренебречь этой честью!

— Ну-с, почтенный граф, — продолжал Людовик, весело подмигнув, — зачем делать из этого такую тайну? Здесь мы между своими. Скажите же, как вам удалось устроить это?

— Нет, — масляным голосом заговорил граф, — ваше величество, как истый рыцарь чести, дозвоьте мне не разглашать, каким путем мне удалось сломить преграду неприступности,

воздвигнутую самой безупречной женщиной в целой Франции. Довольно того, что я достиг цели; я трижды счастлив, что могу собственноручно положить плоды своих усердных стараний к ногам самой очаровательной женщины в мире.

С этими словами он встал с табурета и, опустившись на одно колено у ног маркизы Помпадур, изящным движением руки подал ей письмо и карту.

Она приняла их, глядя на него с такой улыбкой, которой, по счастью, не заметил влюбленный, но очень ревнивый король; взяв бумаги из рук Помпадур, он погрузился в рассмотрение их.

— Лучше бы вам теперь же повидаться с герцогом Домоном,— сказал он затем, снова принимая серьезный вид, как только Гастон занял прежнее место.— Поэтому возвращайтесь во дворец, граф; маркиза разрешит вам воспользоваться ее экипажем; вы подъедете с южной стороны дворца и войдете через наш собственный подъезд; таким образом с западного крыла вас не могут заметить. Я думаю, излишне говорить, что, пока дело не будет удачно доведено до конца, вашим лозунгом должны служить скрытность и осторожность.

— Конечно, незачем, государь,— поспешил поддакнуть Стэнвиль.

— У большинства людей очень странные понятия о политике и дипломатии,— продолжал король.— Как будто это сложное искусство может строго придерживаться обветшалых средневековых устоев. Поэтому все дело должно пока остаться между нами, граф, и, конечно, герцогом Домоном, который помог нам и без которого мы не могли бы ничего добиться.

— Я вполне понимаю вас, государь,— подтвердил Гастон.

— Мы предполагаем, что ваше удачное влияние на маркизу Эглинтон не ограничится передачей вам этих бумаг,— с неприятной улыбкой сказал Людовик.

— Не думаю, ваше величество.

— Надеюсь, она будет держать язык за зубами по причинам, не требующим объяснений,— с лукавой усмешкой сказала Помпадур.

— Во всяком случае вы хорошо сделаете, если передадите наши предостережения герцогу Домону. Скажите ему, что мы решили не доверяться «Монарху», хотя он и готов к отплытию, так как его командир, насколько нам известно,— тайный приверженец Стюарта. Нам не следует полагаться на него, раз Эглинтон доверяли ему в этом отношении. Лучше отложить дело дней на пять, на шесть, пока «Левантинец» будет вполне снаряжен, чем подвергаться такому риску. Я не

хочу этим сказать, будто мы стыдимся того, что делаем,— весело прибавил «обожаемый» Людовик,— но мы не желаем, чтобы за границей это дело было истолковано вкривь и вкось.

Надо полагать, что граф де Стэнвиль от самого рождения был лишен всякого юмора, так как в ответ на эту длинную тираду короля он ответил вполне серьезно и даже торжественно:

— Ваше величество не должны нисколько тревожиться: я ручаюсь, что ни герцог Домон, ни тем более я не выдадим этой тайны, чтобы не подать повода к нелепым толкам. Что касается маркизы Лидии... — он на минуту умолк, пристально разглядывая свои тщательно отделанные ногти, а на углах его губ заиграла злорадная усмешка,— ну, маркиза Лидия также будет держать язык за зубами,— спокойно заключил он.

— Вот это хорошо! — одобрил король.— Об остальном позаботится герцог Домон. «Левантинец» будет готов через пять или шесть дней. Тайный приказ уже готов и подписан нами. С этой картой, отметками и запиской на имя Стюарта, которыми так любезно снабдила нас маркиза Лидия, дело нашей экспедиции, сверх ожидания, пойдет гораздо быстрее. Чем скорее будет все кончено и деньги уплачены, тем менее возможности будет нашим подданным что-либо узнать. Ввиду того, что вы, граф, моложе всех остальных участников этого предприятия и менее других известны публике, я нахожу необходимым, чтобы именно вы отвезли тайный приказ «Левантинцу».

— Благодарю ваше величество за такое доверие.

— За это трудное дело и за вашу сегодняшнюю работу вы получите в награду два миллиона из тех пятнадцати, которые обещал нам его светлость герцог Кумберлэндский. Герцог Домон получит три, а остальное мы будем иметь честь и удовольствие положить к ногам маркизы Помпадур.— С этими словами Людовик бросил на маркизу влюбленный взгляд, а она в свою очередь наградила его очаровательной улыбкой.— Кажется, граф, нам пока больше не о чем говорить,— заключил его величество.— Через шесть дней, считая от сегодняшнего числа, вы будете на пути к Бресту, где «Левантинец», готовый сняться с якоря, будет ожидать последних приказаний, а через месяц, если ветер, погода и обстоятельства будут нам благоприятствовать, мы передадим этого молодого искателя приключений в руки английских властей. Тогда-то мы, так тщательно разрешившие эту трудную дипломатическую задачу, и поделим английские миллионы.

Своим обычным жестом Людовик дал понять, что аудиенция кончена. Его радость, очевидно, была гораздо силь-

нее, чем он выказывал это пред Гастоном; он жаждал остаться наедине с маркизой, чтобы обсудить планы и проекты будущих безумных удовольствий, устроенных на английские деньги.

Маркиза, обладавшая даром высказывать очень многое одним взглядом, дала понять Гастону, что она с удовольствием провела бы еще некоторое время в его интересном обществе, но что нельзя не повиноваться приказанию короля. Поэтому Гастон поднялся со своего места и поцеловал милостиво протянутые ему руки.

— Мы очень довольны тем, что вы сделали, граф,— сказал король, когда Гастон окончательно собрался уходить.— Но скажите мне,— лукаво прошептал он,— эта безупречная Лидия уступила после первого же поцелуя или она долго сопротивлялась? А? Брр! Неужели, дорогой граф, у вас не отмерзли губы от прикосновения к такой льдине?

— Нет, ваше величество, все льдины рано или поздно должны растаять,— сказал Гастон де Стэнвиль с улыбкой, при виде которой Лидия, наверное, умерла бы от стыда, и, не переставая улыбаться, вышел из комнаты.

XIV

Герцог Домон, первый министр его величества Людовика XV, короля Франции, был очень взволнован. У него только что было два свидания, длившиеся каждое по полчаса, и теперь он пытался разобраться в том, что его дочь говорила на первом из упомянутых свиданий и что во время второго сообщил ему граф де Стэнвиль. А разобраться ему никак не удавалось.

Действительно Лидия держала себя очень странно, была очень взволнована и вовсе не похожа на себя: но это настроение, хотя и непривычное для нее, перестало удивлять герцога, когда он уяснил себе вызвавшую его причину.

Причина действительно была потрясающая.

Его зять, лорд Эглинтон, главный контролер финансов, подал в отставку без всякого объяснения причины такого внезапного и решительного шага. Сама Лидия совершенно не знала мотивов такого необыкновенного образа действий своего мужа так же, как не знала и его дальнейших намерений. Ей было известно только одно, что ее муж хотел открыто покинуть ее и немедленно уехать из Версаля, оставив свой пост незамещенным и предоставив жене управлять вместо него

всеми делами государства и выпутываться, как она знает, из этого ненормального положения.

Единственное распоряжение, сделанное Эглинтоном относительно ее будущего, касалось передачи ей Венсеннского замка и поместья, годовой доход с которого составлял миллион ливров; но она не желала принять этот подарок.

Несмотря на все дипломатические усилия со своей стороны, герцог Домон не мог добиться от дочери никаких более точных разъяснений относительно этих неожиданных событий. Лидия вовсе не намеревалась обманывать отца; она нарисовала ему, по ее мнению, вполне верную картину положения, скрыв от него только ближайшую причину своей ссоры с мужем; но в ее оправдание следует сказать, что она в конце концов сама не придавала ей большого значения. Больше того — ей было просто противно снова говорить с отцом о Стюарте. Зная, что он расходится с нею во мнении относительно этого вопроса, она боялась узнать с неопровержимой достоверностью, что против принца была затеяна вероломная интрига, в которой принимал участие и ее отец. То, что предполагал, видел и подслушал Гастон де Стэнвиль, то, что сама она угадывала, не было для нее достаточно убедительно, раз дело касалось ее отца.

Лидия питала к нему глубокую привязанность, и ее сердце подыскивало массу доводов, исключающих возможность активного участия герцога в этом вероломстве. Во всяком случае в эту минуту она предпочитала неведение раздирающей душу уверенности, тем более, что, благодаря ее находчивости и неожиданной и своевременной помощи Гастона, фактическая измена будет предотвращена; о возможности участия отца в этой интриге она не хотела и думать.

Поэтому она ничего не сказала отцу об отношении Эглинтон к письму герцога Кумберлендского; она даже не упомянула ни о письме, ни о молодом претенденте, а просто дала понять отцу, что ее муж хочет на будущее время устроить свою жизнь отдельно от них.

Герцог Домон был весьма обеспокоен этим. Заглядывая в будущее, он видел два грозные призрака, одинаково тревожившие его. Во-первых, — скандал, который неминуемо разразится над его дочерью, как только ее недоразумения с мужем станут всем известны. Герцог Домон хорошо знал нравы версальского двора, а потом отлично сознавал, что положение покинутой жены подвергнет Лидию систематическим оскорбительным преследованиям.

С другой стороны, герцог представить себе не мог, как он будет обходиться без помощи дочери в различных вопросах, непосредственно касавшихся принятых им на себя обязанностей по управлению. В последние годы он так привык при всевозможных случаях советоваться с нею, полагаться на ее мнение, руководствоваться ее взглядами, что целая армия советников-мужчин не могла заменить ее.

Хотя это «бабье правление» вызывало немало насмешек, однако Лидия приносила отцу громадную пользу, и, если бы она вздумала вдруг отстраниться от его деловой жизни, он почувствовал бы себя так же, как Людовик XIII в знаменитый *journée des dupes*^{*}, когда Ришелье на целые сутки предоставил ему единолично управлять государством. Он не знал бы, за что взяться и с чего начать.

Но Лидия сказала, что ее решение непоколебимо; самое же главное было то, что Эглинтон не предоставил ей никакого выбора: его прошение об отставке было уже в руках короля, а он даже не выразил желания, чтобы Лидия поехала с ним, когда он покинет Версаль, чтобы жить жизнью частного человека.

Все это было очень сложно и очень запутано. Герцог Домон убедительно просил дочь отказаться от мысли из-за внезапного каприза мужа оставить свой официальный пост. Она была нужна ему, а также Франции, и нити государственных дел не могли быть порваны в одну минуту. Пост главного контролера финансов на время останется вакантным, а там будет видно, что делать. Что касается предложенного в подарок замка и доходов с Венсеннского поместья, то герцог Домон и слышать не хотел об отказе дочери. Маркизе Эглинтон был необходим подобающий ее рангу собственный дворец, а посещения Эглинтонна, хотя и редкие, помогут соблюдать внешний декорум и заставят умолкнуть злые языки охотников до скандалов.

Это свидание с дочерью сильно взволновало герцога. Все произошло неожиданно; трудно было представить, чтобы его всегда податливый и пассивный зять вдруг проявил собственную инициативу. Герцог все еще обдумывал создавшееся положение вещей, когда граф де Стэнвиль, исполняя поручение его величества, выразил желание получить у него аудиенцию.

И следующие полчаса повергли герцога в целый лабиринт подозрений, предположений, сомнений и страха. Этот Гастон

^{*} День простофиль. Так назван день 11-го ноября 1630 г., когда расчеты врагов (преимущественно королевы-матери и Анны Австрийской) на крушение власти кардинала Ришелье совершенно не оправдались

де Стэнвиль был не только великолепно осведомлен о местонахождении принца Стюарта, но у него в руках было собственноручное письмо Лидии, адресованное принцу и запечатанное гербовой печатью; все это было удивительно уже само по себе; а тут еще прозрачные намеки графа, его фатовские улыбки, победоносный вид — все это буквально ошеломило герцога, хотя в то же время его рука так и поднималась, чтобы ударить по лицу дерзкого хвастуна. Вера герцога в дочь была подорвана: он сначала не мог и не хотел верить, что его Лидия, которую он считал такой безупречной, чистой и честной, которая еще сегодня утром с негодованием стыдила его за одну мысль о предполагаемой измене, — ради человека, уже один раз обманувшего ее, могла изменить своему убеждению, отказаться от своей мечты.

Но доказательства были налицо. Гастон показал ему карту с отметками на полях, которую Лидия отказывалась показать даже родному отцу; ее собственноручное письмо с твердой подписью через всю страницу — вещи, которые заставят несчастного юношу довериться изменнику, готовому предать его в руки врагов.

Однако герцог не был бы человеком, если бы отчасти не порадовался результатом дипломатических ухищрений Гастона де Стэнвиля; он рассчитывал на значительную долю в миллионах, обещанных Англией. Но сама по себе дипломатия приводила его в ужас. Напрасно он старался удержать Лидию от романтических и бесплодных усилий для спасения молодого принца, по крайней мере, от активного вмешательства в дело, тем более, что его величество имел относительно этого вопроса совсем другие намерения. И вот, с презрением отвергнув его бесхитростные советы, она не только слушала Гастона де Стэнвиля, но вполне подчинила его просьбам свою волю и свой энтузиазм.

При этом воспоминании герцог глубоко вздохнул. Хотя Лидия сделала именно то, чего он хотел, но ему ненавистна была мысль, что она исполнила это только вследствие убеждений Гастона де Стэнвиля.

Позднее, после полудня, когда превосходно приготовленный обед несколько смягчил его недовольство, Домон попытался сгруппировать обрывки одолевших его беспорядочных мыслей.

Гастон де Стэнвиль приобрел на Лидию некоторое влияние, а она бесповоротно поссорилась со своим мужем. Тот решил немедленно уехать из Версаля; Лидия, по-видимому, пока не желала сдавать свой пост. Гастон де Стэнвиль, видимо, торжествовал и открыто хвастал своим успехом, между

тем как Эглинтон не покидал своих апартаментов и никого не принимал.

Для снисходительного отца было очень трудно решить эту сложную задачу. К счастью, герцог был снисходителен не только к своей дочери, которую обожал, но и ко всему прекрасному полу вообще. Он был «рыцарь» в полном смысле этого слова и утверждал, что у женщин совершенно особенный темперамент и что к ним нельзя применять те же мерки, как к существам мужского пола, обладающим более крепкими нервами; красота и привлекательность женщин, наслаждение, которое они дают непрекрасной половине рода человеческого, ставят их выше всякой критики.

Конечно, Лидия была красавица, милорд — глуп, а Гастон... ну, право, можно ли осуждать Гастона?

И, собственно говоря, вышло очень удачно, что Лидия отказалась от своих нелепых идей относительно этого злополучного Стюарта и таким образом помогла английским миллионам благополучно перебраться через канал в карманы короля Франции и еще двух или трех лиц, в числе которых был и обожавший маркизу ее собственный отец.

Взвесив все обстоятельства, герцог Домон перестал мучить себя размышлениями на эту тему.

XV

Какой более или менее правдивый бытописатель возьмется объяснить, каким образом самые сокровенные тайны делаются достоянием молвы и как молва в свою очередь с быстротою ветра проникает в толпу?

Так было с новостью относительно отставки лорда Эглинтон от должности главного контролера финансов.

Когда вечером придворные собрались в приемной у королевы, каждому из них был уже известен не только этот факт, но даже и то, что после бурной сцены с женой Эглинтон уехал или собирался немедленно уехать из Версаля.

Эта новость оказалась очень кстати, но не по причине какого-либо недоброжелательства к Эглинтону, очень популярному среди дам и пользовавшемуся благосклонностью мужчин, и не ради торжества над Лидией, хотя у нее было гораздо меньше друзей, чем у лорда. Нет, это оказалось кстати просто потому, что все это случилось в четверг, а в каждый четверг, от семи до девяти часов, был прием у королевы; участвовать в этом рауте было до того смертельно скучно, что

каждый раз можно было наблюдать эпидемические вывихи челюстей от непрерывной зевоты у тех избранников, которые удостоивались приглашения и даже были обязаны присутствовать на этих раутах. Поэтому интересная сплетня, относящаяся к такой высокопоставленной чете, как лорд и леди Эглинтон, являлась для всех большим благодеянием. Даже ее величество должна будет заинтересоваться, тем более, что Лидия стояла всегда очень высоко во мнении чопорной, скучной королевы, а ее муж принадлежит к очень ограниченному кругу избранников, которых высоко нравственная королева всегда удостоивала милостивым разговором на своих приемах.

В этот четверг, как и всегда, королева Мария Лещинская ровно в семь часов вышла в свой тронный зал. Лидия вошла вместе с нею, и это дало повод думать, что королеве известно решение лорда Эглинтон; она очень ласково разговаривала с покинутой женой, относясь к ней, по-видимому, с большой симпатией.

Короля ожидали приблизительно через четверть часа. Так как маркизу Помпадур и ее свиту не приглашали на эти торжественные рауты, то король выражал неудовольствие по поводу отсутствия своих друзей тем, что приходил настолько поздно, насколько это допускалось этикетом, и с мрачным, скучающим видом глядел на «представления» и другие церемонии, происходившие на вечерах его супруги.

Впрочем, в этот вечер в зале царил заметное оживление благодаря неуволемому присутствию «скандала», который, казалось, витал в воздухе. Пока благородные вдовы представляли ее величеству своих дебютанток-дочерей, а вельможи поучали юных сыновей, как надо сделать первый поклон королю, группы молодежи в укромных уголках, подальше от королевского трона, обсуждали новости дня.

Лидия не присоединилась ни к одной из этих групп. Кроме разных других отличий, она еще имела звание *Grande Maréchale** при дворе королевы Марии Лещинской; в эти торжественные четверги ее место было подле ее величества, и на ее обязанности лежало представлять королеве знатных дам, или только что прибывших из провинции, или таких, которые еще не имели счастья добиться аудиенции по той или другой причине.

Главной из этих причин была исключительная особенность королевы. Гордая дочь польского короля Станислава, получив полумонашеское воспитание, сообщившее ей узкий жизненный кругозор, несчастная в замужестве, Мария испы-

* Главной церемониймейстерши

тивала невыразимый ужас при виде легкомысленных женщин и игривых кокеток, которых так много развелось при французском дворе со времени Людовика XIV; но самое глубокое, непобедимое отвращение питала она к потомкам разных дворянских выскочек, вылезших из грязи по прихоти Короля-Солнца.

Хотя по обязанности, налагаемой строгим этикетом, она волей-неволей должна была принимать некоторых из этих лиц на торжественных придворных празднествах, на которые они, по обычаю, имели право входа, на своих частных приемах она решительно отказывалась от подобных аудиенций.

Таким образом графиня де Стэнвиль, хотя официально и была принята при большом дворе, благодаря титулу и положению своего мужа, однако никогда еще не была удостоена приглашения в собственный ее величества тронный зал. До королевы Марии дошли смутные слухи относительно прежней репутации «чернокудрой красавицы из Бордо»; одно это прозвище резало ее пуританское ухо.

Ирэна де Стэнвиль, раздраженная тем, что ее ставили на одну доску с маркизами Помпадур, Монтеспан и Лавальер, неоднократно пыталась заручиться помощью и протекцией Лидии, чтобы добиться желанной чести быть лично представленной ее величеству. До сих пор Лидия отделялась учтивыми, неопределенными обещаниями; но сегодня, преисполненная благодарности к Гастону, она хотела сделать ему приятное и доказать, что в то время, как он рисковал ради нее своей будущностью, а может быть, и жизнью, она помнила его и думала о нем.

Ее личные переживания и горести нисколько не мешали ей исполнять общественные обязанности. Коротенькой запиской известила она Ирэну де Стэнвиль, что в качестве гофмейстерины будет иметь удовольствие сегодня вечером лично представить графиню ее величеству королеве; таким образом 13-го августа 1746 года «красавица из Бордо» присутствовала на этой торжественной церемонии, терпеливо ожидая счастливой минуты, когда она, в своем роскошном платье, уже давно специально заказанном для этого случая, сделает глубокий реверанс пред самой гордой монархиней во всей Европе.

Ирэна стояла поодаль от остальной толпы, в обществе трех самых ревностных своих поклонников, не обращая внимания на болтовню окружающих; на ее задумчивом лице читалась глубокая затаенная грусть.

На вопросы об отсутствии на вечере ее мужа она только молча пожимала плечами.

На хорах оркестр, скрытый за тропическими растениями, играл знаменитый лютет Люлли, единственное из произведений этого композитора, которое допускал строгий вкус королевы. Наконец ее величество подала знак к началу танцев. Она любила смотреть на красиво исполняемые танцы, хотя сама никогда не принимала в них участия. Каждый четверг молодежь танцевала мерный, величественный гавот; иногда вечер заканчивался торжественной паваной. Что касается менуэта, то он считался неприличным. Ее величество сидела в одном из золоченых кресел под балдахином, другое было приготовлено для короля Людовика.

Лидия рассеянными глазами следила за танцующими; иногда королева обращалась к ней, и в силу привычки она отвечала вполне связно и в тех условных выражениях, которые любила королева. Но ее душа была далеко от окружающей обстановки: она летела за Гастоном де Стэнвилем через плодородные равнины Нормандии. В однообразной мелодии гавота с ее резко отбиваемым тактом ей слышался мерный звук лошадиных копыт, ударяющих о твердую землю. Она совершенно не замечала, что из всех углов пытливые и насмешливые взоры следили за всяким ее движением.

XVI

В то время, как молодежь танцевала, старшие занимались сплетнями, и неуверенность в некоторых фактах придавала их пересудам еще больше интереса.

Особенно увлеклась сенсационной новостью группа в самом отдаленном углу комнаты; шестнадцать танцующих пар кружилось между этой группой и тронем королевы, а потому нечего было опасаться, что ее величество услышит легкомысленные замечания относительно злободневного вопроса или что Лидия догадается, о чем идет речь.

Центром этой небольшой группы была хорошенькая и молоденькая мадам де ля Бом, жена красивого мужа, не особенно надоедавшего ей своим присутствием. Там же находились молодой де Лувуа, старая герцогиня де Поншартрэн, Кребийон, известный поставщик скандальных сплетен, и многие другие.

Все они говорили шепотом, радуясь, что музыка заглушает их интересный разговор.

— Мне рассказывал этот мой парикмахер; его сын работал в соседней комнате и говорил, что между ними произошла жестокая ссора, — с подобающей таинственностью сообщила мадам де ля Бом. — Он говорит, что маркиза целых полчаса

кричала, выходила из себя, а потом вылетела из комнаты и побежала, как сумасшедшая.

— Англичане вообще очень странные люди,— глубоко-мысленно заметил Кребийон.— В данном случае я полагаюсь на авторитет мсье Вольтера, который говорит, что английские мужья постоянно бьют своих жен, а он довольно долго жил в Англии, изучая ее нравы и обычаи.

— Конечно, можно ручаться, что лорд Эглинтон, хотя и несколько более цивилизован, благодаря родству с французами, все же унаследовал отчасти врожденную грубость англичан,— с важностью прибавил другой кавалер.

— Понятно, что Лидия не может перенести подобное обращение,— заключила герцогиня.

— Ах! — трагически вздохнула мадам де ля Бом.— Я думаю, что если английские мужья и бьют своих жен, то лишь из ревности. По крайней мере, мне так говорили. Зато наши мужья слишком часто изменяют нам и потому не могут испытывать эти ужасные мучения.

— Вы бы, однако, не хотели, чтобы ваши прелестные плечи испытали тяжесть руки вашего супруга? — сказал молодой Лувуа, бросая восхищенные взгляды на чересчур откровенное декольте молодой женщины.

— Гм... гм... — загадочно произнесла она.

Кребийон бросил инквизиторский взгляд на стоявшую пред ним графиню де Стэнвиль.

— Судя по тому, что я слышал,— таинственно сказал он,— у лорда Эглинтон было достаточно поводов для ревности, и он, по обычаям своей страны, воспользовался своими привилегиями и открыто прибил свою жену.

Все придвинулись ближе к нему, так как, по-видимому, ему были известны кое-какие подробности, а мадам де ля Бом с любопытством спросила:

— Вы подразумеваете графа де Стэнвиля?

— Шш... шш... — быстро перебила ее старая герцогиня,— миледи идет сюда.

Вдовствующая маркиза Эглинтон, «миледи», как ее обыкновенно называли, была слишком проницательна и слишком хорошо знала нравы своих друзей, чтобы не догадаться, о чем сплетничали во всех углах зала. Обозленная тем, что от нее скрывали истинную причину внезапного решения ее сына, и раздраженная странным поведением Лидии, она тем не менее была убеждена, что, что бы ни говорили в свете об этом скандале, эти толки прежде всего повредят репутации ее невестки. Поэтому, как только замечала где-нибудь в углу группу лиц,

говоривших шепотом, она смело подходила и вмешивалась в разговор, очень умело пуская в ход ядовитые замечания; это ей тем более удавалось, что все думали, что она знает гораздо больше, чем показывает.

— Нет, господа,— весело сказала она,— пожалуйста, не прерывайте из-за меня своего разговора! Увы, неужели вы думаете, я не знаю, о чем вы говорили? Моего бедного сына нельзя винить за это несчастное дело; хотя Лидия тут, может быть, и вовсе не виновата, но она необыкновенно упряма.

— Значит, вы действительно полагаете? — порывисто сказала мадам де ля Бом и остановилась, испугавшись, что сказала слишком много.

— Увы, что могу я сказать? — со вздохом возразила миледи.— Я воспитывалась в такое время, когда нас, женщин, учили покоряться желаниям мужей.

— Ну, а маркиза Лидия не заучила даже и первых слов этих поучительных уроков! — с улыбкой произнес Лувуа.

— Вот именно,— подтвердила миледи, величественно направляясь к другой группе.

— Что, собственно, хотела сказать миледи? — спросил Кребильтон.

— О, она так добра, это — такой ангел! — вздохнула хорошенькая мадам де ля Бом.— Она просто хотела оправдать поведение Лидии, намекая, что Эгlington имел в виду только прекратить сношения Лидии с графом Стэнвилем. Я уже слышала, что этим объясняли их ссору, но должна сознаться, что это мало похоже на правду. Все мы понимаем, что такое простое требование не могло бы вызвать серьезный разрыв между лордом и его женой.

— Несомненно, здесь было еще что-нибудь; иначе милорд никогда не ударил бы ее,— авторитетно заявил Кребильтон.

— Шш... шш... — вновь послышалось предостережение старой герцогини,— его величество идет.

— Он сегодня, кажется, в отличном настроении,— сказала мадам де ля Бом,— и вовсе не имеет раздраженного вида, как это бывает каждый четверг.

— В таком случае, милостивые государыни и милостивые государи,— сказал неутомонный Кребильтон,— слухи опять оказались верными.

— Какие слухи?

— Разве вы не слышали?

— Нет! — сорвалось у окружающих, сгоравших от любопытства.

— Говорят, что его величество король Франции согласился выдать англичанам рыцаря Святого Георга за большую сумму денег.

— Не может быть!
— Это — неправда!
— Мой лакей слышал это от камердинера графа де Стэнвиля, — возразил Кребильон, — он уверяет, что эти слухи верны.

— Король Франции никогда не сделал бы этого!
— Грубая, очевидная ложь!

И те же самые люди, которые пять минут тому назад забрасывали грязью имя чистой и непорочной женщины, теперь приходили в ужас от мысли, что частичка этой грязи попадет на толстую, напыщенную особу человека, которого злая судьба посадила на королевский трон.

XVII

Вид у его величества действительно был не такой угрюмый, как обыкновенно на вечерах его супруги. Он вошел в зал с добродушной улыбкой, не покинувшей его даже и тогда, когда он целовал холодную руку королевы и наклонением головы здоровался с окружавшими ее людьми, из которых каждого в отдельности он искренне ненавидел.

Заметив Лидию, он весь просиял и поразил всех сплетников необыкновенным вниманием к ней. Поздоровавшись с женой, он тотчас обратился к Лидии и вступил с нею в тайственную беседу.

— Вы удостоите, маркиза, протанцевать с нами павану? — сладким голосом спросил он. — Увы, время наших танцев уже прошло, но все-таки мы еще можем поспеть в такт за самыми маленькими ножками в целой Франции.

Лидия, может быть, была бы застигнута врасплох такой чрезмерной любезностью короля, но вспомнила, что он не раз пытался таким образом заслужить ее благосклонность, в надежде получить денежную субсидию от номинальной главы министерства финансов. И действительно, когда она, неохотно подав ему руку, встала рядом с ним в первой паре, готовясь к танцу, она видела, что Людовик смотрел на нее испытующим, пронизательным взором.

Несмотря на искусственную, выработанную натянутость движений, вошедшую в ее плоть и кровь, Лидия отличалась необыкновенной грацией. Величественная павана очень подходила к ее стройной и легкой фигуре, гибкой, несмотря на узкий модный корсаж. В этот вечер она была вся в белом, и ее нежные плечи выгодно выделялись на матовом фоне платья. Она не носила смешной модной прически, и роскош-

ные тона ее каштановых волос сквозили через тонкий слой пудры.

Ни на одну минуту не забывала она важных событий этого достопамятного дня; но среди воспоминаний, толпившихся у нее в голове, в то время как она медленно выступала в торжественном танце, самым ярким было воспоминание о гневе ее мужа, когда он говорил о том, как ее рука лежала в руке вероломного предателя-короля, который хотел за деньги предать своего друга. Ей захотелось знать, как поступил бы он теперь, когда ее руки так часто встречались с руками короля во время разнообразных фигур танца.

Но — странно! — все, что говорил ей Эглинтон при их свидании, тогда нисколько не убеждало ее, а только озлобляло и раздражало; теперь же, когда ей так часто приходилось касаться влажной, горячей ладони короля Людовика, она испытывала непреодолимое физическое отвращение; такое же отвращение чувствовал, вероятно, и ее муж, если судить по силе его выражений.

На то, что происходило кругом, Лидия не обращала ни малейшего внимания. Во время вступительной фигуры с грациозными движениями и медленной, торжественной музыкой, она невольно обратила внимание на направленные на нее со всех сторон взгляды, в которых светились недоброжелательное любопытство, удовлетворенная детская зависть или насмешливое чувство торжества.

Специальное внимание, оказанное ей королем, который принял за правило никогда не танцевать на вечерах своей супруги, подтверждало, по мнению всех любителей скандала, самые худшие слухи о причине неожиданной отставки Эглинтонна. Его величество не разделял непобедимого ужаса королевь пред легкомысленными женщинами; наоборот, его отвращение относилось к жеманным вдовам и чопорным ханжам, составлявшим свиту королевь.

— Его величество отыскал наконец в недоступной маркизе родственные черты, — был общий приговор, удовлетворивший самых ядовитых распространителей скандальных сплетен.

Лидия достаточно хорошо знала придворную жизнь, чтобы не догадаться о том, что именно про нее будут говорить. До сих пор ей удавалось счастливо избегать компрометирующих ухаживаний Людовика, за исключением тех случаев, когда ему бывали нужны деньги; но этим все и ограничивалось, и его внимание прекращалось, как только он получал желаемую сумму. Однако сегодня его любезности были неистощимы, а во время антракта между двумя фигурами танца ему удалось шепнуть ей:

— О, маркиза, как вы пристыдили вашего короля! Будем ли мы когда-нибудь в состоянии в достаточной мере выразить вам нашу глубокую благодарность?

— Благодарность, государь? — пробормотала она, пораженная. — Я не понимаю, о какой благодарности ваше величество говорите?

— Вы настолько же скромны, маркиза, насколько смелы и добры, — возразил Людовик, пользуясь случаем лишний раз поцеловать ей руку.

Понемногу он увлек ее от остальных танцующих в амбразуру окна. Ему никогда не нравилась холодная красота Лидии; обыкновенно он даже потихоньку подсмеивался над ее чисто мужской силой воли и твердостью ее убеждений; но ни один мужчина, не лишенный чувства красоты, не мог бы остаться равнодушным при виде этой изящной, грациозной молодой женщины. Неудивительно, что и король смотрел на Лидию с искренним восхищением. Сознывая это, она глубоко возмущалась тем, что читала в его глазах, и это обстоятельство было, может быть, причиной того, что она не вполне уясняла себе скрытый в его словах смысл.

— Смелы и в то же время прекрасны, — сладким тоном добавил Людовик. — Не каждая женщина имела бы смелость открыто заявить свои убеждения и явно стать на сторону правды и чести.

— Право, государь, — холодно сказала Лидия, начиная чувствовать какую-то смутную тревогу, — я боюсь, что вышло какое-то недоразумение; оказывается, что я только что совершила нечто такое, чем заслужила личную благодарность вашего величества, между тем как...

— Между тем как вы только следовали указаниям своего сердца, — любезно возразил Людовик, заметив, что она остановилась, как бы подыскивая слова, — и доказали скептикам нашего злорадного двора, что под суровой личиной железной воли скрываются истинные инстинкты обаятельной женщины.

Музыканты заиграли третью и последнюю фигуру паваны. Сладкие речи короля все еще звучали в ушах Лидии, когда он подал ей руку, приглашая танцевать.

Она бессознательно последовала за ним. Ее ноги машинально двигались в такт музыке, в то время как ее мысль унеслась далеко в страну грез. Смутное чувство беспокойства, порожденное словами Людовика, медленно, но неуклонно наполняло ее сердце; она еще не уяснила себе смысла этих слов, но начинала бояться их или, лучше сказать, стала опасаться, что в конце концов поймет их. Она не сомнева-

лась, что так или иначе они относились к принцу Карлу Эдуарду, особенно, когда король упомянул о ее «убеждениях» и «смелости».

Сначала Лидия подумала, что он намекает на ее вмешательство сегодня утром в его разговор с лордом Эглинтоном и на ее обещание серьезно подумать об этом деле. Это до некоторой степени успокоило ее, и она даже посмеялась внутренне над своей трусостью и над тем, что везде чуяла несуществующую опасность. Несомненно, в этом и крылась причина необыкновенной любезности короля сегодня вечером. По правде сказать, ее мысли были так поглощены последними событиями: ссорой с мужем, отъездом Гастона, предполагаемой экспедицией «Монарха», что она почти забыла об обещании, данном ею королю утром лишь ради того, чтобы выиграть время.

— Как вы чудно танцуете, маркиза! — сказал Людовик. — Сколько поэзии в каждом вашем движении! Клянусь всеми святыми, я не могу победить в себе чувство безграничной зависти.

— Зависти, государь? К кому или к чему? — спросила Лидия, принужденная поддерживать пошлый разговор, так как, по этикету, она не имела права молчать, раз король желал разговаривать. — Мне кажется, судьба так заботливо относится к вашему величеству, что вам ничего не остается желать.

— Зависти к счастливцу, на долю которого досталась полная уверенность, тогда как мы должны были довольствоваться неясными, хотя и любезными обещаниями, — нежно сказал король.

Лидия пытливо посмотрела на него, и ее охватил какой-то смутный страх.

— В чем уверенность, государь? — спросила она, вдруг перестав танцевать и, повернувшись к нему, посмотрела ему прямо в глаза. — Униженно прошу извинения у вашего величества, но мне кажется, что мы говорим загадками и что ваше величество говорите о чем-то совершенно не понятном мне.

— Ну, ну, в таком случае не будем больше поднимать этот вопрос, — возразил король с утонченной любезностью, — так как, по правде сказать, нам ни на одну минуту не хотелось бы прерывать этот дивный танец. Довольно того, если вы понимаете, маркиза, что ваш король преисполнен благодарности и докажет свою благодарность на деле, хотя его сердце и сгорает от ревности и зависти к счастью другого.

Нельзя было ошибиться в значении слов короля, так как в его глазах появился лукавый огонек. Лидия вдруг почувство-

вала, как ее щеки вспыхнули от бешенства, вскоре уступившего место непобедимому ужасу.

И все еще она не подозревала истины. Ее ноги по-прежнему скользили в такт, но сердце бешено стучало под жестким корсажем; комната закружилась пред ее глазами; болезненное чувство дурноты готово было овладеть ею. Вся кровь отлила от ее лица, покрывшегося смертельной бледностью. Лидия испугалась, и этот страх был тем ужаснее, что она не могла определить причину его. Она чувствовала приближение неминуемой, еще не осязаемой катастрофы, которая неизбежно должна раздавить ее.

И вдруг Лидия сразу поняла все!

Там, на дальнем конце зала, на ярком золотом фоне портьеры, она увидела Гастона де Стэнвиля, стоявшего с женой и еще двумя дамами среди весело настроенной группы; он сам что-то говорил, смеясь и жестикулируя, фатоватым, изысканным движением тонкой белой руки изредка поднося к глазам золотой лорнет. Под влиянием мимолетного взгляда Лидии на него он быстро опустил лорнет, и их глаза встретились. Испуганный, вопросительный взор Лидии молил об успокоении; в глазах Гастона можно было прочесть насмешку и торжествующее самодовольство; заметив эти перекрестные взгляды, красавица Ирэна громко расхохоталась, презрительно пожав обнаженными плечами.

Лидия не принадлежала к числу женщин, подверженных обморокам или истерикам в минуты острого горя. Даже теперь, когда на нее внезапно обрушилась страшная действительность, которая сломила бы более слабую натуру, она сумела овладеть собою и довести танец до конца. Король, уже заскучавший в обществе этой молчаливой и рассеянной женщины, не пытался больше возобновлять разговор. Она разочаровала его: намеки графа де Стэнвиля позволили ему надеяться, что эта прекрасная мраморная статуя наконец оживет и будет ценным приобретением для веселого кружка его друзей, помогавшего ему забываться от неприятностей его брачной и государственной жизни.

Таким образом их гавот закончился в полном молчании. Людовик совсем захандрил и потому не обратил внимания на перемену в своей даме, не заметил ни ледяного прикосновения ее пальцев, ни смертельной бледности ее лица. Зато он заметил Гастона де Стэнвиля, и в его глазах мгновенно сверкнул тот самый лукавый огонек, который несколько минут тому назад возбудил гнев Лидии.

Трудно сказать, заметила ли она его в настоящую минуту или нет. Одно ей было ясно: она должна скрыть свою душевную муку от глаз этой равнодушной толпы.

С чувством бесконечного облегчения сделала она заключительный реверанс пред своим кавалером, который отвел ее на ее официальное место возле трона. Она почти ничего не видела, так как ее глаза внезапно наполнились горячими слезами стыда и раскаяния. Боясь, что с ее губ сорвется болезненный крик, она крепко стиснула зубы.

— Ты больна, моя дорогая? Уйдем отсюда! — раздался нежный, встревоженный голос ее отца.

Боясь взглянуть на него, чтобы не разрыдаться, она позволила увести себя подальше от шума и яркого света.

— Что с тобой, Лидия? — допытывался герцог, когда они пришли в небольшую, уединенную комнату. — Разве случилось еще что-нибудь? Клянусь Богом, если этот человек еще раз осмелился...

— Какой человек, отец? — прервала его Лидия таким беззвучным голосом, что он с трудом расслышал ее.

Он также выражался неясно, а на сегодня ей уже довольно было недоразумений.

— Как какой человек? — с раздражением повторил герцог Домон. — Разумеется, твой муж. До меня дошли слухи о его обращении с тобой, и клянусь всеми богами...

Он вдруг замолчал, пораженный и испуганный: Лидия разразилась громким, неестественным смехом и хохотала так долго, что герцог стал опасаться, как бы волнения этого дня не подействовали на ее рассудок.

— Лидия, что с тобой? Скажи мне, Лидия! — стал просить он. — Послушай... Лидия, ты слышишь меня?

Казалось, молодая женщина немного пришла в себя, эти взрывы истерического смеха все еще потрясали ее с головы до ног, и она прислонилась к отцу, словно боясь упасть.

— Да, дорогой отец, — довольно связно заговорила она, — я тебя слышу, но попрошу тебя, не обращай на меня внимания. Слишком много случилось сегодня такого, что могло расстроить меня. Может быть, я многое не совсем ясно сознаю. Скажи мне, отец, — прибавила она уже почти совсем твердым, но резким голосом, горящими глазами впиваясь в лицо герцога, — это Гастона де Стэнвиля я только что заметила в толпе?

— Возможно, дитя мое, — ответил он после некоторого колебания, — а впрочем, не знаю.

Лидия сейчас же обратила внимание на то, что при упоминании имени Гастона в глазах ее отца появилось странное, сконфуженное выражение, и он старался не встречаться с нею взглядом. Она продолжала упорно настаивать, но уже не с прежней горячностью, чувствуя, что во всем этом что-то

кроется и что отец скажет ей это лишь в том случае, если она вполне спокойно и просто будет задавать ему вопросы.

— Значит, он здесь? — спросила она.

— Да, мне кажется... Но почему ты это спрашиваешь?

— Я думала, что он уехал, — почти весело ответила она, — вот и все. Мне казалось, что ему предстояло путешествие.

— О, что касается этого, то время еще терпит!

Герцог Домон, никогда не отличавшийся особенной проницаемостью, сразу успокоился, заметив перемену в настроении Лидии. Его дочь просто слишком переволновалась. Ее последняя уступка Гастону не могла обойтись без борьбы; и теперь, после того как она позволила чувству взять верх над дружбой и честью, немудрено, что ее мучили угрызения совести. Он был глубоко убежден в том, что его дочь участвовала в предательских планах его и его сообщников, но ему и в голову не приходило осуждать ее за такую перемену фронта; он совершенно не подозревал всей гнусности поведения Гастона. Лидию он считал чистой и необыкновенно гордой женщиной, и в его отеческом сердце не было ни малейшего опасения, что она снизойдет до пошлой интриги; но в то же время он допускал, что она могла поддаться горячим убеждениям человека, которого, конечно, когда-то любила и который, естественно, все еще имел на нее некоторое влияние. А теперь ей без сомнения хотелось что-нибудь выведать относительно будущих планов; о предполагаемой экспедиции ей, наверное, еще не удалось слышать ничего определенного, и она беспокоилась, как отнеслись к ее поступкам ее отец и король. Поэтому, желая успокоить ее, герцог прибавил:

— Мы не думаем посылать «Монарха».

— Вот как? А я полагала, что это было бы самое подходящее судно.

— «Левантинец» будет надежнее, — объяснил герцог, — но раньше пяти или шести дней он не будет готов к отплытию; до тех пор Гастон не уедет. Только ты не должна беспокоиться, моя дорогая: приказ вместе с картой и драгоценным письмом в его руках не подвергается никакой опасности. Он слишком заинтересован в успехе этой экспедиции, чтобы обмануть тебя. А уж мы все так благодарны тебе, моя дорогая! Все устроится к лучшему.

Герцог с любовью погладил руку дочери, с облегченным сердцем видя, что она совсем успокоилась; даже краска появилась на ее щеках. Весь день он боялся встречи с дочерью, которой не видел еще после того, как Гастон передал ему, что она согласилась на его просьбы и передала ему карту и письмо, благодаря которым королю Франции удастся предать

своего друга; теперь он радовался, что после изумившего его истерического припадка Лидия была так же спокойна, как и он сам.

В жизни бывают минуты, когда душевная боль так сильна, несчастье так велико, что все наши способности совершенно притупляются; мы перестаем отдавать себе отчет в происходящем и двигаемся автоматически, одной мускульной силой, без всякого участия рассудка. Так было и с Лидией.

Смысл того, что говорил ей отец, был вполне ясен. Последняя тень сомнения, бывшая ее главной поддержкой в эти минуты страшной пытки, окончательно исчезла; всякая надежда пропала. Безвыходное отчаяние наполняло ее душу; ей казалось, что ее мозг превратился в какую-то мягкую массу, от которой должна была лопнуть нестерпимо болевшая голова. Она была рада, что отец ничего больше не сказал на тягелую тему. Все, что ей хотелось узнать, она узнала: отвратительное, ужасное вероломство Гастона, грубую западню, в которую она попала, а самое главное — что человек, которого она хотела спасти, по ее вине подвергался страшной опасности. Из всех «друзей» Карла Эдуарда она оказалась самой вероломной предательницей, так как несчастный принц подарил ей свою дружбу и верил ей гораздо больше, чем всем остальным. А муж? О нем Лидия старалась не думать, боясь сойти с ума.

Она заставила себя улыбнуться отцу, чтобы этим успокоить его. Она скажет ему все... может быть, завтра, только не сейчас. Во всяком случае она не чувствовала к нему ненависти; она не могла ненавидеть его, потому что слишком хорошо знала и всегда любила его. Но он был слабохарактерный человек, и его легко было ввести в заблуждение. Господи, Боже мой, был ли кто-нибудь преступнее и грубее обманут, чем она сама?

Герцог, вполне довольный внешним спокойствием дочери, напомнил ей о ее официальных обязанностях.

— Танцы кончились, Лидия, — сказал он. — Ты, кажется, должна представить нескольких дам ее величеству?

— О, да! — вполне естественным тоном сказала она. — В самом деле, я совсем забыла... в первый раз за несколько лет я совсем забыла... в первый раз за несколько лет... Дорогой отец... как теперь кое-кто посплетничает относительно небрежного отношения к делу главной придворной церемониймейстерши! Будь добр, проводи меня прямо к ее величеству.

Лидия крепко оперлась на руку отца, боясь, что упадет. Теперь ей стало понятно ощущение опьянения, про которое так часто говорили мужчины. Обильные возлияния, думала

она, должны вызывать именно такое чувство неустойчивости и отвратительного, болезненного головокружения.

Де Лувуа, обер-гофмейстер ее величества, уже стоял в ожидании, а дамы, которые должны были быть представлены, выстроились полукругом слева от трона.

Король и королева стояли под балдахином: Людовик — по обыкновению с невыносимо скучающим видом, королева — со спокойным достоинством, снисходительно рассматривая группу женщин, пышно, но в большинстве случаев безвкусно одетых, старых и молодых, ожидающих счастья быть представленными.

Сделав почтительный реверанс, Лидия быстро заняла свое место подле своей повелительницы, и церемония представления началась. Обер-гофмейстер называл чье-нибудь имя, и одна из дам отделялась от группы, степенно приближалась к подножию трона и делала глубокий реверанс, а главная церемониймейстерша произносила несколько подобающих слов, объясняющих появление новой личности на рауте ее величества.

— Мадам де Балэнкур; ваше величество изволите помнить храброго генерала, сражавшегося при Фонтенуа. Чтобы удостоиться быть представленной вашему величеству, мадам Балэнкур поспешила приехать из провинции.

— Очень рада, — отвечала обыкновенно королева, протягивая руку для почтительного поцелуя.

— Мадам Гельвециус, супруга нашего известного ученого и философа. И мадемуазель Гельвециус, готовящаяся стать такой же ученой, как и ее достойный отец.

Эту пугливую дебютантку и ее мать королева удостоила короткого разговора; обе они были в плохо сшитых провинциальной портнихой платьях, но их простота и неловкость особенно понравились ее величеству.

В таком роде происходила церемония представления пожилых дам и молодых девушек, большею частью явившихся из отдаленных частей Франции, куда не доносилось даже эхо шумного и легкомысленного веселья Версальского двора. Королева была очень любезна. Она любила этот маленький избранный кружок безвкусно одетых провинциалок, чувствуя, что они будут разделять ее желание преобразовать социальные условия Франции. Чем некрасивее были дамы и чем хуже сшиты их платья, тем ласковее и приветливее становилась улыбка ее величества. Она долго расспрашивала свою церемониймейстершу, испытывая, по-видимому, злорадное удовольствие в том, что раздражала короля, намеренно затягивая церемонию, всегда наводившую на него смертельную тоску.

Вдруг Лидия почувствовала, что все в ней замерло, а грудь сдавило словно железными клещами. Она машинально проносила обычные банальные слова, касавшиеся жен, сестер, теток какого-нибудь знаменитого генерала или крупного землевладельца, как вдруг Лувуа громко произнес:

— Графиня де Стэнвиль.

От группы безвкусно одетых провинциальных дам и чопорных ханжей отделилась блестящая фигура и с невыразимой грацией проскользнула вперед. С опущенным взором и порозовевшими щеками, в полном сознании своей красоты выступала Ирэна; даже сонные глаза короля заблестели при виде ее.

Было что-то вызывающее в роскоши ее наряда: ярко-бирюзового цвета платье рельефно выделялось на желтом фоне драпировок, плотно охватывающий талию корсаж был низко вырезан, обнажая красивые плечи и белоснежную грудь, на которой красовалось бирюзовое ожерелье тонкой работы. Ее волосы были подобраны вверх по последней моде; парчовые фижмы, точно воздушные шары, неподвижными складками стояли по бокам, а на них со свободной грацией лежали красивые белые руки. Казалось, блестящая экзотическая бабочка, заблудившись, случайно впорхнула в собрание скромных мотыльков.

Гастон де Стэнвиль стоял немного позади жены, как того требовал этикет. Среди степенных кавалеров, принадлежавших к свите ее величества, он казался как-то не у места. Значительная разница между костюмами приближенных королевы и красивыми нарядами более веселых посетителей Версальского двора особенно бросалась в глаза в настоящую минуту, когда пред королевой стояла эта красивая молодая пара: Ирэна — похожая сама на блестящий драгоценный камень, и Гастон — в атласном светло-лиловом кафтане.

Королева уже не улыбалась с высоты своего трона снисходительной, немного грустной улыбкой. Ее глаза, серые и холодные, как у польского короля Станислава Лещинского, с явным неодобрением смотрели на эту пару; по ее строгому суждению, это были просто великолепно разряженные куклы.

В последние мучительные полчаса Лидия совершенно забыла об Ирэне де Стэнвиль и о представлении ее королеве, которое она взяла на себя в порыве благодарности Гастону; поэтому в данную минуту она вовсе не была подготовлена к встрече лицом к лицу с человеком, во второй раз в жизни причинившим ей громадное, тяжелое горе.

Гастон даже не пытался избегать ее взгляда. Наглое торжество и насмешка сквозили во всей его манере держаться: в

слегка склоненной набок голове, в прищуренных глазах, смотревших на Лидию через высокую прическу Ирэны; в красивой, выхоленной руке, игравшей золотым лорнетом, а главное — в чувственных, полных губах, по которым скользила ядовитая усмешка.

Лидия почти не сознавала присутствия Ирэны, да и вообще чьего бы то ни было присутствия; она видела только одного Гастона де Стэнвиля, о котором несколько часов тому назад так романтически мечтала, мысленно сопровождая его в пути и молясь, чтобы он остался цел и невредим. Чувство горькой обиды и презрения поднялось в ее душе. Она никогда не предполагала, чтобы могла кого-нибудь до такой степени возненавидеть. В эту минуту она готова была пожертвовать жизнью, чтобы нанести графу смертельное оскорбление. Всякое мягкое чувство исчезло из ее сердца, когда она взглянула на Гастона и увидела его дерзкую улыбку.

Такое издевательство глубоко оскорбило ее. В то же время в ней заговорило оскорбленное чувство порядочности при виде того, как эти два вероломные существа с любезными улыбками на губах приближались к гордой королеве, не подзревавшей их низости.

Женщин считают мелочными в проявлении ненависти; может быть, это и справедливо, но надо помнить, что в этом отношении у них очень ограничена сфера деятельности, и они борются, как и чем могут. Несмотря на свое влияние и свое высокое положение, Лидия ничего не могла сделать, чтобы наказать Гастона, особенно теперь, когда своим отвратительным предательством он побил все ее карты.

Она сознавала, что была непростительно глупа, и это горькое, обидное сознание особенно возбудило в ней жажду мести. Поэтому, когда прекрасная Ирэна, в сознании своей всеми признанной красоты, приблизилась к подножию королевского трона, когда по каким-то необъяснимым причинам в зале воцарилась полная ожидания тишина, вдруг раздался резкий и убежденный голос Лидии:

— Это — ошибка господина гофмейстера, — сказала она так громко, что каждый из находившихся в огромном зале мог слышать ее слова, — здесь никого нет, кто мог бы представить эту даму ее величеству.

У всех захватило дыхание; слышались выражения удивления и ужаса; среди внезапно воцарившегося молчания можно было ясно слышать подавленный смех Гастона де Стэнвиля.

Что значило удовольствие, доставляемое сплетнями, в сравнении с этим неожиданным происшествием, служившим,

вероятно, только прологом к громадному скандалу? Присутствовавшие невольно придвинулись поближе, взоры всех были устремлены на действующих лиц этой захватывающей сцены.

Грациозная фигура Ирэны внезапно выпрямилась, точно от сильного удара. Страшное оскорбление застало ее совершенно врасплох, но она сразу поняла его причину. Однако она не выказала ни смущения, ни страха. Ее щеки вспыхнули, и в ответ на гневный взгляд Лидии в прекрасных темных глазах Ирэны загорелись вызов и ненависть.

Королева, видимо, была раздосадована: она не любила неприятных сцен и вообще всего, что нарушало мирное течение ее внешней жизни. С губ короля сорвалось громкое проклятие; очевидно, он был на стороне веселой пестрой бабочки; что же касается Лувуа, то он совершенно растерялся. Он был еще очень молод и только недавно получил важный пост гофмейстера королевы; в настоящую минуту, чувствуя, что на его глазах завязывалась решительная битва между двумя молодыми, прекрасными женщинами, занимавшими высокое общественное положение, он, как истый мужчина, предпочел бы прямо идти под неприятельские выстрелы, чем присутствовать при такой дуэли, а тем более играть в этой дуэли роль секунданта.

Из всех присутствующих одна Лидия сохранила внешнее спокойствие, которое было ей теперь так необходимо. Ужас и отвращение, душившие ее в продолжение всего этого ужасного дня, громко требовали мщения. Хотя Гастон стоял со спокойной усмешкой на лице, хотя Ирэна, с пылающими от гнева щеками, вызывающе глядела на нее, но Лидия со злорадством думала, что лицо ее соперницы сейчас загорится от стыда, так как она с намерением нанесла удар ее тщеславию.

Хорошо зная Марию Лешинскую, Лидия была уверена, что скандальной тени, которую она с умыслом набросила на жену Гастона, будет достаточно, чтобы строгая, высоконравственная королева на будущее время прекратила всякие сношения с Ирэной. Справедливо это будет или нет, но королева без дальнейших рассуждений, не выслушав оправданий Ирэны, осудит ее и навсегда изгонит вместе с мужем из своего интимного кружка.

Королева, видимо очень недовольная, с вопросительным видом обратилась к несчастному Лувуа и сухо сказала:

— Господин гофмейстер, каким образом могло это случиться? Вы знаете, что мы не допускаем ошибок в списке лиц, представляющихся нашей королевской особе.

Последние слова королевы напомнили Ирэне всю безграничность грозившей ей опасности. Нет, она не позволит без-

наказанно унижать себя и не сделается так легко жертвой очевидного желания Лидии сорвать на ней свой гнев. Она также прекрасно знала, что королева не только не простит, но и никогда не забудет сегодняшнего скандала. Если ей, Ирэне, суждено погибнуть навсегда в глазах света, то, по крайней мере, она увлечет за собою и своего врага и под обломками собственных тщеславных надежд похоронит влияние, власть и популярность Лидии.

— Смею надеяться, что ваше величество не произнесете своего приговора, не выслушав меня,— смело сказала она.— Недоразумение произошло по вине госпожи церемониймейстерши. Мое имя было включено в список по ее приказанию.

Но Мария Лещинская не обратила никакого внимания на это заявление: раз выяснилось, что графиня де Стэнвиль была выскочка, желавшая сама представиться королеве Франции, ее величество не произнесла ни одного слова, чтобы поддержать ее или, по крайней мере, признать ее существование. Она обратилась непосредственно к молодому Лувуа.

— Как было на самом деле, господин гофмейстер? — спросила она, взглянув ему прямо в лицо.

— Я... конечно... как всегда, взял лист от госпожи церемониймейстерши... — в страшном волнении, бессвязно бормотал несчастный Лувуа.

— В таком случае, маркиза, вы должны объяснить нам причину такого неслыханного беспорядка,— решила королева.

— Объяснение этому очень простое, ваше величество,— спокойно ответила Лидия.— Действительно у меня было намерение представить вашему величеству графиню де Стэнвиль, но тут произошли события, заставляющие меня просить графиню обратиться к кому-нибудь другому, кто мог бы заменить меня в этом деле.

— Подобное объяснение не вполне удовлетворяет нас,— возразила королева с присущим ей суровым высокомерием,— и завтра вы сообщите нам более точные и подробные обстоятельства этого дела. Теперь не место и не время обсуждать их. Господин Лувуа, я прошу вас перейти к следующим именам, намеченным в списке. Королева сказала свое последнее слово!

Этими надменными словами, почерпнутыми из книги этикета ее собственного державного дома, дочь низложенного польского короля положила конец происшедшему недоразумению. По залу пронесся быстрый сдержанный шепот. Лидия сделала ее величеству глубокий, почтительный реверанс, как бы показывая этим, что, повинуясь приказанию королевы, она считает инцидент исчерпанным.

Но не в характере Ирэны де Стэнвиль было позволить так легко и просто покончить это дело. Она чувствовала, что все мужчины на ее стороне, хотя король слишком ленив и эгоистичен, чтобы явно проявить свое заступничество, а ее собственный муж может разве только затеять ссору с каким-нибудь совершенно непричастным к делу человеком. Поэтому она решила сама выступить на свою защиту, так как в смело обращенных на нее восторженных взглядах мужчин читала одобрение и поощрение. Даже герцог Домон с явным порицанием относился к поступку дочери.

Следовательно, у нее оставались только два врага — две женщины: одна была королева Франции, упрямая, полная предрассудков, деспотичная женщина, не выходившая за пределы своего узкого интимного кружка; другая — занимала исключительное положение не только при дворе, но и вообще в официальных сферах.

Несмотря на это, Ирэна чувствовала, что ее красота была таким же сильным оружием в борьбе за общественное мнение, как и политическое влияние ее главной противницы.

Поэтому, когда королева заговорила в таком тоне, словно на свете вовсе и не существовало графини де Стэнвиль, а Лувау почтительно, но настойчиво стал просить ее отойти в сторону, она ответила ему резким отказом.

— Нет,— сказала она дрожащим от волнения голосом,— королева должна меня выслушать; ее величество не допустит, чтобы из-за каприза ревнивой женщины...

— Замолчи, дерзкая! — прервала ее Мария Лещинская с той гордостью и сознанием собственной власти, которые она унаследовала от своих польских предков.— Ты забываешь, что находишься в присутствии твоей королевы.

— Нет, государыня, я не забыла этого,— сказала Ирэна, несколько не смущаясь и продолжая твердо вести свою линию,— но я также помню, что наша королева всегда на стороне правды и справедливости.

При ее последних удачных словах в глазах Марии Лещинской выразилось некоторое колебание.

Заметив это, Ирэна грациозно опустила на колени пред королевой и снова заговорила:

— Ваше величество, благоволите только выслушать меня. Может быть, я недостойна прикоснуться к руке вашего величества, да и никто из нас недостойн этой чести, так как ваши добродетели и достоинства ставят вас неизмеримо высоко; но я клянусь пред королевой Франции, что ничем не заслужила такого публичного оскорбления.— Она на минуту замолчала, желая удостовериться, слушают ли ее королева и все присут-

ствующие; затем, пристально глядя своими черными глазами прямо в лицо Лидии, она продолжала так громко, что ее чистый, немного резкий молодой голос победоносно прозвучал по всему залу: — Маркиза Эглинтон выбрала моего мужа в сообщники, чтобы продать Англии принца Стюарта.

Еще раз в огромном приемном зале воцарилась мертвая тишина; но немногие мгновения, в течение которых громкий обвинительный голос мало-помалу замирал, подобно далекому эху, показались одному из присутствующих целой вечностью, — такой страшный удар наносили они.

Лидия словно окаменела. Хотя она и догадалась об измене Гастона, но этого она не предполагала. Такая ужасная гнусность совершенно парализовала ее, лишив последних сил. Она открывала свои мысли, свою душу, свои бескорыстные мечты самому отвратительному предателю, какой когда-либо позорил своим присутствием землю. Если год тому назад она унизила его, если только что, всего за минуту пред настоящим моментом, попыталась разбить все его честолюбивые замыслы, то теперь он был вполне отомщен.

Она даже не слыжала протестующего возгласа королевы:

— Это — ложь!

Потрясенная Мария Лещинская в ужасе отказывалась верить этому отвратительному обвинению, обрушившемуся на единственную женщину, которую она удостоивала своего королевского доверия и дружбы.

— Это — правда, ваше величество, — твердо сказала Ирэна, поднимаясь с коленей. — Спросите маркизу Эглинтон, не указала ли она сегодня в уединенном Версальском парке графу де Стэнвиллю тайного убежища принца Стюарта, чтобы потом можно было предать его за крупную сумму денег в руки англичан? Маркиза красива, богата, пользуется большим влиянием; граф, как мужчина, не мог не повиноваться ей; но он также молод и красив, и маркиза удостоила его своим вниманием; я же, как жена, стояла ей поперек дороги, и потому меня надо было публично удалить, тем более, что ей мог быть опасен мой невоздержанный язык. Вот это и есть настоящая истина, ваше величество, — с торжеством заключила Ирэна. — Взгляните на ее лицо, а потом на мое, и скажите, кто из нас бледнее — она или я?

Мария Лещинская молча слушала ужасные обвинения, которые одна женщина возводила на другую. При последних словах Ирэны она невольно перевела свой взгляд на Лидию и увидела мраморно-белое лицо, неподвижную фигуру и безнадежное отчаяние в полузакрытых глазах. Но даже и теперь королева не верила рассказу графини де Стэнвиль: у нее не-

волью напрашивалось сравнение между этой ярко разряженной куклой с резким голосом и нагло обнаженными плечами и гордой грациозной женщиной в белом скромного покроя платье, о которой в целые годы ее общественной деятельности злые языки могли только сказать, что она холодна, строга, скучна, может быть, неинтересна, но незапятнанной репутации которой ни разу еще не посмело коснуться грязное дуновение скандала. Однако тут выступили на сцену иные соображения. Королева чувствовала болезненное отвращение ко всякому скандалу, происходившему в ее присутствии или вообще при ее дворе. Кроме того, Ирэна задела очень чувствительную струну в высоконравственной королеве, и в то время, как графиня пускала свои последние ядовитые стрелы, взгляд Марии Лещинской, к несчастью, упал на лицо короля. По губам Людовика пробежала та лукавая, полунасмешливая, полуснисходительная улыбка, которая появлялась у него обыкновенно в тех случаях, когда речь шла о женской слабости; гордость королевы всегда возмущалась от соприкосновения с унижавшим Версальский двор вечными скандалами, против которых она неустанно боролась.

Теперь она была раздражена против всех без разбору. Несколько лет тому назад чувство справедливости заставило бы ее разобраться в этом деле; доказать самой себе, кто прав, кто виноват в печальной ссоре; но ввиду многочисленных обид, перенесенных ею в качестве супруги и королевы, чувство справедливости совершенно заглохло в ней. Остался лишь болезненный, эгоистический страх за величие ее собственного двора, которое, она чувствовала, сегодня было нарушено; ей хотелось поскорее уйти, оставить позади всю эту пошлость, страсти, мелкие ссоры, так ненавидимые ею.

— Довольно! — твердо сказала она. — Наши щеки плачут от стыда, что эта неприличная вспышка произошла в нашем присутствии. Вашу руку, ваше величество, прошу вас! — гордо прибавила она, обращаясь к королю. — Я не могу больше выносить эту неприличную ссору, уместную в грязных отдаленных улицах Парижа, но не в тронном зале французской королевы.

Растерянность Людовика доходила до комизма. Для него было совершенно немыслимо, особенно в присутствии супруги, ввязаться в эту женскую ссору, даже если бы он и хотел этого. Во всем этом деле его более всего интересовало, как вспышка графини де Стэнвиль отразится лично на нем. В общем, он был склонен думать, что дело примет теперь благоприятный оборот. Раз намерение выдать Стюарта врагам стало всем известно (а рано или поздно это все равно должно было случиться), то вышло очень кстати, что при первом

намеке на это предательство Лидия была так ловко впутана в дело; впоследствии, помня пословицу: «Нет дыма без огня», люди будут считать ее первой зачинщицей этого гнусного предприятия.

«Обожаемый» Людовик имел особенную способность оберегать свою царственную особу, а главное (и прежде всего) свою репутацию. Конечно, было бы очень хорошо для будущего, чтобы в его и без того снисходительных подданных укрепились вера, что их король не принимал участия в этой гнусной измене.

Ему также очень хотелось поскорее уйти отсюда. Он предвидел, что эта женская стычка может вызвать более серьезную ссору, так как его острый взгляд заметил лорда Эглинтон, стоявшего у двери в отдаленном конце комнаты. Людовик старался угадать, что именно слышал муж Лидии и что он сделает в том случае, если слышал все от начала до конца. Но затем, мысленно пожав плечами, король решил, что ему не должно быть никакого дела до того, как поступит лорд. Людовик был вполне убежден, что Лидия не устояла против Гастона и что Эглинтон, «как порядочный человек», прежде всего позаботится о своем собственном спокойствии. Поэтому его величество ни на кого не рассердился. Любезно улыбнувшись графу и графине де Стэнвиль, он многозначительно кивнул головой Лидии, но, к счастью, она была так ошеломлена всем происшедшим, что не обратила внимания на это последнее оскорбление.

Опираясь на руку своего супруга, королева медленно сошла со ступеней трона. Ирэна была несколько разочарована, видя, что на этот раз инцидент исчерпан. Она все-таки приготовилась сказать еще что-то, но Мария Лещинская бросила на нее такой высокомерный и гневный взгляд, что Гастон, понимая бесплодность, даже опасность продолжения этой сцены, решительно взял жену под руку и отвел ее в сторону. У подножия трона ее величество еще раз обратилась к Лидии:

— Мы будем ждать от вас объяснения, маркиза, — надменно произнесла она, — но только не сегодня; да позаботьтесь о том, чтобы наш приемный зал очистили от этого сборища.

С этим прощальным возгласом, относившимся столько же к ее горячим приверженцам, сколько и к оскорбившим ее двум женщинам, королева величественно, как и подобало потомку гордой королевской династии, покинула зал.

Ирэна Стэнвиль была права, рассчитывая, что нанесенное ей оскорбление привлечет все симпатии на ее сторону.

Хотя в интимном кружке королевы на молодую маркизу Эглинтон всегда смотрели, как на ее исключительную лю-

бимицу, обвинение, брошенное ей Ирэной де Стэнвиль, было ужасно; к тому же Лидия держала себя с такой непонятной, безучастной покорностью, что, само собой разумеется, по уходе их величеств, когда толпа разбилась на отдельные группы, большинство присутствующих начало сторониться ее.

Слова «каприз ревнивой женщины», которые вначале так рассердили королеву, вполне согласовались с мнением о Лидии тех, кто сначала до конца был свидетелем этой сцены, и то обстоятельство, что Ирэна де Стэнвиль публично предъявила к ней такое позорное обвинение, сочли с ее стороны только справедливым возмездием.

Лидия прекрасно понимала, что окружавшая ее теперь толпа, хотя и состояла из ее друзей, но всегда с радостью готова была верить всему дурному о женщине, занимавшей в течение многих лет крайне высокое положение при дворе и в обществе. До нее уже долетал шепот осуждения, и именно со стороны людей, которым было хорошо известно, что она неспособна совершить приписываемое ей гнусное деяние! Конечно, она ничего не отрицала, да и не могла отрицать обвинение в той именно форме, в какой оно было ей предъявлено. Она чувствовала, что факты были против нее. Ирэна слишком просто и ясно рассказала, что Лидия в тиши Версальского парка выдала Гастону де Стэнвилю тайну, которая могла предать Карла Эдуарда в руки его врагов.

Разве могла Лидия объяснить всем этим людям, что ею руководили добрые и чистые побуждения, что ее поручения Гастону не имели ничего общего с теми, какие ей приписывала Ирэна? Никто не поверил бы ее словам, если бы ее не поддержал Гастон, рассказав, как было дело; но Гастон предпочел до конца оставаться гнусным лжецом. Она сделалась невольной сообщницей всей этой шайки, которая теперь сама готова была оттолкнуть ее, сломить ее власть и отдать ее на поругание толпы, между тем как настоящие изменники и лжецы прятались за ее спиной. Лидия уже предвидела конец, уже предчувствовала горькие плоды исчезающей популярности.

Вокруг графа и графини де Стэнвиль собралась целая толпа, открыто выражавшая им свое сочувствие. По-видимому, Гастону прощали его явно подлое поведение.

Лидия оказалась всеми покинутой; только Лувуа подошел поговорить с нею о деле, а вскоре к ним присоединился и герцог Домон.

— Ты позволишь мне проводить тебя в твои комнаты, Лидия? — спросил он. — Я боюсь, что эти волнения слишком утомили тебя.

— Ты обвиняешь меня, дорогой отец? — кротко спросила она.— Ты ни одним словом не вступился за меня, пока эта женщина обвиняла меня.

— Дорогое дитя,— уклончиво ответил герцог.— Ты не была со мною откровенна. Я думал...

— Ты и теперь думаешь, что графиня де Стэнвиль говорит правду?

— А разве нет? — мягко спросил Домон.

Он совершенно не понимал дочери. Неужели она станет отрицать, когда доказательства налицо: карта, написанное ее рукой письмо, ее собственная подпись и именная печать?

— Но твое письмо и карта, дитя мое,— прибавил он с ласковым укором, думая, что Лидия боится откровенно сознаться ему.

— Ах, да, мое собственное письмо и карта! — пробормотала она.— Я забыла.

О, нет, она не будет оправдываться: она не должна оправдываться. Если даже родной отец считает ее виновной, то единственное, что она могла сделать,— это настаивать на честности своих намерений. Гастон, конечно, уничтожил ее приказ командиру «Монарха»; оставались только карта и... это ужасное письмо.

Герцог считал свою дочь крайне неблагоразумной. Если уже она доверилась Гастону и отдала себя в его власть, то неосновательно было раздражать его. Ни один мужчина, в котором осталась маленькая доля благородства, не допустит, чтобы его жену публично оскорбляла соперница, как бы сильно он ни был увлечен этой последней. Без сомнения, Лидия ревновала Гастона к Ирэне, тем более, что благосклонность последней к лорду Эглинтону возбуждала общие толки. Но Лидия была более чем равнодушна к собственному мужу и свою самую заветную тайну открыла не ему, а Гастону де Стэнвиллю. Она и должна была довольствоваться этим и не возбуждать гнева Ирэны, а может быть, даже и неприязненного чувства в самом Гастоне.

В противоположность королю Людовику, герцогу Домону было неприятно, что имя его дочери будет связано с предательским делом, и хотя он не прочь был извлечь для себя из этого предприятия денежные выгоды, но в глубине души не одобрял его. Хорошо зная своего царственного повелителя, он был вполне убежден, что, когда вся эта гнусная сделка выплывет наружу, Людовик найдет способ выставить себя пред народом в роли невольного сообщника шайки грабителей. Когда это случится, все недоброжелатели, помня происшествие сегодняшнего вечера, конечно, будут указывать паль-

цем на Лидию, а следовательно, и на ее отца, как на первых зачинщиков.

Гораздо лучше было бы остаться в мирных отношениях с Ирэнной и не раздражать Гастона. Но женщины — странные существа, и ревность является их полновластным господином. Даже его умная дочь, по-видимому, не была лишена этой женской слабости.

— Мне кажется, дорогая моя, — мягко сказал он, — что ты поступила не так умно, как я ожидал. Графиня де Стэнвиль ничем не обидела тебя, чтобы заслужить такое публичное оскорбление, а Гастон одного только и хотел — услужить тебе.

Вероятно, герцог, произнося эти слова, случайно повысил голос или в толпе угодников, тесным кольцом окруживших графиню де Стэнвиль, воцарилось внезапное молчание, — только последние слова герцога долетели до слуха тех, чьи имена он произнес.

— Прошу вас, герцог, — веселым, насмешливым тоном сказал Гастон, — не браните своей прелестной дочери. Даже мы, пострадавшие, не относимся к ней слишком строго. Для меня психология маркизы была крайне интересна: глазам ее многочисленных пораженных поклонников она впервые проявила слабости, свойственные прекрасному полу. Мы не должны сетовать на эту очаровательную слабость, так как, если не ошибаемся, она только льстит нашему самолюбию.

В это время толпа вокруг немного раздвинулась, и он очутился почти лицом к лицу с Лидией; насмешливо глядя на нее, он грациозно играл широкой черной лентой своего лорнета.

Но не один Гастон бросал на Лидию саркастические взгляды. Его прозрачные намеки попадали прямо в цель, заключая в себе обвинение, которое было гораздо сильнее брошенного Ирэнной.

Поведение Лидии в этот вечер, все ее поступки, выражение ее лица только подтверждали эти намеки. При приближении графа она немного подалась назад и своим обычным горделивым движением откинула назад голову. Ее быстрый взгляд заметил стоявшего в некотором расстоянии от нее лорда Эглинтон. Она, как и Людовик, соображала, сколько ему довелось услышать и что он намеревался предпринять, если знал все. Когда она увидела его, а затем снова взглянула на Гастона де Стэнвиля, все ближе подходившего к ней, ей невольно вспомнилось предостережение ее мужа, на которое она раньше не обратила внимания, а именно: предостережение относительно отвратительного пресмыкающегося, одно прикосновение к которому кладет неизгладимое пятно.

— Маркиза,— произнес Гастон, смело подходя к ней,— мои друзья, на основании общепринятых законов чести, без сомнения посоветуют мне наказать вас или того, кто может заменить вас в этом деле, за оскорбление, нанесенное моей жене. Но как могу я исполнить их совет, когда обидчик столько же прекрасен, сколько слаб? Мое желание — не наказывать вас, а на коленях благодарить за тонкое выражение благосклонности, проявившееся в ваших поступках. Я знал, что вы удостоили меня вашего доверия,— многозначительно прибавил он,— но не смел надеяться, что могу возбудить чувство ревности в женщине, самой неприступной во всей Франции.

По залу пронесся сдержанный смех. Выходка Гастона, казалось, сразу разрешила натянутое, тяжелое настроение блестящего общества, царившее в последние полчаса. Граф был такой ужасный «*mauvais sujet*», но такой обаятельный в обращении и такой утонченный даже в злобе; он был совершенно прав, не придавая значения случившемуся. И смех сменился шепотом одобрения за тот такт, с каким он снял с души присутствующих тяжесть угнетавшего их страха. Просто было глупо со стороны маркизы Эглинтон принимать все так трагично. Дела принца, конечно, теперь наладятся, а ей следовало бы с большим уважением отнестись к своему добровольному и, очевидно, преданному сообщнику.

Стэнвиль был так красив и элегантен, что молодые женщины вздыхали, любуясь им. Вытянув ногу носком вперед и держа свою треугольную шляпу сообразно требованиям этикета, он намеревался сделать модный поклон, но, к его несчастью, в тот момент, как он принял самую грациозную позу, его неожиданно остановил мягкий, спокойный голос, прозвучавший совсем близко от него:

— На вашем месте я этого не делал бы, дорогой Стэнвиль, особенно в башмаках с красными каблуками: вы, наверное, поскользнетесь на этом гладком полу.

Не успело это предостережение долететь до другого конца комнаты, как граф де Стэнвиль во весь рост растянулся на полу. Его падение произошло так быстро, что он даже не успел опереться на руки и буквально распластался у ног Лидии, с вытянутыми ногами и руками, сильно ударившись лицом о скользкий, на славу отполированный пол. Возле него стоял лорд Эглинтон, с тихим смехом глядя на распростертую пред ним далеко не изящную фигуру красавца.

Взрыв веселого смеха приветствовал этот неожиданный оборот дела. Один или двое свидетелей, в момент катастрофы стоявшие ближе всех, положительно утверждали, что Эглинтон быстрым движением ноги вывел Стэнвиля из равновесия, а необычайно скользкий пол довершил остальное.

Как бы то ни было, но смех должен был прекратиться. Гастон вскочил на ноги с таким выражением лица, что все свидетели этого фарса увидели в нем только пролог к настоящей серьезной трагедии.

— Ну, вот, — все так же мягко продолжал лорд Эглинтон, — разве я не предупреждал вас, граф? Красивые позы — очень предательское положение.

— Милорд... — проговорил Гастон, позеленев от нахлынувшей злости.

— Шш-шш-шш... — перебил его Эглинтон прежним кротким, спокойным голосом, — только не в присутствии дам. Если вы желаете, граф, то немного позже я буду весь к вашим услугам.

Затем, повернувшись в сторону жены, он отвесил глубокий поклон и слегка согнул левую руку, спокойно ожидая, пока Лидия обопрется на нее.

— Присылайте секундантов, милорд! — крикнул Гастон, совершенно не владея собою, так что двое из друзей принуждены были держать его, чтобы он не бросился и не схватил за горло лорда Эглинтон.

— Они будут ждать ваших секундантов сегодня вечером, граф, — любезно ответил «маленький англичанин». — Вы окажете мне честь, маркиза?

Лидия взяла его под руку и позволила ему увести себя из комнаты.

XVIII

Ахилл ожидал своих господ в вестибюле апартаментов королев. Как только показались лорд и леди Эглинтон, его фигура отделилась от группы остальных лакеев, ожидавших окончания приема; по знаку своего барина он приблизился и подал ему накидку, которую тот в свою очередь набросил на плечи жены, после чего спросил:

— Желаете вы провести сегодняшнюю ночь в Версале, маркиза? Если бы вы пожелали ехать в замок Домон, моя карета к вашим услугам.

— Благодарю вас, милорд, — сказала Лидия, — я предпочла бы остаться в Версале; да и моему отцу, я думаю, что также будет приятнее. Он не ждет моего визита, а потому, если это вас не стеснит...

— Нисколько, маркиза, — спокойно ответил Эглинтон. — Но здешние галереи так бесконечно длинные; может быть, велеть подать для вас носилки?

— Нет, пойдемте пешком,— коротко сказала она.

Муж молча подал ей руку, на которую она оперлась, и, спустившись по широкой, роскошной лестнице, они по бесконечным широким галереям направились к западному крылу дворца. На приличном расстоянии за ними следовал Ахилл, а за ним — двое лакеев в роскошных красных ливреях дома Эглинтонов; еще двое, с факелами в руках, шли пред маркизом и маркизой, освещая им путь.

По дороге к западному крылу дворца лорд весело говорил о разных пустяках, касавшихся придворной жизни. Лидия отвечала односложно; она не могла заставить себя разговаривать, хотя и отдавала должное мужу за его желание казаться пред слугами естественным и непринужденным. В ее голове уже назревало новое решение, и она жаждала поскорей очутиться у себя, чтобы привести этот план в исполнение.

Дойдя до передней, из которой направо открывался ряд комнат маркизы, а налево — был вход на половину ее мужа, лорд Эглинтон остановился, высвободил руку жены и собирался уже пожелать ей доброй ночи, как вдруг она сказала:

— Могу я поговорить с вами наедине в вашем кабинете?

— Конечно, маркиза,— ответил он, по-видимому, удивленный ее просьбой.

Он отпустил всех слуг, кроме Ахилла, который повел их через приемные залы на половину барина. В кабинете Ахилл зажег свечи в двух массивных канделябрах, стоявших на письменном столе, и по знаку барина удалился.

Уже в третий раз в течение сегодняшнего дня муж и жена стояли наедине, лицом к лицу. У него опять появилась обычная неловкость, и движения его казались натянутыми, когда он придвинул жене стул, положил ей за спину подушку и подставил скамейку под ноги. Сам он остался на ногах.

— Пожалуйста, сядьте, милорд,— сказала она дрожащим голосом,— и если я не совсем вывела вас из терпения, то очень серьезно прошу вас — потерпите еще. Если я и виновата, зато много выстрадала сама и...

— Маркиза,— мягко, хотя немного холодно, сказал Эглинтон,— я просил бы вас не настаивать на этом свидании, если оно слишком тяжело для вас; что касается вашей вины, то даю вам честное слово, что даже мысль о самообвинении с вашей стороны кажется мне безумно нелепой.

Он не сел, как просила его Лидия, а продолжал стоять, глядя на нее и думая, что никогда еще она не была так прекрасна, как в эту минуту. Она была почти так же бледна, как ее платье, пудра все еще кое-где виднелась на ее волосах,

казавшихся при тусклом мерцании свечей подернутыми легким, искусственным покрывалом. На ней было редкое по красоте жемчужное ожерелье — подарок мужа ко дню свадьбы; драгоценные нити ряд за рядом ниспадали на ее шею и грудь, такие же белые и чистые, как и бесценные сокровища морской глубины.

Стул, на котором сидела Лидия, был обтянут дамасским шелком чудного темно-бронзового цвета, и на этом фоне — белая, рельефно выделявшаяся фигура жены казалась Эглингтону именно такой холодной, неприступной статуей, какой он всегда рисовал себе Лидию.

Но сегодня, несмотря на неподвижность и белизну, в нежном мраморе проявились признаки жизни. В глазах, окруженных темными тенями, пропало обычное высокомерное выражение, а вокруг губ появились страдальческие складки.

Генри Дьюхерсту, маркизу Эглингтону не было еще и тридцати лет; он всем сердцем, всей душой любил эту очаровательно-прекрасную женщину, никогда не бывшую для него ни товарищем, ни женой, а лишь идеалом, неуловимой тенью, которую его любовь не могла материализовать.

Глядя на нее в настоящую минуту, он в первый раз во все время их совместной жизни задал себе вопрос, не он ли сам был виноват в том, что они остались чужими друг другу. Этот вопрос пришел ему в голову лишь потому, что сегодня в первый раз большое горе и чувство стыда вдохнули жизнь в эту мраморную статую.

Он вдруг почувствовал к Лидии невыразимую жалость и, забывая о всех горестях, которые она причинила ему, с глубокой грустью думал о том, сколько ей самой пришлось перестрадать из-за своей безграничной гордости и испорченности современного общества.

— Милорд, — сказала она, стараясь придать твердость своему голосу, — вы несколько облегчили бы мне тягость этого свидания, точно определив время, когда вы вошли в тронный зал ее величества сегодня вечером.

— Это я не могу сказать, маркиза, — ответил он с едва заметной улыбкой, — я не посмотрел на часы, но я был в свите его величества и потому...

— Вы слышали все, что произошло между мною и графиней де Стэнвиль? — быстро перебила Лидия.

— Все от слова до слова.

Она почувствовала некоторое облегчение. Ей противно было бы снова воскрешать в памяти пошлую сцену, взаимные пререкания, оскорбления и наконец презрительный уход королевы. В эту минуту она не могла видеть лицо мужа; он

намеренно стал таким образом, что свет от канделябра падал прямо на ее лицо, между тем как он сам оставался в тени; но вся его фигура была проникнута благородным спокойствием.

Комната своей простой меблировкой представляла полную противоположность другим покоям роскошного Версальского дворца. Среди этой мирной обстановки тревога в сердце Лидии немного утихла. Здесь ей легче было справиться со своим волнением и проглотить жгучие слезы унижения, туманившие ей глаза.

— Теперь, милорд, мне легче будет говорить. Вы понимаете, в чем меня обвиняют, какое ужасное бремя позора и стыда я навлекла на себя собственным безумием. Вы понимаете, — при этом ее голос, до сих пор твердый, понизился до шепота, — что я оказалась недостойной того доверия, которое мне, так же, как и вам, оказал несчастный принц Стюарт, ваш друг.

Эглинтон не отвечал, ожидая, что она скажет дальше. Она опустила голову, и крупные слезы покатались из-под опущенных ресниц ей на руки. Ему, который так любил ее и которому она причинила такое тяжкое горе, видеть ее плачущей доставляло странную, горькую радость.

— То, что сказала сегодня вечером графиня де Стэнвиль, — правда, — беззвучно продолжала Лидия. — Я сама передала графу де Стэнвилю карту со всеми отметками, а также и описание места, где скрывается принц; кроме того, я вручила ему написанное и подписанное мною письмо на имя принца Карла Эдуарда Стюарта, в котором я прошу его безусловно доверять подателю этого письма. И письмо, и карта все еще находятся в руках его величества; а он склонен принять предложение герцога Кумберлендского и продать принца его врагам за пятнадцать миллионов ливров. И все это — правда!

Говоря это, Лидия вполне могла ожидать, что ее исповедь заставит справедливый гнев ее мужа прорваться сквозь стенки хорошего тона и сдержанности, которые все порядочные люди обязаны соблюдать в присутствии женщины. Она была уверена, что только сознание этой обязанности не дало ему вмешаться в ее столкновение с Ирэнрой. Если бы он стал кричать и выходить из себя, если бы громко осуждал ее, если бы даже поднял на нее руку, — она не удивилась бы. Но когда, не слыша возражений, она взглянула на него, то заметила, что он даже не пошевелился; только рука, лежавшая на столе, немного дрожала. Заметив ее взгляд, он сейчас же снял

руку со стола, затем, словно собираясь с мужеством, выпрямился и стоял неподвижно, как солдат на смотру.

— После всего, что я вам сказала, милорд,— продолжала Лидия после небольшой паузы,— в ваших глазах, конечно, не найдется никакого извинения моим поступкам; я пожертвовала жизнью человека, верившего нам —вам и мне,— милорд, даже больше, чем Франции. Принц и его друзья из-за меня будут преданы в руки людей, которые из политических целей и из чувства самосохранения отправят их на эшафот. Вы видите, что я не хочу оправдываться, хотя вы, я знаю, считаете, что своим поступком я навлекла позор на ваше имя. Я не заслуживаю прощения и не прошу, но обязана объяснить вам все и потому прошу вашего внимания.

— Нет, миледи, вы просто шутите,— возразил Эглинтон; — вы ни к чему не обязаны... даже дать мне объяснения.

— Но вы все-таки выслушаете меня? — настаивала она.

— Это было бы слишком тяжело для нас обоих.

— Вы предпочитаете лучше считать меня подлой и низкой предательницей,— сказала Лидия с внезапным порывом,— не желаете узнать от меня самой, что Гастон де Стэнвиль...

Она вдруг остановилась и закусила губу; муж пытливо смотрел на нее, но она этого не замечала.

Он знал, что теперь в ней начнется жестокая борьба между отчаяньем и гордостью. Сначала он надеялся, что горе и унижение оказались ей не по силам и она обратилась к единственному человеку, который мог успокоить ее и помочь ей, безграничная любовь которого всегда была готова разделить ее горе. Но, в то время, как Лидия говорила, бледная, неподвижная, полная пренебрежения к нему, несмотря на самобичевание, он понял, что его час — час любви — еще не пробил. Гордость еще не была сломлена.

— Вы говорите, милорд,— начала она более спокойным тоном,— что все это только «тяжело» для нас обоих. Я понимаю, что вы не можете питать ко мне большое уважение. Вы презираете, даже, вероятно, ненавидите меня. Пусть будет так. Но не будем теперь разбираться в собственных чувствах, милорд! Умоляю вас, забудьте на время о моем существовании и думайте только о принце Стюарте и грозящей ему опасности. Только ради него я просила этого свидания... «Левантинец», прочное, легкое судно, в настоящее время уже снаряжается его величеством для гнусной экспедиции. При помощи карты и моего письма будет очень легко... О! —

воскликнула она со страстной мольбой.— Он был вашим другом, милорд! Неужели ничем нельзя помочь?

— Не знаю, маркиза,— холодно ответил Эглинтон.

— Но ведь вы помните данное ему обещание? — сказала Лидия, раздраженная его холодностью.— Помните, тогда ночью, в замке Домон,— на празднике...

— С тех пор много воды утекло, маркиза,— просто сказал ее муж.— Управление делами находилось в ваших руках. Как вам известно, я не обладаю ни умом, ни характером, и был очень рад, что мог доверить дела более способному человеку.

— Но ваше обещание принцу! — горестно воскликнула она.

— Вам, маркиза, я дал еще более торжественное обещание никогда не вмешиваться в государственные дела.

— Я освобождаю вас от этого обещания,— горячо воскликнула Лидия.— Подумайте, милорд, умоляю вас, подумайте! Ведь должен же быть какой-нибудь выход из этого страшного лабиринта... ведь есть же у вас кто-нибудь, кому вы могли бы довериться?

Она остановилась, и густая краска залила ее щеки. Ей показалось, что при ее последних словах в глазах мужа загорелся огонек, который и вызвал внезапную краску на ее лице; но эта краска сбегала так же быстро, как и появилась; он совершенно спокойно и естественно сказал:

— У меня никого нет. Да и на кого можно положиться?

— Наверное, наверное, вы можете что-нибудь придумать,— повторяла она с все возрастающей настойчивостью,— у вас есть средства, вы богаты. Неужели вы не хотите, милорд?

— О! — пренебрежительно сказал он.— Мои средства так невелики, что о них не стоит и упоминать.

— Неужели вы не в состоянии придумать, как помочь вашему другу, жизнь которого в опасности?

Эглинтон уловил в ее голосе гневные ноты, возврат к высокомерному, упрямому своеволию, которое всегда мешало ей быть счастливой. При виде ее горящих глаз и презрительной усмешки он тоже переменял тон: вся мягкость и нежность, которой она все время с намерением не замечала, исчезла с его лица, и в его голосе появились суровые, горькие ноты.

— Я? — переспросил он, приподняв брови.— Положительно, маркиза, вам сегодня угодно только шутить. Я не государственный муж и не политический деятель; у меня едва хватает мозгов, чтобы исполнять в управлении делами роль статиста. Я никогда не умел ни о чем думать.

— Вы, кажется, смеетесь надо мной, милорд? — надменно сказала Лидия.

— Ничего подобного: я слишком уважаю вас, чтобы позволить себе не только смеяться, но и думать самостоятельно.

Маркиза молчала, отлично понимая, что муж просто хотел наказать ее за презрение, которое она выказывала сегодня утром. О, если бы ей удалось прочесть его мысли! Ведь должен же быть какой-нибудь способ обратиться к чувству, которое, несомненно, он питал к своему другу.

О, если бы это было несколько месяцев тому назад, пока он еще любил ее, прежде чем Ирэна де Стэнвиль... Лидия боялась идти дальше в своих предположениях; ее сердце снова болезненно заныло, а на глаза навертывались непрошенные слезы. Если бы любовь мужа к ней не умерла, как легко было бы ей исполнить свое дело!

— Милорд, — решительно произнесла она, — с вашей отставкой прекратятся эти унижительные препирательства между нами. Может быть, сегодня утром я была немного резка. Если так, то об одном прошу вас: не вымещайте гнева на своем друге. Умоляю вас, не заставляйте его искупать ошибки вашей жены. Сознаваясь в своей ошибке, я просто и прямо попросила вашего совета и помощи для вашего друга. На мою просьбу вы ответили насмешками и издевательством. Клянусь вам, милорд, что, если бы я могла действовать, не прибегая к вашей помощи, я так и сделала бы.

Эглинтон знал, что в эту минуту жена говорила искренне. Ее последние слова причиняли ему невыносимую боль. В настоящую минуту ему казалось, что под ударами, которые наносились ему этими прелестными устами, или жизнь, или рассудок должны покинуть его.

— Поэтому, милорд, — заключила Лидия после некоторого молчания, видимо, не сознавая всей жестокости своих слов, — я прошу вас не осложнять моего положения. Я принуждена просить вашей помощи, чтобы, насколько возможно, предупредить гнусное дело предателей. Окажете вы мне, по крайней мере, необходимую помощь?

— Если это в моей власти, — ответил он. — Приказывайте, маркиза!

— Я хочу послать гонца на почтовых к командиру «Монарха» с приказанием немедленно плыть в Шотландию, — продолжала Лидия деловым тоном. — Я хотела бы иметь новую копию с карты тех мест, где скрывается принц Карл Эдуард, и, для большей верности, письмо от вас к принцу, в котором вы будете просить его вполне довериться капитану

Барру. «Монарх», как мне известно, может достичь берегов Шотландии задолго до того, как «Левантинец» будет готов к отплытию; он должен взять на борт принца и его друзей и, держась западного берега Ирландии, добраться до Бретани или Испании окольным путем. Я убеждена, что еще не поздно отправить гонца и таким образом исполнить задуманный мною план. И, если вы мне дадите новую карту с подробными указаниями и ваше кольцо с печатью, мне, я убеждена, удастся найти кого-нибудь, кому бы я действительно могла довериться.

— Здесь никого нет, кому бы вы могли вполне доверить такое поручение, маркиза, — сухо сказал Эглинтон.

— Я должна рискнуть. Положение слишком опасно; я должна что-нибудь предпринять, чтобы предотвратить эту ужасную катастрофу.

— В результате неизбежно получится измена.

— Прошу вас предоставить это мне, — твердо произнесла Лидия. — Я знаю, что найду кого-нибудь; у вас я прошу только карту, письмо и ваше кольцо с печатью.

Она думала, что при первых же ее словах муж на все согласится, упадет к ее ногам и прильнет губами к ее руке. Он уже раз сделал это... год тому назад, почему не сделать бы ему этого теперь? Тогда она улыбнулась ему и позволила целовать свои холодные пальцы. И действительно даже теперь, после целого года страданий, Эглинтону захотелось снова поддаться искушению и, отбросив благоразумие и гордость, воспользоваться только одним счастливым часом, но полным упоения и радости, а потом — опять унижение, которое еще тяжелее будет переносить. Но он не поддался этому безумному искушению, сознавая, что гордость опять всецело владела душой его жены и что в сердце у нее нет ни искры любви.

А она, уже уверенная в победе, ждала — взволнованная, дрожа от нетерпения.

— О, милорд, умоляю вас, — страстно воскликнула она, — не откладывайте! Каждая минута дорога. Клянусь вам, я найду, кого послать. Он не будет знать цели этого поручения. Я скажу совершенно равнодушно: пакет командиру «Монарха» будет совершенно не важный. Я даже не велю ему торопиться, а попрошу только хранить запечатанный пакет, как всякую другую государственную тайну. Сотни таких поручений даются совершенно посторонним лицам. Поверьте мне, нет никакой причины опасаться чего-либо... Но вы не отвечае-

те? — вдруг спросила она, резко переменяв тон. — Неужели вы не можете сделать для меня такой пустяк?

— Это невозможно, маркиза, — коротко ответил Эглинтон.

— Невозможно? Почему?

Ответа не было.

— Надеюсь, милорд, вы объясните мне причину этого непонятного отказа? — с нетерпением проговорила Лидия.

— Нет, не объясню. Я отказываюсь, вот и все.

— Это — ваше последнее слово?

— Да, мое последнее слово.

— Вы, может быть, хотите заставить меня думать, что вы заодно с предателями и не хотите спасти принца Стюарта?

Она возвысила голос, открыто обвиняя мужа, хотя и сознавала в душе, что обвинение было неосновательно; но ей хотелось раздражить его, вызвать на объяснение, а главное, насколько было в ее силах, добиться его согласия.

Но Эглинтон, по-видимому, равнодушно принял оскорбление и, пожав плечами, спокойно сказал:

— Как вам будет угодно.

— Или... или вы, может быть, не верите мне? Думаете, что я...

Лидия не договорила, не будучи в силах выразить словами ужасное подозрение, вдруг пронизавшее ее мозг. Ею овладело чувство горькой обиды и невыразимого унижения. Она не сказала более ни слова, только из ее груди вырвался душераздирающий стон.

Она молча повернулась и, закинув назад голову, с полузакрытыми глазами медленно вышла из комнаты.

XIX

Лидия не помнила, как добралась до своих покоев. Сегодня днем ей раз или два казалось, что она до дна испила чашу горя, обиды и унижения. Когда ее муж утром требовал от нее объяснения и обвинял ее в том, что она готова была принять гнусные предложения короля, когда она узнала, что горячо любимый и уважаемый ею отец погрузился в тину предательства, когда она стояла лицом к лицу с Гастоном де Стэнвиль, сознавая, что он — отвратительный лжец, а она — слабая, доверчивая, глупая женщина, когда Ирэна публично обвиняла ее в участии в деле, за предотвращение которого она готова была отдать свою жизнь, — все это были минуты

такого позора, больше которого, как ей казалось, она не могла вынести.

Но как детски-наивны, как жалки были эти душевные муки в сравнении с тем, что она испытывала в настоящую минуту!

Почему же она так страдала? Неужели только потому, что ей не удалось достичь своей цели, хотя она чуть не на коленях молила исполнить ее просьбу?

«Нет,— ответил ее затуманенный рассудок,— причины твоего страдания глубже и пока непонятны, но смертоносны в своем упорстве».

Ее муж думал, что, если он доверит ей теперь письмо к принцу Стюарту, то она воспользуется им для новой измены. В этом, очевидно, крылась причина его отказа. Он так ненавидел, так презирал ее, что ставил ее на одну доску с самыми последними, самыми подлыми женщинами.

Да, но несколько времени тому назад в приемной королевы Ирэна де Стэнвиль публично обвинила ее в желании продать за деньги своего друга. Большинство охотно поверило Ирэне. Это был, конечно, также удар, но не такой сильный. Так почему же теперь такие страдания?

«Господи! Неужели я схожу с ума?» — спросила себя Лидия.

Ахилл проводил маркизу до дверей ее покоев, канделябром освещая ей путь по бесконечным галереям.

У дверей приемной ее встретил ливрейный лакей, доложивший, что ее ожидает герцог Домон. На ее быстрый вопрос лакей ответил, что герцог пришел с полчаса тому назад и, узнав, что маркиза на половине супруга, решил подождать ее.

Визит отца в такой поздний час заставлял предполагать, что случилось большое несчастье. В одну минуту мысли Лидии обратились к Стюарту. С того момента, как она вышла из комнаты мужа, она не думала о принце, как будто гнет угрожавшей ему смертной участи изгнал из ее головы все остальные мысли, потерявшие для нее всякое значение.

Кроме того, она смутно сознавала, что не было основания так тревожиться о судьбе якобитов. Пред нею было еще целых шесть дней, пока «Левантинец», намеченный для этой жестокой экспедиции, будет готов пуститься в море. Вместе с тем «Монарх» мог сняться с якоря через час по получении от нее приказаний. А капитан Барр был честный, благородный моряк; он, наверное, немедленно примет меры, чтобы разру-

шить изменнический заговор, который, если бы он знал о нем, привел бы его в ужас.

Правда, у Лидии не было теперь возможности в точности указать местопребывание беглецов, но вследствие шестидневной отсрочки обстоятельство не казалось ей угрожающим. Она так подробно и долго изучала карту, что могла кое-что начертить на память, а решительность и усердие капитана Барра довершат остальное.

Эти соображения мгновенно наполнили ее голову, когда ей было доложено о посещении отца. Первым ее желанием было во что бы то ни стало избежать встречи с ним, хотя бы даже рискуя обидеть его; но, несмотря на все, что ей пришлось пережить, у Лидии хватило присутствия духа, чтобы не поддаться в такой критический момент только одному инстинкту. В несколько секунд у нее созрело твердое решение повидаться с отцом и узнать от него все подробности относительно предполагаемой экспедиции. Не зная всего, что было решено между королем, Гастоном и ее отцом, она очутилась бы в беспомощном положении. К тому же герцог, может быть, хотел посоветоваться с нею относительно снаряжения «Левантинца».

Успокоенная своим решением, Лидия прямо направилась в будуар, где, по словам слуги, ее ожидал герцог. При первом взгляде на его благодушное лицо ей стало ясно, что он совершенно спокоен.

— Ну? — сказал он с жадным любопытством.

— Что, дорогой отец?

— Твой муж... что он сказал?

Она посмотрела несколько растерянно, безумным, ничего не говорящим взглядом, а затем спросила:

— А что он должен был сказать, отец? Я не понимаю.

— Относительно сегодняшнего скандала, дитя мое. Он был там, когда Ирэна де Стэнвиль говорила так неосторожно.

— Нет... нет... то есть, да, хотела я сказать, — рассеянно ответила Лидия. — Да, лорд был там и слышал все, что говорила Ирэна де Стэнвиль.

— Ну, и что же он сказал? — повторил герцог с явным нетерпением. — Лидия, дитя мое, разве ты не видишь, что я беспокоюсь? Целые полчаса я жду тебя здесь, терзаюсь неопределенностью. Слуги сказали мне, что ты заперлась с мужем. Ты должна сказать мне, что он говорил.

— Он ничего не говорил, отец, — просто ответила она.

Герцог внимательно посмотрел на нее: ее глаза были ясны и смело, и прямо встретили его взгляд. В них не было ни обмана, ни желания скрыть от него что-либо серьезное. Он пожал плечами в знак того, что совершенно отказывается понимать. Его зять всегда казался странным человеком, но его манера держаться именно теперь, после публичного скандала, в котором имя его жены играло главную роль, была выше понимания герцога.

— Гм... — спокойно сказал он, — право, англичане — все сумасшедшие. В данном случае мы, порядочные люди, совершенно не можем понять их. Как бы то ни было, дорогая Лидия, мне, как твоему отцу, остается только благодарить судьбу, что муж не поднял на тебя руки, потому что мужья-англичане вообще необыкновенно грубы. Ты уверена, что не имеешь причины жаловаться на поведение своего мужа?

— Вполне уверена, дорогой отец.

— Я думал, что мне придется увезти тебя с собою. Внизу меня ждет карета; сегодня я еду в замок Домон; может быть, и ты со мною поедешь?

— Не сегодня, дорогой мой, — спокойно ответила Лидия, и к удовольствию герцога на ее губах появилась улыбка. — Я немного устала и хочу поскорее лечь в постель. А завтра я приеду.

— Навсегда?

— Если хочешь.

— Хорошо, пока ты не переедешь в твой Венсеннский замок. Ты ведь знаешь мой взгляд на это дело?

— Да, дорогой отец. Мы поговорим еще об этом в другой раз. Сегодня я очень устала.

— Понимаю, дитя мое, — торопливо сказал герцог, начиная откашливаться, как будто у него в горле застряло что-то такое, о чем он хотел высказаться перед уходом.

Наступило неловкое молчание, как результат взаимного непонимания двух людей, бывших раньше всем друг для друга и внезапно разъединенных обстоятельствами. Лидии необходимо было о многом подумать, многое сделать, и сохранение наружного спокойствия было не по силам ее взвинченным нервам. Герцог, со своей стороны, чувствовал себя неловко в ее присутствии, а между тем ему необходимо было обсудить с нею некоторые подробности экспедиции к берегам Шотландии. Специально для этого он и пришел к ней. Разве она не была заодно с ним, с королем и Гастоном? Она дала суще-

ственное доказательство того, что сочувствовала этой экспедиции, его величество благодарил ее за помощь. Но тем не менее герцог Домон в ее присутствии чувствовал какую-то стыдливость, когда разговор заходил о принце Стюарте. Поэтому он завел разговор издали, тем более, что было еще одно дело, беспокоившее его, и он начал с него.

— Я полагаю, дитя мое,— беззаботно сказал он,— ты, как светская женщина, понимаешь, что твой муж обязан дать удовлетворение графу де Стэнвиллю.

— Удовлетворение? В чем? — спросила Лидия и опять устемлила на отца печальный, блуждающий взор.

Это выражение недоумения и раздражало, и вместе пугало его.

— Но ты же была там, дорогая моя,— нетерпеливо сказал он.— Ты знаешь... ты, конечно, видела... Ведь твой муж сначала пошутил над Гастоном, а потом дал ему подножку, так что тот во весь рост растянулся на полу.

— Я не заметила,— просто сказала Лидия.

— Но многие заметили... по крайней мере, настолько, что это дает полное право графу де Стэнвиллю, как оскорбленной стороне, требовать удовлетворения.

— Ах, вы говорите о дуэли? — равнодушно произнесла она.— Да, мне кажется, мой муж собирался драться с графом де Стэнвилем, если его величество даст свое разрешение.

— Гастон не будет просить разрешения у его величества, а твой муж не имеет права отказаться от поединка. Король не раз говорил о своем намерении навсегда запретить дуэли, по примеру Англии. Даже сегодня, после всей этой сумятицы, когда я имел честь откланиваться его величеству, он сказал мне: «Если Эглинтон и граф де Стэнвилль будут драться на дуэли и один из них будет убит, то оставшийся в живых будет повешен».

— Так что, ты думаешь, они не будут драться?

Герцог с недоумением уставился на дочь. Такое полное равнодушие к поступкам мужа в столь важном деле переходило всякие границы простого приличия.

— Да, да, они будут драться, моя дорогая,— сурово сказал он.— Ты должна понимать так же хорошо, как и я, что Гастон, не рискуя быть смешным, не может спрятать в карман нанесенное ему милордом оскорбление. Но дуэль не должна быть слишком серьезной... одна-две царапины и больше ничего. Гастон великолепно фехтует и никогда не дает прома-

ха, — нерешительно прибавил герцог. — А что, твой муж хорошо владеет шпагой?

— Не знаю.

— Ты не знаешь, дрался он когда-нибудь на дуэли?

— Кажется, никогда.

— А Гастон поразительно ловок. Но ты не должна тревожиться, дорогая! Я пришел к тебе так поздно именно с целью успокоить тебя, и ты поверишь мне, отцу, если я скажу тебе, что твой муж не подвергнется серьезной опасности от руки Гастона де Стэнвиля.

— Благодарю тебя, дорогой отец, — отозвалась Лидия таким спокойным, естественным тоном, какой, казалось, мог бы вполне успокоить его относительно состояния ее рассудка.

Но герцог почему-то не был спокоен.

— Гастон принужден драться... ты понимаешь. Все вышло слишком гласно... над ним стали бы смеяться, если бы он вздумал просить разрешения у его величества... дело не серьезное, и таковы же будут последствия. Гастон даст твоему мужу только легкий урок... Такой прекрасный фехтовальщик, как он, всегда сумеет найти место на теле противника, чтобы сделать царапину... может быть, в плечо... или в щеку. Во всяком случае бояться нечего.

— Да я и не боюсь, — с ясной улыбкой произнесла Лидия, невольно забавляясь подходами и явным смущением отца. — Это — все, что ты хотел сказать мне, мой дорогой? — ласково спросила она. — Если да, то повторяю, ты не должен беспокоиться обо мне. Я не боюсь и не волнуюсь. Мой муж, я уверена, сумеет позаботиться о безопасности своего тела так же, как он заботился о своем спокойствии и о своем... о своем достоинстве.

— А ты не посетуешь на меня, моя дорогая, за то, что я не предлагаю себя в секунданты твоему мужу? — вдруг спросил герцог, перестав колебаться и заговорив откровенно.

— Конечно, нет, дорогой отец! Я чувствую, что и сам милорд не рассчитывал на это.

— Моя близость к его величеству... ты понимаешь, дорогая моя, — быстро стал объяснять Домон, — а также мое... наше соучастие с Гастоном...

— Конечно, конечно, — повторила Лидия с особенным ударением, — наше соучастие с Гастоном...

— И, знаешь, он действует, как истый джентльмен... как честный человек.

— В самом деле?

— Его рвение, мужество и преданность поразительны, и хотя прежде всего успехом нашего предприятия мы обяза-

ны тебе, моя дорогая, но все же и его величество, и я чувствуем, что и графу де Стэнвилью мы также должны быть благодарны.

— Что же сделал Стэнвиль, что ты так восхищаешься им? — спросила Лидия.

— Суди сама, дорогая! После скандала, затеянного сегодня вечером Ирэнной, и огласки нашего предприятия, у нас было секретное собрание, на котором присутствовали его величество, маркиза Помпадур, я и Гастон. Мы все чувствовали, что и ты должна была быть там, но ты ушла с мужем и...

— Да, да, но не стоит говорить обо мне, — нетерпеливо перебила отца Лидия, видя, что он отвлекается от сути дела, — значит, у вас было секретное собрание? На чем же вы решили?

— Мы решили, что после такой огласки главной цели нашего предприятия было бы небезопасно откладывать его исполнение до того времени, пока «Левантинец» будет готов пуститься в путь. Конечно, без риска не обойдется, но в общем мы решили, что так как дело стало «секретом полишинеля», то шестидневная отсрочка может быть опасна, если даже не гибельна для успеха. Тебя там не было, Лидия, — робко повторил герцог, — мы не могли спросить твоего совета...

— Нет, нет! Итак, на чем же вы порешили?

— Что необходимо немедленно послать «Монарха».

— «Монарха»? Немедленно?

— Да ты же сама сказала мне, что он хоть сейчас готов сняться с якоря. И хотя мы боимся, что капитан Барр слишком предан делу Стюарта, чтобы можно было довериться ему, но все же, имея твое письмо, мы полагаем, что лучше уж положиться на него теперь, чем ждать «Левантинца». Я думаю, мы правы. А ты как думаешь?.. Лидия! Лидия, дитя мое, что с тобой?

Этот отчаянный возглас был вызван страшной бледностью Лидии, ее дико расширенными глазами и темными кругами под ними.

Пока ее отец говорил, она поднялась с дивана, но теперь не в силах была держаться на ногах; вся дрожа, она протянула вперед руки, словно прося поддержки. В одну минуту герцог подхватил ее, нежно, но решительно заставил снова сесть на диван и прижал ее головку к своему плечу.

— Лидия... Лидия... дорогая моя... ты совсем больна.

Но она уже успела оправиться от внезапного приступа дурноты и головокружения.

— Нет, нет, дорогой мой,— сказала она, насколько могла, весело, но все еще чувствуя себя очень слабой и больной.— Мне совсем хорошо, уверяю тебя... Пожалуйста... пожалуйста,— прибавила она серьезно,— не беспокойся обо мне, а скажи лучше ясно и кратко, как только можешь: каковы же именно ваши планы в настоящую минуту... то есть твой и Гастона... относительно этой экспедиции?

— Я передам тебе все, насколько сумею, кратко,— ответил герцог, все еще глядя на дочь с нежной тревогой.— Мы решили вместо того, чтобы ждать снаряжения «Левантинца», послать «Монарха», дав капитану Барру инструкции, согласно письму, которое ты написала, а также тайный приказ, составленный вместе со мной его величеством. «Монарх», приняв на борт Стюарта и его друзей, пойдет прямо к северо-западному берегу Англии и при первой возможности спустит якобитов в каком-нибудь порту на берег, где они и будут переданы английским властям. Как только это было решено, Гастон тотчас же предложил выехать на заре в Гавр с секретными предписаниями. Ему даны полномочия обещать капитану Барру большую награду в зависимости от быстроты хода «Монарха». После этого его величество изволило отпустить меня и Гастона, очень довольный последним за его намерение с головоломной быстротой скакать в Гавр. Когда мы вышли, Гастон объяснил мне, что не может уклониться от дуэли с твоим мужем и что он уже дал инструкции своим секундантам, которые и увидятся с милордом сегодня же. Гастон не может отложить дуэль до своего возвращения, чтобы не навлечь на себя насмешек и даже изгнания из общества. Поэтому дуэль состоится на заре, а Стэнвиль выедет на полчаса позже. Ты видишь, что дуэль не может иметь серьезных последствий.

Лидия спокойно выслушала это пространное объяснение, не пропустив ни одной подробности. Когда отец кончил, она самым естественным образом поблагодарила его и выразила одобрение всему, что было сделано.

— Все очень хорошо придумано и устроено, дорогой отец,— ласково сказала она.— А теперь лучше всего, я думаю, пойти и отдохнуть. Боюсь, что сегодня я чересчур перевозволновалась, да и тебе причинила немало беспокойства. Ну, а теперь все устроилось к лучшему, и можно идти спать!

Герцог с облегчением вздохнул. Ему казалось, что он снова нашел потерянную дочь. Притянув к себе Лидию, он нежно поцеловал ее; он был слишком занят своими мыслями, так

что не почувствовал с ее стороны легкого сопротивления. Пожелав ей «покойной ночи», он с облегченным сердцем, легкой походкой вышел из ее комнаты.

XX

Проводив маркизу до ее покоев, Ахилл снова направил свои шаги к комнатам барина и был немало удивлен, найдя в прилежавшей к кабинету восьмиугольной комнате почтенного Батиста Дюрана.

Этот сморщенный маленький человечек был необыкновенно взволнован; он держал под мышкой две тяжелые книги, а за каждым ухом у него торчало по белому гусиному перу, что делало его похожим на испуганного журавля.

Уже давно прошел час, когда Дюран, нагруженный своими громадными книгами, входил обыкновенно в комнату маркиза, где и оставался далеко за полночь. Каждый вечер, в один и тот же час, он являлся в восьмиугольную комнату, часть времени проводил с Ахиллом, а затем шел к Эглинтону, неся большой кожаный мешок, наполненный связками бумаг; при входе в комнату лорда его взгляд выражал беспокойство, при выходе оттуда — облегчение. Ахилл не раз сгибал свою широкую спину, чтобы приложить ухо к замочной скважине двери, за которой Дюран исчезал каждый вечер ровно в десять часов; но, несмотря на мучительное любопытство, ему удавалось слышать только звук двух голосов; один был низкий и твердый, другой — немного резкий; ни одной сколько-нибудь ясной фразы не долетало до слуха верного слуги.

Когда, уже после полуночи, Дюран выходил из кабинета лорда, то в кратких словах желал Ахиллу спокойной ночи, неизменно отказываясь дать какие бы то ни было сведения относительно той работы, над которой так поздно трудился. Если же Ахилл очень приставал к нему, то он обыкновенно уклончиво говорил: «подводим счета», что, конечно, было очень странно. Ахилл никогда не слышал, чтобы дворянин утруждал себя ведением счетов, особенно в те часы, когда вся знать или сидела за ужином, или спала.

Время шло, и Ахиллу надоело расспрашивать Дюрана об этих вечерних занятиях; они были так регулярны и так однообразны, что не возбуждали больше никакого интереса. Но сегодня, казалось, все изменилось. Дюран, вместо того, чтобы

прямо пройти в кабинет, стоял посреди комнаты, как воплощение беспомощного состояния.

— Ну, мсье Дюран, что такое с вами? — с изумлением спросил Ахилл. — У вас такой вид, точно вам почудилось привидение.

— Шш-шш... — прошептал испуганный старичок, движением плеча показав на отдаленную дверь кабинета, — слышите?

Ахилл прислушался, но, как ни старался, ничего не слышал, кроме монотонного тиканья стенных часов. Он пожал плечами, будто хотел сказать, что Батисту все только приснилось, но, посмотрев на него, на цыпочках отправился к кабинетной двери и приложил ухо к замочной скважине.

Покачивая головой, он снова на цыпочках вернулся на середину комнаты и прошептал:

— Я ничего не слышу. Вы уверены, что он там?

— Совершенно уверен! — ответил Дюран.

— Так почему же вы не входите, как всегда?

— Я... я не могу.

— Да почему же?

— Не знаю... мне послышался очень странный звук, точно... — Дюран замолчал, подыскивая слова, но, не найдя, вероятно, подходящего выражения, повторил: — Это был очень странный звук.

— Может быть, милорд заснул и храпел, — предположил практичный Ахилл.

— Нет, нет, — энергично возразил Дюран.

— Может быть, он заболел.

— Может быть, — пробормотал маленький человечек, — может быть, милорд болен.

— Тогда я пойду к нему! — и, прежде чем Дюран успел помешать ему, Ахилл вернулся к двери и громко постучал.

Сначала не последовало никакого ответа. Ахилл постучал еще и еще, пока наконец оттуда не послышался голос:

— Кто там?

— Это — я, Ахилл, господин маркиз, — тотчас ответил лакей.

— Мне ничего не нужно, — произнес тот же голос. — Скажите Дюрану, что он не понадобится мне сегодня.

Дюран чуть не разронял всех своих книг.

— Не понадоблюсь! — воскликнул он. — Но у нас ведь произойдет страшная задержка.

— Может быть, милорду угодно лечь? — снова спросил Ахилл.

— Нет! — уже с нетерпением воскликнул голос за дверью. — Не ждите меня; если будет нужно, я позвоню.

Ахилл посмотрел на Дюрана, тот — на него, и оба пожали плечами.

— Нечего делать, милейший Батист! — сказал наконец Ахилл. — Собирайте свои пожитки и отправляйтесь спать. Я знаю этот тон у милорда, я уже однажды слышал его, когда... Впрочем все равно, — прибавил он, внезапно замолчав, точно боялся быть нескромным. — Довольно того, что я знаю: когда милорд вот таким тоном говорит, что ему ничего не нужно и чтобы я уходил, это значит, что ему действительно ничего не нужно и что надо уходить.

Произнеся эту глубоко-логическую фразу, он указал на дверь. Дюран намеревался было последовать разумному совету своего друга, как вдруг среди глубокой тишины раздался громкий звонок.

— Посетитель в такой час! — произнес Ахилл. — Мне кажется, милорд просто ожидал интересного позднего посетителя... как вы думаете, мсье Дюран? И что поэтому мне и вам приказано было уходить... а? И что поэтому вы и не были нужны сегодня... как вы думаете?

Дюран не был в этом уверен, но спорить было некогда, потому что второй, более сильный и решительный, звонок заставил Ахилла подтянуться, поправить галстук и кафтан, а Дюрана притаиться в самом темном углу комнаты.

Звук приближающихся шагов раздавался все ближе; посетитель был принят, и в сопровождении двух лакеев с зажженными канделябрами шел по приемным комнатам. Еще минута — и двери, ведущие в парадные покои, распахнулись, Ахилл встал в позу посреди комнаты, а громкий голос еще издали произнес:

— Господин маркиз де Бель-Иль! Господин граф де Люжак!

Широкая спина Ахилла согнулась вдвое. Ему хорошо были известны имена, если и не представлявшие собою цвета французской аристократии, то все же являвшиеся той невидимой властью, которая управляла ею. Маркиз де Бель-Иль был лучшим другом мадам де Помпадур, а де Люжак был ее племянник.

— Ваш господин у себя? — спросил де Бель-Иль громким, повелительным голосом человека, вошедшего в силу.

— Милорд у себя, господин маркиз, — нерешительно произнес Ахилл.

Нечасто случалось, чтобы он был застигнут врасплох при исполнении своих обязанностей, но теперь положение было, без сомнения, очень затруднительное, и он еще не сообразил, как из него выйти.

Впрочем, посетители не дали ему долго раздумывать.

— Подите и скажите ему, — заговорил де Люжак, — что маркиз де Бель-Иль и я желаем побеспокоить его на несколько минут.

Видя, что Ахилл стоит в нерешимости, поглаживая выхолощенной рукой свой подбородок, де Бель-Иль прибавил уже громче:

— Ступай, бездельник! Да живей! Как ты смеешь еще раздумывать?

И в самом деле Ахилл не осмелился ждать. Маркиз де Бель-Иль был известен за человека, с которым шутки плохи. Пожав плечами и потеряв руки в знак того, что он не ответствен за будущее и за те неприятные последствия, к каким может повести непрошеное вторжение поздних гостей, Ахилл с подобающим величием подошел к дверям и постучал еще раз, но уже громче и с меньшей почтительностью. Голос изнутри спросил уже с явным нетерпением:

— Что там еще?

— Неотложный визит, господин маркиз! — твердым голосом ответил Ахилл.

— Я никого не могу видеть. Я занят! — проговорил прежний голос.

Де Бель-Иль чувствовал, что эта маленькая сцена просто неприлична; ни он, ни де Люжак не привыкли вести переговоры с кем бы то ни было через запертые двери, стоя за спиной лакея. Поэтому, когда Ахилл повернулся к ним и бросил на них взгляд, почтительно, но твердо говоривший, что инцидент исчерпан, де Бель-Иль грубо оттолкнул его и сам громко сказал:

— Черт побери, маркиз! По-видимому, у вас есть очень уважительные причины никого не принимать сегодня ночью. Я, Андрэ де Бель-Иль, и мой друг, граф де Люжак, желаем сказать вам несколько слов. Мы явились от имени графа де Стэнвиля, и если вы заперлись не с дамой, то я убедительно прошу вас открыть дверь.

Однако дверь все еще оставалась запертой. Тогда де Бель-Иль смело взялся за ручку и с силой толкнул ее, и дверь распахнулась.

Эглинтон сидел за письменным столом и писал, положив голову на руку. Обернувшись и увидев молодых людей, кото-

рые молча и почтительно остановились в дверях, он поклонился им и смотрел на них с изумлением, не приглашая их войти.

— Мы очень извиняемся, милорд,— начал де Бель-Иль, чувствуя, как он сам потом говорил, непривычную застенчивость и неловкость,— мы никогда не осмелились бы вторгнуться к вам, если бы не маленькая формальность, которая была упущена сегодня вечером и которую мы просим вас исполнить.

— Какая формальность, маркиз? — любезно спросил Эглинтон.— Я не совсем понимаю вас.

— Сознаюсь, все произошло очень быстро,— продолжал де Бель-Иль, все еще стоя в дверях и, по-видимому, не желая вторгаться к человеку, который вдруг сделался совсем чужим для него и стоял пред ним высокомерный, серьезный, вежливый, с холодным взглядом, исключавшим всякий намек на возможность фамильярности.— Поэтому, вероятно, вы и не успели указать господину де Стэнвилю своих секундантов,— закончил де Бель-Иль.

— Моих секундантов? — повторил «маленький англичанин». — Боюсь, что вы сочтете меня очень глупым, но я все-таки ничего не понимаю. Может быть, вы будете так любезны и объясните мне... если, конечно, это необходимо.

— Необходимо! Впрочем, я сам не предполагал, что это будет необходимо. Вы, милорд, сами и через маркизу, вашу супругу, оскорбили графа де Стэнвиля, а также и его супругу. Мы являемся в этом деле представителями графа де Стэнвиля и смеем надеяться, что вы дадите ему удовлетворение. Сегодня мы явились, чтобы узнать у вас имена ваших представителей и переговорить с ними о подробностях дуэли в смысле, желательном для графа де Стэнвиля, так как он является обиженной стороной. Поэтому, милорд,— продолжал де Бель-Иль уже почти сурово, так как Эглинтон на его тираду ответил глубоким молчанием,— мы просим сказать нам безотлагательно имена ваших секундантов, чтобы мы могли не утруждать вас более своим присутствием.

— Мне незачем делать это, маркиз,— спокойно ответил лорд,— я не нуждаюсь в секундантах.

— Не нуждаетесь в секундантах?! — в один голос воскликнули оба посетителя.

— Я не собираюсь драться с графом де Стэнвилем.

Если бы Эглинтон внезапно объявил о своем намерении свергнуть с престола короля Людовика и надеть его корону

поверх своей собственной, его собеседники не были бы более поражены, как услышав теперь его слова. И де Бель-Иль, и де Люжак буквально онемели; несмотря на громадный опыт в придворной жизни, им никогда не приходилось сталкиваться с таким положением вещей, и ни тот, ни другой совершенно не знали, как им поступить в данном случае. Де Люжак, который был моложе и надменнее, первый пришел в себя.

— Должны ли мы принять ваши слова, милорд, за формальный отказ? — смело спросил он.

— Как вам будет угодно.

— Значит, вы не согласны дать графу де Стэнвиллю удовлетворение, как это принято между порядочными людьми?

— Я не буду драться с графом де Стэнвилем, — спокойно повторил Эглинтон. — У меня есть другие дела.

— Но, милорд, — с неудовольствием вмешался де Бель-Иль, — вы, вероятно, не подумали о последствиях такого отказа, которому я в настоящую минуту не смею подобрать имя?

— Извините меня, господа, — с кажущимся равнодушием произнес Эглинтон, — но нужно ли нам продолжать это свидание?

— Совершенно не нужно, — усмехнулся де Люжак. — В нашу обязанность не входит судить о ваших поступках... в настоящее время, — прибавил он, смело подчеркивая последние слова.

Но де Бель-Иль, несмотря на свою недостойную приверженность к партии мадам Помпадур, был все-таки отпрыском древнего дворянского рода и ему противно было видеть, как такой выскочка, как де Люжак, оскорбляет человека высокого происхождения, каковы бы ни были его поступки.

— Хотя это и не входит в мои полномочия, — сказал он, — но позвольте мне выразить вам уверение, милорд, что граф де Стэнвиль не собирается поступить с вами сурово. Правда, он считается самым лучшим фехтовальщиком в целой Франции, и, может быть, это обстоятельство и повлияло на ваше теперешнее решение, но поверьте моей опытности: замечательное искусство графа лучше всего гарантирует вашу безопасность. Он удовольствуется тем, что даст маленький урок, и ему, как мастеру своего дела, легко будет рассчитать удар, чтобы не нанести вам серьезного вреда. Все это я говорю вам частным образом, хорошо зная намерения графа. Скажу более: завтра он отправляется в очень важное путешествие и хотел предложить вам маленькую дуэль на заре, в одном из тихих уголков парка. Простая царапина — и больше, уверяю

вас, вам нечего бояться. Больших уступок, по чести, он сделать не может.

Странная улыбка играла на губах «маленького англичанина» и мгновенно изменила серьезное выражение его лица.

— Ваши уверения более, чем любезны, мсье де Бель-Иль, — сказал он с изысканной вежливостью, — но я могу только повторить то, что сейчас сказал вам. Я не буду драться с графом де Стэнвилем.

— А я, милорд, вместо того, чтобы повторять только что сказанное мною?.. — произнес де Люжак, злобно глядя на него.

— Вы попрिдержите свой язык, — повелительно сказал де Бель-Иль, схватив молодого человека за руку.

Де Люжак, всегда боявшийся сказать или сделать что-нибудь такое, что могло обнаружить его низкое происхождение, беспрекословно повиновался. Де Бель-Иль, хотя и был сильно поражен, знал, конечно, как надо поступать в таких необыкновенных обстоятельствах.

Эглинтон, стоявший за своим письменным столом так, что его лицо находилось в тени, очевидно, ждал ухода этих непрошенных гостей. Пожав плечами не то в недоумении, не то с презрением, де Бель-Иль пренебрежительно кивнул ему головой и вышел; де Люжак последовал его примеру, постаравшись в точности воспроизвести небрежный поклон и взгляд своего старшего друга.

— Уж эти англичане! — воскликнул молодой де Люжак, делая вид, что плюет на пол. — Я бы никогда не поверил этому, клянусь дьяволом, если бы не слышал собственными ушами.

Но Бель-Иль важно покачал головой.

— Я боюсь, что молодчик хочет только оттянуть время, для этого надо быть очень толстокожим. Посмотрим, что он выиграет, когда это сделается всюду известным.

— А это, наверное, станет всем известным, — заносчиво подтвердил де Люжак. (Он всегда ненавидел, как он называл, «английскую партию». Лидия беспощадно бранила его, а милорд просто игнорировал его существование.) — Клянусь, моя перчатка первая коснется его щеки.

— Шш... шш... шш... — увещевал его де Бель-Иль, кивнув головой в сторону Ахилла, возившегося с канделябром.

— Ах, какое мне до этого дело! — воскликнул де Люжак. — Если бы вы не удержали меня, я прямо назвал бы его подлым трусом.

— Это было бы очень некорректно, мой милый Люжак, — сухо возразил де Бель-Иль. — Право оскорбить лорда Эглинтона принадлежит прежде всего графу Стэнвилю, а потом уже его друзьям.

Хотя маркиз де Бель-Иль выбирал более изящные выражения, чем его друг-плебей, но в выражении его лица было не меньше злобы и недоброжелательства в то время, как он произносил их.

Затем, знаком приказав Ахиллу светить им, двое представителей графа де Стэнвиля окончательно покинули апартаменты бывшего главного контролера финансов Франции.

XXI

Лидия подождала несколько минут, пока быстрые шаги ее отца замерли на каменных плитах галереи. В вечерней тишине, царившей в этой отдаленной части дворца, она могла слышать его краткое приказание лакею, ожидавшему в передней; затем поспешные шаги герцога по мраморной лестнице и наконец несколько раз повторенный выклик кареты при выходе его на террасу, откуда он направился к главному двору, где его ожидал экипаж.

Когда все затихло, Лидия позвонила горничную.

— Теплый плащ с капюшоном! — быстро приказала она.

Через несколько минут она с головы до ног была укутана в плащ из темной шерстяной материи, совершенно скрывавший ее великолепное платье. Затем, приказав девушке ждать ее в будуаре, она быстро вышла из комнаты.

Галереи и приемные залы были теперь совершенно пусты. Даже из главного здания дворца, где король любил долго сидеть за обильным ужином, не доносилось ни малейшего звука, ни музыки, ни смеха. Громадный дворец, воздвигнутый потом и кровью народа, был погружен в мирный сон.

Из своих апартаментов Лидия могла пройти в комнаты своего мужа, минуя галереи и передние, в которых всегда находились часовые. Она плотно закуталась в свой плащ; несмотря на теплоту августовской ночи, она чувствовала внутреннюю дрожь, в висках у нее стучало, глаза горели. Еще несколько зал — и она будет в комнатах мужа. Ее несколько удивило, что они были так же пусты, как и остальная часть дворца.

Наконец она дошла до восьмиугольной комнаты, прилежавшей к кабинету. Здесь тоже царил непроницаемый мрак;

только тоненькая полоска света проникала сюда из-под кабинетной двери. Темнота боролась с ничем не нарушимой тишиной. Лидия подвигалась вперед, как во сне.

Она тихо позвала камердинера лорда:

— Ахилл, милорд еще не спит?.. Ахилл! Вы здесь? — спросила Лидия погромче, думая, что камердинер, может быть, заснул.

Но ни одного звука не послышалось в ответ.

Тогда молодая женщина подошла к двери и взялась за ручку. Внутри все было тихо.

«Может быть, лорд писал? — мелькнула у Лидии мысль. — Может быть, он заснул? А Гастон в это время собирается в Гавр, чтобы послать быстрый корабль для исполнения гнусного дела... Нет, нет, только не это!»

В этот момент Лидия настроила себя так, что готова была выдержать всякий прием, всякое унижение, броситься к ногам своего мужа, обнимать его колени, если нужно, просить, умолять о деньгах, о помощи, обо всем, что сейчас именно и могло бы предотвратить ужасную катастрофу:

И она смело постучала в дверь.

— Милорд... милорд... откройте! Это — я, Лидия!

Ответа не последовало. Она постучала погромче.

— Милорд, милорд, проснитесь! Именем Бога умоляю вас, позвольте мне поговорить с вами!

Ответом было глубокое молчание.

Лидия пыталась повернуть ручку, но та не поддавалась.

Возбуждение молодой женщины росло; с лихорадочным волнением дергала она ручку двери, царапала пальцы о золоченые украшения, а ее голос, хриплый и прерываемый рыданиями, нарушал тишину и величие ночи.

— Милорд! Милорд!

Наконец она упала на колени, истощенная душевно и физически; кровь стучала ей в виски, так что окружавшая ее темнота словно вдруг окрасилась красным цветом. В ушах ее шумело, точно бурное море разбивалось о гигантские скалы, и в этом шуме ей слышались голоса умирающих, зовущих на помощь, громко обвиняющих ее в предательстве. А минуты летели. Скоро взойдет заря, Гастон сядет на лошадь и поедет исполнять гнусное поручение, то есть вечный позор для нее самой и смерть для тех, кто доверился ей.

— Милорд, милорд, проснитесь! — Лидия приложила губы к замочной скважине в надежде, что теперь муж непременно

услышит ее.— Гастон на заре пускается в путь... они пошлют «Монарха», он совсем готов к отплытию. Милорд, ваш друг в смертельной опасности! Умоляю вас, впустите меня!

Она до крови колотила руками в дверь, не сознавая, что делает. Таинственная завеса отделяла ее способность рассуждать от той ужасной воображаемой картины, которая рисовалась пред нею на фоне кроваво-красной темноты: уединенный берег, бушующее море, французский корабль «Монарх» с развевающимся предательским знаменем.

И вдруг до ее слуха долетел удивленный и глубоко взволнованный голос:

— Госпожа маркиза, ради Бога, госпожа маркиза!

Услышав за собою быстрые шаги, Лидия перестала стучать, кричать и стонать, но у нее не было сил подняться с коленей.

— Госпожа маркиза,— послышался почтительный, но испуганный голос,— дозволите ли вы поднять вас?

Лидия узнала голос Ахилла, камердинера лорда, но ей и в голову не пришло стыдиться, что лакей застал ее в таком виде, на коленях пред дверью мужа. Почтенный Ахилл был очень встревожен. Этикет запрещал ему касаться маркизы, но разве он мог оставить ее здесь, да притом в таком состоянии? Он в смущении приблизился. Даже при таких критических обстоятельствах он проявил необычайную корректность, и его почтительная поза несколько не давала повода думать, что он подозревал что-то необыкновенное.

— Мне послышалось, что вы, маркиза, звали меня,— сказал он.— Я подумал, что, может быть, вам угодно было говорить с милордом.

При этих словах Лидия быстро поднялась на ноги.

— Да... именно... милорд... я должна говорить с ним... Откройте дверь, Ахилл, поскорей!

— Дверь заперта снаружи, но у меня с собою ключ,— важно сказал Ахилл.— К счастью, я вспомнил, что милорд мог забыть потушить свечи, и я во всяком случае пришел бы сюда посмотреть, все ли в порядке... если вы позволите.

С этими словами он вложил ключ в замочную скважину; через минуту дверь распахнулась, и Ахилл пропустил маркизу в комнату.

В одном из канделябров горели четыре свечи; очевидно, лорд забыл их потушить. В комнате все было в совершенном порядке. На письменном столе лежали три или четыре толстые книги, подобные тем, какие имел при себе Дюран, когда шел в кабинет к лорду; возле чернильницы и песочницы на

серебряном подносе были аккуратно разложены два-три гусиных пера. Одно из окон, вероятно, было открыто за задернутыми занавесками, так как тяжелые шелковые портьеры слегка всколыхнулись от внезапного порыва ветра, когда Ахилл отворил дверь и пламя свечей заколебалось. Посреди комнаты все еще стояло кресло, в котором Лидия сидела несколько времени назад; вот красная, вышитая подушка, которую муж положил ей за спину, и маленькая скамеечка, на которой покоились ее ноги... еще так недавно.

— А милорд? — вопросительно прошептала она, обращая на бесстрастное лицо Ахилла горящий, полный жгучего отчаяния и разочарования взор: — Милорд, где милорд?

— Милорд не так давно ушел, — ответил Ахилл.

— Ушел? Куда?

— Не знаю. Милорд мне ничего не сказал. Около десяти часов к нему приходили двое господ; как только они ушли, милорд потребовал свой верховой костюм, Гектор надел на него сапоги со шпорами, а я причесал его и надел ему галстук. Милорд уехал с полчаса тому назад... я так думаю.

— Довольно! Мне больше ничего не надо.

Это было все, что Лидия могла выговорить. Последнее разочарование было выше ее сил. Она совершенно ослабела физически; глаза ее заволоклись туманом, и без крика, без единого стога, только с глубоким вздохом бесконечной усталости она без сознания упала на ковер.

XXII

Когда де Бель-Иль и молодой де Люжак передали графу де Стэнвилю ответ Эглинтон, он только пожал плечами и сказал с усмешкой:

— Ба! Он все равно должен будет драться со мною, или я его выгоню из Франции. Не бойтесь, господа, мы свое возьмем, и очень скоро.

В общем Гастон был очень доволен, что ему не придется вставать до зари из-за этого пресловутого «дела чести». Собственно, он не питал никакой злобы к «маленькому англичанину», которого всегда немного презирал, лорд же, со своей стороны, насколько позволяло приличие, а иногда и больше того, совершенно игнорировал графа де Стэнвиля.

С того памятного вечера, когда Эглинтон вырвал у Стэнвиля золотую добычу, они редко виделись друг с другом. Лорд официально принадлежал к кружку приближенных королевы,

а Гастона больше всего тянуло в веселую компанию мадам Помпадур и ее друзей; что касается открытого предпочтения, которое его жена оказывала лорду Эглинтону, то граф де Стэнвиль просто не обращал на это внимания.

Знаменательный, уже потухающий день был свидетелем многих перемен, даже, можно сказать, переворотов в старых традициях и обычном течении придворной жизни. Гастон обманул и гнусно оскорбил женщину, которой он уже однажды нанес тяжкую обиду. Год тому назад она унизила его, разбив его честолюбивые замыслы, которые без ее помощи не могли осуществиться. Сегодня пробил его час; он кинул ее в ту же грязь, в которой пресмыкался сам, обратил в прах ее гордость и пошатнул пьедестал добродетели и чистоты, на котором она стояла.

Гастону было безразлично публичное оскорбление, из мест нанесенное Лидией Ирэне. Он уже давно совершенно равнодушно относился к «красавице из Бордо», некогда пленившей его молодые чувства и ставшей преградой к достижению его безумно-честолюбивых целей. Изгнание из общества, или, вернее, из кружка пуританских ханжей, и презрение Марии Лещинской к его жене будут с лихвою возмещены благодарностью Помпадур и лично его величества за услуги, оказанные Гастоном в деле английских миллионов.

Но после открытой вспышки его жены он боялся за успех этого предприятия. Помня доверие Лидии к «Монарху» и его командиру, он объявил, что готов немедленно ехать в Гавр. Головоломной ездой по полям Нормандии он хотел доказать свою выносливость и рвение, которыми Лидия намеревалась воспользоваться для хорошей и благородной цели.

Карманы у Гастона де Стэнвиля были всегда пусты; два миллиона, обещанные королем, оказывались для него очень к стати. Кроме того, его величество обещал прибавить еще полмиллиона, если «Монарх» уйдет завтра из Гавра до восхода солнца.

Дуэль с Эглинтоном должна была оттянуть отъезд, и, — кто знает? — получение заманчивого полумиллиона могло бы сделаться более или менее сомнительным. Поэтому-то Гастон принял известие об отказе лорда от дуэли, хотя и с язвительной усмешкой, но без искреннего неудовольствия. Он был уверен, что по возвращении из Гавра так или иначе принудит англичанина драться.

Только поздно ночью простился Гастон с Бель-Илем и де Люжаком. Все трое много выпили и много смеялись, все время издеваясь над трусливым англичанином.

— Все это происходит от того, что чужестранцам позволяют селиться среди нас, — нагло сказал де Люжак, — скоро во Франции не будет ни чести, ни рыцарских чувств.

После этого и де Стэнвиль, и де Бель-Иль, оба носившие древние аристократические имена, пришли к заключению, что пора прервать интимную беседу и расстаться с этим надменным выскочкой. Они разошлись в полночь. Де Люжак имел комнату в самом дворце, а Стэнвиль и Бель-Иль отправились в свои городские квартиры.

На рассвете Гастон де Стэнвиль уже был в седле. Он ехал один; мечтая о добавочном полумиллионе, он боялся взять какого бы то ни было спутника, чтобы не произошло непредвиденной задержки. Ему нужно было проехать по дороге и по полям сто восемьдесят лье, а день обещал быть очень жарким. Он надеялся быть в Гавре до пяти часов пополудни; через час по прибытии он передаст капитану Барру инструкции, посмотрит, как «Монарх» поднимет паруса и, красиво выйдя из гавани, отправится за золотым грузом.

Едва Версаль начал протирать глаза навстречу новому дню, как топот лошадиных копыт по булыжной мостовой заставил его окончательно проснуться.

Несколько фермеров, несших в город плоды своих садов, с нескрываемым любопытством посмотрели на прекрасную лошадь и изящного всадника. Для такого красивого господина было, право, слишком рано. Вскоре городок остался далеко позади Гастона; солнце, скрывшее было свой блеск за грядой облаков, теперь прожгло себе путь через их тяжелую завесу, разбросав по утреннему небу розовые, оранжевые и золотые лучи и украшая бесчисленными огненными языками башни и шпицы далекого Парижа.

Вдали на часах собора Парижской Богоматери пробило пять. Гастон внутренне произнес проклятие. Было позже, чем он думал и чем намеревался выехать. Дело с дуэлью задержало его дольше обыкновенного, и сегодня утром он чувствовал себя ленивым и усталым. Теперь ему приходилось мчаться во весь опор, а он уже не чувствовал себя достаточно легким и подготовленным к усталости от долгой езды, каким был два года тому назад, пока возбуждающие развлечения придворной жизни в Версале не подорвали его молодых еще сил.

К счастью, дорога была мягкая, воздух свежий и чистый, и Гастон, дав шпоры лошади, пустил ее в галоп через поля.

От Версаля до Гавра по прямой линии сто пятьдесят лье, а по дорогам и через поля — сто восемьдесят.

В распоряжении Гастона было двенадцать часов, чтобы проделать этот путь; у него были хорошая лошадь и много рвения, благодаря пустым карманам; а вдали, после пути, его приветливо манили два с половиной миллиона.

Он приехал в Нант в начале восьмого часа утра, проехав сорок лье и не особенно утомив своего «Дружка», так как был хороший ездок и умел беречь лошадь, в жилах которой текла арабская кровь.

В Нанте Стэнвиль плотно позавтракал, а «Дружок» отдохнул и досыта подкрепился овсом. Через полчаса Гастон уже снова был на лошади и переезжал Сену по только что выстроенному мосту, направляясь отсюда прямо на Эльбеф. В восемь часов солнце уже стояло высоко на небе и обдавало горячими лучами лошадь и всадника. Подвигаться вперед стало труднее. Нужно было сделать несколько остановок в маленьких придорожных гостиницах, чтобы чем-нибудь освежиться и выгнать лошадь. Теперь путешествие являлось уже не удовольствием, а тяжелой, трудной работой. Но при конце этой работы были деньги, деньги! Пусть «Дружок» падет на краю дороги — Гастон пройдет остальное пространство пешком. Лишние полмиллиона, если «Монарх» снимется с якоря до захода солнца!

В Руане лошадь и всадник должны были расстаться. «Дружок», пробежавший сто лье под полуденным солнцем, нуждался, по крайней мере, в двухчасовом отдыхе, и его хозяин вынужден был предоставить ему этот отдых. В почтовой гостинице Стэнвиль хлопотал о новой лошади, оставляя «Дружка» на попечении хозяина до своего возвращения, то есть, по всей вероятности, до следующего дня.

Здесь, пока ему готовили лошадь, он также слегка закусил. Ему дали хорошую, сильную нормандскую кобылу, составлявшую полную противоположность «Дружку», с короткими, толстыми ногами, широкой спиной и сонными глазами. Гастон нашел, что на ней очень удобно сидеть; галоп у нее был мягкий и ровный и, несмотря на короткий шаг, она бежала довольно быстро.

В половине шестого показались башни гаврской церкви Богоматери; это произошло на целый час позже, чем надеялся Гастон, но во всяком случае задолго до захода солнца, и Стэнвиль рассчитывал, что если ему удастся возбудить рвение в командире «Монарха», то корабль будет в состоянии поки-

нуть гавань задолго до сумерек и выйти в открытое море до появления на небе первых звезд.

Маленький торговый город с узкими, немощеными улицами, несмотря на жару и засуху, утопавшими в липкой грязи, явился Гастону золотым городом его грез. Слева от него широкое устье Сены с очаровательным берегом было окутано поднимавшимся после нестерпимой дневной жары туманом. Справа там и сям ютились отдельные глиняные домики, крытые соломой и оштукатуренные, с крошечными оконцами, что являлось результатом очень больших налогов; они свидетельствовали о нищете обитателей — нескольких семейств, добывавших скудное пропитание плетением сетей. Вскоре на реке, расширявшейся при приближении к устью, показалось несколько одиноких мелких судов; это были главным образом рыбацкие лодки, и лишь кое-где встречались грациозные бригантины, нагруженные строевым лесом, да барки, производившие жалкую береговую торговлю соленой рыбой и бедными продуктами с соседних ферм.

Гастон ни на что не обращал внимания, хотя картина, несколько мрачная и пустынная — имела свою прелесть, благодаря ярким тонам и неясным очертаниям в лучах после-полуденного солнца. Жара спала, чувствовалась сырость, подымавшаяся от пропитанной влагой почвы, что всегда бывает на берегах рек. Гастон чувствовал озноб в своем легком, суконном платье, которое он надел утром, предвидя томительный зной. Его глаза были с тревогой устремлены вперед и влево. Кобыла, безостановочно несшая его целых пять часов, выбилась из сил; в ней не было арабской крови, которая подгоняла бы ее вперед до полного истощения. К счастью, уединенные предместья городка были уже позади; все чаще и чаще стали появляться маленькие глиняные домики, из которых выходили на порог старики со сморщенными лицами, женщины в лохмотьях, полуголые, голодные дети; все они с удивлением смотрели на забрызганного грязью всадника и его измученную кобылу.

На старой, красивой колокольне уже давно пробило половину. Напрасно прищипывал Гастон лошадь: ее усталость дошла до того крайнего предела, когда удары не могли заставить ее прибавить хода. Между тем сам всадник вдруг встряхнул с себя сонливость и снова почувствовал силу и легкость. Цель была близка. Грязные хижинки остались позади, несколько каменных домов свидетельствовали о важном значении города и о благосостоянии его жителей; Гастон уже проехал мимо первой гостиницы, жалкого деревянного строения,

очень непривлекательного даже после целого дня езды. Впереди виднелись церковь, рыбный рынок и дом губернатора; далее шли низкие деревянные постройки, что-то вроде барачков, а Сена, все расширяясь, окончательно исчезла в тумане; но на ее поверхности показалась целая панорама светящихся огней, зажженных на многочисленных судах: тут были бригадины, рыбацьи лодки и два трехпалубных судна из собственного его величества флота. Гастон напряг зрение, стараясь угадать, которое из них было «Монарх».

Через несколько минут он достиг лучшей в городе гостиницы «Три матроса», находившейся как раз против грубой деревянной дамбы.

Он въехал в ворота. Дом был деревянный, низкий, одноэтажный; внутри был двор, такой же грязный, как и весь остальной город. Когда Гастон въехал во двор, пред ним оказались примитивно устроенные конюшни, направо — тоже примитивные открытые сараи; две остальные стороны, очевидно, занимала главная часть здания, так как несколько дверей выходило на крытую галерею.

Конюх в синей блузе и громадных деревянных башмаках, из которых торчали пучки соломы, не спеша подошел к Гастону. Неизвестно, откуда он появился, но он неуклюже держал за повод лошадь, пока Гастон слезал с нее.

Вслед за тем из одной из дверей на галерею выплыл дорожный человек, одетый точно так же, как и конюх, только на толстой шее был намотан яркий красный платок; другой, такой же яркий, торчал у него из кармана. Круглое, красное, как нормандское яблоко, лицо задумчиво уставилось на забрызганного грязью всадника.

— Хорошенько вычисти кобылу, потом задай ей овса да прибавь туда немного водки; постели соломы и дай воды; она устала до полусмерти, — повелительно сказал Гастон сонному конюху. — Через четверть часа я вернусь посмотреть, хорошо ли ее устроили, если же нет, то тебе придется попробовать моего хлыста.

Конюх ничего не ответил, даже не кивнул головой в знак того, что слышал приказание. Подавив зевоту, медленно и спотыкаясь, повел он измученную лошадь в стойло. Гастон повернулся к веранде, где человек с лицом, похожим на яблоко, все еще стоял, заложив руки за спину, и с сонным видом смотрел на нежданного посетителя.

— Вы — хозяин гостиницы? — отрывисто спросил Гастон.

— Да, мсье, — развязно ответил тот.

— Мне нужны комната на ночь и хороший ужин. Распо-
рядитесь сейчас же!

Невозмутимость хозяина несколько сдалась при этом повелительном возгласе, сопровождаемом громким и многозначительным ударом хлыста по сапогу, но, когда Гастон, взбежав по ступеням на веранду, встал против толстяка у самой двери, у того вырвался угрюмый протест:

— У меня все полно, мсье.

— Я здесь по делу его величества короля, — со злостью крикнул Гастон, — поэтому нечего болтать вздор, понимаете?

Очевидно, хозяин не только понял, но и счел за лучшее повиноваться. Он отошел в сторону и, все еще ворча, дал дорогу Гастону; но не удостоил его поклоном и не сказал посетителю обычного: «Добро пожаловать».

Впрочем, Гастон не обратил внимания на его дурное расположение духа. Сердитый нрав провинциальных содержателей гостиниц во Франции вошел в поговорку; на всех посетителей, снабжавших деньгами их же карманы, они смотрели, как на непрошенных гостей.

— Позаботьтесь о приличном ужине, — тем же повелительным тоном проговорил Стэнвиль, — да пошлите горничную в мою комнату, чтобы она проветрила ее и положила на постель чистое белье.

Это предупреждение, судя по той комнате, где сейчас находился Гастон, было далеко не лишним. Комната была низкая и душная. Сначала он ничего не мог разобрать, кроме двух крошечных окон, герметически закупоренных и пропускавших минимальное количество света сквозь четыре грязных и толстых стекла. Слева была дверь, очевидно, ведущая в другую, больших размеров, комнату, из которой через полуоткрытую дверь доносились звуки голосов и удушливый запах очень едкого табака.

— Лучше приготовьте мне ужин в той комнате, — сказал Гастон, показывая хлыстом на полуоткрытую дверь, и, не ожидая возражений, которые, очевидно, собирался сделать хозяин, смело направился к ней и настежь распахнул ее.

Эта комната была совершенно непохожа на ту, из которой только что вышел Гастон. Пол был усыпан чистым белым песком, и хотя воздух был пропитан тем самым крепким табаком, который Гастон только что ощущал, но он не был так страшно удушлив, потому что в конце низкой, длинной комнаты было настежь отворено большое круглое окно, пропускавшее приятный ветерок, летевший прямо с Ламанша. К этому надо прибавить, что из окна открывался чудный вид на устье Сены, гавань и холм.

Гастон без колебания прямо подошел к скамье и столу на козлах, которые, к его большому удовольствию, оказались свободными. Они стояли в нише окна, и он без церемонии положил на стол шляпу, плащ и хлыст в знак того, что это место занято им. Затем он еще раз повернулся к хозяину, медленно следовавшему за ним той особенной походкой с развальцем, которая выдавала в нем бывшего моряка; в последнем боролись два чувства: уважение к человеку, может быть, дворянину, приехавшему «по делу его величества короля», и гордость крестьянина, столкнувшегося с нежелательным посетителем; поэтому на его красной физиономии можно было прочесть резкий, хотя и почтительный протест. Жан Мари Палиссон родился в Гавре; раньше он был хозяином судна, пока благоприятная для него смерть одного из родственников не сделала его владельцем очень доходной и наиболее посещаемой в городе гостиницы с лучшим погребом по эту сторону Руана. Он был крайне недоволен появлением чужого человека среди обычных посетителей гостиницы, к числу которых принадлежали такие значительные лица, как генерал, командующий крепостью, военный и гражданский губернаторы, командиры судов его величества, не говоря уже о мэре города и гавани.

Обыкновенно в пять часов дня все эти господа собирались в лучшей комнате гостиницы «Три матроса» и для возбуждения аппетита к ужину поглощали водку, пунш и глинтвейн. Между Жаном Мари Палиссон и его почетными завсегдатаями установилось безмолвное соглашение, что без решения большинства присутствующих ни один посторонний не мог быть допущен в это святилище, и никогда еще не было случая, чтобы кто-нибудь силой проникал за эту дверь.

XXIV

Когда Гастон смело завладел лучшим столом в лучшей части лучшей комнаты гостиницы «Три матроса», Жан Мари так растерялся и был так напуган тем, что могло произойти от подобного невнимания к этикету, установленному в светских кругах Гавра, что только пожимал своими широкими плечами и мигал круглыми глазами в знак своей полной беспомощности.

Войдя в комнату, Гастон заметил, что сидевшие там посетители были такие же благородные люди, как и он сам, и потому сразу почувствовал себя дома.

Усевшись на край стола и небрежно заложив ногу на ногу, он со своего возвышения беспечно наблюдал собравшееся общество. Он еще не успел заметить обращенные на него со всех сторон недружелюбные взгляды, как входная дверь с шумом отворилась и в комнату влетел молодой человек с громким голосом и задорно веселыми манерами.

— Что же это, почтеннейший Жан Мари? — нравоучительно сказал он. — Это, может быть, последняя мода в Гавре, что хозяин не встречает своих гостей при входе? Хе! — прибавил он, неожиданно заметив в комнате присутствие постороннего человека. — Кто это у нас тут?

Но уже при первых словах вошедшего Гастон вскочил со своего места и пошел ему навстречу.

— Не кто иной, как Гастон де Стэнвиль, радующийся случаю повидать своего друга, дорогой Мортемар.

— Гастон де Стэнвиль! — весело воскликнул тот. — Черт возьми, вот так сюрприз! Кто бы мог подумать, что я встречу тебя в этой проклятой, забытой Богом, дыре?

— Я здесь по поручению короля, милейший Мортемар! — сказал Гастон. — И, с твоего позволения, сейчас пойду и устрою все, что нужно, а потом вместе поужинаем; хорошо? Черт побери! А я-то думал, что буду умирать со скуки во время вынужденной остановки на этом пустынном берегу.

— От скуки? Этому не бывать. Господа, — прибавил молодой граф де Мортемар, красивым жестом указывая на компанию, — позвольте представить вам самого обольстительного кавалера нашего времени, которого я имею честь называть своим другом и которого все мы будем иметь честь называть сегодня нашим гостем: граф Гастон Амедэ де Стэнвиль.

Теперь Гастон не имел больше повода жаловаться на негостеприимство. Раз посторонний был надлежащим образом отрекомендован одним из членов интимного кружка, его с восторгом приняли все остальные. Все встали, приветствуя его и дружески пожимая ему руку: присутствие кавалера из Версаля, с придворными сплетнями, маленькими интригами и забавными анекдотами, которых, наверное, у него был целый запас, — все это было редкой находкой для маленького официального мирка в Гавре, проводившего большую часть жизни в смертельной скуке.

— Что касается тебя, милейший Жан Мари, — сказал Мортемар с комической суровостью, — то позволь сказать тебе, что если через час этот стол не будет трещать под тяжестью самого лучшего и наилучшим образом зажаренного каплуна,

какой только найдется в Нормандии, то ни я, ни один из этих шевалье никогда больше не переступим порога твоего дома. Что вы на это скажете, господа?

На это последовало громкое, единодушное согласие, сопровождаемое долгим смехом и звоном оловянных кружек.

— А пока,— продолжал Мортемар, взявший на себя роль распорядителя в деле чествования нового гостя,— бокал пунша с полустаканом водки и дюжину слив, да чтобы они там хорошенько пропитались! Не бойся, друг Стэнвиль! — прибавил он, весело хлопая Гастона по плечу.— Хозяин, скажу тебе, умеет готовить такой пунш, что меньше чем через полчаса ты уже будешь лежать под одним из этих столов.

Гром аплодисментов приветствовал эту веселую шутку.

— Нет, в таком случае,— сказал Гастон, у которого теперь складывалась сильная усталость после целого дня езды и волнений пред отъездом,— я сначала устрою свои дела, а то ваше угощение сделает меня ни на что не годным.

— Да пропадут они пропадом, твои дела! — воскликнул Мортемар.— Окуни после пунша голову в холодную воду, и ты перешеголяешь в делах любого министра. Эй, холоп, пунша! — крикнул он, обращаясь к жирному хозяину.— Сию же минуту давай пунша!.. Граф де Стэнвиль устал и хочет освежиться.

Но мысли Гастона были настроены слишком серьезно, порученное ему дело было слишком важно, чтобы он позволил себе отложить свидание с капитаном Барром, хотя на одну лишнюю минуту. Мортемар и его гостеприимные друзья не знали, что Стэнвилю за бокал пунша придется заплатить полмиллиона ливров, если пройдет какой-нибудь час в попойке, и «Монарх» лишь после наступления сумерек получит приказ выйти в море. Гастон действительно смертельно устал, был истомлен жарой и желанием основательно поесть, но, когда дело шло о деньгах, проявлял рвение и героическую выносливость, достойные лучшей цели.

— Тысячу благодарностей, добрейший Мортемар, и всем вам, господа! — любезно, но твердо произнес он.— Вы можете считать меня неотесанным невежей, но в настоящую минуту я должен отказаться от вашего любезного гостеприимства. Могу разрешить себе только стакан водки для легкого подкрепления, а потом пойду устроить свое дело. Господа, по вашим одеждам я заключаю, что все вы так или иначе несете королевскую службу, а потому вам так же, как и мне, должно быть хорошо известно, что по закону нельзя не исполнять королевских приказаний. Я уйду не надолго, самое

большое — на полчаса; потом я предоставлю себя в полное ваше распоряжение, и вы найдете во мне глубоко признательного и самого веселого собеседника.

— Хорошо сказано, друг Стэнвиль! — заявил Мортемар. — Ну, Жан Мари, принесите немедленно графу чего-нибудь освежающего. Друг мой, — ласково прибавил он, снова обращаясь к Гастону, — боюсь, что я показался немного назойливым, но это было от радости, что такой блестящий кавалер удостоил своим посещением это поганое место.

Все одобрительно кивнули головами. Как и предполагал Гастон, тут были военные, моряки, и все они сознавали долг и необходимость повиновения приказаниям короля.

— Может быть, кто-либо из нас может оказаться полезным графу де Стэнвилю? — произнес один из присутствующих. — Если он в Гавре в первый раз, то наша помощь будет ему приятна.

— Хорошо сказано, — подхватил другой. — Не может ли кто-нибудь из нас сопровождать вас, граф?

— Я несказанно благодарен вам, господа, — ответил Гастон, которому как раз в эту минуту хозяин подавал стакан глинтвейна. Залпом выпив горячий напиток, он поставил стакан на стол и продолжал: — Я с радостью приму ваше предложение помочь мне; я действительно — чужестранец здесь и сомневаюсь, могу ли по возможности скоро справиться со своим делом. Я должен говорить с капитаном Барром, господа, командиром судна его величества — «Монарх», и притом по возможности без промедления.

К его большому изумлению, речь его была прервана звонким смехом Мортемара.

— Ну, в таком случае, милейший мой Стэнвиль, — сказал веселый молодой человек, — у тебя времени много и хватит на целую миску пунша и на то, чтобы и напиться как следует, по-королевски, и снова протрезвиться, если у тебя дело к капитану Барру.

— Что ты хочешь сказать этим? — спросил Гастон, сразу нахмурившись.

— «Монарх» уже час тому назад отплыл из Гавра; я думаю, что ты еще можешь разглядеть его паруса при заходящем солнце, — и молодой человек в открытое окно указал на запад.

Глаза Гастона машинально следили по тому направлению, куда указывал его друг. Там, далеко, в туманной дали, в лучах заходящего солнца, было ясно видно грациозное трехпалубное судно с распущенными парусами. Оно весело плыло по

волнам; нежный юго-восточный ветер быстро и легко вынес его далеко в открытое море.

Гастон почувствовал страшное головокружение. Холодный пот выступил у него на лбу, и он провел рукой по глазам, боясь довериться им.

— Это не «Монарх», — пробормотал он.

— Клянусь честью, это он, — сказал Мортемар, немного смущенный, не подозревая, какую зловещую новость он сообщил. — Меньше часа тому назад я сам пожелал капитану Барру счастливого пути. Это превосходный моряк и мой близкий друг, — прибавил он. — Кажется, он был очень рад отправиться в путь.

— А зачем он ушел? — машинально спросил Гастон.

— Вот этого я не знаю. Барр получил какой-то тайный приказ всего за час до отъезда.

Теперь Гастону казалось, что он лишился чувств.

— Его надо задержать, задержать! — дико закричал он. — У меня есть для него приказ... во что бы то ни стало его надо задержать! — и, протискиваясь сквозь тесный кружок своих новых друзей, он, не помня себя, кинулся к двери.

Но продолжительное возбуждение, ужасное разочарование после сильного переутомления и невыносимой дневной жары оказались ему не под силу. Головокружение перешло в невыносимое чувство дурноты, стены комнаты закружились пред его глазами; он почувствовал тяжелый удар в голову и с последним криком: «Задержите его!» — зашатался и, наверное, рухнул бы всем телом на землю, если бы две услужливые руки не помешали его падению.

Поддержавший Гастона, когда он потерял сознание, был де Кутюр, человек средних лет, военный губернатор Гавра. Две дюжины услужливых рук готовы были помочь гостю: одни развязывали его галстук, другие стаскивали с него тяжелые сапоги.

— Глинтвейн оказался для него слишком крепким, — сказал мэр Валледе, — вероятно, он несколько часов ничего не ел и его желудок не мог переварить напиток.

— Поторопи повара с ужином, Жан Мари! — сказал Мортемар хозяину. — Когда граф поест, то совсем придет в себя.

— Если суп готов, то принеси, — прибавил Валледе. — Все лучше, чем пунш на пустой желудок.

— Благодарю, друзья, — слабым голосом прошептал Стэнвиль. — Мне, кажется, сделалось дурно... жара и...

Он довольно быстро оправился. Это было просто головокружение от чрезмерной усталости; а, главное, физически и душевно его потряс страшный удар. Его новые друзья подве-

ли его к столу, стоявшему возле открытого окна, и свежий морской ветер вскоре привел графа в сознание.

Он уже мог медленно повернуть голову, чтобы посмотреть на быстро исчезающее трехпалубное судно, казавшееся теперь золотым в туманной дали.

И это судно он надеялся увидеть возвращающимся с золотым грузом! Мало-помалу в сиянии запада стали исчезать сначала корпус, затем паруса корабля, и Гастон знал, благодаря необъяснимому, но верному инстинкту, который часто сбивает с толку материалистов, что все надежды на страстно-ожидаемые им миллионы исчезнут так же безвозвратно, как сейчас исчезал из его глаз этот корабль. Он все еще чувствовал значительную физическую и душевную слабость; словно во сне слышал он, как Мортемар давал объяснения относительно события, разбившего все его так долго лелеянные надежды.

— Капитан Барр завтракал сегодня утром в этой самой комнате, — весело говорил молодой человек, — многие из этих господ, в том числе и я, вели с ним разговор. У него и в мыслях не было, что ему так скоро придется отправиться в путешествие. Он ушел отсюда в одиннадцать часов и возвратился на свой корабль. Через час, бродя по берегу, я опять встретил его. Он очень торопился и в коротких словах объяснил мне, что «Монарх» получил предписание немедленно двинуться в путь.

— Ты не спросил, куда направился корабль? — спросил Гастон хриплым голосом, как человек, который много выпил.

— Капитан не мог сказать мне, — ответил тот, — приказ был тайный.

— А ты не знаешь, кто передал Барру этот приказ?

— Нет, но потом я слышал, что в полдень прискакал в Гавр какой-то чужестранец. Его кобыла, как я понял, — великолепное животное — издохла недалеко отсюда, он гнал ее до смерти, бедняжку, и сам чуть не умер.

— Я его видел, — вмешался молодой военный, — он остановился как раз у этой отвратительной норы «Толстый нормандец» и вежливо спросил меня, нет ли в Гавре гостиницы получше.

— Надеюсь, вы сказали, что «Толстый нормандец» — самая лучшая, — с неудовольствием сказал де Кутюр, — нам здесь не нужно чужих людей.

— Да, но нежелательно также, чтобы о Гавре думали, что он грязен, что в нем нет никаких удобств, — вмешался мэр.

— Понятно, я не мог допустить, чтобы шевалье — о, он — настоящий аристократ, я готов с кем угодно биться

об заклад! — терпел всякие неудобства на сломанных кроватях «Толстого нормандца», — горячо подтвердил молодой военный.

— Вы поступили совершенно правильно, лейтенант Летелье, — сказал мэр, заботившийся о репутации Гавра. — У господ шевалье не должно выходить никаких недоразумений, я говорю, конечно, когда дело идет о любезности и гостеприимстве нашего города.

Разговор был на минуту прерван появлением хозяина с миской дымящегося супа. За Жаном Мари шла толстая девушка с веселым лицом, живо накрывшая стол чистой скатертью и приготовившая все для ужина графа.

Де Мортемар, генерал де Кутюр и мэр взяли на себя роль хозяев. Они уселись вокруг стола и, когда Жан Мари принес кружки с красным вином, принялись за него и развлекали своего гостя, наперерыв угощая.

Компания несколько разделилась. Остальные члены ее заняли свои прежние места за другими столами; никто и не помышлял теперь о возвращении домой.

Разговор, понятно, опять обратился на «Монарха» и на секретные приказы. Каждый чувствовал, что тут кроется какая-то тайна; не странно ли, что такой благородный кавалер, как граф де Стэнвиль, проделал весь длинный путь от Версаля до Гавра по делу короля, поручившего ему иметь тайное совещание с командиром одного из своих собственных кораблей, для того только, чтобы графа предупредил кто-то другой? Корабль, очевидно, получил приказания, о которых король не знал; иначе он не послал бы Стэнвиля в это бесцельное путешествие.

Пытливые глаза с нетерпением следили за Гастоном, когда он, сначала сонно, почти в полудремоте, принялся за воду и питье. Он также ломал себе голову относительно того, кто так неожиданно предупредил его.

Любезные хозяева постоянно подливали ему вина, и скоро усталость сменилась в графе обычной силой и оживлением. Вкусные кушанья и дорогие вина вернули ему жизнь, а вместе с этим всего его охватила страшная, неукротимая ярость.

Вследствие вмешательства какого-то незнакомца, он потерял благодарность короля, расположение Помпадур и два с половиной миллиона ливров!

Гастон пытался обдумать случившееся, рассуждая сам с собою. Так как сам он был способен на всякую ложь и измену, то и здесь прежде всего заподозрил предательство.

Он вообразил, что какой-нибудь льстец, пришитый к юбке Помпадур, настолько успешно завоевал ее благосклонность, что ему разрешили эту поездку вместо него, Стэнвиля. Или, может быть, король обманул его, послав с этим важным поручением другого, который и будет участником в дележе добычи?

Или Лидия? Нет, это было немыслимо! Что могла она устроить так поздно ночью? Где ей было найти гонца, которому она могла бы довериться, если еще днем она утверждала, что ей некому дать это поручение?

Завсегдатаи гостиницы Жан Мари сидели в разных концах комнаты, потягивая водку; некоторые затеяли игру в кости и карты; другие ничего не делали, все еще надеясь услышать от далеко сидящего придворного кавалера пикантные анекдоты, которых они страстно жаждали.

Но изящный гость приводил их в полное разочарование. Язык у Гастона не развязался даже после второй кружки вина. Он не переставал думать о таинственном незнакомце, и его дурное настроение духа не проходило от хорошего ужина. Возвращение завтра в Версаль не обещало ничего, кроме тревоги, и он горел нетерпением вывести правду о том, кто опередил его.

Через час гости, раздраженные его дурным настроением, разошлись, зевая от скуки. Всем им надоел этот молчаливый и сумрачный незнакомец, который не только не внес жизни и оживления в их сонный город, но своим настроением и сдержанностью очень плохо отплатил за гостеприимство, оказанное ему.

Наконец Валледье и старый генерал де Кутюр, ссылаясь на домашние дела, попросили извинить их и удалились. Один Мортемар остался со своим мрачным гостем, делая неимоверные усилия, чтобы подавить непрерывную зевоту.

Было уже около половины восьмого. Прощальные лучи заходящего солнца уступили место ночной темноте. Одна за другой загорались на небе звезды, и к красоте тихой, мирной ночи прибавился блеск холодного, чистого полумесяца. Маленькие огоньки появились на мачтах и на носу многочисленных судов, стоявших на якоре на рейде; сквозь открытое окно на крыльях ласкового морского ветерка донесся издали грустный напев старой нормандской песни.

Сначала Гастона угнетали усталость и уныние; теперь он молчал от ничем непобедимой ярости. Де Мортемар изыскивал способы прервать каким-нибудь образом это тяжелое времяпрепровождение, не нарушая приличий, и проклинал поспешность, с какой принял под свое покровительство этого угрюмого гостя.

Жан Мари вошел со свечами и этим доставил хоть какое-нибудь развлечение. Один массивный оловянный подсвечник он поставил на стол, за которым сидели Гастон с Мортемаром, другой отнес на дальний конец комнаты, а затем вернулся обратно к Мортемару.

— Граф,— нерешительно начал он.

— Что? — спросил Мортемар, подавляя зевоту.

— Незнакомец, граф... — произнес Жан Мари.

— Как? Еще?... то есть я хотел сказать... — пробормотал молодой человек с коротким нервным смехом, чувствуя, что его внезапное восклицание было не совсем учтиво, — я хотел сказать... неизвестный чужестранец? Конечно, это — не то, что господин Стэнвиль.

— Незнакомец! — повторил Жан Мари.— Он приехал в полдень.

— И вы нам про него ничего не сказали?

— Я не думал, что это необходимо, так как не боялся, что это чем-либо беспокоит вас. Он спросил чистую комнату и кровать, а про ужин ничего тогда не сказал. Он казался очень утомленным и дал мне пару луидоров с таким видом, словно это были мелкие монеты.

— Это, очевидно, был тот самый незнакомец, с которым лейтенант Летелье разговаривал у гостиницы «Толстый нормандец», — предположил де Мортемар.

— Может быть, может быть, — задумчиво произнес Жан Мари.— Я снесу ему наверх кружку хереса и половину холодного каплуна; но больше всего он просил большой таз и побольше воды... ему, наверно, нужна ванна.

— Значит, это — англичанин, — уверенно сказал Мортемар.

При этих словах Гастон, все время рассеянно слушавший объяснения хозяина гостиницы, вдруг вышел из своего оцепенения. Незнакомец, опередивший его и пославший «Монарха» в таинственное путешествие был англичанин. Значит, это был...

— Вот именно англичанин! — ответил Жан Мари, упрямо игнорируя присутствие Гастона и обращаясь исключительно к Мортемару.— Он весь день спал, а теперь желает поужинать. Он швыряет луидоры, точно это не деньги, а сор; я не могу подать ему ужин там! — прибавил он с неоспоримой логичностью, указывая на заднюю комнату.

Гастон де Стэнвиль вдруг оживился; он быстро вскочил и так ударил кулаком по столу, что кружки, графины с вином и подсвечник зашатались от удара.

— Прошу тебя, друг мой, сейчас же приведи незнакомца в эту комнату,— громко сказал он.— Черт возьми, вы считали меня скучным и рассеянным; несмотря на ваше широкое гостеприимство, я был в дурном расположении духа; но, клянусь всеми дьяволами, какие только есть в аду, вы ни разу не зевнете в течение следующего полчаса; Гастон де Стэнвиль и таинственный незнакомец, становящийся ему поперек дороги и предупреждающий его приказания, доставят вам развлечение, которого вы никогда не забудете.

Лицо графа горело; в глазах, отуманенных выпитым вином, загорался огонь непримиримой ненависти. Слабость и дурное настроение совершенно исчезли. Со сжатыми кулаками, опираясь одной рукой на стол, другой он с силой оттолкнул стул, на котором только что сидел.

— Приведи незнакомца, хозяин! — дико закричал он.— Ручаюсь, что твой покровитель не пожалеет, что ты привел его сюда.

— О, я вовсе этого не думаю! — произнес спокойный голос из темноты.— Господа, ваш покорный слуга.

Мортемар повернулся к двери, из которой слышался этот учтивый, любезный голос. У притолоки стоял лорд Эглинтон в элегантном верховом костюме, плотно облегавшем его фигуру, и в сапогах с отворотами. Шпаги у него не было, а на руке висел тяжелый плащ. Он сделал выразительный поклон, относившийся ко всем присутствующим, и вышел на самую середину комнаты.

Легко поверить, что удивление и ярость лишили Гастона способности говорить. Из всех соображений, терзавших его ум в последние два часа, ни одно не соответствовало действительности. Гастон был не дурак, и с быстротой молнии понял не только свою полную неудачу и разрушение всех своих надежд, но также и крушение всех планов короля и возвращение пятнадцати миллионов обратно в карманы герцога Кумберлендского. Было очевидно, что Эглинтон не по поручению короля приехал в Гавр и не для того отправил «Монарха», чтобы самому пожить при дележе этих миллионов.

Теперь все было ясно. Лидия, узнав, что Гастон изменил ей, обратилась за помощью к мужу; а ему, как главному контролеру финансов, которым он еще официально состоял, было очень легко послать капитана Барра с тайными предписаниями отыскать Карла Эдуарда Стюарта и во что бы то ни стало обеспечить безопасность якобитов.

Эглинтон был колоссально богат, что, конечно, немало помогло ему; для него ничего не значили ни взятки, ни подарки, ни обещания денежной награды.

«Он слаб умом,— рассуждал Гастон,— и Лидия всецело руководила им».

Но физически «маленький англичанин» обладал лошадиной силой, не поддающейся усталости; пока Гастон вчера ночью отдыхал перед путешествием, Эглинтон в полночь был уже в седле, и в то время, как Гастон был еще только на половине пути, уже до смерти загнал свою лошадь.

Каково будет настроение короля Людовика при этом разочаровании? Гастон старался не думать об этом раньше времени. Королевская немилость вместе с гневом Помпадур теперь обрушатся на правого и виноватого.

То, что он был разорен вследствие вмешательства этого слабоумного франта, на которого в Версале все смотрели со снисходительным презрением, было единственным всепоглощающим обстоятельством, от которого кровь кипела в жилах Гастона.

Им овладела теперь совсем было изгладившаяся из памяти злобная мысль: оскорбить, вызвать на поединок человека, ставшего ему поперек дороги и отказавшегося драться с ним.

Однако англичане не станут драться, это известно; на войне — да, но не на дуэли, когда разгораются страсти после доброй бутылки вина и шпаги просятся вон из ножен. Да, он готов проскакать сто восемьдесят лье, чтобы разрушить чужие планы — это он сделает, но драться не будет.

Гастон упивался этой мыслью, злой, но упоительной; месть ужасная, оскорбительная месть была у него под рукой. Богатство для него погибло, оставалась месть. Он не успокоится до тех пор, пока его рука не ударит по лицу ненавистного врага. Это было его право, и никто, даже король, заклятый враг дуэлей, не мог порицать его.

Вдруг Гастон разразился долгим смехом. Как все это было смешно, бессмысленно, бесцельно! Его величество король, маркиза Помпадур, герцог Домон, первый министр Франции, и он сам, Гастон де Стэнвиль, со своим безграничным честолюбием,— все они были глубоко одурачены и проведены человеком, из трусости отказавшимся принять поединок с оскорбленным им противником.

Когда Гастон захохотал, Эглинтон обернулся в его сторону и встретился глазами с Мортемаром, уже давно приглядывавшимся к нему.

— Да ведь это — господин главный контролер,— сказал Мортемар, вскакивая с места.

Он не обратил внимания на внезапный взрыв веселости Гастона, приписывая ее крепкому вину Жана Мари, но был крайне заинтересован изящной фигурой незнакомца, являвшего собой воплощение аристократа высокого происхождения, что Мортемар сразу понял. Черты лица и несколько своеобразные манеры пробудили в нем воспоминание о двух днях, проведенных при Версальском дворе.

Теперь, когда Эглинтон обернулся, он сразу узнал красивое лицо и добрые глаза лорда.

— Тысячу извинений, лорд Эглинтон, — сказал он, быстро подходя к нему. — Я не сразу узнал вас, да у меня и в мыслях не было, что я могу встретить такое важное лицо в этом сонном, старом городишке.

При первых его словах Эглинтон тоже поднялся с места и выступил вперед, чтобы со своей привычной учтивостью приветствовать молодого человека. Мортемар дружески протянул ему руку, которая через секунду должна была очутиться в руке молодого англичанина, как вдруг с диким криком ярости Гастон одним прыжком очутился подле своего друга и, схватив его за руку, оттащил в сторону, громко крикнув:

— Нет, друг мой Мортемар, я хочу вовремя предостеречь тебя, чтобы твоя рука не коснулась руки труса.

Эти слова громко прозвучали в большой пустой комнате, затем настала мертвая тишина. Словно ужаленный, Мортемар невольно сделал шаг назад. Он, конечно, не понял значения всего происшедшего, так как был застигнут врасплох, и только с изумлением смотрел на стоявшего пред ним молодого человека.

Эглинтон нисколько не растерялся при этом оскорблении; он только смертельно побледнел, но его глаза по-прежнему строго и серьезно в упор были устремлены на врага.

— Да, трус! — повторил Гастон, пытаясь справиться с охватившею его дрожью и волнением в голосе. Видя полное спокойствие лорда, он громадным усилием воли заставил умолкнуть ярость, но зато дал полную волю презрению. — Или вы будете отрицать пред моим другом, графом де Мортемаром, только что хотевшим пожать вашу руку, что вчера ночью, после нанесенного мне оскорбления, вы отказались дать мне удовлетворение? Трус! Вы не имеете права касаться руки другого... руки честного человека. Трус! Слышите ли вы меня? Я еще и еще повторю: трус! трус! и буду кричать до тех пор, пока все в Версале узнают, что вы — трус! Даже и теперь, когда моя рука ударит вас по щеке, я скажу — трус!

Как все потом произошло, Мортемар никак не мог определенно сказать. Движение было необычайно стремительно; у Гастона с диким воплем вырвалось в последний раз слово «трус!» — но его рука, поднятая для удара, была в тот же момент схвачена и сжата, словно в стальных тисках.

— Довольно, любезный! Довольно! — произнес мягкий, совершенно спокойный голос. — Именем Бога прошу вас: не выводите меня больше из себя, иначе здесь произойдет не дуэль, а убийство. Так-то! — прибавил он, выпуская руку Гастона, который, шатаясь, чуть не падая от боли, отступил назад. — Да, правда, вчера я отказался от поединка; если бы я вчера до петухов не выехал из Версаля, то за такую отсрочку заплатил бы жизнью моего друга там, далеко, в Шотландии, одинокого и обманутого. Ну, а теперь другое дело, — весело прибавил он, — и я весь к вашим услугам.

— Да, — злобно засмеялся Гастон, все еще корчась от боли, — теперь вы к моим услугам в надежде, что моя искалеченная рука будет залогом вашей безопасности.

— Нет, к вашим услугам на расстоянии этого стола, — холодно ответил Эглинтон, — с парой пистолетов, из которых один не будет заряжен. И мы оба будем действовать левой рукой.

С губ Мортемара сорвался протестующий крик.

— Это невозможно!

— Почему, граф?

— Это было бы убийство, милорд!

— А разве граф де Стэнвиль имеет что-нибудь против? — спокойно спросил Эглинтон.

— О, нет, будьте вы прокляты! Где пистолеты?

— Если вы желаете, граф, мы возьмем ваши пистолеты. Вы, конечно, не могли проехать такой длинный путь от Версаля, не имея в кобурах пары пистолетов?

— Вы угадали, милорд, — беспечно произнес Гастон. — Пожалуйста, Мортемар, там, под плащом... пара пистолетов.

Мортемар сделал попытку возразить.

— Замолчи! — вне себя сказал Гастон. — Разве ты не видишь, что я должен убить его?

— Это так же очевидно, как то, что там светит луна, мсье де Мортемар, — сказал Эглинтон с многозначительной улыбкой. — Прошу вас, дайте пистолеты.

Молодой человек молча повиновался и пошел к месту, только что покинутому Гастоном, где лежали его плащ, шля-

па и хлыст. Достав пару пистолетов, Мортемар вернулся к противникам.

— Из одного из них я выстрелил сегодня рано утром в пару бродяг, — сказал Гастон, взяв оружие из рук Мортемара и кладя пистолеты на стол.

— Это было весьма кстати, граф, — серьезно сказал Эглинтон, — теперь нам остается только бросить жребий.

— Кости! — коротко произнес Стэнвиль.

Тут же на столе стоял ящик с игральными костями, оставленный одним из завсегдатаев; Мортемар молча передал его Эглинтону. Ему было непонятно спокойствие этого человека, тогда как настроение Гастона было ему вполне ясно: это были животная ярость, ослепившая его до возможности убийства на месте, и возбуждение, доводившее его до дерзкого презрения к последствиям своего вызова.

Право было на стороне Эглинтон. Теперь он был оскорбленной стороной и мог назначать условия. Желал ли он смерти, был ли он так равнодушен к жизни, что совершенно хладнокровно мог смотреть на пару пистолетов, из которых один, принимая во внимание узкий барьер лишь в ширину стола, без промаха влек за собой смерть, и на этот ящик с игральными костями, властителя его судьбы?

Правду говоря, Эглинтон был совершенно равнодушен к исходу поединка. Ему было все равно: убьет ли его Гастон, или оставит в живых. Лидия ненавидела его, так не все ли равно, что небо было такое голубое или солнце переставало бросать на землю свои лучи? В нем было беспредельное равнодушие человека, которому нечего было терять в жизни.

Он твердой рукой взял ящик с костями и бросил жребий.

— Бланк! — едва дыша прошептал Мортемар, увидев результат жребия.

Лицо лорда по-прежнему оставалось бесстрастным, хотя теперь, по всей вероятности, выигрыш был на стороне Гастона.

— Три! — спокойно сказал он, когда кость еще раз покатила по столу. — Граф, вам принадлежит право выбора пистолета.

Мортемар еще раз попробовал вмешаться. Это было чудовищно, ужасно! Это было возмутительное, грубое убийство!

— Граф де Стэнвиль знает свои пистолеты! — внушительно сказал он. — Он сегодня утром сам разрядил один из них и...

— Милорду следовало подумать об этом раньше, — свирепо возразил Стэнвиль.

— Возражение было сделано не мною, граф,— безучастно произнес Эглинтон,— и, если вам угодно выбрать пистолет, я буду вполне удовлетворен.

Его серьезные глаза успели послать добрый, благодарный взгляд молодому де Мортемару. Сердце последнего усиленно билось: он готов был пожертвовать всем своим состоянием, чтобы только предотвратить страшную катастрофу.

— Если ты будешь вмешиваться не в свое дело, Мортемар,— сказал Гастон, угадывая его мысли,— то я опозорю тебя пред всем Версальским двором; а если ты боишься крови, так убирайся ко всем чертям.

На основании неизданных законов, которым были подчинены подобные дела чести, Мортемар не имел права вмешиваться. Он не знал, кто из этих двух враждующих мужчин был прав, кто виноват; он только угадывал, что одна неудача с отплытием «Монарха» не могла возбудить такую смертельную ненависть, и смутно чувствовал, что главной, тайной причиной была женщина.

Гастон без малейшего колебания взял левой рукой один из пистолетов: правая все еще мучительно болела, отчего в его глазах все более разгорались ярость и жажда мести.

Он сам возбуждал в себе ненависть. Деньги иногда этому способствуют: исчезнувшая надежда получить целое состояние убила в нем всякие человеческие инстинкты; кроме одного — жажды мести. Он был уверен в себе. Пистолеты, как сказал Мортемар, были его собственные, несколько часов тому назад он держал их в руках: по их весу он мог судить, который из них заряжен — и он чувствовал в душе полное удовлетворение.

Одно было противно ему — нанести удар умирающему человеку. Эглинтон с направленным на него дулом заряженного пистолета на один фут от груди мог считаться почти мертвым, да еще с пустым пистолетом в руках; но Гастона раздражало его хладнокровие; кровь, бившая ключом в его жилах, почти ослеплявшая его, возбуждала в нем желание видеть пред собою трепещущего врага, а не деревянную куклу, спокойную и бесстрастную даже пред лицом верной смерти.

Боль, испытываемая им, когда он заложил руку за борт одежды, была нестерпима, но она вносила странную радость в его возбуждение, когда он доставал из внутреннего кармана пачку бумаг. Несмотря на боль, он крепко сжал в руке эту пачку, повертел ее и разгладил на ней все складки.

Это были доказательства, написанные собственной рукой маркизы Эглинтон, что она принадлежала к шайке, намере-

вавшейся продать за деньги принца Стюарта: карта, указывавшая место, где скрывался принц, и собственноручное письмо маркизы, в котором она просила принца довериться подателю, тогда как этот «податель» должен был выдать молодого претендента английским властям.

То обстоятельство, что лорд Эглинтон помешал передаче «Монарху» этих бумаг, не могло спасти репутацию Лидии: все же будет известно, что она была заодно с Гастоном де Стэнвилем, маркизой Помпадур и королем.

Не мудрено, что Гастон, играя с этой связкой бумаг, орудием своей мести, забыл на время физическую боль.

Наконец-то он уловил легкую, едва заметную перемену в спокойном лице Эглинтон и легкое дрожание его руки, державшей пистолет. Равнодушие исчезло при виде этой пачки бумаг.

— Милый Мортемар, — весело сказал Гастон, не спуская в то же время взора со своего противника, — так как возможность быть убитым для меня такая же, как и для лорда Эглинтон, ввиду того, что, клянусь честью, мне неизвестно, какой из двух пистолетов заряжен, я прошу тебя взять этот пакет. Обещай мне в случае моей смерти передать его в собственные руки моей жены. Графиня де Стэнвиль будет знать, что делать с этими бумагами.

Мортемар взял у Гастона пакет и холодно сказал:

— Я сделаю так, как вы желаете.

— Ты обещаешь, что никто, кроме моей жены, графини Ирэнны де Стэнвиль, не дотронется до этих бумаг? — торжественно проговорил Гастон.

— Даю вам честное слово, — ответил молодой человек.

Просьба была вполне естественна при подобных обстоятельствах, и Мортемару ничего не оставалось, как согласиться. Он не подозревал, что исполнением своего обещания навлечет публичный позор на невинную, благородную женщину ради утонченной мести обманувшегося в своих ожиданиях предателя.

Если Гастон ожидал от своего противника протеста, гнева, возбуждения, то ему пришлось горько разочароваться. Эглинтону невозможно было вырвать у Гастона эти бумаги, так же, как и невозможно было помешать Мортемару принять и исполнить этот, по-видимому, священный завет.

Эглинтон знал, что лишил целого состояния человека, для которого деньги и власть, зависящая от них, были — все; но, будучи сам честным человеком, он и представить себе не мог такую гнусную месть.

В то время, как Мортемар тщательно прятал пакет во внутренний карман камзола, Гастон не спускал с противника язвительного взгляда.

— Вы готовы, милорд? — спросил он, подчеркивая наглость своего тона.

— К вашим услугам, — спокойно ответил тот. — Мсье де Мортемар, вы дадите сигнал?

Оба противника стояли друг против друга; их разделял только стол меньше четырех футов шириной. Каждый держал пистолет в левой руке.

Мортемар очистил стол, отставил в сторону графин с вином, бокалы и чашу с пуншем. Окно все еще было отворено, и из внешнего мира, казавшегося троим участникам предстоявшей драмы чем-то бесконечно далеким, до их слуха долетел звон колоколов с соседней старой церкви.

— Стреляйте! — сказал де Мортемар.

Противники подняли пистолеты. На секунду их взоры встретились, а затем опустились для прицела. Раздался слабый, глухой звук. У Гастона вырвалось страшное ругательство; его пистолет не дал выстрела и выпал у него из руки.

Был ли граф слишком взволнован при выборе оружия, или безжалостная судьба вложила заряженный пистолет в руку Эглинтон?

— Пустой! — крикнул Гастон, сопровождая это восклицание кошунственным ругательством. — Ваша очередь, милорд. Черт вас возьми, чего же вы не стреляете?

— Стреляйте, милорд, заклинаю вас! — сказал смертельно бледный Мортемар. — Просто жестоко так медлить!

Но Эглинтон также опустил пистолет.

— Граф де Стэнвиль, — спокойно заговорил он, — прежде чем я направлю на вас дуло моего пистолета, как на какую-нибудь бешеную собаку, я хочу предложить вам небольшую сделку.

— Вы хотите купить у меня связку этих драгоценных документов? — со злобным смехом спросил Гастон. — Нет, милорд, бесполезно предлагать миллионы умирающему человеку. Стреляйте, стреляйте же, милорд! Вдовствующая графиня де Стэнвиль распорядится этими документами, и никто больше. Они не продажные, повторяю вам: я их не уступаю ни за какие ваши миллионы!..

— Даже и за этот пистолет, граф? — и Эглинтон спокойно протянул своему врагу заряженный пистолет.

— За мою жизнь? — пробормотал Гастон. — Вы хотели бы...

— Нет, за мою, граф, — ответил милорд. — Я не двинусь с этого места. Предлагаю вам этот пистолет; после того, как

передадите мне пачку с письмами, вы можете распоряжаться пистолетом по своему усмотрению.

Гастон инстинктивно подался назад, совершенно растерявшись от изумления.

— Если вы не возьмете этого пистолета, граф,— решительно произнес Эглинтон,— я буду стрелять.

Наступило короткое молчание. В душе Гастона происходила жестокая борьба между гордостью и странной любовью к исчезающей жизни, за которую обычно цепляются бедные смертные.

В те времена люди не были трусами, жизнь ставили ни во что и часто отдавали ее за удовлетворение мелкого тщеславия; но у кого хватит духа осудить Гастона, если, стоя пред лицом самой смерти, он решил лучше отказаться от утонченной, придуманной им мести?

— Дайте мне пистолет, милорд,— глухо сказал он.— Де Мортемар, передай пакет лорду Эглинтону.

Де Мортемар молча повиновался. Эглинтон взял у него связку с бумагами и стал одну за другой подносить их к пламени свечи: сначала карту, затем письмо с четко подписанным именем Лидии. Черная, обгорелая бумага, свертываясь, падала из его руки на столе, а он все продолжал держать ее, пока могли терпеть обожженные пальцы. Затем, выпрямившись, он обернулся к Гастону и просто сказал:

— Я готов, граф.

Подняв левую руку, Гастон выстрелил. В ту же минуту раздался дикий, нечеловеческий женский крик, слившийся в одно с криком ужаса, вырвавшимся у Мортемара: «маленький англичанин» стоял в течение нескольких секунд совершенно спокойно, твердо и прямо, без всякой перемены в лице, затем без стопа повалился вперед.

— Сударыня, вы ранены? — воскликнул пораженный Мортемар, увидев здесь женщину в такую ужасную минуту.

Он заметил ее при ярком мгновенном блеске выстрела Гастона: она бросилась вперед с очевидным намерением встать пред смертоносным оружием, а теперь делала нечеловеческие усилия, стараясь поднять своего мужа со стола, на который он упал.

— Трус, трус! — в отчаянии рыдала она.— Вы ранили самое честное, самое благородное сердце в целой Франции!

— Дай Бог, чтобы не все было кончено! — горячо прошептал Гастон и, движимый какой-то тайной силой, отшвырнул в сторону пистолет, а затем, упав на колени, закрыл лицо руками.

Но Мортемар уже овладел собою и, подбежав к раненому лорду Эглинтону, позвал Жана Мари, который, по-видимому, следовал за Лидией, когда она устремилась во внутренние комнаты. Им удалось вдвоем приподнять лорда Эглинтон и понемногу отклонить его туловище назад, так что Лидия, все еще стоявшая на коленях, приняла мужа в свои объятия. Ее глаза со страстным напряжением были устремлены на его бледное лицо. Казалось, ей хотелось вывести от этих закрытых глаз тайну жизни или смерти.

— Он не умрет? — безумно шептала она. — Скажите, что он не умрет!

На левой стороне груди виднелось большое красное пятно, просачивавшееся сквозь тонкое сукно одежды. Мортемар неловко старался расстегнуть камзол и хоть на время остановить обильное кровотечение при помощи шарфа, который Лидия сорвала с плеч.

— Скорее лекаря, Жан Мари! — приказал он. — И приготовьте комнаты!

Когда Жан Мари с не свойственной ему поспешностью повиновался, призывая на помощь конюха и служанку, глаза Лидии встретились со взглядом молодого Мортемара.

— Маркиза, умоляю вас, позвольте мне помочь вам, — сказал он, пораженный страдальческим выражением прекрасного лица, словно выточенного из мрамора. — Я уверен, что вы ранены.

— Нет, нет, — быстро перебила она, — только рука... я хотела схватить пистолет... но было слишком поздно.

Однако она дала ему руку. Выстрел пришелся как раз между большим и указательным пальцами, и из открытой раны так сильно текла кровь, что у Лидии закружилась голова, и она почувствовала дурноту.

А в нескольких шагах от них Гастон де Стэнвиль, все еще стоя на коленях, усердно молился о том, чтобы его рука не была заклеймлена ужасным пятном убийцы.

XXV

Первыми словами лорда Эглинтон, когда к нему вернулось сознание, были:

— Письмо... мадонна... Оно уничтожено... клянусь...

Он лежал в самой лучшей постели, какая нашлась у Жана Мари, на простынях, надушенных лавандой. Справа от него

в маленькое, отворенное окно были видны море, небо и множество красивых судов, качавшихся на волнах. А слева, когда бы он ни обратил взор в эту сторону, пред ним был чудный, неземной образ, невольно заставлявший его вспоминать старые, слышанные им в детстве, сказки о первых впечатлениях в раю после смерти; ему казалось, что в них было много правды. Он умер — и теперь очутился в раю. Он видел перед собою лицо женщины, с устремленными на него серьезными, тревожными глазами, и ее улыбку, полную бесконечной любви и сулившую безграничное счастье.

— Мадонна! — слабо прошептал он и снова закрыл глаза.

Он очень ослабел от потери крови, бреда и лихорадки, не покидавшей его ни днем, ни ночью; кроме того, он боялся, что от его пристального и долгого взгляда чудное видение может исчезнуть.

Лекарь, добрый и ласковый человек, часто навещал его. По-видимому, ране Эглинтонна суждено было зажить, и ему приходилось снова вернуться к жизни с ее горестями, разочарованиями, а может быть, и унижениями.

Его упорно преследовало одно видение, — о, это был всего один миг! — его мадонна, стоящая со своей дорогой, белой рукой, протянутой между ним и смертью! Конечно, это была только греза, одна из тех грез, какие бывают у умирающих. А другой образ? Нет, это был просто лихорадочный бред; не было никаких нежных, заботливо наблюдавших за ним глаз, и женской улыбки, сулившей ему счастье.

Однажды Эглинтонна навестил герцог Домон. Он прискакал на почтовых из Парижа и, пожимая больному руку, был необычайно любезен и взволнован.

— Вы должны скорей выздоравливать, милорд, — дружески сказал он. — Вы ведь теперь — герой дня. Мортемар все рассказал.

— Я не верю, — серьезно ответил Эглинтон.

Герцогу, казалось, было что-то известно по этому поводу, и он был несколько смущен.

— Нет, он — славный малый, — успокоительно проговорил он, — и знает, когда надо держать язык за зубами. Что касается Бель-Иля и де Люжака, то они получили хороший урок, и вполне заслуженный, могу вас уверить. Ну, а Гастон...

— Ах, да, герцог, что случилось с графом де Стэнвилем?

— Он немедленно покинул двор... и в немилости. Это была чудовищная дуэль, милорд, — серьезно прибавил герцог, — ведь если бы Гастон застрелил вас, это было бы простым убийством, так как, по словам Мортемара, вы не хотели стрелять.

Голова больного беспокойно задвигалась по подушке.

— Мортемар слишком много наболтал,— нетерпеливо сказал он.

— Только рассказал о дуэли... Больше ничего, честное слово! — возразил герцог. — Не было произнесено ни одного женского имени; но, я боюсь, что до двора и до публики дошли слухи о заговоре против принца Стюарта и что дуэль была сопоставлена с этим происшествием; отсюда ваша популярность, милорд,— продолжал со вздохом герцог,— и немилость, которой подвергся Гастон.

— Козел отпущения в неудавшемся заговоре?

— Бедный Гастон! Вы, конечно, очень ненавидите его, лорд?

— Я? Нисколько, честное слово!

Герцог некоторое время колебался, на его красивом лице выразилось легкое беспокойство.

— А Лидия... — осторожно начал он. — Вчера ночью она одна уехала из Парижа... и ехала день и ночь, чтобы вовремя попасть в Гавр, помочь вам и помешать Гастону. Это было, конечно, неосмотрительно с ее стороны, но ее намерения были чисты. Милорд, это — мое дитя, и я...

— Она — моя жена, герцог,— серьезно перебил его Эглинтон,— и мне не нужно уверений в чистоте ее намерений, даже от ее родного отца!

В этих немногих словах было столько глубокой веры, что герцог Домон почувствовал себя пристыженным при мысли о том, что он мог когда-нибудь сомневаться в своей дочери. Помолчав несколько минут, он сказал уже веселее:

— Его величество, конечно, очень раздражен.

— Против меня, надеюсь? — спросил Эглинтон.

— Конечно,— вздохнул герцог.— Король Людовик из-за вас стал теперь на пятнадцать миллионов беднее.

— Но зато обогатился королевством чести. Что касается миллионов, ваша светлость, то я сам предоставлю их в распоряжение его величества. Мой замок и поместья в Шуази стоят этого,— весело прибавил Эглинтон.— Как только моя слабая рука окажется в состоянии держать перо, я сделаю этот подарок французской короне.

— Вы это сделаете? — воскликнул герцог, едва веря своим ушам.

— Это мое твердое намерение,— с улыбкой ответил больной.

Громадная тяжесть свалилась с души герцога. Немилость короля, конечно, распространилась бы на всех друзей «маленького англичанина», а главным образом — на тестя Эг-

линтона, присутствие которого при дворе было бы невыносимо для разочарованного монарха. Теперь же это беспримерное великодушие более чем когда-либо утвердить доверие Людовика к его первому министру, главное достоинство которого состояло в том, что он имел такого зятя.

И действительно история гласит, что герцог Домон в течение некоторого времени после вышеописанных памятных дней продолжал пользоваться доверием и признательностью «обожаемого» Людовика и купаться в лучах улыбок маркизы Помпадур; а дар лорда Эглинтон короне Франции в виде замка и поместий Шаузи послужил поводом к устройству в Версале народного праздника.

Но после визита герцога Домона в гостиницу «Три матроса» великодушный деятель пятнадцати миллионов сразу почувствовал переутомление жизнью. Сновидение, услаждавшее его лихорадочный сон, уже не появлялось более, пока он бодрствовал, а памяти было слишком трудно возбуждать любовь к жизни воспроизведением одной счастливой минуты.

Лорд Эглинтон закрыл глаза, вздыхая об исчезнувшем сновидении. В маленькой комнатке царили покой и тишина; в отворенное окно проникал легкий морской ветерок, обвеивая больную голову лорда и заставляя вспоминать пышный дом в Англии, о котором так часто грустил его отец. Как мирно можно было бы жить там, среди холмов!

Ветер настойчиво что-то шептал, и в его убаюкивающем звуке слышался шорох женского платья.

Больной решился открыть глаза. Лидия, его жена, стояла на коленях у его кровати и, опершись на руки подбородком, смотрела на него своими большими сияющими, но все же серьезными глазами.

— Неужели я на земле? — слабо прошептал Эглинтон.

— О, да! — ответила она, и ее голос показался ему самой чудной музыкой, какую он когда-либо слышал; эта музыка была серьезная и торжественная, но в ней были переливы, делавшие ее необыкновенно нежными. — Лекарь говорит, что теперь вашей жизни не грозит никакая опасность, — прибавила Лидия.

«Маленький англичанин» с минуту молчал, словно решая какой-то важный вопрос, а затем спокойно сказал:

— Вы хотели бы, чтобы я остался жив, Лидия?

Она боролась со слезами, против ее воли выступавшими у нее на глазах, и прошептала сквозь слезы:

— Зачем вы так жестоко относитесь ко мне?

— Жестоко, это — правда, — серьезно ответил он, — и это после того, как вы, подвергая опасности свою дорогую жизнь,

хотели спасти меня. Зато я с радостью отдам свою жизнь, чтобы видеть вас счастливой.

— Тогда лучше будет, если вы останетесь жить,— сказала Лидия с бесконечно нежной улыбкой,— потому что только тогда я могу испытать счастье.

— Но, если я останусь жить, вам придется отказаться от многого, что вы любите.

— Это невозможно, потому что я люблю исключительно одно.

— Ваше государственное дело во Франции? — спросил Эглинтон.

— Нет! Мою жизнь с вами!

Руки Лидии упали на одеяло, и ее муж схватил их своими руками. Как часто она отстранялась от их прикосновения! Но теперь она уступила, все еще стоя на коленях и еще ближе склоняясь к нему.

— Ты хочешь поехать со мною в Англию, Лидия? В мой дом в Англии, среди холмов Суссека, вдали от придворной жизни и от политики? Хочешь последовать за мною туда? — воскликнул Эглинтон.

— С тобою хоть на край света, дорогой мой! — ответила Лидия.

Ф. Мюльбах

**ТРАГЕДИЯ
КОРОЛЕВЫ**

I

Счастливая королева

Это было тринадцатого августа 1785 года. Королева Мария Антуанетта уступила наконец мольбам своих горячо любимых подданных и, покинув на один день великолепный Версаль и свой милый Трианон, появилась в Париже, чтобы показаться народу, познакомить его с новорожденным сыном, которым она подарила короля и французский народ двадцать пятого марта, и в соборе Нотр-Дам получить от духовенства благословение, а от представителей Парижа — поздравления.

Прекрасная, очень любимая королева встретила восторженный прием. Она въехала в Париж в открытом экипаже, окруженная своими тремя детьми, и все, кто узнавал ее, радостно приветствовали ее и торопились следовать за нею до самого собора, на пороге которого ее встретило высшее духовенство, с кардиналом Луи де Роганом во главе, чтобы торжественно ввести ее в дом Царя царей.

Мария Антуанетта приехала совсем одна; ее сопровождали только гувернантка «детей Франции», герцогиня Полиньяк, да нормандка-кормилица, державшая на руках второго сына короля, Людовика Карла, герцога Нормандского.

На заднем сиденье, рядом с королевой, сидели ее старшие дети: старшая дочь короля ее королевское высочество, мадам* Тереза, и дофин Людовик, предполагаемый наследник Людовика XVI.

— Поезжай в Париж, дорогая Антуанетта, — сказал своей супруге добродушный король, — доставь моим добрым гражданам эту радость! Покажи им наших детей и прими выражения их восторга за то счастье, которым ты подарила меня и их. Я не еду с тобою, чтобы не делить твоего триумфа. Поезжай и наслаждайся этим часом счастья!

* Титул, отличавший старших теток, старших сестер и старших дочерей короля

Когда королева вышла из собора, вся площадь представляла собою волнуемое море, бурно плескавшееся и гнавшее свои темные волны в прилежавшие к площади улицы, чтобы наполнить весь Париж своим радостным шумом и грозным всплеском. Весь Париж приветствовал в этот час не королеву, но прекрасную женщину, счастливую мать, которая, подобно матери Грахов, не имела других спутников, других защитников, кроме своих сыновей, не имела другой придворной дамы, кроме своей дочери, на плечо которой положила руку, являясь во всем блеске королевского и материнского величия. И весь Париж, явившийся приветствовать королеву, женщину и мать, потрясал воздух дружными, радостными, восторженными криками:

— Да здравствует королева! Да здравствует Мария Антуанетта! Да здравствуют красавица-мать и прекрасные дети Франции!

Эти крики, эти радостные лица и горящие глаза в свою очередь воодушевляли королеву. К ее щекам также прилила кровь, ее глаза также засверкали. Она встала в экипаже и движением, полным невыразимой грации, взяв у кормилицы ребенка, подняла его высоко кверху, чтобы показать его парижанам. При этом маленькая шляпка, приколотая сбоку к ее напудренной прическе, съехала ей на затылок, а прекрасные руки, высоко державшие ребенка, обнажились до локтей, так как кружевные рукава спустились на плечи. Тогда восторг толпы обратился в настоящий фанатизм.

— Что за женщина, какова красавица! — слышались отдельные голоса, — какие чудные руки, прелестный затылок!

Яркая краска залила лицо Марии Антуанетты. Похвалы женщин пробудили в ней королеву; она поспешно передала дитя кормилице и, опустившись на подушки экипажа, поправила шляпку и кружевную мантилью, после чего приказала кормилице:

— Скажите кучеру, чтобы он ехал скорее!

Та поспешила дернуть за шнурок и передать приказание.

— Ну, Тереза, — с улыбкой обратилась королева к дочери, — разве не отрадно, что наш добрый народ так радостно приветствует нас?

Семилетняя принцесса, с недовольным видом покачав гордой головкой, воскликнула:

— Мама, эти люди кажутся такими грязными и гадкими... Я не люблю их...

— Молчи, дитя, молчи! — прошептала королева, страхась, как бы толпа, тесно обступавшая коляску, не услышала неосторожных слов ребенка.

Ее опасения были не напрасны: какой-то блузник с красным лицом и маленькими пронзительными черными глазками понял слова юной принцессы и, бросив на нее злобный и угрожающий взгляд, произнес:

— Мадам нас не жалует, потому что мы грязны и некрасивы; но и мы, вероятно, казались бы чистенькими и хорошенькими, если бы могли разрядиться и разъезжать в важных каретах. Но мы должны работать и мучиться, чтобы платить подати; а если бы мы не платили их, то нашему королю и его семье не приходилось бы гордиться блеском да богатством. Мы бедны потому, что работаем на него!

— Прошу вас,— кротко сказала ему королева,— простить мою дочь: она — еще дитя и не понимает, что говорит. Родители научат ее любить добрый, трудолюбивый народ и быть ему благодарным за его любовь, мосье.

— Я вовсе не мосье,— грубо возразил блузник,— я просто бедный мастер, сапожник Симон, и больше ничего!

— В таком случае, мессир Симон, я прошу вас принять от моей дочери изображение ее отца и выпить за наше здоровье,— сказала королева, кладя в руку дочери луидор, причем шепнула ей: — Дай ему!

Принцесса поторопилась исполнить приказание матери и положила блестящий золотой в протянутую к ней широкую, грязную руку. Толстые, костлявые пальцы сапожника сжали ее ручку и не выпускали.

— Вот так маленькая ручка,— насмешливо сказал он,— а что стало бы из таких пальчиков, если бы им пришлось работать?

— Мама! — испуганно вскрикнула принцесса.— Вели этому человеку отпустить мою руку, мне больно!

Сапожник громко расхохотался и, выпустив руку, злобно сказал:

— Ага, принцессе больно уже от одного прикосновения рабочей руки! Вам лучше бы держаться подальше от нас и никогда не являться среди народа!

— Поезжайте же скорее! — громко и повелительно сказала кучеру королева.

Он ударил по лошадям, и народ, толпившийся у самого экипажа и, затаив дыхание, слушавший разговор королевы с сапожником, с боязливymi криками и визгом бросился в разные стороны от взвизгивших на дыбы коней.

Экипаж поехал крупной рысью, и королева снова улыбалась и ласково кивала народу, который уже снова с энтузиазмом приветствовал ее, восторгался ее красотой и миловидностью ее детей.

А сапожник Симон все стоял на прежнем месте, насмешливо скалясь, и смотрел вслед королевскому экипажу.

Чья-то рука опустилась на его плечо, и язвительный, дрожащий голос спросил его:

— Вы любите эту австриячку, мессир Симон?

Сапожник быстро обернулся. Пред ним стоял какой-то странно искривленный и сгорбившийся человек с неестественно большой головой, плохо подходившей к узким плечам; весь его вид произвел такое впечатление на Симона, что он громко расхохотался.

— Вы находите меня безобразным, не так ли? — спросил незнакомец, стараясь также засмеяться, но вместо смеха получилась гримаса, растянувшая его неестественно огромный рот с толстыми, бесцветными губами от уха до уха и показавшая два ряда отвратительных, длинных зеленоватых зубов. — Вы находите меня страшно безобразным? — повторил он, так как хохот сапожника стал еще громче.

— Я нахожу вас очень странным, — сказал Симон, — если бы я не слышал, что вы говорите по-французски и не видел, что вы ходите на двух ногах, как все мы, то я подумал бы, что вы — та громадная жаба, о которой я недавно читал в сказке.

— Да я и есть та самая жаба из сказки, — со смехом подтвердил незнакомец, — я только на сегодня нарядился человеком, чтобы посмотреть на австриячку с ее отродьем. Позволю себе еще раз спросить вас: любите ли вы эту австриячку?

— Нет, убей меня Бог, не люблю! — с жаром воскликнул сапожник.

— А почему бы Богу убивать вас за это? — быстро возразил незнакомец. — Что же, вы думаете, уж такое огромное несчастье, если не любишь австриячки?

— Нет, собственно говоря, я этого не думаю, — задумчиво возразил сапожник, — пред Богом-то это — не грех, а вот пред людьми — грех, за который платят долгим и тяжелым заключением в тюрьме, а так как я люблю свободу, то и остерегаюсь рассказывать чужим людям, что именно я думаю.

— Вы любите свободу? — воскликнул незнакомец. — Дайте мне свою руку и позвольте поблагодарить вас за это прекрасное слово, брат мой!

— Ваш брат? — с изумлением повторил сапожник. — Я не знаю вас, а вы так себе, здорово живешь, называете себя моим братом?

— Вы сказали, что любите свободу, а потому я и приветствую в вас брата. Все, любящие свободу, — братья, так как признают эту добрую и милостивую мать, которая не делает разницы между своими детьми и любит их всех совершенно одинаково, хотя бы один назывался графом, а другой —

ремесленником. Пред матерью-свободой все мы равны и все — братья.

— Это звучит красиво, — возразил сапожник, — только беда в том, что это — неправда. Если все — братья, то почему же король ездит в золоченой карете, а я, в качестве сапожника, потя, тащусь на своих вороных — на собственных подошвах?

— Король — не сын свободы! — яростно воскликнул незнакомец. — Он — сын деспотизма, оттого и хочет унижить до полного рабства своих врагов, сынов свободы! Неужели мы всегда будем терпеть это? Неужели не захотим наконец подняться из праха и унижения?

— Ну, конечно, если бы мы могли, то очень захотели бы этого! — с грубым смехом воскликнул Симон. — Да вот все дело в том, что мы не можем! Король имеет власть держать нас в цепях, а прекрасная дама-свобода, о которой вы говорите, что она — наша мать, преспокойно позволяет, чтобы ее сынов держали в рабстве и унижении.

— Она только временно допускает это, — возразил незнакомец громким, визгливым голосом, — но она уже готовит день возмездия и смеется над теми, кого она хочет низвергнуть и которые сами безудержно работают над своею гибелью!

— Что за ерунду вы говорите! — засмеялся сапожник.

— Да, они сами роют себе яму, но не видят этого, потому что богиня, желая погубить их, сделала их слепыми. Разве ваши умные глаза не видят, как эта австриячка усердно работает над своим собственным саваном?

— Королева никогда не работает, — со смехом возразил Симон, — она заставляет работать свой народ.

— А я говорю вам, что она работает! Я уверен, что она соткала уже порядочный кусок своего савана; у нее есть милые друзья, которые помогают ей в этом, например, герцог де Куаньи. Вы знаете, кто такой герцог де Куаньи?

— Ей-Богу, не знаю! Я при дворе не бываю и незнаком со всякой придворной дрянью!

— Вы правы, там все — дрянь! — с отвратительным смехом подхватил незнакомец. — И я хорошо знаю это; ведь я, к сожалению, не могу, как вы, сказать, что не бываю при дворе: я попал туда, но мое удаление оттуда наделает больше шума, чем мое появление. А герцог де Куаньи вот кто: он — один из трех главных возлюбленных австрийской султанши.

— Да, это презабавно! — сказал сапожник. — Какой вы потешный чудак! Так у королевы есть возлюбленные?

— Да ведь вы слыхали, что сказал герцог Безанваль, когда австриячка невестой выезжала в Париж: «Смотрите, мадам, эти сотни тысяч парижан — это все ваши обожатели!» Вот она и хочет, чтобы слова герцога оправдались. Подождите, и до

вас дойдет очередь! И вы будете нежно прижимать к губам ручку прекрасной австриячки!

— Будьте уверены, — сердито сказал Симон, — что я так крепко сжал бы ее, что на ней навеки остался бы след! Ну, а кто же два ее другие возлюбленные?

— Второй — прекрасный Адемар, дурак, пустомеля и фат. Но он красив и умеет веселиться, а наша королева любит смеяться и вообще порядочная гуляка; про это всякий знает, особенно со времени ноктурналий на дворцовой террасе.

— Ноктурналии? Это что такое?

— Эх, вы, невинное дитя! Так называются ночные прогулки, которые наша королева устраивала по ночам, при лунном свете, на дворцовой террасе в Версале. Да, да, превеселое было время! Железные решетки парка не запирались, и возлюбленный народ мог свободно гулять вместе с королевой при лунном сиянии и звуках музыки, скрытой в кустах. Спросите-ка красавца унтер-офицера уланского полка; он расскажет вам, как сам сидел там на скамейке между двумя прелестными женщинами в белых платьях и хохотал с ними так, что животики надорвал! Он расскажет вам, как Мария Антуанетта умеет смеяться и какие знатные шуточки можно выкидывать с ее королевским величеством!

— Эх, хотелось бы мне познакомиться с ним, да чтобы он рассказал мне все это! — произнес Симон, сжимая кулаки. — Во всяком случае меня радует, когда я слышу что-нибудь дурное про австриячку, потому что я ненавижу ее так же, как и всю придворную дрянь. С чего они рядятся да чванятся, когда мы должны работать и мучиться с восхода до заката? Я думаю, что и сам я ничем не хуже короля, и моя жена была бы так же красива, как королева, если бы носила такие же красивые платья да разъезжала в золотых каретах! Почему они знатные, а мы нет?

— Я вам скажу почему: потому что мы позволяем им считать себя какими-то богами, пред которыми народ, или, как они говорят, — чернь, должна стоять на коленях! Но... терпение! Терпение! Наступит час, когда народ принудит их самих стоять на коленях и молить о помиловании! Но милости они не добьются: они понесут наказание!

— Ух, хотел бы я, чтобы это время уже наступило и чтобы я видел, как их накажут! — сказал сапожник.

— Это, милый мой, зависит от вас самих. Вы можете приложить руку к тому, чтобы это время пришло скорее.

— Но что я могу сделать? Скажите! Я на все готов.

— Вы можете помочь точить нож, чтобы он потом хорошо резал, — с злою усмешкой сказал незнакомец. — Нечего смотреть на меня с таким удивлением, брат мой! В добром, старом

Париже уже много таких точильщиков, и, если вы хотите примкнуть к нашему обществу, приходите сегодня вечером ко мне; я познакомлю вас с нашим кружком.

— Где же вы живете и как вас зовут? — спросил сапожник, сгорая от нетерпения.

— Я живу в конюшнях графа д'Артуа, а зовут меня Жан Поль Марат.

— В конюшне! Честное слово, я не думал, что вы — рейт-кнехт или кучер! Удивительный, должно быть, вид, когда вы сидите на лошади!

— Вы думаете, что жабе это не к лицу? Вы правы, брат Симон! Но я с лошадьми не имею никакого дела: я лечу конюхов, добрый брат Симон, и могу уверить вас, что доктор я довольно искусный и починил уже не одного конюха и жокея, так как заведующий конюшнями милого графа д'Артуа имеет привычку прибегать к бичу. Итак, вы можете прийти ко мне сегодня не только для того, чтобы я ввел вас в хорошее общество, но и в том случае, если вы больны. Я лечу братьев из народа даром, так как братья не должны брать друг с друга деньги. Прощайте, жду вас! Да, вот еще что: так как мегера, охраняющая мое жилище, не знает вас, то, наверное, скажет вам, что меня нет дома; поэтому вот вам наш лозунг: свобода, равенство, братство. Прощайте!

Марат отвратительно осклабился, кивнул сапожнику и быстро, несмотря на хромоту направился через площадь к ратуше. Симон смотрел ему вслед, забавляясь этой комичной фигурой в высокой черной шляпе, как вдруг ему пришла в голову одна мысль, и он поспешно догнал уходившего.

— Ну, что такое? — спросил Марат, опуская руку в карман. — Разве я что-нибудь забыл? Платок у меня в кармане, также и кусок хлеба, составляющий мой завтрак.

— Вы забыли назвать мне третьего возлюбленного австриячки, а я, должен вам признаться, собираюсь сегодня зайти в свой клуб и очень хотел бы рассказать там обо всем этом. Такая миленькая историйка про австриячку произведет в клубе сенсацию.

— О, это радует меня! — сказал Марат, улыбаясь во весь рот. — Очень мило, что у вас есть клуб, в котором с удовольствием слушают такие рассказы насчет королевы и двора, и для меня будет истинным удовольствием снабжать вас ими для вашего клуба. Ведь очень полезно знакомить милый, добрый народ с тем, что делается в Версале и в Сен-Клу.

— А что такое бывает в Сен-Клу? — спросил Симон. — Ведь это только старый, забытый замок короля?

— Будьте уверены, что теперь там опять будет очень оживленно! Наш обожаемый король подарил его своей супруге,

чтобы она там устроила себе гарем больших размеров, так как Трианон для нее недостаточно велик. Да, да, прекрасный замок французских королей, величественный Сен-Клу, отдан теперь австриячке в полное и наследственное владение. И знаете, что она сделала? Она велела прибить у ворот доску, на которой написано, под какими условиями можно народу входить в парк Сен-Клу.

— Это не ново! — с нетерпением перебил Симон. — Такие объявления существуют во всех королевских садах: именем короля запрещается портить сады и сходить с дорожек.

— А в Сен-Клу написано: «Именем королевы»! Так и написано: «Именем королевы»! Значит, у нас не только один король сидит на шее со своими приказами и указами, но еще явилась новая властительница Франции, которая предписывает нам законы! «Именем королевы»! Ведь это выходит государство в государстве! Трианона ей мало, теперь ее руки захватили уже Сен-Клу! Она уже делает новое покушение на народ, завоевывает новую арену для действий и так малопомалу захватит в свои сети всю Францию!

— Это низко, постыдно! — воскликнул Симон, потрясая кулаками.

— И это, брат мой, еще далеко не все! До сих пор мы видели в королевских дворцах людей, унизившихся до рабской службы, одетых в обезьяньи костюмы — ливрею короля; но в Сен-Клу все служащие носят ливрею королевы, так что, войдя в парк, вы очутитесь уже не во Франции, а в австрийской провинции, где иноземка может устраивать себе гарем и выдумывать свои собственные законы, и так, что добродетельный и благородный народ не может даже возмущаться!

— Народ еще не знает об этом, брат, — с жаром возразил Симон, — ему еще неизвестны все выходки королевы!

— Так расскажите ему! Повторите в своем клубе все то, что я рассказал вам, и поставьте слушателям в обязанность распространять все услышанное среди своих друзей.

— О, так мы и сделаем! — весело заявил Симон. — Только вы все еще не назвали мне третьего возлюбленного королевы.

— Это де Безанваль, генерал-инспектор швейцарской гвардии, генерал-лейтенант армии, командор ордена Святого Людовика. Видите, стоит быть возлюбленным королевы: это помогает возвышаться. Пока жив был порочный король Людовик Пятнадцатый, Безанваль был только полковником швейцарской гвардии и лишь изредка принимал участие в оргиях, происходивших в Версале; теперь королева возвысила его. Теперь Сен-Клу и Трианон — арены пиршеств Марии Антуанетты, и генерал Безанваль — первый у нее заправил. Ну, теперь вы знаете все, что хотели, не так ли?

— Да, благодарю вас, — ответил Симон. — Надеюсь, сегодня вечером вы мне еще что-нибудь расскажете: ваши истории крайне занимательны!

— Расскажу; ведь королева старается, чтобы для таких рассказов всегда находился новый материал. Но сейчас у меня, к сожалению, нет больше времени.

— Знаю, знаю, вас ждут больные! Прощайте! До вечера.

Симон быстро свернул в одну из ближних улиц. Марат смотрел ему вслед с злой и торжествующей улыбкой.

— Так, так! — пробормотал он. — Вот каким путем вербуются борцы за свободу. Из этого сапожника выйдет хороший солдат, а своими рассказами он еще завербует нам целую роту. Торжествуйте, гордые Бурбоны! Воображайте себя в безопасности в своих раззолоченных замках, окруженных швейцарской гвардией! Придет день, когда маленький, безобразный, презираемый Марат, которого теперь никто не знает и который, словно ядовитая крыса, ползает в вашей конюшне, выступит против вас, и вы, испуганные, дрожащие, падете во прах. Не проходит дня, чтобы мы не вербовали новых борцов, новых воинов в нашу народную армию, а эта наивная, безалаберная Мария Антуанетта облегчает нам нашу задачу. Из ее детских выходок, немножко вывернув их и перевернув, легко выкраиваются постыднейшие пороки и бессовестнейшие преступления. А насчет переворачивания я — мастер! Эй, красавица-королева, у тебя для защиты твои швейцарцы, которым ты платишь, а у меня — только один солдат, которому мне притом не нужно платить, это — клевета! И этот солдат победит всю твою швейцарскую гвардию и всю твою армию. Ведь на земле нет такого войска, которое могло бы бороться с клеветой... Ура! Да здравствует моя союзница — клевета!

II

Принцесса Аделаида

На обратном пути в Версаль королева была очень молчалива, и все старания герцогини Полиньяк разогнать тучи, омрачившие чистый, ясный лоб Марии Антуанетты, остались тщетными. Бряцание оружия швейцарской гвардии, приветствовавшей возвращение королевы, вывело ее из глубокой задумчивости; она устремила взор на ребенка, лежавшего на коленях кормилицы, потом схватила его на руки и, крепко прижав его к груди, тихо сказала:

— Ах, дитя мое, милое дитя мое! О, если бы тебе всю жизнь пришлось слышать только такие радостные приветст-

вия, какими встретил сегодня Париж твой первый выезд, и никогда не слышать больше таких слов, какие говорил этот ужасный человек!

Королева забыла, что стоит в экипаже, что ее шталмейстер и лакеи ждут у открытой дверцы, а стража все еще стоит под ружьем. Герцогиня Полиньяк решила напомнить своей августейшей подруге, что надо выйти из коляски. Мария Антуанетта очаровательно улыбнулась и, легко выпрыгнув из экипажа, быстро взбежала с ребенком на руках на лестницу. Придворные дамы, состоявшие при особах принцессы Терезы и дофина, увели своих воспитанников. Кормилица и две статс-дамы королевы спешили за нею, неодобрительно качая головой. Вместо того, чтобы в последней передней отпустить своих дам, Мария Антуанетта прошла прямо в свои покои и заперла за собой двери.

— Что же нам делать? — с недоумением спросили дамы дежурного камергера, но тот только пожал плечами.

— Придется ждать, — сказала маркиза де Мальи, — может быть, ее величество соблаговолит вспомнить о нас и позволит нам удалиться!

— А если королева забудет про нас, нам придется простоять здесь весь день, пока ее величество будет разыгрывать в Трианоне свои пастушеские комедии, — возразила принцесса Шимэ.

— Разумеется, — подхватил граф де Кастино, — сегодня в Трианоне как раз праздник, и очень возможно, что мы простои́м здесь весь день, подобно статуям жен Лота.

— Нет, вот где наше освобождение, — шепнула маркиза де Мальи, указывая на экипаж, показавшийся вдали, у решетки Версаля. — Вчера в интимном собрании у графа Прованского было решено, что принцесса Аделаида еще раз попытается образумить ее величество и внушить ей, что приличествует и что не приличествует королеве Франции.

В это время карета дочери Людовика XIV, тетки короля, въехала на дворцовый двор. Впереди скакали два пикера, на запятках стояли два лакея, а на каждой подножке паж в роскошном костюме. Карета остановилась пред подъездом, предназначенным только для членов королевской фамилии, и из нее вышла дама с бесформенной фигурой и угрюмым, изрытым оспой лицом, на котором не выражалось ничего, кроме холодного высокомерия и гордого равнодушия. Тяжело опираясь на плечо пажа, она начала медленно подниматься по лестнице. Предшествовавший ей скороход постучал длинным жезлом в двери первой приемной и громким голосом провозгласил:

— Мадам Аделаида!

Лакей повторил его доклад и отворил дверь второй приемной; там доклад был повторен собственными камер-лакеями королевы и так достиг наконец до комнаты, в которой находилась Мария Антуанетта.

Королева слегка вздрогнула и по ее ясному лицу пробежала тень неудовольствия. Она обняла и нежно поцеловала герцогиню Полиньяк и сказала:

— Уходите, дорогая моя, но будьте готовы ехать со мной в Трианон, как только мадам Аделаида, то есть мадам утрюмость, оставит меня. Королеве придется потерпеть полчаса, но зато Мария Антуанетта отправится потом со своей милой Жюли в Трианон и проведет там счастливо полдня с мужем и друзьями.

— Чтобы наградить этих друзей бездной блаженных воспоминаний,— добавила молодая герцогиня, грациозно наклоняясь для поцелуя над рукой королевы, а затем направилась на половину «детей Франции».

Двери распахнулись, и две статс-дамы, войдя, сделали положенные реверансы. Затем, приблизившись на один шаг, снова поклонились, склонили головы и в один голос доложили: «Мадам Аделаида!» — после чего встали по сторонам дверей. Принцесса переступила порог; за ее спиной виднелись две ее фрейлины, камергер, гофмейстер, пажи и два шталмейстера королевы; все они оставались в первой приемной.

Стоя посреди комнаты, Мария Антуанетта чуть-чуть улыбалась этому изобилию почета, окружавшего появление принцессы королевского дома.

Мадам Аделаида сделала несколько шагов, но так как королева не двинулась ей навстречу, как она ожидала, то ее лицо омрачилось.

— Я, может быть, некстати? — спросила она с кислосладкой улыбкой. — Королева, вероятно, собирается в Трианон, куда, как я слышу, уже отправился король?

— Ваше высочество уже слышали об этом? — улыбаясь, спросила королева. — Я изумляюсь, какой еще тонкий слух у вашего высочества; не то что мои молодые уши, которые не слышали громкого шума, произведенного приездом вашего высочества. Я радостно приветствую неожиданное появление любящей и благосклонной тетушки.

Каждое из слов, несмотря на сопровождавшую их очаровательную улыбку, кололо принцессу, словно иглой; упомянув о «все еще остром» слухе принцессы, королева задела разом и ее возраст, и ее необыкновенное любопытство, противопоставив им свою молодость и свое равнодушие к тому, что говорят.

— Угодно ли вашему величеству сделать мне честь побеседовать со мной? — спросила принцесса, не в силах бороться с племянницей язвительными, но любезными словами.

— Я очень рада, — весело ответила королева, — от вашего высочества вполне зависит сделать эту беседу интимной или публичной.

— Я прошу получасовой интимной беседы, — сказала мадам Аделаида.

Королева жестом отпустила своих дам, а затем, обратясь к дверям приемной, громко сказала:

— Господин шталмейстер, экипаж для поездки в Трианон должен быть готов через полчаса!

Королева и принцесса остались одни.

— Сядем, если вашему высочеству угодно, — сказала королева, указывая госте на кресло и опускаясь на простой стул. — Вам угодно что-то сказать мне? Я готова слушать.

— Дай Бог, мадам, чтобы вы не только выслушали мои слова, но и приняли их к сердцу! — со вздохом сказала принцесса.

— Если они заслуживают этого, я, конечно, приму их к сердцу, — с улыбкой воскликнула королева.

— Непременно заслуживают, так как касаются спокойствия, безопасности и чести нашего семейства! Но прежде всего позвольте мне исполнить поручение моей благородной и набожной сестры, мадам Луизы, которая прислала вам это письмо с просьбою прочесть его в моем присутствии, — и, вынув из ридикюля пакет, принцесса протянула его королеве.

— Прошу извинить меня, — сказала Мария Антуанетта, — но несколько лет тому назад вы уже передавали мне письмо от мадам Луизы, уважаемой настоятельницы монастыря кармелиток; я приняла и прочла его, но тогда же дала себе слово не принимать больше от нее ни одного письма. Поэтому, будьте добры, возвратите письмо его автору.

— Знаете ли вы, мадам, что этим отказом вы наносите оскорбление принцессе крови? — строго спросила принцесса.

— Я знаю только то, что письмо, присланное мне тогда принцессой Луизой, было оскорблением, нанесенным королеве Франции, а я хочу избавить государыню от вторичного оскорбления. Притом содержание этого письма, вероятно, подобно первому: упреки, советы, оскорбления.

— Содержание и должно быть то же самое, так как причины, вызвавшие письмо, к сожалению, также те же самые!

— А, ваше высочество знакомы с его содержанием? Значит, ваши слова вознаградят меня за то, что я не прочла письма. Очевидно, уважаемая настоятельница оторвалась от молитв за упокой души усопшего родителя, чтобы немного

заняться земными делами, прислушиваясь к клеветам мадам Аделаиды или графа Прованского, или кардинала де Роган, или вообще какого-нибудь врага королевы Франции?

— К клеветам? — гневно сверкнув глазами, повторила принцесса. — Дай Бог, чтобы дело шло только о клеветах, а не о фактах, которые огорчают и беспокоят всех нас и заставляют дрожать за королеву Франции!

— О, — сказала Мария Антуанетта со спокойной улыбкой, еще более раздражившей принцессу, — я и не знала, что вы, ваше высочество, так нежно заботитесь обо мне!

— И я не знала, мадам, что ваше легкомыслие доведет вас до оскорбления всех законов, обычаев, этикета! Вы делаете это с презрением тех, кто все может, с необузданной резвостью ребенка, играющего с огнем и не понимающего, что раздутое им пламя уничтожит прежде всего его самого. Мадам, я приехала к вам, чтобы в последний раз предостеречь вас!

— Слава Богу, в последний раз! — воскликнула королева.

— Заклинаю вас, мадам! Ради вашего супруга, ради ваших детей изберите другой путь! Оставьте стезю зла, по которой вы стремитесь к гибели!

Веселое, ласковое выражение сбегало с лица королевы; она приняла серьезный, гордый, царственный вид и громко произнесла:

— Мадам, до сих пор я слушала ваши язвительные филиппики со спокойствием невинного и помнила, что мы обязаны относиться с уважением к старшим и что старости свойственно осуждать все, что делает молодость. Но вы взываете ко мне именем всего, что дорого моему сердцу; поэтому говорите! Что такое приводит вас в такое отчаяние?

— Ваше безграничное легкомыслие, ваша непростительная близорукость, ваша расточительность, ваше вмешательство в политику, ваша...

Но тут Мария Антуанетта прервала эту тираду звонким, веселым смехом.

Последний озлобил принцессу больше всякого словесного укола, и она с жаром продолжала:

— Да, вы легкомысленно воображаете, что жизнь королевы — сплошной ясный летний день, который надо провести в пении и веселье! Танцуя и веселясь, вы упадете в пропасть! Вы развлекаетесь удовольствиями, вместо того, чтобы, как подобает королеве Франции, проводить время в уединении, серьезных размышлениях и делах благотворения! Вы — расточительница, так как раздариваете государственную казну своим любимцам, кавалерам и дамам своего кружка, которые поддерживают ваше легкомыслие, потому что извлекают из него выгоду! Одна семья Полиньяк поглощает двадцатую

часть государственных доходов! Вы страстно любите наряжаться и даже не считаете унижительным для своего королевского достоинства проводить целые часы в совещаниях с портнихами! Вы позволяете причесывать свою голову мужчине, который потом этими же руками, которыми он прикасался к волосам королевы, причесывает парижских дам, делая им такие же прически, какие носит сама королева. И что это за прически?! И что за названия! «Утренний туалет королевы!», «Гнездышко любви Марии Антуанетты!» Да, дошло до того, что моды носят имя королевы, и им придают непристойный смысл! Все мужья, все почтенные матери в отчаянии, потому что их дочери и супруги только и занимаются вашими нарядами. Ваша страсть рядиться, ваше кокетство, ваши неслыханные празднества, к которым вы даже привлекли короля, старшего сына церкви и святейшего отца...

— О каких празднествах вы говорите? — прервала королева.

— О тех, которые на соблазн всех людей дают в Трианоне, где королева превращается в пастушку и позволяет своим фрейлинам одеваться так же, как и она, и обращаться с ней, как с равной, а король, очарованный прелестями своей супруги и развращенный ее кокетством, забывает свое королевское достоинство. И эта королева, вечно хохочущая, подражающая блянию коз и коров в своих неприличных играх, еще решается разыгрывать государственного человека, замещает государственные должности своими любимцами, а король — только послушное орудие ее воли!

— Мадам! — воскликнула королева, поднимаясь со стула с пылающими гневом глазами. — Это уже слишком, вы переходите границы, которые обязательны даже для принцессы крови. Я дозволила вам критиковать мою внешнюю жизнь, но не позволяю касаться моих отношений к королю и моей личной чести. Предлагаю вам назвать моих, как вы говорите, любимцев, и если между ними найдется хоть один, который может похвалиться чем-либо большим, нежели просто милостивое отношение королевы к своему подданному, то попрошу вас назвать этого человека королю и просить расследовать дело. Да, благодарение Богу! У меня есть друзья, которые уважают меня и готовы положить за меня жизнь, но никто и никогда не посмеет утверждать, что у Марии Антуанетты когда-нибудь был любовник! Мой единственный возлюбленный — король, мой супруг, и, с Божьей помощью, единственным он и останется. Я имела счастье внушить любовь своему супругу, и вот это-то мне и не могут простить благородные принцессы, мои тетки, граф Прованский и весь двор. Да, король простил своей жене, что она — австриячка, что ее

навязала ему политика его предшественника, и полюбил ее, а я приняла его любовь. Король любит меня, вот почему я ему ближе, чем его тетки, вот почему я — его советчица и первое доверенное лицо. И этого мне никогда не простят. Да, прошло время, когда король благосклонно слушал жалобы мадам Аделаиды на то, что я нарушаю правила этикета; когда мадам Луиза надеялась раздавить меня своими добродетелями, а графу де Ламарш было дозволено обвинять королеву за то, что она со своими статс-дамами ходила в парк смотреть восход солнца. Теперь король уже не слушает советов мадам Аделаиды. Я знаю, что граф Прованский сочиняет эпиграммы и памфлеты на свою невестку, на свою королеву, и распространяет их по всему Парижу. Знаю, что в его салонах собираются все враги Марии Антуанетты и что там точат на меня оружие. Но берегитесь, как бы это оружие не обратилось против вас самих! Это вы вредите государству, вы колеблете королевский трон! Ведь вы показываете французскому народу, что для вас более нет ничего святого, что можно кидать грязью в королевский трон! Вы сами хороните монархию, забывая то, что, преследуя австриячку, вы преследуете королеву, и что вы — ее подданные! Поэтому вы — преступники, вы — изменники!

— Мадам! — воскликнула принцесса. — Мадам, каким языком вы говорите!..

— Языком женщины, защищающейся против клеветницы! — ответила королева. — Языком, каким королева должна говорить со своей подданной! Нет, будьте любезны, не отвечайте мне! Больше нам не о чем говорить. Прощайте, карета уже ждет меня. Обещаю вам не рассказывать королю об этом новом оскорблении; обещаю вам забыть его и простить.

Мария Антуанетта слегка наклонила голову и с гордым спокойствием вышла из комнаты.

Принцесса Аделаида смотрела ей вслед с выражением глубокой ненависти и даже до того забылась, что погрозила рукой в сторону той портьеры, за которой скрылась благородная фигура королевы.

— Я-то уж не забуду и не прощу, — пробормотала она, — я отомщу этой дерзкой женщине, которая смеет грозить мне, противодействовать мне и называть себя моей государыней, повелительницей! Австриячка — повелительница французской принцессы крови? Мы ей покажем, где границы ее власти и границы Франции!

Королева покинула принцессу с гордо поднятой головой, но, очутившись в другой комнате, со стоном опустила на стул, и слезы ручьем полились из ее глаз.

— Ах, Кампан, Кампан, что только пришлось мне выслушать! — горестно воскликнула она. — В каких выражениях смеют эти люди обращаться к королеве Франции!

Мадам Кампан, первая камер-фрау Марии Антуанетты, поспешно подошла к ней и, опустившись пред нею на колени, прижала ее безжизненно повисшую руку к своим губам, после чего прошептала своим кротким голосом:

— Ваше величество, вы плачете? Разве вы хотите дать принцессе случай узнать, что ей удалось заставить королеву Франции плакать и портить слезами свои прекрасные глаза?

— Нет, этого удовольствия я ей не доставлю,— быстро справившись, сказала королева,— она хотела оскорбить меня, но я вернула ей ее оскорбление.

— Ваше величество изволили оскорбить принцессу? — испуганно повторила мадам Кампан.

— Да,— с торжествующим выражением подтвердила Мария Антуанетта,— я оскорбила ее, чтобы напомнить ей, что я — королева Франции, а она — моя подданная. Я сказала ей, что, клеветая на королеву, она становится государственной изменницей.

— О, Боже! Боже! — воскликнула мадам Кампан.— Этого она никогда не забудет вам! С этих пор она будет непримиримым врагом вашего величества и ничем не пренебрежет, чтобы вам отомстить!

— Пусть мстит! — сказала королева, лицо которой уже начало проясняться.— Я не боюсь ни ее, ни ее сообщников; любовь моего мужа и моя ненависть защитят меня. Да и что она может сделать мне? Только клеветать на меня! Никто не поверит ее лжи.

— Ваше величество не знаете, как зол свет,— с печальным вздохом возразила мадам Кампан,— ваше величество полагаете, что добрые люди не могут быть трусами, а низкие — отважными, и не подозреваете, что дурным людям очень легко дурно настроить общественное мнение, тогда как людям честным часто не хватает мужества бороться с этим. Общественное мнение — это чудовище, которое и судит, и наказывает: оно сильнее целой армии, неумолимее смерти.

— Я не боюсь его,— гордо сказала Мария Антуанетта,— оно так же опустит предо мною голову, как лев пред непорочной девственницей. На мне нет никакой вины; я была верна королю даже тогда, когда он еще не любил меня; как же я могла бы изменить его любви теперь, когда он — отец моих детей?.. Ну, довольно об этом! Пойдемте, Кампан, королева должна поскорее перерядиться в счастливую женщину!

Камер-фрау, вздыхая и качая головой, последовала за королевой в уборную.

— Долой эти королевские уборы! — сказала Мария Антуанетта, поспешно снимая пышную робу. — Дайте мне белое платье и газовый платок!

— Ваше величество, вы опять желаете появиться в простом ситцевом костюме? — со вздохом спросила мадам Кампан.

— Разумеется, ведь я отправляюсь в свой милый деревенский Трианон! Знаете, Кампан, король обещал мне целую неделю проводить со мной всякий вечер в Трианоне среди природы и уединения; значит, король целую неделю будет королем только до полудня, а после полудня будет превращаться в мельника в деревне Трианон! Видите, мне необходимо надеть простое бумажное белое платье, хотя мадам Аделаида и упрекает меня за мои костюмы и даже поддержала жалобы лионских фабрикантов шелка, уверяя, что я ношу и ввожу в моду белые бумажные материи и только для того, чтобы поддержать австрийскую торговлю и сделать удовольствие своему брату, императору Иосифу. Ну, скорей, Кампан, мое белое платье!

— Прошу прощения, ваше величество, но я должна позвать обеих камер-юнгфер при гардеробе.

— Боже мой, Кампан! Неужели я всегда должна носить эти цепи? Разве вы не можете сами одеть на меня платье?

— Гардеробные дамы не простили бы мне этого, ваше величество; уж разрешите позвать их!

— Ну, делайте, как хотите! Я за все вознагражу себя в Трианоне! — со вздохом сказала королева.

Через четверть часа она вышла из своих покоев совершенно преобразенная: белое платье с воланом не скрывало ее стройных форм; вместо неуклюжего, длинного корсажа со шнипом, на ней был легкий сборчатый лиф, опоясанный голубым шарфом, концы которого грациозно свешивались с левого бока. Широкие рукава, обшитые узкими кружевами, и газовая косынка, накинутая на плечи, не скрывали красоты ее изящных белых рук и шеи. Огромная прическа уступила место локонам, падавшим на красивый, твердый затылок и благородные плечи. Королева несла на руке, на широкой голубой ленте, большую круглую соломенную шляпу. Вместо перчаток на ней были черные ажурные митенки. С раздумывавшимся лицом, горящими глазами и очаровательной улыбкой на губах, олицетворяя собою веселость, невинность и легкомыслие, Мария Антуанетта вышла в гостиную, где ее уже ждала герцогиня Полиньяк, бывшая в совершенно таком же костюме.

— Идемте, Жюли! — воскликнула королева, взяв герцогиню под руку. — Покинем этот мир и отправимся в рай!

— Ах, я боюсь рая! — со смехом ответила молодая женщина. — Я боюсь змея, но больше за свою обожаемую королеву, чем за себя!

— Боже мой, Жюли! — вздохнула королева. — Зачем вы все зовете меня этим титулом, когда мы одни? Нас никто не слышит, забудьте же хоть немножко этикет.

— Ваше величество, — смеясь, возразила герцогиня. — Ведь мы в Версале, а стены здесь имеют уши.

— Правда! — воскликнула королева. — Это извиняет тебя. Пойдем же скорее, Жюли, пойдем туда, где нас будут слышать природа да Господь Бог!

Они вышли из дворца по маленькой боковой лестнице. Королева легко впорхнула в ожидавший их экипаж и радушно протянула подруге руку, чтобы помочь ей.

— Скорее! — крикнула она кучеру. — Мчитесь, словно у лошадей есть крылья! Я хотела бы лететь!

III

Трианон

Горячие кони действительно летели, как птицы. Когда экипаж остановился у решетки Трианона, королева выпрыгнула из него легче газели, как молоденькая девушка, у которой еще нет ни забот, ни печалей, и прежде чем лакей успел распахнуть перед нею обе половинки ворот, она быстро скользнула в калитку.

— Вебер, — сказала она почтительно склонившемуся перед ней камердинеру, говоря тем мягким немецким языком, которым известно австрийское произношение, — вам не для чего провожать нас. Воспользуйтесь свободой, как мы пользуемся ею. Если встретите его величество, скажите, что я пошла к мельнице и, если его величеству угодно, буду ожидать его там. Пойдем, Жюли, теперь я, слава Богу, не королева, а такая же простая смертная, как и все. Посмотри, дорогая, как все здесь ясно и свободно от земного праха! Здесь даже небо другого цвета: оно сине и ясно, как глаз Божий.

— Вы, ваше величество, на все смотрите особенными глазами, — смеясь, сказала герцогиня Полиньяк.

— Опять «ваше величество»! Так ты меня вовсе не любишь? Зачем ты зовешь меня этим холодным именем?

Герцогиня нежно поцеловала Марию Антуанетту.

— Прошу помиловать меня и обещаю ни единым словом не нарушать мечтаний моей дорогой подруги в этом ее раю. Вы простили меня, Мария?

— От всей души, Жюли! А теперь смотри, наш домик уже виднеется вдаль. Побежим туда! Кто скорее? Если ты прибежишь первая, я дам тебе то место в моей швейцарской гвардии, которого ты просила для какого-то офицера. Ну, начинай! Раз!..

— Нет, Мария, — возразила герцогиня, — так нельзя: если вы прибежите первая, то что же я дам вам?

— Поцелуй, сердечный поцелуй, Жюли! Ну, вперед! Раз, два, три!

Королева помчалась по аллее. Шляпа свалилась ей на затылок, голубые ленты развевались по ветру, и если бы принцесса Аделаида или гофмейстераина ее величества видела ее в эту минуту, они пришли бы в ужас. Сама же королева вовсе не думала о неловкости своей выходки.

— Скорее, скорее! — кричала она и скоро оставила далеко за собой свою подругу. Когда дворец был уже совсем близко, она остановилась и, вернувшись к герцогине, сказала: — Не старайся, Жюли, я во всяком случае выиграла.

— Да я и не хотела выиграть, — ответила герцогиня, — чтобы не показаться корыстной. — Вы поступили несправедливо, Мария Антуанетта: вы так хотите, чтобы никто в Трианоне не помнил, что вы — королева Франции, но сами не забываете этого, потому что назначили со своей стороны огромный приз, а с моей — ничтожный. Вы сами заставили меня проиграть, Мария! Ведь вы знаете, что я не корыстна.

— Знаю и потому я так люблю тебя, Жюли. Прости меня, дорогая, я была неправа! Теперь заплати же мне свой проигрыш — поцелуй.

— Только не здесь, Мария! Все двери и окна открыты, и все общество уже собралось. Мне будут слишком завидовать!

— Пусть завидуют! Пусть все знают, что Жюли де Полиньяк — моя лучшая, любимейшая подруга, что после мужа и детей я люблю ее больше всех на свете, — и, обвив руками шею герцогини, королева нежно поцеловала ее.

— Видели? — спросил барон де Безанваль Адемара, с которым играл в триктрак в салоне. — Королева изображает картину нежной дружбы.

— Я желал бы видеть эту группу высеченной из мрамора, — улыбаясь, ответил Адемар, — это дополнение к Оресту и Пилладу.

— Но которая же из двух служит дополнением к Пилладу, преследуемому фуриями и змеями? — спросила из-за своих плеч мадам де Марсан.

— Конечно, королева, — воскликнул граф де Водрейль, сидевший за клавесином и разбиравший новое музыкальное произведение, — королева — это Орест в юбке; фуррии — это три тетушки-принцессы, а змеи — простите меня, мадам! — змеи — это все парижские дамы, кроме вас, здесь присутствующих.

— Вы злы, граф, — сказала мадам де Марсан, — если бы нас здесь не было, то вы и нас причислили бы к змеям?

— Если бы я причислил вас к змеям, то для того, чтобы меня изгнали из рая вместе с вами, — смеясь, ответил граф. — Но тише! Идет королева!

Мария Антуанетта вошла с раздумывавшимся от бега лицом, со спутанными волосами, со сбившейся набок шляпой! Нет, это была не королева, а только Мария Антуанетта, веселая молодая женщина, которая ввела здесь у себя обычай, чтобы никто не вставал при ее появлении и не прекращал своих занятий: игр, вышивания или других работ. Только граф де Водрейль поднялся со своего стула, потому что королева обратилась к нему.

— Что вы играли, граф? — спросила Мария Антуанетта.

— Прошу снисхождения, — с легким поклоном ответил граф, — тонкий слух вашего величества, конечно, уже угадал композитора; это совсем новое произведение, и я позволил себе переложить его в четыре руки, так что, если ваше величество пожелали бы...

— Давайте! — перебила Мария Антуанетта. — Попробуем сейчас же! — Она нетерпеливо сдернула с нежных, белых рук черные митенки и села рядом с графом на приготовленный уже стул, но тотчас же боязливо спросила: — Только не слишком ли это трудно для меня?

— Для королевы Франции нет ничего трудного!

— Но для дилетантки Марии Антуанетты очень многое трудно, — вздохнув возразила королева. — Однако попробуем!

Она легко и искусно заиграла басовую партию; но, чем дальше продолжалась музыка, тем серьезнее становилось ее лицо; в глазах светилось одушевление, щеки побледнели. Вдруг посреди страстной мелодии она замолкла и взволнованная поднялась с места.

— Только Глюк мог написать это! — воскликнула она. — Это божественная музыка моего великого учителя.

— Ваше величество — положительно великая музыкантша! — с удивлением сказал де Водрейль. — Вы идеальная ученица великого маэстро. Да, это написал Глюк, это увертюра к его новой опере «Альцест». Он прислал ее из Вены, чтобы я представил ее на усмотрение вашего величества и чтобы чудные звуки снискали автору покровительство королевы.

— Звуки говорили не с королевой, они говорили ее сердцу, — тихим, растроганным голосом возразила Мария Антуанетта. — Это для меня привет с моей родины, как и привет от моего учителя, величайшего композитора Европы. Но Глюк не нуждается ни в чьем покровительстве. Благодарю вас, граф, вы доставили мне большую радость. Но с той минуты, как я узнала, что это произведение создано гением Глюка, я уже больше не решаюсь играть его без подготовки, потому что испортить его произведение, хотя бы только одной неверной нотой, считаю оскорблением величества. Теперь же, дорогие гости, пойдете на ферму, где, надеюсь, мы встретим короля. Господа, приглашайте дам!.. Мы отправимся на ферму, кто с кем хочет и разными путями.

Все мужчины бросились к королеве, желая получить честь сопровождать ее; она поблагодарила их и подала руку старшему из них, барону де Безанваль.

— Мы пойдем через английский парк, — сказала королева, когда они вышли в сад, — я велела проложить через него новую дорожку, которая приведет нас прямо на ферму... Но кто идет там? — и она указала рукой на высокую, стройную мужскую фигуру, появившуюся на террасе.

— Это герцог де Фронсак, ваше величество!

— Ах, Боже мой! Он, наверное, опять пришел жаловаться, и опять начнется неприятное разбирательство!

— Угодно вашему величеству, чтобы я отослал его, сказав, что здесь ваше величество не даете аудиенции?

— Ах, нет! — вздохнула королева. — Он принадлежит к числу моих врагов, а со своими милыми врагами мы должны обращаться в сто раз любезнее, чем с друзьями.

Фронсак подошел с почтительным поклоном и произнес:

— Я пришел просить у вашего величества аудиенции.

— Вы уже получили ее и притом очень торжественную: мы находимся в тронном зале Самого Господа Бога, а балдахином служит небесный свод. Итак, герцог, что привело вас ко мне?

— Государыня, я пришел жаловаться!

— На меня, конечно? — с гордой улыбкой сказала королева.

— Я пришел жаловаться и отстаивать свои права, — продолжал герцог. — Его величество король милостиво назначил меня генерал-интендантом всех королевских театров и поручил мне надзор за ними.

— Меня это несколько не касается, — прервала королева, — это ваше дело.

— Но, ваше величество, есть один театр, который ускользает из моего ведения, и я вынужден настоятельно просить, чтобы этот королевский театр был также вверен мне и находился под моей ответственностью.

— Не понимаю, о каком новом театре вы говорите? — холодно сказала королева.

— Я говорю о Трианоне, о новом театре вашего величества! В нем есть постоянная сцена, как во всех театрах, в нем дают комедии и водевили; как главный зритель за всеми королевскими театрами, я обязан смотреть и за этим театром.

— Вы забываете одно, герцог, что Трианон мой и этот театр мой. Здесь я — хозяйка: его величество подарил мне этот клочок земли, чтобы здесь королева Франции могла пользоваться полной свободой. В Трианоне властвую я одна.

— Ваше величество,— упрямо возразил герцог,— мы все обязаны повиноваться королю, даже там, где королева не делает этого; поэтому и в Трианоне я остаюсь всеподданнейшим слугой его величества и исполнителем его законов.

— Вы можете никогда не появляться в Трианоне! — с гневом воскликнула Мария Антуанетта.— Таким образом ваша чересчур чувствительная совесть не будет мучить вас. Даю вам позволение никогда больше не посещать Трианона!

— Но так как здесь ставят пьесы...

— Герцог, здесь ставлю их я, королева, и играю вместе с принцами королевского дома, и там, где мы играем, вам не приходится простираť свой надзор. Я здесь — хозяйка, и мои развлечения и удовольствия не подлежат ничьему надзору.

— Ваше величество,— холодно возразил герцог,— есть некто, кто наблюдает за вашими развлечениями и кто будет на моей стороне: это общественное мнение.

Он поклонился и, не дожидаясь, чтобы королева отпустила его, направился обратно к террасе замка.

— Наглец,— прошептала королева, глядя ему вслед с бледным лицом и горящими глазами.

— Он честолюбец,— сказал Безанваль,— он рискует своим положением и даже жизнью, чтобы только попасть в кружок вашего величества.

— Нет! — с жаром возразила королева.— До меня лично ему нет никакого дела! Это тетки его величества настроили его против меня, чтобы вредить и оскорблять меня. Но оставим это! Оглянитесь, барон! Разве здесь не- хорошо, разве я не могу немножечко гордиться этим своим созданием? Это — мой любимый английский сад.

Сад был действительно созданием самой королевы и представлял удивительный контраст со строгими подстриженными изгородями, прямыми аллеями, симметрично расположенными цветочными клумбами и тщательно обнесенными каменными стенками, прудами и ручейками, какие встречались в Версале и в прочей части Трианона. В английском саду не было ничего искусственного; здесь царила природа.

Лицо королевы снова прояснилось, ее глаза засияли обычным огнем.

— Ведь здесь хорошо, не правда ли? — повторила она.

— Хорошо везде, где находится ваше величество, — сказал барон почти нежным тоном.

Королева не обратила на это внимания. Могла ли она заподозрить этого сорокапятилетнего человека с седеющими волосами, которого ради этого и выбрала своим кавалером?

— Ах, — сказала она с очаровательной улыбкой, прислушиваясь к пению птички, — мне кажется, что сама природа приветствует меня, а мне часто чрезвычайно необходимо слышать ласковые, приветственные голоса. Сегодня я пережила уже так много горького, барон, что песенка этой птички явилась как бы бальзамом для моего сердца.

— Ваше величество были в Париже? — нерешительно спросил Безанваль, бросив на огорченное лицо королевы испытующий взгляд своих умных черных глаз.

— Да, — снова просветлев, сказала Мария Антуанетта, — и добрые парижане приветствовали супругу своего короля и мать детей Франции с огромным энтузиазмом.

— Нет, ваше величество, — вспыхнув, возразил барон, — они приветствовали с диким энтузиазмом прекраснейшую женщину, обожаемую королеву, мать всех страждущих.

— Но и в эту радостную мелодию замешался диссонанс, — задумчиво сказала королева. — Поверьте, Безанваль, не все идет так, как следует; есть что-то такое в воздухе, что наполняет мое сердце тревогой и страхом. Я чувствую, словно над моей головой занесен Дамоклов меч, и мои руки слишком слабы, чтобы удержать его.

— Горе государственным изменникам, горе преступникам, осмеливающимся поднять меч на королеву! — с жаром воскликнул Безанваль.

— Горе им, но горе и мне, — с кроткой печалью сказала Мария Антуанетта. — Сегодня у меня было бурное объяснение с принцессой Аделаидой; она явилась герольдом, возвещающим мне начало боевого турнира.

— Она опять осмелилась делать упреки вашему величеству? Но откуда берут эти люди свои отравленные стрелы, чтобы уязвлять благороднейшее и прекраснейшее в мире сердце?

— Они берут их из своей зависти, из ненависти к австрийскому дому, из ревности к королю. Они делают из мухи слона, из крошечного камешка — скалу. Ах, друг мой, сегодня я так много выстрадала! — со слезами добавила королева. — Конечно, я не могу жаловаться королю, потому что не хочу быть причиной его разлада с семьей; но вы — друг мне, и я верю в вашу искреннюю дружбу и в благородство ваших мыслей.

Итак, скажите мне вы, так хорошо знающий свет, такой опытный, — разве я поступаю дурно, живя так, как я живу? Разве тетки короля правы, вменяя мне в преступление то, что я также хочу иметь радости в жизни, разве прав граф Прованский, считая преступлением то, что я даю советы королю? Разве я осуждена стоять пред лицом народа и всего двора, как какая-то ненужная статуя? Неужели королева не имеет права чувствовать, любить, ненавидеть, как всякое живое существо? Отвечайте, Безанваль! Говорите, как подобает честному, прямодушному человеку, и помните, что Бог слышит вас!

— Пусть Он слышит меня! — торжественно произнес барон. — Для меня нет ничего важнее, как чтобы ваше величество слышали меня. Нет, принцессы не правы: они смотрят на все глазами василиска, они завидуют и видят все в неправильном освещении. При дворе своего родителя они видели порок, обремененный в покровы добродетели, бесстыдство, наряженное в одежду невинности; поэтому они не верят в добродетель. Граф Прованский также не прав, ставя в упрек вашему величеству любовь короля, обожающего свою супругу, подобно простому смертному, и слушающему ее советы. Ваши политические мнения расходятся с его мнениями, да и расположение короля к его супруге отодвинуло его родственников на задний план. Между тем они — французские принцы, а ваше величество — австриячка и друг герцога Шуазеля, — вот и все ваши преступления. Ваше величество, вы не выиграли бы в глазах врагов даже и тогда, если бы жили так, как требуют столетия запыленные книги придворного этикета; поэтому было бы безумием уступить и осудить себя на одиночество и скуку. Вашему величеству ставят в вину уничтожение парадных собраний, видя в этом причину падения народного почитания королевской власти! Но ведь смешно думать, что почитание народа зависит от числа скучнейших часов, проведенных королевской семьей среди скучных, замороженных этикетом придворных! Нет, государыня, не слушайте шипения змей и мужественно продолжайте свой путь: это путь невинности, простодушия и любви.

— О, благодарю вас, благодарю вас! — воскликнула Мария Антуанетта. — Вы избавили меня от жестоких сомнений и успокоили меня. Благодарю вас! — и она с сияющими глазами и нежной улыбкой протянула Безанвалю обе руки.

Он крепко сжал их в своих и, бросившись на колени, прильнул губами к этим нежным, белым рукам, после чего страстно воскликнул:

— О, моя королева, моя владычица! Вы видите у своих ног вашего преданнейшего раба! Приношу вам клятву в вечной

преданности и любви! Вы осчастливили меня своим доверием, вы назвали меня вашим другом... Но моя душа, мое сердце пламенно жаждут другого имени... Скажите это слово, Мария Антуанетта...

Королева отшатнулась, побледнев, как смерть. На ее лице выразился ужас, затем его сменило презрение.

— Барон,— сказала она с чисто королевским величием,— я только что говорила вам, что нас слышит Господь. Он слышал ваши преступные слова, пусть Он и наказывает вас. Встаньте! Король не должен узнать о поступке, который навсегда лишил бы вас его милостей. Если же вы хоть одним взглядом, одним словом намекаете на то, что произошло, король все узнает... Идите вперед, я приду одна.

Опытный светский человек, искусный царедворец почувствовал себя смущенным, пристыженным. Этого еще никогда не бывало с ним; он не находил слов. Молча поднявшись с колен, он неловко поклонился и пошел по дорожке, указанной ему королевой.

— Я потеряла еще одну иллюзию,— с горькой улыбкой сказала Мария Антуанетта,— и опять я одна! Неужели для меня нет подруги, которая не обратилась бы в завистницу, нет друга, который не обратился бы в обожателя? Даже этот человек, которого я уважала, на которого смотрела, как ученица на учителя,— даже он осмелился оскорбить меня!

Она со стоном закрыла лицо руками, и горькие слезы полились из ее глаз.

Кругом было тихо; только раздавалось в густой листве пение птички, искавшей в тени прохлады от жгучего августовского солнца, да тихонько шептались деревья, тронутые легким ветерком, да цветы склоняли друг к другу головки, точно хотели рассказать про слезы и скорбь королевы; но эти слезы падали на цветы, не освежая их: ведь это была не небесная роса, а слезы земной скорби.

— Довольно слез! — сказала наконец королева. — Что скажут мои гости, если заметят, что веселая и беззаботная королева проливает слезы? О, Господи, в один сегодняшний день я заплатила страшные проценты за свое счастье. Сохрани мне главное, чем живет мое сердце! Тогда я мужественно буду платить за него свету!

Она гордо подняла голову и направилась к ферме, своей маленькой Аркадии, своему раю. Она сама, с помощью архитектора Робера, создала этот идиллический уголок, возникший среди пышного блеска двора, подобно скромной фиалке, попавшей среди роскошных, ярких тропических цветов в раззолоченную вазу на королевском столе.

Ферма состояла из нескольких деревенских домиков, теснившихся один к другому; позади них мирно журчал ручеек,

приводя в движение колесо маленькой мельницы, стоявшей на самом краю небольшой поляны. Рядом с нею виднелся домик, крытый соломой, обвитый диким виноградом и обсаженный цветами. Это был домик фермерши, Марии Антуанетты. Королева сама делала для него планы и рисунки. Она пожелала, чтобы это был маленький, простой, скромный домик, чтобы он не казался новым, и позаботилась придать ему вид жилища, уже пострадавшего от времени. Рядом с этим домиком помещалась молочная; когда Мария Антуанетта и другие «крестьянки» доили на лужайке коров, то приносили молоко в белых ведрах с серебряными дужками через всю «деревню» в молочную, где на белых мраморных столиках разливали его в красивые белые чашки.

На другой стороне улицы возвышался красивый дом старшины; рядом с ним находилось жилище школьного учителя.

— А все-таки хорошо жить на свете, — сказала королева, окинув радостным взглядом свое создание, и быстро пошла вперед, поглядывая на окна домиков, не видно ли кого из крестьян и крестьянок, ожидающих свою фермершу.

В это время мельничное колесо пришло в движение, а на пороге мельницы показалась упитанная фигура мельника в белом костюме и с обсыпанным мукой лицом. Королева радостно вскрикнула и побежала к мельнице.

Но не успела она добежать до цели, как из своего дома вышел деревенский мэр в черном одеянии, с большим белым галстуком на шее, с испанской тростью с золотым набалдашником в руке и в черной треугольной шляпе. Он раскинул руки и с угрожающим видом преградил ей дорогу.

— Госпожа фермерша, — сказал он, — мы все очень недовольны вами! Вы пренебрегаете своими обязанностями, и мы привлечем вас к ответственности за то, что вы являетесь так поздно. Все цветы уже повесили головки, соловьи перестали петь, а овцы не хотят есть даже самую лучшую траву. Все хозяйство гибнет, когда вас нет!

— Это неправда! — прозвучал веселый голос, и из распахнувшегося окна школьного дома выглянул веселый, юный учитель и погрозил розгой строгому и важному мэру.

— Как он может утверждать, что все хозяйство гибнет, когда я здесь? — сказал он. — С тех пор, как умнейшие люди отказались у меня учиться, я сделался учителем домашних животных и занимаюсь этим делом так, чтобы оно доставляло мне удовольствие. Я преподаю танцы козлам и учредил балетную школу для козлят.

Мария Антуанетта громко расхохоталась.

— Господин школьный учитель, — сказала она, — я страстно желаю увидеть доказательство вашего умения; поэтому приглашаю вас дать нам сегодня представление с вашей ба-

летной школой на большом лугу. А вас, господин мэр, я прошу не быть таким строгим к фермерше и иметь снисхождение.

— Разве моя дорогая невестка нуждается хоть когда-нибудь в снисхождении?— с пафосом воскликнул мэр.

— О, граф! — со смехом возразила королева. — Вы вышли из своей роли и забыли два обстоятельства: первое — что здесь я — не королева, и второе — что всякая лесть в Трианоне строго запрещена.

— Вы сами виноваты, если правда звучит лестью, — с легким поклоном возразил граф Прованский.

— Вот ответ, достойный ученого! — воскликнул «школьный учитель», граф д'Артуа. — Брат, ты не знаешь даже азбуки в науке любезностей. Ты непременно должен поступить ко мне в учение.

— О, я уверен, брат Шарль, что мог бы многому научиться у тебя, — засмеялся граф Прованский, — только не знаю, осталась ли бы довольна этими уроками моя супруга!

— А вот мы спросим ее, — сказала королева. — До свидания, дорогие братья, я тороплюсь поздороваться со своим милым мельником.

Она быстро взбежала на деревянную лесенку, ведущую на мельницу, и обвила руками шею мельника, а он, крепко прижав ее к своему сердцу, увлек ее во внутрь.

— Благодарю тебя, Людовик! — воскликнула королева, целуя руку мужа. — Какой прелестный сюрприз ты мне устроил!

— Разве ты не говорила, что тебе хочется этого маскарада? — весело ответил король. — Здесь все делается по приказу королевы, так не удивляйся, что мы покорно исполнили роли, которые ты сама распределила между нами.

— О, Людовик, как ты добр! — со слезами на глазах сказала королева. — Ведь я знаю, что все эти игры не доставляют тебе удовольствия, но ты все-таки принимаешь в них участие!

— Все потому только, что я люблю тебя, — просто ответил король, и счастливая улыбка скрасила его широкое, добродушное лицо. — Да, Мария, я люблю тебя, и мне доставляет большую радость доставлять тебе удовольствие.

Королева нежно прислонилась головой к груди мужа.

— Даря мне Трианон, Людовик, ты сказал мне: «Вы любите цветы, я дарю вам целый букет!» Мой дорогой государь, вы не только букет цветов подарили мне: вы мне подарили целый букет счастливых часов, счастливых лет, которыми я обязана только вам, вам одному!

— Пусть же этот букет никогда не завянет, Мария, — произнес король, поднимая к небу набожный, молящий взор и кладя руку на голову своей жены, словно благословляя ее. —

Однако, госпожа фермерша,— после некоторого молчания прибавил он,— вы заставили меня позабыть свою роль: колесо остановилось, потому что мельник не на своем месте. Вообще наша мельница не совсем в порядке, и мне придется приложить здесь к делу свои слесарные познания... Но что это за пение раздается на улице?

— Это крестьяне и крестьянки зовут нас,— смеясь, сказала королева,— покажемся им, господин мельник!

Они вышли на наружную лестницу, у подножия которой собрались мэр, учитель, крестьяне и крестьянки, которые хором пели:

Выше счастья нет нигде,
Как в родной своей семье.

На глазах королевы навернулись радостные слезы. О, как полны были счастьем часы, проведенные сегодня в Трианоне королевской четой! Они были так ярко озарены солнцем, что Мария Антуанетта совсем забыла тучи, омрачавшие утро.

Все обедали по-деревенски, потом гуляли по лугу, любуясь на пасущихся коров; потом фермерша подала подругам пример и принялась за работу: принесли ее прялку, и она уселась за пряжу. Быстро вертелось колесо прялки, подобно колесу счастья, приносящему сегодня радость, завтра — печаль. Колесо счастья уже повернулось, горе уже близилось, но Мария Антуанетта еще не знала этого; ее глаза еще светились счастьем, губы улыбались. Она сидела со всем своим обществом на берегу озера и удила рыбу, и радовалась, если ей удавалось поймать что-нибудь: ведь эта рыба должна быть подана на ужин, на который фермерша пригласила своего супруга и который она была намерена приготовить своими руками.

Король ушел на мельницу отдохнуть, но кто-то нарушил его покой. Вероятно, дело было очень важно, если рискнули сделать это; ведь все знали, что в Трианоне король бывает редко и, раз он там, его нельзя беспокоить делами.

Но сегодня его обеспокоили, и министр барон де Бретейль сам явился в Трианон, чтобы видеть мельника и попросить его на этот раз стать опять королем.

IV

Ожерелье королевы

Когда камердинер, переодетый помощником мельника, доложил о приезде министра, король немедленно удалился в свою комнату и переоделся в свой обычный костюм: короткие

панталоны, серый кафтан с серым атласным, вышитым золотом жилетом и орденом св. Людовика на небесно-голубой ленте.

Переодевшись, король с озабоченным и встревоженным лицом вошел в комнату, где его ждал его первый министр, барон де Бретейль, и воскликнул:

— Говорите скорее! Вы принесли мне дурные вести? Случилось что-нибудь неожиданное?

— Государь, — почтительно ответил министр, — случилось действительно нечто неожиданное; насколько оно может быть названо дурной вестью, покажет следствие.

— Следствие? — воскликнул король. — Значит, дело идет о преступлении?

— Да, государь, о позорном обмане и крупной растрате как денег, так и драгоценностей.

— Ах, вот что! — со вздохом облегчения сказал король. — Значит, дело касается только денег?

— Нет, государь, оно касается также чести ее величества. Людовик вскочил, и краска гнева залила его лицо.

— Неужели снова осмеливаются затрагивать честь королевы?

— Да, ваше величество, и на этот раз план задуман так тонко, что будет весьма трудно добиться истины. Ваше величество дозволите мне изъяснить дело несколько подробнее?

— Говорите, барон, говорите! — воскликнул Людовик, опускаясь на деревянную скамью и приглашая министра также сесть.

Бретейль поклонился и сел.

— Ваше величество, может быть, помните прекрасное ожерелье, которое несколько времени назад придворный ювелир Бемер имел честь предложить ее величеству?

— Помню; еще королева выказала при этом свойственные ей великодушие и бескорыстие.

— Всем известен благородный ответ, который ее величество дала своему супругу, желавшему подарить ей это ожерелье, — сказал Бретейль, — Париж с восхищением повторял ее слова: «Государь, у нас больше бриллиантов, чем кораблей; купите на эти деньги корабль».

— У вас хорошая память, — сказал король, — ведь это было пять лет назад.

— Я полагаю, государь, что после этого Бемер, несмотря на запрещение вашего величества, еще несколько раз беспокоил ее величество своим предложением продать ей ожерелье; по-видимому, он твердо решил, что в конце концов королева

купит его. Он несколько лет собирал по всей Европе бриллианты, подбирая камни, совершенно одинаковые по величине, весу и игре. Так как королева отказалась приобрести ожерелье за два миллиона франков, то под конец Бемер просил за него уже только один миллион восемьсот тысяч.

— Да, я слышал об этом,— сказал король,— и королеве надоели его предложения, так что она велела больше не принимать его.

— Да, государь, его перестали допускать в Версаль. Но две недели назад он прислал ее величеству письмо, в котором просил королеву не забывать ее придворного ювелира и выражал радость, что ее величество обладает самыми дорогими бриллиантами в Европе. Королева прочла это письмо своей камер-фрау, мадам Кампан, и сказала, что эти бриллианты, очевидно, свели бедного Бемера с ума. Письмо ее величество бросила в огонь. Это сообщила мне мадам Кампан, к которой я должен был обратиться для разъяснения дела.

— Да что же случилось с этим ожерельем и какое отношение может иметь к нему королева? — воскликнул король, вытирая кружевным платком пот со своего лба.

— Государь! Бемер уверяет, что продал ожерелье ее величеству, и требует уплаты.

— Королева права: этот человек сошел с ума!

— Государь, он уверяет, что ее величество приобрела ожерелье тайным образом, через третье лицо, выдав двести тысяч франков задатка и установив последующие уплаты по тридцати тысяч франков каждая.

— Кто же это доверенное лицо, его имя?

— Государь, это кардинал де Роган, состоящий при особе вашего величества.

Король вскрикнул и, вскочив с места, повторил:

— Роган? Кто осмелился соединять его имя с именем королевы, которая его терпеть не может? Полноте, Бретейль, эта сказка чересчур глупо задумана: никто не поверит ей!

— Однако, ваше величество, Бемер поверил и передал ожерелье кардиналу, после чего получил собственноручную расписку от ее величества. Все это он сообщил мне письменно, прибавив, что обратиться ко мне ему посоветовала мадам Кампан, так как я имею честь быть министром королевского двора. Обратившись к мадам Кампан, я узнал от нее такие важные сведения, что с ней вместе поспешил в Трианон, чтобы вы, ваше величество, могли немедленно выслушать ее показания. В Трианоне я узнал, что там только что был Бемер, и так как, по обыкновению, не был допущен к королеве, то ушел, плача и бранясь.

— Пойдемте! Я хочу переговорить с Кампан,— сказал король и поспешно вышел из комнаты.

Министр следовал за ним. Они прошли боковой дорожкой, минуя деревенскую улицу, чтобы не быть замеченными королевой.

— Кампан,— сказал король, входя в маленькую уборную королевы,— министр рассказал мне диковинную историю; повторите мне весь свой разговор с Бемером.

— Ваше величество, вы приказываете мне говорить, прежде чем об этом деле узнала королева? — спросила мадам Кампан с низким поклоном.

— Ах, вы видите, я был прав,— сказал король Бретейлю,— королеве ничего неизвестно, иначе она рассказала бы все мне. Слава Богу, у королевы нет от меня тайн. Я благодарен вам за ваш вопрос, Кампан! Конечно, лучше, чтобы ее величество присутствовала при нашем разговоре. Есть тут кто-нибудь из прислуги королевы? — крикнул король, распахнув двери.

Тотчас же прибежал камердинер.

— Вебер! — сказал ему король. — Бегите немедленно в Малый Трианон и попросите от моего имени ее величество королеву прийти сюда на четверть часа по важному делу, не терпящему отлагательства. Только смотрите, не испугайте ее величества, чтобы она не подумала, что получены какие-нибудь печальные вести от ее родных. Торопитесь! А теперь, барон,— прибавил он, обращаясь к министру,— вы должны своими глазами и ушами удостовериться, что королева так же мало знает об этом деле, как и я, и будет так же удивлена: я хочу, чтобы вы присутствовали при разговоре, но так, чтобы королева не подозревала о вашем присутствии. Это заставит вас тотчас же убедиться в дерзком и бесстыдном обмане. Куда ведет эта дверь, Кампан? — обратился король к камер-фрау, указывая на белую с золотым бордюром дверь, полузакрытую белыми атласными портьерами, затканными розами.

— В маленькую гостиную, государь.

— Войдите туда, Бретейль, а вы, Кампан, спустите портьеры так, чтобы министр мог все слышать, оставаясь не видимым для королевы.

Не прошло и четверти часа, как вошла Мария Антуанетта, взволнованная, с разгоревшимися щеками.

Король поспешил ей навстречу и, прижав ее руку к губам, произнес:

— Прости, Мария, что я потревожил тебя...

— Скорее скажите мне, в чем дело? — с нетерпением воскликнула королева. — Что случилось? Большое несчастье?

— Нет, Мария, но большая неприятность, которая может быть названа несчастием только потому, что твое имя оказывается замешанным в обмане: ювелир Бемер уверяет, что продал тебе бриллиантовое кольцо за миллион восемьсот тысяч франков.

— Но этот человек сошел с ума! — воскликнула королева.— Это все, что ваше величество желали сказать мне?

— Прошу тебя, выслушай Кампан, которая повторит свой разговор с Бемером!

— Что?! — воскликнула королева, только теперь заметившая Кампан, скромно отошедшую к стороне.— Что все это значит?

— Ваше величество, я приехала сюда, чтобы передать вам то, что сказал мне Бемер. Он уже был сегодня здесь.

— Да что же ему наконец нужно? Ведь вы говорили мне, Кампан, что он продал это несчастное ожерелье, с которым он все ждал меня столько лет,— султану в Константинополь?

— Я повторила вашему величеству то, что сам Бемер говорил мне; сегодня, когда ваше величество выехали в Трианон, он снова явился и спросил меня, не поручала ли королева передать что-либо ему. Я ответила, что ваше величество вообще не желаете иметь с ним никакого дела. «Но должен же я получить ответ на то письмо, которое писал королеве! — воскликнул он.— К кому же мне обратиться?» — «Ни к кому,— ответила я,— ее величество бросила ваше письмо в огонь, не читая».— «Это невозможно! — сказал он.— Ее величество знает, что должна мне большую сумму денег».

— Я должна ему? — с ужасом вскрикнула Мария Антуанетта.— Каким образом этот несчастный осмеливается утверждать что-либо подобное?

— Я сказала ему это, ваше величество, но он вполне убежденно ответил, что ваше величество должны ему полтора миллиона франков за ожерелье.

— Как! Опять это несчастное ожерелье? — сказала королева.— Кажется, этот человек сделал его только для того, чтобы мучить меня. Я уже целые годы слышу все про это ожерелье. Вполне понятно, что я всеми способами старалась вылечить несчастного от его мании продать свою работу непременно мне. Теперь он уже настолько помешался, что полагает, будто я действительно купила это ожерелье!

— Этот человек не помешан,— серьезно возразил король,— выслушайте до конца. Продолжайте, Кампан!

— Я стала смеяться над ним,— продолжала Кампан,— и напомнила ему, что он несколько месяцев тому назад уверял,

что продал ожерелье турецкому султану. Он возразил, что королева приказала ему говорить это всем, кто будет спрашивать о судьбе ожерелья, но что она действительно купила его через кардинала де Роган.

— Через кардинала де Роган? — закричала королева, вскочив с места. — Через человека, которого я ненавижу? Неужели во всей Франции найдется хоть один человек, который поверит этому?

— Я сказала Бемеру, что его обманули и что королева никогда не удостоила бы кардинала своего доверия. На это Бемер ответил мне вот этими самыми словами: «Вы сами обмануты; кардинал очень в милости и тайно видится с королевой; она настолько доверяет ему, что через него прислала мне тридцать тысяч франков в уплату долга. Она в присутствии кардинала вынула эти деньги из своего маленького бюро из севрского фарфора, которое стоит в ее будуаре, около камина». — «Это вам рассказывал сам кардинал?» — спросила я и, когда он ответил утвердительно, снова повторила, что его обманули. Бемер очень испугался и сказал, что на него уже напало сомнение, когда королева в Троицын день не явилась в его бриллиантах, между тем как кардинал сказал ему, что ее величество наденет их в этот день в первый раз. После того он и решился написать ее величеству. Я посоветовала ему обратиться к министру, барону де Бретейль, а сама поехала сюда. Оказалось, что он и сам явился сюда, и я обещала ему немедленно уведомить обо всем ее величество.

Королева слушала этот рассказ в совершенном оцепенении, неподвижная и безмолвная, как статуя, изображающая ужас. Потом яркий румянец залил ее щеки, ее глаза засверкали и, обращаясь к королю, она сказала громким и властным голосом:

— Вы слышали, государь? Вашу супругу смеют обвинять в тайных сношениях с кардиналом де Роган! Я требую строгого и внимательного расследования этого дела. Позовите скорее барона де Бретейль! Пусть он посоветует нам, что делать. Я настаиваю на том, чтобы это было сделано как можно скорее.

— Ваши слова — для меня закон, — ответил король, с любовью глядя на взволнованное лицо королевы. — Идите сюда, Бретейль!

— О, государь! — воскликнула Мария Антуанетта, увидав министра. — Вы, значит, не сомневались во мне?

— Ну на одну минуту, — улыбаясь, ответил король. — Теперь обсудим вместе с Бретейлем, что нам предпринять; пошлем также за аббатом де Вермон, чтобы он принял участие в нашем совещании.

На следующий день, пятнадцатого августа, в залах Версаля собралось самое блестящее общество. Был большой праздник, Успение Божией Матери, и королевская чета намеревалась со всем двором присутствовать на торжественном богослужении; обедню должен был служить сам кардинал де Роган.

Он также находился в числе собравшихся и в праздничном облачении, со всеми знаками своего достоинства, ждал только прибытия короля и королевы, чтобы сопровождать их в дворцовый храм. Красивое лицо кардинала, у которого было много поклонников и поклонниц, поражало сегодня каким-то сияющим выражением, а его большие черные глаза, пока он разговаривал с графом д'Артуа, не отрывались от двери, в которую должна была войти королевская чета. Эта дверь внезапно растворилась, пропустив королевского пажу, который, окинув зал беглым взглядом, протеснился через блестящую толпу и подошел к кардиналу.

— Монсиньор, — прошептал он, — его величество ждет ваше высокопреосвященство немедленно в свой кабинет.

Кардинал тотчас прекратил разговор, быстро перешел зал и скрылся в кабинете.

Там он нашел только короля и королеву, а в глубине комнаты, в амбразуре окна, стоял министр королевского двора, барон де Бретейль, старый, непримиримый враг гордого кардинала, намеревавшийся в этот один час отомстить ему за долгие годы высокомерного обхождения.

Кардинал вошел с уверенным, любезным выражением на красивом лице, но холодный кивок короля и сверкающие глаза королевы несколько смутили его, и веки его гордых глаз опустились.

— Это вы купили у Бемера бриллианты? — резко спросил король.

— Да, ваше величество, — ответил кардинал.

— И что вы сделали с ними? Отвечайте, я приказываю!

— Государь, — после короткой паузы произнес кардинал, — я полагал, что они переданы королеве.

— Кто поручил вам покупку?

— Одна дама, государь, по имени Ламотт Валуа. Она передала мне письмо от ее величества, и я полагал заслужить одобрение ее величества, взяв на себя поручение, которым ее величество удостоила меня.

— Я? — вскрикнула королева с выражением глубочайшего презрения. — Я дала поручение вам, которого в течение восьми лет не удостоила ни единым словом!

— Теперь я вижу, — воскликнул кардинал, — что меня жестоко обманули. Я заплачу за ожерелье. Горячее желание услужить вашему величеству лишило меня способности видеть и рассуждать; я не заподозрил обмана и теперь горько разочарован. Я заплачу за ожерелье!

— И вы думаете, что этим все будет поправлено? — с гневом воскликнула королева. — Вы полагаете, что этой жалкой ценой вы окупите позор, который вы навлекли на свою королеву? Нет, я требую подробного расследования! Я настаиваю на том, чтобы все, принимавшие участие в этом позорном обмане, были привлечены к ответственности. Представьте доказательства того, что вы действительно сами были обмануты, а не обманывали сами!

— Ах, ваше величество! — воскликнул кардинал таким вызывающим и в то же время дружеским тоном, что королева задрожала от ярости. — Вот доказательства моей невинности, — продолжал он, вынимая из кармана бумажник, а из него — сложенный лист бумаги. — Вот письмо королевы к графине Ламотт, в котором ее величество поручает мне покупку ожерелья.

Король взял бумагу, прочел ее, взглянул на подпись, затем, презрительно пожав плечами, передал письмо королеве. Она набросилась на него с необузданностью тигрицы, наконец нашедшей свою добычу, и, быстро пробежав бумагу, разразилась громким, гневным смехом.

— Да ведь это — не мой почерк и не моя подпись! — воскликнула она, устремив пылающий взор в лицо кардинала и указывая на письмо. — Как же вы, принц и человек, занимающий такой высокий пост, можете быть так невежественны, чтобы поверить, будто я могу подписаться «Мария Антуанетта Французская»? Каждый знает, что королевы подписываются только своим именем; и вы один этого не знаете?

— Вижу, понимаю, — пробормотал кардинал, который под взглядом королевы побледнел как смерть и, шатаясь, прислонился к столу, чтобы не упасть, — я вижу, что допустил страшно обмануть себя.

Король взял со стола какое-то письмо и, протянув его кардиналу, спросил:

— Признаете ли вы, что написали это письмо ювелиру Бемеру, передавая ему от имени королевы тридцать тысяч франков, в виде задатка?

— Да, государь, признаю, — убитым голосом ответил кардинал.

— Он признает? — сказала королева, скрипнув зубами и сжимая свои маленькие руки в кулаки. — Он мог считать меня способной на такую низость, меня, свою королеву?!

— Вы утверждаете, что купили бриллианты для королевы? — продолжал король. — Вы передали их ее величеству?

— Нет, государь, это сделала графиня Ламотт.

— От вашего имени?

— Да, государь, от моего имени; она также передала королеве квитанцию в уплате ста пятидесяти тысяч франков, которые я одолжил королеве для покупки.

— И какую же награду получили вы от королевы?

Кардинал колебался; но, все еще чувствуя на себе холодный, гневный, презрительный взгляд Марии Антуанетты, он вдруг вспыхнул и, в свою очередь бросив на нее уничтожающий взгляд, произнес:

— Вы этого хотите, ваше величество? Я скажу всю правду! Государь, ее величество наградила меня за эту маленькую услугу по-королевски: она соблаговолила назначить мне свидание в Версальском парке.

При этом новом ужасном оскорблении королева громко вскрикнула и, прыгнув вперед, подобно львице, схватила своего супруга за руку и, сильно встряхнув ее, воскликнула:

— Государь, вы слышите этого государственного изменника, поносящего свою королеву? Неужели красная мантия может защитить преступника?

— Нет, не может и не должна! — крикнул король. — Бретейль, исполните свой долг, а вы, кардинал, осмеливающийся обвинять свою королеву, выйдите вон!

— Государь! — пробормотал кардинал. — Государь, я...

— Ни слова больше! — перебил король, указывая рукой на дверь. — Вон, говорю вам, вон!

Кардинал, шатаясь, направился к двери, отворил ее и снова очутился в зале, где, перешептываясь, смеясь и болтая, волновалась блестящая толпа придворных.

Вслед за кардиналом на пороге появился барон де Бретейль.

— Поручик, — громко обратился он к гвардейцу, стоявшему у дверей королевского кабинета, — именем его величества короля арестуйте кардинала де Роган и отправьте его под конвоем в Бастилию!

Всеобщий крик ужаса встретил эти слова, раздавшиеся, подобно удару грома, среди этой беззаботной толпы. Затем наступила мертвая тишина. Все взоры устремились на кардинала, который, без кровинки в лице, но с высоко поднятой головой гордо шел по зале. Молодой офицер, следовавший за ним с таким же бледным лицом, догнал его и, слегка прикоснувшись к его руке, с выражением глубокого горя сказал:

— Монсиньор, именем короля арестую ваше высокопреосвященство. Я имею приказание отвезти вас в Бастилию.

— Хорошо, сын мой,— спокойно ответил кардинал,— если такова воля короля, отправимся в Бастилию.

У самых дверей, которые офицер уже растворил пред ним, де Роган обернулся и благословил изумленную и испуганную толпу.

Придворные поспешили разнести эту новость по всему Парижу: король приказал арестовать кардинала, первое духовное лицо во всей Франции! Так захотела королева!

И, чем дальше распространялось известие, тем больше нарастало на нем клеветы, подобно снегу, нарастающему на катящуюся лавину.

— Проклятие австриячке! — гремел вечером этого дня Марат в своем клубе.— Она заняла у кардинала денег, чтобы купить себе бриллианты. Бриллианты, когда народ голодает! А когда кардинал захотел получить обратно свои деньги, она отрекается от долга и сажает князя церкви в Бастилию! Проклятие австриячке!

— Проклятие австриячке! — рычал сапожник Симон.— Мы припомним ей, что, в то время, когда у нас нет ни сантима на кусок хлеба, она тратит миллионы на свои бриллианты!

И все присутствовавшие в клубе мужчины потрясали кулаками, повторяя за Симоном:

— Проклятие австриячке!

V

Друзья и враги

Париж был возмущен. На всех площадях, на всех перекрестках собирались кучки народа, которому ораторы сообщали потрясающую новость.

— Кардинал де Роган,— кричал на одном углу францисканский монах,— недостойным, деспотическим образом лишен своих прав и свободы! Как высшая духовная особа, он не подлежит власти короля; на него можно жаловаться только святейшему отцу, римскому папе. Только святая церковь имеет право наказывать своих служителей, и никто до сегодня не осмеливался отнимать у нее ее права; между тем теперь хотят судить кардинала, как светского слугу короля, и притом за вину, в сущности вовсе не существующую, потому что дама, которую он считал за доверенное лицо королевы, сказа-

да ему, что королева желает купить бриллиантовое ожерелье, но у нее нет на это денег; это понятно, так как благодаря страшной расточительности королевы ее касса всегда пуста. Узнав, что королева желает, чтобы кардинал одолжил ей нужные деньги и купил бриллианты от ее имени, кардинал, как преданный слуга короля, поспешил исполнить желание королевы, чтобы она не обратилась к другому придворному и не скомпрометировала еще больше королевское имя.

— Пропади она пропадом, эта австриячка, эта королева бриллиантов! — закричал находившийся в толпе Симон, и сотни голосов повторили за ним:

— Пусть погибнет австриячка!

— Слушайте, слушайте, добрые парижане, слушайте, добродушные овечки, с которых шерсть дерут вместе со шкурой, чтобы австриячке мягче спалось! — кричал на другом углу визгливый голос. — Слушайте, что сегодня происходит в Париже! Я только что из парламента и могу вам прочесть слова, которыми король открыл сегодняшнее собрание.

— Прочтите, прочтите! — раздалось в толпе. — Тише там, дайте слушать!

— Боюсь только, что вы меня не поймете, — продолжал тот же голос.

В это время сквозь толпу протеснился высокий, широкоплечий, чисто одетый человек.

— Эй вы, маленький человечек! — закричал он. — Давай-те, я подниму вас на плечи, тогда все вас услышат! Ах, да это — Марат, наш друг Марат, маленький человек, но великий доктор!

— А вы — мой друг Сантерр, большой человек и еще более великий доктор, — ответил Марат, — потому что пиво, которое вы варите, гораздо лучше излечивает народ, чем все мои лекарства. Так вы хотите, мой друг, посадить Марата, эту уродливую обезьяну, к себе на спину, чтобы он мог сообщить народу важную новость?

Пивовар вместо всякого ответа схватил калеку на руки и сильным движением посадил его себе на плечо. Народ разразился бурными аплодисментами. Пивовар был очень популярен; хорошо знали и Марата, «лошадиного доктора», как он с насмешкой называл себя сам, «целителя бедности и горя», как называли его льстецы.

Повернувшись лицом к величественным громадам Тюильери, высившимся за деревьями сада, он погрозил королевскому замку кулаком и крикнул:

— Слышите ли, гордые земные боги, грозные раскаты грома царственной силы? Неужели они не заставят вас

пробудиться от вашего порочного сна, не заставят вас упасть на колени и молиться, подобно бедным грешникам пред казнью? Нет, вы ничего не видите, ничего не слышите, глухи ваши уши, закрыты ваши сердца! Вы предаетесь наслаждениям, не слушая голоса истины, глаголящей святыми устами народа!

— Да здравствует Марат! — заревела толпа. — Марат лечит бедных людей, которых калечат знатные господа! Марат — не знатный барин! Он не презирает народа!

— Друзья мои! — продолжал Марат. — Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы разумный человек предпочитал старому, ослабленному пороками, истощенному королю молодому, сильному, прекрасному наследнику престола? Этот наследник Франции — вы, народ французский, и настанет время, когда народ, прекрасный наследник престола, завладеет Францией! Но я взобрался на этот импровизированный трон, на плечи этого благородного гражданина для того, чтобы сообщить вам о новом бесстыдстве королевы, попирающей наши законы своими еще не уставшими от балов и ночных прогулок ногами! Хотите выслушать, какую бумагу прислал сегодня король в парламент по поводу случая с кардиналом де Роган?

— Хотим, хотим, читайте! — раздались голоса.

Марат вытащил из грудного кармана запачканный лист бумаги и громко прочел:

— «Мы, Божией милостью король Франции и Наварры, Людовик Шестнадцатый, — нашим возлюбленным и верно-подданным советникам, членам нашего парламента! До нашего сведения дошло, что ювелиры Бемер и Бассанж, без ведома королевы, нашей возлюбленной супруги, продали кардиналу де Роган, сказавшему им, что он действует по поручению королевы, бриллиантовое ожерелье ценою в миллион восемьсот тысяч франков, каковая сумма должна была выплачиваться в известные сроки. Вручив названное ожерелье кардиналу де Роган, упомянутые ювелиры не получили, однако, первого взноса, почему и обратились к самой королеве. Увидев со справедливым негодованием, что нашлись люди, позволившие себе злоупотребить уважаемым и дорогим для нас именем и осмелившиеся забыть уважение, которым обязаны королевскому величеству, мы сочли неизбежным арестовать вышеупомянутого кардинала, а вследствие сделанного им разъяснения и особу, именуемую Ламотт Валуа, которою он был обманут, и принять меры, дабы открыть виновников или соучастников злого покушения. Доводим все вышеизложенное до сведения судебной палаты нашего парламента, которая расследует дело и вынесет свой приговор».

— Каково послание? — воскликнул Марат. — Каково сплетение лжи, которым опутывает нас австриячка! Конечно, это она послала такое письмо в парламент. Ведь вы знаете, что у нас нет больше короля всей Франции: теперь вся Франция обращена в Трианон австриячки! На всех воротах, чуть ли не на всех домах стоит надпись: «От имени королевы!» Австриячка правит Францией, а простак-Людовик пишет себе все, что ей угодно ему продиктовать. Австриячка пишет, что желает найти соучастников этого преступления! Лучше бы она старалась, чтобы их не нашли, потому что соучастница — сама она! Ламотт Валуа только таскала для нее каштаны из печки. И так бывает всегда: короли грешат безнаказанно, а другие за них расплачиваются; но что в этом случае расплачиваться должен кардинал, высшая духовная особа во Франции, состоящая при особе короля и заведующая раздачей милостыни из королевской казны, — доказывает, что дерзость австриячки дошла до крайности. Она растоптала ногами стыд, совесть, нравы, а теперь собирается растоптать церковь!

— Тише! — закричали вдруг в толпе. — Карабинеры едут! Замолчите, Марат! Мы не хотим, чтобы все наши друзья попали в Бастилию!

Действительно со стороны Тюильери приближался отряд карабинеров, но, прежде чем они подъехали к толпе, Марат с помощью Сантерра спустился на землю и затерялся среди своих слушателей.

Следствие о бриллиантовом ожерелье началось в тот же день. Между тем кардинал де Роган сидел в Бастилии, где с ним обращались со всем уважением, подобавшим его высокому положению. Ему был предоставлен целый ряд комнат; при нем находились два его камердинера и секретарь; ему было дозволено видаться с родственниками, но в присутствии коменданта Бастилии Фулона. Впрочем, последний был таким добрым католиком, что всегда держался от кардинала на почтительном отдалении. Во время допросов президент следственной комиссии обращался с подсудимым с величайшим уважением, и, если кардинал чувствовал себя утомленным, допрос тотчас же прекращался и был откладываем на другой день. Защитники кардинала были допущены к следствию, чтобы, смотря по обстоятельствам, вызывать свидетелей, которые доказывали бы, что вся вина кардинала состояла лишь в излишнем усердии услужить королеве.

В Париже ходили слухи о массе арестов. Рассказывали, что в Брюсселе арестовали женщину, необыкновенно похожую на королеву, и посадили ее в Бастилию. Процесс тянулся уже много месяцев, но следствие все еще не было

закончено. Друзья королевы утверждали, что она вовсе не знала графини Ламотт Валуа и только однажды, по просьбе самой графини, выдала ей вспомоществование через своего камердинера, Вебера. Но друзей у королевы было немного, и их число с каждым днем уменьшалось. Ввиду того, что последние годы были неурожайны, король нашел необходимым сократить расходы, как государственные, так и своего двора, и те, кто пользовались в неограниченных размерах его милостями, должны были покориться этой перемене.

Золотой дождь, которым пользовались друзья королевы, исходил из ее милостивых рук: ей было так приятно, так отратно радовать тех, кого она любила! Как сладко было видеть очаровательную благодарную улыбку на лице молодой герцогини Полиньяк, которая никогда ничего не просила лично для себя и которую Мария Антуанетта только с трудом, почти с угрозами могла заставить принять какой-нибудь знак ее расположения! Но за Жюли Полиньяк стояли ее зять с женой, корыстные, честолюбивые, гордые люди, а также Водрейль, Адемар и Безанваль, жаждавшие почетных и выгодных мест и знаков отличия.

Все эти эгоисты и честолюбцы действовали через Жюли де Полиньяк, и так как королева не могла отказать своей любимице, а король — своей возлюбленной супруге, — то просьбы достигали цели. Старые знатные семьи со справедливым негодованием смотрели на господство Полиньяков и в конце концов удалились от двора, находя забавы «Трианонской королевы» не подходящими для себя развлечениями. Король оказался совершенно предоставленным влиянию своей супруги, то есть Полиньяков и прочих любимцев, которые завладели почестями, лучшими местами, влиянием. Королевскую чету окружали только интриги, зависть, вражда. Ясные дни счастья, покоя, о которых мечтала королева, померкли, едва увидев рассвет. Трианон существовал, но те, кто делил с прекрасной «крестьянкой» ее удовольствия, сильно изменились: это были не друзья, но интриганы, льстецы, охотники до выгодных мест. Королева не хотела поверить этому и все еще относилась к ним с прежнею любовью, все еще опиралась на них, все еще советовалась с ними и передавала эти советы королю. И наконец наступил день, когда она начала понимать, что она сама — не властительница, что исполняет лишь чужую волю.

— Я должна была вмешиваться в государственные дела, — говорила Мария Антуанетта, — потому что король слишком добр и благороден, слишком доверчив; а так как никто не

может быть преданнее королю, чем его жена, мать его детей, то он и должен опираться на меня и на мою помощь.

Теперь королева увидела, что Калонн, которого она, по указанию Полиньяков, назначила на место генерального контролера финансов, был совершенно недостойн этого поста. Королева и сначала не доверяла ему и уступила только просьбам друзей; но общественное мнение считало его ее любимцем, назначение его — несчастием для Франции и весь гнев обрушивало на королеву. Единственным хорошим результатом назначения Калонна было появление массы сатир и памфлетов на финансовое положение Франции; король потребовал от министра полиции все эти листки, чтобы изучить их и добраться посредством них до корня: они не льстили и могли указать ему, как сделаться хорошим правителем. И он узнал, что надо быть экономным, беречь государственные средства. Вполне самостоятельно, не посоветовавшись даже с королевой, король приказал сократить расходы своего двора, почти уничтожил свои огромные конюшни, сократил вознаграждение гувернантки своих детей и придворных дам своей сестры, мадам Элизабет. Королевскими конюшнями заведовал герцог Полиньяк, старшей статс-дамой при мадам Элизабет была его жена, гувернанткой при детях Франции — его невестка. Полиньяки бросились к королеве, но получили в ответ:

— Такова воля короля, и я счастлива, что он проявил ее. Долг подданных — покоряться ей.

— До сих пор только в Турции жили, опасаясь потерять сегодня то, что только что вчера получили! — с негодованием воскликнул Безанваль.

Королева вздрогнула: она на всех лицах прочла неудовольствие и враждебность. Маски спали. Королева схватилась за сердце, но, преодолев свое горе, кротко сказала:

— Король и себя лишил многого для общественного блага. Но забудем эти огорчения, ведь они не могут помешать нам оставаться добрыми друзьями... Герцог де Куаньи, вы должны отыграться: последняя партия на биллиарде осталась за мною... Пойдемте в биллиардную, друзья мои!

Но никто не последовал за нею.

— Что это значит? — с гневом сказала королева. — Разве никто не слышал моего приглашения?

— Очевидно, все помнят, что вы, ваше величество, требовали прежде, чтобы в Трианоне все делали, что хотят, — сердито ответил Куаньи. — Да и как быть спокойными и довольными, когда теряешь то, чем пользовался? Это ужасно, ни на что нельзя положиться, даже на королевское слово!

— Вы забываетесь! — воскликнула разгневанная Мария Антуанетта. — Вы говорите со своей королевой!

— В Трианоне нет королевы и подданных! — дерзко ответил Куаньи. — Я, по крайней мере, помню ваши слова, хотя сами вы их забываете! Давайте играть!

Он схватил кий королевы, сделанный из клыка носорога, оправленного в золото. Это был подарок австрийского императора, ее брата, и королева очень дорожила им.

— Вы ошиблись: это мой кий! — закричала королева. — Дайте его мне!

— У меня отнимают то, что мне принадлежит, почему же и мне не следовать этой новой моде? — дрожа от бешенства, возразил Куаньи, — я докажу этим вашему величеству, что научился кое-чему от вас!

И он так сильно ударил кием шар, что сломал подарок императора.

Королева вскрикнула и, указав дрожащей рукой на дверь, сказала властно и повелительно:

— Герцог де Куаньи, я освобождаю вас от обязанности когда-либо появляться в Трианоне!

Куаньи отвесил довольно небрежный поклон и, ворча себе под нос, оставил комнату. Королева посмотрела ему вслед с выражением глубокой горечи и ушла в свою комнату, где, бросившись в кресло, залилась слезами.

— Ах, — простонала она, — они все отнимут у меня, все разобьют: мое доверие, мое мужество, мое сердце! Мне останется одно горе, и те, кого я считала своими друзьями, не захотят разделить его!

VI

Процесс

Целый год длилось следствие, целый год родные и друзья кардинала настраивали в его пользу не только общественное мнение, но и судей и членов парламента. Против королевы поднялись не только старинные дворянские роды, не только принцы и принцессы крови, ненавидевшие ее за то, что она — австриячка и любима королем, но и поклонники движения и свободы, поставившие себе задачей разрушить ореол, окружавший королевский трон. Оскорбленные родственники кардинала желали видеть королеву, по крайней мере, настолько же опозоренной и скомпрометированной, как и сам кардинал. Они

знакомились и любезничали с судьями, нанимали писак, сочинявших памфлеты и сатиры на королеву, распространяли брошюры, защищавшие кардинала; таким образом, когда наступил день суда, тридцатое августа 1786 года, общественное мнение было, безусловно, на стороне кардинала де Роган.

Уже с самого раннего утра вся площадь пред Консьержери была полна народом; сторонники кардинала, а также и «борцы за свободу», как называли себя Марат и его единомышленники, сновали в толпе, вооружая ее против королевы.

Судьи, заседавшие в зале за зеленым столом, сочувственно смотрели на подсудимого, который стоял пред ними, спокойный, полный достоинства; вместо красного одеяния он надел сегодня платье фиолетового цвета, которое духовные особы носят в знак траура. Благословив всех присутствующих, кардинал в кратких и простых словах дал свои показания.

Графиня Ламотт Валуа, последний отпрыск прежней королевской династии, была рекомендована ему его родственницей, мадам Буленвилье. Муж графини, гарнизонный офицер, не имел средств, поэтому кардинал принял участие в женщине, потомке французских королей, а затем выхлопотал ей пенсию в размере 1.500 франков от короля Людовика. Отправившись в Версаль, чтобы выразить свою благодарность королеве, графиня объявила затем кардиналу, что Мария Антуанетта пригласила ее бывать у нее почаще, чем графиня воспользовалась очень широко. Сам кардинал не пользовался милостью королевы, которая даже никогда не разговаривала с ним, что делало его безутешным. Графиня обещала ему замолвить за него слово и так трогательно описала королеве его отчаяние, что королева обещала простить его, если он письменно будет умолять забыть то обстоятельство, что, будучи много лет назад послом при австрийском дворе, он позволил себе предложить императрице Марии Терезии выразить порицание ее дочери, тогда еще супруге дофина, за ее легкомысленное поведение. За это единственное свое преступление пред королевой он и просил у нее смиренно прощения и получил от нее через графиню милостивый ответ.

— Я хранил его на моей груди, — сказал кардинал, — поэтому он избежал судьбы остальных бумаг, сожженных моими врагами в моем дворце во время обыска.

С этими словами кардинал подал председательствующему письмо, в котором королева изъявляла кардиналу свое благоволение, обещала в будущем аудиенцию, но приказывала молчать об этом. Письмо было подписано: Мария Антуанетта Французская.

Председательствующий положил письмо на стол к другим документам и сочувственно поглядел на подсудимого; он только теперь обратил внимание на то, что кардинал не сидел, а стоял пред судьями, как обыкновенный преступник. Он тотчас же приказал подать ему кресло. Подсудимый слегка наклонил голову и спокойно сел. Затем он продолжал свой рассказ.

Получив это письмо, он стал торопить графиню испросить ему скорее аудиенцию у королевы, так как, несмотря на высказанное прощение, королева всякий раз, когда он имел счастье видеть ее, высказывала ему прежнюю неприязнь. Когда он однажды осмелился подойти к ней и заговорить, королева гневно отвернулась и громко сказала герцогине Полиньяк:

— Какое бесстыдство! Эти люди воображают, что их красная мантия все позволяет им!

Тут ему впервые пришла мысль, что слова графини и даже письмо могут оказаться фальшивыми, и он высказал это самой графине, прибавив, что лишь тогда поверит ее уверениям, если она в один из последующих дней устроит ему так давно желаемое им свидание с королевой. Графиня рассеяла его сомнения, и за аудиенцию у королевы он обещал ей, как знак своей благодарности, пятьдесят тысяч франков.

При этих словах на скамьях, занятых врагами королевы, знатными вельможами, как Роган, Вергон и др., послышался ропот одобрения.

— Сдержала ли графиня Ламотт Валуа свое обещание? — спросил председатель.

Принц де Роган не сразу ответил; он заметно побледнел и на его красивом лице выразилась душевная борьба.

— Высокое собрание, — сказал он наконец дрожащим голосом, — в эту минуту я чувствую, что под одеждой священника в моей груди бьется сердце мужчины, а всякий мужчина совершает преступление, когда разоблачает тайну женщины, подарившей его своею милостью; но я обязан защищать честь духовного лица и потому совершу этот проступок. Может быть, я был обманут, но я должен снять с своего сана подозрение, будто я мог сам быть обманщиком, и поэтому мне приходится раскрыть тайну дамы... тайну королевы.

Голос кардинала звучал так кротко, так трогательно, что на скамьях зрителей послышалось сдержанное рыдание, а глаза председателя де Лэгра наполнились слезами.

— Ваш святой долг — говорить на суде всю правду, — сказал он, — поэтому, монсиньор, повторяю свой вопрос: доставила вам графиня обещанное свидание?

— Да, — взволнованным голосом ответил кардинал, — доставила.

Затем он рассказал, что графиня передала ему желание королевы встретиться с ним в саду Версаля, причем кардинал должен был быть одет, как простой горожанин. В подтверждение своих слов, графиня показала ему адресованное ей самой письмо королевы, в котором Мария Антуанетта советовала своей милой подруге быть крайне осторожной, не говорить громко и выйти из кустов в назначенном месте только тогда, когда сама королева подаст знак. Это письмо вполне убедило кардинала, и в назначенный день и час он в наемной карете отправился с графиней в Версаль. Спрятав его в указанном месте на террасе, графиня отправилась предупредить королеву, совершавшую обычную вечернюю прогулку с графом и графиней д'Артуа. Скоро кардинал при свете луны увидел благородную фигуру в красной одежде и с голубыми лентами в волосах, быстро приближавшуюся вместе с графиней Ламотт Валуа. Кардинал не мог более сомневаться: это была королева. На ней был тот же костюм, в котором он видел ее в прошлое воскресенье. Он упал пред нею на колени и поцеловал протянутую руку.

— Я довольна вами, монсиньор, — сказала королева, — и скоро вы получите от меня знаки величайшего благоволения. А пока вот вам залог! — и, сняв со своей груди розу, королева подала ее кардиналу. — И еще вот вам на память, — прошептала она, — мой портрет. Смотрите на него почаще и не сомневайтесь, что я...

Но в это время подбежала графиня, ждавшая в отдалении, и сказала:

— Сюда идут! Ради Бога, ваше величество, удалитесь!

На другой день графиня передала кардиналу второе письмо королевы, в котором ее величество жаловалась, что свидание было прервано, и обещала скоро назначить второе. Затем кардинал по делам церкви должен был уехать в Эльзас, но уже на другой день к нему явился муж графини с новым письмом от королевы. Она желала, чтобы он немедленно вернулся в Париж, потому что она нуждается в его помощи и только ему может довериться в деле, которое графиня разъяснит ему. Он примчался в Париж, и графиня рассказала ему, что бриллиантовое ожерелье, от которого королева сначала отказалась из-за высокой цены, страшно нравится ей, и что,

боясь, что оно будет продано в Константинополь, она желает, тайно от короля, купить его, но что ее касса в настоящее время пуста, так как она все сбережения раздала бедным. Она поручает кардиналу купить ожерелье, для чего дает собственноручно написанную доверенность, которую он может показать ювелирам, но должен оставить ее у себя. Первые шестьсот тысяч франков кардинал должен заплатить сам; остальное, также и свой долг кардиналу, королева желала уплатить в известные сроки. Кардинал был весьма польщен доверием королевы, а через два дня графиня Валуа принесла ему доверенность ее величества на покупку бриллиантов, помеченную в Трианоне и подписанную «Мария Антуанетта Французская». В таком важном вопросе кардинал решил посоветоваться со своим другом, графом Калиостро, который за несколько лет пред тем вылечил его от тяжелой болезни и с тех пор был его советником в делах, неоценимым другом и отчасти пророком его судьбы. Граф попросил невидимых духов и получил ответ, что кардинал должен оправдать выказанное ему доверие, что будущее его возвышение послужит на благо Франции. Кардинал купил ожерелье. Доверенное лицо должно было явиться за ним в дом графини, которая пригласила кардинала тайно присутствовать при передаче ею бриллиантов.

Первого февраля 1784 г. он отправился к графине; его доверенный камердинер сопровождал его и нес шкатулку с ожерельем, которую при входе в дом кардинал сам передал графине. Она спрятала его в комнате, рядом со своей комнатой. Сквозь стеклянную дверь он услышал, как доложили: «По поручению ее величества!» — и в комнату вошел человек, которого он уже не раз видал у графини и которого она назвала кардиналу, как доверенного камердинера королевы. Этот человек получил из рук графини шкатулку и удалился, а кардинал почувствовал глубокую радость и удовлетворение, что мог оказать услугу супруге своего короля, матери своего будущего короля, и избавил ее от необходимости обратиться к другому лицу.

При этих словах кардинала знатные слушатели выразили шумное одобрение, а одна дама под густым вуалем громко сказала:

— Водрейль или Куаньи не заплатили бы такой суммы, но зато потребовали бы большей платы!

Председатель, барон де Лэгр, бросил на говорившую строгий взгляд, но не сделал ни малейшего замечания.

— Со дня этой несчастной покупки, — печально продолжал кардинал, — я испытывал только муки и терзания: ко-

ролева не удостоивала меня ни единым словом; она также не надела ожерелья в предполагавшийся день. Это огорчило и обеспокоило меня, но в ответ на мои жалобы графиня принесла мне весьма приветливое письмо от королевы, которая объяснила, что не хотела надеть ожерелье в непраздничный день, чтобы не привлечь внимания короля и всего двора. Я успокоился, но, когда подошел день платежа и королева не подала никакой вести ни мне, ни ювелирам, я начал думать, что обманут людьми, знавшими о моей преданности королеве, и ужаснулся. Тогда графиня сказала, что у королевы в настоящее время нет большой суммы денег, и она заплатит только проценты, тридцать тысяч франков, которые графиня завтра же принесет мне. Но в тот же день случилось событие, почти повергнувшее меня в отчаяние: посетив герцогиню Полиньяк, я застал ее за чтением записки, только что принесенной от королевы; я попросил позволения взглянуть на почерк и...

Кардинал в глубоком волнении склонил голову и несколько минут молчал; только его губы тихо шептали молитвы. Судьи не решались прервать их.

— Это был совершенно другой почерк, нежели почерк полученных мною писем,— горестным тоном продолжал кардинал,— и подпись состояла только из имени: «Мария Антуанетта». Я бросился к графине и осыпал ее упреками, она испугалась, смутилась, но потом заявила, что королева, вероятно, диктовала свои письма ко мне, но сама подписывала их; в этом графиня готова была поклясться. Вечером ко мне явились испуганные ювелиры: королева ничего не прислала им, а когда они пробовали добиться аудиенции, то не были допущены во дворец. Они обратились к мадам Кампан, которая заявила им, что у королевы нет этого ожерелья, что она никогда не виделась с графиней Ламотт Валуа, что все это — гнусная интрига против королевы и что она, Кампан, тотчас отправится в Трианон, чтобы известить обо всем королеву. В следующее воскресенье в Версале произошло то, что вы уже знаете. Больше мне нечего прибавить.

— От лица всего суда благодарю вас, ваше высокопреосвященство, за ясное и откровенное изложение этой печальной истории,— сказал председатель.— Вы утомлены, а потому можете вернуться сейчас же в Бастилию.

В ответ на поклон кардинала все судьи встали, как один человек, и поклонились почти с благоговением. С трибуны для зрителей закутанная вуалем дама крикнула:

— Да благословит Господь мученика королевской власти!

Председатель приказал ввести обвиняемую, графиню де Ламотт Валуа. Пред судьями появилась стройная, изящная молодая женщина, одетая нарядно и богато, с сильно на-румяненным лицом и насмешливой улыбкой, открывавшей два ряда великолепных зубов. Среди зрителей послышался неодобрительный шепот.

— Господа, — громко сказала графиня, устремив на судей взор блестящих черных глаз, — разве здесь театр, что публика выражает свое одобрение или неодобрение?

Председатель не удостоил ее ответом, но подал знак приставу, и тот поставил пред столом тяжелый деревянный стул, к высокой спинке которого были приделаны две короткие железные цепи.

— Как вы смеете предлагать мне стул, на который сажают преступников? — гневно закричала графиня Ламотт.

— Садитесь! — повелительно сказал пристав. — Этот стул предназначен для подсудимых, а цепи — для непокорных! Если вы не сядете на место добровольно, я позову людей, и вас посадят насильно!

Графиня громко вскрикнула от гнева, но, не встретив ни с чьей стороны сочувствия, дерзко засмеялась и грациозно уселась на стул, точно была не пред лицом судей, а в изящном салоне. На вопрос председателя о ее имени и годах она ответила, что он, очевидно, не привык к дамскому обществу, если осмеливается спрашивать о возрасте, хотя бы и такую молодую даму, как она; но все-таки сказала, что ее зовут графиней де Ламотт Валуа, и при этом прибавила:

— Если бы в этой несчастной стране, которую губят недалекий король и развратная королева, было сколько-нибудь справедливости, то я, потомок французских королей, занимала бы престол, а сидящая теперь на нем кокетка стояла бы пред судом, как воровка, потому что бриллианты у Марии Антуанетты, а вовсе не у меня!

Судьи не нашли нужным возмутиться таким дерзким обвинением; а среди зрителей оно даже вызвало громкое одобрение.

— Вы совершенно неверно ответили на мой вопрос, — после короткой паузы сказал председатель. — Никаких прав на престол вы не имеете, как потомок незаконнорожденных родителей. Ваш отец был простой крестьянин из Отейля, о голодавшей семье которого госпожа Буленвилье заботилась по просьбе местного священника, знавшего из бумаг, что эти Валуа действительно происходили от незаконных потомков королевской фамилии. Один из ваших предков был казнен, как фальшивомонетчик; ваш дед был его незаконным сыном. Вот каково ваше родство с королями Франции.

Графиня хотела вскочить со стула, но грозный голос пристава остановил ее, и на ее румяных щеках впервые проступила мертвенная бледность.

Между тем председатель продолжал.

— Госпожа Буленвилье взяла к себе старшую дочь поденщика Валуа, несколько лет воспитывала ее и заботилась о ней, но воспитанница убежала с подпоручиком графом Ламотт, оставив своей благодетельнице дерзкое письмо и похитив из ее шкатулки двадцать тысяч франков.

— Вы неверно выражаетесь! — прервала графиня. — Эти деньги были обещаны мне в приданое самой госпожой Буленвилье, я и взяла их с собой!

— Женившись на дочери поденщика, граф Ламотт с трудом содержал жену, — продолжал председатель, — но он очень счастливо играл в карты и, по подозрению в шулерстве, был выгнан из полка. Тогда муж отправился со своими картами в путешествие по южной Франции, а жена — в Париж поправлять обстоятельства. Вот правдивый ответ на мой вопрос, кто вы такая.

— Вы забыли прибавить, что я — подруга кардинала де Роган и поверенное лицо Марии Антуанетты Французской и что они сделали из меня козлище отпущения за свою вину. Вся моя вина в том, что я помогла королеве добыть бриллианты, а влюбленному кардиналу — приблизиться к предмету его любви. Он должен признаться, что был на свидании, поцеловал руку своей возлюбленной и получил розу с ее груди. В чем же тут моя вина?

— В обмане, в утайке денег, в клевете, в воровстве, — строго ответил председатель, — вы обманули кардинала, подделали почерк королевы, хитростью завладели бриллиантами.

— Все лгут на меня! — гневно закричала графиня, топая ногами. — Но правда выйдет на свет Божий!

— Да, правда выйдет на свет Божий, — повторил председатель де Лэгр, — прошу теперь истца королевы, господина де Барильона, заявить свое обвинение.

Генеральный прокурор поднялся с места и при мертвом молчании присутствовавших сказал длинную речь. Он обвинял графиню де Ламотт Валуа хитрой и ловкой искательницей приключений, сперва обращавшейся с просьбами о помощи ко всем влиятельным лицам, затем заручившейся участием доброго и доверчивого кардинала де Роган, который лично посетил ее в бедной мансарде и пожелал помочь ей. Она сумела завладеть его расположением и доверием и, узнав о стремлении Бемера продать королеве драгоценное ожерелье и о безграничной преданности и горячих чувствах кардинала

к королеве, построила на этом свой план, который и удался ей. Кардинал не усомнился ни в фальшивой расписке, ни в письмах, якобы написанных королевой, и таким образом бриллианты были куплены и оказались в руках интриганки. Она вынула камни из оправы, разломала и продала ее за пятьдесят тысяч франков, купила на эти деньги особняк, роскошно обставила его, завела прекрасную конюшню. Кардинала она продолжала принимать в скромной мансарде своего же особняка и, когда он положил ей пенсию в четыре тысячи франков, со слезами благодарила его. Затем она начала получать дорогие подарки от своего мужа, который во время интриги скрывался в Париже и помогал ей. Когда она разбогатела, де Ламотт отправился в Лондон, «по семейным делам», но на самом деле для того, чтобы продать несколько камней из ожерелья, что в Париже было бы опасно. Из Лондона он прислал жене драгоценные подарки. Затем супруги купили в Бар-сюр-Об великолепный замок, куда вывезли из Парижа роскошную обстановку и где поселились. Там и была арестована искательница приключений, а ее муж, вместе с ее другом, так называемым графом Калиостро, успел скрыться. Золотых дел мастер, купивший сломанную оправу, найден; Бемер и Бассанж признали остатки оправы и камни, проданные Ламоттом в Лондоне; таким образом все факты мошенничества установлены, и Ламотт Валуа уличена в похищении драгоценности, в обмане, и — что важнее всего — в подделке почерка королевы в расписке и письмах, что повлекло за собой новое обвинение. в оскорблении величества, так как священная особа королевы Франции была замешана в сети лжи, причем ее величество была выставлена героиней бесчестной любовной интриги.

— Королеву нечего и выставять такой героиней, — с громким смехом воскликнула графиня, — она и есть такая, так как ездит на маскарады в оперу в наемном экипаже, гуляет по Версальскому парку инкогнито, садится на скамейки с чужими солдатами, болтает с ними! Австриячке нечего удивляться, если ее примут за героиню любовного романа! Но здесь не роман, а истина, и я невиновна в оскорблении величества; у меня есть доказательства: кардинал получал от королевы письма, расписки, был у нее в Версале, получил от нее розу... Бог справедлив, Он не допустит, чтобы невиновная пострадала вместо виновной!

— Вы правы, Он не допустит этого, — сказал генеральный прокурор, пристально взглянув на торжествующую графиню.

ню.— Он не допустит, чтобы ваша адская интрига была принята за правду, Он сорвет маску невинности с вашего преступного лица.

— Какие высокие слова! — с дерзким смехом воскликнула графиня.— Однако это — еще не доказательства!

— Сейчас перейдем и к доказательствам,— спокойно возразил Барильон,— пристав, введите свидетельницу.

Пристав отдал дежурному у дверей какое-то приказание; тот вышел, затем вернулся и прошептал что-то на ухо приставу.

— Свидетельница просит о снисхождении,— громко заявил пристав,— так как ей придется отлучиться на несколько часов от своего младенца, то она просит обождать несколько минут, пока она накормит его.

И судьи обождали: закон человеческий уступил закону природы.

Наконец дверь отворилась, и зрители не могли удержаться от крика изумления, неожиданности, любопытства: в зал вошла королева Мария Антуанетта!

Это были ее стройная, величественная фигура, ее цветущее лицо, ее большие серо-голубые глаза, ее прекрасные каштановые волосы над высоким лбом, причесанные так, как обыкновенно причесывал ее величество парикмахер Леонар. Костюм вошедшей был совсем такой, какой носила королева, гуляя в Версальском парке: белое платье, опоясанное голубым шелковым кушаком, на голове кружевной чепчик. Даже зрительницы на трибуне, часто выдавшие вблизи королеву, не усомнились, что это — она.

— Сама королева является свидетельницей! — заговорили они.— Какое безумие, какой скандал!

Никто не заметил, как Ламотт Валуа испуганно вскочила со стула, точно стремясь убежать от этого явления; но пристав зорко следил за нею и схватил ее за руку.

— Зачем вы встаете, когда вам сказано, чтобы вы сидели смирно?

— Я встала, чтобы, как добрая подданная, приветствовать поклоном королеву,— ответила графиня, оправившись от волнения,— но так как вижу, что никто не встает, то и я опять сяду,— и она спокойно опустилась на стул.

— Подойдите ближе! — сказал де Лэгр, и свидетельница подошла к зеленому столу.

Окинув судей наивным, веселым взглядом, она кивнула им головой и улыбнулась, обнажив улыбкой зубы. При этом все заметили, что у нее нехорошие, испорченные зубы, между

тем как зубы королевы отличались замечательной красотой и служили предметом зависти всех дам высшего общества.

— Кто вы и как вас зовут? — задал председатель свой обычный вопрос.

— Кто я? — густо покраснев, повторила молодая женщина. — Трудно на это ответить. Я была тщеславная, легкомысленная девчонка и вела самый легкомысленный образ жизни, пока не полюбила... сержанта Жоржа. С тех пор, как я полюбила его, я решила сделаться честной и добродетельной женщиной, хорошей женой, хорошей матерью... А что я до сих пор все еще называюсь мадемуазель Олива, то в этом не моя вина: вы арестовали меня в Брюсселе за неделю до моей свадьбы, и из-за вас мой милый малютка родился в тюрьме. Я попрошу вас выдать мне потом письменное свидетельство моей невинности... то есть моей невиновности в это деле, — поправились она, снова вспыхнув, — чтобы это послужило мне оправданием пред ребенком, когда придется сказать ему, что он родился в тюрьме. Ведь матери очень тяжело, если приходится стыдиться пред собственным сыном.

В рядах зрительниц пробежал шепот одобрения и сочувствия.

— Так вас зовут мадемуазель Олива? — спросил председатель.

— Да, к сожалению, все еще так, — со вздохом ответила свидетельница, — но, как только вы освободите меня, мы тотчас обвенчаемся, и я буду называться мадам Жорж. Вы сделали бы мне огромное удовольствие, если бы теперь же начали так называть меня.

Строгие лица судей озаарились улыбкой, даже генеральный прокурор несколько просветлел; только лицо графини де Ламотт значительно омрачилось.

— Сегодня ваше величество разыгрываете соблазненную крестьянку! — закричала она резким, пронзительным голосом. — Всем известно, что королева любит играть комедии. Нечего смотреть на меня с таким гневным, уничтожающим видом, госпожа королева! Вы тайно явились сюда, чтобы изображать какую-то мадемуазель Олива и защитить свою честь и свои бриллианты!

— Пристав! — крикнул де Лэгр. — Если подсудимая еще раз позволит себе говорить, когда ее не спрашивают, свяжите ее и заткните ей рот грушей!

Пристав поклонился и, вынув из кармана кляп в виде груши, показал его обвиняемой.

— Я буду звать вас мадам Жорж, как вы желаете, — сказал председатель живому портрету королевы, — если вы обещаете говорить правду и только правду.

— Клянусь моим ребенком говорить правду,— ответила Олива.

— Знаете ли вы особу, которая сидит на этом стуле? — спросил председатель.

Мадемуазель Олива, быстро взглянув на Ламотт, которая пожирала ее взорами, тотчас ответила:

— Конечно, знаю, то есть ее имени я не знаю, знаю только, что она живет в роскошном особняке и очень богата.

— Расскажите все, что вы знаете про нее.

— Я скажу вам всю правду,— произнесла Олива.— Однажды я гуляла в королевском саду, как вдруг ко мне подошел высокий, важного вида господин, которого я уже и раньше встречала там, стал говорить мне любезности и попросил позволения прийти ко мне. Я, смеясь, ответила, что он может теперь же пригласить меня обедать в кафе. Он согласился, и мы вместе пообедали, а потом он проводил меня домой и рассказал мне, что он очень знатен, часто бывает при дворе и хорошо известен королю и королеве. Он обещал мне свое покровительство, причем сказал, что мною очень интересуется одна дама, которой он рассказывал про меня, и что она придет ко мне. Она пришла на другой же день, и, поглядев на меня, сперва чему-то очень удивилась, но потом была очень любезна.

— И кто же была эта дама? — спросил председатель.

Мадемуазель Олива показала пальцем через плечо и сказала:

— Та дама, которая сидит тут на стуле.

— Дальше, пожалуйста! Вы потом часто видели эту даму?

— Да, она еще два раза приходила ко мне, много рассказывала о королеве и придворной жизни и даже обещала мне сделать из меня важную даму, если я сделаю то, что она мне поручит. Я ответила, что с радостью исполню все, что она прикажет, если она, как обещала, даст мне возможность попасть ко двору, видеть короля и королеву, и говорить с ними.

— Почему вам так хотелось этого?

— Почему? Боже мой, очень просто! Ведь королю очень легко произвести сержанта в капитаны, а так как король, говорят, ничего не делает без королевы, то я и хотела поговорить с ней. Мне так хотелось бы видеть на моем Жорже эполеты! И ребенку лучше бы родиться сыном капитана, чем сержанта.

— Вы говорили об этом вашей знакомой?

— Конечно, говорила, и она обещала, что королева исполнит мое желание, если я сделаю все, чего именем королевы она потребует от меня. Королева, по ее словам, поручила ей

найти особу, которая согласилась бы сыграть небольшую роль в интимной комедии. Эта роль будто бы отлично подходит ко мне, и если я хорошо исполню ее и не расскажу об этом никому на свете, даже Жоржу, то, кроме протекции, которая была обещана мне, я получу еще пятнадцать тысяч франков. Я с радостью согласилась, потому что такая сумма очень пригодилась бы мне к свадьбе.

— Но разве вы не подумали о том, что такая роль могла оказаться опасной и даже преступной и что потому-то ее и оплачивали так дорого?

— Иногда это приходило мне в голову, но графиня уверяла меня, что все делается по приказу королевы и что деньги заплатит сама королева, и я хотела послужить, как преданная подданная, тем более, что ее величество хотела так великодушно наградить меня. Да и королева не могла потребовать от меня ничего дурного. Графиня сказала, что я только должна буду изобразить одно лицо, чтобы уверить одного влюбленного, что с ним говорит его возлюбленная, и тем доставит ему утешение. Я не нашла тут ничего дурного и даже решилась говорить с этим влюбленным как можно нежнее.

— Но разве вы не полюбопытствовали узнать, кого вы должны были изображать?

— Да, мне очень хотелось узнать это, но графиня запретила мне даже спрашивать, говоря, что иначе я получу половину обещанной суммы, а если буду разузнавать, в чем дело, или стараться примечать, что происходит, то могу даже попасть в Бастилию. Поэтому я уже ни о чем не расспрашивала и думала только о том, чтобы хорошо знать свою роль и получить обещанную сумму.

— Значит, вам дали определенную роль?

— Да, графиня и тот господин, который привел ее ко мне, приходили два раза и учили меня, как я должна ходить, держать голову, кланяться и кивать головой, как должна протягивать руку для поцелуя. Затем они приехали за мной в великолепном экипаже и повезли меня в дом графини. Там мы обедали, потом поехали в Версаль. Гуляя по парку, они остановились около одного павильона и сказали мне, что завтра я должна на этом месте разыграть свою маленькую комедию, для которой королева сама назначила это место. На другой день, проведя ночь в доме графини де Ламотт в Париже, я опять поехала с нею в Версаль, где у нее был маленький собственный дом. Она сама одела меня, прислуживая и помогая мне как камер-юнгфера.

— Какой костюм надели на вас?

— Совсем такой, в каком я сегодня, только сверху графиня еще накинула на меня белую накидку с капюшоном. По-

том мы отправились в парк. Уже стемнело. Графиня дала мне письмо, которое я должна была передать важному господину; мне предстояло встретиться с ним в парке. Мы шли молча, и у меня от беспокойства сильно билось сердце.

— Вы были вдвоем с графиней или с вами был еще кто-нибудь?

— Был все тот же господин, который познакомил меня с графиней де Ламотт и которого я считаю ее мужем. Мы гуляли довольно долго, потом он сказал: «Идите теперь вдвоем, а я явлюсь вовремя, чтобы произвести тревогу и спугнуть селадона». Он спрятался в кустах, а графиня дала мне розу и велела дать ее тому, кому я должна дать письмо, и сказать при этом только вот эти слова: «Вы знаете, что это должно означать». Графиня запретила мне прибавить хотя бы один лишний слог, говоря, что эти слова выбрала сама королева, которая будет стоять вблизи и услышит, верно ли я передала ее слова. Оставив меня на небольшой площадке, между деревьями, графиня пошла за тем господином. Он подошел, и я вышла навстречу ему из кустов. Он сделал мне два очень низких поклона, а я подала ему письмо и розу и сказала заученные слова. Этот важный господин упал предо мной на колени, крепко сжал мою руку и прижал ее к губам. В это время послышался шум твердых мужских шагов и прибежала графиня, говоря: «Ради Бога, уходите скорее! Нас подслушивают!» — и увлекла меня за собой. Мы вернулись в ее дом, и я спросила, хорошо ли я выполнила свою роль. Она ответила, что королева все видела и слышала и осталась мною довольна. На другой день, рано утром, мы вернулись в Париж; графиня уплатила мне пятнадцать тысяч франков, но сказала, что я должна как можно скорее отправиться в Брюссель, к своему Жоржу, и до отъезда не выходить из маленькой комнатки, которую она отвела мне в своем особняке. Я написала Жоржу и, пока ждала его ответа, время проходило очень весело; графиня была очень любезна ко мне. Когда Жорж написал, что ждет меня, я поехала в Брюссель, но, по желанию графини, не в дилижансе, а в экипаже, точно важная дама, и муж графини заранее позаботился о подставах и заплатил за дорогу. Больше мне, кажется, нечего рассказывать, и я говорила одну только правду. Конец моей истории вы сами знаете, — со вздохом прибавила мадемуазель Олива. — Через две недели после сцены в Версале ваши агенты арестовали меня и привезли в Париж. Вы знаете, что я поклялась лишиться себя жизни, если Жоржу запретят навещать меня, что мой сын родился в тюрьме, что ему уже миновало полгода, а его бедная мать все еще сидит в заключении. Все это вы знаете; позвольте же мне

идти к сыну: он, наверное, уже проснулся и кричит, а его отец не умеет унять его.

— Идите к своему сыну, мадам Жорж,— с ласковой улыбкой ответил председатель.— Пристав, проводите свидетельницу!

Олива сделала судьям ручку и пошла к двери, которую пристав распахнул перед нею; из комнаты свидетелей послышался громкий детский крик. Олива обернулась и, с торжествующим видом взглянув на председателя, воскликнула:

— Я говорила вам! Я иду, мой маленький Жорж! — и с этими словами молодая красавица исчезла, и дверь за нею захлопнулась.

— Вы слышали показания свидетельницы,— обратился председатель к Ламотт,— и можете видеть, что мы имеем доказательства того, как вы задумали и привели в исполнение свою преступную интригу. Неужели вы будете отрицать доказательства и факты?

— Я не видела ни фактов, ни доказательств,— насмешливо возразила графиня,— я только видела и удивлялась, как великолепно королева играла комедию. Она — искусная актриса и сыграла роль Олива так тонко, что ничем не выдавала себя.

— Как?! — воскликнул почти с ужасом де Лэгр,— Вы решаетесь утверждать, что бывшая сейчас здесь свидетельница — не Олива Жорж, а другая особа? Да разве вы не знаете, что она, этот живой портрет королевы, уже десять месяцев сидит в Бастилии?

— Я знаю только то, что королева отлично сыграла свою роль,— пожимая плечами, ответила графиня,— она ради этой роли принесла даже огромную жертву, обнаружив секрет красивой женщины: она сняла свои прекрасные фальшивые зубы, показала жалкие остатки собственных зубов, чтобы подчеркнуть разницу между Оливой и Марией Антуанеттой. Согласитесь, господа, довольно-таки забавно, что королева отличается от куртизанки только челюстью!

И графиня насмешливо рассмеялась, причем ее смех нашел отклик среди дам на скамьях зрителей.

— Умерьте свою веселость,— строго сказал председатель,— ваше положение весьма серьезно; правосудие держит вас под Дамокловым мечом. Вы бросили вызов судьбе, сказав, что Бог не допустит осудить невиновную; эти слова применяются к вам. Все возведенное вами здание лжи и интриг рушится, и это навеки покроет вашу голову позором.

— Я, слава Богу, еще не испытываю этого,— возразила графиня, пожав плечами.

— Ваше бесстыдство будет наказано скорее, чем вы думаете,— торжественно сказал председатель.— Вы сказали, что только тогда можете быть названы преступницей, когда будет доказано, что письма кардиналу писала не королева, расписку писала не королева и виделась в Версале с кардиналом не королева. Теперь мы получили доказательства, что комедия в Версале была задумана и выполнена вами через подставное лицо. Остается только доказать, что подпись королевы и письма также подделаны вами.

— Хотела бы я знать, как вы ухитрились бы доказать это! — прервала графиня.

— Это очень просто,— спокойно возразил де Лэгр,— мы сделаем вам очную ставку с тем лицом, которое по вашему поручению подделало почерк и подпись. Пристав, введите последнего свидетеля!

В зале настала мертвая тишина. Сверкающие глаза подсудимой повернулись к двери; ее напряженное лицо и стиснутые губы выразили беспокойство и даже страх, но она сохранила свою вызывающую и дерзкую позу.

Дверь открылась,— из груди графини вырвался крик ужаса и гнева.

— Рето де Вильет! — с бешенством закричала она, сжимая маленькие ручки в кулаки и потрясая ими навстречу входящему свидетелю.— О, какая подлость! Он выдал меня!

И, потеряв на мгновение присутствие духа и всю свою уверенность, она упала на стул, с которого вскочила было под впечатлением ужаса; мертвенная бледность покрыла ее лицо; голова бессильно прислонилась к спинке стула.

— Теперь вы видите, что Бог справедлив,— после некоторого молчания сказал председатель,— ваша собственная совесть свидетельствует против вас и вынуждает вас признать себя виновной.

Графиня вскочила и, усилием воли поборов свое волнение, воскликнула:

— Нет, я не признаю себя виновной, да и для этого нет никаких оснований. Я только была потрясена, увидев этого человека, которого я спасла от голодной смерти, облагодетельствовала, а теперь мои враги подкупили его свидетельствовать против меня. Пусть Рето де Вильет клеветает на меня! Его клевета разобьется о панцирь моего спокойного достоинства! — и графиня де Ламотт с гордым презрением взглянула на свидетеля, подошедшего к зеленому столу в сопровождении пристава.

Он заметно дрожал, его лицо было грустно, а взоры избегали встречаться с глазами подсудимой, взоры которой уставились на него, как два блестящих кинжала.

На обычные вопросы председателя об имени и общественном положении свидетель ответил, что служил управляющим и секретарем у графини де Ламотт Валуа, что, когда графиню и ее мужа арестовали, он бежал в Женеву, чтобы там выждать конца процесса; но так как процесс затянулся, свидетель хотел скрыться в Англию, но как раз в это время был арестован.

— Но зачем же вы хотели бежать? — спросил генеральный прокурор.

— Потому что я боялся, что окажусь замешанным в процессе графини, — тихо ответил Рето де Вильет.

— Скажите лучше: вы знали, наверное, что замешаны в него. На предварительном допросе вы вполне сознались и теперь уже не можете взять назад свои показания. Поэтому отвечайте: что вы сделали, почему имели основание бояться?

— Потому что взял на душу тяжелую вину! — в волнении воскликнул свидетель. — Потому что позволил увлечь себя обещаниями, соблазнительными уверениями и плутнями графини де Ламотт! Я был беден, жил в безвестности, а между тем стремился быть известным, уважаемым, отличенным! Все это обещала мне графиня; через кардинала она хотела доставить мне положение, почести, хотела ввести меня в придворные круги. Я поверил ее морочению и, как преданнейший раб, делал все, чего она требовала от меня.

— Холопская душа! — с невыразимым презрением воскликнула графиня.

— Чего же требовала от вас ваша госпожа? — спросил председатель. — Что вы сделали по ее поручению?

— Я писал письма к кардиналу; графиня сочиняла их, а я переписывал, подделываясь под почерк королевы.

— Как вы могли знать почерк королевы?

— Графиня дала мне книгу, в которой были напечатаны одно письмо ее величества, а также ее подпись. Я списывал буквы с этого факсимиле, сперва вчерне, потом набело.

— Он лжет! Он все лжет! — с яростным жестом закричала Ламотт.

— А как была воспроизведена долговая расписка для ювелиров Бемера и Бассанжа? — продолжал председатель, не обращая на нее внимания. — Известно ли это вам?

— Известно, — со вздохом ответил Рето, — ведь я сам написал ее по приказанию графини. Подпись также подделал я, списав ее с факсимиле.

— Разве под напечатанным письмом королевы стояла такая подпись, какую вы сделали на расписке?

— Нет, там стояло только «Мария Антуанетта», но графиня думала, что королева подписывается таким образом только

в интимных письмах: письмо, напечатанное в книге, было написано королевой ее матери и относилось к времени прибытия королевы во Францию супругой дофина. Графиня полагала, что для важного документа такой подписи мало, что подпись должна носить более официальный характер, и после долгих совещаний мы решили писать: «Мария Антуанетта Французская». После некоторого упражнения я сделал эту подпись на расписке.

— Он лжет! — снова закричала графиня, в бешенстве топая ногами.— Он подлый лжец и клеветник!

— Я готов представить доказательства того, что говорю правду,— кротко сказал Рето де Вильет,— если мне дадут принадлежности письма, я здесь же воспроизведу подпись королевы в том виде, как она была подделана на расписке.

По приказанию председателя пристав принес все, необходимое для письма, и подвел свидетеля к небольшому столу. Рето быстро набросал на листе бумаги несколько слов и передал написанное приставу.

Сравнив эти строки с распиской, председатель протянул обе бумаги Барильону, а тот, внимательно рассмотрев их, в свою очередь передал их ближайшему судье; таким образом документы обошли весь стол и снова вернулись к председателю. Он поднялся с места.

— Я полагаю, что написанное свидетелем вполне тождественно с подписью расписки. Я лично совершенно убедился, что как расписку, так и письма, адресованные кардиналу, писал именно свидетель. Он был достойным наказания орудием в руках преступницы Ламотт Валуа. Прошу тех из господ судей, которые разделяют мое мнение, встать.

Все судьи встали, как один человек.

Графиня пронзительно вскрикнула и в страшных судорогах упала на пол.

— Объявляю допрос и следствие законченным,— сказал председатель,— удалить подсудимую и свидетелей и очистить трибуну от зрителей! Удалимся теперь в зал совещаний, чтобы подвести итоги всему следствию для вынесения приговора.

VII

Дурное предзнаменование

Казавшийся бесконечным день 31-го августа 1786 года близился к вечеру. Парижане провели его в напряженном волнении. Лавки были закрыты, мастерские пустовали; даже в кафе и в кабачках было довольно пусто. Сегодня ни

у кого не было времени заняться едой, хотя Париж голодал; но это был не физический голод: все жадно ждали известия из зала Консьержери; оно должно было удовлетворить голод, утолить жажду.

Судьи собрались в зале, чтобы вынести приговор, который должен был доказать всей Франции, всей Европе, что или французская королева чиста и невиновна пред Богом и людьми, или что ее гордое чело осталось омраченным тенью позорения.

Сорок девять судей, членов парламента, с шести часов утра заседали в зале совета, и с шести часов утра толпилась на площади масса народа, жадно глядя на высокие ворота и каждую минуту ожидая, что появятся судьи и сообщат наконец приговор. Но день проходил, а ворота все оставались закрытыми. В толпе начали раздаваться возгласы нетерпения и досады на нерешительность судей. Там и сям мелькали злобные или насмешливые лица, слышались язвительные слова. Все ораторы клубов и тайных союзов были налицо, все враги королевы прислали сюда своих клеветников, старавшихся ядовитыми словами и насмешливыми замечаниями настолько уронить Марию Антуанетту в мнении народа, чтобы приговор общественного мнения оказался ни в каком случае не в пользу королевы Франции, даже если суд и обвинит кардинала в недостатке уважения к королеве и в оскорблении величества. Было известно, что генеральный прокурор настаивал на наказании кардинала.

Эта весть с быстротой молнии распространилась по Парижу, и предложение прокурора уже ходило по рукам. Оно гласило:

«Кардинал де Роган обязан в присутствии генерального прокурора признать пред членами парламента, что он, дерзким образом действуя от имени королевы, оказался замешанным в дело покупки бриллиантов; что еще более дерзко осмелился поверить, будто королева назначила ему в ночное время свидание, в чем и просит прощения у их величеств в присутствии всего суда. Далее кардинал обязан сложить с себя на известное время звание главного хранителя кассы по раздаче милостыни, удалиться от двора, королевского дома и тех мест, в которых обитает королевское семейство, а до приведения в исполнение приговора должен оставаться в заключении».

Это предложение прокурора было встречено как друзьями кардинала, так и врагами королевы с гневом и негодованием; они громко порицали холопскую угодливость этого человека пред троном, изобретая всевозможные клеветы: ведь, возмож-

но, что королева переманила на свою сторону судей, благодаря своему кокетству; возможно даже, что она каждому судье обещала назначить свидание!

— Пусть судьи оправдают ее! — шипел Марат. — Ее осудит сам народ! Народ неподкупен, подобно божеству! Он не даст обмануть себя историей с подделанными письмами.

— Да, да! — кричали вокруг него. — Не дадим обмануть себя! Королева умеет сочинять любовные письма!

— Королева — мастерица на разные штуки! — кричал в другой стороне площади пивовар Сантерр. — Она захотела отомстить кардиналу за то, что он когда-то пожаловался на нее ее матери, императрице, за то, что у нее дурные манеры, что она неприлично вела себя; и вот она влюбила в себя несчастного кардинала, а потом послала к нему на свидание красивую мадемуазель Олива.

— Погодите, и не то еще будет, — громко хохотал сапожник Симон, — кардинал принял какую-то девчонку за королеву Франции, а я уверен, дорогие братья, что мы доживем до того времени, когда королева будет мести улицы, чтобы благородный, великодушный народ не запачкал ног в грязи!

Громкий хохот покрыл эти слова и в нем потонул единственный крик возмущения и гнева, раздавшийся в толпе. Это вскрикнул человек, одетый в скромный костюм горожанина и с трудом протискавшийся к самым дверям Консьержери. Никто не слышал его, никто не обратил внимания на молодого человека со смелым, решительным лицом, который слушал злые речи и неприличные шутки с горящими от гнева глазами и стиснутыми губами.

Добравшись до самых дверей тюрьмы, он устремил на них взгляд, полный страстного ожидания. Дверь открылась, когда солнце уже зашло, и из нее вышел человек. Толпа разразилась бурными изъявлениями радости, но тотчас стихла, заметив, что вышедший человек — не пристав, который с высокого крыльца оповестил бы о результате суда, а кто-то из мелких служащих Консьержери. Он с самым равнодушным видом сошел со ступеней в толпу, которая встретила его взглядами разочарования и закидала вопросами: скоро ли вынесут приговор, оправдали ли кардинала?

— Я ничего не знаю, но, кажется, пристав скоро выйдет. Мое дежурство кончилось, и я тороплюсь домой, потому что умираю от голода.

— Пропустите же бедного голодного служаку! — закричал молодой человек, стоявший у двери. — Смотрите, до чего он утомлен. Пойдемте, добрый старичок, давайте вашу руку, обопритесь на меня!

Толпа раздалась и пропустила их, а затем снова устремила все свое внимание на дверь.

— Приговор вынесен? — тихо спросил молодой человек у старика.

— Да, господин Тулан, — шепотом ответил тот, — советник сунул мне его в руку, когда я подавал ему стакан воды.

— Давай его сюда, Жан, но так, чтобы никто не заметил.

Затем молодой человек расстался со стариком, благодаря своей богатырской силе, скоро проложил себе дорогу сквозь толпу и поспешно направился более тихими улицами к воротам, ведущим на Версальскую дорогу.

За воротами юноша в синей блузе с ленивым и скучающим видом вил по дороге оседланного коня.

— Эй, Ришар! — крикнул молодой человек.

— А, господин Тулан! — обрадовался блузник. — Наконец-то! Я жду вас уже целых восемь часов!

— За каждый час получишь по франку, — ответил Тулан, сядя на лошадь. — Ступай домой, а если увидишь мою невесту, кланяйся ей от меня!

Он прищпорил коня, и сильное животное помчалось по Версальской дороге с быстротой стрелы, пущенной из лука.

В Версале этот день также провели в беспокойном ожидании. Король, покончив с делами и отпустив своих министров, отправился в свою мастерскую, чтобы вместе со своим слесарем Жираром поработать над новым замком, честь изобретения которого принадлежала самому королю.

Королева также весь день не покидала своих комнат, и даже ее любимая подруга, герцогиня Жюли де Полиньяк, не могла развеселить ее. Видя, что все ее усилия ни к чему не приводят, герцогиня предложила отправиться в Трианон и созвать обычных друзей; но королева, грустно покачав головой, с горькой улыбкой сказала:

— Вы говорите о моих друзьях? Кружок моих друзей рассеялся, и я знаю, что нельзя склеить то, что разбито.

— Неужели вы, ваше величество, не верите больше в своих друзей? — с упреком сказала герцогиня. — Неужели вы и во мне сомневаетесь?

— В тебе я не сомневаюсь, дорогая Жюли, — нежно ответила Мария Антуанетта, — я только вообще сомневаюсь, что у королевы могут быть истинные друзья. По отношению к моим друзьям я забывала, что я — королева, они же никогда не могли забыть это.

— Они не должны были забывать это, ваше величество, — кротко сказала герцогиня, — при всей любви к вам они должны помнить, что столько же обязаны вашему величеству

уважением, сколько привязанностью; столько же преданностью, сколько дружбой. И если вы, ваше величество, по свойственной вам доброте и мягкосердечию, снисходили спускаться до ваших друзей, то им ни в каком случае не подобало пытаться возвыситься до вас.

— О, Жюли, ты заставляешь меня страдать, ужасно страдать! — простонала Мария Антуанетта, прижимая руку к сердцу, точно желая удержать слезы, которые в нем кипели и просились на глаза.

— Вы, ваше величество, знаете, — продолжала герцогиня с кротким, но жестоким спокойствием, — как редко и с каким страхом я позволяю себе пользоваться расположением вашего величества, как редко решаюсь произносить дорогое имя моей государыни, имя, которое имеют право произносить лишь императрица, ваша мать, и ваш царственный супруг. Вы, ваше величество, также знаете, что...

— Все, все знаю, — грустно прервала ее королева, — знаю, что королевы не созданы для того, чтобы любить, быть любимыми и счастливыми. Знаю, что все вы, кого я так искренне любила, скорее опасались моей любви, чем дорожили ею. И, узнав это, я чувствую, что счастье отлетело от меня. В будущем я вижу лишь мрачные тучи, грозящие бурей. У меня нет больше иллюзий: дни радости прошли, прошли светлые дни Трианона, залитого солнечным сиянием, благоухавшего цветами!

— Так вы, ваше величество, не желаете пойти туда? А между тем закат сегодня должен быть великолепным.

— Великолепный закат! — с горькой улыбкой повторила королева. — Этикет позволяет королеве хоть это удовольствие: видеть, как закатится солнце и наступит тьма. Но он запрещает ей радоваться красоте просыпающегося дня. Я лишь один раз, будучи уже королевой, захотела видеть восход солнца, и это мне вменили в преступление, и вся Франция забавлялась эпиграммами и сатирическими стихотворениями моих врагов. А наступление ночи я сама не хочу видеть: в моем собственном сердце темная ночь. Ступайте, Жюли, уходите, не то моя печаль пристанет к вам, и это еще более опечалит меня.

Жюли де Полиньяк не возразила ни слова и, сделав положенный реверанс, неслышными шагами вышла из комнаты.

Королева стояла, отвернувшись; услышав легкий скрип двери, она быстро обернулась и увидела, что она одна.

— Она бросила меня! Она в самом деле ушла! — горестно воскликнула Мария Антуанетта. — Ах, и она — такая

же, как все! Она никогда не любила меня... Но кто же наконец любит меня? — с отчаянием продолжала она. — Кто на всем свете забывает, что я — королева? Боже, Боже, я так жажду любви и дружбы и не могу найти их, а они обвиняют меня за то, что в моей груди бьется сердце! О, Боже, сжался надо мной, сделай меня слепой, чтобы я не видела вероломства моих друзей, оставь мне хоть веру в мою милую Жюли, не заставляй меня так горько чувствовать свое одиночество!

Она упала на стул и, закрыв лицо руками, предалась своим тяжелым думам. Солнце село, начинало смеркаться.

Мария Антуанетта опустила руки и содрогнулась.

— Теперь они уже произнесли приговор, — прошептала она, — теперь уже решен вопрос, позволительно ли безнаказанно оскорблять королеву Франции. Ах, если бы я могла узнать наверное! Я пойду к Кампан.

Она быстро прошла через свою уборную и отворила дверь в комнату своей главной камер-фрау. Мадам Кампан стояла у окна и так пристально всматривалась в надвигающуюся темноту, что не заметила прихода королевы, пока та не позвала ее.

— Господи помилуй, королева! — с испугом воскликнула она. — Здесь, у меня?!

У Марии Антуанетты вырвался жест нетерпения.

— Вы хотите сказать, что этикет не позволяет королеве входить в комнату ее доверенной камер-фрау? Бывают дни, милая Кампан, когда королевская мантия прикрывает бедное человеческое сердце, нуждающееся в сочувствии. Я знаю, что вы преданы мне, и пришла к вам. Кампан, вы, кажется, говорили, что, как только приговор будет произнесен, вы тотчас получите известие об этом?

— Да, ваше величество, я потому и стояла у окна, что поджидала моего посла.

— Как это странно! — задумчиво сказала королева. — Я называюсь королевой Франции, а у меня нет никого, кто поторопился бы принести мне это важное известие; у моей же камер-фрау есть преданные друзья, делающие для нее то, чего никто не делает для королевы.

— Простите, ваше величество, — с улыбкой возразила Кампан, — это делают для меня только потому, что я служу вашему величеству. Вчера я была у члена парламента Бюжо, который женат на моей двоюродной сестре...

— Вы были там не ради своей кузины, а ради самого Бюжо, — с тонкой улыбкой заметила королева. — Признайтесь, моя добрая Кампан, что вам хотелось подкупить этого господина.

— Что ж, признаюсь вашему величеству, что хотела узнать, действительно ли советник Бюжо перешел в другой лагерь. Вы, ваше величество, знаете, что госпожа де Марсан объездила всех членов суда, заклиная их не осуждать кардинала.

— Не осуждать кардинала, то есть обвинить меня! — горячо воскликнула королева. — Ведь оправдать его, значит, обвинить меня, затронуть мою честь!

— Так и я сказала Бюжо и, к счастью, нашла себе поддержку в его семье. Могу заверить ваше величество, что в этом семействе есть люди, преданные вашему величеству всей душой.

— Кто же это? — спросила Мария Антуанетта. — Назовите их мне; по крайней мере, в тяжелые дни мне будет о ком вспомнить.

— Во-первых, дочь Бюжо хорошенькая Маргарита, которая обожает вас и постоянно копит свои маленькие сбережения на поездки в Версаль, чтобы видеть ваше величество; затем жених малютки, молодой Тулан, умный, прекрасный молодой человек, восторженно поклоняющийся вашему величеству. Это он обещал мне немедленно известить меня об исходе процесса, а его красноречию я неизмеримо больше, чем своему собственному, обязана тем, что Бюжо в конце концов решился подать голос против кардинала.

В это время дверь в приемную отворилась, и лакей доложил, что ожидаемое лицо прибыло.

— Это Тулан, — шепнула Кампан. — Скажите этому господину, — громко обратилась она к лакею, — что я прошу его обождать одну минуту. Ступайте! Прошу ваше величество дозволить мне принять здесь этого молодого человека, — сказала она королеве, когда лакей вышел.

— То есть, другими словами, вы просите меня уйти? — улыбнулась королева. — Но я предпочитаю остаться. Я хочу видеть человека, о котором вы говорите, что он мне предан, и хочу как можно скорее узнать, какие известия он привез. Посмотрите, экран у камина гораздо выше моего роста; если я встану позади него, никто не увидит меня, тем более, что уже темно. Велите молодому человеку войти; я горю нетерпением узнать, каков приговор.

Королева спряталась за экраном, а Кампан отворила дверь и позвала:

— Войдите, господин Тулан!

В ту же минуту на пороге появилась сильная, высокая фигура молодого человека. Его щеки горели от быстрой езды, глаза сверкали, дыхание было прерывисто.

Кампан с ласковой улыбкой протянула ему руку.

— Вы сдержали свое слово и привезли мне известие о решении суда? — спросила она.

— Да,— тихо и печально ответил он,— и мне очень жаль, что вам пришлось так долго ждать, но на колокольне Святого Иакова било уже восемь часов, когда я получил его, так что это — не моя вина.

— Восемь часов? — повторила Кампан, взглянув на часы.— Да ведь теперь только еще девять; не станете же вы уверять, что сделали четыре мили в один час?

— Это так и было, и уверяю вас, что в этом нет ничего необыкновенного. Я велел в четырех пунктах выставить подставы; лошади были хорошие. Мне иногда казалось, что я лечу на птице, у меня еще и теперь такое чувство, будто я лечу. Прошу извинить меня, но позвольте мне сесть: у меня немного дрожат ноги.

— Садитесь, мой милый юный друг! — воскликнула Кампан, поспешно придвигая ему кресло.

— Мне нужна только одна минута отдыха,— сказал он, бросаясь в кресло,— но не думайте, что мои ноги дрожат от быстрой езды! Нет, это от радости, что я, может быть, имел счастье оказать королеве маленькую услугу; ведь вы говорили, что для ее величества крайне важно получить известие о приговоре как можно скорее, и, не правда ли, никто не успел предупредить меня?

— Никто, друг мой; королева узнает его от вас, и я скажу ее величеству, от кого именно я получила его.

— Нет, нет, не говорите! Кто знает, благоприятно ли это известие; если оно огорчит ее величество, это огорчение будет в ее воспоминании связано с моим именем, и это имя станет для нее неприятно. Пусть уж лучше королева ничего не узнает обо мне!

— Боже мой! — воскликнула Кампан.— Значит, вы не знаете, в чем состоит приговор?

— Не знаю. Отец моей невесты переслал мне его письменно, и я не хотел терять время, чтобы прочесть его. Возможно, что я поступил так из трусости, потому что, если бы в приговоре оказалось что-либо, что могло бы рассердить королеву, то я, пожалуй, не решился бы привезти вам известие о нем. Поэтому я повез его, не читая, думая лишь о том, что могу избавить ее величество от нескольких минут беспокойства и ожидания. Вот бумага; пусть справедливый Господь не допустит, чтобы в ней заключалось что-либо печальное для ее величества! — Он встал и передал Кампан сложенную бумагу.— А теперь,— сказал он,— позвольте мне удалиться: моя

невеста ждет меня, притом в Париже опасаются волнений, и мне необходимо быть дома.

Кампан с чувством пожала ему руку и произнесла:

— Поезжайте, мой юный друг, я от всего сердца благодарю вас за вашу преданность и верность. Будьте уверены, что королева узнает об этом. Прощайте!

— Нет! — вскрикнула Мария Антуанетта, выходя из-за экрана. — Подождите. Вы не должны уехать, не получив благодарности от вашей королевы за свое бескорыстное желание оказать ей услугу.

— Королева, сама королева! — бледнея, прошептал Тулан и, упав на колени, с таким обожанием, с такою преданностью взглянул на Марию Антуанетту, что она почувствовала себя растроганной.

— Я за многое должна поблагодарить вас, — сказала она, — не только за то, что вы поторопились привезти мне важное известие, но за доказательство того, что у королевы еще есть преданные слуги и верные друзья. Это сознание смягчит для меня горечь даже дурного известия. Еще раз благодарю вас!

Поняв, что королева отпускает его, Тулан поднялся с колен и, не отрывая взора от ее лица, попятился к двери, где он снова упал на колени, и, сложив молитвенно руки, поднял взор к небу, причем торжественно и с волнением произнес:

— Господи, Царь небесный, благодарю Тебя за этот счастливый миг! С этой минуты я посвящаю себя служению моей королеве и с радостью пожертвую ей своей кровью, своей жизнью, если это может послужить к ее благу. Клянусь в этом; Бог и королева слышали мою молитву! — и, не бросив больше взгляда на королеву, не сделав ей положенного поклона, Тулан вышел из комнаты, затворив за собою дверь.

— Как странно, как странно! — тихо промолвила королева. — От его клятвы у меня вся душа содрогнулась, и что-то говорит мне, что я буду страшно, невообразимо несчастна и что тогда этот молодой человек окажется возле меня.

— Ваше величество сегодня взволнованы, поэтому все кажется вам имеющим значение и мрачный смысл, — тихо возразила Кампан.

— Но где же приговор? Дайте же мне приговор! Я хочу сама прочесть его!

— Не лучше ли вашему величеству узнать решение суда в присутствии его величества, чтобы сам король прочел вам его? — нерешительно заметила мадам Кампан.

— Нет, нет! Если приговор для меня благоприятен, я буду иметь радость лично сообщить его королю; если нет, то я успею овладеть собой и собраться с духом, прежде чем уви-

жусь с королем. Пойдемте ко мне в кабинет: там уже зажег огонь. Вы первая доставили мне известие, вы же первая должны узнать решение судей. Пойдемте, Кампан!

Мария Антуанетта быстро вернулась в свои покои, сопровождаемая Кампан, следовавшей за нею с опущенной головой и тяжелыми предчувствиями.

В фарфоровом кабинете, на столе из севрского фарфора и розового дерева горели свечи в высоких серебряных канделябрах, каждый в четыре свечи: королева не любила яркого освещения в своих интимных комнатах. Кроме этих восковых свечей, в кабинете не было другого освещения. Королева села в кресло у стола и, взяв у Кампан бумагу, сказала:

— Впрочем, нет! Прочтите ее вы, но смотрите — читайте все так, как там написано!

Кампан развернула бумагу и подошла к самому столу, а королева, наклонившись всем телом вперед, сложила руки на коленях и устремила на нее взор, полный нетерпеливого ожидания.

Кампан прочла:

— «Пункт первый: письма и денежная расписка за подписание королевы, послужившие поводом к процессу, признаны фальшивыми.

Пункт второй: Граф Ламотт заочно приговаривается к пожизненным работам на галерах.

Пункт третий: Обвиняемая Ламотт приговаривается к наказанию кнутом, клеймению обоих плеч буквой О и к пожизненному заключению в богадельню.

Пункт четвертый: Рето де Вильет подвергается пожизненному изгнанию из пределов Франции.

Пункт пятый: Мадемуазель Олива считается по суду оправданной.

Пункт шестой: Кардинал...»

— Ну! — вскрикнула королева. — Что ж вы остановились, Кампан, отчего вы дрожите? Его оправдали!

Кампан прочла дальше:

— «Кардинал де Роган оправдан от всяких подозрений и ему дозволяется перепечатать это постановление суда».

— Оправдан! — закричала королева, вскочив с кресла. — Оправдан! Ах, Кампан, значит, то, чего я боялась, — правда! Королева Франции может безнаказанно сделаться жертвой гнусной интриги, оскорбительной клеветы! Один из подданных королевы оскорбляет ее честь, ее достоинство, ее добродетель, и для него нет наказания, его оправдывают! Пожалейте меня, Кампан! Но и я в свою очередь жалею вас, жалею и оплакиваю Францию: если я не нашла беспристрастных судей в вопросе, касающемся моей чести, на что же могут надеяться

другие, если им придется вести процесс, затрагивающий их счастье, их честь? Я опечалена до глубины души и мне кажется, что с этого момента мою жизнь окутала ночная тень и... Боже мой, что это? — прервала она себя. — Это вы задули свечу, Кампан?

— Ваше величество, вы видите, что я не оборачивалась к свечам.

— Но посмотрите же: одна из свечей погасла!

— Это правда, — ответила Кампан, смотря на потухшую свечу, от которой поднимался голубоватый дымок, — но если вы, ваше величество, позволите...

Она вдруг умолкла, и на ее лице появилось выражение испуга: вторая свеча на том же канделябре также погасла.

Королева не вымолвила ни слова; с побелевшими губами, с широко открытыми глазами она следила, как потухала последняя искра.

— Позвольте, ваше величество, я сейчас зажгу свечи, — сказала Кампан, протягивая руку к канделябру, но королева удержала ее.

— Оставьте, — прошептала она, — я хочу видеть, погаснут ли и другие две свечи...

Она вздрогнула и, медленно поднявшись с кресла, с безмолвным ужасом указала рукой на второй канделябр: одна из его свечей погасла.

Теперь в кабинете горела только одна восковая свеча, слабо озаряя небольшое пространство около стола; остальная часть комнаты тонула в темноте.

— Кампан, — прошептала королева, протягивая руку к горевшей свече, — Кампан, если эта четвертая свеча погаснет, как остальные, то это будет означать для меня дурное предзнаменование, возвещающее о надвигающемся несчастье.

В эту минуту пламя затрещало и ярко вспыхнуло, потом так же быстро потускнело, померкло, опять вспыхнуло и погасло. В комнате стало совершенно темно. Королева громко, пронзительно вскрикнула и без чувств упала на пол.

VIII

Пред венцом

Свадебные гости уже съехались. Жена члена суда Бюжо уже прикрепила белый вуаль на голову невесты, своей дочери Маргариты, и в последний раз обняла и поцеловала ее как дитя, до сих пор принадлежавшее своей матери.

Сегодня мать прощалась с дорогим прошлым, отпуская свое дитя из родительского дома в свет, где молодая женщина должна была устроить себе свой собственный очаг. Этот момент всегда тяжел для материнского сердца, потому что, кто знает, что пошлет человеку будущее!

Несмотря на горечь минуты, Бюжо тщательно удерживала слезы, чтобы не омрачить ими этого дня. Слезы, пролитые на венок невесты, считаются предшественниками несчастья, а нежная мать стремилась отвести от своей дорогой Маргариты всякое горе, всякое несчастье.

— Ступай, моя девочка, — сказала она с улыбкой, и один Бог знал, чего стоила ей эта улыбка, — вступи в новый мир, будь счастлива, и дай тебе Бог никогда не пожалеть о той минуте, когда ты переступила порог родного дома, чтобы войти в свое новое жилище.

— Дорогая матушка! — воскликнула Маргарита. — Дом, в который я вступаю, принадлежит тому, кого я люблю, а мое новое пристанище — его благородное, доброе, великодушное сердце.

— Дай Бог, милая дочка, чтобы через много лет ты могла повторить мне эти слова!

— Я уверена, что буду в состоянии повторить их, потому что мое сердце полно радостной уверенности. Тулан любит меня, и я никогда не буду несчастна. Слышишь его шаги, матушка? Он зовет меня.

Дверь отворилась, и на пороге действительно показался жених в скромном праздничном костюме. Его лицо было серьезно, но приветливо; сияющие глаза нежно смотрели на невесту. Он быстро подошел к ней и, поцеловав ее маленькую, дрожащую ручку, сказал:

— Все гости уже собрались, дорогая, и священник в церкви.

— Так пойдем же, Луи, — ответила невеста, но он удержал ее:

— Подожди, дорогая! Пред тем как отправиться в церковь, я хотел бы сказать тебе несколько слов.

— Это, значит, милый сын, что я должна оставить вас наедине с невестой? — улыбаясь, сказала Бюжо. — Не стесняйтесь: это вполне естественно, и я нисколько не ревную своей дочери к вам. Да теперь я не имею права вмешиваться в ваши тайны. Пусть Один Господь слышит то, что жених хочет сказать своей невесте пред венчанием! — и, ласково кивнув молодым людям, она вышла из комнаты.

— Я надеюсь, Луи, — прошептала встревоженная невеста, — что не случилось ничего дурного? Ты так серьезен... Луи, ведь ты любишь меня?

— Люблю, Маргарита, но все-таки, прежде чем ты произнесешь слово, которое навеки свяжет тебя со мною, я должен открыть тебе всю свою душу, чтобы, когда придет время испытаний, мы встретили его с радостной твердостью.

— О, Боже, Боже! — прошептала молодая девушка, сердце которой вдруг сильно забилося. — Что такое придется мне услышать?

— Есть женщина, Маргарита, образ которой живет в моем сердце: это королева Мария Антуанетта.

Молодая девушка свободно вздохнула и рассмеялась.

— Ах, как ты напугал меня, Луи! Но королеву я также люблю и почитаю, и в моем сердце она также занимает место. К королеве я не могу ревновать тебя и люблю ее не меньше, чем ты.

— Нет, Маргарита, — с снисходительной улыбкой возразил Тулан, — ты любишь ее не так, как я: ты не обязана ей всем, как я. Позволь мне рассказать тебе про моего отца, который бедствовал, страдал и голодал, чтобы кормить и воспитывать меня. Он служил в армии и отличился во многих сражениях, за что получил орден Святого Людовика. Затем ему, как увечному, дали отставку, что было для него большим несчастьем, так как офицерское жалованье составляло его единственные средства к жизни. Он страстно любил свою жену, обожал своего сынишку и вдруг лишился возможности прокормить их. При одной осаде он потерял правую руку и таким образом был лишен возможности получить место в каком-нибудь министерстве. Приходилось умирать с голода. Отец не мог поверить, что король допустит своего верного воина, кавалера ордена Святого Людовика, потерявшего силы и здоровье на службе своему монарху, терпеть такую нужду; он решил поехать в Париж, просить самого короля. Это путешествие было последней надеждой семьи, но, прежде чем оно состоялось, моя мать заболела и умерла. Она была опорой, поддержкой, утешением отца; теперь у него не осталось других надежд, кроме надежды на помощь короля Людовика. Продав все, что могли, мы отправились в Париж. Мой бедный отец от слез и горя почти лишился зрения. Мне было двенадцать лет, я с самого раннего детства видел горе и лишения, но твердо верил в будущее. От долгой ходьбы мои башмаки развалились, ноги распухли и были в крови. Видя это, отец велел мне сесть к нему на плечи и хотел нести меня, но я преодолел свою боль и продолжал идти пешком, пока не упал на дороге без чувств.

— И ты никогда не рассказывал мне этого! — со слезами воскликнула Маргарита.

— С тех пор как я полюбил тебя, я забыл все, что было печального в моей жизни. Теперь я рассказываю это тебе, чтобы ты поняла мои чувства. Слушай дальше, дорогая! После долгих мучений мы наконец прибыли в Париж и остановились в убогой гостинице. На другой день отец надел свой мундир, украсил грудь орденом Святого Людовика, и мы вместе отправились в Версаль — отец очень плохо видел, и я должен был вести его. Мы поместились в большой галерее, по которой весь двор проходит, возвращаясь из церкви в королевские покои. Держа в руках прошение, которое я написал под его диктовку, отец поместился недалеко от двери, в которую входила королевская чета. Я стоял рядом с ним и с любопытством разглядывал нарядную толпу людей, также с прошениями в руках наполнявших зал. Я удивлялся, что они также чего-то просили, несмотря на свои богатые платья и веселый вид. Все эти господа оттеснили моего отца к стене; наконец появились король и королева, но они прошли, ласково улыбаясь просителям и принимали от них просьбы, и даже не заметили нас. Мы печально вернулись домой, но на другой день снова пришли в Версаль, и снова знатные просители оттеснили моего отца. Но я расхрабрился и пробился с ним вперед. Моя смелость была вознаграждена: король взял просьбу из рук отца и сам опустил ее в серебряную корзинку, которую нес шедший возле него главный заведующий королевской милостыней. Мы считали себя спасенными: мой отец ожил. На другой день мы опять пошли в Версаль. Король вышел в зал, заведующий милостыней громко вызывал по именам тех, кто получил ответ на свою просьбу, но имени моего отца не было между ними! Утешая себя тем, что ответ не мог быть получен так скоро, но что он получится завтра, мы каждый день приходили в Версаль, и так прошли две недели! Мой отец с каждым днем становился бледнее, его походка делалась все тяжелее, а я все более грустил и впадал в безнадежное отчаяние. Мы уже проели все, что у нас было; единственное наше достояние составлял крест Святого Людовика. Но его мы не могли лишиться, так как он открывал нам двери в Версаль и в галерею, а там была наша последняя надежда, наше последнее утешение.

«Завтра мы пойдем во дворец в последний раз,— сказал мне отец на пятнадцатый день,— если и завтра ничего не будет, то я продам свой орден, чтобы ты поел досыта, мой бедный, голодный мальчик, а там... пусть сжалится над нами Господь».

На другой день мы опять стояли в галерее. Мой отец был бледнее обыкновенного, но стоял, гордо подняв голову, и с презрением смотрел на весело болтавших и смеявших господ в богатом платье, которые свысока оглядывали бедного кавалера Святого Людовика. В моем детском сердце кипела ярость на всех этих гордых, надменных людей; слезы гнева стояли в моих глазах, в моей душе поднялось страшное возмущение против несправедливой судьбы, допускающей унижать и оскорблять бедность.

В эту минуту в галерею вошли король и королева. Король вышел на середину зала, заведующий милостыней начал вызывать по именам счастливых, которые приближались к королю и получали или желаемое, или надежду на его получение. Молодая королева стояла возле короля, и ее взоры случайно остановились на бледном, печальном благородном лице моего отца.

Этот взгляд показался мне солнечным лучом, радостным лучом надежды. Отец смотрел в это время на короля, тихо шепча про себя: «Сегодня я вижу его в последний раз!» — Я же видел только королеву и, целуя холодную руку отца, шептал ему:

«Надейся, дорогой отец, надейся! Королева заметила нас».

Да, она заметила нас. Она перестала говорить с какими-то кавалерами и, быстрыми, легкими шагами перейдя зал, подошла к нам. Ее большие серо-голубые глаза сияли приветом, лицо слегка покраснело от волнения. Она была одета очень просто, но от всей ее фигуры веяло величием.

— Дорогой мой кавалер, — сказала она, и ее голос прозвучал для меня, подобно небесной музыке, — вы уже подали королю свое прошение?

— Да, ваше величество, — дрожа, ответил отец, — уже две недели назад.

— И еще не получили ответа? — быстро сказала королева. — Я каждый день вижу вас и мальчика и из этого заключила, что вы надеетесь на ответ.

— Да, ваше величество, — ответил отец, — я жду решения: жить мне или умереть.

— Бедный! — тоном глубокого сочувствия сказала королева. — Такие две недели тяжело пережить! Я от души сожалею вас! Разве у вас нет протекции?

— Ваше величество, — сказал отец, — у меня нет другой протекции, кроме этого пустого рукава и справедливости того, о чем я прошу.

— Бедный! — со вздохом повторила королева. — Вы совсем не знаете света, если думаете, что этого достаточно. Я буду

вашей протекцией и похлопочу за вас пред королем. Скажите мне свое имя и в чем ваша просьба.

Внимательно выслушав ответ отца, она сказала с ласковой улыбкой:

— Будьте завтра на этом же месте: я сама передам вам ответ короля.

Мы пошли домой, окрыленные новой надеждой; мы больше не чувствовали ни голода, ни усталости; мы больше не боялись воркотни хозяина, заявившего, что он больше не хочет держать нас в долг. Мы упросили его подождать только до завтра, а голод утолили — радостными ожиданиями.

Мы встали на свое обычное место в галерее. Двери отворились, королевская чета вошла.

— Молись за меня, — прошептал мне отец, — молись, чтобы надежда наконец не обманула меня, иначе я упаду мертвый!

Но я не мог ни молиться, ни думать; я мог только смотреть на прекрасную молодую королеву, благородное лицо которой возбуждало во мне благоговение, точно это был образ царицы Небесной. Она окинула взглядом весь зал, встретила со мной взором, улыбнулась, и эта улыбка наполнила мою душу невыразимым одушевлением и восторгом. Теперь я мог молиться. Я упал на колени и шептал:

«Да будет благословение Божие над нашей королевой! Она избавит нас от страданий и спасет жизнь моему отцу!»

Она подошла к нам и, кивнув головой моему отцу, протянула ему запечатанный пакет, говоря:

— Вот, возьмите это! Король очень рад воздать должное одному из своих лучших офицеров. Он жалует вам ежегодную пенсию в триста луидоров, а я желаю вам и вашему мальчику еще много лет пользоваться ею в счастье и добром здоровье. Подите сейчас же с этой бумагой в казначейство, и вам выдадут пенсию за первую четверть.

Видя, что отец зашатался и близок к обмороку, королева кликнула нескольких придворных и приказала им помочь отцу и отправить его из дворца непременно в экипаже. Тогда все бросились помогать моему отцу, стараясь выразить ему необыкновенную заботливость и любезность, и бедный, пренебрегаемый, безрукий инвалид, которого толкали и оттесняли в угол, сделался предметом всеобщего внимания. Мы вернулись домой в придворном экипаже, и наш хозяин всячески старался услужить нам. Королева сделала нас счастливыми!

— Да будет благословение Божие над ее дорогой головой! — молитвенно сложив руки, сказала Маргарита. — Я буду вдвойне любить ее за тебя. Отчего ты не рассказал мне этого раньше?

— Есть чувства, — серьезно ответил Тулан, — которые так святы, что говорить о них можно лишь в самые торжественные минуты жизни. Сегодня такая минута, дорогая моя, и я открыл тебе всю свою душу. С того дня, как королева подарила нам благосостояние, счастье, покой, мое сердце, моя душа принадлежали ей. Ей я обязан спокойствием, довольством моего отца, счастливыми днями, которые мы с ним пережили вместе, моим образованием, словом — всем! Отец не хотел, чтобы я сделался военным. «Будь самостоятельным, свободным человеком, — говорил он, — примени силы своего ума, служи этим путем своему отечеству. А если для королевы наступит час опасности, ты сумеешь служить ей и бороться за нее до последнего вздоха». В этом я поклялся ему на его смертном одре. Он уже предчувствовал надвигающуюся грозу и часто со слезами читал брошюры и памфлеты, которые исходили из Парижа к нам, в Руан, куда мы вернулись и где я учился в лицее. «Поклянись мне, Луи, — говорил отец, — что, если Господь даст тебе силы, ты посвятишь жизнь служению королеве и будешь бороться с ее врагами!» И я поклялся в этом и отцу, и себе самому. Теперь я живу в Париже, занимаюсь книжной торговлей, и этим я также обязан королеве.

Предчувствие говорит мне, что близко то время, когда друзья королевы должны будут сплотиться вокруг нее, так как опасность приближается... Она уже приблизилась, Маргарита: дикие звери окружили овечку, и ей уже не уйти от них!

Враги гнездятся в королевском доме: граф Прованский, деверь королевы, годами преследует ее; он ненавидит «австриячку» за то, что в политике король следует ее, а не его советам; граф д'Артуа, когда-то единственный друг королевы в семье ее мужа, также отвернулся от нее с тех пор, как она, вопреки настояниям братьев короля, высказалась в пользу удвоенного числа представителей третьего сословия и убедила короля созвать генеральные штаты. Тогда граф д'Артуа перешел на сторону ее врагов, потому что королева благоволит к народу. А народ все же не верит ей, не верит ее любви, и все партии стараются поддерживать в народе это недоверие. Герцог Орлеанский мстит неповинной королеве за презрение к порочному принцу; тетки — за то, что занимают при дворе второе место; все придворные мстят ей за предпочтение, оказываемое семье Полиньяк. На нее клеветают, ей приписывают все, что случается дурного, ее делают ответственной за все неудачи, постигающие Францию. Во всех парижских клубах ее всячески поносят и требуют ее гибели; настало время, когда ее друзья должны действовать.

Я принял предложенное мне место представителя от Ру-ана, надел на себя маску демократа, чтобы успешнее служить королеве... Я люблю тебя, моя Маргарита, все, что относится к личной жизни, к личному счастью,— твое; но повторяю: я должен быть готовым, когда бы ни понадобилось, отдать свое счастье, свою жизнь королеве и без всякого сожаления, без малейшей жалобы.

Ты — возлюбленная моего сердца, она — святая, которой молится моя душа. Если она призовет меня, я должен буду оставить тебя и идти служить ей. Нашей родине предстоит мрачное время: страсти разнузданы, умы возбуждены, все стремится к свободе, которую до сих пор сковывала королевская власть. Итак, знай, Маргарита, что моя жизнь принадлежит королеве, но помни и то, что тебя я люблю, что только ты можешь дать мне счастье! Решай: согласишься ли ты делить со мной бури, которые мне предстоят? Подумай, испытай себя, не увлекайся великодушным порывом своего любящего сердца! Если ты увидишь, что жертва с твоей стороны слишком велика, отойди от меня! Я покорюсь, оставлю тебя без единой жалобы и буду любить тебя всю жизнь, буду благодарен за те часы счастья, которые ты мне подарила!

Тулан опустился пред Маргаритой на колени и робкими, умоляющими глазами заглянул ей в лицо. Она ответила взглядом, полным любви и одушевления, и этот взгляд осветил его душу, подобно солнечному лучу. Она прижала его голову к своей груди и, нежно поцеловав его черные кудри, прошептала:

— Я люблю тебя, Луи, и отдаю тебе свою жизнь. Я разделю с тобой все опасности, буду с тобой вместе бороться за королеву и, если суждено, умру за нее вместе с тобою.

— Господь да благословит тебя, Маргарита! — со слезами промолвил Тулан, пряча голову в ее коленях. — Ты ангел! В эту минуту наши души соединились союзом вечной любви и верности, и ничто никогда не разлучит нас!

Он горячо поцеловал невесту, а потом оба вышли с сияющими лицами к собравшимся гостям, которые теряли терпение, дожидаясь жениха и невесты.

Стоя пред алтарем, молодая пара громко и радостно произнесла свои обеты, сознавая, что эти обеты — в то же время и обеты верного служения обожаемой королеве.

После свадьбы все отправились в Версаль, где отец молодой давал блестящий обед.

— Скажите мне теперь, почтенный зятюшка, — сказал он молодому, когда они вошли в роскошно убранный зал, — по-

чему вы непременно желали, чтобы венчание происходило в церкви Святого Людовика, а свадебный обед — в Версале?

— Я хотел, чтобы моя новая жизнь началась именно здесь, где через несколько дней будут собраны генеральные штаты, чтобы защищать права народа против прав королевской власти. Таким образом Версаль делается для меня вдвое дороже. Я буду ему обязан, как муж — счастьем, как гражданин — свободой. А в церкви Святого Людовика я хотел венчаться потому, что люблю доброго короля Людовика, которого считаю истинным и искренним другом народа и который с радостью сделал бы этот народ счастливым, если бы только королева, австриячка, позволила это.

— Разумеется,— со вздохом ответил член парламента, принадлежавший к врагам королевы,— но она не хочет, чтобы Франция была счастлива. Чтоб ей сгинуть, этой королеве! От нее исходит все зло!

IX

Открытие генеральных штатов

Утром пятого мая 1789 года в Версальском дворце должны были состояться торжественное открытие и первое заседание генеральных штатов.

Ранний час назначен был для того, чтобы соблюсти все предполагавшиеся министерством церемонии; а также для того, чтобы произвести этим на представителей третьего сословия принижающее впечатление.

Для тысячи двухсот депутатов и для массы зрителей во дворце был отведен обширный зал, устройством и украшением которого занимался сам король, любивший строить и составлять планы. Король особенно заботился о блестящем и достойном украшении помещения, где он должен был встретиться лицом к лицу с представителями всей нации, на почве взаимного понимания и единения.

Людовик сам выбирал обои и занавесы для зала, чтобы смягчить изливший свет.

Когда представители третьего сословия прибыли в Версаль, они с изумлением увидели, что им нельзя войти в зал заседания тем же путем, каким входили в нее представители знати и духовенства: в то время как для этих последних были открыты главные двери, представителей третьего сословия направляли через большой сарай в узкий и темный коридор, где они, толпясь в тесноте, должны были

ждать, пока их впустят в зал. Здесь им пришлось ждать целых два часа, пока главный церемониймейстер, маркиз де Брэзе, пригласил их в зал. Их глазам представилось блестящее зрелище: два ряда колонн ионического стиля придавали огромному залу торжественный, величественный вид; главный свет проникал в него сверху, через овальное отверстие в потолке, драпированное белой тафтой, чтобы освещение не было слишком ярко. Поэтому в зале царствовал своеобразный, нежный полусвет, равномерно разливавшийся по всем углам. В глубине виднелись на богато украшенной эстраде королевский трон под балдахин с золотой бахромой, кресло для королевы, табуреты для принцесс и стулья для других членов королевской семьи. У подножия эстрады находились скамьи для министров и государственных секретарей; направо от трона были размещены скамейки для духовенства, налево — для дворянства; прямо против трона стояли скамьи, предназначенные для шестисот представителей третьего сословия.

Маркиз де Брэзе, с помощью двух других церемониймейстеров, начал указывать выборным их места. Когда в числе других депутатов от Крепи появился герцог Орлеанский, на трибунах зрителей, которые были расположены амфитеатром кругом зала, раздавались аплодисменты: все заметили, как герцог уступил дорогу священнику и заставил его пройти вперед.

Появились на отведенной им скамье министры в богато расшитых золотом мундирах; только один выделялся из их толпы своим простым костюмом и совершенно не принужденным видом, точно явился сюда для обыкновенного дела или для обычных салонных разговоров. Это был Неккер, новый министр финансов, от которого народ ожидал восстановления своего благосостояния. При его появлении среди депутатов и среди зрителей поднялся одобрителный шепот, перешедший затем в шумные выражения одобрения и громкие аплодисменты. Задумчивая улыбка, на мгновение промелькнувшая по строгому лицу Неккера, была единственным признаком того, что он понял, к кому относилось такое явное подтверждение популярности среди народа.

Во главе депутатов от Прованса появилась гордая фигура графа Мирабо; несколько рук поднялось, чтобы приветствовать и его таким же образом, но в эту минуту, в сопровождении королевы и прочих членов королевской семьи, появился сам король.

Все присутствовавшие в зале поднялись, как один человек, и разразились громкими, восторженными кликами одобрения и радости. По знаку Мирабо, представители третьего

сословия, так же восторженно изъяслявшие свою радость, не преклонили на этот раз коленей, как это бывало прежде на каждом собрании, но остались стоять. Только один из депутатов, красивый молодой человек с гордым, энергичным лицом, преклонил колено при виде королевы; но сильная рука соседа быстро подняла его.

— Господин депутат,— сказал этот сосед,— представители народа должны стоять пред монархией, не склоняясь!

— Вы правы, граф Мирабо,— ответил Тулан,— да я и не пред монархией преклонил колени, а пред прекрасной женщиной.

Мирабо не ответил и снова устремил свои пламенные взоры на короля.

В этот торжественный день король явился в порфире; на его голове была шляпа с перьями, а на ленте, прикреплявшей перья, горели лучшие коронные бриллианты.

Оказанный ему прием, по-видимому, тронул Людовика, и на его губах появилась улыбка, но, когда снова наступила тишина и он увидел пред собою серьезные, строгие лица депутатов третьего сословия, он смутился и даже содрогнулся. Королева напротив огляделась спокойно и величественно. Ее прекрасные глаза медленным, испытующим взглядом обошли весь зал и остановились на один краткий миг на лице Тулана. Казалось, она вспомнила черты человека, принесшего ей два года назад тяжелое известие об оправдании кардинала де Роган, и горькая улыбка скользнула по ее губам: этот человек сидел теперь среди ее врагов, глядевших на нее враждебными глазами; так-то сдержал он свою клятву! Но Мария Антуанетта уже ничему более не удивлялась: в последние годы ее покинуло столько друзей, столько людей, обязанных ей всем, что нечего было удивляться, если на сторону ее врагов перешел человек, клявшийся ей в верности, быть может, только под влиянием чисто юношеского восторженного порыва. Королева грустно потупилась: она и в этот торжественный миг встретила изменника.

«Наступит день, когда она узнает, что я — ее верный слуга,— подумал Тулан, понявший выражение ее лица,— и этот день вознаградит меня за удар кинжалом, который нанес мне сейчас ее взгляд. Держись, Тулан! Битва началась, ты должен победить или умереть!»

Королева так и не подняла больше своего взора. Она производила трогательное впечатление в своем простом наряде, с красивым, бледным лицом, которому тщетно старалась придать непроницаемо-спокойное выражение.

Людовик встал и обнажил голову. Королева также поднялась со своего кресла, чтобы выслушать речь короля.

— Сядьте, ваше величество, прошу вас! — с легким наклоном головы сказал ей король.

— Государь, — спокойно ответила королева, — не подобает вашей подданной сидеть, когда вы, ваше величество, стоите.

По рядам скамей пробежал ропот, а с одной стороны раздался иронический смех. Мария Антуанетта вздрогнула, точно от укуса ядовитой змеи, и бросила гневный взгляд в ту сторону, откуда прозвучал смех: она узнала его — это смеялся Филипп Орлеанский. Он даже не потрудился сделать серьезное лицо, и его дерзкий, вызывающий вид открыто говорил королеве, что он — ее смертельный враг, что он отмстит ей за ее презрение к развратному кутиле, за шутку, которая сделала его смешным в глазах всего двора; когда герцог, в одно и то же время мот и скряга, сдал нижний этаж своего дворца под лавки и конторы, королева сказала: «Теперь, когда вы сделали лавочником, мы, вероятно, будем видеть вас в Версале только по праздникам, когда ваши лавки закрыты?» Филипп Орлеанский помнил эти слова, когда глядел с насмешливой улыбкой в лицо королевы, и его глаза говорили ей о расплате и мести.

Король начал речь, которой он желал открыть первое собрание депутатов, и, пока он говорил, королева, слушавшая с глубоким волнением, не могла удержать слезы; а когда в конце речи Людовик сказал, что считает себя самым верным и искренним другом народа и что вся его любовь принадлежит Франции, Мария Антуанетта подняла глаза с кротким, молящим выражением, как бы говорившим собравшимся депутатам:

— Я также друг народа! Ах, и я также люблю Францию!

Кончив речь, покрытую долго не смолкавшими аплодисментами, король снова сел и надел шляпу. Представители дворянства также поспешили надеть шляпы; граф Мирабо, а за ним и большинство депутатов третьего сословия тотчас последовали их примеру. Но Тулану крайне захотелось помешать гордому демократу оставаться в шляпе в присутствии королевы.

— Шляпы долой! — громко крикнул он, и его слова были повторены и другими голосами.

Но тотчас же раздались новые крики:

— Оставайтесь в шляпах, не снимайте шляп!

Едва внимательное ухо короля уловило враждебный звук, как он сам немедленно снял опять шляпу, — и собрание должно было остаться с непокрытыми головами. Тулан достиг своей цели: депутаты не надели шляп в присутствии королевы.

После долгих, мучительных четырех часов церемония наконец окончилась, и королева, поклонившись по примеру короля собранию, вышла рядом с ним из зала. Некоторые депутаты крикнули: «Да здравствует король!» — но никто не возгласил имени королевы. Когда участники собрания вышли из дворца, их встретили крики многочисленной толпы, теснившейся пред дворцом. Народ видел депутатов, видел короля, слушавшего с ними обедню в церкви св. Людовика; теперь он желал видеть также королеву.

Лицо Марии Антуанетты озарилось радостью: с несчастного 1786 года она почти не слышала таких криков; напротив, со времени процесса де Ламотт она, появляясь публично, нередко слышала только ропот и даже свистки.

Все настоятельнее слышались возгласы:

— Королеву, королеву!

Мария Антуанетта вернулась в зал и вышла на балкон, приветствуя народ ласковой улыбкой; но вместо ответных радостных приветствий ее встретила зловещая тишина, прерванная внезапно пронзительным женским голосом: «Да здравствует герцог Орлеанский!» Несколько голосов подхватили этот возглас, затем раздался уже оглушительный крик многотысячной толпы:

— Да здравствует герцог Орлеанский! Да здравствует друг народа!

Королева, бледная и дрожащая, отшатнулась и почти без чувств упала на руки стоявшей за ее спиной герцогини Полиньяк. Ее глаза закрылись, из груди вырвалось судорожное рыданиe. А через открытые двери балкона доносился все тот же громкий и радостный крик:

— Да здравствует герцог Орлеанский!

Королеву отнесли в ее комнату и положили на постель. Думали, что она дремлет, так что при ней осталась только одна Кампан. Мертвая тишина, царившая в комнате, пробудила королеву из ее полубессознательного состояния; она открыла глаза и, увидев свою верную камер-фрау, стоявшую на коленях у постели, обняла ее и, рыдая, склонила голову на ее плечо.

— О, Кампан! — жалобно простонала она. — Настало время бедствий! Я погибла! Кончилось счастье, скоро кончится и моя жизнь. Наш смертный приговор произнесен!

Наследие дофина

Национальное собрание заседало в Версале уже четыре недели, то есть уже четыре недели возбуждение все возрастало, политические партии становились все непримиримее, все враждебнее. Ни одна из партий не высказалась за королеву; были только отдельные личности, преданные друзья, которые дерзали возражать против клевет, распространяемых на ее счет народной партией, демократами, партией герцога Орлеанского и других членов королевского дома. Все они соединились в нападки на королеву, стараясь совершенно уничтожить всякий след любви и уважения, когда-то, в далекие счастливые дни, окружавших ее в глазах народа.

Когда Мирабо внес в собрание предложение — объявить личность короля неприкосновенной, только один человек заявил поправку:

— Особы короля и королевы должны быть признаны неприкосновенными.

Этот человек был Тулан. Но никто не поддержал его предложения, и собрание утвердило его в первоначально предложенной форме.

— Это значит, что мне произнесли смертный приговор, — сказала королева министру полиции Бриенну, который должен был каждое утро докладывать ей обо всем, происходившем в Париже и Версале.

— Вы, ваше величество, преувеличиваете! — с ужасом воскликнул министр. — Я полагаю, что в постановлении собрания кроется совсем иной смысл: оно только означает, что королева, как не имеющая дела с политикой, не нуждается в таком постановлении.

— Ах, я вовсе не хотела бы заниматься политикой, — со вздохом сказала королева, — это и не в моем характере; но к этому меня принудили мои враги, сделавшие из наивной, простосердечной королевы интриганку. Ведь каждая женщина, мешающаяся в политику, — не что иное, как интриганка! Знаете, что я услышала вчера, проходя по галерее в кабинет короля на частное, секретное заседание? Какой-то музыкант сказал: «Королева, исполняющая свой долг, обязана оставаться в своей комнате за шитьем и вязаньем чулок».

— Ах, — вздохнул министр, — почему те, кто обвиняет вас в честолюбии и властолюбии, не слышат теперь вашего величества!

— Друг мой,— печально возразила королева,— никому нет дела до моих оправданий! Я должна быть виновной, должна быть преступницей, чтобы были правы мои обвинители. Перестанем говорить об этом! Я знаю, что меня ожидает, я это чувствую и умом, и сердцем: я погибла! Но я буду, по крайней мере, бороться до конца, чтобы погибнуть с честью, верная себе самой и взглядам, в которых была воспитана. Ну, расскажите мне теперь, с какими еще оскорблениями выступают против меня?

Бриенн вынул из своего портфеля целую пачку печатных брошюр и положил ее на стол пред королевой.

— Боже мой, сколько хлопот я доставляю своим врагам! — печально сказала Мария Антуанетта.— И как они, должно быть, ненавидят меня! Вот, например, брошюра: «Добрый совет госпоже Недоимке как можно скорее оставить Францию». Недоимка — это, конечно, я?

— Это злая выдумка герцога Орлеанского, ваше величество!

Глаза королевы вспыхнули гневом, но она удержалась от резкого замечания и продолжала перелистывать брошюры, памфлеты и карикатуры, и, пока она впивала яд этих проникнутых злобой и ненавистью слов, по ее щекам медленно катились тяжелые слезы, а ее грудь вздрагивала от конвульсивных рыданий.

Тронутый этим молчаливым горем, министр хотел взять обратно жестокие листки, но королева, удержав его руку, сказала:

— Нет, я должна знать все. Продолжайте все сообщать мне и не заблуждайтесь насчет истинной причины моих слез: ведь вполне естественно, что я очень чувствительна к обидам, наносимым мне народом, который я люблю, для приобретения любви которого я готова была бы на всякую жертву.

В эту минуту дверь без всякой церемонии распахнулась, и вошла герцогиня Полиньяк.

— Что случилось? — вскочив с места, воскликнула королева.— Вы с дурными вестями? Дофину хуже?

— Да, ваше величество, появились судороги, и доктора опасаются...

— Господи! Господи! — простонала королева, простирая руки к небу.— Неужели все несчастья зараз должны обрушиться на мою голову? Дитя мое, мой милый сын! И я плачу здесь из-за злобы моих врагов, когда мой сын умирает? Прощайте, господин Бриенн, я пойду к нему.— И королева так быстро побежала в комнату дофина, что герцогиня едва успевала за нею.— Он умер?! — спросила она у лакеев, стоявших

в комнате, предшествовавшей комнате дофина, но, не дожидаясь ответа, рванула дверь и вошла.

На кровати под балдахином неподвижно лежал бледный ребенок, с широко раскрытыми, остановившимися глазами и посинелыми губами, искривленными болью. Вокруг постели стояли врачи, наскоро призванный священник и слуги; все печально смотрели на маленькое, смертельно бледное существо, увядший цветок, который родился из праха и в прах должен был превратиться, и на бледную, дрожащую женщину, потрясенную горем мать, которая знала, что так же бессила отвратить роковой удар судьбы, как последняя из ее подданных.

Нежно обняв больного малютку, королева осыпала его поцелуями, орошая его личико слезами. И эти слезы, эти поцелуи еще раз вернули ребенка к жизни.

Остановившиеся глаза закрылись и снова открылись; дофин увидел плачущую мать и попытался улыбнуться ей и пошевелить рукой.

— Тебе больно, дитя мое? — прошептала королева, целуя его.

Мальчик взглянул на нее с глубокой нежностью и прошептал:

— Нет, мне больно только оттого, что ты плачешь, мама.

Мария Антуанетта тотчас же осушила свои слезы и постаралась улыбнуться, чтобы дофин, взоры которого не отрывались от ее лица, не видел ее горя.

В комнате было тихо; слышались только тяжелое дыхание умиравшего ребенка и молитвы стоявших вокруг кровати людей. Потом дверь тихо растворилась, пропустив мужскую фигуру, которая, на цыпочках приблизившись к постели, опустилась на колени рядом с королевой. Это был король, вызванный из заседания, чтобы присутствовать при кончине сына.

Священник начал громко читать напутственные молитвы, к которым присоединился шепот присутствовавших. Только королева не могла молиться и не сводила взора с сына, который уже не видел ее: его глаза потухли, наступила агония. Еще один вздох, и все кончилось.

Королева громко вскрикнула; по щекам короля проползли две тяжелые слезы, и его молитвенно сложенные руки затряслись.

Священник поднял руки и возгласил:

— Господь дал, Господь и взял. Да будет благословенно имя Его! Аминь!

— Аминь, аминь! — повторили присутствовавшие.

— Аминь! — повторил король, нежно закрывая глаза умершего сына. — Господь взял тебя к себе, сын мой, может быть, потому, что хотел избавить тебя от тяжелого горя и страданий. Да будет благословенно имя Его!

Королева склонилась над умершим и поцеловала его в губы.

— Прощай, сын мой, — прошептала она, — прощай! Ах, почему я не могу умереть вместе с тобой, уйти вместе с тобой из этого жалкого мира, полного печали! — Но тотчас же, как будто раскаявшись в своих горьких словах, она поднялась с колен и сказала священнику, окроплявшему тело усопшего святой водой: — Батюшка, будьте добры принести мне завтра список детей, родившихся сегодня в Версале от неимущих родителей: я хочу дать каждому ребенку по тысяче франков. Пусть матери этих детей благословляют счастливый для них день смерти моего сына!

— Пойдемте, Мария, — сказал король, — тело нашего сына принадлежит теперь не нам, живым, а могилам наших предков в Сэн-Дени, душа же его принадлежит Господу Богу... Дофин скончался, да здравствует дофин! Герцогиня, приведите дофина в кабинет его матери! Вашу руку! — и движением, полным гордого достоинства, которое так было ему свойственно в значительные моменты его жизни, он подал королеве руку и повел ее в ее кабинет.

— Ах, друг мой! — сказала королева, когда они вошли туда. — Здесь мы одни! Здесь я могу плакать о моем бедном мальчике! — и, обвив руками шею мужа, положив голову на его грудь, она громко заплакала.

Король крепко прижимал ее к груди, и слезы, которые обильно текли из его собственных глаз, горячими каплями падали на склоненную голову Марии Антуанетты. Оба они не видели, как портьера распахнулась, и вошла герцогиня Полиньяк, но, увидав королевскую чету в объятиях друг у друга и услышав громкий плач, она тотчас же отступила; потом, нагнувшись к мальчику, которого привела с собою, она что-то шепнула ему на ухо и тихонько толкнула его вперед, опустив сзади него портьеру. Малютка несколько мгновений нерешительно простоял на месте, смотря большими глазами то на родителей, то на букет фиалок и роз, который держал в руках.

Маленький Луи Шарль отличался той нежной, трогательной красотой, которая вызывает слезы и наполняет сердце грустью, потому что чувствуется, что жизнь с ее суровыми зимними бурями не пощадит этого нежного, невинного цветка и что сияющее ангельское личико ребенка должно пре-

вратиться в омраченное, изборожденное морщинами горя лицо мужчины.

Маленькая фигура четырехлетнего мальчика была прелестна: его ножки были обуты в сафьяновые сапожки с красными каблучками; широкие панталончики из синего бархата спускались ниже колен и у пояса были перехвачены широким голубым шарфом, концы которого, обшитые кружевами, свешивались с левого бока, из-под синей бархатной курточки виднелся вышитый колет, также украшенный кружевами. На круглом розовом личике с румяными губками и ямочкой на подбородке сияли большие, темно-голубые глаза, осененные длинными, темными ресницами; густые золотистые локоны обрамляли большой лоб и падали на плечи. Малютку можно было бы принять за ангела с одного из изображений рафаэлевских мадонн, если бы не вышитая серебром и сверкающая бриллиантами звезда, видневшаяся на его одежде, означавшая его королевское достоинство и отметившая это прелестное дитя печатью несчастья.

Ребенок несколько мгновений смотрел на плачущих родителей, потом подбежал к ним и, протянув им свой букет, сказал дрожащим голосом:

— Мама-королева, я принес тебе цветочков из моего сада!

Мария Антуанетта подняла голову и сквозь слезы улыбнулась своему сыну. Король выпустил ее из своих объятий, чтобы взять мальчика на руки.

— Мария, — сказал он, — взгляни на нашего сына, взгляни на дофина Франции!

Королева взяла обеими руками голову сына и долго смотрела в его розовое личико. Потом она наклонилась и, запечатлев долгий, нежный поцелуй на его чистом лбу, торжественно сказала:

— Бог да благословит тебя, дитя мое! Господь да благословит тебя, дофин Франции! Пусть не омрачают горизонта мрачные тучи, когда ты займешь трон твоих предков! Да благословит и сохранит тебя Бог, дофин Франции!

— Мама, — робко сказал мальчик, — зачем ты зовешь меня сегодня дофином? Ведь я твой маленький Луи, и меня зовут герцогом Нормандским!

— Сын мой, — торжественно сказал король, — по воле Божией у тебя теперь будет другое имя и другое назначение; твой бедный больной брат Луи навсегда оставил нас; он ушел к Богу, и теперь ты — дофин Франции.

— И дай Бог, чтобы это послужило к твоему счастью! — вздохнула королева.

— Это, наверное, не будет к моему счастью,— тряхнув своими кудрями, сказал маленький принц,— иначе мама-королева не плакала бы.

— Она плачет потому, что твой брат оставил нас,— сказал король.

— Разве он никогда больше не вернется? — спросил мальчик.

— Никогда, Луи!

Мальчик охватил руками шею матери и воскликнул:

— Ах, как это можно оставить милую маму-королеву и никогда больше не вернуться к ней! Я никогда не уйду от тебя, мама!

— Молю Бога, чтобы это была правда! — обнимая сына, прошептала королева.— Молю Бога, чтобы Он послал мне смерть раньше вас обоих!

— Не раньше меня! О, не раньше меня! — с ужасом воскликнул король.— Без тебя, дорогая, моя жизнь была бы пустыней! Без тебя король Франции был бы последним бедняком своей страны.

Она грустно улыбнулась ему.

— А со мной он будет, может быть, самым несчастным.

— Никогда, Мария, никогда, пока ты меня любишь! — горячо сказал король.— Не плачь больше: мы должны преодолеть свое горе и утешиться тем, что нам остается. Повторяю еще раз: дофин скончался, да здравствует дофин! Луи, ты будешь впоследствии королем Франции, потому что ты — наследник своего брата, то есть тебе принадлежат его права и титулы.

— А больше ничего? — спросил мальчик.— Мама-королева,— тихо прошептал он,— разве называться герцогом Нормандским не так же красиво и разве ты будешь больше любить меня, когда все будут звать меня дофином?

— Нет, дорогой мой, и я была бы счастлива, если бы ты оставался герцогом Нормандским.

— Ну, так я и не рад этому титулу, мама! Но я хотел бы знать, не оставил ли мой милый больной брат чего-нибудь другого мне в наследство? Если он больше не вернется и ничего не взял с собой, то я очень хотел бы получить кое-что... Это мне было бы приятнее, чем называться дофином!

— Я, кажется, догадываюсь,— сказала королева и, отворив дверь в другую комнату, шепнула несколько слов своему пажу.

Через минуту в комнату ворвалась маленькая черная собачка и с визгом бросилась к мальчику.

— Муфле! Муфле! — закричал принц, садясь на пол, между тем как собака нежно лизала его личико.— Мама-королева

отгадала! Папа, Муфле также — мое наследство? Мой братец и его оставил мне?

— Да, сын мой, собачка также досталась тебе в наследство, — с печальной улыбкой ответил отец.

Ребенок обнял голову собаки и нежно прижал ее к своему сердцу.

— Муфле — мой! Муфле — мое наследство! — радостно повторял он.

— О, детская радость, детская невинность, — сказала королева, поднимая к небу взор красных, заплаканных глаз. — Зачем не сопутствуют они нам через всю жизнь? Мой сын наследует королевство, а его радует маленький зверек, который с любовью лижет ему руки! Любовь — лучшее наследство! Пусть любовь живет в нас до самой смерти!

XI

Король Людовик XVI

14-го июля в Париже разыгрались ужасные события. В первый раз разверзся кратер вулкана революции, до сих пор дававшего знать о себе лишь подземными ударами. Потoki раскаленной лавы-мятежа, возмущения, убийств наводнили Париж. Верность, благоразумие — все отступило пред ними. Народ разрушил Бастилию, убил коменданта, и в первый раз прозвучал на улицах Парижа ужасный возглас: «На фонарь!». В первый раз железные перекладины фонарных столбов послужили виселицами, на которых вешали всех, обвиненных народным правосудием.

Волна революции еще не докатилась до Версаля. Вечером 14-го июля в королевском дворце наступила преждевременная тишина. Мария Антуанетта рано удалилась в свои комнаты; король также рано лег в постель и тотчас же погрузился в глубокий сон. Не успел он проспать и несколько часов, как камердинер разбудил его, доложив, что герцог Лианкур, состоящий при гардеробе его величества, просит принять его по неотложному делу.

После минутной нерешимости король поспешно встал с постели и приказал одеть себя. Войдя в смежную комнату, где ждал его герцог, известный своею преданностью Людовику XVI, король нашел его страшно расстроенным, с бледным как смерть лицом и дрожащими членами.

— Что случилось? — воскликнул король.

— Государь, — глухим голосом ответил Лианкур, — с моей стороны было бы преступлением скрывать от вашего величест-

ва известия, имеющие огромное значение и требующие решения вашего величества.

— Вы говорите о беспорядках в столице? — вздрогнув, спросил Людовик.

— В Париже произошли ужасные события, — продолжал герцог, — между тем я узнал, что вашему величеству они еще не известны. Главнокомандующий армией не решился известить вас, государь. О разрушении Бастилии было известно в Версале еще вчера вечером, но сейчас ко мне прискакал курьер с еще более ужасными известиями. Государь, как верно-подданный вашего величества, я позволяю себе сообщить вам то, что до сих пор препятствовало вашему величеству ясно понимать то, что происходит: в Париже не только разрушена Бастилия, но совершена масса преступлений и убийств. Окровавленные головы Делонэ и Флесселя яростная толпа на пиках носила по городу; часть гарнизона Бастилии безжалостно перерезана; многие из почтенных инвалидов, охранявших казематы, вздернуты на фонарные столбы. Во многих полках началось нарушение присяги; в городе насчитывается до двухсот тысяч народа, готового к бою. Поголовное возмущение ожидается сегодня же ночью.

Король выслушал герцога в молчаливом и грустном раздумье. Он побледнел, но его лицо осталось неподвижным, как и вся фигура.

— Итак, это, значит, мятеж? — после долгой паузы сказал Людовик, точно очнувшись от глубокой задумчивости.

— Нет, государь! — с жаром возразил герцог. — Это революция!

— Королева была права, — тихо прошептал король, — и теперь пришлось бы пролить потоки крови, чтобы прекратить зло. Но мое решение неизменно: кровь французского народа не должна быть пролита.

— Государь! — с волнением сказал Лианкур. — В этих словах вашего величества кроется спасение Франции и королевского семейства. В этот решительный час я осмеливаюсь, я считаю долгом вполне откровенно говорить с вашим величеством. Благословляю минуту, дающую мне возможность прямо обратиться к вашему сердцу! Опаснее всего, государь, последовать бессовестным советам ваших министров. Умоляю ваше величество появиться сегодня в заседании национального собрания и лично обратиться к народу со словами мира и успокоения! Ваше появление сотворит чудо и сделает собрание верным союзником правительства. Иначе революция примет ужасающие размеры.

Король смерил герцога долгим, пронизательным взглядом. Благородное одушевление, охватившее Лианкура, по-видимому, тронуло монарха. Он схватил его руку, крепко пожал ее и кротко сказал:

— Герцог, вы сами — один из наиболее влиятельных членов национального собрания: можете ли вы поручиться, что мое выступление будет принято так, как подобало бы в интересах государства и его правительства?

— Собрание только и жаждет умиротворяющего слова вашего величества, — убежденно ответил Лианкур, — беспокойство и сомнение растут с каждым днем; в сегодняшнем заседании могут быть приняты крайние решения, если вы, ваше величество, не сделаете спасительного шага.

В эту минуту дверь отворилась, и вошли Мосье (старший брат короля) и граф д'Артуа, оба в страшном волнении. Очевидно, известия, привезенные Лианкуром, уже распространились в Версале.

— Ваше высочество, — сказал герцог графу д'Артуа, — народ требует вашей головы; я сам видел ужасное объявление.

Пораженный ужасом принц неподвижно остановился посреди комнаты.

— Что ж! — сказал он затем, опомнившись. — Я, как и народ, предпочитаю открытую борьбу: они хотят моей головы, а мне хочется добраться до их голов. К чему тянут дело? Твердая политика, никаких уступок в пользу так называемых свободных идей и хорошо заряженные пушки. Только это и может спасти нас!

— Его величество избрал другое решение, — сказал Лианкур с глубоким поклоном в сторону Людовика.

— Прошу моих братьев, графа Прованского и графа д'Артуа, сопровождать меня сегодня в собрание, — твердо сказал король. — Я намерен объявить депутатам о своем намерении отозвать войска. Это докажет им, что я твердо решил дать им возможность довести до конца их совещания, потому что не имею другой цели, иного желания, как только выяснить себе волю народа.

Граф д'Артуа в ужасе отшатнулся; потом на его лице появилась язвительная усмешка. Старший брат короля, напротив, поспешил выразить монарху свое полное сочувствие.

В эту минуту вошла королева с толпой своих приближенных. Она была бледна и расстроена.

— Ваше величество, вы уже знаете, что произошло? — спросила она, схватив короля за руку.

— Скоро все опять придет в порядок, — с кротким достоинством ответил король, — я сам отправлюсь в собрание и

докажу народу свое доверие к нему, объявив об отзывании войск из Парижа и Версаля.

На лице королевы выразилось крайнее изумление; она горестным жестом прижала руку к голове и медленно сказала.

— Этим поступком вы, ваше величество, подтвердите факт существования революции, и меня очень огорчает, государь, что вы еще раз хотите принять участие в заседании отвратительных, враждебных вам людей, благодаря их участию в собрании, его давно следовало распустить, как это и было решено в прошлом месяце.

— Разве там уже так много дурных людей? — со своей добродушной улыбкой возразил король. — Вот, например, пред вами два достойнейших члена собрания: мой старый, верный друг, герцог Лианкур, и член вашей свиты, граф де Ламарк. Не правда ли, граф, я могу рассчитывать на поддержку ваших сотоварищей в собрании?

— Государь, — с чисто придворной любезностью ответил де Ламарк, — партия дворянства, к которой я принадлежу, еще более утвердится в своих верноподданнейших чувствах; духовенство возблагодарит Бога за проявление королевского авторитета, а третье сословие увидит, что спасение — в руках монарха.

Король улыбнулся, а затем произнес:

— Скоро пора отправляться в собрание, их королевские высочества благоволят сопровождать меня. Герцогу Лианкуру я поручаю отправиться вперед и немедленно по открытии заседания сообщить, что сегодня мы лично явимся в собрание.

Королева нежно и с большим волнением простилась с супругом. При виде его решимости и уверенности, которых прежде она у него не замечала, она снова начала надеяться; но скоро надежды уступили место прежнему беспокойству, и она вернулась в свои покои с грустно опущенной головой.

Заседание открылось рано, и начались бурные дебаты по поводу шагов, которые депутаты намеревались предпринять относительно короля. Граф Мирабо только что выразил в пламенной речи безусловное осуждение, чуть ли не проклятие по поводу праздника, данного королем иностранным полкам, когда появившийся в зале Лианкур подошел к эстраде оратора и, поднявшись на одну ступень, объявил о намерении короля явиться в собрание.

Изумление, потом тревога выразились на всех лицах. Депутаты повскакивали с мест и разделились на группы, обсуждая неожиданное событие. Начались горячие, длинные речи

относительно того, как принять короля. Наконец Мирабо снова вскочил на трибуну и голосом, покрывшим все остальные голоса, провозгласил.

— Печальное, молчаливое уважение — вот единственный прием, который мы можем оказать монарху. В момент всеобщего горя молчание является для королей самым действительным уроком.

Еще не смолкли громкие «браво», покрывшие слова Мирабо, как появился король в сопровождении обоих братьев, но без всякой свиты. Невзирая на все принятые решения, депутаты были так взволнованы его появлением, что громкие и долго не смолкавшие клики «Да здравствует король!» потрясли своды зала.

Людовик с непокрытой головой остановился посреди толпы и, не пожелав воспользоваться креслом, которое тотчас поставили для него на одной из эстрад, заговорил с чисто отеческой искренностью и достоинством. Он назвал себя вождем нации, доверчиво явившимся в среду ее представителей, чтобы выразить им все горе, причиненное ему случившимся, и вместе с ними найти средства к восстановлению порядка и спокойствия.

Это вступление явно успокоило все партии. Затем король упомянул о несправедливых подозрениях, будто личность каждого депутата не обеспечена безопасностью, и сослался на свой «всем известный характер», не допускающий преступных подозрений.

— Ах, ведь я доверяю вам! — воскликнул он. — Помогите же мне в этих тяжелых обстоятельствах восстановить спокойствие в стране! Я жду этого от членов национального собрания! Полагаясь на верность и любовь своих подданных, — с трогательной добротой прибавил он, — я приказал войскам очистить Париж и Версаль. Уполномачиваю вас сообщить об этом жителям столицы.

Восторженные крики радости несколько раз прерывали речь короля. Когда он кончил, энтузиазм достиг высшей степени. Бриенн произнес от лица собрания краткую благодарственную речь; затем король собрался покинуть зал. Тогда все депутаты поднялись со своих мест и проводили его до самой улицы. Так как король намеревался вернуться во дворец пешком, то все собрание отправилось провожать его. Казалось, самые неумеренные депутаты были побеждены.

Огромная толпа народа, стоявшая у дверей зала заседаний, увидев короля, окруженного сияющими радостью депутатами, присоединилась к их толпе, оглашая воздух громкими криками ликования. «Да здравствует король! Да здравствует

французская нация!» — гремел несмолкаемый возглас, от которого дрожал воздух. На дворцовой площадке стояли швейцарская и французская гвардии в боевой готовности, но и их захватил всеобщий энтузиазм, и к радостным кликам, знаменовавшим счастливое единение короля со своим народом, присоединились торжественный звук труб и бой барабанов.

Королева стояла на главном балконе, ожидая возвращения короля. Дофина она держала на руках; маленькая мадам держалась за руку матери. Печальные глаза Марии Антуанетты снова загорелись счастьем, когда она услышала восторженные крики народа и увидела огромную толпу, во главе которой шел король с веселым лицом, какого она давно не видала у него. Завидев супругу, Людовик поспешно снял шляпу и приветливо поклонился ей. Но очень немногие из депутатов последовали его примеру; большинство, молча и не кланяясь, смотрели на королеву, так что она, побледнев, отступила назад, в зал.

— Кончено! — со слезами сказала Мария Антуанетта. — Конец всем моим надеждам! Королева — самая несчастная женщина во Франции: ее не любят, ее презирают!

— Я люблю тебя, мама-королева, — прошептал, обнимая ее, дофин, тоже заплакавший при виде слез матери, — и все люди тебя любят, и маленький братец на небе молится за тебя!

— Люби, люби меня! — рыдая, ответила королева, осыпая поцелуями голову сына. — И пусть твой брат вымолит мне у Бога скорого избавления от всех этих мук! Не говори папе, что я плакала, — прибавила она, вытирая глаза.

С наступлением темноты можно было видеть множество тяжело нагруженных экипажей, время от времени выезжавших, быстро, но без шума, из внутренних дворов дворца: это граф д'Артуа, герцог Ангулемский, герцог Беррийский, герцоги Бурбонский и Энгиенский и принц Кондэ торопились тайно покинуть Францию. Людовик XVI сам посоветовал уехать графу д'Артуа; остальные принцы поддались общему страху. На другой день за ними последовали министры, отставленные по желанию национального собрания.

Королева знала из брошюрок, которые доставлял ей Бриенн, что семья Полиньяк возбудила к себе страшную ненависть благодаря своему высокому положению при дворе и огромным суммам, которые за разные должности получали все члены семьи, и Мария Антуанетта приготовилась к новой жертве: Полиньяки должны были быть удалены.

Когда уехали королевские принцы, королева позвала герцога и герцогиню Полиньяк и объявила им, что они также

должны бежать. Супруги встретили эти слова почти с негодованием. Обыкновенно кроткая и сдержанная Жюли выказала в этот момент своей царственной подруге горячую беззаветную привязанность.

— Позволь мне остаться с тобою, Мария,— рыдала она, обнимая королеву,— не удаляй меня от себя, я все равно не уеду! Я хочу разделить с тобой опасности, хочу умереть за тебя!

Но любящее сердце королевы нашло в себе силы противостоять просьбам любимой подруги.

— Так должно быть! — сказала она.— Именем нашей дружбы заклиная тебя, Жюли, уезжай немедленно, не то я умру от страха и беспокойства за тебя. Тебя ненавидят, и все только из-за меня. Ты не должна сделаться жертвой своей любви ко мне.

— Нет, я останусь! Ничто не заставит меня покинуть мою королеву!

— Герцог, убедите ее! — обратилась королева к Полиньяку.

— Я могу только повторить слова Жюли: ничто не заставит нас покинуть нашу королеву,— строго возразил герцог.— В дни счастья мы пользовались милостями вашего величества; теперь мы должны считать милостью со стороны королевы дозволение нам стоять возле нее в дни горя и несчастья.

— Несчастья и неудачи, преследующие нас, заставляют нас удалить от себя всех, кого мы любим и уважаем,— печально поддержал королеву вошедший в эту минуту король.— Возьмите своих детей и слуг и уезжайте. Когда мы встретимся — в лучшие времена, вы займете свои прежние должности, а теперь еще раз приказываю: уезжайте! — И, боясь заплакать, король кивнул головой и поспешно вышел.

— Вы слышали? — сказала королева.— Я также приказываю вам: уезжайте и немедленно!

— Ваши величества приказываете, нам остается лишь повиноваться,— с поклоном ответил герцог.

Герцогиня с громким рыданием упала пред королевой на колени и спрятала лицо в складках ее платья.

— Позвольте мне остаться! О, не гоните меня, Мария, моя Мария! — повторила она.

Королева делала тщетные усилия заговорить, но не могла. Она знала, что никогда больше не увидит своей подруги, но твердо переносила горечь разлуки.

— Жюли,— сказала она,— я была бы вдвойне несчастна, если бы повлекла тебя в опасности, которым подвергаюсь сама. Для меня будет утешением знать, что с тобой ничего не случилось. Я не скажу тебе, как король, что мы увидимся в

более счастливые дни, потому что я в них не верю: мы не преодолеем опасностей, но погибнем от них. Я говорю, Жюли: до свидания... если не на земле, то в лучшем мире! Не говори ни слова! Я не в силах вынести это! Твоя подруга будет вечно оплакивать тебя, но королева приказывает тебе немедленно уехать! Прощай!

Она, не глядя на подругу, все еще рыдавшую у ее ног, протянула ей руку, простилась с герцогом молчаливым кивком головы и быстро вышла из комнаты. В уборной ее ждала Кампан.

— Ах, Кампан! — воскликнула королева. — Свершилось, я рассталась со своим другом! Я больше никогда не увижу Жюли! Заприте двери, задвиньте задвижки, чтобы она не пришла сюда, я... о, я умираю! — и королева упала без чувств.

В полночь из дворца выехали две кареты: семья Полиньяк отправилась в Швейцарию. В последнюю минуту Кампан вручила герцогине два письма.

Первое Жюли должна была передать Неккеру, который после отставки поселился в Базеле. Так как и национальное собрание, и клубы, и народ, все желали его возвращения, считая его единственным человеком, способным упорядочить финансовый вопрос, то королева уговорила короля снова назначить его министром финансов, и теперь в самых лестных выражениях извещала об этом этого враждебного ей человека. Второе письмо было прощание, последний крик наболевшего сердца.

«Прощай! — написала королева Жюли Полиньяк. — Прощай, нежно любимый друг! Как ужасно звучит это слово!.. Но это необходимо!.. Прощай! Обнимаю тебя мысленно, прощай! Прощай навсегда!»

ХII

Пятое октября 1789 г.

Рассвело. Наступило ветреное октябрьское утро. Солнце едва выглядывало из-за туч, словно боясь взглянуть на то, что делалось на улицах Парижа.

Там собиралась национальная гвардия, созванная по тревоге, так как еще с вечера по городу распространился слух, что вожаками движения на завтрашний день назначен второй акт революционной драмы.

«Народ чересчур спокоен, — шепотом сообщали друг другу обыватели, — говорят, что его надо побудить к дальнейшему движению».

«Народ становится чересчур спокойным», — таков был лозунг во всех клубах вечером четвертого октября, и этот лозунг исходил от Марата.

— Париж в опасности! — кричал он сам в клубе громким, пронзительным голосом. — Париж готов сложить руки, чтобы молиться и спать. Нужно пробудить его от этой летаргии, иначе явится монархия, наденет на спящий город ночной колпак и так напаялит его ему на уши, что Париж никогда больше не проснется. Друзья, мы должны разбудить Париж! Париж не должен спать!

И Париж не заснул в эту ночь с четвертого на пятое октября, так как вожди движения постарались заставить его бодрствовать.

«В эту ночь булочники не должны печь хлеб! — объявили они. — Завтра утром парижане должны остаться без хлеба, чтобы они опять открыли глаза и не спали! Булочники не должны печь хлеб!»

Все клубы повторили это положение, и их эmissары распространили его по всему Парижу. Всем булочникам было строго внушено:

— Кто завтра откроет свою булочную, кто даст своим покупателям другой ответ, кроме следующего: «В Париже нет больше муки, нам не из чего было печь хлеб», — тот будет считаться изменником и понесет наказание. Остерегайтесь!

Булочники испугались угрозы и не пекли хлеба. Утром пятого октября Париж остался без насущной пищи. Сначала женщины, получившие от булочников страшный ответ, в ужасе вернулись домой, чтобы сообщить своим мужьям и голодным детям, что запасы муки иссякли, хлеба нет, придется голодать. Затем это известие распространилось по улицам и переулкам Парижа.

Женщины и дети кричали это пронзительными, отчаянными голосами; мужчины яростно рычали это, сжимая кулаки.

— А знаете, отчего Париж должен голодать? — визжал чей-то голос на площади Карусель, где толпилась масса народа. — Знаете, кто виноват в нашей нужде?

— Говорите же, если сами знаете это! — крикнул грубый мужской голос.

— Слушайте, слушайте! — раздался голос башмачника Симона. — Наш друг Марат объяснит нам, почему мы сидим без хлеба и принуждены голодать!

— Тише, добрые люди, тише! — закричала огромного роста женщина с растрепанными волосами и дерзким лицом, продираясь сквозь толпу к тому месту, где на тумбе, опираясь

на плечо Симона, стоял Марат. — Марат, друг народа, хочет говорить! Марат мудр и разумен! Марат любит народ!

Блестящие взоры зеленых глаз Марата устремились на гигантскую женщину; он вздрогнул, точно от прикосновения искры, и странное выражение радостного торжества засветилось в его взгляде.

— Подойдите поближе, добрая женщина! — закричал он. — Я хочу пожать вашу руку, а вас прошу передать это рукопожатие всем добрым, трудолюбивым, благородным парижским женщинам от их друга, патриота Марата!

Женщина подошла к нему и протянула ему руку; никто не обратил внимания на то, что эта рука была слишком бела и нежна для руки продавщицы зелени и что на одном из ее пальцев блестел крупный бриллиант.

Один Марат заметил это и, сжимая руку женщины в своей костлявой руке, нагнулся к ее уху и прошептал:

— Ваше высочество, снимите с пальца кольцо и старайтесь не обращать на себя внимания: вас могут узнать.

— Узнать меня? — побледнев, спросила женщина. — Я не понимаю вас, господин Марат!

— А я так очень хорошо понимаю герцога Филиппа Орлеанского, — еще тише прошептал Марат, заметивший, что сверкающие взоры Симона с любопытством устремлены на великаншу, — он хочет возбуждать и подстрекать народ, но не хочет компрометировать свое имя. Однако пред Маратом вам нечего скрываться, потому что Марат — друг вам; он уважит и сохранит вашу тайну.

— Чего вы там шепчетесь? — крикнул Симон. — Что же вы не начинаете своей речи, Марат? Ведь вы хотели нам объяснить, почему Париж голодает?

— Говорите же, брат Марат! — подхватила женщина. — И дайте мне еще раз пожать вашу руку от имени всех парижских женщин!

Марат, улыбаясь, протянул руку; женщина несколько мгновений продержала ее в обеих своих, потом затерялась в толпе, а на пальце Марата появилось бриллиантовое кольцо. Известно, заметил ли он это, так как теперь все его внимание было обращено на толпу.

— Вы спрашиваете, друзья, отчего в Париже нет хлеба? — визгливо крикнул он. — На это ответить очень легко; оттого, что главный булочник Франции закрыл свои запасы, а сделал он это потому, что так велела его булочница, которая ненавидит народ и хочет, чтобы он голодал! Но так как сама она голодать не желает, то и спряталась со своим булочником и мальчишкой-сыном в Версале, где их провиант охраняется

наемными солдатами. Что ей за дело, если парижане подохнут с голода! Ее мальчишка ест пироги, а ваши дети сидят голодные! Итак, прежде всего вам следует принять меры, чтобы булочник, булочница и все их отродье приехали в Париж и жили у вас на глазах; тогда вы узнаете, откуда они берут свой хлеб, и можете принудить их поделиться с вами!

— Уж мы сумеем принудить их! — с грубым смехом воскликнул Симон. — Вставайте же, братья, заставим булочника открыть нам свои запасы!

— В Версаль, в Версаль! — кричала великанша, вмешавшаяся в толпу рыбных торговков. — Пойдемте в Версаль, миленькие мои, скажем булочнице, что наши дети голодают! Пусть она даст им хлеба, не то заставим ее со всем отродьем и с булочником вернуться в Париж и голодать вместе с нами!

— Она завладела ключами от запасов! — крикнул Марат. — Это она не позволяет булочнику открыть для нас амбары!

— Все матери и все жены должны идти в Версаль и отнять у булочницы ключи! — ревела во весь голос великанша.

«В Версаль, в Версаль!» — пронеслось по всем улицам, и этот крик как будто обязывал женщин исполнить миссию — добыть хлеб для своих детей.

Словно ураган, крик носился по улицам, всюду находя отзвук в сердцах возмущенных, измученных, отчаявшихся и разъяренных женщин, голодных матерей голодных детей. Они толпами стремились на площади, а там их поджидали вожаки революции: Марат, Дантон, Сантерр, Шометт, ораторы клубов, и подстрекали их своими советами.

— Не давайте запугать себя и не давайтесь в обман, мужественные женщины! Спасайте от голода своих детей! Ваши мужья помогут вам, если придется разрушить Версаль! Только не робейте! Сам Бог за матерей, ищущих для своих детей хлеба!

И они не робели. Они устремились в Версаль, увлекая с собой всех встречных женщин и громко крича:

— В Версаль, в Версаль!

Напрасно парижский мэр убеждал их разойтись по домам, уверяя, что все булочные уже открыты, что запасов достаточно, что пекарям приказано печь хлеб; напрасно генерал Лафайетт, командир национальной гвардии, доказывал им ненужность и бесцельность их поступка, — толпа неудержимо стремилась вперед, все с тем же криком:

— В Версаль! Заставим булочницу и булочника вернуться в Париж!

— Нам придется или допустить их в Версаль, или прибегнуть к силе, — сказал мэр, обращаясь к Лафайетту, — удержите их силой, генерал!

— Невозможно, господин Балли! Как употребить силу против безоружных женщин? Ни один из моих солдат не послушает меня, потому что ведь это все — их матери, жены, сестры. У них только одно оружие — их языки, которыми они собираются покорить сердце королевы. Пусть идут! Только надо принять меры, чтобы король и королева не оказались в опасности.

— Это тем необходимее, генерал, что за этими женщинами непременно последуют толпы вооруженных мужчин. Торопитесь защитить от них Версаль!

— Мне не следует вести своих солдат в Версаль, — возразил Лафайетт, качая головой, — ведь вы знаете, на какой неразумный поступок побудила короля реакционная партия; весь Париж говорит о празднике, который королевская чета дала фландрскому полку, вызванному в Версаль. Король, королева и дофин присутствовали на празднике, где трехцветные кокарды топтали ногами и вместо них украшали себя белыми лентами. О национальной гвардии там отзывались с насмешками, пели роялистские песни и клялись королю и королеве исполнять их приказания. Мои солдаты возмущены, а офицеры требовали, чтобы я повел их в Версаль и наказал мятежный фландрский полк. Вы видите, что вести национальную гвардию в Версаль опасно.

— Но надо же что-нибудь предпринять для защиты короля! — настаивал Балли. — Поверьте, что эти разъяренные женщины гораздо опаснее рассерженных гвардейцев! Пойдемте в ратушу, генерал, и посоветуемся со старшими офицерами и с городским советом.

Через час на улицах послышался барабанный бой, так как на заседании в ратуше было решено отправить национальную гвардию в Версаль под начальством Лафайетта, чтобы, с одной стороны, защитить королевское семейство от нападения народных масс, с другой — защитить национальное собрание от нападения королевских войск. Но задолго до того, как гвардия выступила в Версаль, орда женщин уже отправилась в путь. Они двигались десятью отдельными колоннами, не менее тысячи женщин в каждой. Впереди каждой колонны шли несколько национальных гвардейцев и несколько вооруженных мужчин и поддерживали в толпе кое-какой порядок. По сторонам колонн также шли мужчины из народа, не дозволявшие уставшим или образумившимся женщинам возвращаться в Париж, говоря, что начатое должно быть доведено до конца, и возбуждая их мужество криками: «В Версаль, в Версаль!»

В Версале все было спокойно. Король отправился с несколькими кавалерами в Медон, на охоту, королева пошла в Трианон одна, совсем одна!

Где были все ее друзья, поклонники? Далеко, в чужих краях! Бежали от несчастья, которое простирало свои мрачные крылья над Версалем, над когда-то веселым Трианоном!

Как все было тихо и пусто! Мельница стояла безмолвная; открытое окно хлопало по ветру, но из него не выглядывало добродушное лицо мельника. Школьный дом также опустел: веселый учитель не писал более остроумных словечек на черной классной доске; он сочинял теперь памфлеты на королеву.

В рощах и на тенистых дорожках была разлита меланхолическая тишина. Ярко раскрашенные рукою осени деревья отражались в пруде; плакучие ивы купали в нем свои ветви; пара лебедей тихо плыла по гладкой поверхности и, завидя человеческую фигуру на берегу, торопливо махала крыльями, надеясь получить несколько крошек хлеба, которые часто бросала им белая рука королевы. Но сегодня она пришла с пустыми руками: все старые привычки были забыты, должны были быть забыты! Но птицы не забыли королевы: они беспокойно сновали у берега и ждали подачки; наконец разочарованные они уплыли, издавая печальные жалобные крики.

— Они поют лебединую песню моему счастью, — прошептала королева, следя заплаканными глазами за удалявшимися птицами, они также оставили меня... Я одна, совсем одна!

Последние слова она сказала так громко, что разбудила искусственное эхо, которому прежде приходилось повторять только радостные возгласы и веселый смех.

— Одна, одна! — отозвалось за стенами башни Мальборо. — Одна! — прозвучало над водой. — Одна! — прошумело в кустах.

— Одна! — громко прозвучало в сердце королевы, и она упала в траву, закрыла лицо руками и громко зарыдала.

И вдруг издали донесся чей-то зов:

— Королева, где королева?

Мария Антуанетта вскочила и вытерла глаза: никто не должен был видеть, что она плакала.

Голос звучал все ближе, и королева пошла на него; она знала, что ее ждет новое несчастье, и шла ему навстречу. Из-за поворота дорожки поспешно вышел человек; королева посмотрела на него пытливым, вопросительным взглядом. Кто этот вестник несчастья? Он прочел этот вопрос в ее глазах, бросился к ее ногам и, задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы, воскликнул:

— Простите, ваше величество! Простите, что мешаю! Я Тулан, ваш верный Тулан, ваш преданный слуга! Меня послала госпожа Кампан.

— Я узнаю вас: это вы принесли мне известие об оправдании кардинала де Роган?

— Судьба и нынче сделала меня зловещим вестником, ваше величество.

— Что случилось? Несчастье с королем или с детьми?!

— Нет, ваше величество!

— О,— свободно вздохнув, сказала королева,— так вы принесли мне счастливые вести! Да, я еще вспомнила! Это вы высказались в национальном собрании за то, чтобы и личность королевы считалась неприкосновенной! Увы, к вашему голосу никто не присоединился... И теперь меня хотят оскорбить? Почему моя верная Кампан прислала вас за мною? Что случилось?

— Пока еще ничего, ваше величество, но рано утром я был еще в Париже, и то, что я видел, принудило меня спешить сюда, чтобы предостеречь ваше величество... Весь Париж в волнении... весь Париж идет на Версаль.

— Чего же они хотят? Напасть на национальное собрание? Объясните, я ничего не понимаю?

Когда Тулан разъяснил, в чем дело, королева поспешно направилась ко дворцу. Она не простилась с Трианоном, а между тем видела его сегодня в последний раз! В парке близ дворца ее встретил министр внутренних дел Сэн-При, и его бледное от страха лицо подтвердило слова Тулана.

— Ваше величество, дурные вести! — сказал он.

— Я знаю,— спокойно ответила королева,— господин Тулан известил меня, что из Парижа идет сюда толпа женщин, десять тысяч женщин. Вы видите, я иду, чтобы принять их. Господин Тулан,— обратилась она к молодому человеку,— я знаю, что могу положиться на вас и что вы помните свою клятву. Ступайте в национальное собрание; я пойду во дворец. Каждый из нас исполнит свой долг.

Весь Версаль был в страшном волнении; все растерялись. Король еще не вернулся с охоты, и королева спокойно и без страха приняла на себя его обязанности. Прежде всего она послала шталмейстера маркиза Эбьер навстречу королю, чтобы поторопить его возвращение; министру внутренних дел Сэн-При она поручила разместить отряд гвардейцев во внутренних покоях дворца. Она ободрила расстроенных дам и приласкала своих детей, испуганных суматохой и боязливо жавшихся к матери.

Во дворец приходили все новые вести, подобно буреветникам, возвещающим ураган. Рассказывали, что к женщинам

уже присоединились несколько тысяч гвардейцев, что у них есть две пушки, что все мужчины вооружены и что вся толпа распекает дикие, воинственные песни.

Королева слушала все это без малейшего страха. Женщинам, которые окружили ее с плачем и жалобами, она велела уйти во внутренние покои и увести детей, все двери закрыть и никого не впускать, кроме ее самой. Она горячо поцеловала детей и не оглянувшись, когда дамы уводили их; она даже вздохнула свободнее, когда двери закрылись за ними.

— Теперь у меня хватит мужества перенести все, что угодно, — сказала она Сэн-При, — мои дети в безопасности. Только бы король скорее вернулся!

Как раз в эту минуту вошел король. Мария Антуанетта бросилась в его объятия и устало склонила к нему на грудь еще за минуту пред тем так гордо поднятую голову.

— О, государь, дорогой мой государь! — воскликнула она. — Слава Богу, что вы здесь! Теперь я ничего не боюсь! Вы ободрите всех, вы каждому скажете, что он должен делать! Париж идет на нас, государь, но Бог и Франция — за нас! Вы отстоите честь Франции и престола против мятежников!

— Сначала надо узнать, чего хотят эти люди, — уклончиво и нерешительно ответил король, — нельзя сразу встретить их угрозами, не переговорив с ними.

— Государь! — в ужасе вскрикнула королева. — Вступать в переговоры с мятежниками, значит признавать за ними какое-то право. Но ведь вы не захотите этого?

— Я посоветуюсь со своими министрами, — сказал король, указывая на входивших министров, которых привел Сэн-При.

Но какой это был совет! Все что-нибудь предлагали, но все были в сущности совершенно беспомощны. Никто не решался взять на себя какую-либо ответственность, хотя каждый сознавал, что опасность возрастает с каждой минутой.

— Государь, — сказала королева, которая одна не потеряла присутствия духа, — вы должны спасти государство от революции. Борьба началась, и нельзя уклониться от нее. Призовите свои войска, станьте во главе их и позвольте мне быть подле вас! Мы не должны поддаваться революционерам, и если мы их не одолеем, то они проникнут во дворец королей через наши трупы. Государь, мы должны продолжать жить, как короли, или умереть, как подобает королям!

Но на этот призыв отважной женской души Людовик ответил сдержанно, даже боязливо, и, когда с улицы донеслись дикие крики приближавшей толпы, совещание все еще не привело ни к каким результатам. Королева, бледная, но по виду спокойная, вышла в соседнюю комнату и молча при-

слушивалась к робким советам министров и к новым сообщениям, приносимым с улицы. Народная толпа уже наполняла Версаль. Национальные гвардейцы братались с мятежниками; королевским гвардейцам грозили, их оскорбляли; нескольких из них толпа стащила с лошадей. На площади перед дворцом прогремело несколько ружейных выстрелов.

Королева подошла к окну. Она увидела на парижском шоссе облака пыли, лошадей, скачущих без всадников, которых толпа, по-видимому, убила; потом увидела черные, злоеющие волны народа, двигавшегося с диким криком и воем. Кричащие, визжащие женщины с распущенными волосами грозно потрясали голыми руками; их глаза сверкали, губы произносили проклятия. Мужчины в разорванных блузах были с пиками, ножами, ружьями; среди них — национальные гвардейцы об руку с блузниками и с разъяренными женщинами. Слышались шум, яростные крики, пронзительный хохот, угрозы! Толпа приближалась. Кулаки бешено заколотили в железную решетку. Послышались визгливые женские голоса:

— Мы хотим во дворец! Нам нужно поговорить с булочником! Если нет другой еды, мы закусим кишками королевы!

Мария Антуанетта снова вошла в комнату короля. Ее лицо приняло суровое и упорное выражение; на губах играла презрительная улыбка, голова гордо откинулась назад.

— Государь, — сказала она, — они пришли. Бежать, как вы предполагали, уже поздно. Единственное, что нам остается, это — защищаться и спасти корону хоть для нашего сына, если нам самим суждено потерять ее.

— Есть еще выход: вернуть народ на путь долга, — кротко ответил король, — его обманули относительно нас, его восстановили. Надо попытаться уверить его в наших к нему чувствах.

Королева с минуту с ужасом смотрела в кротко улыбавшееся лицо короля, потом из ее груди вырвался громкий, горестный вопль; она отвернулась и пошла навстречу принцу Люксембургскому, капитану королевской гвардии, входившему в эту минуту в зал.

— Вы пришли доложить, что чернь завладела дворцом? — с гневом спросила она.

— Ваше величество, — ответил принц, — если бы это совершилось, я не был бы здесь: чернь войдет во дворец только через мой труп.

— Ах, — прошептала королева, — есть еще настоящие мужчины, есть еще храбрецы, которые защитят нас!

— Государь, я пришел за приказаниями,— сказал капитан королю,— когорты этих отвратительных мегер становятся все настойчивее, все бесстыднее. Тысячи рук ломаются сквозь решетку; в наших гвардейцев стреляют. Прикажете отразить нападение?

— Какая мысль! — возразил король.— Прикажу ли я напасть на женщин! Вы шутите, принц?

— Государь,— входя в зал, сказал де Ламарк,— эти женщины непременно желают говорить с вашим величеством и принести вам свои жалобы.

— Я выслушаю их,— сказал король.— Велите им выбрать из своей среды шесть депутаток и проводите их в мой кабинет.

— Государь, вы хотите дать аудиенцию революции? — воскликнула королева, удерживая его за руку.— Умоляю вас, не уступайте порыву своего благородного сердца! Не позволяйте грязным рукам этих фурий пачкать величие королевского достоинства! О, если мои мольбы что-нибудь значат для вас, не ходите! Пошлите одного из министров, чтобы он говорил от вашего имени, но не давайте аудиенции революции! Если это случится,— революция победит королевскую власть! О, не ходите! Не ходите!

— Но я уже обещал, я дал слово, Мария,— кротко возразил король,— эти женщины не должны думать, что я хотел обмануть их. Вот граф уже идет за мной.

Шесть женщин в грязных, запыленных платьях, с растрепанными волосами, ждали в кабинете короля. Они встретили его ожесточенными, мрачными взглядами, но его кроткий вид и ласковый голос произвели на них такое впечатление, что Луиза Шабли, уполномоченная, могла описать королю народную нужду и бедствия лишь в самых скромных и робких словах и просила его о помощи.

— Ах, дети мои! — сказал король.— Я не виноват в вашем несчастье. Завтра же прикажу выслать из Корбейля в Париж все запасы зерна и муки. Ах, если бы меня всегда слушались, если бы я мог за всем смотреть сам!.. Вы увидели бы, что ваш король любит вас, как отец — своих детей. Скажите своим товаркам, дети, чтобы они верили в искреннюю любовь своего короля и мирно разошлись по своим домам.

— Да здравствует король! Да здравствует наш отец! — закричали тронутые, умиротворенные женщины, выйдя из кабинета короля, но этот возглас не нашел в толпе сочувствия.

— Пусть король даст нам хлеба, тогда мы поверим в его любовь и вернемся в Париж! — кричали мегеры.— Напрасно

булочник думает, что может накормить нас прекрасными речами!

— Если у него нет для нас хлеба, пусть даст нам на съедение свою булочницу! — крикнул блузник с пикой в руке.

— Чернь пришла требовать моей головы, — сказала Мария Антуанетта, обращаясь к бледным, испуганным министрам и придворным, окружавшим королевскую чету, — но я научилась от моей матери не бояться смерти и буду ждать ее твердо и мужественно.

За стенами дворца бушевало море людской ярости; вожаки революции разжигали страсти, подстрекая толпу к новым проявлениям безумной ярости, возбуждая ее против «булочника» и «булочницы». Женщины плясали с факелами в руках под дикие песни мужчин, высмеивавшие короля и грозившие смертью королеве.

А в залах королевского дворца по-прежнему сидели министры, слуги короля, беспомощные, трусливые, испуганные. Среди всех советников короля был только один мужчина, и этим мужчиной была королева Мария Антуанетта. Она одна сохранила присутствие духа и твердость, ободряла боязливых, утешала отчаявшихся. Она все еще пыталась побудить короля к какому-нибудь решению и не жаловалась, что это ей не удастся. Был один момент, когда ее лицо просветлело надеждой и радостью: это случилось, когда небольшая группа депутатов национального собрания, под предводительством Тулана, явилась с предложением своих услуг, прося позволения остаться во дворце, охранять особы их величества. Но почти тотчас вслед за ними из собрания пришли два секретаря и потребовали возвращения депутатов в собрание, под предлогом важности экстренного ночного заседания.

— Они нарочно отнимают у нас последних друзей, чтобы мы остались без всякой защиты, — прошептала королева.

Внезапно крики усилились; снова раздались ружейные выстрелы; послышались бряцанье оружия, лошадиный топот; потом прогремел пушечный выстрел, сопровождаемый криками и стонами раненых. Король, удалившийся со своими советниками в кабинет, бросился к королеве. В зале никого не было. Красный свет факелов проникал через окна, рисуя на стенах тени человеческих фигур с поднятыми руками и грозящими кулаками. Шум и крики все возрастали. Не найдя нигде королевы, король взбежал по лестнице, которая вела в покои «детей Франции», и вошел в спальню дофина. У кровати спокойно спавшего ребенка он увидел неподвижную фигуру королевы.

— Мария,— сказал взволнованный король,— я везде ищу вас!

Она указала на спящего малютку:

— Государь, я нахожусь на своем посту.

Взволнованный король подошел к ней и, обняв ее, произнес:

— Останься со мной, Мария, не покидай меня! Влей в меня твое мужество, твою решимость!

Королева с тяжелым вздохом покачала головой, но не сказала, что не верит больше в мужество короля, не сказала, что больше ни на что не надеется.

В это время в спальню вошли приближенные королевы, гувернантка дофина и несколько кавалеров из свиты короля: оправившись от страха, все они вспомнили свой долг и явились подтвердить королю и королеве свои обеты верности. Кроме того, они сообщили королю, что в положении дел произошла некоторая перемена. Из Парижа пришли национальные гвардейцы, встреченные ликованием толпы. Генерал Лафайетт вошел во дворец, чтобы предложить королю свои услуги, и просил у их величеств аудиенции.

— Пойдем, Мария,— сказал Людовик, тотчас просветлев,— примем генерала! Дело, как видишь, вовсе не так плохо, как ты думала. У нас еще есть верные слуги.

Королева молча последовала за супругом в зал, где ждал Лафайетт, окруженный министрами и придворными. При появлении королевской четы он пошел ей навстречу, почтительно поклонился и с веселой самоуверенностью сказал:

— Государь, я явился сюда, чтобы охранять ваши величества, а также национальное собрание от всех тех, кто осмелился бы угрожать вам.

— Уверены ли вы в верности и преданности своего войска? — спросила королева, смотря на Лафайетта своими пламенными глазами так пристально, точно хотела прочесть самые сокровенные его мысли.

Но ее взгляд не смутил веселого настроения генерала.

— Я знаю, ваше величество, что могу положиться на верность своих солдат,— спокойно ответил он.— Они преданы мне всей душой, и если я прикажу им охранять короля и королеву и оберегать их от малейшего оскорбления, то они исполнят мое приказание.

Королева пропустила мимо ушей оскорбительный смысл этих хвастливых слов и сделала вид, что поверила им. Лафайетт еще раз подтвердил ей, что с его приходом всякая опасность миновала, что он займет караулы своими гвардейцами, которые также восстановят порядок в Версале и на площади, где расположилась лагерь буйная толпа.

Лафайетт ручался и за свою гвардию, и за воюющих женщин, и за ругающихся мужчин! И король поверил его уверениям; в конце концов поверила им и Мария Антуанетта.

Король отправил свой собственный конвой в Рамбулье, оставив во дворце только дежурных. Солдаты Лафайетта оцепили дворец. Генерал обошел караулы, а затем, как будто все было вполне спокойно и безопасно, отправился в замок Ноайль, чтобы там спокойно провести ночь и отдохнуть от тревог минувшего дня.

Король удалился на свою половину, и не успели камердинеры, раздевавшие его величество, выйти из комнаты, как громкое, равномерное дыхание, раздавшееся за шелковым пологом постели, возвестило им, что король погрузился в глубокий сон.

Королева также легла в постель, ласково уговаривая своих камер-фрау поскорее отправиться на покой. Скоро в Версальском дворце воцарилась глубокая тишина. Король и королева спали.

Но в пустых, темных залах отдавались крики, шум, проклятия по адресу королевы, доносившиеся с площади. Во дворце спали, но не спал мятеж, не спала людская ненависть, и дикие, жестокие мысли об убийстве змеились вокруг дворца королей Франции. Как быстро должны были они перейти в действительность!

Спи пока, Мария Антуанетта! Наслаждайся последним часом спокойствия и безопасности!

XIII

Ночь ужаса

Мария Антуанетта спала. Ужасные волнения минувшего дня истощили ее силы, и она впала в тот тяжелый, лишенный сновидений сон, которым сострадательная природа иногда награждает тех, кому судьба грозит тяжкими страданиями и неотвратимым несчастьем.

Мария Антуанетта спала. Во дворце царила ненарушимая тишина, но на дворе, откуда Лафайетт счел возможным удалиться, чтобы также отдохнуть, бодрствовала революция; она глазела на темные стены и взглядом ненависти и мести скользила по окнам, за которыми спала королева Франции.

Королевская власть во Франции столько грешила в последние столетия, столько совершила преступлений, что народная любовь не могла не обратиться наконец в ненависть. Эта

власть так долго «сеяла ветер», что теперь ей приходилось «пожинать бурю». Преступления, ошибки и безнравственность, которые сеяли на почве Франции Людовики XIV и XV и принц-регент, вырыли пропасть между королевской властью и народом, и из этой пропасти должна была вырасти революция, чтобы на настоящем выместить грехи прошлого, так как «грехи отцов отмстятся на детях их до третьего и четвертого колена».

Мария Антуанетта не видела пропасти, которую придворные лстецы закрывали цветами; но теперь цветы были разбросаны, королева заглянула в бездну, услышала проклятия, увидела разъяренных людей, превратившихся из благодушных подданных в грозных мятежников. Королева видела приближающуюся гибель, но не захотела отступить: лучше упасть в пропасть и разбиться насмерть, чем купить победу ценой унижения; лучше умереть достойно, мужественно, с короной на голове, чем жить лишенной власти и короны, в унижении и зависимости! С этими мыслями королева заснула после этого бурного дня; последней ее молитвой было:

— Боже, дай мне силы умереть, как подобает королеве! Боже, поддержи моего мужа, чтобы он был не только добрым человеком, но и королем!

Кампан, на цыпочках приблизившаяся к постели, чтобы видеть, заснула ли королева, получила приказание ложиться спать:

— Вам также нужен отдых; покойной ночи, Кампан!

— Королева приказала нам лечь спать, — сказала Кампан своим помощницам, — но неужели мы ляжем?

Обе дамы отрицательно покачали головами.

Кампан крепко пожала им руки и произнесла:

— Я знала, что мы сойдемся во мнениях; мы не должны спать в эту ночь, мы должны сторожить королеву. Пойдемте в приемную: там Варикур, который скажет нам, что делается за стенами дворца.

Три женщины тихо прошли во вторую приемную, тускло освещенную парой восковых свечей. Беспорядочно сдвинутые стулья и диваны напоминали о вторжении разъяренных женщин, требовавших свидания с королем. Им сказали, что это — половина королевы, и отвели их в кабинет короля, но они знали теперь, где находятся комнаты королевы, знали, что в них можно проникнуть со двора: стоило только миновать зал, занятый швейцарской гвардией. Эта мысль не покидала верной Кампан и приводила ее в ужас.

— Уйдемте отсюда, — шептали ей помощницы, — как сюда слышны песни и хохот! Что за ужасная ночь!

— День, который последует за нею, будет, может быть, еще ужаснее,— ответила Кампан.— Но не будем падать духом. Вот и господин де Варикур! Какие вести принесли вы нам?

— Очень дурные! — ответил офицер швейцарской гвардии, быстро вошедший в эту минуту в зал.— Толпа все возрастает: из Парижа вместе с народом явились теперь и ораторы, подстрекатели масс, и подбивают их на цареубийство. Измена, злоба, ненависть окружают дворец, а трусость и зависть открывают им двери. Уже многие из солдат отправились на площадь, к мятежникам. Я клялся в верности королю и королеве и буду верен этой клятве до последнего вздоха. Я занял лестницу, которая ведет на эту половину, а вы сторожите спальню королевы; пусть каждый из нас исполнит свой долг.

— Да, исполним наш долг,— просто ответила Кампан, пожимая ему руку.— Милые мои,— обратилась она к своим помощникам,— ведь мы никого не допустим проникнуть к королеве?

— Никого! — мужественно и решительно ответили обе дамы.

— А пока я жив, ни одна душа не проникнет на лестницу,— сказал Варикур.— Прощайте! Обращайте внимание на всякий шум; если услышите мой голос и я крикну: «Пора!», то немедленно будите королеву и прячьте ее! Бьет три часа, это час смены. Прощайте!

В его глазах, обращенных на Кампан, выражалась просьба; она невольно подошла к нему.

— Я предчувствую, что не переживу этой ночи,— тихо прошептал он.— У меня, вы знаете, есть невеста; если я нынче погибну, скажите ей, что я умер с ее именем на губах. Приласкайте и утешьте ее; скажите ей, что я прошу ее не плакать обо мне... только пусть она не забывает меня! Прощайте!

Он ушел, а Кампан с трудом подавила слезы, просившиеся ей на глаза. Затем три женщины тихо прошли в маленькую гостиную королевы, где обыкновенно собирались те из придворных дам, которые удостоивались чести присутствовать при туалете королевы. Кампан заперла за собой двери и положила ключ в карман.

— Будем теперь сторожить дверь спальни,— сказала она и, приставив свои стулья к дверям комнаты королевы, три женщины уселись на страже, ждать конца ужасной ночи.

Ни одна не решалась прервать мертвое молчание. Все три прислушивались к изредка долетавшим до них крикам мятежников.

Медленно тащились стрелки каминных часов; Кампан поминутно смотрела на них, и ей казалось, что время остановилось, что уже целая вечность прошла с тех пор, как дамы расстались с Варикуром, а часы все еще не пробили четырех. Но стрелки все-таки ползли вперед, и наконец прозвучали четыре удара. Еще три часа, еще три вечности до наступления дня!

Но что это за новые звуки? Это не только пение, не только крики ярости: это шум борьбы, выстрелы, бряцанье оружия. Три женщины вскочили со своих стульев. Кампан вышла во вторую приемную, дверь которой она замкнула изнутри, и приложила ухо к замочной скважине. Нет, в той комнате было тихо; но снаружи раздавался страшный шум. Глухие удары потрясали стены дворца; слышались звенящие, металлические звуки, словно разбивали железную решетку.

— Надо узнать, что случилось, — сказала Кампан и, быстро решившись, отперла дверь, вошла в приемную и выглянула в окно, из которого можно было видеть большую часть главного двора.

Ее глазам представилось страшное зрелище! Решетка была разрушена, и народ наполнял двор. Там и сям мелькали факелы, озаряя дикие, страшные мужские и женские фигуры, напоминавшие картины из Дантова ада: женщины походили или на фурий, или на вакханок; мужчины — на кровожадных тигров. Красное пламя факелов освещало сжатые кулаки, блестящие кинжалы, ружья. И вся эта толпа ломилась во дворец, стремясь разрушить преграды, отделявшие королевскую семью от ее палачей.

Вот раздался громкий, торжествующий крик, от которого задрожали стекла; сквозь рев и вой толпы до ушей Кампан донесся вопль ужаса и боли.

— Это предсмертный крик, — дрожа, прошептала она и невольно отшатнулась от окна, — наверное, убили швейцарцев, стороживших вход во дворец, и теперь... вошли! О, Боже, Боже, что теперь будет с Варикуром!

Она выглянула в зал; в нем никого не было, но снаружи слышались шум борьбы и топот многочисленных ног. Вдруг наружная дверь распахнулась, и появился Варикур, втолкнутый в зал рычащей, воющей толпой. Он все еще старался задержать этот бешеный поток, преграждая ему путь своим телом, своим ружьем, которое он успел упереть в дверные косяки и таким образом остановить убийц на несколько мгновений. Его мундир был изорван, лицо покрыто смертельной бледностью, а на лбу зияла рана, из которой лила кровь.

— Пора, пора! — громко крикнул он. — Спасайте королеву, ее хотят убить!

Кампан захлопнула дверь, задвинула тяжелый засов, потом бросилась в приемную; здесь также замкнула и задвинула движками двери, потом без сил упала на колени.

— Боже! — молилась она. — Прими милостиво его душу!

— За кого вы молитесь? Кто умер? — в испуге спрашивали ее помощницы.

— Убили де Варикура, я слышала его предсмертный крик... Но не время плакать и жаловаться: надо спасти королеву! — И она бросилась в спальню.

В эту минуту раздался страшный грохот, сопровождаемый радостными криками торжества.

— Подавайте нам королеву, нам нужны кишки королевы! — долетели до женщин яростные возгласы.

— Выломали двери уже в приемном зале, — сказала Кампан и, подбежав к постели королевы, торопливо произнесла: — Ваше величество, ваше величество, проснитесь!

— Что случилось? — спросила Мария Антуанетта, садясь на постели. — Что случилось?

Ей ответили грохот падающих дверей маленькой приемной и рев пронзительных женских голосов. Только одна дверь отделяла теперь королеву от кроважадной толпы.

Мария Антуанетта вскочила с постели.

— Оденьте меня! Скорее! Скорее!

— Невозможно! Они выбивают дверь ружейными прикладами! Накиньте платье, вот туфли, надевайте на босые ноги! Скорее, через боковую лестницу!

Кампан побежала вперед; за нею спешили помощницы, поддерживая королеву и падавшие с нее одежды. Так они добежали через длинные коридоры и лестницы до спальни короля. Она была пуста!

— Боже мой, Кампан, где же король? Я хочу к королю! Мое место — возле него! Где король? — воскликнула Мария Антуанетта.

— Я здесь, Мария! — ответил, входя, король. — Я торопился спасти наши сокровища! — и с этими словами он положил на простертые к нему руки королевы еще не проснувшегося дофина, потом подвел к ней маленькую принцессу, которую привела ее гувернантка, и спокойно прибавил: — А теперь, когда мои драгоценнейшие сокровища здесь, я пойду взглянуть, что там происходит.

— Там мятеж, измена, убийства! — воскликнула королева, удерживая его. — Пусть приходят сюда и убьют нас, но зачем же идти навстречу гибели?

— Хорошо, останемся здесь,— согласился Людовик.— Принесите мой шоколад! — приказал он своему камердинеру.— Я пока позавтракаю, потому что проголодался.

— Как?! Вы хотите теперь завтракать? — в ужасе спросила королева.

— Почему же нет? Подкрепив тело, мы яснее видим и понимаем события. Вы также, Мария, должны бы позавтракать: Бог знает, будет ли потом у нас время для этого!

Король занялся поданным ему шоколадом, а королева отвернулась, и слезы горя и гнева выступили на ее глазах.

— Мама,— сказал дофин, лежавший на ее руках,— я тоже хочу завтракать, где мой шоколад? Я хочу шоколада!

Королева принудила себя улыбнуться и, посадив ребенка на колени к отцу, сказала:

— Пусть король поучит своего сына, как завтракают в то время, когда руки изменников выбивают двери в королевском дворце! Пойдемте, Кампан, помогите мне одеться; я должна приготовиться дать революции аудиенцию!

Пока королева одевалась, а король завтракал со своим сыном, кабинет понемногу наполнился министрами, депутатами из дворян, спешившими исполнить свой долг и разделить с королевской четой минуты опасности. Каждый рассказывал об ужасах, которые ему пришлось увидеть.

Сэн-При видел в швейцарском зале тело Варикура, покрытое ранами, Варикур тут же умер на его глазах. Лианкур видел, как какой-то великан со всклокоченной бородой отрубил мясным ножом голову верному швейцарцу. Де Варенн видел другого швейцарского офицера, барона Дэхютт, защищавшего решетку и убитого мятежниками. Маркиз Круасси сообщил о подвиге еще одного швейцарца, Миомандра де Сэн-Мари, защищавшего двери, соединяющие покои королевской четы, пока сам маркиз задвигал засовы и баррикадировал коридор.

И, пока кабинет все более наполнялся и рассказ следовал за рассказом, король спокойно продолжал завтракать. Королева подошла к нему и дрожащим голосом стала умолять его принять какое-нибудь решение, высказаться и поступить, как подобает королю.

Людовик пожал плечами и поставил на поднос чашку, которую только что поднес к губам. Мария Антуанетта немедленно подозвала камердинера.

— Унесите поднос,— сказала она,— король кончил... А теперь, государь,— тихо прошептала она,— выкажите же себя королем!

— Дорогая моя,— спокойно возразил Людовик,— очень трудно быть королем, когда народ не признает в нас короля. Скажите, пожалуйста, что может сделать король, чтобы заставить замолчать тех, что вопят на дворе?

— Государь, выкажите свою власть, приказывайте, объявите, что вы отомстите за преступления сегодняшней ночи! Защищайте с мечом в руках трон своих предков и своего сына и вы увидите, что мятежники рассеются, а нерешительные люди, которые окружают вас, воодушевившись вашим примером, будут героически защищать вас. О, государь, преодолите хоть теперь свою кротость и будьте строги и решительны!

— Но, скажите же, что я должен делать? — со вздохом спросил король.

Королева нагнулась к самому его уху.

— Пошлите эстафеты в Венсенн и другие пункты и прикажите прийти сюда войскам. Собрав армию, примите над нею начальство и идите на Париж, открыто объявив мятежникам войну. Вы войдете в столицу победителем. Только без уступок! Прикажите же, государь! Скажите мне, что вы этого хотите, и я тотчас пошлю преданного человека в Венсенн.

И взоры королевы невольно остановились на лице Тулана, который, стоя в дверях кабинета, не отрываясь, смотрел на нее. Встретив ее взгляд, он проложил себе дорогу через толпу придворных и подошел к ней.

— Вашему величеству угодно что-нибудь приказать мне? — спросил он.

Королева с боязливым ожиданием смотрела на мужа, но он промолчал и стал ласкать дофина, чтобы избавиться от необходимости ответить.

— Вашему величеству ничего не угодно приказать мне? — повторил Тулан.

— Нет,— ответила королева, не скрывая от него слез,— мне нечего приказывать, я должна только повиноваться.

В эту минуту вошел Лафайетт.

Королева быстро пошла ему навстречу и воскликнула:

— Вот каков покой, вот какова безопасность, за которую вы ручались своим словом! Послушайте эти крики; взгляните, мы точно осажденные!

— Ваше величество, я сам был введен в заблуждение,— возразил Лафайетт,— мне так клялись последовать моим просьбам и уговорам, что я полагал...

— Кого вы подразумеваете под словом «клялись, обещали»? — прервала королева.— О ком отзываетесь вы с таким уважением?

— Я говорю о народе, который обещал мне успокоиться и не нарушать сна их величеств.

— Но вы говорите не о народе, а о мятежниках, — сверкая глазами, возразила королева, — об изменниках, которые силою ворвались во дворец своего короля, об убийцах, лишивших жизни наших верных слуг. С такими преступниками вы вступаете в переговоры вместо того, чтобы разогнать их с оружием в руках!

— Ваше величество, — бледнея, ответил Лафайетт, — если бы я сделал это, ваше величество уже и здесь не нашли бы себе убежища, потому что народному гневу невозможно противостоять.

— Сейчас видно, что вы прошли в Америке через революционную школу, — с гневной насмешкой сказала королева. — Вы говорите о народе с таким почтением, точно народ — также царствующая власть, пред которой следует преклоняться!

— В конце концов он прав, — сказал король, протягивая руки обоим спорящим. — Слышите рев этого льва? А ведь лев — царь зверей! Скажите, генерал, чего хочет этот лев и что означает его рев?

— Ваше величество, подстрекатели и вожаки революционных кружков успели внушить толпе, будто ваше величество сзывает войска, чтобы, лично руководя ими, идти на Париж.

Король бросил на Марию Антуанетту многозначительный взгляд, на который она ответила гордым движением головы.

— Я напрасно старался разъяснить бедным, введенным в обман людям все безумие подобного плана, — продолжал генерал.

— Этот план, генерал, спас бы королевскую власть от бесчестия и унижения! — с гневом возразила королева.

— Но его невозможно привести в исполнение, — с легким поклоном ответил Лафайетт. — Если бы солдаты отдаленных гарнизонов могли перелететь сюда на крыльях, план удался бы, но так как это невозможно, то необходимо найти средство успокоить, уговорить восставших, если уже нельзя одолеть их.

— Чем же вы думаете успокоить их? — спросила королева.

Лафайетт взглянул на нее горестным, печальным взглядом и ответил, обращаясь к королю:

— Государь, народ в страшном волнении! Мне с большим трудом удалось вывести мятежников за пределы дворца. Подстрекатели внушили народу, что Париж будет наказан, обращен в пепел.

— Я выйду к народу! — воскликнул Людовик. — Я поручусь своим королевским словом, что не сержусь на парижан! Как, вы не советуете мне этого?

— Народ уже так раздражен, государь, что вашего слова ему недостаточно. Народ не поверит уверениям вашего величества, так как все-таки сознает, хотя и неясно, что совершил преступление, и что человек не может простить такое преступление: это было бы уже не по-человечески, а по-божески.

— Как хорошо понимает генерал чувства мятежного сброда, который он называет народом! — язвительно заметила королева.

— Где король? Мы хотим видеть короля! — донеслись опять крики с площади.

Лицо Людовика просветлело; он быстро подошел к окну и распахнул его. Его не тотчас заметили, и он мог беспрепятственно разглядывать толпу. Огромная масса народа волновалась, подобно темному, бурному морю, кишевшему разъяренными лицами, сверкающими глазами, обнаженным оружием.

— Вы правы, Лафайетт, — сказал король, — это народ, потому что здесь, по крайней мере, двадцать тысяч человек, и Боже сохрани меня считать все эти тысячи преступниками и сбродом. Я надеюсь...

Но тут короля заметили, и из массы грудей прозвучал, подобно раскату грома, единодушный крик:

— Да здравствует король! Да здравствует отец наш, Людовик!

Король с торжествующей улыбкой обернулся к своим министрам, а королева отошла в дальний угол комнаты и, прижав к груди обоих детей, упала в кресло.

— А меня еще хотели уверить, что мой добрый народ ненавидит своего короля! — сказал Людовик. — Стоит мне показаться ему, и он тотчас спешит выразить свою радость.

— В Париж, в Париж! — донеслось в эту минуту из толпы. — Мы хотим, чтобы король вернулся в Париж!

— Чего они хотят? — спросил король у Лафайетта, который стоял рядом с ним.

— Они умоляют ваше величество вернуться вместе с королевским семейством в Париж.

— А вы, генерал, что об этом думаете?

— Государь, я уже позволил себе сказать сегодня вашему величеству, что слов и уверений теперь уже недостаточно для успокоения разъяренных масс и для того, чтобы они перестали опасаться наказания.

— А если я переселюсь в Париж, то народ поймет, что я ничего не предприму против моей собственной резиденции? Вы это хотите сказать, генерал?

— Да, ваше величество.

Людовик отошел от окна; министры с расстроенными, бледными лицами окружили его.

— Господа! — сказал король. — Вы — мои советники. Скажите мне, что, по вашему мнению, должен я теперь сделать, чтобы восстановить спокойствие?

Никто не ответил. Все смущенно смотрели в землю, только Неккер нашел в себе мужество, после довольно долгого молчания, ответить на вопрос.

— Государь, — сказал он, — это очень важный вопрос, от решения которого зависит, может быть, судьба монархии. Но так как вы, ваше величество, желаете знать мнения своих министров, то позволю себе сказать, что самым целесообразным было бы исполнить желание народа и отправиться в Париж.

— Я так и думал, — прошептал король, опуская голову.

— В Париж?! — вскрикнула королева. — Но это невозможно! Не может быть, чтобы вы серьезно хотели добровольно броситься в пропасть!

— В Париж, в Париж! — доносилось с площади. — Король и королева должны вернуться в Париж!

— Чтобы уже никогда не выехать оттуда! — воскликнула королева, заливаясь слезами.

— Лафайетт, что бы вы думали? Говорите! — сказал король.

— Государь, я думаю, что единственное средство восстановить мир и порядок — это сегодня же ехать в Париж.

— Это и мое мнение, — спокойно сказал король. — Подите и скажите народу, что король, королева, дофин и мадам сегодня же переедут в Париж.

Простые, спокойные слова короля произвели на присутствовавших в кабинете весьма разнообразное впечатление. Одни побледнели от ужаса, другие выказали явную радость. Одни безнадежно вздыхали, другие обменивались радостными восклицаниями. Каждый чувствовал, что в эту минуту решилась судьба короля и его семейства, но одни видели впереди гибель, другие — новую надежду.

Лицо королевы приняло строгое, решительное выражение; в ее глазах мелькнула вспышка благородной гордости, и она почти с радостью взглянула на короля, который теперь, по крайней мере, принял определенное решение.

— Король высказал свое решение, — сказала она среди гробовой тишины, наступившей после слов короля, — нам подобает подчиниться ему. Госпожа Кампан, распорядитесь, чтобы все было приготовлено к моему отъезду, и имейте в

виду, что пребывание в Париже будет довольно продолжительно.

— Ну, Лафайетт,— обратился король к генералу, который все еще нерешительно стоял возле него,— что же вы не торопитесь объявить народу мою волю?

— Государь,— торжественно ответил Лафайетт,— бывают моменты, когда только глас Божий или голос монарха может дать народу успокоение.

— Вы полагаете, что теперь именно такой момент и что я сам должен оповестить народ о своем решении?

Лафайетт поклонился и указал рукой на окно, через которое, не прекращаясь, доносились в кабинет все те же крики:

— В Париж, в Париж! Мы хотим видеть короля! Мы хотим, чтобы король ехал в Париж!

С минуту король в задумчивом молчании прислушивался к адскому гулу, и величественному, и ужасному, а потом решительно поднял голову и произнес:

— Я последую вашему совету, генерал: я объявлю народу о своем решении. Дайте мне руку, ваше величество, выйдем на балкон! А вы, господа, следуйте за нами!

Королева без единого слова возражения взяла протянутую ей руку супруга; другой рукой она крепко держала руку маленького дофина. Мадам Тереза спокойно и беспечно шла рядом с матерью.

XIV

В Париж!

Королевская чета, в сопровождении министров и придворных, поспешно прошла, не говоря ни слова, две смежные комнаты и вступила в зал с балконом, расположенный в середине главного здания, откуда открывался обширный вид на внутренний двор Версальского двора и на площадь пред ним.

По знаку короля, камердинер Гюэ поспешил распахнуть высокие двустворчатые двери, и король, послав улыбку Марии Антуанетте, вышел на балкон.

В одну минуту, словно по мановению Господней руки, укротившей это бушующее человеческое море, шум и волнение прекратились. Когда же собравшиеся узнали короля, грянуло восторженное ликование, прокатилось, все разрастаясь, по площади и проникло в смежные улицы:

— Король! Да здравствует король!

Людовик, бледный от волнения, со слезами на глазах, подошел к самым перилам балкона и, водворяя тишину, поднял обе руки в знак того, что хочет говорить. Его поняли и повиновались громким голосам, раздававшимся там и сям в шумевшей толпе и требовавшим тишины и внимания. Тогда над головами тысяч народа, который, затаив дыхание, устремил взор кверху, раздался громкий, сильный голос короля:

— Я хочу дать своему возлюбленному народу доказательство того, что моему отеческому сердцу не доверяют без причины. Я перееду сегодня с королевой и своими детьми в Париж, который будет отныне моею резиденцией. Итак, дети мои, вернитесь в столицу, а я последую за вами через несколько часов.

Народ разразился шумными кликами радости, махая руками, шляпами, платками, а Людовик не спеша вернулся с балкона в зал.

В тот же момент поднялось внизу новое волнение, раздался новый крик:

— Пусть покажется королева! Мы хотим видеть королеву! Королеву! Королеву! Королеву!

И все настойчивее, громче и яростнее гремел этот повторяемый тысячеголосым хором повелительный зов, врываясь в отворенные двери балкона. Королева взяла за руки обоих своих детей и сделала несколько шагов вперед. Но король удержал ее.

— Не ходите, Мария,— промолвил он дрожащим голосом, с испуганным видом.— Нет, не ходите! Слишком ужасно видеть это яростное волнение у своих ног; голова идет кругом. Не ходите, Мария!

Между тем шум внизу превратился в ураган, от которого дрожали стены замка.

— Слышите, ваше величество? — промолвила Мария Антуанетта.— В данном случае так же опасно показаться, как и прятаться. Итак, предоставьте мне сделать то же самое, что сделали вы. Пойдемте, дети!

И королева решительными шагами, с высоко поднятой головой, вышла на балкон со своими обоими детьми, в сопровождении короля, который встал позади нее, как страж, готовый защищать безопасность и жизнь своих близких. Однако появление всей королевской семьи не произвело действия, на которое, пожалуй, рассчитывал Людовик. Народ не разразился изъявлениями радости, дружным ликованием. Он кричал и шумел, ревел и выл:

— Одну королеву! Не надо детей! Мы хотим одну королеву! Прочь детей!

Напрасно Людовик приблизился снова к перилам балкона, напрасно простирали он руки, стараясь водворить тишину, и наконец возвысил голос, требуя молчания. Его слова были заглушены страшным гамом беснующейся черни, которая показывала на балкон поднятыми кулаками, пиками, ружьями, и своим ревом привела маленького дофина в такой ужас, что он громко расплакался.

Королевская семья удалилась и вошла обратно в зал, где была встречена бледными, дрожащими, безмолвно плакавшими придворными. Однако чернь внизу не унималась. Она как будто хотела доказать самой себе, что ее воля может быть законом даже для короля и королевы, может требовать от них повиновения.

— Королеву! Мы хотим видеть королеву! — не унимались яростные крики. — Пусть нам покажется королева!..

— Хорошо! — со смелой решительностью воскликнула Мария Антуанетта и проложила себе дорогу среди придворных, которые хотели удержать ее, преграждая ей путь, отстранила нетерпеливым движением короля, умолявшего ее не ходить, и вышла на балкон одна, без всякой свиты, без охраны, как укротительница льва, которая кидается в клетку зверя, смирив его только своим взором и повелительным видом и заставляя покорно склониться к ее ногам.

И лев был укрощен: его страшное рыкание смолкло, охваченные удивлением, восторгом тысячи людей с взволнованными лицами смотрели вверх на королеву, на эту дочь цезарей, которая стояла, скрестив руки на груди, спокойно, с гордой осанкой и смотрела бестрепетным взором в бурлившую, взбаламученную бездну.

Восхищенный, покоренный этой смелостью, этим царственным спокойствием, народ разразился громкими кликами одобрения, тысячеголосым «браво», и под этот оглушительный рев и крик королева, с гордой улыбкой на устах, удалилась с балкона обратно в зал.

Дофин кинулся к ней с распростертыми объятиями и, охватив ее колени, воскликнул:

— Мама-королева, моя милая мама-королева!.. Останься со мною, не выходи к этим ужасным людям! Я боюсь их, о, я боюсь!

Мария Антуанетта схватила мальчика на руки и запечатлела поцелуй на его лбу своими бледными, холодными губами. Один миг казалось, что она изнемогла под гнетом только что пережитого ею страшного момента и готова разразиться слезами. Однако ей удалось преодолеть женскую слабость; она чувствовала, что в этот час должна быть только королевой.

С дофином на руках, крепко прижимая его к сердцу, Мария Антуанетта пошла к королю, который, чтобы скрыть от жены хлынувшие у него слезы, удалился в соседнюю комнату и стоял там, прислонившись к дверному косяку.

— Ваше величество,— входя туда и поднося к королю дофина,— сказала Мария Антуанетта,— заклиная вас в эту ужасную, мучительную минуту дать мне одно обещание.

— В чем оно заключается, Мария? — пробормотал король.— Чего вы желаете?

— Ваше величество, всем, что дорого вам и мне, благополучием и спасением Франции и вашим собственным благополучием и спасением этого возлюбленного ребенка, вашего преемника, заклиная вас обещать мне, что если бы нам предстояло еще когда-нибудь пережить подобную ужасную сцену, то вы сделаете все от вас зависящее, чтобы избежать ее.

Вид благородного, разгоревшегося лица королевы, которое дышало энергией, и звук ее мужественного голоса глубоко потрясли короля и заставили его отвернуться. Он хотел заговорить и не мог; слезы стояли у него в горле и, как будто стыдясь своей слабости, он слегка отстранил от себя супругу и дофина, поспешно прошел через комнату и скрылся за дверьми с противоположной стороны.

Мария Антуанетта проводила его долгим, печальным взором и вернулась опять в комнату с балконом. Трепет объял ее душу, и мрачное, жуткое предчувствие на одно мгновение заставило замереть сердце.

Ей вспомнилось, что в этой комнате, где она только что пережила такие неизмеримые муки, где еще слышался неистовый крик черни, вздумавшей сегодня впервые давать приказания королеве, отошел в вечность Людовик XIV. Скорбное предчувствие подсказало ей, что сегодня здесь пришел конец и французской королевской власти. Пред ее духовным взором, подобно бледному окровавленному призраку, проходило будущее и, как бывает всегда в моменты высшего духовного волнения, королева представила себе все мрачные предостережения, ниспосланные ей судьбой. Ей пришли на память картины вифлеемского избиения младенцев, украшавшие стены комнаты, где она в качестве дофины провела первую ночь на французской территории, а потом ужасное пророчество, которое она услышала от графа Калиостро по дороге в Париж, и эшафот, показанный им. Мария Антуанетта вспомнила ураган, потрясавший землю, вырывавший с корнем деревья в первую ночь, проведенную в Версале, и страшную катастрофу на другой день во время фейерверка в Париже, стоившую жизни нескольким сотням человек. Затем

ей представился тот момент коронации, когда король схватился рукой за корону, только что надетую ему папским нунцием, и воскликнул от боли: «Да она колется!» Теперь же королеве показалось новым зловещим предзнаменованием то обстоятельство, что сегодняшняя ужасная сцена разыгралась в комнате, где умер король, которому Франция была обязана своим величием и славой.

— Мы погибли, погибли! — пробормотала Мария Антуанетта. — Ничто больше не может спасти нас. Эшафот уже воздвигнут!

Она безмолвным движением руки, легким наклоном головы отпустила присутствующих и вернулась в свои покои, которые охранялись теперь солдатами Лафайетта.

Несколько часов спустя, на большой площади пред замком грянули два пушечных выстрела. Они возвестили Версалию, что король с королевой и детьми покинули гордый королевский замок — уединенную, неприступную Версальскую резиденцию, чтобы... не возвращаться туда более.

На высокой колокольне церкви Святого Людовика, где недавно праздновалось открытие национального собрания, большой колокол пробил час пополудни, когда к парадному крыльцу замка подали карету, в которой королевскому семейству предстояло ехать в Париж.

Ряд других экипажей составлял кортеж. Они предназначались для депутатов национального собрания, которое, как только был объявлен отъезд короля в Париж, издало декрет в том смысле, что оно считает себя неотделимым от короля и последует за ним. Немедленно явилась в замок депутация для сообщения королю этого декрета и была принята Людовиком с приветливыми словами благодарности.

Но Мария Антуанетта встретила известие о таком решении национального собрания презрительной улыбкой, и гневная молния сверкнула в ее зоре.

— Итак, господа третьего сословия достигли своей цели! — воскликнула она. — Они одни вызвали этот бунт, чтобы дать повод национальному собранию перебраться из Версаля в Париж, и поставили на своем. Но пусть не говорят мне, что это положит конец революции. Напротив, гидра протянет теперь все свои головы и растерзает нас. Но все равно, лучше быть растерзанной ею, чем преклониться пред ее властью!

И с высоко поднятой головой, со спокойным видом королева села в большую карету, в которой королевскому семейству предстояло ехать в Париж. Рядом с нею поместился король, между собою они посадили дофина. Против них сидели

их дочь Тереза, принцесса Елизавета и де Турзель, гувернантка «детей Франции».

За ними длинной, необозримой вереницей тянулись: сначала артиллерийский обоз, а далее чернь, вооруженная пиками и саблями; тут были мужчины, покрытые пылью и кровью, женщины с распущенными волосами, в разорванной одежде; большинство их были пьяны, изнурены беспутно проведенной ночью, продолжительным кликом и ликованием. Однако это не мешало людям орать хриплыми голосами непристойные песни или издеваться над королевской семьей. За дикими толпами народа шли двести гвардейцев, обезоруженных, без шляп и перевязей; каждого из них вели по двое гренадер, солдат швейцарской гвардии и фландрского полка. Посредине этого шествия громыхали заряженные пушки, возле каждого орудия шло по двое солдат, под надзором мужчин из простонародья. Но еще страшнее свиты королевского экипажа были герольды, предшествовавшие ему. Этими герольдами служили самые неистовые и бешеные из среды валившей валом черни, которым хотелось поскорее возвестить Парижу, что революция в Версале унизила королевскую власть, что народ остался победителем. Герольды несли с собою кровавые трофеи этой победы — головы Варикура и Дехютта, верных швейцарцев, павших на службе своему королю. Эти головы, воткнутые на пики, несли двое мужчин из простонародья впереди шествия. Между ними с гордой, торжествующей миной шагал великан с длинной черной бородой, с обнаженными, забрызганными кровью руками и сверкающим взором. Его лицо и кисти рук были красны от крови, которою он умылся, а в правой руке он нес топор, с которого еще капала кровь. То был Журдан, заслуживший в этот день — после того, как он обезглавил обоих швейцарских гвардейцев, — наименование «отрубателя голов», которое сумел сохранить за собою в продолжение всей революции*.

Как буревестники, жаждавшие раньше всех возвестить Парижу триумф народа и раздраженные медленным движением королевского поезда, эти глашатаи победы с кровавым знаменем далеко опередили его. В Севре они остановились, но не для того, чтобы отдохнуть или дожидаться остальных. Нет, они потребовали парикмахера и приказали ему завить и напудрить отрубленные головы швейцарцев, для того — как с раскатистым хохотом объявил ликовавшим толпам черни Журдан — чтобы казненные могли вступить в столицу изящными кавалерами.

* Журдан, отрубатель голов, до тех пор служил моделью для скульптуры и живописи в королевской академии

Пока таким образом впереди и позади августейших особ раздавались дикий крик, громкое пение и хохот, внутри кареты, занятой королевской фамилией, царило ненарушимое молчание. Король прижался в уголок экипажа, не желая видеть страшные фигуры, подходившие от времени до времени к дверцам, чтобы заглянуть туда любопытными глазами или с язвительным смехом и двусмысленными остротами поглотиться над царственной семьей.

Но королева сидела прямо, с гордой, важной осанкой, мужественно смотря в глаза ужасу и не выдавая своих душевных мук ни малейшим вздрагиванием ресниц, ни самым легким вздохом своих пересохших, бледных губ.

«Нет, — думала она, — лучше умереть, чем обрадовать этот торжествующий, низкий сброд зрелищем своих страданий. Лучше упасть в обморок от истощения, чем жаловаться».

И у нее не вырвалось ни единой жалобы. Тем не менее, когда дофин, после четырех часов этого печального путешествия, обернулся к матери с умоляющим видом и произнес своим милым голоском: «Мама-королева, мне хочется кушать!» — гордое выражение в чертах Марии Антуанетты исчезло, и две крупные слезы медленно покатались по ее щекам.

Наконец, после восьми часов утомительной езды, страшный поезд прибыл в Париж. По пути его следования не было ни одного пустого окна. Дивясь и содрогаясь, смотрели парижские граждане на такое невиданное, страшное зрелище — на короля и королеву Франции, привезенных насильно торжествующими подонками простонародья. Мрачный ужас овладел теми, которые отрицали до той минуты революцию и думали, что все снова войдет в обычную колею. Теперь никто больше не мог предаваться этой надежде, теперь даже самым боязливым приходилось признаться, что революция наступила и надо привыкать смотреть ей в глаза.

Медленно двигался поезд вперед, полз вдоль набережной, окаймляющей сад Тюильери. Гулявшая в саду публика поспешно взобралась на вал, который ограничивал в то время парк со стороны Сены; всем хотелось взглянуть на ужасную процессию, посмотреть, как разнузданный народ волочит за собою скованное королевство.

На лицах большинства этих зрителей читалось насмешливое злорадство, но некоторые из них бледнели, содрогаясь от гнева и скорби. В передних рядах между прочими стояли двое молодых мужчин: один — в простом штатском платье, другой — в мундире подпоручика. Лицо молодого офицера

было бледно, но светилось редкой энергией, а своим благородным, античным профилем и пламенными орлиными очами приковывало к себе каждый взор, интересовало всякого, кто смотрел на него.

Когда народ с воем, ревом и диким ликованием проходил мимо него, молодой офицер обратился к своему спутнику и с удивлением и негодованием воскликнул:

— О, Боже, возможно ли это, мой друг?! Неужели у короля нет пушек, чтобы расстрелять этот сброд?

— Друг мой, — с улыбкой возразил штатский, — припомни слова нашего великого поэта Корнеля: «Королю народ дает пурпур и отнимает ее у него, если ему вздумается».

— Ах, — улыбаясь, подхватил молодой подпоручик, — раз полученное надо крепко держать! По крайней мере, я, если бы мне пришлось когда-нибудь получить пурпур по милости народа, ни за что не отдал бы его обратно. Однако пойдем; мне противно смотреть на эту сволочь, которую ты важно величаешь народом.

Он схватил за руку друга и повернул к более уединенной части Тюильерийского сада.

Этот молодой поручик, с таким негодующим изумлением смотревший на процессию революции, проходившую мимо него, и предназначенный судьбою положить ей со временем конец, назывался Наполеоном Бонапарте.

Молодой человек, шедший с ним рядом и в свою очередь предназначенный судьбой произвести революцию, хотя только на театральных подмостках, и направить драматическое искусство по новым путям, назывался Тальма.

XV

Мама-королева

— Все проходит, все кончается, нужно только мужество, чтобы всегда помнить это, — с кроткой улыбкой сказала Мария Антуанетта, когда встала с постели на другое утро после своего прибытия в Париж и пила шоколад в импровизированной гостиной, где ей прислуживали приближенные дамы. — Вот мы устроились в Тюильери и даже выспались, тогда как вчера были уверены, что погибли и только смерть может принести нам желанное успокоение.

— То был страшный день, — вздыхая, заметила Кампан. — Но вы, ваше величество, геройски перенесли все испытания.

— Ах, Кампан, — печально возразила королева, — у меня нет честолюбивых притязаний прослыть героиней, и я была

бы признательна судьбе, если бы она позволила мне с этих пор быть только женою и матерью, если я уже не могу оставаться королевой!

В эту минуту отворилась дверь: маленький дофин, в сопровождении своего наставника, аббата Даву, вбежал в комнату и бросился с распростертыми объятиями к Марии Антуанетте.

— О, мама-королева, — вкрадчиво воскликнул он, — уедем, пожалуйста, обратно в наш прекрасный замок! Здесь в этом большом, мрачном доме отвратительно.

— Тише, дитя мое, тише! — сказала королева, прижимая к себе красавца-мальчика. — Не надо так говорить! Ты должен приучаться быть довольным везде.

— Мама-королева, — прошептал ребенок, нежно прижимаясь к матери, — но ведь это правда, что здесь отвратительно. Только я буду говорить о том совсем потихоньку, чтобы никто не услышал, кроме тебя. Однако скажи мне, кому принадлежит этот некрасивый дом и зачем будем мы тут жить, если у нас есть чудесный замок с великолепным садом в Версале?

— Сын мой, — вздыхая, ответила Мария Антуанетта, — этот дом принадлежит нам; это прекрасный и знаменитый дворец. Ты не должен говорить, что он противен тебе, потому что твой августейший прадед, великий король Людовик Четырнадцатый, жил в этом дворце, который называют Тюильерийским, и сделал его знаменитым по всей Европе.

— Ах, мне все-таки хотелось бы, чтобы мы уехали отсюда! — прошептал дофин Людовик Карл, боязливо озираясь большими голубыми глазами в обширной, пустынной комнате, лишь скудно обставленной старомодной, полинялой мебелью.

— И мне хотелось бы того же, — вздыхая, чуть слышно, промолвила про себя Мария Антуанетта.

Однако тонкий слух ребенка уловил эти слова, и он с удивлением спросил:

— И тебе? Разве ты уже не королева, мама, и не можешь больше делать то, что тебе хочется?

Пораженная в самое сердце этим невинным вопросом дофина, королева разразилась слезами.

— Принц, — сказал аббат Даву, приближаясь к своему царственному воспитаннику, — вот видите, вы огорчаете королеву, а ее величеству нужно спокойствие. Пойдемте гулять!

Однако Мария Антуанетта крепко обняла ребенка и, прижав его белокурую головку к своей груди, возразила:

— Нет, нет, он не огорчает меня. Дайте мне выплакаться. Слезы приносят облегчение. Человек истинно несчастлив лишь тогда, когда утратил способность плакать, когда... Но что это такое? — перебила сама себя королева, поспешно вставая с кресла. — Что значит этот шум?

В самом деле с улицы доносились громкий крик и ликование вперемежку с ругательствами и угрозами.

— Мама! — воскликнул дофин, в испуге уцепившись за королеву. — Разве сегодня все еще вчера?

Дверь порывисто распахнулась, и вошел король.

— Ваше величество, — воскликнула королева, — что случилось? Неужели опять возобновляются ужасные вчерашние сцены?

— Напротив, Мария, — пожимая плечами, возразил Людовик, — хотят привлечь к ответственности их зачинщиков. В Тюильери прибыла депутация от суда Шатлэ, которая желает получить от меня разрешение преследовать виновных, а от вас — некоторые показания насчет вчерашних происшествий. Народ провожал сюда уполномоченных, отчего и поднялся шум. Я пришел просить вас, Мария, дать аудиенцию депутации Шатлэ.

— Как будто нам предоставлена возможность отклонить ее, ваше величество! — со вздохом произнесла Мария Антуанетта. — Народ, воющий и ревущий на улице, служит теперь придверником тех, которые в насмешку спрашивают нас, согласны ли мы дать им аудиенцию. Мы должны подчиниться.

Вместо ответа король только пожал плечами и, отворив двери прихожей, приказал ожидавшему камергеру:

— Пусть войдут!

Обе половинки дверей распахнулись, и громкий голос пристава возвестил:

— Господа судьи Шатлэ.

Медленной поступью, с почтительной миной, с наклоненной головой, вошли в комнату представители правосудия в своих длинных черных мантиях и смиренно остановились у порога.

Мария Антуанетта сделала несколько шагов вперед. На ее лице не было больше ни малейшего следа беспокойства и скорби. Она держалась прямо, гордо сверкал ее взор, благородно и величаво было выражение лица. Она по-прежнему была королевой, хотя и не окруженной торжественною помпой, которою, согласно этикету, обставлялись раньше в Версале официальные приемы. Она не стояла на обитой пурпурным бархатом верхней ступени трона, ее не осенял шитый

золотом балдахин, увенчанный королевской короной, не окружал блестящий двор, сверкающий бриллиантами; возле нее был только муж, маленький сын прижимался к ней сбоку, а его наставник, аббат Даву, робко державшийся на заднем плане, составлял всю ее свиту. Но Мария Антуанетта не нуждалась в этой внешней пышности, чтобы быть королевой; врожденное величие сказывалось в ее осанке, взоре, в каждом движении. С благородным достоинством разрешила она депутации приблизиться к ней и говорить. Со спокойным вниманием слушала она слова уполномоченного, который выразил Марии Антуанетте от имени высокого судилища весь ужас, вызванный в нем преступными сценами вчерашнего дня. Затем он смиренно попросил королеву назвать ему тех из бунтовщиков, которые, пожалуй, были ей известны, чтобы схватить их. Но Мария Антуанетта прервала его речь:

— Нет, нет, никогда не стану я жаловаться на подданных короля!

Уполномоченный, почтительно поклонившись, произнес:

— В таком случае я прошу от имени высокого трибунала Шатлэ повелеть нам, по крайней мере, привлечь виновных к ответственности, так как без этого повеления мы не можем начать судебное преследование виновных.

— Я и не хочу, чтобы вы преследовали кого-либо, — величаво промолвила королева. — Я все видела, все знала и все забыла. Ступайте, господа, ступайте! Мое сердце не ведает мстительности, оно простило всем, которые оскорбляли его. Ступайте!

Она повелительным жестом руки, легким наклоном головы отпустила депутацию, и та молча удалилась.

— Мария, — сказал король, с необычайной живостью схватив руку супруги и поднося ее к губам, — Мария, благодарю вас от имени всех моих подданных. В эту минуту вы поступили не как королева, но как мать моего народа.

— Ах, ваше величество, — с тяжелым вздохом и печальной улыбкой возразила королева, — беда в том, что ваши подданные видят во мне не мать, но своего врага.

— Они сбиты с толку, — сказал король. — Злоумышленники обманули их, но я надеюсь, что нам удастся вывести народ из его заблуждения.

— Ваше величество, — с новым вздохом произнесла Мария Антуанетта, — я не надеюсь больше ни на что, но, — прибавила она твердым голосом, — я и не боюсь ничего более. Пусть надо мной разразится самое худшее; я встречу его вооруженной.

Тут отворилась боковая дверь, вошла Кампан и доложила:

— Ваше величество, множество дам из Сэн-Жерменского предместья собрались в малом приемном зале и желают изъяснить вам свое нижайшее почтение.

— Я тотчас приму их,— почти радостно воскликнула Мария Антуанетта.— Вот видите, мой супруг, несчастье имеет свои утешительные стороны! Эти дамы из Сэн-Жерменского предместья раньше не жаловали меня: они не могли простить мне то, что я — австриячка. Сегодня же они почувствовали, что я — королева Франции и принадлежу к ним. Простите, ваше величество, что я оставляю вас.— И она удалилась поспешными, легкими шагами.

Король проводил ее грустным взором и пробормотал:

— Бедная королева, как мало ее понимают, как злобно клеветают на нее, а я не могу ничего изменить и должен мириться с этим!

С тяжелым вздохом, похожим на стон, он опустился в кресло, чтобы углубиться в ужасные воспоминания. Легкое прикосновение к его руке вывело его из задумчивости. Перед ним стоял дофин и серьезно смотрел на отца своими большими голубыми глазами.

— Ах, это ты, мой маленький Людовик Карл? — сказал государь, кивнув ему головой.— Что тебе надо от меня, дитя мое?

— Папа-король,— несмело ответил мальчик,— я хочу спросить тебя о чем-то очень важном.

— Очень важном? — повторил король.— Ну, посмотрим, в чем дело. Говори!

— Ваше величество,— глубокомысленно заговорил малолетний дофин,— госпожа де Турзель сказала мне однажды, что я должен очень любить французский народ и быть со всеми ласковым, потому что французский народ очень любит моих папу-короля и маму-королеву, и за это я должен выказывать ему свою признательность. Как же это вышло, государь, что народ рассердился на вас и совсем не любит моей мамы? Что такое сделали вы оба, из-за чего народ пришел в гнев? Ведь мне говорили, что народ — это подданные вашего величества, обязанные повиноваться вам и почитать вас. Между тем вчера эти ваши подданные вовсе не были послушны и почтительны. Как же это могло выйти, папа?

Король привлек маленького принца к себе на колени и, обняв его хрупкую фигурку, произнес:

— Я сейчас объясню тебе это, сын мой, слушай хорошенько!

— Я слушаю внимательно, ваше величество, — с живостью подхватил принц, — по крайней мере, хоть я буду покорным подданным моего короля, так как аббат Даву внушил мне, что я не что иное, как подданный вашего величества и обязан, в качестве сына и подданного, служить добрым примером французскому народу в том, как надо любить короля и повиноваться ему. И я очень люблю вас, папа, и веду себя послушно, насколько могу, но мне кажется, что мой добрый пример не действует на прочих подданных. Отчего же это, папа-король?

— Оттого, сын мой, — ответил Людовик, — что нашлись злые люди, которые сказали народу, будто я не люблю его. Нам пришлось вести большие войны, а войны стоят больших денег. Поэтому я потребовал их от своего народа, как это делали всегда мои предки.

— Боже мой, — подхватил дофин, — зачем же ты, папа, сделал это? Отчего ты не взял моего кошелька, чтобы заплатить оттуда? Ведь ты знаешь, что он ежедневно наполняется новенькими блестящими франками и... Впрочем, — перебил сам себя мальчик, — тогда не осталось бы ничего для бедных детей, которых я всегда одеваю на прогулке. Ах, этих бедняжек так много, что мой кошелек всегда пуст при моем возвращении домой, хотя я даю каждому ребенку не больше жалкого франка. Так у твоего народа есть деньги, папа, больше денег, чем у тебя самого?

— Дитя мое, короли получают все от своего народа, но зато и отдают ему в свою очередь все, что имеют. Король — поставленный Богом властелин и повелитель своего народа, которому народ обязан воздавать почести, оказывать повиновение, а также платить подати. Таким образом, когда королю понадобятся деньги, он вправе требовать их от своих подданных, налагая на них подати, или, как говорят, «налоги». Понимаешь ли ты меня?

— Конечно, папа, — воскликнул ребенок, слушавший отца, притаив дыхание и не спуская с него взора своих больших глаз. — Я все хорошо понимаю, только это мне не нравится. По-моему, если ты — король, то тебе и должно все принадлежать, и у короля должны быть все деньги, чтобы он мог давать их своим подданным. Пусть они просят у него, а не он у них.

— В прежние более счастливые времена так оно и было, — со вздохом произнес король. — Но некоторые короли злоупотребляли своим могуществом и властью, и из-за этого их ограничили, так что король не может больше тратить деньги без согласия народа.

— А разве ты истратил их, папа, не посоветовавшись с народом? Не из-за того ли он пришел вчера в Версаль и так сердился, так ужасно сердился? Значит, те злые люди и были «народ», не правда ли?

— Нет, сын мой,— возразил Людовик,— надеюсь, то был не народ. Кроме того, народ не имеет права являться ко мне таким образом, толпами, но должен говорить со мною через своих представителей. Представителей же народа я сам созвал к себе; это — национальное собрание, заседавшее в Версале. Я потребовал от них денег на расходы, которые должен сделать для народа, но они потребовали от меня таких вещей, которые я не могу дозволить ни за себя, ни за тебя, мой сын и будущий преемник. После моего отказа явились злые люди и взволновали народ и внушили ему, что я не люблю его больше и хочу причинить своим подданным зло. И несчастные поверили тому, что им нагнали дурные советчики и клеветники, подстрекнувшие их к мятежу против меня. Но теперь все пойдет хорошо и мои подданные поймут, что я их люблю и готов делить с ними все. Поэтому я переехал в Париж, чтобы жить здесь среди моего народа. Конечно, здесь не так красиво, как в Версале, наши комнаты не так роскошны и удобны, как там, а главное, тут недостает чудесных садов, где нам было так хорошо. Но мы должны привыкать к этому и мириться с необходимостью. Остальным парижанам живет-ся здесь не лучше нашего, пускай же они видят, как искренне любит их король, который не задумался покинуть свой прекрасный Версаль, чтобы поселиться среди них и разделять с ними всякую нужду и неудобства.

— Папа-король! — воскликнул мальчик с заблестевшими глазами.— Теперь я все понял и мне стыдно за свой недавний ропот. Обещаю вам, ваше величество,— продолжал он с серьезной миной, положив руку на грудь, в виде клятвы,— обещаю вам постараться подавать народу добрый пример и быть приветливым и учтивым со всеми. Никогда больше не стану я жаловаться на то, что мы живем в Париже, и постараюсь быть веселым и довольным.

Дофин действительно сдержал свое обещание. Он больше ни единым словом не упоминал о прежней чудесной жизни в Версале и как будто совершенно забыл о том, что лишь недавно поселился в большом пустынном дворце с мрачными залами, где неприветливо смотрели полинялая обивка стен, старинная мебель с потускневшей позолотой и жесткими подушками. Ребенок не роптал и на то, что для прогулки королевской семьи была отведена только небольшая замкнутая часть Тюильрийского сада, обнесенная железной решет-

кой, через которую часто доносились слова угрозы и были видны гневные, дышавшие ненавистью лица.

Однажды, услышав подобные возгласы и увидав злобные лица черни, дофин испугался и, ухватившись за мать, стал боязливо просить, чтобы его увели обратно во дворец. Однако Мария Антуанетта, вместо того, чтобы исполнить его желание, повела плачущего, испуганного мальчика дальше в сад. Дойдя до маленького павильона, который возвышался в углу сада со стороны набережной, королева уселась там на скамейку, посадила дофина пред собою на мраморный стол, вытерла своим платком его заплаканные глаза и стала нежно упрощать его успокоиться и перестать бояться.

— Когда ты плачешь, дитя мое,— сказала наконец она печальным тоном, видя, что ребенок все еще не может преодолеть свои слезы,— когда ты плачешь, то я теряю всякое мужество и вокруг меня становится вдруг так темно и мрачно, точно солнце закатилось. Тогда мне хочется плакать вместе с тобою, а между тем это не пристало королеве. Злые люди станут радоваться, видя наши слезы, и мы должны с гордостью скрывать свои страдания. Когда я вижу тебя в слезах, то меня покидают силы. Помнишь, как мы недавно ехали сюда из Версаля? Помнишь, как злые люди, окружавшие нас, смеялись надо мною и оскорбляли меня, твою мать? Я оставалась холодной и спокойной, но заплакала, когда ты, дитя мое, пожаловался на голод.

— Мама,— воскликнул ребенок с заблестевшими глазами,— я никогда больше не стану жаловаться, чтобы злые люди не радовались при виде твоих слез.

— Но с добрыми людьми, сын мой, ты должен быть всегда приветлив и предупредителен.

— Непременно буду,— задумчиво ответил дофин.— Только скажи мне, мама-королева, которые же люди добры?

— Считаю всех людей добрыми, Луи,— вздыхая, сказала королева,— и потому будь приветлив со всеми. Если же они пренебрегут твоею добротой и приветливостью и оттолкнут их прочь, то ты не будешь виноват, а милосердный Бог и твои родители останутся довольны тобою.

— Мама,— с живостью подхватил принц, причем по его лицу, сиявшему детской невинностью и красотой, промелькнула тень,— я не могу допустить, чтобы все люди были добры. Как они ругались вчера и кричали злые слова нам в карету и как нападали на тебя, моя милая мама-королева!

— Они не придут к нам больше, Луи, нет! Будем надеяться, что злые люди больше не явятся, а те, которые посещают нас здесь,— люди добрые. Поэтому будь со всеми ласков и

обходителен, чтобы подданные твоего отца полюбили тебя и увидали, насколько благодетелен и учтив с самого детства их будущий король.

— Хорошо,— с жаром ответил дофин,— я буду благодетелен и учтив со всеми, только ради того, чтобы ты была довольна мною, только ради того!

Тут вошедший пристав доложил о приходе генерала Лафайетта и парижского мэра де Бальи.

— Мама-королева,— пробормотал принц, когда те вошли в павильон с разрешения Марии Антуанетты,— ведь это — тот самый генерал, который был тогда в Версале? Я не могу быть приветливым с ним, потому что он принадлежит также к злым людям.

— Тише, дитя мое, тише! — прошептала королева.— Ради Бога молчи, чтобы кто-нибудь не услышал! Генерал Лафайетт вовсе не принадлежит к нашим врагам, он незлой и желает нам добра. Будь как можно приветливее с ним, дитя мое!

Мария Антуанетта взяла сына за руку и с улыбкой на устах пошла навстречу пришедшим, чтобы осведомиться о цели их появления в такой необычный час и в таком месте.

— Государыня,— сказал Лафайетт,— я пришел просить ваше величество соизволить указать мне, в какие часы будет вам угодно посещать парк и сад, чтобы я мог сделать надлежащие распоряжения.

— Иными словами, генерал,— подхватила королева,— у меня отнимают возможность выходить в парк, когда мне вздумается, и я должна пользоваться чистым воздухом лишь в назначенное время, как узница в тюремном заключении?

— Простите, государыня,— почтительно возразил генерал,— благоволите вспомнить, что спокойствие и безопасность вашей высочайшей особы для меня священнее всего на свете, и я считаю первым долгом охранять ваше величество от всякого оскорбления и неприятности.

— Так вот до чего дошло? — гневно воскликнула Мария Антуанетта.— Королеву Франции приходится защищать от оскорблений и неприятностей! Она не смеет даже спуститься во всякое время в свой парк, так как ей угрожают обиды со стороны народа, если генерал Лафайетт не примет предвзвешенных мер! Но если так, то не проще ли запереть ворота парка? Он составляет королевскую собственность, и королю, наверно, будет дозволено оградить свое имущество от грубых посягательств черни. Я сама позабочусь о том, генерал, чтобы оградить себя от оскорблений во всякое время, когда мне вздумается спуститься в парк и внутренний сад. Я попрошу его величество короля закрыть доступ сюда, как и в аллею вдоль набережной. Этим все будет сказано, и тогда, по

крайней мере, мы получим возможность прогуливаться, когда хотим, не имея надобности предварительно уведомлять о том генерала Лафайетта.

— Государыня,— печально сказал Лафайетт,— я предвидел, что вы сделаете мне это возражение, и потому пригласил с собою господина де Бальи в надежде, что он поможет мне умолить ваше величество воздержаться от подобных мероприятий и не раздражать еще более и без того озлобленного народа.

— Значит, и вы разделяете это мнение? — спросила Мария Антуанетта, обращаясь к парижскому мэру.— Вы также видите насилие в том, что король воспользуется своим правом собственника, чтобы удалить из своих владений докучливых людей?

— К сожалению, ваше величество, король отчасти не волен воспользоваться правом собственника, как вы изволили выразиться.

— Уж не хотите ли вы сказать, что король не имеет права, если захочет, запереть ворота Тюильерийского парка перед назойливыми посетителями?

— Государыня,— с легким поклоном ответил де Бальи,— я действительно принужден сказать это.— Король Генрих Четвертый даровал парижанам на вечные времена привилегию беспрепятственно пользоваться Тюильерийским парком для прогулок. Тюильерийский дворец, как известно вашему величеству, был первоначально построен королевою Екатериною Медичи после смерти ее супруга и был отведен ей для жительства. В то время в народе ходили всевозможные рассказы о разных ужасах, будто бы творившихся в здешнем парке. Так говорили о лабораториях, где королева Екатерина Медичи варила ядовитые снадобья, о павильоне, который служил у нее застенком для самых жестоких пыток, о подземельях, где томились заживо погребенные. Из-за этих слухов никто не осмеливался после заката солнца приближаться к здешним местам. Когда же королева Екатерина покинула Париж, а Генрих Четвертый по восшествии на престол поселился в Лувре, то повелел открыть парижанам Тюильерийский сад со всеми его ужасами и превратить его из королевского в народный на вечные времена, чтобы тяготевшее на нем проклятие превратилось в благословение.

— А теперь вы полагаете, что значило бы снова превратить благословение в проклятие, если бы мы вздумали запереть ворота, отпертые Генрихом Четвертым?

— Да, я боюсь этого, государыня, и потому осмеливаюсь просить вас не преграждать доступа народу в Тюильерийский

сад и не отнимать у него пользования старинной привилегией.

— Не народ, но только мы должны быть лишены пользования садом! — с горечью воскликнула Мария Антуанетта. — Люди, называющие теперь народ настоящим королем Франции, конечно, правы, но они забывают, что этот новый король захватил трон лишь посредством измены, мятежа и убийства, а потому гнев Божий вместе с человеческой справедливостью со временем ниспровергнут его оттуда в прах под наши стопы. В надежде, что этот день наступит, я буду терпеливо и с непоколебимым мужеством переносить все, ниспосланное мне судьбою. Людская злоба и жестокость, по крайней мере, не в силах меня запугать, и не из страха соглашаюсь я унизиться до положения заключенной, которая будет с этих пор прогуливаться под охраной господина де Лафайетта, национального генерала, в указанные ей часы.

— Ваше величество! — бледнея, воскликнул Лафайетт. — Ваше величество...

— Что такое? — перебила его королева, гордо закинув голову. — Ведь вы были придворным и знали нравы и обычаи нашего двора до своего отъезда в Америку. Неужели тамошняя республиканская распушенность до такой степени помрачила вашу память, что вы даже забыли правило, запрещающее говорить в присутствии королевы, когда она не спрашивает вас и не дает на то разрешения?

— Генерал, — поспешно и громко воскликнул в ту минуту дофин, проворно приблизившись к Лафайетту и протягивая ему свою руку, — генерал, мне хотелось бы поздороваться с вами. Моя мама-королева сказала мне, что я должен быть приветлив со всеми, которые добры к нам и любят нас. А когда вы вошли сюда с господином де Бальи, государыня сказала мне, что генерал Лафайетт не принадлежит к нашим врагам, но желает нам добра. Итак, позвольте мне приветствовать вас и пожать вам руку.

Говоря таким образом и ласково улыбаясь генералу, дофин в то же время бросил умоляющий взор на королеву.

Лафайетт взял протянутую руку принца, и глубокое умиление внезапно отразилось на его разгневанном лице. Как будто под влиянием почтительного восторга, он неожиданно преклонил колени пред этим ребенком, лицо которого сияло невинностью, любовью и добротой, и прижал его руку к своим губам.

— Принц, — с глубоким волнением произнес генерал, — вы заговорили со мной ангельским языком, и я клянусь вам и вашей августейшей матери, что никогда не забуду этого момента и всегда стану вспоминать о нем, пока буду жив. Поце-

луй, который я запечатлел на руке моего будущего короля, послужил в то же время печатью торжественной клятвы в неизменной верности и преданности моему теперешнему и будущему королю и всей королевской семье. И ничто не заставит меня уклониться от этих чувств, даже гнев и немилость ее королевского величества. Дофин Франции, сегодня вы приобрели солдата для своего трона, который готов отдать за вас и ваш дом последнюю каплю своей крови и на верность и преданность которого вы можете отныне рассчитывать.

Со слезами на глазах, с умилением на мужественном, благородном лице, смотрел Лафайетт на царственного ребенка, который в свою очередь с разгоревшимися щеками и милой смущенной улыбкой разглядывал своими большими, вдумчивыми детскими глазами сильного мужчину, так смиренно стоявшего пред ним на коленях. Позади него стоял де Бальи, опустив голову на грудь, сложив руки и благоговейно вслушиваясь в слова генерала, в сильных и твердых руках которого покоилась судьба государства и который был в то время самым могущественным и важным человеком во Франции, потому что парижская национальная гвардия еще повиновалась ему и исполняла его приказания.

Возле дофина стояла королева со своей прямой, гордой осанкой, но на ее лице была заметна удивительная перемена. Выражение гнева и презрения совершенно исчезло с него, туча, омрачавшая высокое чело, рассеялась, и оно снова сделалось чистым и ясным. Большие серо-голубые глаза, только что метавшие гневные молнии, сияли теперь кротким блеском, а на румяных губах блуждала та дивная улыбка, которая в счастливые дни вдохновляла любимцев королевы на прославление ее в стихах, но которую ее враги так часто ставили ей в упрек.

Когда генерал умолк, наступила тишина, красноречивая, торжественная тишина, свойственная таким моментам, когда гений мировой истории проносится мимо людей и, задевая их своими крыльями, сковывает им язык и отверзает им духовный взор, чтобы они заглянули в будущее и с жутким трепетом увидали его тайны, как при вспышке молнии. Подобным историческим моментом был тот, когда Лафайетт клялся у ног дофина Франции в вечной верности королевской монархии, в присутствии несчастного парижского мэра, которому предстояло вскоре запечатлеть собственной кровью свою верность, и в присутствии королевы, величие которой должно было в скором времени смениться мученичеством.

Момент миновал, и Мария Антуанетта, наклонившись со своей восхитительной улыбкой к Лафайетту, кротко и ласково сказала:

— Встаньте, генерал! Бог услышал вашу клятву, а я принимаю ее от имени французской монархии, от имени моего супруга, моего сына и от себя самой. Я буду помнить ее и надеюсь, что вы также не забудете о ней. Прошу вас, кроме того,— продолжала королева, понизив голос и краснея,— простите меня за то, что я была несправедлива к вам и упрекнула вас. Я пережила столько печальных и ужасных дней, что мои нервы сильно расстроены и легко приходят в раздражение. Я, конечно, научусь переносить и черные дни и терпеливо склонять голову под ярмом, которое наложили на меня мои враги. Но я еще чувствую унижение, и гордые привычки моей жизни и моего происхождения возмущаются против этого. Но подождите, я привыкну.

Говоря таким образом, она наклонилась к дофину и поцеловала его золотистые волосы. Но при этом слеза капнула из ее глаз на лоб сына и заблестела на нем, как упавшая с неба звезда.

— Сохрани Бог, чтобы вы, ваше величество, привыкли когда-нибудь к унижению! — воскликнул глубоко взволнованный Лафайетт.— Я надеюсь, что худшие дни для нас миновали и после непогоды и бурь снова засияет солнце. Со стыдом и раскаянием оглянется народ на дикие и безумные сцены, до которых довели его подстрекательства бунтовщиков; он снова преклонится с любовью и покорностью пред королевской четой, которая с таким благородным доверием и преданностью отнеслась к нему и покинула свое прекрасное уединение в Версале, чтобы исполнить желание народа и переехать на жительство сюда в Париж. Соболаговолите, ваше величество, спросить господина парижского мэра и он расскажет вам, как глубоко тронуты все добрые граждане Парижа тем благородством, с каким вы, ваше величество, отклонили предложение судей Шатлэ нарядить следствие о злополучной, ужасной ночи в Версале и привлечь к ответственности зачинщиков смуты.

— Правда ли это, господин де Бальи? — с живостью спросила королева.— Неужели мое решение было одобрено? Неужели у меня есть друзья между парижскими жителями?

— Ваше величество,— с низким поклоном ответил мэр,— все добрые граждане Парижа с глубоким благоговением и умилением узнали о благородном поступке своей королевы, и во всех благородных, верных сердцах неизгладимо запечатлелись слова, сказанные вашим величеством судьям Шатлэ: «Я все слышала, все видела и все забыла». Со слезами умиления, со святою радостью повторяют их во всем Париже; они сделались лозунгом для всех благомыслящих и верных

людей, евангелием любви и прощения для всех женщин, верности и преданности для всех мужчин. Теперь французы увидели и убедились, что трон Франции занимают не только красота и доброта, но прощение и кротость, и что вы, ваше величество, по справедливости носите титул августейшей. Эти восемь слов, сказанных вашим величеством, суть священное знамя для всех ваших преданных слуг, и они постараются возвратить золотые дни, некогда сиявшие над Парижем, когда дофина Франции вступила в столицу, когда весь Париж ликовал, встречая ее, и будущей королеве Марии Антуанетте можно было по справедливости сказать: «Вот сто тысяч поклонников вашей особы».

Королева не могла более скрыть свое глубокое волнение. Она, с мужеством, гордо и прямо смотревшая в лицо своим врагам и обидчикам, была тронута непривычными словами преданности и воодушевления; из ее груди вырвались легкий крик, судорожное рыдание, и долго сдерживаемые слезы хлынули светлым потоком из ее глаз. Испуганная и пристыженная, закрыла она лицо обеими руками, но слезы неудержимо струились между ее белых, тонких пальцев. Они сдерживались так долго, что теперь, пробившись наружу против воли королевы, лились с удвоенной силой.

Но лишь на один момент гордая, мужественная королева позволила взять над собою верх кроткой, растроганной женщине; она быстро оправилась, осушила глаза и, подняв голову, произнесла:

— Благодарю вас, благодарю вас! Вы принесли мне отраду, и эти слезы были теперь первыми, вызванными не горем и не гневом. Кто знает, буду ли я еще когда-нибудь плакать такими же отрадными слезами! И кто знает,— продолжала она с тяжелым вздохом,— не обязана ли я ими скорее вашему доброму желанию утешить меня, чем действительности! Теперь я одумалась. Вы говорите, что все добрые граждане Парижа повторяют мои слова, все благомыслящие люди довольны моим решением. Но я боюсь, что их число весьма незначительно, и минувшие золотые дни никогда не вернуться. Не служит ли доказательством тому ваше сегодняшнее появление здесь? Ведь вы пришли из-за того, что народ оскорбляет меня, глумится надо мною, и вы считаете нужным предложить мне свою защиту, которая теперь могущественнее, чем пурпур короля и лилии французского трона.

— Государыня, нужно дать время опомниться сбитому с толку народу, чтобы он снова мог вернуться на путь истины,— почти с мольбою сказал Лафайетт.— С ним надо поступать, как с упрямыми, избалованными детьми, которых легче

привести к повиновению кротким увещанием и кажущейся уступчивостью, чем строгостью. Поэтому я осмелился просить ваше величество, чтобы вы соизволили вверить мне охрану своей священной особы и милостиво назначить час, когда вы желаете гулять в здешних парках и садах, чтобы я мог сделать нужные распоряжения по долгу службы.

— Чтобы образовать шпалеру из ваших национальных гвардейцев, под прикрытием которой королева Франции будет ограждена от ненависти народа и нападения ее врагов! — воскликнула Мария Антуанетта. — Нет, я не могу принять это предложение. Пусть видят, по крайней мере, что я — не трусиха и не прячусь от тех, которые являются нападать на меня.

— Ваше величество, — с волнением воскликнул де Бальи, — заклинаю вас сделать это из сожаления к нам, ко всем вашим верным слугам, которые трепещут за безопасность и спокойствие вашего величества и которых вы осчастливите, позволив господину де Лафайетту отстранить от вас глупость народа и охранять ваши прогулки.

— Довольно, господа, — нетерпеливо сказала Мария Антуанетта. — Вы знаете теперь мое неизменное решение, и нам нет надобности останавливаться дольше на этом предмете. Я не стану прятаться от народа и ставлю себя пред ним под защиту Единого Господа. Хранимая Им и вооруженная чистым сознанием, что я не заслужила ненависти и вражды, которыми меня преследуют, я буду всегда выступать пред подданными короля с открытой головой, и только Бог и судьба должны рассудить нас. Благодарю вас, господа, за ваше усердие и предусмотрительность; будьте уверены, что я никогда не забуду этого. Но теперь прощайте! Становится холодно, и мне пора вернуться во дворец.

— Не соизволите ли вы, ваше величество, разрешить нам обоим примкнуть к вашей свите и проводить вас до дворца? — стал просить Лафайетт.

— Я пришла сюда только в сопровождении двух лакеев, которые ожидают пред павильоном, — ответила королева. — Ведь вы знаете, что я отменила придворный этикет, который требует, чтобы королеву сопровождали даже на ее прогулках, и не позволяет ей свободного наслаждения природой. Мои враги ставят мне в преступление и это; они находят непристойным, чтобы королева прогуливалась без блестящей придворной свиты, как обыкновенная смертная. Но я думаю, что народ не должен сердиться на простоту моих обычаев; ему следует понять из этого, что я вовсе не так горда и неприступна, какой меня стараются выставить. Итак, прощайте, господа!

Она сделала приветственный жест рукой по направлению к дверям, отпустила грациозным наклоном головы обоих сановников, и они удалились с печальным видом.

— Пойдем, сын мой, — сказала королева, — вернемся во дворец.

— Но по той же дороге, по которой мы пришли сюда, не правда ли, мама-королева? — спросил дофин, схватив протянутую ему руку матери и прижимая ее к губам.

— А ты не заплачешь, если люди начнут кричать и смеяться? Ты не будешь больше бояться?

— Нет. О, ты будешь довольна мною, мама-королева! Я в точности запомнил все, что ты говорила этим обоим господам, и очень рад, что ты не позволила господину де Лафайетту идти следом за нами. Тогда люди подумали бы, что мы боимся их, а теперь они увидят, что нам нисколько не страшно.

— Ну, пойдем, дитя мое! — повторила Мария Антуанетта, взяв сына за руки и собираясь покинуть павильон.

Но дофин остановился на пороге и с мольбой посмотрел на мать.

— Я хотел бы попросить тебя об одном, мама-королева.

— Говори, чего ты хочешь, мой маленький Луи?

— Я хотел бы, чтобы ты позволила мне идти одному, мама, иначе люди подумают, что я боюсь. А я хочу поступать, как рыцарь Баяр, о котором сегодня рассказывал мне аббат. Я хочу быть, подобно ему, без страха и упрека.

— Хорошо, мой доблестный рыцарь! — с улыбкой ответила Мария Антуанетта. — Тогда иди один, рядом со мною.

— Нет, мама, если ты позволишь, я пойду впереди тебя. Рыцари всегда ходят впереди своих дам, чтобы отражать всякую опасность, которая представится им в пути. А я твой рыцарь, мама-королева, и хочу им быть, пока жив. Итак, ты позволяешь, моя царственная дама?

— Позволяю! Ступай вперед, мой рыцарь Людовик Карл! Мы пойдем по той же дороге, по которой пришли сюда.

Дофин поспешно перебежал площадку пред павильоном и миновал аллею, которая ведет к колоннаде со стороны набережной. Однако он остановился пред лесенкой, ведущей на эту колоннаду, и обернулся назад к королеве, которая спокойно и не торопясь следовала за ним, в сопровождении двух лакеев.

— Ну, что же, рыцарь Баяр? — улыбаясь, спросила она. — Почему ты колеблешься?

— Я только поджидаю ваше величество, — серьезно ответил ребенок. — Отсюда начинается моя рыцарская служба, потому что здесь опасное место.

— Правда, — подтвердила королева, остановившись у подножия лесенки и прислушиваясь к нестройному гаму, доносившемуся издали. — Это похоже на бурю, разгулявшуюся над океаном, когда режут волны и грохочет гром. Но ты знаешь, сын мой, что и бури находятяся во власти Божьей, а Бог хранит тех, которые предаются Его воле. Помни это, дитя мое, и не бойся.

— О, я вовсе не боюсь! — воскликнул мальчик, взбегая по ступеням с проворством газели.

Королева несколько ускорила шаг и, казалось, устремила все свое внимание на дофина, шедшего впереди нее с веселою беззаботностью; она как будто не слышала происходившего вокруг нее. А между тем за решеткой, отделявшей колоннаду с левой стороны от набережной, стоял народ густыми толпами, и все эти сверкавшие глаза были устремлены на королеву; а слова ненависти, проклятий, диких угроз преследовали ее на каждом шагу.

— Смотрите, добрые люди, смотрите! — кричала женщина с распущенными волосами, ниспадавшими из-под ее круглой шапочки и спускавшимися на раскрасневшееся, сердитое лицо, — смотрите, вот булочница, а идущий впереди нее — булочный мальчишка! Они могут наряжаться и веселиться, потому что им живется хорошо, и едят пирожное, тогда как мы голодаем! Но постойте, постойте! Все изменится, и мы доживем еще до того, что булочнице придется голодать не хуже нашего. Но когда мы дорвемся до хлеба, то не дадим ей ничего! Нет уж, извините!

— Конечно, не дадим! — ревела, вопила и хохотала беснующаяся чернь.

И все теснились к решетке, а обнаженные руки и сжатые кулаки просовывались между железных прутьев и грозили королеве и шедшему впереди дофину.

«Выдержит ли он это? Не расплачется ли опять мое дитя от испуга?» — такова была единственная мысль, занимавшая королеву, пока она шла, сопровождаемая яростным ревом толпы; ее взоры были устремлены на одного дофина, и ни разу не оглянувшись она на решетку, за которой рычал и топал ногами народ, как стая диких львов.

Вдруг сердце королевы замерло от ужаса, и у нее захватило дыхание. Она увидела, как в том самом месте, где колоннада делает поворот, какой-то человек просунул свою обнаженную руку как можно дальше сквозь решетку и протянул ее поперек дорожки в виде шлагбаума, преграждавшего путь.

Взор королевы перешел с этой страшной, обнаженной руки на дофина. Она заметила, как мальчик нерешительно за-

медлил шаги, остановился, а потом стал тихо подвигаться вперед.

Королева поспешила к нему, чтобы быть с ним рядом, когда дофин достигнет препятствия, преграждавшего ему путь. Народ за решеткой, видевший маневр этого человека, который просунул теперь через решетку уже свое плечо и согнул два железных прута,— народ внезапно прекратил свой рев, и оглушительный гам сменился напряженной, жуткой тишиной, какая наступает порою во время грозы, когда она собирается с силами для нового, страшного громового удара.

Каждый чувствовал, что соприкосновение этой угрожающей руки и приближавшегося легкой поступью ребенка, подобно соприкосновению стали с камнем, может вызвать искру, которая заставит вновь вспыхнуть пламя революции.

Это чувство заставило толпу притихнуть и оно же заставило королеву ускорить шаги, чтобы догнать дофина, прежде чем он поравняется со страшным подвижным шлагбаумом.

— Поди сюда, сын мой! — сказала Мария Антуанетта. — Дай мне руку!

Но не успела она схватить маленького принца за руку, как он прыгнул вперед и остановился как раз пред протянутой огромной рукой.

— Боже мой, что он затевает? — пробормотала про себя королева.

В тот же миг в толпе за решеткой грянуло громкое, оглушительное «браво» и было подхвачено и повторяемо тысячью голосов.

Дофин протянул свою беленькую ручку, положил ее на загорелый кулак, обращенный к нему, и кивнул человеку, смотревшему на него так злобно.

— Здравствуйте,— громко сказал он,— здравствуйте! — и мальчик схватил своей ручонкой руку рабочего и слегка потряс ее в виде дружеского приветствия.

— Маленький карапуз,— рявкнул этот человек,— что ты затеваешь? Как можешь ты класть свои маленькие когти на лапу льва?

— Я думал, что вы подаете мне руку, и также подал вам свою, чтобы поздороваться с вами.

— Если бы я захотел, то раздавил бы твою руку в своем кулаке, как в тисках,— крикнул силач, не выпуская руки принца.

— Но ты не сделаешь этого,— подхватили сотни голосов из толпы.— Нет, Симон, ты не сделаешь вреда ребенку!

— А кто из вас мог бы помешать мне, если бы я захотел? — с громким смехом спросил озорник.— Смотрите, вот я держу в кулаке руку будущего короля Франции и могу раздавить ее,

если захочу, и могу сделать так, чтобы она никогда не могла поднять скипетр над Францией. Мальчуган сказал, что ему захотелось взять мою руку и оттеснить меня назад, а теперь моя рука схватила его и держит крепко. Знай, мальчик, что миновало то время, когда короли хватали нас; теперь мы хватаем их и держим крепко и не выпускаем, если нам так угодно.

В этот момент королева, отстранив повелительным жестом руки лакеев, подскочивших, чтобы освободить дофина, сказала Симону:

— Прошу вас, уберите свою руку, чтобы мы могли продолжать нашу прогулку.

— Ах, и вы тут, булочница? — воскликнул мастеровой с злобным смехом. — Неужели мы снова встретились, и взор нашей прекраснейшей королевы опять устремлен на грязное, жалкое лицо такого презренного создания, каким должен быть в ваших небесных глазах сапожник Симон?

— Так вы — сапожник Симон? — спросила Мария Антуанетта. — Действительно, я вспоминаю теперь, что уже разговаривала однажды с вами. Это было в тот день, когда я в первый раз привезла вот этого принца в собор Парижской Богоматери, чтобы Господь благословил его, а народ приветствовал дофина Франции. Вы стояли тогда у моей кареты.

— Да, это правда, — ответил, видимо, польщенный Симон. — У вас, по крайней мере, хорошая память, государыня-королева. Но вы должны были запомнить и то, что я сказал вам тогда: я не мосье, но бедный сапожник, который в поте лица зарабатывает жалкий кусок хлеба, тогда как вы красуетесь в гордом величии и убиваете время в праздности. В то время я также держал руку вашей дочери в своей руке и она закричала от страха только из-за того, что бедняк прикоснулся к ней.

— Но я, мастер Симон, как видите, вовсе не кричу, — улыбаясь, возразил дофин. — Я знаю, что вы не хотите причинить мне вред, и прошу вас убрать свою руку, чтобы моей маме-королеве можно было пройти.

— А если я не захочу сделать то, о чем вы просите меня? — задорно спросил сапожник. — Если я доведу до того, что ваша мама-королева станет приказывать мне и, может быть, созовет солдат и велит им стрелять в отвратительный народ?

— Вы знаете, мастер Симон, что я никогда не даю и никогда не давала такого приказа, — с живостью подхватила королева. — Король и я — мы любим свой народ и никогда не приказали бы нашим солдатам стрелять по нему.

— Потому что вы не можете быть уверены, государыня, что ваши солдаты исполнят такое приказание,— засмеялся Симон.— С тех пор, как мы прогнали швейцарцев, не стало больше солдат, которые беспрекословно дадут растерзать себя за своего короля и королеву, и вы отлично знаете, что после первых же выстрелов по нас народ растерзал бы стрелявших. Да, да, прекрасные версальские дни миновали; здесь, в Париже, вы должны привыкать просить, вместо того чтобы приказывать, и достаточно руки одного человека из народа для того, чтобы удержать королеву и дофина Франции.

— Вы ошибаетесь,— возразила королева, гордое сердце которой не могло долгие выносить это унижительное принуждение,— королева Франции и ее сын не будут задержаны вами на своем пути.

Она быстрым движением схватила дофина, одновременно с тем оттолкнув руку сапожника, проворно подняла мальчика с земли и, не дав Симону опомниться, прошла мимо.

Народ, который зарычал бы от бешенства, если бы Мария Антуанетта велела своим лакеям оттолкнуть сапожника, теперь, восхищенный этой энергичной и мужественной самостоятельностью королевы, разразился кликами восторга и радости при виде этой гордой, смелой женщины, у которой хватило решимости собственноручно отстранить забияку и освободиться от его нападения. Люди рукоплескали, смеялись, горланили: «Да здравствует королева! Да здравствует дофин!». И этот крик и эти рукоплескания распространились как белый огонь по линии зрителей, стоявших за решеткой, вдоль набережной, и все взоры провожали высокую, гордую фигуру уходящей королевы.

Только взор сапожника Симона следил за ней с коварным и злобным выражением, а его стиснутый кулак грозил ей сзади.

— Она еще поплатится мне за это,— пробормотал мастеровой с бешеным проклятием.— Австриячка оттолкнула сегодня мою руку, но наступит день, когдаона почувствует мою силу и когда я так крепко стисну лапу ее мальчугана, что он вззоет от боли. Теперь я верю тому, что так часто говорил мне Марат: пора отмщения наступила, и мы должны добиться того, чтобы народ взял на себя управление строною. Я также хочу участвовать в этом, я ненавижу надменную красавицу-австриячку, которая считает себя лучше моей жены; и, когда наступит золотая пора, о которой говорил Марат, тогда Мария Антуанетта должна будет сделаться моей служанкой, а ее сын пусть будет у меня на побегушках!

Ворча таким образом про себя, Симон своими сильными локтями прокладывал себе дорогу в густой толпе и пробирался вдоль садовой решетки, чтобы как можно дольше следить своим злобным, пронизывающим взором за высокой фигурой королевы, которая удалялась теперь быстрыми шагами по колоннаде, ведя за руку дофина. Колоннада упиралась в решетку, окружавшую маленький сад, который был отведен для королевской семьи и в который вели чугунные ворота, украшенные гербом французских королей. Они были только притворены, и Мария Антуанетта вошла через них в укромный уголок, еще спасенный для королевской семьи от навязчивости народа. Королева вздохнула с облегчением, когда увидела, что один из лакеев запер за собою эти ворота, и услышала скрип ключа, повернутого в замке.

Она остановилась на минуту, чтобы собраться с силами, почувствовав теперь дрожь и слабость в ногах. Она с удовольствием опустила бы на колени, чтобы излить пред Богом все горе и муку своей души. Но за ней следовали два лакея, а возле нее стоял маленький сын, который смотрел на нее большими печальными глазами, тогда как с набережной доносился ужасный гул, похожий на шум разгулявшегося моря.

Королеве не подобало жаловаться, падать от изнеможения, ей следовало показывать сыну веселое лицо и поддерживать гордую осанку пред слугами. Только Бог мог заглянуть в ее сердце и увидеть слезы, кипевшие в нем. Но среди глубокой печали она испытывала чувство торжества, гордого удовлетворения. Она сохранила свою свободу, свою независимость, не сделалась пленницей Лафайетта. Нет, королева Франции не стала под защиту народного генерала, не дала ему права охранять ее ненавистными национальными гвардейцами и говорить им: «В такой-то и такой-то час королева Франции выходит на прогулку, и, чтобы она могла освежиться воздухом, мы будем защищать ее в это время от ярости народа». Нет, она защищала себя сама, она все еще оставалась королевой и одержала над народом победу, доказав ему, что он ей не страшен.

— Мама,— воскликнул дофин, прерывая ход ее скорбных и гордых мыслей,— мама, вот идет король, мой папа! Как он обрадуется, узнав, что я вел себя храбро!

Королева поспешно наклонилась и, поцеловав дофина, сказала:

— Действительно, мой рыцарь Баяр, ты сделал честь своему великому образцу и был маленьким рыцарем без страха и упрека. Но, дитя мое, истинный храбрец не хвалится своими геройскими подвигами и не жаждет, чтобы люди восхищались

им из-за этого, но молчит и предоставляет другим рассказывать о своей доблести.

— Мама, и я буду молчать,— воскликнул мальчик с блестящими глазами.— О, ты увидишь, что я сумею молчать и вовсе не хочу хвалиться!

Затем король, в сопровождении нескольких кавалеров и слуг, приближался с необычной поспешностью и в своем нетерпении поскорее добраться до супруги шагал по клумбам, попирая ногами последние осенние цветы.

— Наконец-то вы вернулись, Мария! — сказал он, приблизившись к королеве.— Я уже хотел спешить к вам навстречу, чтобы привести вас из парка сюда. Вы так долго пропадали, что я стал бояться за вас.

— Бояться, ваше величество? — спросила королева.— Какая же опасность могла грозить мне здесь, в нашем саду?

— Не старайтесь обойти меня, Мария,— со вздохом сказал Людовик,— я уже знаю все. Ненависть народа мешает нам даже пользоваться свежим воздухом. Лафайетт и Бальи были у меня после того, как вы отпустили их. Они сообщили мне, что вы не захотели послушать их обоюдные просьбы и дать генералу Лафайетту право охранять вас во время ваших прогулок.

— Надеюсь, что вы, ваше величество, довольны мною и находите, что я права,— поспешно сказала Мария Антуанетта.— Вы, как и я, чувствуете, что было бы новым поражением и унижением для нас, если бы мы позволили генералу национальной гвардии контролировать даже наше пребывание среди природы.

— Я думал только о том, что, оставаясь без охраны, вы подвергаетесь опасности,— с некоторым замешательством ответил король.— Лафайетт изобразил мне настоящее положение вещей в таких мрачных и пугающих красках и его слова были так убедительны, что я прежде всего мог думать только о вашей безопасности и стараться оградить вас от нападений ваших врагов и от ярости политических партий. Поэтому я одобрил предложение Лафайетта и разрешил ему охранять ваше величество во время прогулок.

— Но вы не назначили определенных часов для моих прогулок? Не правда ли, ваше величество, ведь вы не сделали этого?

— Конечно, сделал,— кротко сказал король.— Мне знакомы ваши привычки и я знаю, что осенью и зимой вы прогуливаетесь между двенадцатью и двумя часами, а летом, в вечернюю пору,— от пяти до семи. Таким образом я назначил генералу Лафайетту это время.

Королева тяжело вздохнула и тихо произнесла:

— Ваше величество, вы все ту же и ту же стягиваете цепи нашего заточения. Сегодня вы сами ограничиваете нашу свободу двумя жалкими часами, подавая этим повод к новым стеснениям. Отныне мы будем прогуливаться два часа, под защитою Лафайетта, но наступит время, когда этой защиты будет недостаточно для нашей безопасности. Ведь королевская власть, выказывающая себя слабой и зависимой, не почерпывая в самой себе силы и заставляющая других поддерживать свою корону, достигает этим лишь того, что ее корона колеблется и ей самой оказывается не под силу нести ее бремя. О, ваше величество, было бы лучше, если бы вы допустили народную ярость растерзать меня во время одной из моих прогулок без надзора, чем разрешить мне гулять под охраною Лафайетта!

— Вы видите настоящее в слишком мрачном и печальном свете, — воскликнул король. — Все исправится, если мы будем благоразумно и обдуманно подчиняться обстоятельствам и успокаивать ненависть своевременной уступчивостью; тогда вражда сама собою замолкнет.

Королева не ответила ни слова; она наклонилась к дофину и, поцеловав его локоны, прошептала:

— Теперь ты можешь все рассказать, мой Луи. Тебе нет больше надобности молчать, потому что молчание было бы напрасно. Итак, расскажи о своих геройских подвигах, сын мой!

— Здесь идет речь о геройских подвигах? — спросил король, тонкий слух которого уловил слова королевы.

— Да, ваше величество, — подтвердила Мария Антуанетта. — Но с нами произошло то, что было с Дон Кихотом. Мы полагали, что отстаиваем свою честь и трон, теперь же выходит, что мы сражались с ветряными мельницами. Прошу вас, ваше величество, сообщить Лафайетту, что ему нет надобности требовать сюда из-за меня своих национальных гвардейцев. Я не стану больше выходить на прогулку.

И королева сдержала свое слово. В ту зиму она ни разу не спускалась в сады и парк Тюильери. Она не доставила Лафайетту случая охранять и защищать ее. Но она достигла этим, по крайней мере, того же самого, чего хотел достичь Лафайетт с помощью своей национальной гвардии: Мария Антуанетта отстранила от Тюильери народные массы. Сначала народ еще толпился там изо дня в день, обступая решетки парка и королевского сада, но, убедившись, что королева не показывает более пред его любопытными и злобными взорами, стал тяготиться напрасным ожиданием и удалился от ко-

ролевской резиденции; зато участились посещения клубов, где Марат, Саптерр и прочие ораторы из среды яростных республиканцев громили в своих речах королеву, осыпая ее словно градом отравленных стрел. В то же время в национальном собрании Мирабо и Робеспьер, Дантон, Шенье, Петтион и прочие призванные представители нации ошеломили престоначальников громовыми филиппиками* против королевской власти.

XVI

В Сен-Клу

Прошла зима, печальная, мрачная зима для королевской фамилии, особенно для Марии Антуанетты. Во время зимнего сезона не было и помина ни о каких празднествах, ни о каких развлечениях и невинных радостях, обыкновенно украшающих жизнь женщины и королевы.

Мария Антуанетта уже не была королевой, которая повелевает и видит вокруг себя толпу почтительных придворных, готовых усердно ловить каждое слово, слетевшее с ее уст. Мария Антуанетта стала теперь серьезной, одинокой женщиной, она много работала, много думала, составляла множество планов для спасения королевства и трона, причем все эти планы разбивались о нерешительность и слабохарактерность ее супруга.

От королевы были далеки счастливые времена, когда каждый день приносил с собою новые праздники, новые увеселения, когда сияние солнца в летний день радовало ее, потому что обещало ей дивный вечер, одну из восхитительных идиллий Трианона. Братья короля, «школьный учитель» и «мэр» Трианона покинули Францию и поселились по ту сторону Рейна в Кобленце, Полиньяки бежали в Англию. Княгиня Ламбаль, по желанию королевы, также отправилась туда для переговоров с Питтом, чтобы молить всемогущего министра короля Георга III оказать тесному французскому королевскому дому более существенную и действительную помощь вместо того, чтобы ограничиваться гневными и негодующими речами в парламенте против непокорной и мятежной французской нации. Графы де Базанваль и Куаньи, маркиз де Лозен, барон д'Адемар — все лучшие друзья счастливых летних дней Трианона, веселых зим Версаля — все, все разъехались; они бежали в Кобленц, ко двору французских принцев.

* Речи знаменитого оратора Демосфена, направленные против Филиппа Македонского, ныне — всякая обличительная речь.

Там они плели интриги, старались подстрекнуть Европу к войне с французами, оттуда они метали свои зажигательные факелы во Францию, факелы клеветы на Марию Антуанетту, австриячку. На нее одну должна была пасть вина за все бедствие, за расшатанность Франции. На ее голову падало проклятие, бремя всех ошибок и грехов, совершенных французским двором в целое столетие. Кто-нибудь должен был быть агнцем, которого нужно было принести в жертву революции, жаждущей крови и мести, и этою искупительною жертвою была намечена Мария Антуанетта. На ней, на королеве Франции, должны были сорвать свой гнев, ожесточенные сердца; она должна была поплатиться за то, что сделали дурного ее предшественники на троне. Справедливость попиралась ими долго с полной безнаказанностью во всех видах, и французская нация была вправе пылать гневом, подниматься с яростным рычанием, подобно давно укрощенному льву, когда тот, слишком измученный железным прутom своего сторожа, наконец выпрямляется во весь рост и, собрав всю свою дикую силу, с бешеным наслаждением растерзывает мучителя, от которого он так долго, так много терпел.

Французский народ восстал, расвирепевший лев размахивал гривой и был готов отомстить тем, которых он так долго называл своими господами и повелителями.

Чтобы успокоить льва, жаждущего крови и мести, нужно бросить ему добычу — принести человеческую жертву ради примирения.

Мария Антуанетта должна была стать жертвой голодному льву; ее кровь должна была пролиться за грехи Бурбонов. На ней нужно было сосредоточить весь гнев, все негодование, всю ярость народа; ее одну следовало обвинить во всех бедствиях и несчастьях Франции; она должна была утолить жажду мести голодного льва, чтобы, когда он насытится, можно было снова сделать его уступчивым и терпеливым, привести к раскаянию и опять заковать в цепи; хотя он и разорвал их в своей ярости, но должен примириться с ними, когда угар бешенства у него пройдет.

Королева! Королева была виновата во всем! Мария Антуанетта обесславила королевство, австриячка навлекла на себя ненависть французской нации, и она должна была поплатиться за это, она одна!

Пасквили и памфлеты сочинялись бывшими друзьями, бывшими придворными кавалерами королевы и летели во Францию, чтобы сначала погубить ее честь, ее доброе имя, а потом отдать ее в жертву насмешкам и презрению. Рассчитывали на то, что, когда лев утолит свою ярость, натешит свою

ненависть над Марией Антуанеттой, тогда он придет к раскаянию и снова покорится своему королю, после чего настанет пора для королевских принцев вернуться во Францию, в их любимый Париж.

Граф Прованский был непримиримым врагом королевы; он никак не мог простить ей, что она овладела сердцем короля, своего супруга, и лишила всякого влияния его мудрого брата. Граф Прованский был честолюбив и умен. Он видел, что пред троном с лилиями разверзлась пропасть, которая не закроется. Значит, надо было постараться засыпать ее. Он думал, что примирение между королевской властью и нацией не могло больше произойти естественным путем, значит, надо было прибегнуть к искусственному способу. По его мнению, Людовика Шестнадцатого уже не удалось бы спасти, а Марию Антуанетту и не следовало спасать; значит, они оба должны были послужить для засыпки пропасти, зиявшей между троном с лилиями и французским народом, когда же она будет засыпана, то откроется путь для графа Прованского, преемника своего брата.

Граф д'Артуа был некогда другом королевы, единственным членом королевской семьи, благоволившим к ней и порою защищавшим ее от ненависти царственных тетушек, золовок и умного братца. Однако, поселившись в Кобленце, граф д'Артуа сделался непримиримым врагом Марии Антуанетты. Ему так настойчиво твердили со всех сторон, будто королева одна виновна во всем, благодаря своему легкомыслию, расточительности, интригам, будто она одна вызвала революцию, что граф наконец поверил и с гневом отвернулся от невестки, тягчайшее преступление которой в глазах принца заключалось в том, что она подала повод к вынужденному изгнанию принцев в Кобленц.

И Марии Антуанетте были известны все эти интриги, затеваемые против нее в Кобленце; она знала о всех клеветах, распускаемых оттуда на ее счет, прочитывала все пасквилы и памфлеты, которые бурный ветер революции стряхивал с засохшего дерева монархии, как увядшие, пожелтелые осенние листья, и рассеивал по всей Франции, чтобы их повсюду находили и прочитывали.

— Они убьют меня, — часто вздыхала королева после чтения этих пропитанных ненавистью, написанных кровью памфлетов, — да, они убьют меня, но вместе со мною погубят и короля, и монархию. Революция восторжествует над всеми нами и всех нас сведет в могилу.

Но ей хотелось еще попробовать одолеть революцию и воздвигнуть монархию из ее унижения. Император Иосиф

Второй, ее брат, сказал однажды о себе: «Я — роялист, потому что того требует мое ремесло». Но Мария Антуанетта была роялисткой не потому, чтобы того требовало ее «ремесло», а роялисткой по убеждению, роялисткой по уму, по чувству, от всей души. И потому она хотела защищать монархию и бороться против революции до тех пор, пока одолеет ее или будет поглощена ею сама.

Все ее старание, вся нежная заботливость были направлены на то, чтобы вдохнуть в супруга одушевлявшее ее мужество, одушевить его огнем, пылавшим в ее душе. Но, к несчастью, Людовик Шестнадцатый, будучи добрым мужем, отличным отцом семейства, не был настоящим королем. Он, конечно, желал укрепить монархию, но ему не доставало для этого энергии, сильной воли. Вместо того, чтобы одолеть революцию гневным мужеством, он старался примирить ее кроткой уступчивостью, мягкой предупредительностью и вместо того, чтобы давать отпор, он подчинялся ей.

Но Мария Антуанетта не могла и не хотела отказаться от своей надежды. Так как король бездействовал, то она хотела действовать за него; так как он не вел политики, то она хотела вести ее вместо него. С пылким усердием ударились она в дела, политику, ежедневно целыми часами вела переговоры с министрами, приверженцами двора, вела заграничную корреспонденцию, переписывалась со своим братом, императором Леопольдом, со своей сестрою, королевой Каролиной Неаполитанской, писала им шифрованным шрифтом, неизвестным никому, кроме их одних, и через тайных агентов, рекомендованных верными людьми, посылала эти письма своим родственникам, умоляя их прийти на помощь монархии.

Теперь дни королевы проходили в серьезной деятельности, в непрестанной заботе и занятиях. Она перестала петь и смеяться. Наряды утратили для нее всякую прелесть; она прекратила совещания со своей портнихой Бертен; ее парикмахер Леонар не имел больше надобности напрягать свой гений, чтобы придумывать новые прически для прекрасных белокурых волос королевы; ее туалет составляло простое темное платье, кружевная косыночка, перо — весь ее головной убор.

Некогда она, разумеется, радовалась своей красоте и улыбалась лести зеркала, когда оно отражало ее собственный образ. Но теперь Мария Антуанетта равнодушно смотрела на свое усталое, бледное лицо с резкими, серьезными чертами и не чувствовала сожаления, когда зеркало говорило ей, что королева Франции, несмотря на свои тридцать шесть лет, — уже старуха, что розы на ее щеках поблекли, что житейские

заботы наградили ее преждевременными морщинами. Но она не печалилась о своей отцветшей красоте, смотрела даже с удовольствием на себя, тридцатилетнюю матрону, прекрасные белокурые волосы которой поседели в страшную ночь пятого октября. Королева приказала написать свой портрет, чтобы отправить его самой верной из ее приятельниц, княгине Ламбаль, в Лондон, и собственноручно начертила под ним слова: «Страдания убелили ее волосы».

Однако и в этой жизни, полной забот, труда, горя и унижения, и в эти мрачные дни печали и покорности судьбе были свои радости, единичные моменты счастья.

Такою радостью, после печальной первой зимы в Тюильери, было разрешение, полученное королевскою семьею от национального собрания, перебраться в Сен-Клу на лето. Разумеется, было новым унижением, что королю понадобилось позволение для переезда в его собственный замок, но ведь национальное собрание именovalo себя опорою трона, и король, занимавший этот шаткий трон, должен был волею-неволею привикать к зависимости от его опоры!

В Сен-Клу, по крайней мере, можно было пользоваться некоторою свободою, уединением и тишиной. Птицы пели в кустарниках, солнце заливало своим сиянием обширные залы замка, где немногие преданные люди собирались вокруг королевы, которая чувствовала здесь, на своем челе, хотя слабый отблеск минувшего великолепия. В Сен-Клу она все-таки была опять королевой, имевшей свой двор. Но как мало походил он на прежний! Не было ни веселого смеха, ни веселого пения в этих пустых, гулких залах; прелестные женщины в легких, воздушных, летних туалетах уже не порхали среди цветов, барон Адемар не садился теперь за спинет, чтобы исполнить своим прекрасным голосом чудные арии из оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце», в которой изображался апофеоз королевской власти, а певец Гара приводил в восторг весь Париж, и не только Париж, но даже Версаль, а в Версале — королевский двор.

Сам Людовик Шестнадцатый был приведен в восторг арией, которую так восхитительно исполнял Гара своим мягким, великолепным голосом: «О, Ричард, о, мой король!» Эта ария создала однажды в театре шумный триумф самому королю. Дело было так: когда Гара запел эту арию, то обратил лицо и взор к королевской ложе, где сидела королевская семья. При виде этого публика пришла в энтузиазм, встала с места, и сотни лиц обратились к королю, и голоса всех присутствующих силились в громком, ликующем пении: «О, Ричард, о, мой король!»

Людовик Шестнадцатый почувствовал благодарность к храброму певцу, у которого в то смутное время хватило мужества публично изъявить свою преданность королю, и, по просьбе королевы, стал приглашать Гара на частные концерты при Версальском дворе и даже разрешил Марии Антуанетте брать у него уроки пения.

Королева вспомнила теперь об этих счастливых днях минувшего в тихом, безмолвном, музыкальном зале, где инструменты молчаливо стояли по стенам и где не было артистических рук, чтобы извлекать из них бывшие веселые мелодии.

— Лучше бы мне никогда не петь дуэтов с Гара, — бормотала про себя королева. — Король дал мне на то разрешение, но я не должна была делать это. Королева не имеет права быть непринужденной, веселой и счастливой; она может заниматься даже искусствами только сама себя, в тиши своих комнат. Зачем я пела с тенором Гара?

Она села за спинет и открыла его. Ее пальцы скользили по клавишам, и в первый раз после долгих месяцев молчания зал вновь огласился звуками музыки.

Но — увы! — эта музыка не была веселою: пальцы королевы извлекали из инструмента только грустные звуки, скробные жалобы, однако и они напоминали ей о счастливых временах, когда королева Франции могла еще быть покровительницей искусств, когда она принимала в Версале своего бывшего учителя, великого маэстро Глюка*, когда она со своим двором держала его сторону против итальянского маэстро Люлли, когда весь Париж разделился на два враждебных лагеря — глюкистов и люллистов, которые вели между собою отчаянную борьбу. Счастливый Париж! Тогда только интересы искусства занимали умы, и борьба мнений велась лишь посредством перьев! Королеве и ее могущественному влиянию Глюк был обязан постановкой своей оперы «Альцеста», но люллисты на первом представлении одержали победу, и «Альцеста» потерпела фиаско. Вне себя, близкий к отчаянию, покинул композитор оперный театр и бросился бегом по темной улице. Один приятель последовал за ним, остановил его и стал уговаривать. Но Глюк пылко перебил его. «О, друг мой, — воскликнул он, бросаясь к нему на грудь, — «Альцеста» провалилась!» Но друг, нежно прижав его к себе, возразил: «Нет, «Альцеста» упала только с неба на землю».

Королева вспоминала о том, сидя за своим спинетом, вспоминала, как был взволнован Глюк, когда передавал ей ответ своего друга, который был не кто иной, как барон Адемар.

* Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787 гг.) — знаменитый немецкий композитор, в свое время явившийся реформатором оперы.

В благодарность за меткое слово она протянула ему руку для поцелуя, и Адемар, преклонив колено, прижал руку королевы к губам. Это был тот самый барон Адемар, который помогал теперь принцам в Кобленце сочинять пасквили, направленные против нее, и, конечно, был автором того мерзкого памфлета, который высмеивал уроки пения Марии Антуанетты и бичевал ее дуэты с Гара.

Тихо скользили пальцы королевы по клавишам, тихо катились по ее бледным, впалым щекам две слезы, вызванные воспоминанием об этих людях, и ее сердце переполнялось горечью. Но нет, она не хотела плакать и поспешно смахнула предательские слезы.

«Прочь, прочь воспоминания о людской неблагодарности и измене! Только одним искусством, гениальным Глюком и «Альцестой» должны быть заняты в этот час мысли королевы!»

Сильнее ударили ее пальцы по клавишам спинета: она заиграла великолепную жалобу любви Альцесты. Невольно раскрылись при этом ее уста, и она запела своим звучным голосом, с глубоким, страстным выражением скорби:

Oh, crudel, non posso in vere, tu lo sai, senza dite.

При первых звуках чудного пения дверь в глубине зала, выходящая в сад, тихонько отворилась, и в ней показалась белокурая, кудрявая головка дофина. За ним стояли де Турзель и принцесса Елизавета, которые, подобно принцу, притаив дыхание, слушали арию.

Когда же голос Марии Антуанетты замер в скорбном вздохе, дофин бросился к матери через зал с распростертыми объятиями.

— Мама-королева,— сияя радостью, воскликнул он,— ты опять поешь! Я уже думал, что ты разучилась петь. Но ты опять запела, и мы все снова счастливы.

Мария Антуанетта заключила мальчика в объятия, не противореча ему, и с улыбкой кивнула обеим дамам, которые теперь приблизились и стали извиняться в том, что уступили просьбам дофина и осмелились зайти сюда без позволения.

— О, милая мама-королева,— заговорил дофин, ласкаясь к матери и покрывая поцелуями ее руки,— сегодня я учился очень прилежно; аббат доволен мною и похвалил меня, потому что я хорошо писал и делал арифметические задачи. Не наградишь ли ты меня за это, мама-королева?

— Какой же награды желаешь ты, дитя мое? — улыбаясь, спросила Мария Антуанетта.

— Прежде обещай, что ты не откажешь мне.

— Хорошо, обещаю, мой маленький Луи. Говори же, чего ты хочешь!

— Мама-королева, прошу тебя: спой мне песенку и позволь моим обеим приятельницам послушать ее.

— Хорошо, я спою,— ответила Мария Антуанетта,— и пусть наши милые приятельницы слушают вместе с тобою.

Лицо мальчика просияло от радости; с серьезной поспешностью подкатил он кресло к самому спинету и с важной миной уселся в него. Елизавета опустилась возле него на табурет, а де Турзель встала за креслом дофина, опираясь на его спинку.

— Ну, пой теперь, мама, пой! — попросил дофин.

Мария Антуанетта кивнула ему и заиграла прелюдию, а когда ее взоры обратились теперь на группу слушателей, они просияли радостью и бросили благодарный взгляд на небо.

За минуту пред тем королева чувствовала себя одинокой, с болью в сердце вспоминала об отсутствующих друзьях, и вдруг судьба как будто вздумала напомнить ей о счастье, которое еще не было отнято у нее суровым жребием; она послала ей сына и невестку, нежно любивших ее, и кроткую, любящую де Турзель, которая, как узнала Мария Антуанетта, никогда не изменила бы ей и не покинула бы ее.

Дофин сначала слушал ее пение, затаив дыхание и не спуская с матери взора своих больших глаз, но потом его веки невольно опустились, и он сидел неподвижно, с серьезной миной, в своем кресле. Заметив это, Мария Антуанетта запела колыбельную песню, сочиненную Беркеном и прелестно положенную на музыку Гретри. Как тихо было в музыкальном зале, как сильно и трогательно звучал голос королевы, когда она запела заключительную строфу:

Усни, дитя, смежи спокойно очи,
Чтоб плачем мне души усталой не терзать.
Одна с тобой под кровом темной ночи,
И без того твоя страдает мать.

Слушатели сидели, очарованные, даже после того, как пение Марии Антуанетты давно замолкло.

— Ах, посмотрите, пожалуйста,— воскликнула вдруг с улыбкою принцесса Елизавета,— кажется, наш Луи заснул!

Но ребенок поспешно поднял голову и, сердито посмотрев на молодую, улыбающуюся принцессу, с упреком воскликнул:

— Ах, милая тетя, разве можно спать, когда мама-королева поет?

Мария Антуанетта привлекла ребенка к себе, и ее лицо просияло счастьем. Самые пламенные похвалы ее придворных не доставляли ей такого удовольствия, как эти простые слова белокурого мальчика, обнявшего ее шею и нежно прильнувшего к ней.

Королева Франции почувствовала себя все еще богатой, достойной зависти женщиной, потому что у нее были дети, которые любят ее; она сказала себе, что не должна унывать и робко заглядывать в будущее, так как будущее принадлежит ее сыну. Столь шаткий и ненадежный теперь трон должен со временем принадлежать ему, кумиру ее сердца; значит, ей следует собрать всю свою силу, воспользоваться всеми доступными ей средствами, чтобы отстаивать это наследие предков для дофина Франции. Иначе трон французских королей рухнет в пропасть, вырытую революцией.

Нет, дофин Людовик Карл не должен со временем упрекать своих родителей, не должен иметь повод жаловаться, что они подвергали опасности его корону или даже лишили ее своего сына, благодаря отсутствию у них мужества и энергии.

Нет, ей не следует унывать, падать духом, даже если ее супруг, король Франции, теряет бодрость и готов смиренно склонить свою голову помазанника под ярмо революции, которое хотят возложить на него герои и ораторы избранников нации во имя блага Франции.

Она, королева, обязана вдвойне заботиться обо всем, энергично действовать, мужественно держать голову высоко, зорко смотреть во все стороны в надежде, не покажутся ли откуда-нибудь помощь и спасение.

Не извне должна явиться эта помощь, не от чуждых монархов, не от бежавших принцев. Приближающиеся к пределам Франции чуждые армии заклеяли бы позором призвавшего их короля, как изменника пред народом, и, прежде чем они переступили бы границы государства, народная ярость уничтожила бы королевскую чету, не дав времени чужеземцам подоспеть ей на выручку.

Только от тех, которые вызвали смуту, может еще явиться помощь. Главарей революции, возвысивших свой грозный голос против королевской четы, — вот кого следует привлечь на свою сторону, чтобы они заступились за нее!

А кто же был могущественнее, влиятельнее из всех этих главарей, из всех ораторов национального собрания, как не граф Мирабо? Когда он поднимался на ораторскую трибуну, то все смолкало, и даже его противники с почтительным вни-

манием прислушивались к его речам, находившим во Франции громкий отклик. Когда он говорил, когда с его уст срывались громы красноречия, как буря возмущенного гения свободы, то в его глазах вспыхивали молнии, а его голова напоминала голову разъяренного льва, который, потрясая гривой, ниспровергает своим гневом все, стоящее у него на пути. И французский народ любит этого льва и в благоговейном молчании прислушивается к громовым раскатам его речей, от которых содрогается трон. Сангвинический народ всякий раз встречал ликованием своего кумира, боготворил графа Мирабо, который швырнул в лицо своей собственной касте слова: «Они ничего не сделали, кроме того, что побеспокоились родиться на свет». Народ любит этого аристократа, которым гнушаются его родная семья и люди его круга, этого графа, ненавистного аристократии из-за пламенной приверженности к нему третьего сословия.

XVII

Мирабо

— Надо привлечь на свою сторону графа Мирабо, — осмелился однажды сказать Марии Антуанетте граф де Ламарк, — граф Мирабо теперь самый могущественный человек во Франции, и он один может снова привлечь симпатии нации к трону.

— Он главный виновник того, что нация отшатнулась от трона, — вспыхнув гневом, воскликнула королева. — Этот отступник недостоин прощения. Никогда король не снизойдет до того, чтобы простить человеку, который преступно исповедует новую религию свободы и отрекается от веры своих отцов.

— Ваше величество, — с печальным вздохом возразил граф де Ламарк, — в руках этого отступника находится, пожалуй, будущее вашего сына.

Королева вздрогнула, и гордое выражение в ее чертах смягчилось.

— Будущее моего сына? — пробормотала она. — Что вы хотите сказать этим? Какое отношение имеет граф Мирабо к дофину? Только нас преследуют его гнев, его ненависть. Я не спорю, что в настоящее время он обладает могуществом, но над будущим у него нет власти. Мало того, я надеюсь, что будущее отмстит Мирабо за то зло, которое он причинил нам в настоящем.

— А если бы и так, государыня, то какую пользу принесла бы вам постигшая его кара? — печально спросил граф де Ламарк. — Храм, задавивший Самсона, не отстроился вновь из-за того, что виновник его разрушения погиб сам под его развалинами. Он остался лежать во прахе и его величие было уничтожено. Заклинаю вас, ваше величество, не слушайте голоса своего праведного гнева, но послушайтесь советов благоразумия. Заставьте замолчать свое благородное, царственное сердце; стремитесь, ваше величество, лучше к примирению вместо наказания.

— Чего вы требуете от меня? — спросила удивленная Мария Антуанетта. — Что должна я сделать?

— Ваше величество, вы должны укротить льва, — прошептал граф. — Вы должны соизволить превратить своего врага — Мирабо — в преданного, полезного друга.

— Невозможно, невозможно! — с ужасом воскликнула королева. — Я не в силах унижить до такой степени свое достоинство, не могу приветливо взглянуть на это чудовище, виновное во всех мерзостях октябрьских дней! Об этом человеке, который обязан своею славой гнусному преступлению, об этом неверном сыне, неверном супруге, неверном любовнике, неверном аристократе и неверном роялисте я не могу говорить иначе, как с отвращением, презрением и ужасом. Нет, лучше умереть, чем принять помощь от Мирабо! Разве вам неизвестно, граф, что он удостоил меня — свою королеву — своею неприязнью, своим пренебрежением? Разве не Мирабо сумел устроить так, что в народном собрании говорилось только: «Личность короля неприкосновенна», без прибавления: «а также и королевы»? Когда же мои друзья напомнили ему о сдержанности и просили этого человека смягчить свои слова о королеве Франции, разве не Мирабо согласился на то как будто из милости и сказал, пожимая плечами: «Ну, пусть себе она остается в живых!»? Разве не Мирабо был виновником октябрьских дней, не Мирабо сказал публично: «Король и королева погибли, народ ненавидит их до такой степени, что будет колотить даже их трупы»?

— Ваше величество, Мирабо сказал это, но не в виде угрозы, а с сожалением, с сильнейшей тревогой и заботливым сочувствием.

— Сочувствием? — подхватила королева. — Мирабо, который ненавидит нас!

— Нет, ваше величество, Мирабо, который чтит свою королеву, который готов рисковать жизнью за нее и за монар-

хию, если вы, ваше величество, простите ему и соблаговолите принять его в число защитников трона.

Королева содрогнулась и, посмотрев с удивлением и испугом в лицо взволнованного графа Ламарка, переспросила:

— Ведь вы говорите о Мирабо, — спросила она, — о народном трибуне и вдохновенном ораторе национального собрания?

— Я говорю о графе Мирабо, который не дальше, как вчера, был врагом трона, а сегодня делается его ревностным защитником, если только вы согласитесь, ваше величество, обратиться к нему с единым милостивым словом.

— Этого не может быть! — пробормотала королева.

— С тех пор как Мирабо стал чаще видеть вас, ваше величество, — продолжал Ламарк, — и имел случай восхищаться вашим гордым мужеством, вашим благородным самоотвержением, в его душе произошла большая перемена. Он укрощен, как лев при встрече с огненным взором чистого создания. Он хотел бы исправить сделанное им зло, хотел бы примирить враждующие партии; он пишет и говорит о своей высокой королеве с восторгом, с энтузиазмом, он пылает пламенным желанием с клятвою отречься у ног вашего величества от своих прежних грехов и получить ваше прощение.

— Знает ли о том король? — спросила Мария Антуанетта. — Говорили ли вы ему про то?

— Я никогда не позволил бы себе говорить вашему величеству о подобных вещах, если бы король не дал мне на то разрешения, — с поклоном ответил граф де Ламарк. — Его величество считает необходимым склонить Мирабо на свою сторону и надеется, что его августейшая супруга будет содействовать ему в том.

Мария Антуанетта печально покачала головой, а затем со вздохом сказала:

— Я переговорю сама с его величеством, но подчинюсь в данном случае лишь крайней необходимости; заявляю вам это заранее.

Между тем крайняя необходимость наступила, и когда Мария Антуанетта убедилась в том, то сдержала слово и не отказывалась больше подчиниться обстоятельствам. Она поручила графу де Ламарку сообщить его другу Мирабо, что она согласна дать ему аудиенцию.

Но для того, чтобы эта аудиенция могла принести пользу, ее следовало прежде всего окружить глубокой тайной. Никто не должен был подозревать, что Мирабо, народный трибун, обожаемый герой революции, Мирабо, который господствовал в национальном собрании и в целом Париже, которого

самые ярые защитники свободы считали своим апостолом и избавителем,— Мирабо, чье красноречие управляло умами сотен тысяч людей, что этот вожак революции хотел сделаться теперь преданным приверженцем монархии, наемным слугой своего короля.

Только два условия выговорил для себя Мирабо, когда граф де Ламарк стал приглашать его от имени короля на придворную службу: аудиенцию у королевы и уплату своих долгов с ежемесячною рентою в сто луидоров.

— Я нанят, но не куплен,— сказал Мирабо, получив первую ренту.— Одно из предъявленных мною условий исполнено, а что же другое?

— Так вы все еще настаиваете на аудиенции у королевы? — спросил Ламарк.

— Да, мой друг, я настаиваю на ней! — воскликнул Мирабо, сверкая глазами.— Если мне нужно отстаивать эту монархию, то я должен питать к ней почтение; если мне надо верить в возможность ее восстановления, то я должен верить в ее жизнеспособность, должен видеть, что имею дело с храбрым, решительным, благородным человеком. А настоящий и действительный король у нас — это Мария Антуанетта, и среди окружающих Людовика Шестнадцатого находится только один мужчина — его собственная супруга. Я должен говорить с нею, должен убедиться воочию, стоит ли она того, чтобы я рисковал за нее своей жизнью, честью и популярностью. Если она действительно — такая героиня, какой я ее считаю, то мы с нею вдвоем, действуя заодно, спасем монархию и трон Людовика Шестнадцатого, королем которого состоит Мария Антуанетта. Вскоре наступит момент, когда придется попробовать, какое действие могут произвести женщина и ребенок на коне и не сумеет ли дочь Марии Терезии с дофином на руках так же воодушевить французов, как сделала некогда ее великая мать в Венгрии.

— Так вы полагаете, что опасность действительно так велика,— спросил Ламарк,— и что нужно прибегнуть к крайним, героическим средствам?

Мирабо порывисто схватил его за руку, и его лицо приняло торжественное выражение.

— Я убежден в этом,— ответил он,— и прибавлю еще: опасность так велика, что если не принять своевременно самых решительных мер, то она сделается неустрашимой. Для безопасности королевы не существует иного условия, кроме восстановления королевской власти. Я уверен, что она не дорожит жизнью без короны, а для того, чтобы она осталась в живых, за нею непременно нужно сохранить ее корону. В

этом я хочу ей помочь и содействовать. Но для того, чтобы это могло осуществиться, я должен сам говорить с королевой и получить от нее аудиенцию.

И Мирабо, триумфатор революции, достиг своей цели: он получит аудиенцию у Марии Антуанетты — умирающего борца за монархию. 3-го июля 1790 года состоялась в парке Сен-Клу встреча королевы с Мирабо. Тайна и молчание окружали ее и с величайшей осторожностью были приняты все меры, чтобы никто, кроме немногих доверенных лиц, не мог догадываться о том, что произошло в Сен-Клу, на уединенной лужайке, обсаженной высоким кустарником.

На краю этой прогалины стояла белая мраморная скамья, осененная высокими олеандрами и тисами. Она служила тронном, на котором Марии Антуанетте предстояло принять присягу верности своего нового рыцаря.

Мирабо еще за день пред тем прибыл из Парижа в поместье своей племянницы, маркизы д'Араган. Там он переночевал и оттуда пришел на следующее утро пешком в парк Сен-Клу, в сопровождении своего племянника де Сальяна. У задних ворот парка, отворенных для таинственного посетителя, Мирабо распрощался со своим спутником и сказал:

— Я не понимаю, какое страшное предчувствие внезапно овладело мною и какой странный голос жалобно нашептывает мне: «Вернись, Мирабо, вернись назад! Не вступай в эти ворота, потому что за ними зияет твоя могила!»

Когда он говорил это, его голос, заставлявший обыкновенно звенеть стекла в зале заседания, был мягок и дрожал.

— Послушайтесь этого предостерегающего голоса, дядюшка, пока еще не поздно, — стал просить де Сальян. — Со мною происходит то же самое. Мне также почему-то страшно и жутко.

— Неужели мне поставлена здесь западня? — пробормотал про себя Мирабо. — Ведь эти Бурбоны способны на все. Как знать, пожалуй, они заманили меня сюда, чтобы захватить в плен и запереть, как опаснейшего врага, в одну из своих подземных темниц, где я буду погребен заживо? Друг мой, — поспешно продолжал он, — подожди меня здесь, и если я не вернусь через два-три часа, то поспеши в Париж, отправляйся в национальное собрание и заяви о том, что Мирабо, тронутый тревожным призывом королевы, отправился в Сен-Клу и там был схвачен.

— Я сделаю это, дядя, — ответил маркиз, — но не допускаю такого отчаянного поступка и подобного вероломства со стороны королевы или ее супруга. Им обоим хорошо известно, что без Мирабо они погибнут и что только он один, может

быть, еще в состоянии спасти их. Меня пугает нечто совсем иное.

— Чего же ты боишься?

— Я боюсь ваших врагов в национальном собрании,— тихо и почти со страхом ответил Сальян.— Я боюсь этих бешеных республиканцев, которые не доверяют вам, с тех пор как вы недавно заступились на трибуне за королевство и монархию, с тех пор как вы осмелились даже лично защищать королеву против яростных и пошлых нападков, которые позволил себе Марат в своем журнале «Друг Народа».

— Это правда,— улыбаясь, согласился Мирабо,— наши бешеные республиканцы не доверяют мне с тех пор, и мне говорили, что Петион, этот республиканец из железа и стали, обратился в конце моей речи к сидевшему с ним рядом Дантону и сказал: «Мирабо представляет опасность для свободы, потому что в жилах народного трибуна течет еще слишком много графской крови». — «В таком случае,— со смехом ответил ему Дантон,— нужно выпустить графскую кровь из народного трибуна, чтобы он излечился от своей реакционной болезни или умер от нее».

— Когда же Марату сказали, дядюшка, что вы говорили с негодованием и презрением о его нападках на королеву, то он погрозил кулаком и крикнул: «Мирабо — изменник, он готов продать нашу юную свободу монархии. Но с ним будет то же, что с Иудой, продавшим Спасителя. Он поплатится за это своей жизнью, потому что, если мы изобличим его в измене, то поступим с ним так, как Иуда поступил сам с собою. Пусть этот Иуда-Мирабо остерегается».

— Неужели ты думаешь, что эта противная жаба, Марат, повесит меня? — с презрительной усмешкой спросил Мирабо.

— Я думаю, что они шпионят за вами,— шепнул ему Сальян.— Вчера вечером, вблизи нашей виллы, я встретил двух переодетых людей и готов поклясться, что то были Марат и Петион, а сегодня по дороге сюда, оборачиваясь назад, я дважды увидел те же самые две фигуры, которые следили за нами.

— Пусть себе! — сказал Мирабо, гордо выпрямившись и озираясь вокруг.— Лев не боится противного насекомого, которое летает вокруг него; он тотчас стряхивает его своей могучей гривой или давит лапой. Так и я, Мирабо, не боюсь насекомых, вроде Марата и Петиона, пусть они лучше сами остерегаются меня. Я растопчу их, вот и все. А теперь, дорогой племянник, прощай и жди меня здесь.

Он ласково кивнул маркизу головой и вступил в парк, с ворот которого народный гнев уже давно удалил надпись: «De rag la reine» (именем королевы) и который только по воле нации остался за королем.

Взволнованный Мирабо шел легкими шагами по аллее и ему снова показалось, будто таинственные, робкие голоса предостерегали его: «Вернись, Мирабо, вернись, потому что с каждым шагом вперед ты все ниже опускаешься в могилу!» Мирабо остановился и отер батистовым платком холодный пот, выступивший крупными каплями у него на лбу, но затем сказал:

— Это глупость, сущая глупость! Право, я сделался чувствительным, как молодая девушка, идущая на первое любовное свидание. Стыдись, Мирабо, и будь мужчиной!

Он тряхнул головой, точно желая отогнать недобрые предчувствия, и быстрее пошел вперед навстречу графу де Ламарку, показавшемуся на повороте аллеи.

— Королева уже здесь и ожидает вас, Мирабо, — с легким упреком в голосе сказал граф.

Мирабо только пожал плечами, вместо всякого ответа, и ускорил шаг. Вскоре пред ним открылась маленькая поляна, окруженная высоким кустарником. Здесь, на мраморной скамье, сидела дама в белом платье, без всяких украшений, с соломенной шляпой, висевшей на руке, в черной кружевной косынке на волосах; это была королева Мария Антуанетта.

Мирабо остановился, и взоры его больших, пламенных глаз были долго устремлены на нее издали; наконец он обратил к своему другу бледное, взволнованное лицо и пробормотал:

— Друг мой, я не знаю, что творится со мною. Я не плакал с того дня, когда отец выгнал меня из дома наших предков и я услышал за собою его громовое проклятие, но при взгляде на эту женщину мне хочется заплакать, и невыразимая жалость овладевает моею душой.

Королева увидала его и в свою очередь также побледнела; она с невольной дрожью повернулась к королю, притаившемуся позади нее в кустарнике, и с трепетом произнесла:

— Вот этот страшный человек! Боже мой, дрожь ужаса пробегает у меня по жилам, и при одном взгляде на это чудовище я предчувствую, что заболēju от отвращения.

— Мужайся, дорогая Мария, мужайся! — прошептал король. — Вспомни, что благо нашей будущности, благо наших детей, может быть, зависит от этого свидания. Смотри, вот он приближается. Постарайся принять его ласково! Я удалюсь,

чтобы тебе одной принадлежала честь этого дня; ведь монархия имеет в тебе прекраснейшую представительницу!

— Но оставайтесь, по крайней мере, поблизости, ваше величество, чтобы вы могли слышать меня, если я позову на помощь,— пробормотала Мария Антуанетта.

Король улыбнулся.

— Не бойся ничего, Мария! Верь только, что самому Мирабо угрожает большая опасность, чем тебе. Не нас, но его назовут изменником, если сделается известным, что Мирабо приходил к нам сюда. Я удалюсь, потому что он сейчас будет здесь.

И король отступил в чашу, тогда как Мирабо остановился с низким поклоном пред королевой.

Мария Антуанетта поднялась с мраморной скамьи. В данный момент она была не королевой, дающей аудиенцию, но оробевшей женщиной, которая идет навстречу опасности и старается задобрить ее учтивостью и улыбками.

— Подойдите ближе, граф,— сказала она, по-прежнему оставаясь на ногах.

Но, пока он подходил, королева медленно опустилась опять на скамью и почти робко подняла взор на Мирабо, который вовсе не казался ей теперь чудовищем, потому что его лицо было взволнованно, а глаза выражали кротость и почтительность.

— Граф,— заговорила Мария Антуанетта слегка дрожащим голосом,— если бы я видела теперь пред собою заурядного врага — человека, стремящегося погубить монархию, не сознавая того, насколько она полезна великому народу,— то я сделала в данный момент весьма неуместный и бесполезный шаг. Но когда беседуешь с Мирабо, то стоишь вне обычных расчетов мудрости и вместе с восхищением к нему питаешь надежду и на его помощь.

— Государыня! — воскликнул взволнованный Мирабо.— Я пришел сюда не как ваш враг, но как ваш преданный слуга, который с радостью готов пожертвовать своей жизнью, если может принести этим пользу монархии и своему отечеству!

— Значит, вы также полагаете, что теперь предстоит решить вопрос жизни или, если хотите, вопрос смерти между французским народом и монархией? — печально спросила королева.

— Да, я убежден в этом,— ответил Мирабо.— Но я надеюсь еще, что мы можем разрешить этот вопрос в пользу монархии, разумеется, если своевременно употребить надлежащие средства.

— А в чем заключаются, по вашему мнению, эти надлежащие средства, граф?

Мирабо улыбнулся и с удивлением взглянул на благородное лицо королевы, которая с такой спокойной неприужденностью соединила в коротком вопросе все, что уже несколько лет ставило в тупик величайших мыслителей и политиков.

— Простите, ваше величество, если, прежде чем ответить, я испрошу милостивого разрешения в свою очередь задать вопрос моей августейшей королеве.

— Спрашивайте, граф! — ответила Мария Антуанетта с грациозным наклоном головы.

— Я желал бы знать, государыня, намерены ли вы, ваше величество, восстановить прежний режим и считаете ли вы возможным двинуть назад колесницу мировой истории и политики?

— В вашем вопросе заключается и ответ на него, — с печальным вздохом ответила Мария Антуанетта. — Невозможно восстановить разрушенное здание из его обломков. Нужно довольствоваться тем, если из храма удастся построить дом, в котором можно сносно жить.

— Ах, ваше величество, — с воодушевлением воскликнул Мирабо, — этот ответ подобен первому солнечному лучу, пробившемуся сквозь густые грозовые тучи! Чувешь наступление нового дня и приветствуешь его с восторгом. Получив этот великолепный ответ вашего величества, я чувствую себя утешенным, и грозовые тучи не пугают меня больше, так как я знаю, что они должны рассеяться. Я хочу сказать: если употребить надлежащие средства.

— А я повторяю свой вопрос, граф, в чем заключаются, по вашему мнению, надлежащие средства?

— Прежде всего в понимании того, что нужно, — ответил Мирабо, — а потом в радостной и честной готовности сделать то, что признано необходимым.

— Тогда скажите мне: что же нужно?

Мирабо поклонился королеве и заговорил, описывая ей в ясных, определенных выражениях и вдобавок с большой энергией, положение Франции, отношения различных политических партий между собою, а также между двором и тронном. Он отдельными, резкими чертами охарактеризовал главнейших политических клубов, предводителей партий национального собрания, указав на опасные цели, к которым стремились демагоги, люди крайней левой. С осторожной деликатностью он не произносил слова «республиканец», но дал понять королеве, что ниспровержение монархии, трона,

уничтожение и полное искоренение королевского рода составляло конечную цель всех стремлений этих яростных ораторов и вожаков крайней левой.

Королева слушала его внимательно, но и с полным достоинством самообладанием, а серьезный, вдумчивый взор ее больших глаз все сильнее воодушевлял Мирабо, так что речь лилась из его уст огненным потоком, зажигая и окрыляя новой надеждой самого оратора.

— Все еще обойдется, — воскликнул он в заключение, — нам удастся одолеть подпольные силы, которые подкапываются под трон вашего величества, вырвать из рук ваших врагов пагубные орудия разрушения. Я восстану против замыслов демагогов, я выступлю их явным противником и буду ревностно служить монархии, пользуясь такими средствами и ресурсами, которые согласуются со всеобщим возбуждением умов. Было бы опасно запугивать их реакцией, вызывать подозрение в том, что хотят ограничить свободу и самоуправление. И я постараюсь ловко избежать всех этих подводных камней, стремясь в то же время к восстановлению престижа и силы монархии.

— Значит, вы искренне и чистосердечно становитесь на нашу сторону? — почти с мольбою спросила Мария Антуанетта. — Вы хотите служить нам и помогать советом и делом?

На ее вопросительный, испытующий, тревожный взор Мирабо ответил ясной улыбкой и благородным, ободряющим выражением своего лица.

— Государыня, — сказал он приятным, звучным голосом, — я защищал монархические принципы, когда видел только слабые стороны королевского двора, когда я, не ведая ни души, ни помыслов дочери Марии Терезии, еще не знал, что могу рассчитывать на такую благородную посредницу. Я боролся за права трона, когда мне только не доверяли, когда клеветническая злоба считала подозрительным каждый мой шаг и видела в нем лукавство. Я служил монархии даже тогда, когда знал, что не получу от моего справедливого, но обманутого короля ни благодеяний, ни наград. Что же совершу я теперь, когда доверие воодушевляет мое мужество, когда благодарность превращает мои принципы в обязанности? Я буду и останусь тем, чем был всегда: защитником монархии, но подчиненной законам, апостолом свободы, которая гарантирована монархией.

— Я верю вам, граф, — воскликнула взволнованная Мария Антуанетта, — вы будете служить нам верно и усердно, и с вашей помощью все еще может устроиться! Обещаю вам, что мы будем следовать вашим советам и действовать с вами

заодно. Вы вступите в непосредственные сношения с самим королем, обсудите с ним все необходимое и посоветуете ему, что нужно сделать прежде всего для его собственного и для народного блага.

— Государыня, — сказал Мирабо, — я осмеливаюсь сказать это вам сейчас. Нужнее всего, чтобы королевский двор покинул на некоторое время Париж.

— Значит, нам надо бежать? — поспешно спросила Мария Антуанетта.

— Не бежать, но удалиться, — ответил Мирабо. — Раздраженный народ угрожает монархии, поэтому находящаяся в опасности королевская власть должна скрываться и стать невидимкой до тех пор, пока народ вернется к сознанию своего долга и к преданности. По этой причине я не говорю вам, что королевский двор должен бежать, но только советую ему покинуть Париж, потому что этот город есть очаг революции. Королевский двор должен как можно скорее удалиться к границам Франции. Там ему следует собрать вокруг себя армию, под предводительством какого-нибудь верного генерала, чтобы двинуться с этой военной силой к мятежной столице, к которой я выравниваю вам пути и куда отворю ворота.

— Благодарю вас, граф, благодарю! — воскликнула, вставая, Мария Антуанетта. — Теперь будущее не внушает мне больше сомнений, потому что мои взгляды согласуются со взглядами великого государственного человека. Я также убеждена, что королевский двор должен покинуть Париж и удалиться, во избежание новых унижений, я убеждена, что он имеет право вернуться обратно лишь в блеске своего могущества, с сильной армией, чтобы внушить страх бунтовщикам и воодушевить мужеством колеблющихся и верных. О, вы скажете все это королю, вы растолкуете ему, что удаление из Парижа будет спасительным не только для монархии, но также и для народа! Ваши речи убедят благороднейшего, добрейшего из монархов; он последует вашим советам и, благодаря вам, будем спасены не мы одни, но также и монархия. Принимайтесь за дело, граф, работайте для нас, употребите свое неограниченное влияние на умы на пользу вашего короля и королевы и будьте уверены, что мы останемся благодарны вам до конца наших дней. Прощайте и помните, что мои взоры станут следить за каждым вашим шагом, а мой слух будет ловить каждое слово, сказанное графом Мирабо в национальном собрании. Прощайте!

Мирабо поклонился с глубоким почтением, а затем произнес:

— Ваше величество, когда ваша августейшая мать оказывала честь одному из своих подданных, удостоив его аудиенции, то отпускала ошастливленного ею не иначе, как дозволлив ему почтительно облобызать свою руку.

— Правда,— с кроткой улыбкой подтвердила Мария Антуанетта,— хотя бы в этом я могу следовать примеру моей великой матери!

Тут с неподражаемой грацией королева протянула графу руку. Восхищенный, очарованный ее пленительной прелестью и благосклонностью, Мирабо преклонил колено и прильнул губами к тонкой, белой руке королевы, а затем с воодушевлением воскликнул:

— Государыня, этот поцелуй спасает монархию!

— Если вы говорили правду,— со вздохом промолвила королева, поднимаясь с места и отпуская Мирабо легким кивком головы.

С оживленным лицом, с сияющим взором вернулся граф к племяннику, ожидавшему его у ворот парка.

— О, друг мой,— сказал он, глубоко переводя дух и положив руку на плечо Сальяна,— друг мой, что пришлось мне услышать и увидеть! Королева — великая, замечательно благородная и глубоко несчастная женщина, Виктор! Но я спасу ее, разумеется, спасу!

Мирабо был серьезно намерен сделать это, и не из корыстных побуждений, но потому, что его подкупила, привела в восторг благородная личность королевы; и с того момента он сделался рьяным защитником монархии, а в особенности красноречивым ходатаем за королеву. Однако ему оказалось уже не под силу сдержать нахлынувшее море революции и, вступив с ним в борьбу, он только мог быть поглощен его бурными волнами.

Мирабо отлично видел это и не скрывал от себя опасности своего положения. В тот день, когда он выступил в национальном собрании пред подачею голосов, чтобы отстаивать монархию и утвердить королевскую привилегию решать вопрос о войне и мире, он, популярный народный трибун, открыто стал на сторону короля, вызвав тем бурю негодования и отвращения среди присутствующих. Тем не менее он мужественно и решительно подал голос за короля и его prerogативы, но воскликнул при этом:

— Я отлично знаю, что от Капитолия до Тарпейской скалы всего один шаг.

События шли шаг за шагом, и вскоре Мирабо пришлось сделать последний роковой шаг! Недаром Петион указывал

на него, как на опаснейшего врага республики, недаром говорил Марат, что у Мирабо или надо отцедить аристократическую кровь из жил, или дать ему изойти кровью. Мирабо не удалось безнаказанно выступить против разъяренных политических партий, безнаказанно бросить вызов в лицо, когда он сказал с высоты трибуны.

— Я стану защищать монархию от всех нападков, с какой бы стороны и из какой бы части королевства они ни шли.

Вожакам республиканских партий была отлично известна огромная власть этого человека, они прекрасно знали, что он один в состоянии, пожалуй, спаять вновь обломки короны, раздробленной с его же помощью.

Чтобы помешать ему в том, понадобилось похоронить его же самого под этими обломками.

Вскоре после свидания графа с королевой и его публичной защиты привилегий короля Мирабо стал хиреть. Его враги уверяли, что единственной причиной тому были чрезмерно напряженная деятельность этого выдающегося государственного мужа и простуда, которую он схватил, выпив однажды стакан холодной воды, чтобы освежиться в разгаре громовой речи пред национальным собранием.

Но его друзья говорили втихомолку о смертельном яде, подмешанном к этому питью, с целью избавиться от опасного и могущественного противника.

Сам Мирабо разделял подозрения, и все возраставшая слабость во всех его членах и жестокие боли, терзавшие его внутренности, казались ему верным признаком яда, которым угостили его враги.

Лев, хотевший лечь у подножия трона, чтобы охранять его, вскоре превратился в несчастного больного человека, с ослабевшим голосом, с угасшей силой. Некоторое время Мирабо еще старался бороться с недугом, изнурявшим его тело, но однажды в разгаре речи, в которой он отстаивал королеву, он упал в обморок и был унесен с трибуны в бессознательном состоянии, а потом отправлен домой.

После долгих стараний его врача, знаменитого Кабаниса, больной открыл наконец глаза. К нему вернулось сознание, но вместе с тем и уверенность в близости смерти.

— Я умираю, — тихо сказал он. — Я ношу в сердце траурный флер по монархии. Яростные вожаки партий хотят вырвать его оттуда, чтобы поделить между собою и повить им ее чело, а для этого им понадобилось разбить мое сердце, что они и сделали.

Да, они разбили это великое, мощное сердце, в котором таился траурный флер по монархии. Сначала врач надеялся,

как надеялись и друзья Мирабо, что болезнь уступит лечению. Но сам он не предавался более этому заблуждению, он чувствовал, что боли, терзавшие его тело, прекратятся только со смертью.

После одной особенно мучительной ночи больной послал рано утром за доктором Кабанисом и своим другом графом де Ламарком.

— Друзья мои,— сказал он кротким голосом, со спокойным видом протягивая им обе руки,— друзья мои, сегодня я умру. Когда человек дошел до этого, ему остается только одно: надуться, принарядиться и окружить себя цветами, чтобы приятным образом отойти ко сну, от которого нет пробуждения. Итак, позовите моих слуг! Пусть меня побреют, оденут и украсят. Пусть отворят окна, чтобы теплый весенний воздух струился в комнату, а затем принесут цветов. Я хочу умереть, окруженный цветами, нежась в солнечном сиянии.

Друзья не решились отказать умирающему и в точности исполнили его последние желания. Гладиатору вздумалось заняться своим туалетом, чтобы пасть на арене жизни славным героем и еще в минуту расставания с жизнью вызвать восторг и бурю громких рукоплесканий.

Весь Париж был публикою гладиатора при его конце, весь Париж в эти дни агонии занимала одна и та же мысль:

«Что-то делается с Мирабо? Поборет ли он злобного врага — смерть, заставив его отступить пред собою или делается его добычей?»

Этот вопрос читался на всех лицах, слышался во всех жилищах, звучал во всех сердцах. Каждому хотелось получить на него ответ из безмолвного дома с завешанными окнами, где угасал Мирабо. Все улицы, которые вели к нему, были запружены густыми толпами народа в последние три дня пред кончиною Мирабо и по ним был прекращен проезд экипажей, чтобы не беспокоить больного. Театры были закрыты, а купцы, без всякого предварительного уговора между собою, держали на запоре свои торговые заведения, как в большие праздники или дни национального траура.

Ранним утром на четвертый день, прежде чем пробудилась жизнь на парижских улицах и отворились дома, по городу раздался клич, проникший в тихие жилища и взволновавший сердца.

Этот клич гласил:

— Цветов! Несите цветы! Мирабо требует цветов. Несите ему распутившиеся розы, душистые фиалки. Мирабо хочет умереть среди цветов!

Этот клич разбудил 2-го апреля 1791 г. спящий Париж, и по мере того, как он раздавался по улицам, отворялись окна, двери домов и со всех сторон валили сотни и тысячи людей с огромными букетами в руках, с целыми цветочными корзинами. Население столицы как будто разом перенеслось от холодных дней ранней весны к знойному лету, благоухающему цветочными ароматами; все теплицы, все комнаты, где росли цветы, были безжалостно опустошены, чтобы доставить последний летний день умирающему народному трибуну. Все его жилище уподобилось летнему храму, полному цветов и благоуханий. Цветы были в сенях, цветами были украшены лестница и прихожая, цветами буквально усыпана вся гостиная, а посредине ее покоился на кушетке Мирабо, тщательно одетый, завитой и напудренный, как на королевский праздник. Роскошнейшие цветы, красивейшие экзотические растения окружали его ложе, склоняя свои яркие цветочные чашечки над бледным, содрогавшимся от убийственных болей гладиатором; однако он находил в себе силу улыбаться и прощался любящим взором с плакавшими друзьями, с красотою цветочного убора весны и с солнечным сиянием.

— Умирающий приветствует вас!* — читалось еще на его высоком челе, на улыбавшихся устах, когда гладиатор пал, побежденный смертью.

Но день смерти был вместе с тем днем последнего триумфа Мирабо, а цветы, посланные ему всем Парижем, были для Мирабо прощальным приветом любви, восхищения.

Король ежедневно по четыре раза посылал справляться о здоровье Мирабо; когда же в полдень второго апреля граф де Ламарк принес ему весть о смерти знаменитого человека, монарх побледнел и печально сказал:

— Мы родились под несчастным небом, теперь даже смерть становится на сторону наших врагов.

Мария Антуанетта была также глубоко потрясена роковым известием.

— Он хотел спасти нас,— воскликнула она,— и потому, несчастный, должен был умереть! Бремя оказалось слишком тяжелым, столб не выдержал его тяжести и рухнул; храм не может теперь устоять, он рухнет вслед за ним. Мы будем погребены под его развалинами, если не поспешим спастись. Предсмертным завещанием Мирабо был его совет, чтобы мы спасались поспешным и тайным бегством. Ах, если бы дух Мирабо просветил короля, и он согласился наконец сделать этот необходимый шаг — покинуть Париж!

* Такою фразою обыкновенно приветствовали Цезаря шедшие на бой гладиаторы в Колизее, древнеримском цирке.

XVIII

Революция в театре

Весь Париж был сегодня на ногах, в страхе и смятении. Фурии революции — рыночные торговки — снова носились как бешеные по улицам в злополучный день 20-го июня 1791 г., оглашая воздух яростными криками, осыпая проклятиями короля, австриячку, горланя непристойные песни про мадам Вето и проч.

Тюильери окружили несметные полчища национальной гвардии, которая стояла в строгой, угрожающей позиции, сдерживая лишь с большим усилием народ, запрудивший всю обширную площадь пред дворцом и готовый ежеминутно прорвать цепь национальных гвардейцев, выстроенных по обеим сторонам прилегавших к нему улиц, чтобы оставить свободным проезд хотя посередине — проезд для короля, королевы и королевской семьи, возвращавшихся сегодня обратно в Париж! По приказанию национального собрания Лафайетт выступил во главе нескольких полков в Варенн, чтоб вернуть оттуда назад царственных беглецов.

Тысячи народа устремились вслед за ним, чтобы посмотреть на это возвращение монархии и принять участие в ее погребальном шествии. Действительно то было настоящим погребальным шествием старого режима, а тяжелая, неуклюжая карета, окруженная солдатами и воющим, ревушим, глумящимся народом, медленно катившаяся по улицам к Тюильери, под грохот пушечной пальбы, под звон колоколов со всех парижских колоколен, была погребальной колесницей монархии.

Король, королева, королевские дети, сестра короля, де Тузель и двое депутатов, посланных национальным собранием в Варенн для сопровождения королевской семьи, Петион и Барнав, ехали в этой карете.

Людовик Четырнадцатый и Мария Антуанетта последовали совету умирающего Мирабо и хотели спастись бегством от революции. В этом заключалось все преступление короля и королевы, которых водворяли теперь с торжеством в Тюильери, замок королей, предназначенный отныне служить королевской тюрьмою.

Трехцветные флаги развевались над всеми кровлями, свешивались из всех окон; повсюду были прибиты объявления, напечатанные исполинскими буквами и гласившие: «Кто вздумает приветствовать короля, тот будет наказан кнутом; кто осмелится поносить его, тот будет повешен».

Они хотели бежать, эти несчастные, которых везли теперь с триумфом из Варенна, где они были узнаны и остановлены.

Они возвращались уже не повелителями, но пленниками французской нации. Ведь национальное собрание издало декрет, первый параграф которого гласил: «Король пока отрешен от управления государством», далее во втором и третьем параграфах говорилось: «Когда король и его семейство возвратится в Тюильери, то к нему, как и к королеве, и к дофину, должна быть временно приставлена стража, которая обязана, состоя под начальством командира парижской национальной гвардии, отвечать за безопасность отдельных членов королевской семьи и за их пребывание на месте».

Король и королева вернулись узниками в Париж, Лафайетт стал их тюремщиком. Повелителем Франции, многоголовым королем французской нации было теперь национальное собрание.

Печальные, ужасные дни унижения, покорности, опасности и тревог наступили после того для королевской фамилии — для тюильерийских узников, которых зорко стерегли день и ночь, не позволяя им даже запира́ть двери, чтобы дежурные офицеры могли беспрепятственно заглядывать в занимаемые ими комнаты.

В первые дни после печального возвращения мужество королевы казалось сломленным, ее энергия — навсегда парализованной. Она перестала надеяться, перестала бояться, строить новые планы спасения, она бросила работать и писать. Целыми часами сидела она в печальном безмолвии, и пред ее глазами проходили страшные картины недавнего прошлого, пугая и теперь ее воображение. Она вспоминала суету и тревогу дня, предшествовавшего бегству. Ей представлялось, как она надевала на себя дрожащими руками платье своей служанки и наряжала девочкой дофина, у нее отдавался в ушах веселый смех ребенка, который спрашивал ее: «Мы будем играть в театр, мама-королева?» Потом Мария Антуанетта видела себя одинокой на улице, без охраны провожатых, в ожидании кареты, которая должна была остановиться на указанном месте, чтобы взять ее, как раньше был взят в другом пункте король с обоими детьми. Далее ей рисовались путешествия темной ночью, духота в тесной, громоздкой карете, а затем жестокий испуг, когда внезапно, после двенадцатичасовой езды, экипаж сломался. Им пришлось выйти, подняться пешком на холм к деревне, видневшейся пред ними, и там дожидаться, пока починят экипаж. Пустившись дальше, беглецы замешкались в Варенне, где чей-то голос внезапно крикнул: «Они узнаны!» А затем последовали набат, барабанный

бой, тревога, пытка последующих часов и наконец последний момент надежды, когда королева, стоя у кровати спящего сына в комнате мелочного лавочника Соса, заклинала его жену спасти короля, указав ему укромное местечко. И в ушах Марии Антуанетты снова отзывался грубый голос этой женщины, которая ответила: «Это невозможно. Я также люблю своего мужа и имею детей. А мой муж должен погибнуть, если я спасу вашего». После того королеве слышался набат, барабанный бой, представлялось прибытие парижских полков, чтобы вернуть царственных беглецов в Париж. Наконец наступило обратное путешествие в битком набитом экипаже, вместе с депутатами, под оглушительный рев неистового, глумящегося народа. При этих воспоминаниях дрожь пробежала по телу несчастной королевы, и слезы катились из ее глаз.

Но мало-помалу она ободрилась, а ежедневные унижения и неприятности, которым подвергали ее гонители, как раз подстрекали Марию Антуанетту к энергичному отпору.

По возвращении из Варенна король и королева были узниками своего народа, а Тюильерийский дворец — их тюрьмою, где народ стерег своих царственных пленников с неослабевающею жестокостью.

Командиры батальонов национальной гвардии переменились на дежурстве при королевской чете. Им был дан строгий приказ неусыпно сторожить королевскую фамилию, ни на минуту не оставляя ее наедине. Даже спальня королевы не была ограждена от бдительного ока ее стражи — дверь в смежную гостиную должна была оставаться постоянно отворенной, и в этой гостиной находился караульный офицер национальной гвардии. Даже по ночам, когда королева лежала в постели, дверь не запиралась, и офицер, сидевший в кресле, как раз против двери, не спускал взора с кровати, на которой Мария Антуанетта старалась заснуть, преодолевая свое горе и страдания, чтобы не обнаружить их пред мучителями. Она снизошла только до одной просьбы и выпросила позволение запирать двери в спальне при своем вставании поутру, когда ей было нужно одеваться. Эта просьба была великодушно уважена.

Но при всех этих унижениях, разочарованиях и муках Мария Антуанетта не теряла надежды на благоприятную перемену своей судьбы. Ее гордая душа еще не была сломлена. Уверенность в победе королевской власти все еще поддерживала в ней бодрость и не давала ей упасть духом среди всех бедствий. Она все еще хотела бороться с врагами за любовь французского народа, в надежде, что он,

хотя и сбитый с толку якобинцами, злонамеренными подстрекателями, все же наконец опомнится, послушает голоса своего короля, своей королевы и вернется к ним с любовью и раскаянием. Ради этого великого дня возвращения обновленной любви народа, королева решилась безропотно переносить все испытания, стараясь приблизить этот желанный день, примирить народ с королевским домом. Поэтому она хотела доказать народу, что не питает к нему страха и готова доверчиво очутиться среди него, чтобы приветствовать французов своей улыбкой со всей благоклонностью минувших дней. Ей хотелось попробовать еще раз вернуть свою былую популярность, возбудить в остывшем сердце любовь, которую так часто изъяснял ей раньше народ. Она нашла в себе силу преодолеть свои слезы, скрыть душевную боль под улыбкой и с притворным спокойствием и веселостью снова показываться народу в театре и во время катанья.

Однажды давали оперу Глюка «Альцеста», особенно любимую королевой, которая вдобавок одержала несколько лет назад блестящий триумф при ее исполнении. Публика, восхищенная присутствием Марии Антуанетты в театре, громко потребовала повторения хора: «Chantons, célébrons notre reine!», причем встала с места и, обратившись лицом к королевской ложе, восторженно вторила певцам на сцене.

— Я хочу убедиться, помнит ли публика тот вечер,— со слабой улыбкой сказала королева, обращаясь к де Бюга, единственной фрейлине, которой было разрешено остаться при ней.— Сегодня я хочу поехать в оперу; пусть публика видит, по крайней мере, что я не чуждаюсь ее и что я несколько не изменилась, несмотря на перемену окружающих ко мне самой.

Де Бюга с глубокой печалью взглянула на бледную, посевшую Марию Антуанетту, которая собиралась показать парижанам, «что она не переменилась». Горе наложило на это некогда прекрасное и веселое лицо свою неизгладимую печать, почти разрушив всю его красоту. Сильно растроганная фрейлина отвернулась, чтобы скрыть невольные слезы.

Но Мария Антуанетта заметила их и, с горькой улыбкой коснувшись руки своей приближенной, мягко промолвила:

— Не скрывайте своих слез! Вы гораздо счастливее меня, потому что можете плакать, тогда как я должна таить всю скорбь в своей душе. Но сегодня я не хочу горевать,— продолжала она, притворяясь веселой,— я хочу показаться парижанам, по крайней мере, спокойной. Мало того, я постараюсь улыбаться. Они возненавидели меня теперь, но, может быть,

* Воспоем, прославим нашу королеву!

вспомнят, что когда-то питали ко мне сильную любовь. Народу свойственно великодушие, и мое доверие, пожалуй, тронет его. Давайте поскорее одеваться. Я желаю быть красивой, хочу нарядиться для парижан. Ведь в театре будут не одни только мои враги, но также и многие друзья, которым доставит удовольствие мое появление. Скорее, мадемуазель, приступим к нашему туалету!

И с живостью и усердием, в которых было что-то трогательное ввиду ее печального и опасного положения, королева занялась своим одеваньем, спеша нарядиться для публики, для добрых парижан.

Известие о том, что Мария Антуанетта появится вечером в опере, быстро распространилось по всему Парижу. Карательный офицер национальной гвардии, сменившись с дежурства, сообщил эту новость нескольким товарищам и членам конвента, а те в свою очередь распространили ее во всех слоях общества.

Потому было весьма естественно, что еще задолго до начала спектакля большой оперный театр был совершенно полон, и оживленная, взволнованная публика заняла все места в партере и ложах. Друзья королевы и ее приверженцы явились, чтобы приготовить Марии Антуанетте давно не виданный триумф, а ее враги, численность которых была значительно больше, — чтобы швырнуть ей в лицо ненависть, злобу и насмешку.

Эти люди разместились по всему театру. Они сидели даже в ложах первого яруса, на обитых бархатом стульях, которые в прежнее время бывали исключительно заняты пламенными поклонниками королевского двора, дамами и кавалерами из аристократии. Но теперь аристократия уже не осмеливалась показываться публично. Большая часть ее, прежде всего друзья королевы, бежала, уступив место ее врагам и гонителям, а в ложах, некогда занимаемых знатью, сидели наиболее выдающиеся члены национального собрания или главные ораторы клубов и якобинских собраний.

В тот вечер взоры публики то и дело обращались к ложе, в которой в прежнее время красовалась княгиня Ламбаль. Марии Антуанетте пришлось отправить княгиню в Лондон для переговоров с министром Питтом. В тот вечер ее обычное место в театре занимал мужчина, который сидел, облокотившись на обитый бархатом барьер ложи и устремив зловеще блестящие взоры в партер с ее волновавшимся морем зрителей. Этот человек был Марат, служивший раньше коновалом у графа д'Артуа, а теперь ставший величайшим и самым грозным оратором неистовых якобинцев.

Он также явился с тем, чтобы увидеть ненавистную волчицу, как он недавно назвал королеву в своей газете «Друг Народа», и устроить ей публичное поражение. В то время как он важничал в блестящей ложе княгини Ламбаль, его друзья и доверенные лица: пивовар Сантерр и сапожник Симон, сидели в партере, часто поглядывая вверх на Марата в ожидании условного знака, который должен был послужить сигналом к чудовищной демонстрации.

Наконец наступило время, когда обыкновенно начинали оперу, и, хотя королева еще не появилась в своей ложе, дирижер оркестра не осмеливался медлить долее, заставляя дожидаться публику. Он стал на свое место и взмахнул дирижерским жезлом. Увертюра грянула, и в зрительном зале водворилась тишина. Каждый, казалось, углубился в музыку, полную прелести и вместе с тем величия, в грандиозные ритмы, которыми отличается введение к «Альцесте».

Вдруг в партере, в ложах поднялся шорох. Головы зрителей, обращенные к сцене, повернулись назад, к большой королевской ложе. Никто уже не думал о музыке, не заметил, что увертюра кончилась, что занавес взвился. Гремевшие в оркестре трубы, звонко заливавшиеся скрипки и кларнеты не помешали публике уловить тихий стук отворяемых дверей, шаги вошедших офицеров, и этот легкий шум заставил парижан забыть их любимую музыку.

Вот в отворенных дверях показалась женская фигура.

Королева, в сопровождении де Бюга, медленно прошла через всю обширную ложу до самого барьера. Все взоры были устремлены на нее, все глаза с любопытством всматривались в ее бледное, благородное лицо. Мария Антуанетта почувствовала себя предметом всеобщего внимания, и улыбка, подобно вечерней заре потухающего дня, промелькнула по ее чертам. С этой улыбкой и румянцем смущения на щеках королева подалась вперед и поклонилась публике.

Громкие, оглушительные рукоплескания потрясли огромный зал. В партере, в ложах сотни зрителей поднялись с мест и восторженно кричали: «Vive la reine!»* — хлопая в ладоши с чисто детской радостью и не спуская с королевы сиявших счастьем взоров.

— О, моя уверенность не обманула меня! — прошептала Мария Антуанетта, наклонившись к своей спутнице. — Добрые парижане еще любят свою королеву; они, как и я, помнят прошедшее и в них пробуждается бывшая верность.

* Да здравствует королева!

И в знак благодарности королева вторично поклонилась на все стороны, а театр снова разразился громкими рукоплесканиями.

Единственный гневный взор метнули на королеву маленькие злобные глазки Марата из-под густых нависших бровей.

— Постой! — с угрозой промолвил про себя якобинец, вставая с места и заглядывая в партер.

Там, в толпе молодых подозрительного вида, стоял гигант Сантерр, а неподалеку от него — сапожник Симон. Подозрительная шайка посматривала на них, как на своих предводителей, тогда как они в свою очередь кидали вопросительные взгляды вверх, на ложу Марата. Взоры трибуна встретились с их взорами. Иссе́ра-бледное, грязное лицо Марата приняло насмешливое, злобное выражение, и он несколько раз слегка кивнул головой. Сантерр с Симоном также ответили ему кивком и, обернувшись вслед затем к своим сообщникам, подняли оба, как по уговору, правую руку.

Восторженные рукоплескания были внезапно заглушены свистом и воем, насмешливым хохотом и дикими проклятиями.

— Междоусобие загорелось, — сказал Марат, с удовольствием потирая руки.

Роялисты продолжали аплодировать и кричать: «Да здравствует королева!» Противники старались принудить их к молчанию свистками и шиканьем. Лицо Марата сияло торжествующим злорадством. Он поднял взор к одной из лож второго яруса и, ухмыляясь, кивнул сидевшим в ней мужчинам.

Те тотчас закричали:

— Хор! Хор! Пусть он нам споет: «Chantons, célébrons notre reine!»

— Отлично! — пробормотал Марат. — Я добрый роялист, потому что научил этих славных людей потребовать исполнения патриотической песни.

— Пойте, пойте, — кричали его единомышленники, обращаясь к сцене. — Исполни, хор: «Chantons, célébrons notre reine!»

— Нет, — зарычал Сантерр, — не надо исполнять его!

— Нет, — подхватил Симон громовым голосом, — мы не хотим слушать дурацкую песню.

— Дела идут превосходно! — заметил Марат, прищелкивая от удовольствия языком. — Я держу своих людей, как на веревочке, и заставляю их жестикулировать и прыгать наподобие марионеток в кукольном театре.

Неистовый шум и гам продолжались. Роялисты не хотели прекратить свои рукоплескания и требования хора: «Chan-

tons, célébrons notre reine!» Враги королевы не переставали шикать и кричать: «Мы не хотим знать королевы, не хотим слушать дурацкую песню!»

— О, Боже мой, зачем я приехала сюда? — пробормотала сквозь слезы королева, опустившись в кресло и прижимая к глазам платок.

Может быть, ее движение было замечено настоящими роялистами и они из жалости к ней захотели прекратить разыгравшийся скандал; может быть, также Марат подал знак мнимым роялистам, что на этот раз они достаточно покричали и побесновались. Так или иначе, но приветственные крики в честь королевы и требования хора внезапно смолкли, аплодисменты замерли, и противной партии за отсутствием противодействия не оставалось ничего иного, как уняться в свою очередь.

— Первая стычка миновала, — проговорил Марат, откидывая свою взъерошенную голову на бархатную спинку стула. Теперь мы слушаем немного музыки и полюбуемся красивыми артистками.

В самом деле, опера началась. Воспользовавшись моментом наступившего затишья, дирижер оркестра подал знак музыкантам и певцам на сцене, не мешкая и не колеблясь, приступить к действию, после чего все участвующие бодро последовали его указанию.

Публика, которой, пожалуй, надоели крик и рев, сидела молчаливо, по-видимому, посвящая все свое внимание сцене и великолепной музыке.

Мария Антуанетта с облегчением перевела дух; ее бледные щеки опять порозовели, глаза прояснились. С невыразимой отрадой, отдыхая от тяжелой борьбы и резких диссонансов своего мучительного существования, слушала она дивные мелодии, возвышенную музыку учителя своих юношеских лет, великого маэстро Глюка. Откинувшись на спинку кресла, королева упивалась этими звуками, которые воскрешали в ней воспоминания далекого прошлого. Она видела себя в воображении то ребенком, то юной принцессой. Вот она в Шенбрунне, в голубом музыкальном зале, где ожидает прихода Глюка вместе со своими сестрами. Во время урока к ним присоединяется императрица, великая Мария Терезия. Она пожелала дать маэстро Глюку доказательство своего высокого уважения и пришла сообщить ему лично, что принцесса Мария Антуанетта помолвлена с дофином Франции и в скором времени распрощится со своим учителем, чтобы вступить на новую, блестящую стезю.

Ропот недовольства в публике заставил королеву очнуться от ее грез, она выпрямилась в кресле и нагнулась вперед, чтобы видеть, что случилось. Ее взор, обратившийся сначала к сцене, увидел певца Клерваля, который только что начал своим дивным, мягким и в то же время сильным голосом свою большую арию. В ней преданный друг утешает удрученную горем, плачущую царицу Альцесту, и старается ободрить ее уверениями в любви верных ей приближенных.

Певец Клерваль дошел теперь в своей арии до того знаменитого пассажа, при исполнении которого полгода назад Мария Антуанетта одержала последний блестящий триумф. В этом месте говорилось:

Несчастливая царица, слез не лей
И сердца утоли страданье:
Еще немало у тебя друзей!

Но едва Клерваль запел первую строфу, как раздался громовой голос Сантерра:

— Не надо, не хотим слышать эту арию!

— Пойте, пойте! — закричали сотни голосов со всех мест театра.

— Нет, нет, — ревели другие, — мы не хотим слушать эту арию!

И вдруг, заглушая вой и рев спорящих, грянул громкий, пронзительный голос:

— Я запрещаю певцу Клервалю когда-либо петь эту арию! Я запрещаю ему это от имени народа!

Эти слова прокричал Марат. Стоя на кресле княгини Ламбаль, с угрозой протягивая длинные руки к сцене, он обратил теперь свое злое, дышавшее яростью лицо к королеве. Мария Антуанетта, с ужасом повернувшая голову в ту сторону, откуда раздался крик, встретила своими испытующими взорами с глазами Марата, смотревшего на нее с насмешкою и злобой.

Она вздрогнула и в смертельном испуге схватилась рукой за сердце.

— О, Боже мой, — прошептала она, — это не человек, это демон злобы, взгромоздившийся на стул моей кроткой Ламбаль! Ах, добрый гений скрылся, а демон занял его место, демон, который погубит нас всех!

— Да здравствует Марат! — заревел Сантерр со своими сообщниками. — Да здравствует Марат, великий друг народа, истинный патриот!

Марат кивнул на все стороны, спрыгнул с кресла и развалился в нем с небрежным видом.

Клерваль замолк посреди арии и бледный, смущенный, дрожа в смертельном испуге, отступил назад, после чего дирижер шепотом отдал приказание оркестру и подал певице знак начинать следующий номер.

Таким образом опера продолжалась, и публика некоторое время могла спокойно наслаждаться музыкой и пением. Но это длилось недолго. Певица Дюгазон, пылкая роялистка, вздумала устроить маленький триумф королеве; она хотела показать ей, что хотя Клерваль должен был умолкнуть, но любовь и обожание Дюгазон еще живы в ней, и она готова проявить их.

Исполняя партию служанки Альцесты Дюгазон должна была пропеть; «Ах, как я люблю царицу, как люблю мою госпожу!»

Артистка подошла к самой рампе и, обратив взоры к королевской ложе, пропела с низким, почтительным поклоном: «Как я люблю царицу, как люблю мою госпожу!» То было как будто сигналом к новому взрыву страстей: в театре поднялись оглушительный крик, неистовое беснование. Сначала громкий рев, шиканье и аплодисменты слились в один беспорядочный гам, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме отдельных возгласов, выделявшихся порою в этом невообразимом хаосе.

— Не надо нам никакой королевы! — вопили одни.

— Не надо нам никакой госпожи! — орали другие, и тут же слышались воодушевленные клики:

— Да здравствует королева, да здравствует наша повелительница!

— Эй,— радостно воскликнул Марат, сопровождая свой возглас отвратительным кривляньем своей маленькой, костлявой фигуры,— это ли не адское ликование? Сам сатана должен заплясать от радости, заслышав такой содом!

Все ожесточеннее и неистовее становился крик враждующих в партере. Багровые от ярости лица противников уже обращались одно к другому, там и сям замелькали поднятые кулаки, с явным намерением принудить к молчанию соседа из противного лагеря.

Королева, дрожа всем телом, в полубеспамятстве опустила голову на грудь, чтобы никто не видел ее слез, катившихся по мертвенно-бледным щекам.

— О, Боже мой, Боже мой,— прошептала она,— мы погибли, безвозвратно погибли, потому что нас толкают в пропасть не только враги, но еще более наши друзья! Зачем этой пе-

вице вздумалось обернуться ко мне, обратить ко мне свои слова! Она хотела доставить мне триумф, а между тем только навлекла на меня позор и унижение.

Мария Антуанетта внезапно вздрогнула и подняла голову. Она снова услышала резкий, насмешливый голос, еще раньше поразивший ее сердце, как удар острого меча,— голос злобно-го демона, который занимал теперь место доброго гения в кресле княгини Ламбаль.

Этот голос воскликнул:

— Парижский народ прав! Не надо нам королевы, а, главное, не надо госпожи! Только рабы признают над собою господ. Если Дюгазон еще раз осмелится запеть: «Я люблю мою царицу, мою госпожу»,— то ее накажут, как принято наказывать рабов, то есть выпорют кнутом.

— Bravo, Марат, bravo! — заревел Сантерр со своею необузданной шайкой.

— Bravo, Марат, bravo! — подхватили его друзья, сидевшие в ложах.— Да, ее следует выпороть кнутом!

Марат кивнул на все стороны, и теперь его горевшие насмешливой злобой взоры снова обратились на королевскую ложу.

— Но не одну певицу выпорют кнутом,— воскликнул он, еще сильнее повышая свой резкий, пронзительный голос и грозя кулаками,— нет, не одна певица будет наказана; еще более строгого наказания заслужили те, которые подстрекают людей к подобного рода выходкам. Если австриячка еще раз вздумает показаться здесь, чтобы сбивать с толку жалостливых глупцов своим мученическим видом, если ей придет фантазия подкупить нас своими слезами, то мы угостим ее, как она того заслуживает.

Королева вскочила с кресла, как разъяренная львица, и подошла к самому барьеру ложи. Гордо выпрямившись, с гневно сверкавшими глазами, с разгоревшимся лицом, стояла она, истинная дочь цезарей, мужественная дочь Марии Терезии, и уже раскрыла уста, чтобы заговорить, чтобы покарать своим гневом наглеца, как раздался другой голос, в ответ Марату, воскликнувший:

— Замолчи, Марат, замолчи! Кто осмеливается унижить и оскорбить женщину, будь она королева или нищая, тот бесчестит самого себя, бесчестит свою мать, свою жену, свою дочь. Взываю ко всем вам, взываю ко всей публике, чтобы она заступилась за беззащитную женщину, которую посмел смертельно оскорбить Марат! У всех вас есть матери, жены или невесты, а со временем будут и дочери. Защитите честь женщины, не допускайте, чтобы ее позо-

рили в вашем присутствии! Марат оскорбил женщину, мы обязаны дать ей нравственное удовлетворение. Присоединитесь же ко мне и воскликнем в один голос: «Да здравствует королева! Да здравствует Мария Антуанетта!»

И публика, увлеченная воодушевлением этого молодого, красивого мужчины, который поднялся с места в одной из лож, разразилась дружными, восторженными кликами:

— Да здравствует королева! Да здравствует Мария Антуанетта!

Дрожа от ярости, с позеленевшим лицом, Марат опустил-ся в свое кресло.

— Я давно гададывался, что Барнав — изменник,— пробормотал он.— Я припомню этот момент, и Барнав со временем поплатится мне за него своей головой.

— Барнав, это Барнав,— прошептала про себя королева.— Он снова спас меня от страшной опасности, потому что в пылу гнева я была готова ответить этому чудовищу, как он того заслуживал.

— Да здравствует королева! Да здравствует Мария Антуанетта! — кричала и ликовала публика.

Мария Антуанетта подалась вперед с грустной улыбкой и раскланялась публике. Но она ни разу не взглянула на ложу, где сидел Барнав, не поблагодарила его ни единой улыбкой за оказанную услугу. Ведь она знала теперь, что ее благоволение навлекало беду на тех, которые удостоивались его, а тот, которому она дарила свою улыбку, подвергался народной опале.

Восторженные овации публики все еще продолжались. Но королева почувствовала страшное изнеможение, смертельную усталость и, отойдя от барьера ложи и кивнув своей фрейлине, прошептала:

— Пойдемте, выйдемте отсюда, пока публика кричит: «Да здравствует Мария Антуанетта!» Как знать, может быть, через минуту мы снова услышим: «Долой королеву! Не надо нам королев!» Мне больно слышать это. Идемте!

И, под громкое ликование публики, Мария Антуанетта покинула королевскую ложу и вышла в коридор, в сопровождении Бюгуа и двух караульных офицеров национальной гвардии.

Но коридор, который предстояло миновать королеве, и лестница, по которой ей надо было сойти, чтобы добраться до своей кареты, были запружены любопытными. С быстротою бури распространилась в Париже двоякая весть, что королева посетит в тот вечер оперный театр и что там в ее присутствии произойдет нечто необычайное.

Поэтому роялисты поспешили в оперу, чтобы приветствовать королеву или, по крайней мере, взглянуть на нее, когда она пройдет мимо. Любопытные и праздные, настроенные враждебно, явились посмотреть, что будет, и кричать, вторя большинству. Благодаря такому стечению публики, обширный зрительный зал не мог вместить и половину желавших присутствовать на представлении, и таким образом оставшиеся запрудили коридор и лестницу или же толпились у выходных дверей. Понятно, что стоявшие у подъезда уже одним своим присутствием здесь возбуждали любопытство прохожих, которые останавливались в свою очередь, желая посмотреть, что тут происходит, и протискивались вперед на лестницу, чтобы все видеть и слышать.

Но междоусобие, свирепствовавшее в зрительном зале, распространилось и за его пределы; клики, раздававшиеся там, повторялись теперь по пути королевы. Она могла подвигаться вперед только очень медленно, шаг за шагом; толпа все сильнее напирала на нее, все громче звучали вокруг ярые возгласы враждебных партий:

— Да здравствует королева! Да здравствует национальное собрание! Долой королеву!

Мария Антуанетта как будто не слыхала ни приветственных, ни обидных кликов. С гордо поднятой головой, со спокойной, серьезной миной подвигалась она вперед, не обращая внимания на давку, в которой провожавшие ее национальные гвардейцы только силою и угрозами прокладывали для королевы дорогу.

Наконец тяжелый, скорбный путь был окончен, наконец она достигла своего экипажа и могла отдохнуть на мягких подушках, могла предаться своему горю, своим слезам вдали от зорких глаз бдительной стражи. Но — увы! — эта отрада была непродолжительна. Карета вскоре остановилась у подъезда Тюильери, — этой печальной, безмолвной тюрьмы королевской семьи. Мария Антуанетта поспешно осушила слезы и заставила себя казаться спокойною.

— Не плачьте, Бюга, — прошептала она, — мы не доставим нашим врагам торжества видом наших слез. Старайтесь быть веселой и не рассказывайте никому о позоре сегодняшнего вечера.

Подножка экипажа была откинута; королева вышла из него и, окруженная национальными гвардейцами и офицерами, вернулась в свои комнаты.

Никто не встретил ее здесь, никто не оказал ей приема, подобающего королеве. Лишь несколько придворных чи-

новников стояли в аванзале, но Мария Антуанетта не удостоила их взглядом. В качестве конституционной королевы ее принудили теперь отпустить своих верных слуг и приближенных, переменили ее домашний штат, и она отлично знала, что эти новые слуги и приближенные чиновники были сплошь ее личными врагами, приверженцами и шпионами национального собрания. Поэтому королева прошла мимо них без поклона и вступила в свою гостиную.

Но и тут она не была одна. Двери аванзала оставались отворенными, и там сидел офицер национальной гвардии, обязанный сегодня сторожить ее.

Мария Антуанетта не имела больше права оставаться одна со своим горем, как и оставаться наедине со своим супругом. Коридорчик, соединявший покои короля с покоем королевы, был постоянно заперт, и в нем стоял часовой. Когда король приходил к своей супруге, караульный следовал за ним и стоял у дверей, ловя каждое слово, которым обменивалась королевская чета, пока король не удалялся вновь. Таким образом оба входа в покои королевы бдительно стерегли, потому что против одного из них сидел дежурный офицер национального собрания, а перед дверьми другого стоял на часах национальный гвардеец.

С тяжелым вздохом королева вошла наконец в свою спальню. Караульный офицер уже сидел против отворенной двери смежного зала и с серьезной, холодной миной заглядывал в комнату. На одну минуту выражение досады появилось на лице королевы; ее губы дрогнули, точно хотели вымолвить гневное слово. Однако она преодолела свое неудовольствие и зашла за высокие ширмы, чтобы дать себя раздеть своим камеристкам и заменить парадный туалет батистовым negligé. После того королева отпустила своих служанок и, выйдя из-за ширм, сказала достаточно громко для того, чтобы офицер мог слышать ее:

— Я устала и желаю лечь спать.

Офицер тотчас поднялся и сказал, обращаясь к двум национальным гвардейцам, стоявшим у дверей аванзала:

— Королева ложится в постель, значит, караул в черном коридоре можно снять. Национальное собрание приказало облегчить службу национальной гвардии и не ставить лишних часовых. Пока королева лежит в постели, достаточно пары глаз, чтобы стеречь ее, и могу поручиться, что она будет под хорошим надзором!

Солдаты удалились из аванзала, тогда как офицер снова приблизился ко входу в спальню. Но он не сел в кресло у порога, а прошел прямо в комнату королевы. Мария Антуа-

нетта вздрогнула и протянула руку к колокольчику, стоявшему на столе у ее изголовья.

— Тише, ради Бога, тише! — прошептал офицер. — Не поднимайте шума, ваше величество! — И, опустившись на колени пред королевой, он поднял голову с умоляющим видом. — Ведь я Тулан, — прошептал он, — верный слуга моей королевы. Соизвольте, ваше величество, вспомнить меня. Вот письмо от моей покровительницы, госпожи Кампан, которая хорошо отзывается обо мне. Не угодно ли вам, государыня, прочесть его?

Королева поспешно пробежала глазами листок и с кроткой улыбкой обратилась к офицеру, который все еще стоял на коленях, воздавая ей королевскую почесть среди унижения и несчастья!

— Встаньте! — мягко сказала она. — Королева повергнута в прах, а моя корона так сокрушена, что не стоит больше преклоняться пред нею!

— Государыня, я вижу два венца на вашей благородной главе, — шепотом продолжал Тулан, — королевский и мученический. Им обоим посвящаю я свою службу, свою верность и готов положить за них жизнь. Правда, я могу сделать только немного для вашего величества, но в это немного я вложу все свое усердие. Прикинувшись ярым ненавистником короля, отчаянным якобинцем, я достиг того, что мое имя включили в список караульных офицеров, благодаря чему мне предстоит дежурить раз в неделю у дверей спальни вашего величества.

— И вы хотите оказать мне услугу, отодвинув так свое кресло, чтобы я не видела вас и не мучилась всю ночь напролет невыносимым сознанием, что меня стерегут? — умоляющим тоном спросила королева.

— Нет, ваше величество, — ответил растроганный Тулан, — я останусь в своем кресле, но вы, ваше величество, пожалуй, предпочтете превратить ночь в день и не ложиться, так как во время моего ночного дежурства никто не будет мешать вам?

— Что значат ваши слова? — в радостном волнении спросила Мария Антуанетта.

— Насколько мне известно, в дневную пору вы никогда не можете разговаривать без свидетелей с королем. Поэтому, если вы желаете вести с его величеством интимную беседу, то должны воспользоваться ночным временем. Вы изволили слышать, что караул удалился на ночь из коридора; теперь вполне зависит от вашего величества покинуть свою спальню и отправиться в комнату короля.

Луч радости мелькнул по лицу королевы.

— Благодарю вас! Благодарю вас сегодня, как женщина, — воскликнула она. — Может быть, мне удастся еще отблагодарить вас со временем, как подобает королеве. Я принимаю ваше великодушное предложение. Хорошо, я обращу ночь в день и при вашем содействии без помехи стану проводить по нескольку часов со своим супругом и детьми. Так вы говорите, что вас будут часто наряжать сюда?

— Да, ваше величество, раз в неделю я буду находиться в вашем распоряжении и готов исполнять все, что вы прикажете мне.

— Я уже отвыкла приказывать, — с горечью возразила Мария Антуанетта. — Вы видите, что королева Франции бессильна, но она еще не совсем несчастна, потому что у нее есть друзья. Вы принадлежите к их числу и, чтобы мы оба сохранили память о сегодняшнем вечере, я буду всегда называть вас моим верным приближенным.

Да, королева не была вполне несчастна! У нее были друзья, готовые с нею страдать, а если так суждено, то и умереть. Супруги Полиньяк уехали, но княгиня Ламбаль, посланная королевою в Лондон для переговоров с Питтом, вернулась обратно, несмотря на предостережения и просьбы королевы. Узнав, что княгиня собирается покинуть Англию, она написала ей:

«Не возвращайтесь сюда в критический момент, иначе Вам пришлось бы слишком много плакать над нашей участью. Поверьте, что я вполне оценила Вашу доброту, Вашу истинную дружбу. Но именно из расположения к Вам я не желаю Вашего возвращения сюда. Знайте, что моя нежная привязанность к Вам окончится только со смертью».

Однако никакие предостережения не могли удержать княгиню Ламбаль вдали от Франции. Она вернулась в Париж, и Мария Антуанетта могла находить утешение, по крайней мере, в близости преданного друга.

Нет, королева не была вполне несчастной! Кроме верной Ламбаль, у нее были дети: прелестная, расцветающая дочь и дофин — гордость и радость ее материнского сердца.

Дофин еще не сознавал горя и несчастья, угрожавших ей. Подобно цветам, роскошно растущим и распускающимся на могилах, чудный мальчик рос и расцветал в Тюильерийском дворце, который был не чем иным, как могилой прежнего королевского великолепия.

Но дофин являлся солнечным лучом в этом мрачном, печальном жилище, и лицо Марии Антуанетты прояснялось, когда она смотрела на сына, питавшего к ней нежную привязанность. Его веселый смех вызывал у нее самой улыбку.

Вообще, когда первый пыл народного гнева остыл, цепи, в которые заковали королевскую семью, значительно ослабили и сделались менее тягостными. Члены королевского дома могли, по крайней мере, покидать, когда им вздумается, душные комнаты и спускаться в сад, хотя и под надзором национальных гвардейцев. Им позволялось вновь запираť двери своих комнат, хотя за их порогом стояли часовые с ружьем на плече. Проходили целые недели, даже месяцы в 1791 году, когда казалось, что взволнованные умы готовы успокоиться, а королевская власть может быть восстановлена. Король до известной степени получил прощение от национального собрания, приняв конституцию и присягнув ей. Эта конституция, составленная национальным собранием, конечно, лишала короля всякой силы и власти и оставляла его до поры до времени лишь в виде автомата, который мог двигаться только по произволу конституции и конвента.

Но, желая доставить мир своему народу, король принес и эту жертву, присягнув конституции. Народ как будто почувствовал благодарность к нему и был готов вернуться к более мирному настроению. Он перестал докучать королеве злобными насмешками, когда она показывалась в саду Тюильери или в Булонском лесу. В Париже даже вошло в моду интересоваться дофином, расхваливать маленького принца, как чудо красоты и привлекательности, и ходить в Тюильери, чтобы посмотреть, как он работает в своем саду.

Этот сад был расположен в непосредственной близости ко дворцу, у конца террасы, выходящей на набережную; он был окружен высокой проволочной решеткой и примыкал к маленькому павильону, где жил аббат Даву, наставник дофина. В Версале дофин имел собственный садик, где работал сам, сажал растения, копал землю и каждое утро срезывал цветы для букета, который подносил своей «маме-королеве». Маленький садик на Тюильерийской террасе должен был заменить ему этот любимый уголок. Мальчик был в восторге от своих новых владений и каждое утро, по окончании уроков, отправлялся туда копать гряды, поливать растения и ухаживать за цветами.

С тех пор этот сад подвергался многократным изменениям; он увеличен, возобновлен, обнесен более высокой решеткой, но остается тем же садиком дофина Людовика Карла, который впоследствии был отведен Наполеоном маленькому римскому королю, Карлом Десятым — герцогу Бордосскому и Луи Филиппом — графу Парижскому.

Какое множество воспоминаний связано с этим клочком земли, который так скоро покидали его юные владельцы! Один из них, едва достигнув десятилетнего возраста, угас в

тюрьме, другой, еще моложе его, был унесен политической бурей на чужбину и дожил только до момента, давшего ему возможность пред смертью узнать имя своего отца и посмотреть на его шпагу. Третий и четвертый были также сметены бурей и долго скитались в изгнании по Австрии и Англии. А сколько слез должны были пролить эти дети, достойные сожаления и сами по себе, над участью их отцов! Один из них умер на эшафоте, другой — под ножом наемного убийцы, третий — вследствие падения на каменную мостовую проезжей дороги и наконец величайший из них был, подобно Прометею, прикован к скале и постепенно замучен до смерти своими воспоминаниями.

Этот садик в Тюильерийском парке со стороны набережной, получивший теперь историческое значение, представлял собою в то время эльдорадо маленького дофина Франции, и полюбоваться царственным ребенком было величайшим удовольствием для парижан, которые, с тех пор как король присягнул конституции, сделались опять на некоторое время восторженными роялистами.

Когда принц отправлялся в свой садик, его обыкновенно сопровождал отряд национальной гвардии, стоявший на карауле в Тюильери, и дофин, учившийся теперь военному строю, обыкновенно был в форме национальных гвардейцев. Во всех магазинах был выставлен его портрет в военной форме, который воспроизводился также на веерах, булавках, перстнях. И между самыми знатными дамами Сен-Жерменского предместья, как и между рыночными торговками, считалось хорошим тоном украшать себя миниатюрой дофина. Как сияли его черты, как блеснул взор, когда ребенок, в сопровождении своего конвоя, которым он гордился, шел к себе в садик! Если свита была не слишком многочисленна, принц приглашал ее войти с собою. Однажды, когда все дежурные гвардейцы добивались чести сопровождать принца, многие из них были принуждены остаться за решеткой сада.

— Извините, господа,— сказал им дофин,— мне очень досадно, что мой сад так мал, так как это лишает меня удовольствия принять вас всех у себя.

После того он поспешил поднести цветы каждому, кто приближался к решетке, и радовался, получая восторженную благодарность.

Дофин возбуждал такой энтузиазм, что парижские мальчишки завидовали взрослым, дежурившим у него, и мечтали поступить в солдаты, чтобы попасть в свиту дофина. Таким образом возник полк малолетков, назвавший себя «полком дофина». Парижские граждане спешили записывать в него

своих малолетних сыновей и приобретали для них обмундировку и вооружение. Когда этот полк миниатюрных гренадеров был сформирован и обучен, то с разрешения короля явился в Тюильери, на парад, в присутствии дофина. Принц пришел в восторг от своего маленького полка и пригласил его офицеров к себе в сад полюбоваться его цветами, составлявшими драгоценнейшее сокровище дофина.

— Но осчастливите ли вы нас, став шефом нашего полка? — спросил его один из мальчиков.

Дофин с радостью согласился.

Большинство этих маленьких солдат составляли первоначально дети знатных фамилий и понятно, что они, по своей благовоспитанности, оказывали своему молодому начальнику известное внимание. Однако им было строго запрещено оказывать в чем-либо уступчивость своему товарищу. «Я, конечно, желаю, — сказал король, — чтобы у моего сына были товарищи, для возбуждения его честолюбия, но не хочу, чтобы у него были льстецы, старающиеся угождать ему». Вскоре число маленьких солдат увеличилось, потому что каждая семья добивалась чести определить своих сыновей в «Королевский полк имени дофина» и записывала их в его ряды. Простонародье же сбегалось толпами, когда этот полк производил ученье на площади Карусель. Солдатики представляли миниатюрную копию французских гвардейцев, в треуголках и мундирах с белыми отворотами, и нельзя было представить себе ничего прелестнее этого полка цветущих мальчиков в изящной форме и маленького шефа, который с сияющим лицом и радостной улыбкой следил за упражнениями своих подчиненных.

Последние, со своей стороны, так восхищались своим малолетним шефом и были так привязаны к нему, что вздумали доставить ему доказательство своей любви. Однажды офицеры полка явились в Тюильери и просили у короля разрешения поднести своему шефу подарок от имени всего полка.

Король охотно разрешил это и ввел сам маленьких офицеров в приемный зал, где находился дофин вместе с королевой.

Дофин увидел их и весело поспешил навстречу офицерам.

— Добро пожаловать, товарищи, добро пожаловать! — воскликнул он, протягивая им руки. — Моя мама-королева говорит, что вы хотите поднести мне что-то, что доставит мне удовольствие. Но я и без того рад видеть вас; с меня довольно и этого!

— Но вы не захотите отвергнуть наш подарок, командир?

— О, конечно, нет! Ведь папа-король говорит, что командиру не запрещается принять почетный подарок от своего полка. В чем же он заключается?

— Командир, мы подносим вам игру домино, сделанную целиком из развалин Бастилии, — сказал маленький офицер Паллуа, стоявший во главе депутации, а затем, сняв чехол с черного мраморного ящика с золотыми наугольниками, подал его дофину и с торжественной миной произнес следующее четверостишие:

Развалины старинной здесь твердыни,
Темниц остатки — ужаса страны,
Чтобы мощь народа ты познал отныне
В забаву для тебя превращены

Бедный, маленький дофин! Даже, оказывая ему почет, не могли обойтись без угрозы, и подарок, поднесенный царственному ребенку любовью, был в то же время даром революции, которая в виде предостережения указывала ему на прошедшее, когда ненависть народа разрушила мрачную темницу, служившую орудием королевского могущества!

Дофин в своей детской невинности не почувствовал укола, скрытого в символическом даре без ведома самих жертвователей. Он в простоте детской души радовался прекрасному подарку и просил объяснить ему значение игры. Все плитки домино были выточены из черной мраморной облицовки камина в приемном зале Дэлонэ, губернатора Бастилии, умерщвленного парижским простонародьем. На обратной стороне каждой плитки была выгравирована золотая литера, и когда их распределяли по порядку, то получалась надпись: «Да здравствует король! Да здравствуют королева и его высочество дофин!» На ящик пошел мрамор алтарной доски из часовни Бастилии. В середине его находилось золотое рельефное изображение.

— Это мой папа-король! — радостно воскликнул дофин, указывая на портрет.

— Да, — подтвердил Паллуа, предводитель маленького отряда. — Каждый из нас носит его в своем сердце. Подобно королю, вы будете жить для счастья своих подданных и, подобно ему, будете кумиром Франции. Мы, французские солдаты и граждане будущего, приносим вам, полководцу и королю будущего, свою присягу, как будущие опоры трона, который предназначен вам и который был поставлен мудростью вашего отца под непоколебимую власть закона. Мы знаем, что дар, принесенный нами вам, ничтожен, но каждый из нас прибавляет к нему свое сердце.

— А я отдаю вам свое собственное, — в радостном волнении воскликнул дофин, — и постараюсь быть благонравным и

хорошо учиться, чтобы мне позволили в награду играть в мое прекрасное домино! — При этих словах, нежно взглянув своими большими голубыми глазами на королеву, стоявшую с ним рядом, дофин схватил ее руку, поднес к губам и вкрадчиво сказал: — Милая мама-королева, когда я буду умницей и прилежным, ведь ты поиграешь со мною в мое домино?

Печальная улыбка блуждала по губам королевы, и никто не заметил робкого, испуганного взгляда, устремленного ею на этот ящик, который был для нее только памятником страшного дня.

— Да, дитя мое, — кротко сказала она, — мы поиграем с тобой в домино и будем часто забавляться им, потому что ты, конечно, постарайся быть послушным и прилежным.

Мария Антуанетта заставила себя ласково поблагодарить мальчиков за поднесенный дофину подарок и казаться приветливой и веселой до тех пор, пока члены депутации удалились в сопровождении короля и дофина. Но, когда они вышли, улыбка замерла на ее губах, и она с ужасом указала на ящик, обращаясь к Турзель:

— Унесите его прочь, унесите скорей! Это страшное напоминание о прошлом, ужасное пророчество для будущего. В этом ящике лежат камни Бастилии, разрушенной народом, а сам по себе он напоминает саркофаг. И на этом саркофаге портрет короля! О, горе и позор нам, несчастным, для которых даже дары любви омрачаются воспоминаниями ненависти и каждая радость отравлена горечью! Революция шлет нам своих буревестников, а мы должны принимать их за голубей с маслинной ветвью! Поверьте мне, я провижу будущее: приближается потоп, который поглотит нас всех.

XIX

От 20 июня до 10 августа 1792 г.

Мария Антуанетта была, бесспорно, права. Революция посылала своих буревестников в Тюильери. Они стучались своими могучими крыльями в окна королевского замка, терзали своими когтями цветы и кустарники Тюильерийского сада, так что королевская семья не осмеливалась больше показываться там. Но они не врываются пока в самый дворец, и, по крайней мере, во внутренних покоях королевы, охраняемая национальными гвардейцами, была еще ограждена от оскорблений черни.

Впрочем, не совсем так, потому что буревестники революции стучались в окна, которых нельзя было не отворять по временам, чтобы впустить в мрачные залы немного солнечного сияния и свежего воздуха. Уже давно Мария Антуанетта прекратила свои прогулки по Тюильрийскому саду; народ, толпившийся за его решеткою, до такой степени оскорблял ее словами, жестами, окликаками, что она предпочла вовсе не ходить туда. Наглые приставаания черни отвадили от прогулок и короля, а вскоре дошло до того, что даже дофина не решались больше пускать в его садик. Марат, Сантерр, Дантон и Робеспьер, наиболее видные представители народных масс, посредством угроз роялистам и подстрекательства низших слоев населения, устроили так, что никто не осмеливался более приближаться к садику принца для изъявлений приветствия и почтения королевскому сыну. Маленький полк дофина, во избежание насмешек, ненависти и гонений, пришлось распустить через несколько месяцев после его формирования, и вокруг решетки, ограждавшей сад малолетнего принца, теперь стояли только приверженцы революционных деятелей, чтобы поднимать на смех дофина, когда он появится, и поносить в его присутствии короля и королеву.

Однажды, когда необузданная толпа женщин, теснясь за решеткой, осыпала яростной бранью Марию Антуанетту, бедный дофин не мог преодолеть свою обиду и негодование. Он с разгоревшимся лицом и блестящими глазами обратился к бесновавшимся, горланившим фуриям:

— Вы лжете, лжете! Моя мама-королева вовсе не гадкая женщина и она не думала ненавидеть народ. Моя мама-королева так добра, ах, так добра!..

Его голос пресекся от слез, лившихся ручьем. Пристыженный этим доказательством своей слабости, он выбежал из сада и опрометью кинулся ко дворцу, так что аббат Даву едва мог поспеть за ним. Громко плача, мальчик прошел по коридору, но когда он поднялся по широкой лестнице и стал приближаться к комнатам королевы, то остановился, подавил свои рыдания и поспешно вытер себе глаза, причем произнес:

— Я не стану больше плакать; это встревожило бы маму-королеву. Пожалуйста, господин аббат, не говорите ей ничего! Я постараюсь быть веселым, потому что это приятно маме. Иногда она бывает печальна, а лицо у нее заплакано; тогда я делаю вид, будто ничего не заметил, и начинаю смеяться, нет, прыгать, и мама становится веселее сама, иногда у нее мелькает даже улыбка. Так и сегодня я не подам ей вида, что был огорчен.

На другой день, в час обычной прогулки сына, королева вошла в его комнату, чтобы повидаться с ним, прежде чем он сойдет в сад.

— Мама, я прошу позволения остаться дома, — неожиданно сказал дофин. — Мой садик не нравится мне более.

— Почему же так, дитя мое? — спросила Мария Антуанетта. — Разве с тобой что-нибудь случилось?

— Да, мама, — ответил принц, — ты отгадала. Вокруг решетки стоит всегда так много нехороших людей, которые смотрят на меня такими злыми глазами, что мне становится страшно; вдобавок они говорят разные гадости и бранятся.

— Они бранят меня, не так ли, дитя мое?

— О, нет, милая мама! — с живостью воскликнул ребенок. — Да и как могли бы они бранить тебя, когда ты так добра? Они ругают меня, насмеяются надо мною и говорят, что я — обезьяна, дурак, мальчишка из булочной, но не умеющий печь хлеба. Мне неприятно слушать это, а когда я заплачу от обиды, то мне становится стыдно, потому что ведь я знаю, как глупо плакать пред людьми, которые желают досадить нам! Но я не больше, как бедный маленький мальчик, и мне трудно сдерживать свои слезы. Поэтому прошу тебя, мама-королева, позволь мне остаться с тобой.

С этого дня дофин уже не ходил в сад, и Тюильерийский парк сделался теперь исключительной собственностью народа, который завладел им с диким буйством. Революционные песни, проклятия королевской чете, грубый хохот и рев черни, — то были буревестники, стучавшиеся в окна королевских покоев.

Марии Антуанетте оставалось теперь только единственное развлечение в горе: переписка с отсутствующими друзьями, прежде всего с герцогинею Полиньяк. Иногда ей представлялся счастливый случай отправить весточку с каким-нибудь преданным человеком, например, представлявшимся ко двору иностранцем, на верность которого можно было положиться. И Мария Антуанетта пользовалась тогда возможностью поделиться с далеким другом своими страданиями и горем, не боясь, что ее послание будет вскрыто врагами, как это случилось со всеми ее письмами, отправляемыми по почте.

Противники королевы старались досаждать ей на каждом шагу. Она не могла появиться у окна, чтобы ее не осыпали бранью гулявшие в парке. Оскорбления черни преследовали ее даже в глубине комнат; в самых укромных уголках до нее доносились ругательства, громко раздававшиеся под окнами Тюильери. Здесь народ с раскатистым, насмешливым хохотом расхваливал недавно вышедший пас-

квиль под заглавием «Жизнь Марии Антуанетты», продававшийся на улицах. Чернь со злобной радостью повторяла почерпнутые оттуда постыдные обвинения, написанные ядовитым пером.

В такие минуты королевою овладевал неукротимый гнев. Ее глаза сверкали, стан выпрямлялся, и мученица снова превращалась на один момент в гордую, властную королеву.

— Я не потерплю этого! — восклицала она, прохаживаясь большими шагами взад и вперед по комнате. — Я заговорю с ними, они не должны меня поносить, не выслушав моего оправдания! Да, я сойду вниз и потолкую с этими людьми, которые называют меня чужою, иностранкой. Я скажу им: «Французы, вам имели жестокость внушить, что я не люблю Францию, я мать дофина, я»...

Но вдруг слезы заглушали ее голос, и она убегала в дальний конец комнаты, рыдая, опускалась на колени и зажимала уши, чтобы только не слышать ужасных ругательств, раздававшихся под окнами.

Так среди ежедневно возобновлявшихся мучений протекали месяцы. Королева не надеялась больше ни на что. Она отказалась от всего, даже от надежды на доблестную смерть, подобающую королеве, под развалинами дворца, сокрушенного гневом возмущившегося народа. Она знала, что у короля не хватит мужества для такого конца, что его слабохарактерность уступит всяким унижениям, а его добродушие воспротивится всем строгим мероприятиям, которые, пожалуй, могли бы принести спасение. Напрасно старалась королева вдохнуть в него свое мужество и решительность. Людовик был добрым человеком, но плохим королем; он был рожден не для того, чтобы господствовать и управлять, но исключительно для того, чтобы искупить грехи своих отцов и пасть очистительной жертвой за преступления предков, вызвавшие гнев народа.

Королева чувствовала, знала это, и это сознание окутывало траурной пеленой все ее помыслы, все ее существование, доводя ее порою до тупой покорности судьбе, которая сменялась в свою очередь вспышками гнева и приливами скорби.

— Я рада, что мы падем искупительной жертвой, — говорила она, ломая руки, — но я не могу примириться с мыслью, что мои дети также обречены понести кару за чужие грехи, к которым они непричастны.

Неотступная мысль о детях поддерживала королеву, когда попытка повседневной жизни угрожала повергнуть ее в прах. Она хотела, она должна была жить для детей. До последнего вздоха ей следовало употреблять все свои силы на то, чтобы сохранить, хотя для сына, французскую корону, под бреме-

нем которой изнемог его отец. Она не домогалась больше ничего для себя, она заботилась только о сыне.

Находились еще верные друзья, желавшие спасти королеву. К ней пришла тайная весть, что все готово к ее побегу. Ведь ярость народа была направлена преимущественно против нее, ее жизни угрожали больше всего. Были уже две попытки умертвить Марию Антуанетту, и она являлась предметом всех злобных обвинений французской нации. Поэтому друзья прежде всего хотели спасти ее. Все было устроено для бегства королевы, повсюду ожидали ее друзья, беззаветно преданные слуги, которым предстояло проводить ее до границы, чтобы передать там с рук на руки посланным австрийского императора Франца, ее племянника. План был задуман с величайшей осмотрительностью, недоставало только согласия королевы, чтобы привести его в исполнение и избавить Марию Антуанетту от верной гибели.

Но она не дала своего согласия.

— Моя собственная жизнь ничего не стоит, — сказала она. — Я знаю, что должна умереть, и готова к тому. Если король и мои дети не могут бежать со мной, то я останусь здесь, потому что мое место возле мужа и детей.

Наконец сам король, воодушевленный мужеством и энергией своей супруги, еще раз нашел в себе силу воспротивиться постановлениям законодательного собрания. Оно издало два новых закона: первый — о высылке всего духовенства из пределов Франции, второй — о мобилизации двадцатитысячной армии, которая должна была расположиться лагерем на рейнской границе, и о принуждении к изгнанию всех эмигрантов, о смертном приговоре всем тем, которые пребывали за границей, собираясь выступить с оружием в руках против собственного отечества.

Оба эти закона Людовик отказался утвердить и наложить на них свое запрещение двадцатого июня 1792 года.

Народ, расположившийся несметными толпами против дверей национального собрания и подстрекаемый эмиссарами революции, принял известие о королевском вето* с неопишуемой яростью и разразился неистовыми криками. Буревестники революции полетели по улицам, возглашая у окон каждого дома:

— Отечество в опасности! Король вступил в союз с чужеземцами! Австриячка хочет призвать австрийские войска против Франции, и потому король был принужден наложить вето на декрет, осуждающий изменников отечеству. Проклятие

* Латинское слово «запрещаю», которым народные трибуны в древнем Риме останавливали общее решение собрания

австриячке! Проклятие господину Вето! Долой госпожу Вето! Пусть отныне это будет паролем для революционеров!

Новый пароль раскатился громом по всем улицам, отозвался во всех жилищах, и, в то время как благомыслящие люди хвалили короля в тиши своих запертых комнат за то, что он имел мужество защитить духовенство и эмигрантов, бунтовщики открыто изрыгали громкие проклятия и ругательства, призывая чернь к мести «господину и госпоже Вето».

Никто не препятствовал уличным беспорядкам. Национальное собрание не принимало против них никаких мер, спокойно выжидая, к чему приведет «праведный гнев народа».

Несметные толпы парижской черни с ревом и криком хлынули под вечер двадцатого июня к Тюильери, где не было предпринято ничего для защиты королевского дворца, где даже главные ворота не охранялись в тот день национальными гвардейцами. Поэтому король приказал отворить их насильем для беспрепятственного пропуску народа.

Через четверть часа все лестницы, коридоры, все комнаты были запружены галдевшим, воющим простонародьем, одна спальня короля была заперта, и в ней, окруженная несколькими верными людьми, приютилась королевская семья — король, кроткий и спокойный, как всегда, королева, бледная, решительная, без малейшей жалобы, принцесса Елизавета, молившаяся, сложив руки, королевские дети, крепко прижавшиеся друг к другу с тихим плачем. Они подавляли свои рыдания, потому что королева ласково приказала им сидеть смирно.

Небольшое число верных слуг собралось в глубине комнаты и, затаив дыхание, прислушивалось к ударам топора, которым разъяренная толпа взламывала дверь, и к приближавшемуся реву разнузданной черни.

Наконец во дворец прибыл отряд национальной гвардии, слишком поздно для того, чтобы выгнать оттуда чернь, но, может быть, еще достаточно своевременно, чтобы защитить королевскую семью.

Двери королевской комнаты были отперты, когда в них постучался помощник командира национальной гвардии Аклок. Он вбежал в комнату, кинулся на колени пред королем и заклинал его со слезами на глазах показаться народу, успокоить своим присутствием разъяренных безумцев.

При этой потрясающей сцене дети не могли более преодолеть свою тревогу и ужас. Дофин громко расплакался, уцепившись в смертельном испуге за платье матери, он жалобно молил увести его прочь к нему в детскую.

Мария Антуанетта опустилась пред ним на колени, прижала к сердцу испуганного сына и тихо плакавшую дочь и успокаивала их, нашептывая им слова утешения.

Пока мать уговаривала детей, Людовик, уступив мольбам Аклока, вышел из комнаты, чтобы показаться народу. Принцесса Елизавета, его сестра, последовала за ним по коридору к большому залу, с трудом пробираясь в густой толпе, запрудившей смежный аванзал. Теснившийся здесь народ вскоре оттер ее от короля, проследовавшего дальше.

Принцессу толкали, дергали со всех сторон, она невольно отстала от брата и очутилась наконец в самой давке, сопровождаемая только своим шталмейстером Сэн-Парду. Ее тотчас окружили вооруженные мятежники с яростным криком и угрозами.

— Вот она, австриячка!

С этим кроважadem возгласом все пики и ружья направились на принцессу Елизавету.

— Опомнитесь,— закричал Сэн-Парду,— что вы затеиваете? Ведь это не королева!

— Зачем вы выводите их из заблуждения? — сказала принцесса.— Их ошибка могла бы спасти королеву! — и, отведя один из штыков, направленных ей в грудь, она промолвила кротким голосом: — Будьте осторожнее! Вы рискуете нечаянно ранить кого-нибудь, а я уверена, что это огорчило бы вас.

С этими словами принцесса двинулась дальше, сквозь ряды почтительно расступившихся теперь пред нею мятежников, спеша присоединиться к королю. Он стоял посредине зала, окруженный толпою, которая угрожала ему с неистовыми проклятиями. Один из этих бешеных людей протеснился к нему, пока другие кричали, что надо умертвить всю королевскую семью, у этого наглеца были в руках бутылка и стакан. Наполнив последний до краев, он подал его королю и приказал ему выпить за здоровье нации.

Король спокойно взял стакан и произнес твердым голосом:

— Пусть французская нация знает, что я люблю ее, так как я принес ей много жертв. От всего сердца пью за ее здоровье!

И, несмотря на тревожные предостережения верных приближенных, Людовик поднес стакан к губам и опорожнил его.

Толпа громко заревела от восторга, и этот рев был подхвачен кроваждей чернью, толпившейся под окнами.

Тем временем королеве удалось успокоить плакавшего дофина. Она поднялась с колен и, увидав, что король вышел, бросилась к выходу. Преданные люди преградили ей путь, напоминая ей, что она не только королева, но и мать; они со

слезами заклинали ее внять советам благоразумия и не подвергать себя напрасно жестокой опасности, увеличивая тем еще более опасность, грозившую королю.

— Пусть никто не мешает мне исполнить мой долг! — воскликнула королева. — Отойдите прочь от дверей!

Однако верные слуги упорствовали, не отступив даже пред гневом королевы. В этот момент через другую дверь в комнату вошли несколько национальных гвардейцев. Они старались успокоить Марию Антуанетту, уверяя, что жизнь ее супруга в безопасности.

Тем временем шум и гам все приближались: угрозы смертью и яростный рев доносились уже из караульного зала, запертые двери подались под напором извне, и в комнату хлынули несметные толпы народа, словно морские волны, гонимые бурей. Национальные гвардейцы загродили тогда королеву с детьми массивным столом и стали сами по обеим сторонам для их защиты.

Только эта ничтожная преграда отделяла Марию Антуанетту от врагов, которые направили на нее свое оружие. Но к королеве вернулось уже все ее самообладание, и она приняла свою гордую осанку. Эта женщина стояла, выпрямив стан, с правой стороны к ней прижималась испуганная дочь, слева — дофин, с удивлением смотревший во все глаза на врывающийся народ. Позади королевы стояли княгини Ламбаль и Тарант, а также де Турзель.

Королева не потупляла взора, он был твердо устремлен на кричавших и ревуших бунтовщиков, но, когда к ней приблизился человек с окровавленным сердцем на острие пики, тогда ее ресницы дрогнули, а щеки покрылись смертельной бледностью, потому что она узнала в нем сапожника Симона. Ужасное предчувствие подсказывало королеве, что этот злодей, вечно появлявшийся пред нею, как демон ненависти, когда ее жизни грозила опасность, готовит ей беду и горе также в будущем.

В это время издали слышались все приближавшиеся крики:

— Да здравствует Сантерр! Да здравствует Сент-Антуанское предместье! Да здравствуют санкюлоты*.

Затем во главе толпы полуобнаженных молодых в комнату ворвался пивовар Сантерр в фантастическом одеянии абруцского разбойника, с кинжалом и пистолетами за поясом, в широкополой шляпе с красными перьями, надетой набек-

* Собственно говоря, «голоштанник». Так с гордостью именовали себя представители французской черни того времени

рень на его темно-русых волосах, которые развевались наподобие львиной гривы по обеим сторонам свирепого лица.

Мария Антуанетта подняла дофина, посадила его пред собою на стол и шепнула ему, чтобы он не плакал, не пугался. И доверчивый ребенок с улыбкой стал целовать руки матери.

Тут подскочила к столу пьяная женщина. Швырнув на него красный колпак, она, под угрозой смерти, приказала королеве надеть его на себя. Мария Антуанетта обвила обеими руками дофина и спокойно обратилась к стоявшему возле нее генералу фон Виттенгофену:

— Наденьте на меня колпак!

Женщины радостно заревели, когда генерал, бледный от бешенства, трепетавший от горя, исполнил приказание королевы и надел красный колпак на ее волосы, поседевшие от скорби в одну ночь.

Однако минуту спустя Виттенгофен снял этот головной убор с королевы и положил его на стол. Со всех сторон тотчас раздался повелительный крик:

— Красный колпак дофину! Трехцветную ленту маленькому Вето!

Женщины поспешили сорвать ленты со своих колпаков и швырнули их на стол.

— Если ты любишь французскую нацию, — закричали они королеве, — то надень своему сыну красный колпак!

Королева кивнула де Турзель, и та нарядила дофина в красный колпак и повязала ему на шейку и на руку трехцветные ленты. Ребенок недоумевал, шутка это или оскорбление, и поглядывал на окружающих со смущенной улыбкой.

Облокотившись на стол, Сантерр со смехом разглядывал удивительную группу. Но когда он увидел вблизи гордое и вместе с тем кроткое лицо королевы, когда заметил капли пота, струившиеся из-под шерстяного колпака по лбу дофина, то даже в его душе шевельнулась жалость. И выпрямившись, может быть, для того, чтобы избежать взоров Марии Антуанетты, пивовар крикнул грубым голосом:

— Да снимите вы колпак с ребенка! Разве не видите, что он вспотел?

Королева поблагодарила его кротким взором и сняла сама колпак с головы бедного мальчика.

Вот протискалась к столу ватага разъяренных женщин. Грозя королеве кулаками, они осыпали ее неистовыми проклятиями.

— Видите, как спесиво и презрительно поглядывает на нас эта австриячка! — крикнула одна молоденькая женщина,

стоявшая в первом ряду.— Она готова разразить нас своими глазами, потому что мы ей ненавистны!

Мария Антуанетта ласково обратилась к ней:

— С какой стати мне ненавидеть вас? Это вы ненавидите меня! Разве я когда-нибудь причиняла вам зло?

— Мне, конечно, нет,— ответила молодая женщина,— но французской нации.

— Бедное дитя,— мягко возразила королева,— вам внушили это, а вы и поверили! Какая могла быть мне польза в том, чтобы вредить французской нации? Вы называете меня австриячкой. Но ведь я жена короля Франции, мать дофина, я француженка всеми своими чувствами, как супруга и мать. Страны, где я родилась, мне никогда больше не увидеть, и от одной Франции зависят мое счастье и горе.

Мария Антуанетта произнесла эти слова мягким, задушевым тоном, со слезами на глазах, и во время ее речи шум внезапно затих, а ярые революционерки превратились вдруг в добрых, сострадательных женщин.

Молодая женщина, так злобно нападавшая на королеву, заплакала.

— Простите,— сказала она,— я не знала вас, я теперь вижу, что вы совсем не злая.

— Нет, она не злая,— крикнул Сантерр, стукнув обоими кулаками по столу,— но ее сбили с толку злые люди.

И он в азарте вторично стукнул по столу.

Мария Антуанетта слегка вздрогнула, поспешно сняла дофина со стола и поставила его с собою рядом.

— Пожалуйста, не бойтесь! — с улыбкой воскликнул Сантерр.— Вам не сделают ничего дурного. Но подумайте о том, что вами злоупотребляют и что опасно обманывать народ. Говорю вам это от имени народа. Впрочем, вам нечего бояться.

— Да я и не боюсь,— спокойно ответила Мария Антуанетта.— Зачем бояться, когда окружен храбрыми людьми! — и она грациозным жестом протянула руки национальным гвардейцам, стоявшим возле стола.

Громкое ликование, дружный приветственный клик послужили ответом на эти слова королевы. Национальные гвардейцы схватили ее руки и покрыли их поцелуями. Даже небезуданные женщины были тронуты и взволнованны.

— Какая храбрая эта австриячка! — воскликнула одна из них.

— А какой красавчик — принц! — подхватила другая.

И все теснились ближе к столу, чтобы посмотреть на дофина, поймать его улыбку или взор.

Сантерр между тем не спускал взора своих больших

глаз с королевы. Опершись обеими руками о стол, он подался к ней так далеко, что его губы приблизились к ее уху, и прошептал:

— У вас крайне неловкие друзья. Я знаю людей, которые служили бы вам гораздо лучше, которые...

Но, как будто раскаявшись в этом порыве участия, пивовар замолк, спрыгнул со стола и скомандовал громовым голосом всем присутствующим отступить и очистить дворец.

Они беспрекословно повиновались его приказу, проворно построились в ряды и, подражая солдатской выправке, зашагали в ногу мимо стола, служившего прикрытием для королевы с ее детьми и верными приближенными.

Странное то было шествие, странная армия! Ее составляли мужчины, вооруженные пиками, кирками и лопатами, женщины с ножами и ножницами, которыми они размахивали над головой. И все эти свирепые, смеющиеся, насмешливые или дышавшие участием лица были обращены к королеве, которая со спокойными глазами и кротким взором отвечала на поклоны проходивших мимо нее людей, приветливо кивая им на прощанье.

Наконец подросла долго мешкавшая помощь и к королю. Национальные гвардейцы утомляли бушевавший народ и заняли большой приемный зал, где находился Людовик. Парижский мэр Петион явился наконец сам и, приветствуемый громкими кликами народной массы, занимавшей все пространство зала за цепью национальных гвардейцев, приблизился к королю.

— Ваше величество,— сказал он,— мне только сейчас стало известно, что здесь происходит.

— Странно! — возразил король с укоризненным взором.— Парижскому мэру следовало бы раньше узнать об этом буйстве, продолжающемся здесь уже три часа!

— Но теперь оно прекратилось, ваше величество, потому что я тут,— с гордой миной воскликнул Петион.— Вам нечего теперь бояться, государь.

— Бояться? — подхватил Людовик, презрительно пожимая плечами.— У кого чистая совесть, тот никого не боится. Вот посмотрите,— продолжал он, взяв руку стоявшего с ним рядом гренадера и приложив ее к своему сердцу,— и скажите этому человеку, ускоренно ли бьется мое сердце.

Тут Петион обратился к народу, увещевая его удалиться.

— Граждане и гражданки,— сказал он,— вы начали сегодняшний день поутру с достоинством и мудростью; вы доказали, что вы свободны. Закончите же его, как начали. Разойдитесь мирно по домам, последуйте моему примеру, вернитесь каждый восвояси и лягте спать.

Простонародье, польщенное похвалами Петиона, стало удаляться, а национальные гвардейцы проводили короля в большой кабинет совета, где его ожидала депутация от национального собрания, явившаяся для приветствия.

— Где королева и дети? — воскликнул Людовик, опустившись на стул в сильнейшем изнеможении и не помня себя от смертельной усталости.

Его кавалеры отправились за королевской семьей, и вскоре в кабинет пришла королева с детьми. Мария Антуанетта порывисто бросилась к мужу, и они долго не выпускали друг друга из объятий.

— Папа-король, — воскликнул дофин, — поцелуй и меня! Я заслужил это, потому что был храбр и не плакал, когда сердитые люди надели на меня красный колпак.

Король наклонился к ребенку и поцеловал его золотистые волосы, после чего прижал к сердцу дочь, нежно прижимавшуюся к нему.

Депутаты с любопытством обступили королевскую семью, которой не было дозволено даже после таких потрясающих сцен и только что пережитой смертельной опасности обняться без свидетелей и возблагодарить Бога за свое спасение.

— Сознаться, государыня, что вы были напуганы не на шутку! — сказал один из депутатов, развязно обращаясь к Марии Антуанетте.

— Нет, — возразила королева, — я не напугалась, но жестоко страдала, потому что была разлучена с королем в тот момент, когда его жизни угрожала опасность. Но при мне были, по крайней мере, мои дети, что дало мне возможность исполнять хотя одну из моих обязанностей.

— Я не стану оправдывать все, происшедшее сегодня, — продолжал депутат, — но сознаться, по крайней мере, государыня, что народ вел себя очень хорошо.

— Король и я неизменно убеждены в природной доброте народа; он поступает дурно, когда его сбивают с толку.

Несколько других депутатов приблизились к дофину. Они обращались к нему с различными вопросами, желая убедиться в его прославленной понятливости и раннем умственном развитии. Один из них, говоря об истекшем дне, сравнил его с Варфоломеевской ночью.

— Неподходящее сравнение, — с неудовольствием возразил другой, — здесь нет Карла Девятого!

— А также и Екатерины Медичи, — проворно подхватил дофин, поднося к губам руку королевы.

— Каков маленький ученый! — воскликнули присутствующие. — Посмотрим, так же ли силен он в географии, как в истории.

И все обступили дофина, задавая ему вопросы относительно положения и границ Франции, современного разделения французской территории на департаменты и округа.

Принц быстро и верно отвечал на все вопросы. После каждого из своих ответов он вопросительно посматривал на королеву и, когда видел по ее лицу, что не дал промаха, его глаза сияли ярче, а щеки разгорались от радости.

Депутаты удалились, довольные и растроганные.

С того дня жизнь королевской семьи протекала в беспрерывном волнении, в томительном, лихорадочном ожидании грядущей беды. Король переносил свое положение с молчаливой покорностью, от него никогда не слышали ни жалобы, ни укора. Но вместе с тем ему как будто никогда не приходило в голову, что спасение еще возможно с помощью энергии, мужественного сопротивления или хотя бы бегства. Он покорился судьбе, был готов терпеть, как христианин, вместо того, чтобы восстать, как подобало королю, который согласится скорее пасть в доблестном бою, чем погибнуть позорною смертью.

Мария Антуанетта не старалась более побуждать своего супруга к энергичным действиям. Она убедилась, что все это напрасно, и предалась своей судьбе. Не имея возможности жить, как подобает королеве, она хотела, по крайней мере, умереть, как королева, и готовилась к этому с твердостью и спокойной решимостью.

— Меня убьют, я знаю это, — говорила она своим служанкам. — Теперь мне остается только приготовиться к смерти.

Но Мария Антуанетта готовилась к ней не с плаксивым унынием, но с чувствительным умилением. Как непоколебимый страж, стояла она возле разрушенного трона и зорко смотрела по сторонам, чтобы наблюдать за врагом и приготовиться к его приближению.

Королева по-прежнему заставляла докладывать себе обо всем, что происходило в Париже, что решили в национальном собрании, о чем вели переговоры в клубах: даже памфлеты и пасквилы, в которых ее поносили и преследовали, не оставались для нее тайною.

Мария Антуанетта лучше короля, часто сидевшего целыми часами, целыми днями в молчаливой задумчивости, лучше министров знала состояние столицы и настроение народа. Она каждое утро принимала донесения эмиссаров; ей было известно и о заговоре союзных держав, и о тайных собраниях, сзываемых Маратом, и о соединениях клубов. Она знала о созвании сорока восьми отделов парижской общины на общее собрание. Для нее не было тайной, что мэр города Па-

рижа Петион, Дантон и Манюэль, ярые республиканцы, господствовали в общинном совете, а эмиссарам было поручено подстрекать к мятежу парижские предместья. Королева знала также, что грозные пришельцы из Марселя, бунтовавшие народ двадцатого июня, хвастались, что они устроят лучшее повторение этого дня. От нее не укрылось и то, что более половины депутатов в национальном собрании были якобинцы, ожидавшие только удобного случая, чтобы восстать против королевской власти. Как часто, собравшись глухою ночью под окнами королевы, они не давали ей спать, горланя хором марсельезу или «*Ca ira, sa ira!*» — революционную песню парижан. Тогда испуганная Мария Антуанетта, уже никогда не раздевавшаяся на ночь, вскакивала с постели и спешила к кроваткам детей, чтобы убедиться, что они пока целы и невредимы, или звала своих служанок и приказывала им зажечь огни, чтобы, по крайней мере, видеть приближавшийся ужас.

Наконец в ночь с девятого на десятое августа давно ожидаемая катастрофа наступила. Ружейный выстрел, грянувший во дворе Тюильери, возвестил ее приближение.

Мария Антуанетта вскочила с постели и послала свою камеристку будить короля. Однако он был уже на ногах и при нем находились его министры и верные приближенные.

Разбудив детей, королева сама помогла их одеть, а потом, взяв их за руки, пошла с ними к королю, который принял семью с ласковым приветом.

Извне доносились дробь барабанов, бивших тревогу, призывая к оружию горожан, глухие пушечные выстрелы, будившие спящий город, и зловещий набат колоколов.

Королевская семья, крепко прижимаясь друг к другу, молча ожидала вступления республики в залы королевского дворца или спасения монархии милостью Божью и храбростью ее верных слуг.

У монархии действительно еще были верные слуги, и, в то время как барабаны били тревогу, а колокола звонили в набат, призывая республиканцев к бою, эти сигналы служили и для роялистов боевым кличем, который возвещал им, что король в опасности и нуждается в их помощи.

В Париже осталось около двухсот дворян; они не примкнули к массовой эмиграции знати, не последовали за королевскими принцами в Кобленц и были готовы теперь поднять оружие против собственного отечества. Они остались в Париже, чтобы защищать до последней капли крови монархию и, по крайней мере, пасть возле трона, если им не удастся поддержать его. Чтобы устранить всякий повод к подозрению, они не носили никакого оружия, но было известно, что

под шелковым камзолом придворного кавалера каждый из них прятал кинжал воина, этих дворян прозвали «рыцарями кинжала».

Как только барабаны забили тревогу, «рыцари кинжала» устремились в ту ночь на десятое августа в Тюильери, где уже кишели гренадеры, швейцарские гвардейцы, дворяне, горожане, добровольцы всякого ранга, всякого сословия, которые явились по собственной охоте защищать королевскую семью. Все лестницы, коридоры и комнаты были заняты ими.

Но «рыцари кинжала» торжественным шествием проходили мимо всех их в парадный приемный зал, где находился король с королевой и детьми. С глубокой почтительностью приблизились они к королевской чете, умоляя короля позволить им умереть за него, заклиная королеву прикоснуться к их оружию, чтобы сделать его победоносным, разрешить им облобызать королевскую руку, чтобы придать сладость ожидавшей их смерти. Со всех сторон слышались клики воодушевления и клятвы верности.

— Да здравствуют короли наших отцов! — возглашали молодые люди.

— Да здравствует король наших детей! — подхватывали старики, взяв дофина за руки и поднимая его над головой, в виде живого знамени, которое они готовились защищать, не щадя жизни.

Когда забрезжило утро, король по убедительной просьбе своей супруги сделал вместе с нею и с детьми обход всех зал и галерей дворца, чтобы поддержать мужество собравшихся там бойцов и поблагодарить за их верность. Королевскую семью повсюду приветствовали с воодушевлением, повсюду встречали клятвами преданности, готовности умереть. После того король один сошел в парк в сопровождении немногих верных ему лиц, чтобы произвести смотр расставленным здесь батальонам национальной гвардии.

Однако при появлении короля из их рядов послышались только одиночные возгласы: «Да здравствует король!» Ропот недовольства заглушал их, и, чем дальше подвигался Людовик, тем громче роптали национальные гвардейцы, пока наконец из многих сотен уст грянул громовой крик:

— Отречение! Отречение или смерть! Да здравствует Петион! Отречение или смерть!

Король поспешно повернул назад и возвратился во дворец, с побледневшим лицом и холодным потом на лбу.

— Все погибло! — с горечью воскликнула тогда королева. — Нам осталось только одно — умереть с достоинством.

Но вскоре она опять оправилась, и новое мужество загорелось в ее душе при виде новых бойцов, все прибывавших в зал. Между ними было много и гренадеров национальной гвардии, которые вмешались в ряды дворян.

Но эти дворяне, эти «рыцари кинжала» внушали недоверие, и один майор национальной гвардии громко потребовал их удаления.

— Нет, — поспешно воскликнула королева, — эти дворяне — наши лучшие друзья. Поставьте их против пушечного жерла и они покажут вам, как надо умирать за своего короля. Не беспокойтесь насчет этих храбрецов, — продолжала она, обращаясь к нескольким подошедшим гренадерам. — У вас с ними общие интересы. Все, что есть для вас и для них самого дорогого. жены, дети, имущество, — все это зависит от вашего мужества и вашей совместной храбрости.

Гренадеры протянули руки «рыцарям кинжала», после чего те и другие дали обоюдную клятву умереть за королевскую семью, спасти трон или погибнуть вместе с ним.

То была великая, торжественная минута, полная возвышенного красноречия, важного значения. Сердца этих дворян, этих воинов бились нетерпением: они жаждали сложить голову за правое дело. Положив руку на оружие, храбрецы ожидали своего конца.

Народ валил валом к Тюильери. Издали доносились неистовый гам, громыхание подвозимых орудий, пронзительный крик женщин, рев мужчин. Бывшие во дворце прислушивались к этому содому, притаив дыхание, а королева выпрямилась, быстрым движением схватила руки своих детей, привлекла их к себе и, наклонив голову вперед, в напряженном ожидании уставилась взором на дверь, подобно львице, которая поджидает врага и готовится защищать своих детенышей ценою собственной жизни.

Вдруг двери распахнулись, и в зал опрометью вбежал генерал-прокурор Редерер.

— Ваше величество, — в ужасе воскликнул он, — вам надо спастись! Всякое сопротивление бесполезно. Лишь незначительная часть национальной гвардии представляет собою надежный элемент, да и та при первом же столкновении, пожалуй, не устоит и начнет браться с народом по примеру прочих. Канониры уже вытащили заряды из пушек, не имея охоты стрелять в народ. Королю нельзя терять ни минуты. Ваше величество, вы можете рассчитывать на безопасность только в стенах национального собрания и лишь народные представители могут еще защитить королевскую семью.

Крик гнева и ужаса вырвался у королевы.

— Как? — воскликнула она. — Что вы говорите? Мы должны искать защиты у наших заклятых врагов? Никогда! Ни за что! Я скорее согласна велеть пригвоздить себя к этим стенам, чем покинуть этот дворец, чтобы отправиться в национальное собрание.

Тут королева обернулась к королю, стоявшему в молчаливой нерешимости. Она с пламенным красноречием взывала к нему, как к отцу дофина, наследнику Генриха Четвертого и Людовика Четырнадцатого, старалась возбудить в нем чувство чести, тронуть его сердце, в последний раз воспламенить его собственным мужеством, собственной решительностью.

Увы, все было напрасно! Король молчал, по-прежнему не выходя из своей нерешимости.

Тогда крик — единственный крик скорби — вырвался из уст королевы, и на один момент ее голова поникла на грудь.

— Поспешите, поспешите, ваше величество, — воскликнул Редерер, — каждая минута усиливает опасность! Через четверть часа королева и дети, пожалуй, безвозвратно погибнут.

Эти слова вывели короля из его столбняка. Он поднял голову и, слегка кивнув ею, произнес:

— Мы не можем сделать ничего иного. Пусть нас безотлагательно проводят в национальное собрание.

Тогда королева, обращаясь к Редереру, воскликнула:

— Неужели мы покинуты всеми?

— Государыня, — печально ответил генерал-прокурор, — всякое сопротивление бесполезно. Оно способно только увеличить опасность. Неужели вы согласны допустить, чтобы король, вы сами, ваши дети и верные слуги были убиты?

— Сохрани меня Боже! Я желала бы одна пасть искупительной жертвой.

— Еще минута, — настаивал Редерер, — еще минута, пожалуй, секунда, — и уже нельзя будет поручиться за вашу жизнь, за жизнь вашего супруга и ваших детей.

— Мои дети! — воскликнула королева, охватив руками головы дофина и его сестры и крепко прижимая их к себе. — Нет, о нет, я не хочу обречь их на смерть!

Из ее груди вырвалось что-то похожее на предсмертное рыдание, на предсмертный вздох; потом она выпустила из объятий детей и, приблизившись к королю и его министрам, слабым голосом вымолвила:

— Ну, хорошо, это последняя жертва, которую я могу принести! Я подчиняюсь, господин Редерер, — продолжала

она, повысив голос, точно хотела призвать в свидетели присутствующих, — но ручаетесь ли вы мне за неприкосновенность особы короля и моего сына?

— Государыня, — торжественно ответил генерал-прокурор, — я ручаюсь за то, что все мы готовы умереть возле вас. Вот все, что я могу обещать.

Тут подошли дворяне и гренадеры, чтобы, окружив короля и королеву, сопутствовать им.

— Ради Бога, — воскликнул Редерер, — никаких демонстраций, иначе король погибнет!

— Оставайтесь, мои верные друзья, — спокойно сказал король. — Подождите здесь нашего возвращения.

— Мы скоро вернемся, — воскликнула Мария Антуанетта и, ведя за руку детей, поспешила за королем, который медленно пересекал зал.

Княгиня Ламбаль и госпожа де Турзель последовали одни за королевской четой.

Свершилось! Умирающая монархия покинула королевский дворец, чтобы стать под защиту революции, из недр которой должна была родиться республика.

Было шесть часов утра, когда королевская семья переступила порог Тюильери. Впереди следовал король, ведя под руку принцессу Елизавету, за ним королева с обоими детьми. На пороге дворца король получил известие, что часть национальной гвардии удалилась, чтобы защищать свои семьи и дома от натиска народа, тогда как остальные перешли на сторону революции.

Король подвигался вперед с трудом, пробираясь сквозь беснующуюся толпу, которая даже не хотела посторониться, чтобы дать дорогу королевской семье, и осыпала ее оскорблениями и бранью.

Некоторые члены национального собрания, шедшие впереди, едва могли усмирять ревущие волны народной ярости.

На террасе фельянтинцев* сбежавшаяся чернь неистово кричала:

— Долой тиранов! Смерть, смерть тиранам!

Дофин громко вскрикнул от ужаса, потому что окровавленные руки двух оравших женщин протянулись к нему. Тут подскочивший гренадер схватил мальчика своими сильными руками и посадил его себе на плечо.

— Мой сын!.. Отдайте мне моего сына! — с воплем ужаса воскликнула королева.

Гренадер наклонился к ней и прошептал:

— Не бойтесь, ваше величество. Разве вы не узнаете меня?

* Монашеский орден

Мария Антуанетта взглянула на него, и тень улыбки мелькнула по ее лицу. Да, она узнала гренадера: это был ее верный Тулан в форме национального гвардейца.

— Долой тиранов! — вопили разъяренные женщины.

— Не бойтесь, принц! — успокаивал дофина гренадер, несший его на плече, чтобы защитить от страшной давки. — Никто не сделает вам вреда.

— Не мне, а моему милому папе! — жалобно ответил ребенок, заливаясь слезами, катившимися по его бледному от испуга лицу.

Бедный мальчик дрожал от страха. Сам король почувствовал одну минуту, что мужество покидает его и слезы подступают к глазам. Королева также плакала, вытирала глаза и снова принималась плакать. Более получаса понадобилось печальному шествию, чтобы пройти короткое пространство до манежа, где помещалось национальное собрание. Здесь, у входа в манеж, крики толпы усилились, генерал-прокурор стал держать к ней речь, стараясь успокоить мятежников, и втолкнул королевскую семью в узкий коридор, где она с трудом пробиралась вперед, теснимая со всех сторон ругавшейся чернью. Наконец растворились двери зала, и когда Мария Антуанетта вступила в него вслед за королем, Тулан передал ей дофина, который судорожно ухватился за шею матери.

Мертвая тишина царила в зале. Депутаты мрачно смотрели на вошедших. Никто не встал, чтобы поздороваться с королем; не было произнесено ни единого слова приветствия. Король занял место возле президента, королева со своими дамами — на стульях министров. Вдруг раздался яростный голос с трибуны:

— Дофин должен сидеть с королем! Он принадлежит нации! Австриячка не заслуживает доверия народа!

Подошедший пристав хотел увести ребенка; но Людовик Карл уцепился за мать с ужасом на лице, со слезами на глазах. Эти слезы вызвали у трибунов слово сострадания, и пристав не осмелился увести принца силой.

Водворилась глубокая тишина, а затем король, возвысив голос, произнес:

— Я пришел сюда, чтобы предотвратить великое преступление, а также в уверенности, что мне всего безопаснее находиться среди представителей нации.

— Ваше величество, — ответил президент Вернио, — вы можете положиться на твердость национального собрания. Оно знает свои обязанности; его члены дали клятву жить и умереть ради поддержания прав народа и конституционных властей.

Тут со всех сторон зала раздались голоса, заявлявшие, что конституция запрещает собранию совещаться в присутствии короля и королевы.

Королевскую семью отвели в маленькую, низкую ложу, едва в десять футов длины, где сидели секретари журнала «Логограф», писавшие отчеты заседаний. В этом тесном помещении были заперты король, королева с золовкой и детьми, их министры и верные слуги, чтобы слушать переговоры о низложении короля.

С улицы доносилось неистовое ликование народа, который, умертвив швейцарских гвардейцев, с торжеством таскал на пиках их отрубленные головы. Трескотня ружейных выстрелов смешивалась с глухою пушечною пальбою, последние верные присяге полки сражались с армией революции за стенами манежа, тогда как внутри этих стен, в зале заседания обсуждалась статья:

«Французскому народу предлагают составить национальный конвент. Глава исполнительной власти упразднен».

Целый день продолжалось это мученье, целый день просидела королева в невыносимой духоте, с заснувшим ребенком на коленях, неподвижная, как мраморное изваяние, которое оживлялось лишь по временам, чтобы издать вздох или тихую жалобу. стакан воды со смородиновым соком послужил ей единственным подкреплением. Около пяти часов вечера, когда общее собрание все еще обсуждало низложение короля, последний спокойно обратился к стоявшему позади него камердинеру Гюз:

— Мне хочется есть, пусть подадут чего-нибудь.

Гюз ушел. Из ближнего ресторана тотчас принесли жареную курицу, фрукты и компот; все это было расставлено на маленьком столе, который и внесли в ложу «Логографа».

Лицо короля немного повеселело; он подсел к столу и с аппетитом скушал свой обед, не слыша подавленного рыдания, доносившегося из самого темного угла ложи. В этот угол забились несчастная согбенная женщина, которая еще вчера была королевой Франции, а теперь краснела от стыда при виде короля, с таким удовольствием удовлетворявшего свой аппетит.

Слезы брызнули из ее глаз; чтобы осушить их, ей понадобился платок, так как ее собственный уже пропитался слезами и потом со лба спящего дофина. Но никто из ее верных слуг не мог дать ей платок, не обгаренный кровью тех, которые были ранены или убиты, защищая свою королеву.

Только в два часа ночи окончилась попытка этого заседания, и королевскую семью отвели в келью упраздненного монасты-

ря фельянтинцев, расположенные над бюро национального собрания и наскоро приготовленные для ночлега несчастных узников.

Впереди них шли вооруженные люди со свечами, воткнутыми в дула их мушкетов, и светили королю и королеве по пути в их импровизированные спальни; густая толпа вооруженного народа окружила их, часто преграждая путь, так что потребовался энергичный приказ сопровождавших королевскую семью муниципальных чиновников, чтобы очистить дорогу. Народ отступил, но принялся горланить непристойные песни.

Эти страшные лица, эти угрожающие, насмешливые голоса испугали дофина, который, дрожа от страха, уцепился за мать.

Мария Антуанетта наклонилась и прошептала ему на ухо несколько слов. Лицо ребенка тотчас просияло, и он проворно и весело побежал вверх по лестнице. Однако мальчик остановился на верхней площадке, чтобы подождать сестру, которую вели под руки, ослабевшую и полусонную.

Радостно вбежал дофин в комнаты, где был приготовлен ночлег и даже подан ужин. Но внезапно его черты омрачились, и он с тревогой стал озираться по сторонам, а потом спросил:

— Где же Муфлэ? Ведь он пошел со мною и был при мне, когда мы вышли из ложи. Муфлэ, где же ты, Муфлэ?

Дофин обежал все четыре комнаты, отведенные королевской семье, отыскивая свою любимую собачку, доставшуюся ему по наследству от брата, покойного дофина Франции.

Но Муфлэ не было нигде, и все поиски оставались тщетными. Вероятно, он потерялся в тесноте или был раздавлен.

Когда наконец наступила тишина и королевская семья расположилась на жестких постелях, с кровати дофина донеслись тихие вздохи и подавленные рыдания. Он оплакивал свою собачку! Наследник французских королей лишился сегодня своей последней собственности, своего верного четвероногого друга.

Мария Антуанетта наклонилась к нему и, поцеловав его влажные глаза, сказала:

— Не плачь, дитя мое, твоя собачка вернется завтра, мой сын!

— Завтра? Ты обещаешь мне это, мама?

— Обещаю.

Мальчик осушил слезы и заснул с улыбкой на губах.

Мария Антуанетта не спала. Сидя на своей постели, она прислушивалась к реву и дикому вою, доносившемуся с тер-

расы фельянтинцев, к реву, с которым народ поносил ее и требовал ее головы.

На следующий день начались новые мученья, потому что королевская семья опять была принуждена присутствовать на заседании национального собрания в ложе «Логографа» и слушать, как обсуждался вопрос о том, где с этих пор должна она жить, так как ее считали недостойной помещаться в Тюильери, а Люксембургский дворец также находили не подходящим для нее жилищем.

Между тем к королеве вернулось обычное спокойствие и самообладание. Она заставила себя даже улыбнуться, чтобы приветствовать этой улыбкой детей и своих верных приближенных, собравшихся вокруг нее, чтобы проводить мучительные часы в тесной, душной ложе возле своей королевы. Мария Антуанетта была обрадована вниманием супруга английского посла, леди Сутерлэнд, приславшей белье и платье собственного сына для дофина, и с благодарностью приняла от де Турзель ее карманные часы, так как по дороге в монастырь фельянтинцев у королевы были украдены ее собственные вместе с кошельком.

Узнав об этой краже, пятеро присутствовавших кавалеров выложили на стол все бывшие при них деньги и ассигнации, прежде чем удалиться. Но королева заметила это.

— Господа,— сказала она, бросая на них взор, полный благодарности и умиления,— оставьте при себе свои деньги; они понадобятся вам больше, чем мне, потому что вы переживете меня.

Смерть не пугала Марию Антуанетту, которая слишком часто смотрела ей в глаза эти дни и видела, как радостно встречали свой конец ее верные слуги и друзья.

Куда горше смерти были ругательства и поношения, которые приходилось ей выносить по дороге из ложи «Логографа» в жилые помещения в монастыре фельянтинцев. Однажды королева увидала в бывшем монастырском саду кучку прилично одетых мужчин, которые смотрели на нее, не ругаясь и не выкрикивая непристойностей. В порыве благодарности Мария Антуанетта улыбнулась им и ласково кивнула с приветливой миной.

— Не беспокойся! — воскликнул тогда один из стоявших.— Тебе нет надобности так грациозно кивать своей головой, потому что ты недолго будешь носить ее на плечах!

— Хорошо, если бы этот человек говорил правду! — кротко сказала королева, идя дальше, чтобы слушать в ложе «Логографа» препирательства народных представителей по воп-

росу о том, следует ли приговорить к смертной казни, как изменников французской нации, швейцарских солдат, осмелившихся вчера защищать королевскую семью с оружием в руках.

Наконец после пятичасовой пытки народным вождем надоело поносить и унижать людей, уже лишенных власти и высокого сана. Королевской семье было объявлено, что с этих пор она будет жить в Тампле на положении узников нации.

Поутру восемнадцатого августа во дворе фельянтинского монастыря были поданы две огромные кареты, запряженные каждая только парой лошадей, чтобы отвезти королевское семейство в Тамплъ.

В первую карету сели король, королева, их дети, принцесса Елизавета, княгиня Ламбаль, де Турзель и ее дочь, а сверх того Петион, парижский мэр, генерал-прокурор и один муниципальный чиновник. Во втором экипаже поместилась прислуга короля с двумя муниципальными чиновниками. Национальные гвардейцы сопровождали эти кареты, по обеим сторонам которых теснилась чернь, осыпавшая королевскую семью беспрерывными оскорблениями и ругательствами.

На Вандомской площади поезд остановился, и здесь наглая толпа с насмешками указала королю на ниспровергнутую народным гневом конную статую Людовика Четырнадцатого. Сверженная с своего пьедестала, она разбилась вдребезги, и ее осколки валялись на мостовой.

В восемь часов вечера поезд прибыл к мрачному зданию, которому предстояло теперь сделаться жилищем короля и королевы Франции.

— Да здравствует нация! — заревела толпа, наполнявшая внутренний двор, когда Мария Антуанетта и ее супруг выходили из экипажа. — Да здравствует нация! Долой тиранов!

Королева не обратила на это внимания. Она смотрела на свой черный шелковый башмак, который протерся до того, что из носка торчали ее пальцы, обтянутые белым шелковым чулком.

— Взгляните на мою ногу! — сказала Мария Антуанетта княгине Ламбаль. — Ведь никто не поверит, что у королевы Франции нет крепких башмаков.

До двадцать первого января

— Надо смотреть прямо в глаза несчастью и найти в себе мужество переносить его с достоинством, — говорила Мария Антуанетта. — Мы узники и еще долго останемся в неволе. Постараемся же устроиться уютно, по-домашнему, в своей тюрьме. Установим план нашего ежедневного обихода.

— Ты права, Мария, — ответил король, — устроим хорошенько свою жизнь. Так как я уже не король, то сделаюсь домашним учителем своего сына и постараюсь воспитать из него хорошего короля.

— Так вы полагаете, что во Франции еще будут со временем короли? — пожимая плечами, спросила Мария Антуанетта.

— Ну, в таком случае, — продолжал король, — попробуем дать нашему сыну такое воспитание, чтобы он мог со временем с честью занимать всякое положение, назначенное ему судьбой.

— А я буду заниматься с ним и с нашей дочерью музыкой и рисованьем, — сказала королева.

— А мне позвольте научить мою племянницу вышивать алтарные пелены, — вмешалась принцесса Елизавета.

— По вечерам, — продолжала Мария Антуанетта, ласково кивая княгине Ламбаль, — мы будем читать вслух с распределением ролей комедии, чтобы дети переняли у нашей Ламбаль искусство декламации. Постараемся забыть прошедшее и устроиться в настоящем по возможности приятно. Вы видите, что эти четыре дня, проведенные нами в Тампле, подействовали на меня благотворно, придали мне терпения и... Однако, что это значит? — внезапно прервала королева свою собственную речь, насторожив слух. — Слышите... шаги за дверью? Должно быть, происходит что-нибудь особенное, так как теперь еще рано для прихода муниципальных чиновников. Где дети?

И в тревоге материнской любви королева поспешно поднялась сама по внутренней лестнице во второй этаж Тампля, где была расположена комната дофина рядом с общей-гостиной. Людовик Карл вприпрыжку подбежал к матери, спрашивая, не пойдет ли она, как обещала, с ним в сад.

Вместо всякого ответа, королева заключила его в объятия и подозвала к себе кивком головы также свою дочь Терезу.

— О, мои дети, милые дети, я только хотела вас видеть, я...

Дверь отворилась, и вошел король в сопровождении своей сестры, княгини Ламбаль и де Турзель.

— Что случилось? — воскликнула Мария Антуанетта. — Какое-нибудь несчастье, не так ли?

Она замолчала, заметив теперь двух муниципальных чиновников. Тут был Манюэль, назначенный с 10-го августа генерал-прокурором, враг королевы, главный надзиратель над тампльскими узниками, и Мария Антуанетта не хотела выказать пред ним свою слабость.

— Вы желаете сказать нам что-нибудь? — спросила она, стараясь придать твердость своему голосу.

Королева не ошиблась. Манюэль должен был прочесть королю декрет, которым национальное собрание повелевало, чтобы все, прибывшие в Тампль с «Людовиком Капетом и его женою», под видом друзей или слуг, немедленно покинули его.

Королева не издала ни единой жалобы, но ее гордость была сломлена, и она не могла скрыть от Манюэля свои слезы. Раскрыв объятия, она подозвала к себе любимую, верную подругу, княгиню Ламбаль, чтобы проститься с нею, а потом поцеловала де Турзель и ее дочь.

В тот вечер в пустынных комнатах Тампля было еще тише и грустнее прежнего. У царственных узников отняли их последних слуг, оставив королю только его камердинера Клэри.

Однако на другое утро явился Манюэль и сказал королеве, что община позволяет ей потребовать для услуг двух женщин, которых она может выбрать из числа приведенных к ней им самим.

Но Мария Антуанетта с гордым спокойствием отклонила это предложение:

— У нас отняли тех людей, которые оставались нам верными из любви и служили из привязанности; мы не желаем заменять их наемниками наших врагов.

— Тогда вам придется обойтись без посторонних услуг! — грубо воскликнул Манюэль.

— Да, — кротко ответила королева, — мы будем служить друг другу, и это доставит нам удовольствие.

Члены королевской семьи действительно с нежной заботливостью с того дня помогали друг другу; каждый из них угадывал желания другого и помогал остальным с предупредительной готовностью. К счастью, у короля остался камердинер, который одевал его и которому были известны его скромные, неизменные привычки; он устраивал и приготовлял все для короля в маленьком кабинете Тампля, как делал

это в большом королевском кабинете в Версале. Дамы обходились без посторонних услуг, а Мария Антуанетта непременно хотела сама одевать и раздевать дофина.

Этот мальчик походил на солнечный луч, освещавший еще иногда мрачные комнаты Тампля. С счастливой беспечностью детства он забыл прошедшее, не думал о будущем, жил только настоящим, старался быть счастливым и находил счастье в том, чтоб вызвать на бледных, гордых губах королевы улыбку или получить от короля, дававшего ему теперь уроки, похвалу за свое прилежание и внимательность.

Так проходили дни — однообразно, печально и мрачно для королевской семьи. Никакой привет любви, ни один луч надежды не проникал к ним извне, чтобы согреть толстые стены старинного здания. Никто не приносил узникам вести о том, что делалось на свете. Их слишком зорко стерегли для того, чтобы кто-нибудь из друзей мог дать им знать о себе. И это было величайшим мучением для царственных пленников. Ни одного момента ни днем, ни ночью, когда взоры суровой стражи не были бы устремлены на них, — они вечно под надзором, вечно окружены шпионами! Двери в прихожие постоянно отворены, и там неизменно по три муниципальных чиновника с острым зрением, с мрачными лицами, которые наблюдают за каждым движением находящихся в комнате. Даже по ночам эта попытка не прекращалась, и королева Франции должна была мириться с тем, что ее спальня оставалась открытою всю ночь напролет, чтобы муниципальные чиновники, ночевавшие в креслах в прихожей, где они пили, играли в карты и курили, могли всегда видеть ее кровать и убеждаться в ее присутствии.

Даже когда она раздевалась, двери спальни нельзя было запереть; в ногах кровати стояли только низенькие ширмы, и принцессе Елизавете позволялось их немного раздвинуть на то время, когда королева раздевалась за ними и укладывалась в постель.

Эти ежедневно возобновлявшиеся пытки и унижения, этот ежеминутный надзор были нестерпимее всего для тампльских узников, и гордое сердце Марии Антуанетты постоянно возмущалось такими жестокими притеснениями. Хотя она старалась быть терпеливой, подавлять в себе гнев и скорбь, но они вырывались у нее в потоках слез, в угрозах, которые были теперь совершенно бессильны.

Так прошел август и начался сентябрь, печальный, мрачный, безотрадный. Утром 3-го сентября к царственным пленникам явился Манюэль с известием, что Париж в сильном волнении и потому узники не должны сегодня гулять в саду и выходить из своих комнат.

— Как поживает моя приятельница, княгиня Ламбаль? — спросила Мария Антуанетта.

Манюзель смутился, даже покраснел и потупился, говоря, что сегодня поутру княгиню заключили в тюрьму Ла-Форс. Потом, чтобы замять этот разговор, вновь назначенный генерал-прокурор сообщил королевской чете известие, полученное несколько дней назад в Париже и приведшее город в сильнейшее смятение и ярость.

— Иностранные державы заключили между собою союз против Франции. Король Пруссии приближается с несметным войском и уже стоит под Шалоном, лицом к лицу с французской армией, тогда как император германский идет на Эльзас.

Значительность и важность этих новостей заставили Марию Антуанетту забыть смущение и замешательство, обнаруженные раньше Манюзелем. Она снова надеялась воспрянуть духом и верила в возможность спасения.

Что за беда, если под ее окнами раздавались яростные крики, если сбежавшаяся чернь редела и вопила: «Голову австриячки! Подайте нам голову австриячки!»! Мария Антуанетта так часто слышала эти возгласы, что сделалась равнодушной к ним. Ее не тревожило также и то, что на улицах, подобно глухим раскатам грома, раздавался грохот барабанов, то приближаясь, то замирая вдали, что там гремели трубы, трещал ружейный огонь, а из дальних частей города доносился громкий победный рев. Ей было не до того! В ее ушах все еще отдавались слова Манюзеля:

«Чужестранные государи вступили в союз против Франции. Прусский король стоит под Шалоном. Император германский идет на Эльзас».

— Сжался над нами, Боже! Даруй победу нашим друзьям над нашими врагами! — молилась королева. — Избавь нас от здеznego мученья, чтобы хотя наши дети нашли счастье, навеки погребенное для нас под нашими воспоминаниями!»

Однако Мария Антуанетта не могла поделиться ни с кем своими надеждами и опасениями и была принуждена даже молить Бога в глубине души. Ведь муниципальные чиновники были тут, как и двое навязанных узникам слуг: Тизон и его жена, приставленные к ним наемные шпионы их врагов!

Только смелый взор и прояснившееся чело говорили королю о надеждах и желаниях его супруги, а он ответил ей легким пожатием плеч, печальной улыбкой.

Вдруг, когда королевская семья только что села за обед, в обыкновенно тихом здании Тампля поднялась суматоха. По-

слышались яростные крики, топот людей, поднимавшихся по лестнице. Два муниципальных чиновника, сидевших в отворенной прихожей, встали и прислушивались у дверей. Последние быстро распахнулись, и вошел третий чиновник, бледный, дрожащий от ярости.

— Неприятель в Вердене! — крикнул он, грозя королю кулаком. — Мы все погибнем, но вы должны погибнуть сначала.

Король спокойно посмотрел на него, но дофин, приведенный в ужас видом этого разъяренного человека, его громким, сердитым голосом, расплакался, и Мария Антуанетта с дочерью напрасно старались успокоить кроткими увещаниями плачущего, дрожащего мальчика. Вошел четвертый муниципальный чиновник и стал таинственно перешептываться со своими товарищами.

— Разве моему семейству угрожает здесь опасность? — спросил король.

Муниципальный чиновник пожал плечами:

— Распространился слух, будто королевская семья исчезла из Тампля. Это взволновало народ, и он требует, чтобы вы все показались у окон. Но мы не потерпим этого, вам не следует показываться. Народ должен иметь больше доверия к своим чиновникам!

— Да, — подхватил другой муниципальный чиновник, не переставая грозить кулаком, — да, он должен питать к нам доверие! Но если неприятель придет, то королевской семье несдобровать.

Тем временем крик и беснование под окнами становились все громче; слышались ругательства, угрозы, направленные против королевы. Явился еще пятый чиновник в сопровождении солдата, с целью убедиться от имени народа, что «семейство Капет» находится еще в башне. Он гневным голосом потребовал, чтобы узники подошли к окну и показались народу.

— Нет, нет, им не следует делать это! — воскликнули остальные чиновники.

— Почему же нет? — спросил король. — Пойдемте, Антуанетта! — и он подал руку супруге и двинулся с нею к окну.

— Нет, не делайте этого! — крикнул чиновник, бросаясь вперед, чтобы преградить им дорогу.

— Боже мой, что же это значит? — спросил удивленный король.

— Что? — закричал человек, грозивший кулаком. — Народ хочет показать вам отрубленную голову Ламбаль, чтобы вы знали, как он расправляется со своими тиранами!

В этот миг за оконными стеклами показалась голова с бледным лицом, с развевавшимися длинными белокурыми волосами, с остановившимся тусклым взором, вся забрызганная кровью. То была голова княгини Ламбаль, которую народ приказал парикмахеру причесать, чтобы отнести ее напоказ королеве, вонзив на острие пики.

И королева увидела это зрелище. Она отшатнулась и рухнула на стул, не спуская взора с окна даже тогда, когда страшный признак давно исчез. Ее губы оставались раскрытыми, как будто для вопля, но ужас парализовал ей голос. Мария Антуанетта не плакала, не изливалась в жалобах, и даже ласки детей, кроткие увещания принцессы Елизаветы и утешения короля не могли вывести ее из этого нравственного оцепенения.

Княгиня Ламбаль была убита! И внутренний голос подсказывал королеве, что это убийство было только прологом к ужасной трагедии, которую народ хотел заставить разыграть королевскую семью.

Бедная княгиня Ламбаль! Ее убили за то, что она отказалась повторить проклятия королеве с чужих слов.

— Поклянись, что ты любишь свободу и равенство, поклянись, что ты будешь ненавидеть короля, королеву и все королевское правление! — говорили ей.

— В первом я поклянусь, — последовал ответ Ламбаль, — но в последнем не могу поклясться, потому что этого нет в моем сердце.

Преступление Ламбаль заключалось в том, что в ее сердце не было места ненависти! И эту вину разделяли с ней столько других, погибших в кровавый день третьего сентября, когда бешеные ватаги марсельцев отворяли тюрьмы и тащили узников на суд или расправлялись с ними без всякого суда, предавая их лютой казни.

Дни проходили, и их надо было влачить как-нибудь. Мария Антуанетта не теряла бодрости, сохраняя наружное спокойствие. И этот новый удар судьбы следовало перенести; сердце королевы все еще билось горячим чувством, не было сломлено вконец. Она еще любила и продолжала надеяться. Сознание долга по отношению к мужу и детям не позволяло ей отчаиваться, — ведь лучшие дни все-таки могли наступить! Самое главное было не терять бодрости, протянуть до того момента, когда забрезжит рассвет.

Но действительно требовалась большая твердость воли для того, чтобы выносить повседневную пытку этой жизни. Бесконечные насмешки и поругания, непрерывный надзор глумящихся, ругающихся мужчин, ежеминутное шпионство хит-

рой Тизон, этой служанки, навязанной королеве и с лукавством кошки следившей за каждым ее движением!

Самым худшим из этих неумолимых стражей был сапожник Симон.

Власти поручили ему наблюдать за рабочими и каменщиками, которые чинили развалившееся старинное здание Тампля, и он перебрался сюда и расположился здесь по-домашнему, чтобы ему было удобнее исполнять свою обязанность. Симон находил утонченное наслаждение в том, чтобы подсматривать за униженной королевской семьей, следить за тем, как с каждым днем возрастали ее унижения, слышать ругательства, которыми осыпали узников на каждом шагу. Встречаясь с ними, он не упускал случая оскорбить их, бросить им в лицо обидное слово и с громким хохотом хвалил тех, которые подражали ему.

Некоторые из чиновников, которым был поручен надзор за тампльскими узниками, говорили о короле, королеве и их детях не иначе, как с яростной бранью.

Когда королевская семья спускалась на прогулку в сад, Сантерр предшествовал ей с отрядом стражи. Караульные, мимо которых он проходил, отдавали пивовару честь, а когда с ними равнялся король, они опускали ружье к ноге и делали вид, что не замечают его. У садовой калитки стоял привратник Рошэ, которому доставляло удовольствие нарочно мешкать при этом; он долго возился с замком, пуская из своей длинной трубки клубы дыма в лицо членам королевской семьи. Национальные гвардейцы, стоявшие поблизости, злобно хохотали, отпуская различные гнусности по адресу юных принцесс. Во время прогулки царственных узников канониры собирались в аллеях и плясали под звуки революционных песен, распеваемых некоторыми из них. Порою к ним присоединялись садовники, работавшие в саду, и, пускаясь в пляс, окружали неистовым хороводом гуляющих пленников. На обратном пути после такой печальной прогулки королевская семья подвергалась новым оскорблениям со стороны караульных и привратника. Как будто не довольствуясь всем этим, мучители писали еще исполинскими буквами на стенах коридора, по которому должны были проходить пленники, различные угрозы, вроде следующих: «Госпожа Veto скоро заплещет!», «Долой австрийскую волчицу!», «Смерть ее детенышам!» Таким образом даже короткие прогулки узников превращались в пытку.

Сначала королева находила, что не может выносить это, и пленники перестали показываться в саду. Но бледные щеки ее дочери, тоскливые взоры, которые устремлял дофин из запертых окон в сад, заставили мать делать то, что казалось

слишком тяжелым королеве. Она решилась безропотно нести свое тяжкое испытание, она подчинилась, и королевская чета ежедневно водила детей на прогулку, терпя ради них всевозможные издевательства.

Однажды — то было двадцать первого сентября — королевская семья сидела у себя в гостиной по возвращении из сада. Король читал книгу; королева сидела возле него с рукоделием, тогда как дофин с сестрою и теткой, принцессой Елизаветой, расположились в соседней комнате; принцессы занимали ребенка, загадывая ему загадки. В отворенной прихожей сидели два муниципальных чиновника, с жестоким злорадством уставившись взором на узников. Вдруг под самыми окнами загревели трубы, затрещали барабаны, а затем наступила глубокая тишина, среди которой раздался громкий голос, читавший следующую прокламацию:

«Королевская власть во Франции упразднена. Отныне все официальные предписания будут помечены первым годом Республики. Государственная печать будет окружена надписью: «Республика Франция». На национальной печати будет изображена женщина, сидящая на связке оружия с копьем в руке, на котором надет фригийский колпак — эмблема свободы».

Во время этого чтения муниципальные чиновники не спускали взора с только что развенчанной королевской четы. Они жадно доискивались в чертах низложенного короля и его супруги, какое впечатление произвела на них прокламация. Однако эти гордые, спокойные лица оставались непроницаемыми. Людовик ни на минуту не поднял взора от книги, которую читал, пока глашатай с ужасающей внятностью выкрикивал под окном каждое слово, а королева невозмутимо продолжала вышивать, ни на миг не прервав мерного движения поднимавшейся и опускавшейся иглы.

Снова грянули трубы, загрохотали барабаны. Похороны королевского дома совершились, и с того часа король стал называться просто Людовиком Капетом, а королева — Марией Антуанеттой. Под кровлей Тампля уже не было ни дофина, ни принцесс королевской крови, а была только «семья Капет».

Республика сбросила королевские короны с голов Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты, и когда, несколько дней спустя, королеве прислали наконец из Тюильери белье, которого она напрасно домогалась долгое время, то Республика приказала ей спороть короны, украшавшие вензеля на метках.

В половине октября Республика послала в Тампль своих комиссаров и тюремщиков, чтобы разлучить короля с семьею.

Несмотря на мольбы и плач королевы и детей, он был отведен в другое отделение замка, в большую башню, которая должна была отныне служить ему жилищем. С целью причинить королеве новое горе дофина поместили вместе с отцом, с которым он должен был делить его заточение.

Это сломило гордость, царственное мужество Марии Антуанетты. Она ломала руки, плакала, кричала; она так жалобно молила не разлучать ее с мужем и сыном, что даже черствое сердце сапожника Симона было тронuto ее отчаянием, и он ничего не возразил, когда другие муниципальные чиновники, взволнованные этой сценой, сказали королеве, что разрешают узникам сходить за столом. Таким образом за завтраком, обедом и ужином семья Капет сходилась вместе.

В эти желанные часы не было конца разговорам, и общие беседы оживлялись веселой болтовней маленького дофина. Король рассказывал о своих занятиях с сыном и об успехах мальчика в ученье. Тут тампльские узники порою забывали, что к ним, пожалуй, уже подкрадывается неумолимая смерть, и шутили между собою, а серебристый смех дофина оглашал мрачные комнаты.

Однако наступивший декабрь отнял у королевы и это последнее утешение. Национальное собрание, превратившееся теперь в конвент, в правительство, взвело на короля обвинение в государственной измене. Конвент приписывал ему тайное соглашение с врагами Франции и утверждал, что Людовик призвал себе на помощь монархов Европы. В железной шкатулке, которая была найдена замурованной в стене королевского кабинета в Тюильери, хранились бумаги, компрометировавшие короля, письма бежавших принцев, германского императора и прусского короля. Эти государи вели теперь кровавую войну на границах Франции, и это было поставлено в вину низложенному королю. Он был заодно с врагами своего отечества, он был убийцею собственных подданных! На его голову должна была пасть кровь, пролитая по его вине!

Таково было обвинение, взведенное на короля. Двадцать членов конвента явились в Тамплъ, чтобы прочесть королю обвинительный акт и допросить его.

Конечно, он отрицал подобный договор, подтверждая под присягой, что отклонил все предложения иностранных государей, так как они могли освободить его, только угрожая Франции.

Однако вожаки революции хотели во что бы то ни стало доказать его виновность. Людовика Капета требовалось уст-

ранить, чтобы Робеспьер и Марат, Дантон и Петион со своими друзьями могли достичь неограниченной власти.

Пожалуй, в конвенте находилось еще немало лиц, которых ужасала эта кровавая развязка, но они не осмеливались высказать свой голос, подчинялись террористическому давлению, которое оказывали на конвент заправилы революции. Им было известно, что за спиною этих заправил стояли массы уличного сброда, проникнутые ненавистью к королевской власти и аристократии, готовые растерзать, как врага отечества, всякого, кто осмелится заступиться за людей, навлекших на себя народную ненависть и обреченных на гибель.

Тем не менее нашлись несколько мужественных, верных слуг короля, которые осмелились принять его сторону. В качестве обвиняемого Людовика предали теперь суду, и конвент превратился в трибунал, который должен был решить, виновен ли король или нет.

Ради соблюдения формальностей по закону следовало дать королю защитника. Конвент вызвал желающих принять на себя эту обязанность в уверенности, что никто не захочет взяться за такое опасное дело.

Однако желающие нашлись. Были еще мужественные, великие и благородные люди, которые сжалились над покинутым королем и хотели попытаться спасти того, кто был обречен поплатиться за вину своих предшественников и пролить свою кровь за грехи отцов.

Едва стало известно, что конвент соглашается дать обвиняемому Людовику Капету трех защитников, как из Парижа и прочих городов стали поступать заявления от лиц, готовых взять на себя защиту короля.

Даже из-за границы присылали защитительные речи на его имя. Одна из них с пламенным воодушевлением защищала несчастного низложенного монарха, и ее автор заклинал Францию не пятнать своей благородной, юной свободы жестоким убийством невинного, единственное преступление которого состояло в том, что он был сыном своих отцов и унаследовал от них корону вместе с их виною. Эта защитительная речь была написана немецким поэтом Фридрихом Шиллером.

Из числа многих, предлагавших ему свои услуги, Людовик выбрал только двух защитников: во-первых, своего бывшего министра, философа Ламуаньона де Малерба, потом адвоката Троше и наконец, по неотступному настоянию Малерба, молодого, знаменитого адвоката Дезежа. Этим людям предстояло защищать короля против ужасного обви-

нения в измене отечеству, которое подтверждалось сотнями писем и документов.

По окончании предварительного следствия началось публичное обвинение в конвенте, который по-прежнему заседал в манеже, поблизости Тюильери. Король отправился туда из Тампля в сопровождении своих защитников и двух муниципальных чиновников, под конвоем национальных гвардейцев. Народ с диким ликованием и громкими проклятиями плясал вокруг кареты, но это не мешало королю сохранять во время пути полнейшее спокойствие и невозмутимость.

— Этот человек, должно быть, одушевлен редким фанатизмом, — сказал конвенту в своем рапорте об этом путешествии Коломбо, один из муниципальных чиновников, схавших с королем. — Иначе непонятно, каким образом он мог быть так спокоен, имея столько причин бояться. Когда мы все уселись в карету и она медленно покатила по улицам, Людовик принял участие в разговоре, который вскоре коснулся литературы, именно некоторых латинских авторов. Он высказывал свое суждение обо всем с большим толком и осведомленностью, как будто желая блеснуть своими познаниями. Один из нас сказал, что не жалуется Сенеки*, потому что его любовь к богатству и деньгам резко противоречит его мнимой философии; кроме того, ему нельзя было простить то, что он обелял пред сенатом преступления Нерона. Это замечание как будто нисколько не задело Людовика. Когда речь перешла на Тита Ливия, он сказал, что у знаменитого историка Римской империи была страсть сочинять пространные речи, которые он влагал в уста римским полководцам, тогда как последние, естественно, не могли пускаться в подобные разглагольствования пред фронтом своих войск. Потом Людовик сравнил Тита Ливия с Тацитом** и заметил, что Тацит далеко превосходит Ливия в стиле.

Таким образом король рассуждал о латинских авторах в то время, когда экипаж, окруженный неистовой, глумящейся толпой народа, вез его в конвент, которому Дезэж в своей защитительной речи крикнул с гордым бесстрашием:

— Я ишу между вами судей, а нахожу только обвинителей!

Король был невозмутимо спокоен, хотя знал, что его жизнь в опасности, что он стоит пред трибуналом смерти. В тот день, когда его повезли в первый раз в конвент, обвиняемый попросил Малерба написать одному священнику, в помощи которого он нуждался, будучи уверен, что тот не откажет ему. Имя этого священника было Эджварт де Фирмон, и

* Философ Сенека был воспитателем римского императора Нерона.

** Корнелий Тацит — знаменитый историк древних римлян

приближалось то время, когда королю понадобилась вместо адвокатов и защитников поддержка духовного лица.

Двадцатого января 1793 года Людовику XVI объявили смертный приговор. Он принял его спокойно и пожелал повидаться пред казнью с семьею, получить напутствие от духовника и приготовиться к смерти.

Во время всех этих ужасных недель Мария Антуанетта была совершенно разлучена со своим супругом и проводила время в одиночестве со своими детьми, которым уже не удавалось более вызывать улыбку на ее безмолвные уста, оживить ее взор, остановившийся от ужаса.

Королева знала, что король был предан суду, допрошен и что его возили в конвент, но ничего, ничего — ни единого слова относительно хода и результата процесса — не доходило до нее! Тизон, тюремщица Марии Антуанетты, ее злой демон, слишком зорко сторожила узницу, не допуская до нее никаких известий.

Но наконец пришла роковая весть, которой так боялась королева, к которой она готовилась в долгие, мучительные ночи, проводимые в молитве, тоске и слезах. Тем не менее она переполнила сердце королевы отчаянием, гневом и скорбью.

Король был приговорен к смерти! Король хотел видеть свою семью, чтобы проститься с нею!

Конвент дал на это разрешение и даже так далеко простер свою милость, что позволил осужденному иметь свидание со своими близкими без свидетелей. Только оно должно было происходить в маленькой столовой короля, чтобы муниципальные чиновники могли поместиться в соседней комнате, куда вела стеклянная дверь, дававшая им возможность неукоснительно наблюдать за королевской семьей.

Чиновник, явившийся с этим разрешением конвента, удалился, чтобы привести королеву и остальных членов семьи из верхней башни.

В ожидании их король с волнением прохаживался по комнате. Камердинер Клэри, приводя в порядок столовую, отодвинул к стене стоявший посредине круглый стол, чтобы очистить место, и расставил стулья. Людовик приказал ему принести графин с водою и стакан.

— Только,— заботливо прибавил он,— не холодной воды, потому что королеве вредно пить ее и она может простудиться.

Тут король внезапно побледнел и, остановившись, прижал на одно мгновение руку к сильно бившемуся сердцу. Он ус-

дышал голос супруги. Дверь отворилась, и к нему вошли все его близкие. королева, которая вела за руку дофина, и принцесса Елизавета с его дочерью Терезой.

Король пошел к ним навстречу и раскрыл объятия, в которые с громким плачем кинулась вся семья. За стеклянной дверью стояли чиновники, но они не могли ничего видеть, потому что слезы застилали им глаза.

В кабинете короля стоял на коленях аббат Эджварт де Фирмон и молился за несчастных, жалобные вопли которых доносились до него.

Но плач постепенно утих. Узники уселись: королева — по левую руку мужа, принцесса Елизавета — по правую, против короля — его дочь, Мария Терезия, тогда как дофин поместился между отцовскими коленями и смотрел на отца широко раскрытыми глазами, с печальной улыбкой.

Людовик заговорил первый. Он рассказал о своем процессе, сообщил, в каком преступлении обвинили его. Но речи осужденного дышали кротостью и спокойствием, и он жалел «бедных, введенных в заблуждение» людей, которые вынесли ему смертный приговор. Он требовал от своей семьи, чтобы она простила им. Родные ответили ему только рыданиями, объятиями, слезами и поцелуями.

Затем все стихло. Муниципальные советники не слышали больше ничего, но видели, как Мария Антуанетта с детьми и золовкой опустилась на колени, как Людовик, стоявший среди них, поднял руки и благословил их с кроткими, благородными словами, растрогавшими до слез аббата Эджварта, стоявшего на коленях за дверью кабинета.

После этого король велел своему семейству подняться с колен, снова обнял всех и поцеловал супругу. Бледная, трепещущая Мария Антуанетта ухватилась за него, и ее дрожащие губы не могли сдержать гневный упрек его несправедливым судьям.

— Я прости́л им, — серьезно произнес король. — Мною составлено завещание, откуда вы увидите, что я прости́л своим врагам и требую от вас того же самого. Обещай мне, Мария, что ты никогда не попытаешься мстить за мою смерть.

По бледным губам королевы мелькнула улыбка, полная печали и отчаяния.

— Наверно, я никогда не буду в состоянии прибегнуть к мести, — возразила она, но тотчас прибавила, встретив умоляющий взор короля: — Конечно, если бы даже я могла сделать это и получила в свои руки верховную власть, то даю тебе клятву, что и в этом случае я не стану мстить твоим злодеям.

Король нагнулся к ней и горячо поцеловал ее в лоб.

— Благодарю тебя, Мария; я знаю, что все вы, мои милые, будете свято чтить мою последнюю волю и что мои последние слова и желания неизгладимо запечатлеются в ваших сердцах. Но ты, мой сын,— продолжал Людовик, усаживая дофина к себе на колени и устремив на него нежный взор,— ты еще ребенок и способен позабыть мой завет. Ты слышал мои слова, но, так как клятва еще священнее слова, то подними руку и поклянись исполнить мою волю и простить моим врагам.

Мальчик, не спускавший с отца взора больших голубых глаз, послушно поднял правую руку, и даже чиновники за стеклянной дверью ясно расслышали, как он произнес милым, детским голосом:

— Клянусь тебе, папа-король, простить всем нашим врагам и не делать зла тем, которые убивают моего дорогого отца.

Невольный трепет напал на свидетелей этой сцены; с поблдевшими лицами отступили они от стеклянной двери и чувство невыразимого раскаяния и стыда овладело ими.

В комнате короля все затихло, и только аббат, притаившийся в кабинете, слышал шепот их молитв, подавленный плач и рыдания.

Потом голос короля произнес:

— Теперь идите, мои возлюбленные! Я должен остаться один. Мне нужно успокоиться и сосредоточиться.

Громкие вопли послужили ему ответом. Однако через несколько минут Клэри отворил стеклянную дверь, и королевская семья снова появилась пред чиновниками. Королева опиралась на правую руку супруга; оба они держали за руки дофина, Тереза охватила отца за талию, принцесса Елизавета повисла на его левой руке. Так подвигались они к выходу с громкими и жалобными стонами.

— Уверю вас,— сказал Людовик,— что мы увидимся еще раз завтра поутру в восемь часов.

— В восемь часов? Почему же не в семь? — спросила королева, томимая предчувствием.

— Ну, хорошо,— с кротостью ответил король,— так, значит, в семь часов. Прощайте! Прощайте!

Скорбный тон этого последнего «прости» еще усилил плач и стенания. Дочь короля упала без чувств к его ногам. Клэри поднял ее с помощью принцессы Елизаветы.

— Папа, милый папа,— воскликнул дофин, прижимаясь к отцу,— позволь нам остаться с тобой!

Королева не говорила ни слова. Бледная как смерть она не сводила взора широко раскрытых глаз с супруга, точно желая запечатлеть его образ глубоко-глубоко в своем сердце.

— Прощайте! Прощайте! — воскликнул еще раз король, повернулся и поспешно ушел в другую комнату.

Дружный крик горя, ужаса вырвался из всех уст. Потом дети, которым вскоре предстояло осиротеть, ухватились за мать, а королева, судорожно рыдая, бросилась на шею зловке.

— Вперед! Семья Капет должна вернуться в свое помещение! — скомандовал один из муниципальных чиновников.

Мария Антуанетта выпрямилась, ее глаза вспыхнули огнем, и она крикнула гневным, угрожающим тоном:

— Вы — палачи и изменники!

Король вернулся в свой кабинет, где его ожидал священник, аббат Эджварт де Фирмон, с короткими словами утешения. Ему удалось выхлопотать от тюремных властей разрешение причастить короля. Этот обряд должен был совершиться рано поутру на следующий день, как было сказано в приказе, которым вместе с тем объявлялось королю, что в семь часов его повезут на казнь.

Первое известие было принято королем с искренней радостью, второе — с полнейшим спокойствием.

— Так как мне понадобится рано встать, — сказал он своему камердинеру Клэри, — то я должен пораньше лечь в постель. Сегодняшний день расстроил меня; я нуждаюсь в подкреплении, чтобы собраться с силами на завтра.

Людовик велел раздеть себя и лег. Когда Клэри пришел на другое утро в пять часов одевать короля, он нашел его спящим, и, вероятно, ему снились сладкие сны, потому что по его губам блуждала улыбка.

Король оделся с помощью камердинера, и священник приобщил его; священные сосуды для совершения таинства были принесены из соседней церкви капуцинов. Старый комод был превращен стараниями Клэри в алтарь, два простых подсвечника стояли по обеим сторонам чаши и дароносицы вместо канделябров, а в них горели две сальные свечи, заменявшие восковые. Пред этим алтарем преклонил колени король Людовик Шестнадцатый с глубоким благоговением, со спокойным, мирным выражением лица.

Священник служил обедню; Клэри заменял ризничего, а в то время, когда король причащался, по улицам уже загрохотали барабаны, загремели трубы, разбудившие Париж и возвестившие ему, что короля Франции сейчас поведут на казнь.

По мостовой громыхали орудия, пешая и конная национальная гвардия заняла весь путь от Тампля до площади Революции (площадь Согласия). Люди, вооруженные ружьями и пиками, заняли в четыре ряда обе стороны улицы, так что у

тех, которые рассчитывали освободить короля по дороге к месту казни, была отнята всякая возможность даже приблизиться к нему. Властям было известно, что один из самых смелых и ревностных сторонников короля, де Бати, прибыл в Париж и вместе с несколькими бесстрашными молодыми людьми составил план насильственного освобождения узника, когда его повезут казнить. Поэтому были приняты самые строгие меры, чтобы помешать этому замыслу. Между тесными рядами национальной гвардии, состоявшей сегодня сплошь из санкюлотов, яростных, кровожадных обитателей парижских предместий, ехал экипаж, в котором сидел король, сопровождаемый конвоем национальной гвардии верхами. Карета катилась по улицам, мимо домов с запертыми, завешанными окнами; парижане, может быть, стояли за ними на коленях и молились за несчастного, которого везли на эшафот и который некогда был королем Франции.

В одном месте, где были выстроены эти страшные вооруженные шпалеры, поднялось движение при проезде роковой колесницы. Двое молодых людей крикнули: «К нам, французы! К нам все те, которые хотят спасти своего короля!» Но этот призыв не нашел себе отклика. Каждый с ужасом озирался на соседа, предполагая в нем шпиона или убийцу; ужас сковал все сердца; тишина смерти воцарилась кругом.

Молодые люди, поднявшие тревогу, хотели бежать, скрыться в ближайшем доме, но дом оказался наглухо запертым, и у его дверей они были повалены наземь разъяренными санкюлотами и изрублены в куски.

Экипаж короля покатился далее. Людовик не обращал больше ни на что внимания, держа пред собой молитвенник, он читал отходные молитвы, и аббат молился вместе с ним.

Наконец возница остановил лошадей у подножия эшафота, и король вышел из кареты. Роковой помост был окружен целым лесом пик и ружей. Загрохотали барабаны. Но король крикнул громким голосом: «Смирно!» — и они замолкли.

Подскочивший Сантерр приказал барабанщикам продолжать; ему повиновались.

Король сбросил с себя верхнее платье; палачи приблизились, чтобы остричь ему волосы. Он не противился им; но, когда они хотели связать его руки, глаза Людовика сверкнули негодованием, и он твердым голосом отказался допустить это.

— Ваше величество, — заметил тогда священник, — в этом новом поругании я вижу только новое сходство между вами и Спасителем, который будет вашею наградой и утехой.

Людовик поднял взор к небу с неопишным выражением скорби и покорности и со вздохом промолвил:

— Вы правы! Только воспоминание о Нем и Его пример способны заставить меня перенести такой позор.

Протянув руки палачам, он беспрекословно дал им связать себя, а потом, опираясь на руку аббата, поднялся на ступени рокового помоста. Выстроенные у его подножия двадцать барабанщиков ударили в барабаны, но осужденный, приблизившись к самому краю эшафота, громким голосом приказал прекратить бой, и тот сейчас же замолк.

Тогда, возвысив голос до такой степени силы, что он загремел на всю площадь и был услышан всеми собравшимися на ней, король сказал:

— Я умираю не виновный во всех взведенных на меня преступлениях. Я прощаю виновников моей смерти и молю Бога, чтобы кровь, которую вы готовитесь пролить, никогда не пала на Францию. А ты, несчастный народ...

— Уймите же его! — повелительным тоном крикнул Сантерр, перебивая короля, и, обратившись к Людовику, яростно продолжал: — Я привел вас сюда не для того, чтобы вы ораторствовали, но для того, чтобы вы умерли!

Барабаны загрохотали, палачи, схватив короля, повалили его наземь. Священник наклонился к нему и пробормотал несколько слов, которые слышал только Один Господь, но которые были увековечены традицией под влиянием чувства жалости и восхищения. Они повторяются до сих пор, передаваясь от поколения к поколению, и будут повторяться в грядущие века. Вот в какую бессмертную и популярную формулу вылились они в устах народной молвы: «Сын Людовика Святого, поднимись на небеса!» Барабаны продолжали бить, что-то блестящее сверкнуло в воздухе, послышался глухой удар, брызнула кровь.

— Король Франции мертв! — и палач Сансон поднял рукою голову, некогда носившую венец, чтобы показать ее народу.

Внезапная жуткая тишина воцарилась за этим моментом, потом народные массы неудержимым натиском прорвались сквозь ряды солдат и поспешили к эшафоту, чтобы унести что-нибудь на память об этом страшном деле. Одежда короля была растерзана в клочки, и их разделили между собою присутствовавшие; палачу давали червонцы за несколько волосков с окровавленной головы. Один англичанин заплатил мальчику пятнадцать луидоров за то, чтобы он омочил его платок в королевской крови, лившейся с эшафота. Другой заплатил тридцать луидоров за отрезанную косу короля.

Вечером того дня палач Сансон, потрясенный до глубины души страшным деянием, которое он совершил, отправился к священнику, сделал вклад в церковь на поминовение короля, после чего сложил с себя свое звание, поселился в уединении и умер полгода спустя. Сын, сделавшийся его преемником в печальном ремесле, благочестиво продолжал начатое его отцом. Заупокойные обедни в память короля совершались по его заказу до 1840 года.

На следующий день «вдова Капет» подала властям просьбу, ходатайствуя о выдаче ей с семейством «полного траурного одеяния самого простого качества».

Республика была настолько великодушна, что удовлетворила это ходатайство.

XXI

Тулан

Гражданин Тулан опять дежурил вместе со своим другом Лепитром в Тампле. Он — такой надежный, такой безупречный республиканец, такой ревностный гражданин, что Республика, безусловно, доверяла ему.

Поэтому он был выбран в совет и ему было доверено заведование бюро по отчуждению имущества эмигрантов. Кроме того, он состоял членом конвента, и не его вина, что в день голосования вопроса о жизни или смерти короля самого Тулана не было в собрании: он как раз в это время должен был уехать в провинцию, чтобы конфисковать имения одного аристократа. Если бы Тулан был в Париже, то, конечно, голосовал бы за осуждение короля. Он откровенно говорил это всем и каждому, и каждый верил ему, потому что Тулан не мог быть подозреваем; он принадлежал к санкюлотам, считал за честь быть одетым не лучше самого скромного гражданина. Он принадлежал к друзьям Марата, и сапожник Симон всегда был очень рад, когда муниципальный чиновник Тулан дежурил в Тампле; потому что Тулан — очень веселый человек, умел шутить и задушевно хохотать над шутками других. Всем было так весело, когда дежурил Тулан, особенно если вместе с ним дежурил его друг, гражданин Лепитр. Тогда оба они удивительно забавляли всех присутствующих, даже представляли разные шутки вроде комедий, так что Симон хохотал во все горло, а главный тюремщик Тизон и его жена даже забывали свою службу и покидали сторожевой пост у стеклянной

двери, через которую они были обязаны следить за королевой и ее семьей, и делали это для того, чтобы видеть веселое представление.

— Для нас просто праздник, когда вы оба в Тампле, — говорил Симон, — поэтому не сердитесь на меня, что я так рад вашему обществу и стараюсь почаще залучить вас на дежурство.

— Да мы на тебя вовсе не сердимся, — возразил Тулан, — мы даже рады этому, так как это дает нам возможность побыть с тобой, нашим лучшим и вернейшим братом.

— И притом, — прибавил Лепитр, — так приятно видеть злую волчицу и ее волчат и немножко унижить ее. Эти люди достаточно часто глядели на нас, задрав нос, пока сами жили в Тюильери, а нас считали ничтожным прахом. Теперь как раз время дать им почувствовать, что теперь они сами сделали для нас ничтожным прахом.

— Конечно, — поддакивал Тулан, — теперь самое время дать им почувствовать это.

— А вы оба так чудесно это умеете! — улыбался Симон. — Я всегда вижу, как королева сердится, когда вы дежурите, и это радует меня, так что мне вдвойне приятно, когда вы оба здесь.

— Сегодня я выдумал презабавную штуку, — сказал раз Тулан, — я хочу выучить вдову Капет курить. Ведь ты знаешь, брат Симон, что она всегда представляется, будто не может выносить табачный дым; ну, пусть выучится! Сегодня я дам ей сигаретку и скажу, что если она желает, чтобы мы не курили, то должна сегодня курить с нами вместе.

— Великолепная штука! — захохотал Симон.

— Только вот что, — раздумчиво возразил Лепитр, — если окажется, что вдова Капет может курить, а мы ей пообещаем, что никогда больше не будем курить, если она сама научится этому, то ведь мы все-таки не станем держать слово?

— Как так? — удивился Тулан. — Мы республиканцы, больше того — санкюлоты, и вдруг не будем держать данное слово, не выкажем себя лучше проклятых, изолгавшихся аристократов, которые никогда не держали обещаний, данных народу? Гражданин, как ты можешь так оскорблять нас и себя самого! Спроси нашего благородного друга и брата Симона, думает ли он, что свободный гражданин может не держать слова, даже если даст его только заключенной женщине?

— Я с тобой согласен, — с достоинством сказал Симон, — я мысленно поклялся королю, что его голова погибнет, и

сдержал свое слово. Я обещал его жене, что ее приговорят к смерти, и надеюсь, что мое обещание исполнится. Если я держу слово относительно недобрых желаний, так уж должен держать его и во всех случаях. Если республиканец обещает, то должен исполнить обещанное!

— Верно, Симон! Ты и благородный, и мудрый человек! Значит, решено: королева должна сама курить, мы этим позабавимся, но зато потом курить у нее не будем.

— Я навешу на ее двери объявление, что в передней у нее курить строго воспрещается.

— Вот это хорошо! — воскликнул Тулан. — Это вполне достойно моего великодушного брата Симона!

— Пойдемте теперь наверх, — сказал Симон, — двое других чиновников уже наверху и, наверное, удивляются, что вы так запоздали, но с вами так хорошо болтать. Идемте же! Я останусь с вами посмотреть на вашу выдумку. Ах, да! Вот какая новость. поднять вопрос о том, чтобы сократить число чиновников, надзирающих за семьей Капет, потому что это имеет вид, будто великая Республика боится этих воюющих женщин и маленького Капета, которого полоумные роялисты зовут Людовиком Семнадцатым, так что стражу, вероятно, ограничат двумя чиновниками.

— И прекрасно! — одобрительно заметил Тулан. — К чему принуждать к бездеятельности такую массу людей! Ведь человек не всегда расположен шутить, и тогда довольно-таки неприятно видеть эти заплаканные физиономии.

— Значит, будет только два чиновника, — сказал Лепитр, — но, по-моему, это очень мало; а вдруг этой Капетше удалось бы соблазнить их обоих, чтобы они помогли ей бежать?

— Это невозможно! — со смехом возразил Симон. — Меня она никогда не соблазнит, а, пока я сторожу, австриячка и ее отродье не убегут. Ни одна душа не может сойти с лестницы так, чтобы я не слышал и не видел, потому что я, как вы знаете, живу под лестницей, дверь ко мне всегда открыта, а я всегда на своем месте. Затем дверь, ведущую на двор, тюремщик Рикар сторожит, как цербер, а дальше стоят часовые, охраняющие три выхода с внутреннего двора на внешний; а двое ворот, ведущих на улицу, сторожат еще четверо стражников. Нет, нет, дорогие мои, если бы волчица пожелала бежать, то ей пришлось бы прибегнуть к волшебству и вырастить себе крылья, чтобы улететь по воздуху; иначе ей не спастись.

— Отлично! Это очень радует меня, — сказал Тулан, поднимаясь по лестнице.

— Меня это также успокаивает,— подхватил Лепитр,— тогда, пожалуй, пусть останутся только два чиновника. Симон — на страже, а в орла она не может превратиться.

— Славно сказано! — рассмеялся Симон.— Ну, вот мы и пришли! Войдем! Комедия начинается!

Он с шумом растворил дверь, и все трое вошли. Два муниципальных чиновника сидели у стола посреди комнаты и играли в карты. Через открытую дверь можно было видеть комнату семьи Капет.

На диване, за круглым столом, сидела королева в мрачном траурном платье, в черном чепчике на поседевших локонах и диктовала дофину урок из книги, которую держала в руках. Маленький принц, также в черном, с широким флером на рукаве, сидел около нее, на стуле. Все его внимание было устремлено на работу, и он, видимо, старался как можно красивее выводить буквы, так как просто пыхтел от усердия, и яркая краска выступила на его щеках.

По другую сторону королевы сидели принцессы Елизавета и Мария Терезия, занятые штопкой платьев королевы.

Никто из них, казалось, не слышал шума распахнувшейся двери, никто не обратил внимания на вошедших. Но Тулан непременно хотел, чтобы королева взглянула на него; поэтому он, сильно стуча сапогами, прошел первую комнату, вошел в комнату королевы и, остановившись на пороге, отвесил низкий, церемонный поклон с таким комичным движением руки, что Симон не мог удержаться от громкого хохота.

— Мадам,— сказал Тулан,— я имею несказанную честь приветствовать вашу милость!

— Он просто неподражаем! — в восторге проревел Симон, ударив кулаком по столу.

Лепитр в это время подошел к окну и повернулся спиной ко всему обществу; никто не обращал на него внимания, никто не видел, как он вынул из кармана небольшой узелок и осторожно опустил его за деревянный сундук, стоявший у самого окна.

— Мадам! — громким голосом взывал Тулан.— Я боюсь, что ваша милость не изволили заметить мой поклон!

Королева медленно подняла голову и обратила свой взор на человека, в самой почтительной позе стоявшего на пороге.

— Я заметила его,— холодно сказала она.— Пиши дальше, сын мой!

И она продолжала диктовку.

— Я так счастлив, что вы удостоили меня решающего вето,— сказал Тулан, вынимая из кармана сигару,— что должен в знак радости возжечь торжественный огонь! Видите,

друзья, какой я тонкий придворный, хотя имею честь быть санкюлотом: в присутствии прекрасных дам я курю только сигары. Эй, граждане, дайте-ка огонька!

Один из чиновников молча протянул ему конец своей трубки; Тулан закурил и, снова поместившись на пороге, стал пускать в комнату королевы густые клубы дыма. Дамы продолжали сидеть совершенно спокойно, не обращая на него внимания. Королева продолжала диктовать, дофин писал. Только королева время от времени останавливалась, потому что дым заставлял ее кашлять и ел ей глаза. Тулан с улыбкой следил за всеми ее движениями.

— А вы, кажется, не находите большого удовольствия в пламени моего факела? — спросил он. — Вы сами не изволите курить?

Королева не ответила.

— Мне очень хотелось бы выкурить с вами трубку мира, как говорят наши темнокожие братья в прекрасной, свободной Америке, — с громким смехом воскликнул Тулан. — Прошу вас, окажите мне честь выкурить со мною трубку!

В глазах королевы сверкнула молния.

— Вы бессовестный! — сказала она.

— Послушай, брат! — воскликнул Симон. — Я нахожу, что это — оскорбление!

— Напротив, я просто восхищен! — возразил Тулан. — И вы сами увидите, как будет забавно, когда она будет курить, а я вам ручаюсь, что она будет!

Он сделал несколько шагов к королеве и снова поклонился.

— Он так хорошо подражает придворным манерам, словно сам принадлежал к придворной дряни, — захохотал Симон. — Превеселая шутка!

При входе Тулана в комнату обе принцессы встали и сложили свою работу. При этом моток шерсти скатился на пол и покатился к тому месту, где стоял Тулан. Он поднял его и, низко поклонившись принцессам, сказал:

— Смею ли я счесть этот маленький шар земной знаком внимания со стороны прелестных гражданок Франции? О, да! Вижу это по вашим плутовским глазкам! Благодарю! — и, прижав клубок к своим губам, он спрятал его в грудной карман.

— Он так чудно играет, словно в театре марионеток! — снова захохотал Симон.

— Ступайте в спальню, — сказала Мария Антуанетта, обращаясь к принцессам, — довольно, если я одна буду слышать эти низости. Ступай, сын мой, проводи свою тетку!

Дофин встал, поцеловал матери руку и вышел вслед за принцессами.

— Милая тетя, — прошептал он, — этот злой человек и есть тот самый добрый друг, который...

— Молчи! — прервала его принцесса Елизавета. — Тизон подслушивает нас!

В самом деле, сквозь стеклянную дверь, отделявшую спальню от узкого коридора, виднелась фигура Тизон, которая пытливым взором заглядывала в комнату.

Когда принцессы вышли из комнаты, Тулан еще ближе подошел к королеве и, протянув ей вынутую из кармана сигару, воскликнул:

— Берите же и сделайте мне честь составить со мной дуэт!

— Я не курю, — холодно и спокойно ответила королева, — прошу вас выйти в ту комнату. Конвент, я полагаю, не приказывал муниципальным чиновникам сторожить меня в моей комнате.

— Не приказывал, но и не запрещал, — возразил Тулан, — поэтому я остаюсь! — Он взял стул, уселся посреди комнаты и стал пускать огромные клубы дыма, приводившие в восторг Симона и заставлявшие кашлять Марию Антуанетту. — Госпожа Капет, вы были бы менее чувствительны к табачному дыму, если бы сами курили. Прошу вас, возьмите эту сигару!

— Я не курю, — спокойно повторила королева.

— Вы ошибаетесь, вы курите!

— Вот забавник-то! — рассмеялся Симон.

— Я сейчас докажу, что вы курите, — продолжал Тулан. — Если вы сделаете мне честь выкурить со мной дуэт, то даю вам слово республиканца и санкюлота, что ни я, ни мои товарищи никогда не будем здесь курить.

— Я не верю вам, — ответила королева, качая головой.

— Не верите? Но, может быть, поверите, если это вам повторит гражданин Симон?

— Да, — сказала королева, поднимая на Симона взор своих больших печальных глаз, — если гражданин Симон подтвердит это, я поверю, потому что он — надежный человек и, как я думаю, никогда не нарушит данного слова.

— Смотрите-ка, как австриячка хорошо знает нашего славного, честного Симона! — воскликнул Лепитр.

— И то правда! — сказал Симон, который против воли почувствовал себя польщенным, — ну, я даю вдове Капет слово республиканца и санкюлота, что в первой комнате никогда не будут курить, если вдова Капет сейчас же сделает моему другу, гражданину Тулану, удовольствие и выкурит с ним трубку мира.

— Я верю вам,— сказала королева, слегка наклонив голову, а затем прибавила, обращаясь к Тулану: — Господин...

— Здесь нет никаких господ, здесь только граждане,— перебил Симон.

— Гражданин Тулан,— поправила королева,— дайте мне сигару: теперь я сама вижу, что ошиблась, что я курю.

Симон громко вскрикнул от удовольствия, находя шутку «божественной», и страшно хохотал, пока Тулан, совсем как в театре марионеток, где представляют тиранов, встал на колени и поднес королеве сигару. Он не видел умоляющего взгляда, который Тулан устремил на Марию Антуанетту, не видел слез, стоявших в его глазах, не слышал ее шепота:

— Благодарю верного друга!

— Достаточно, если я только возьму ее в рот? — громко спросила королева.— Или надо ее зажечь?

— Конечно, она должна быть закурена! — закричал Симон.— Закури же ей сигару, брат Тулан!

Тулан вынул из кармана кусок бумаги, свернул его в трубочку, зажег и подал королеве; когда сигара закурилась, он потушил бумажку и небрежно бросил ее на стол. Королева взяла в рот дымящуюся сигару.

— Браво, браво! — закричали муниципальные чиновники и Симон.— Браво! Что за хитрая bestия этот гражданин Тулан! Выучил курить вдову Капет!

— Ведь я сказал, что хочу этого,— гордо сказал Тулан,— и вдова Капет должна была подчиниться нашему желанию. Этого довольно,— продолжал он, обращаясь к королеве,— вы можете не продолжать! Вы чувствуете нашу власть, и этого достаточно. Не правда ли, Симон? Она может больше не курить, и мы также не будем больше курить?

— Да, она может перестать, и в этой комнате никто больше курить также не будет.

Королева потушила сигару и, положив ее в свою рабочую корзинку, сказала:

— Гражданин Тулан, я спрячу ее на память и, если вы вздумаете курить в первой комнате, покажу вам ее.

— Кажется, австриячка сомневается в слове честного санкюлота? — закричал Симон.

— Все равно,— перебил Тулан, выходя в первую комнату,— мы выучим ее полагаться на наше слово. Ты видишь, какой я хороший учитель.

— Великолепный! С чем тебя и поздравляю, гражданин! А теперь, если ты не прочь, мы сыграем с этими гражданами в карты!

— Сыграем! — ответил Тулан. — Надеюсь, у вас новые карты, на которых нет ни королей, ни королев? Должен предупредить вас, что такими картами я не играю!

— И я также, — подхватил Лепитр, — во мне поднимается вся желчь, когда я вижу эти глупые головы, украшенные коронами.

— Вот это так республиканцы! — восторженно воскликнул Симон.

— Успокойтесь, братья, — сказал один из чиновников, — у нас самые настоящие республиканские карты: смотрите, вместо короля у нас санжюлот; вместо королевы и валета — вязальщица и швейцарские солдаты, слуги старой королевской власти.

— Ну, ладно, давайте же играть! — весело заключил Тулан.

Все уселись вокруг стола, между тем как королева спокойно села на прежнее место и занялась работой, которой прежде занимались принцессы. Дошив нитку, она взглянула на игравших в карты и сказала голосом, в котором чувствовалась легкая дрожь:

— Гражданин Тулан, прошу вас возвратить мне клубок шелка: у меня нет больше нитки, а мое платье требует починки.

Тулан оглянулся с жестом неудовольствия.

— Вы мешаете мне! Я и без того проигрываю! Что вы сказали?

— Я просила вас возвратить мне мой шелк, иначе я не могу продолжать работать.

— Ах, этот моток шелка, который мне подарили граждане Капет? Так вы не хотите оставить мне эту памятку от хорошеньких девушек?

— Мне нужно починить платье, — кротко ответила королева.

— Ну, уж так и быть, — вставая, проворчал Тулан. — Подождите, братья, я только отдам ей клубок.

— Стоит ли для этого вставать? — возразил Симон. — Ты можешь бросить его отсюда.

— Или покатыть, как кегельный шар, — прибавил Лепитр.

— Чудесная мысль! — воскликнул Тулан. — Ведь я очень хорошо играю в кегли. Ну, внимание! Мой шар должен прокатиться между ножками стола и удариться о ногу королевы.

* Торговки и мелкие лавочницы во время работы гильотины садились в первые ряды зрителей и занимались вязаньем, отмечая на своем рукоделье каждую голову, падавшую в стоявшую рядом с гильотиною корзину. Таким образом их чулки и другие вязаные предметы являлись страшным календарем совершенных казней. За это занятие, спокойно производившееся в виду кровавого зрелища, рыночных торговок прозвали вязальщицами.

— Королевы больше нет! — гневно возразил Лепитр.

— Да ведь я говорю о кегельной королеве, гражданин Лепитр! Сделай одолжение, не будь таким ослом! Так смотрите же: бью как раз посреди четырех ножек стола и даже брошу шар, не вставая с места.

— Ну, это мы еще посмотрим! — усомнился Симон.

Тулан вынул из грудного кармана большой моток черного шелка и, сосчитав: «Раз, два, три!» — ловко пустил его по полу. Странный шар попал именно туда, куда предназначал его Тулан.

— Bravo, bravo! — со смехом закричали присутствовавшие, когда импровизированный шар ударился о ногу королевы, которая тихо нагнулась и подняла его.

— Тулан — молодчина! — закричал Симон, с торжеством ударяя кулаком по столу. — Только не знаю, право... клубок показался мне гораздо больше, чем прежде.

— Весьма возможно, — напыщенно ответил Тулан, — так как все, что истинный республиканец и санкюлот прижимает к сердцу, — растет и возвеличивается!

— Хорошо сказано! — заметил Лепитр. — Но послушайте-ка, что я вам скажу: без трубки скверно играть в карты!

— Ах, да! — со вздохом подтвердил Тулан.

— Всем нам это тяжело, — сказали и остальные.

— Но мы должны сдержать данное слово, — воскликнул Симон, — не то вдова Капет подумает, что санкюлоты не лучше аристократов.

— Да, слово мы должны сдержать, — сказал Лепитр, — поэтому я и хотел сделать вам вот какое предложение: выйдемте из комнаты и расположимся за дверью. Стол мы можем приставить к дверям так, что уж никто мимо не проскользнет. Как ты думаешь, брат Симон?

— Я скажу, что это очень хорошая мысль, — ответил сапожник, — и мы сейчас же приведем ее в исполнение. Давайте вынесем стол, товарищи! Когда собаки сторожат снаружи, барсук не может вылезть из норы. Пойдемте! Так будет гораздо приятнее играть, притом мы не будем иметь чести ежеминутно созерцать вдову Капет. Мы очень довольны, когда можем не видеть ее; надеюсь, скоро наступит конец этой несносной службе, и вдова Капет отправится туда, куда уже отправился ее Людовик.

— Или, — со смехом подхватил Тулан, — она обратится в орла и вылетит в окно! Ну, пойдем, однако! Я стремлюсь к своей трубке; тащите стол!

Симон растворил двери, чиновники подняли стол; Тулан и Лепитр взяли скамейки, на которых все сидели вокруг стола, чтобы также вынести их. Бросив быстрый взгляд в комна-

ту королевы, которая смотрела на них, Лепитр быстро и незаметно указал глазами на сундук у окна, а Тулан шепнул: «Завтра!» Затем оба вышли, унося с собой скамейки, и заперли двери.

Королева прислушивалась, затаив дыхание. Она услышала, как стол ударился о стену, как двигали скамейками и стульями, и как Симон сказал:

— Вот так, теперь наша дверь заперта огромным деревянным замком; теперь можно и покурить, и поиграть!

Королева вскочила и прошептала:

— Боже, благослови моего преданного друга, благослови его, Боже!

Потом она торопливо вышла из комнаты в переднюю, засунула руку в сундук и вытащила оттуда узелок, спрятанный Лепитром. Испуганно оглянувшись на дверь, она снова скользнула в свою комнату и развернула пакет. В нем были грязный костюм для мальчика, старый парик и поношенная фетровая шляпа. Королева внимательно рассмотрела эти вещи, потом, окинув всю комнату пытливым взглядом, подошла к дивану, отвернула разорванную уже обивку, засунула туда вещи и снова тщательно разгладила обивку. Сделав это, она бросилась было к двери в спальню, но опомнилась и остановилась: ее лицо было слишком взволнованно, ее голос мог выдать ее; Тизон, наверное, шпионила за стеклянной дверью, и это бросилось бы ей в глаза. Придав своему лицу обычное мрачное выражение, Мария Антуанетта медленно отворила дверь и тихо вошла в спальню. Ее большие глаза, давно утратившие блеск, благодаря потокам пролитых ею слез, медленно оглядели комнату, на одно мгновение остановились на стеклянной двери, заметили подглядывавшую Тизон, потом обратились к принцессам, сидевшим вместе с дофином на маленьком углом диване.

— Мама! — воскликнул дофин. — Ушли эти злые люди?

— Не называй их так, дитя! — кротко возразила Мария Антуанетта. — Эти люди только исполняют то, что им приказывают.

— Ну, так злы те, которые им приказывают, — с живостью возразил мальчик, — о, да, они очень злы, потому что заставляют мою маму-королеву так много плакать!

— Я не из-за них плачу, дитя мое. Я плачу потому, что твой милый отец уже не с нами. Думай больше о своем отце, мой мальчик, и никогда не забывай, что он приказал нам всегда прощать нашим врагам.

— Сестрица, — сказала королева после некоторого молчания, — я хочу просить тебя помочь мне в моей работе; ты

умеешь чинить, и мне надо поучиться этому у тебя. Пойдем, пожалуйста, и помоги мне!

— И мы с вами, мама? — спросил дофин. — Или нам можно остаться здесь? Тереза обещала мне рассказать интересную историю, если я верно сделаю задачу, а я ее сделал верно.

— Ну, так она может рассказать тебе теперь эту историю. Дверь мы оставим отворенной, чтобы видеть вас: ведь вы знаете, дети, что для нас с теткой вы — единственное утешение. Пойдем, сестрица!

В сопровождении принцессы Елизаветы она медленно вышла из спальни в первую комнату.

— Боже мой, что это? — с изумлением спросила принцесса, заметив, что передняя пуста. — Никого нет и наружная дверь заперта?

— Это все он, сестра, все наш благородный и верный друг, Тулан! Он разыграл здесь целую комедию, чтобы удалить этих людей и заставить их дать слово, что в передней никто не будет больше курить. Ах, я никогда не буду в состоянии отплатить ему за все, что он делает для нас, жертвуя своей безопасностью и даже жизнью!

— Мы будем день и ночь молить за него Бога, — сказала набожная принцесса. — Но скажи же мне, сестра, наш моток так и остался у Тулана?

— Да, сестрица, и ему удалось передать мне другой моток. Вот он! Сегодня ночью, когда наши сторожа заснут, мы размотаем его и посмотрим, что в нем находится. Но тут есть еще другие важные предметы, которые надо будет рассмотреть: вот эта обгорелая бумажка, потом сигара. Посмотрим, не подслушивают ли нас. — Она подошла к порогу соседней комнаты и тихо сказала: — Дети, вы слышите меня? Кивните головой, если слышите... Хорошо, если войдет Тизон, начните громко говорить и назовите ее по имени, чтобы мы услышали. Ну, сестрица, — сказала она, снова подходя к столу, — посмотрим, что прислал нам Тулан. Начнем с бумажки! — Она развернула обгоревшую с одного конца бумажку. — Письмо от де Жаржэ, — сказала она и потом прочла торопливо и тихим голосом: «Я говорил с благородным человеком, передавшим мне Ваше письмо. Он сообщил мне свой план, который я вполне одобряю. Я готов исполнить все, чего бы от меня ни потребовали, ради тех, кому принадлежат мое имущество, моя кровь, моя жизнь и кто не должен сомневаться в моей верности. Наш «неизменный» все принесет и обо всем сговорится завтра. Ж». Теперь примемся за сигару, — сказала королева, вынимая ее из рабочей корзинки.

— Прежде разорвем бумажку, — предостерегла ее принцесса.

— Нет, нет! Тизон найдет обрывки и начнет подозревать нас. Я спрячу бумагу в карман, а, когда вечером принесут свечи, незаметно сожгу ее. Скорее разверни сигару!

— Она из бумаги,— сказала принцесса.

— Да, и посмотри, тут написано: «Развертывать осторожно!»

Мария Антуанетта с величайшей осторожностью развернула тонкий листок. Под ним находился второй, мелко испи-санный лист. Королева медленно развернула его.

— Что это? — нетерпеливо спросила принцесса.

— Посмотри, что тут написано,— с бледной улыбкой ответила Мария Антуанетта: — «План бегства королевской семьи! Выучить наизусть и сжечь». О, сестрица, неужели ты думаешь, что для нас еще возможно бегство?

В эту минуту со двора донесся громкий голос Симона, который распевал:

Мадам поднялася на башню свою,
Не зная, когда с ней простится...

Королева вздрогнула, а принцесса сложила руки для тихой молитвы.

— Слышишь, сестрица? — сказала Мария Антуанетта.— Ужасный санкюлот отвечает на вопрос королевы! Все равно! Мы должны, пока в нас есть капля жизни, стараться спасти короля Людовика Семнадцатого. Прочтем план!

XXII

План бегства

Королева и принцесса еще раз послушали у входных дверей, и так как Симон начал новую строфу, то они решились осторожно развернуть тонкую бумагу и разложить ее на столе.

— Прочти мне вслух, сестрица,— сказала королева,— мои глаза очень плохо видят и болят от чтения; притом слова легче запоминаются, если их слышать, а не читать самой. Читай, пожалуйста!

«План бегства. Королева и принцесса должны надеть мужское платье; необходимые вещи Т. и Л. уже передали дамам. Кроме этих предметов, скрытых в матрасах и подушках диванов, королеве сегодня будут переданы грязный, рваный костюм для мальчика, парик и запачканные детские башмаки. Это предназначается для дофина и для

принцессы Терезы. Эти вещи — точный снимок с одежды двоих детей фонарщика, приходящего ежедневно зажигать фонари в Тампле, причем дети помогают ему. Завтра вечером, в шесть часов, королевские дети должны переодеться в присланные платья, чтобы сыграть роль детей фонарщика. Затем они должны ждать сигнала в маленькой башенке, рядом с комнатой королевы, так как Тизон и его жена в эту башню никогда не заглядывают. Т. и Л. устроят так, чтобы завтра снова дежурить в Тампле. В половине седьмого Т. угостит Тизона и его жену нюхательным табаком, до которого они страстные охотники. Так как вместо табака в табакерке будет опиум, то тюремщик и его жена заснут и будут беспросыпно спать не менее семи часов; в этот промежуток времени должно состояться бегство».

— Подожди минутку, сестрица, — прошептала королева, — у меня помутилось в глазах, а сердце бьется так сильно, словно мы уже собрались бежать. Мои глаза ослеплены блеском надежды, мелькнувшей внезапно посреди мрака вечно окружающей нас ужасной ночи... О, сестра! Неужели это возможно, неужели мы можем освободиться из этого места мучений?

— Освободиться-то мы, наверное, освободимся, дорогая сестра, — кротко ответила принцесса, — но на то Господня воля, допустит ли Он нас освободить, и наше тело или только душу. Если бегство не удастся, нас убьют, и тогда наши души освободятся от страданий и соединятся с Богом. О, моя королева и сестра, будем молиться, чтобы Господь послал нам мужество и твердость надеяться на Него и исполнять лишь Его волю!

— Да, сестрица, помолимся! — прошептала королева, наклоняя голову.

После короткого молчания, прерываемого только громким смехом Симона и его товарищей, доносившимся извне, королева оправилась от минутной слабости и приняла обычный ей спокойный и строгий вид. А принцесса прочла дальше:

«Как только Тизон и его жена погрузятся в сон, королева и принцесса должны также переодеться. Плащи прибавят им роста. Следует стараться, чтобы трехцветные шарфы, принесенные Т. вместе с пропускными билетами на имя комиссаров, были несколько видны из-под плащей. В таких костюмах дамы должны пройти мимо часовых, показав им мимоходом билеты и разговаривая в то же время с Л., выйти из Тампля и направиться в улицу Конде и, где их будет ожидать Ж., который проводит их далее».

— Но как же дети? — прошептала королева. — Уж не думают ли, что я оставлю это проклятое место без детей?

— Слушай дальше, сестра! «В семь часов, как только сме-
нятся часовые, явится человек, одетый фонарщиком, будет
стучаться в ворота и требовать, чтобы выпустили его детей,
которые сегодня зажигали фонари вместо него. Тогда Т. вы-
ведет к нему переодетых королевских детей, причем будет
бранить фонарщика, что он поручает свою работу детям, а не
исполняет ее сам. Вот план, вполне возможный и допусти-
мый, если только все условия будут точно исполнены. Пока
дело откроется, у беглецов будет уже, по крайней мере, семь
часов впереди, и королевское семейство, с паспортами, при-
готовленными Ж., будет уже далеко, на пути в Нормандию;
в Дьеште беглецов Ж. и Т. ждет корабль, нанятый у одного
друга-англичанина, и тогда»...

— Добрый день, мадам Тизон! — раздался в соседней ком-
нате громкий голос дофина.— Добрый день, дорогая мадам
Тизон!

Принцесса поспешно спрятала бумагу у себя на груди, а
Мария Антуанетта едва успела сунуть в карман моток шелка,
как Тизон уже появилась на пороге, осматриваясь своими
рысьими глазами, которые затем пытливо устремились на обе-
их женщин. Она заметила, что лицо королевы не выражало
обычного спокойствия, а на щеках принцессы выступил не
свойственный ей румянец.

«Что-то не ладно, они что-то задумывают! — мелькнуло в
голове шпионки.— И что это значит, что комиссаров нет в
передней, так что эти женщины могут выдумывать здесь без
всякого надзора свои плутни?»

— Вы читали? — спросила она, внимательно осматривая
каждую вещь, стоявшую на столе около дам.— Да, вы читали:
я слышала шелест бумаги, а между тем не вижу ни одной
книги.

— Вы ошиблись,— возразила принцесса, в то время как
Мария Антуанетта не поднимала взора от работы.— Мы не
читали, а шили. Но если бы мы даже и читали, то разве
это преступление? Разве издали новый закон, запрещаю-
щий чтение?

— Нет,— ответила Тизон,— но я удивляюсь, что после
того, как слышишь шелест бумаги, не находишь ни одного
клочка. Ну, все равно! Вы имеете право читать, и делу ко-
нец! — И она ушла, еще раз пытливо оглядев все углы, как
ищейка.— Надо поглядеть, кто у нас сегодня дежурный,—
пробормотала она, выходя через боковую дверь в коридор,—
я не удивлюсь, если это окажутся Тулан и Лепитр... ну, да,
конечно, так и есть! — прибавила она, заглядывая в переднюю

через наружную дверь,— Тулан и Лепитр! Посмотрим, что скажет на это старуха Симон!

Она быстро проскользнула вниз по лестнице и через никогда не закрывавшуюся дверь вошла в квартиру привратника.

Мадам Симон, одна из самых ярых вязальщиц, только что вернулась с площади, и, сидя на плетеном стуле, усердно считала заметки на длинном бумажном чулке, который держала в руках.

— Ну, гражданка, сколько сегодня голов? — спросила Тизон.

Симон медленно покачала своей тяжелой головой, украшенной белым чепцом, и с мрачным неудовольствием ответила:

— Почти и считать не стоит! Машина плохо работает, а судьи становятся беспечны. Сегодня было только пять тележек, а в каждой всего по семи человек.

— Как? — вскрикнула Тизон.— Значит, всего-навсего тридцать пять голов?

— Да, только тридцать пять,— повторила Симон.— Я сейчас пересчитывала по своему чулку. И ради такой безделицы мы просидели шесть часов на сырости и на холоде?! Говорю вам, машина работает чересчур медленно. Судьям больше не доставляет радости произносить смертные приговоры, они становятся небрежны!

— Надо их подогреть,— со злобной улыбкой сказала Тизон,— ваш муж должен бы поговорить об этом со своим другом Маратом и сказать этому гражданину, что его лучшие приятельницы-вязальщицы и больше всего гражданка Симон недовольны и что, если так будет продолжаться, то женщины придут в ярость и потащат на гильотину всех мужчин. Поверь, гражданка, что это немножко встряхнет их, потому что вязальщиц они... уважают, а если они побаиваются черта, то еще больше боятся его бабушки, а мы, вязальщицы да торговки, конечно, можем считать черта внуком.

— Да, они боятся нас. Да так и должно быть,— сказала Симон, медленно принимаясь за свое вязанье,— я сама поговорю с Маратом и, поверьте, сумею поджечь его. Тогда мы увидим более забавные представления, и на площади появится большее количество тележек. Надо только глядеть в оба и доносить на всех подозрительных и преступников.

— Я всегда смотрю в оба,— с грубым смехом сказала Тизон,— и чую изменника даже прежде, чем он успеет что-нибудь сделать. Например, оба муниципальных чиновники, Тулан и Лепитр. Ты доверяешь им, гражданка?

— Нисколько не доверяю, да никогда и не верила, — с достоинством ответила Симон. — По нынешним временам никому не следует верить, особенно людям, старающимся почаще дежурить у австриячки; вроде истинный республиканец слишком презирует аристократов, чтобы находить приятность в обществе этой дряни; он избегает ее, между тем как Тулан сам лезет к ней. Знаешь ли, гражданка, сколько раз в последний месяц дежурили здесь Тулан и Лепитр? — Она вытащила грязную записную книжку из ридикюля, висевшего на черных шнурках на ее загорелых, волосатых руках, и стала ее перелистывать, после чего сказала: — Вот посмотри, гражданка Тизон, сегодня двадцатое февраля, а эти двое дежурили здесь уже восемь раз, то есть втрое чаще, чем следовало бы, потому что каждый из муниципальных чиновников, назначаемых на дежурство в Тампле, дежурит не больше раза в неделю. А мой муж так глуп и так слеп, что верит этому брехуну Тулану, будто тот стремится побольше и почаще быть в его обществе! Но я... я не дам себе зубы заговаривать, не дам пускать себе пыль в глаза, потому что смотрю в оба, гражданка, смотрю в оба, говорю тебе!

— Они сегодня даже не сидят в передней, — шепнула Тизон, — они сидят снаружи и закрыли двери, так что австриячка сидит себе одна и без присмотра целые часы!

— Одна?! — вскрикнула вязальщица и так брякнула одна о другую свои блестящие спицы, что они зазвенели на разные тона. — Гражданка, это не муж мой виноват, это его обошел Тулан, у которого на это должны были быть особые причины! Даже если бы это было только из сострадания к австриячке, так и этого довольно, чтобы объявить его подозрительным! Его надо выгнать отсюда! В Тамплъ нельзя допускать таких сострадательных гадин! Я исправлю его, я вымою его человеческой кровью!

Ее глаза блестели такой холодной жестокостью, такая злобная улыбка играла на ее тонких, бледных губах, что даже Тизон испугалась и почувствовала, точно холодный, ядовитый паук заползает ей в сердце.

— Они все еще сидят не в самой комнате? — спросила через несколько мгновений Симон.

— Да, гражданка, они сидят на площадке, а австриячка с ее отродьем все еще одна и без присмотра, и так будет, наверное, еще целых два часа, потому что до смены остаются как раз два часа.

— Да, да, это правда, — прошипела вязальщица, раздувая ноздри, подобно гиене, почуявшей добычу и кровь. — Они будут сидеть там еще два часа, играть в карты, петь глупые

песни, улещать моего глупого мужа и уверять его, что они очень любят его и ради него сидят в Тампле! О, если бы они попали ко мне, я задушила бы их собственными руками! Я из каждой спицы сделала бы кинжал и вонзила бы его каждому из них в сердце! Но постой, постой, все должно идти законным порядком! Пожалуйста, гражданка, займи на полчаса мое место и посторожи дверь: мне надо отлучиться по очень, очень важному делу!

— Для меня большая честь быть заместительницей такой известной и уважаемой гражданки, про которую всякий знает, что она — надежнейшая патриотка и самая мужественная вязальщица, которая бровью не моргнет и спокойно считает свои петли, когда головы валяются в корзину!

— Если бы я дрожала при этом, то сама себя удавила бы, — сказала Симон жестким, суровым голосом, вставая и накидывая плащ. — Если бы я заметила в своем сердце хоть искру сострадания, я до тех пор поливала бы ее кровью аристократов, пока она не загасла бы навсегда, а до этого момента я сама себя презирала бы и ненавидела, потому что в таком случае была бы не только дурной патриоткой, но и дурной дочерью своего несчастного отца. Проклятые аристократы не только замучили всю страну и весь народ, — они также убили моего дорогого отца! Да, гражданка, убили! Они объявили, что он — изменник, и знаешь, за что? За то, что он громко рассказывал грязные истории про австриячку, которая тогда была еще королевой и про которую тогда другие осмеливались говорить только шепотом! За то, что он сказал, что король — тряпка, которой вертит королева! И это они называли государственной изменой, и за это расстреляли моего отца, моего доброго, храброго отца! Благодарю судьбу, что эти времена прошли, и всячески буду стараться, чтобы они не возвратились! А для этого надо быть настороже, надо следить, чтобы не уцелел ни один аристократ, ни один роялист. Все они должны погибнуть на гильотине, все! Ну, гражданка, садись на мой стул и возьми мое вязанье. Ах, если бы оно могло говорить тебе то же, что говорит мне, если бы могло рассказывать тебе, какие мы с ним вместе видели головы: знатные, прекрасные, молодые, старые! Это позабавило бы тебя, гражданка, и ты не могла бы не посмеяться! Ну, прощай! Сторожи хорошенько! Я скоро вернусь!

Да, Симон очень скоро вернулась с торжествующим видом и горящими глазами, подобно кошке, которая уже держит мышку в бархатной лапке и от времени до времени запускает в нее когти. Взяв от Тизон свое вязанье, она предоставила ей теперь вернуться наверх, на ее обычный пост.

— И если можете, — сказала она, прощаясь, — то помучьте чем-нибудь австриячку! Заставьте ее немножко поплатиться за то, что она столько часов провела без всякого присмотра. Народ воздаст вам за ваши старания. Так посерди же ее хорошенько, гражданка, посерди австриячку!

— Это очень трудно, — со вздохом ответила Тизон, — потому что она с некоторых пор стала очень равнодушна и холодна. С тех пор, как Людовика Капета нет более на свете, его вдова очень переменялась: ее точно ничем уж нельзя рассердить или обидеть.

— Какие вы все мягкие и слабые создания! — сказала Симон, пожимая плечами. — Видно, что вас смолodu кормили молоком, меня же моя мать кормила только ненавистью. Мне было только десять лет, когда расстреляли моего отца, и с той поры не проходило дня, чтобы мать не напомнила мне, что мы должны отмстить за него всему королевскому отродью. Я должна была поклясться ей в этом. Гнев и ненависть против аристократов были моей ежедневной пищей, я жила ими. Посмотрите, что сделала из меня такая ненависть, такая жажда мщения! Посмотрите же на меня! Мне еще нет двадцати четырех лет, а я кажусь старухой. Ничто больше не трогает меня, и единственное, что живет в моем сердце, что сжигает его, — это месть! Поверь, гражданка, если бы я была на твоём месте, я знала бы, чем рассердить австриячку, и мне, наверное, удалось бы выжать из нее слезы.

— Хотела бы я знать, гражданка, как ты заставила бы такую гордую женщину плакать!

— Да разве у нее нет детей? — с жестокой невозмутимостью спросила Симон. — Я сердила бы и мучила бы детей; это смирило бы и размягчило бы эту женщину. О, она может радоваться, что я не на твоём месте и что ее дети не в моих руках! Но если это когда-нибудь случится, то я так прижму ребят, что они у меня взвоют, и их мать будет визжать и вопить о милосердии. Но милосердия у меня будет так же мало, как у тех, кого моя мать умоляла не убивать моего отца. Ну, ступай наверх, гражданка, и попытайся помучить детей: ты увидишь, что австриячка сразу делается уступчивой и мягкой, как воск.

— Ей хорошо говорить! — ворчала Тизон, взбираясь наверх по наружной лестнице. — У нее нет своих детей! Но у меня-то есть дочурка, славная, милая девочка, и живет у бабушки, в Нормандии. Для нее лучше пережить это кровавое, горестное время в другом месте. И, когда эти дети смотрят на меня своими большими, серьезными глазами, я не могу не думать о своей Соланж: у нее точно такие же большие, невин-

ные глаза. Это перевертывает мне сердце, и я не могу дурно обращаться с детьми австриячки. Да ведь они и не виноваты, что у них были такие скверные родители, которые так мучили народ и сделали его таким несчастным. Нет, детей я не могу обижать, потому что не могу не думать о своей маленькой Соланж. Австриячке я буду делать всякие неприятности, а детям — нет, не могу!

А гражданка Симон сидела на своем плетеном стуле, у раскрытой двери помещения привратника, с холодным, неподвижным лицом и смотрела в пространство большими черными как уголь пламенными глазами, между тем как ее руки деятельно двигались и блестящие спицы звенели одна о другую.

Наконец ее муж с остальными дежурными спустился по лестнице, чтобы отворить ворота Тампля, проводить друзей через внутренний двор и встретить новую смену дежурных, назначенных на ночь. Все они прошли мимо вязальщицы с вежливым поклоном и веселыми шутками; один Тулан остановился и отвесил гордой гражданке почтительный поклон; потом он заговорил с ней и сказал ей несколько комплиментов по поводу ее мужества и непоколебимого характера.

Она спокойно выслушала его, не прерывая, потом медленно подняла на него свой взор и холодно сказала:

— Ты изменник, да, изменник, и ты должен быть гильотинирован.

Тулан слегка побледнел, но тотчас овладел собой, протерся, не переставая улыбаться, и поспешил за своими товарищами, которые уже ждали его у открытых ворот; ночные дежурные уже прошли. Симон запер ворота и отправился в свое помещение, к ожидавшей его супруге.

— Приятный был сегодня вечер, — сказал он, — я жалею, что он уже прошел, потому что ужасно забавлялся сегодня! Мы играли в карты, пели, курили; Тулан рассказывал разные истории, выдумывал шутки. Было страшно весело! Я только удивился, откуда он берет все эти истории! Когда он уходит, мне становится скучно и пусто. Утешаюсь лишь тем, что завтра опять настанет день.

— Что ты хочешь сказать? — строго спросила его жена. — Какой день настанет завтра?

— Приятный день, милая Мария, потому что гражданин Тулан опять будет дежурить, пока он не обещал мне поменяться с гражданином Пельтаном, очередь которого как раз завтра. Он болен, ему будет очень тяжело высидеть здесь целый день, и он будет ворчать и надоедать. Мне гораздо приятнее снова видеть Тулана с его рассказами, которые ни-

когда не устанешь слушать. Он согласился сделать мне удовольствие и придет вместо Пельтана.

Симон не возразила ни слова, но разразилась пронзительным, насмешливым хохотом.

— Чего ты смеешься? — сердито проворчал он. — Можно просто испугаться, когда слышишь такой смех. Чего ты смеешься?

— Потому что восхищаюсь тобой, Жак, — язвительно ответила она, — потому что ты собираешься разыграть страшного дурака и осла, который позволяет втирать себе очки и заговаривать себе зубы сладкими речами.

— Слушай! — в бешенстве закричал Симон. — Без грубостей! Если ты...

— Молчи! — повелительно прервала Мария. — Я сейчас докажу тебе, что сказала сущую правду, что ты готов свалить дурака или, по крайней мере, они хотят заставить тебя сделать это. Слушай!

Отложив в сторону вязанье, она вступила со своим достойным супругом в тихое совещание, происходившее шепотом. Когда они кончили, сапожник встал и с мрачным видом и опущенной головой медленно прошелся по комнате. Потом он остановился и, погрозив вверх сжатым кулаком, крикнул:

— Она мне заплатит за это! Клянусь небом, заплатит! Негодная соблазнительница! Даже в тюрьме не может перестать кокетничать и строить глазки, чтобы кружить мужчинам головы! Это постыдно, подло! Она поплатится за это мне! Я уж найду способ отомстить ей!

В этот вечер Тизон ни на минуту не покидала своего места за стеклянной дверью, и всякий раз, когда королева украдкой поднимала взор, последний встречался с злобным взглядом шпионки. Наконец пришел час отдохновения, час, когда можно было лечь в постель; наступила ночь, которая теперь была единственной светлой точкой в жизни королевы. Ночью она была, по крайней мере, одна, за ней не наблюдали.

Со смерти короля считалось излишним затруднять муниципальных чиновников ночным дежурством в помещении королевы, поэтому с наступлением темноты, когда зажигались огни, три двери, соединявшие ее комнаты с другими помещениями, запирались на замок. Если Марии Антуанетте хотелось ночью плакать, жаловаться или разговаривать с золовкой, или ходить по своим комнатам, — Республика ничего не имела против этого: она милостиво предоставляла королеве несколько часов свободы и одиночества.

Но в эту ночь мысли Марии Антуанетты обращались не к печальному прошлому, а к будущему, которое в первый раз

после долгого-долгого времени озарило ее светлым лучом надежды.

— Бежать, стать свободной! — шептала она, и слабая тень улыбки осветила ее лицо. — Веришь ты этому, сестрица, считаешь ли это возможным?

— Хотела бы верить, — со вздохом прошептала принцесса, — но что-то в моей душе заставляет меня вспоминать Варенн, и я могу только молить Бога, чтобы Он послал нам силы одинаково мужественно перенести и хорошее, и дурное. Прежде всего мы должны сохранить хладнокровие и твердость и приготовиться и к хорошему, и к дурному.

— Да, ты права. Когда перенесешь столько ужасов, начинать снова надеяться еще тяжелее, чем приготовляться к новым страданиям. Я постараюсь заставить себя быть спокойной; я перечту план бегства, выучу его слово в слово, чтобы было можно сжечь опасную бумажку.

— А я пока размотаю клубок, который дал нам Тулан. В нем, наверное, что-нибудь важное, — сказала принцесса.

— Какое у него великодушное, благородное сердце! — прошептала королева. — Какой мужественный характер! Его верность непоколебима, мужество неисчерпаемо. Сколько раз просила я его взять от меня чек, по которому он мог бы получить от Жаржэ деньги, сколько раз просила высказать какое-нибудь желание, — он непоколебим! Ничего не желает, ничего не требует! Ах, сестра, он лучший наш друг! «Если вы хотите сделать меня счастливым, — говорит он, — то смотрите на меня всегда, как на своего преданного, верного слугу и назовите меня так, как никого другого не называли: зовите меня «Верным». А если хотите подарить мне что-нибудь на память, то в знак особой милости дайте мне маленький золотой флакончик с английской солью, который я видел у вас в ужасный день, в ложе «Логографа». Я тотчас же отдала ему то, что он просил; он принял подарок, стоя на коленях, и, когда целовал мою руку, я чувствовала, как на нее упали его слезы. Ах, сестрица, никто из тех, кому в дни своего счастья я дарила бриллианты и крупные суммы денег, не выражал мне такой горячей благодарности, как Тулан, — нет, как Верный — за такой ничтожный подарок!

— Господь велик и милосерд, — сказала принцесса, усердно разматывавшая клубок. — Чтобы мы не потеряли веры в человечество, Он послал нам благородного, великодушного человека, верность, преданность и бескорыстие которого вознаграждают нас за наши печальные испытания. И это светлое явление должно побудить нас простить остальное, тяжелое. И в Писании сказано, что за одного праведника простится много грешников.

— Да, он праведник, да благословит его Господь! — прошептала королева.

Потом, взяв в руки листок, она начала повторять его содержание, и, пока повторяла его, слово за словом, ее бедное, разбитое сердце оживало новой надеждой, начинало сознавать возможность освобождения, начинало верить.

Между тем принцесса размотала весь клубок; в нем оказался маленький пакетик, завернутый в бумагу.

— Возьми, дорогая, — сказала принцесса, протягивая его королеве, — он адресован тебе.

Мария Антуанетта осторожно развернула его и с трудом подавила крик. Упав на колени, она прижала пакетик к губам.

— Что это, сестра? — спросила принцесса. — Чего требует Тулан?

— О, прочти, прочти! — прошептала королева, протягивая ей листок.

И принцесса прочла:

«Ваше величество желали получить те реликвии, которые его величество оставил вам. Это были обручальное кольцо его величества, его маленькая именная печать и волосы, которые его величество сам отрезал у себя. Эти предметы были взяты у Клэри, которому были вручены самим королем и опечатаны вместе с другими вещами в бывшей спальне короля. Мне удалось проникнуть в эту комнату, достать эти реликвии и заменить их другими, похожими предметами. Клянусь всем святым для меня, клянусь головой своей королевы, что эти предметы — именно те, которые мученик-король Людовик XVI отказал в завещании своей супруге. Я выкрал их для их законной владелицы и буду гордиться этим своим воровством даже пред Престолом Всевышнего».

— Смотри, — сказала королева, развертывая вещь за вещью, — вот его обручальное кольцо; на внутренней стороне вырезаны четыре буквы: «М. А. А. А. 19 апреля 1770 г.». День нашей свадьбы! Тогда этот день был праздником как для Франции, так и для Австрии! Тогда!.. Но, не буду теперь вспоминать об этом... Вот его печать — отшлифованный с двух сторон сердолик; на одной стороне французский герб, на другой — портрет нашего сына, дофина Франции, с шлемом на голове. О, мой сын, мое милое, любимое дитя, будет ли когда-нибудь на твоей головке другое украшение, кроме мученического венца? Пошлет ли тебе милосердный Господь счастье носить шлем воина и бороться за твои права и твой трон? Как радовался мой муж, когда я подарила ему эту печать в день его именин! И как часто потом его взоры с нежностью останавливались на этом портрете его сына... его на-

следника... А теперь? Ах, теперь! Король Людовик Шестнадцатый позорно умерщвлен, а тот, который должен был бы быть теперь французским королем, Людовиком Семнадцатым,—только бедный ребенок, томящийся в заключении. Король без короны, без будущего, без надежд!

— Нет, нет, Антуанетта,—прошептала принцесса, опустившись на колени рядом с королевой, которую нежно обняла,— не говори, что у твоего сына нет ни будущего, ни надежд! Надейся на Бога, надейся, что наше завтрашнее предприятие окончится счастливо для нас, что мы спасемся и уедем в Англию. И тогда, может быть, настанет день, когда сын моего дорогого брата, уже взрослым юношей, наденет шлем воина, опоясается мечом и снова завоюет трон своих предков, который и займет как Людовик Семнадцатый. Будем надеяться на это, сестрица!

— Да, будем надеяться! — прошептала королева, вытирая слезы.— А вот,— продолжала она, развертывая и третий сверточек — вот третья реликвия! — его волосы,— последнее, единственное воспоминание о короле-мученике, о несчастном муже несчастной жены, о несчастном короле несчастного народа! О, мой король, они положили на плаху твою бедную голову, на которой росли эти седые волосы, и топор, ужасный топор гильотины...

Королева вскочила с криком ужаса, заломила руки, и слово жалобы, слово проклятия, уже дрожало на ее губах; но принцесса бросилась ей на шею и прижалась к ее холодным, дрожащим от гнева губам горячим поцелуем.

— Ради Бога, говори тише! — прошептала она.— Если Тизон слышала твой громкий голос, твой крик,— мы погибли! Тише! Мне кажется, я слышу шаги... Прячь поскорее вещи! Скорее в постель! О, ради Бога, скорее!

Обе поспешно схватили вещи и бросились каждая на свою постель.

— Она идет! — шепнула принцесса.— Притворимся спящими!

Принцесса не ошиблась: стеклянная дверь из коридора в детскую медленно и беззвучно отворилась, и Тизон вошла с лампой в руках. Несколько мгновений она простояла у двери, прислушиваясь и оглядываясь, но все кругом было тихо. Только слышалось ровное дыхание спящих детей; в спальне королевы царила тишина.

— Однако я совершенно ясно слышала шум,— проворчала Тизон.— Я проснулась от громкого крика и, когда села в постели, то слышала громкий разговор.— Она тихо скользнула к детским кроваткам и направила свет лампы на лица спящих.—

Спят крепким сном,— прошептала она,— они не могли кричать и разговаривать. Заглянем в другую комнату.

Она вошла в следующую комнату; обе дамы неподвижно лежали в своих постелях, моля Бога, поддержать их мужество и твердость.

Тизон подошла к постели принцессы и направила яркое пламя лампы на ее лицо. Свет, видимо, разбудил принцессу.

— Что случилось? — воскликнула она.— Что такое, сестрица? Мария Антуанетта, где ты?

— Я здесь, я здесь, Елизавета! — ответила королева, вскакивая, точно после крепкого сна.— Зачем ты позвала меня и кто это здесь?

— Это я,— сердито сказала Тизон,— сейчас уж возня и шум! Это все от нечистой совести! У кого совесть нечиста, тот дрожит от малейшего шума.

— Наша совесть чиста,— кротко возразила принцесса,— но вы сами знаете, что легко испугаться, когда человека внезапно разбудят. У нас же притом есть основание надеяться, что нас будят, чтобы сообщить нам какое-нибудь счастливое известие.

— Счастливое известие? Для вас? — повторила Тизон со злобной усмешкой.— Что значит — печальное и несчастливое известие для Франции, для французского народа. Нет, слава Богу, я разбудила вас не за тем, чтобы сообщать вам радостные известия!

— Так скажите же нам, гражданка,— сказала королева,— для чего вы вообще разбудили нас и что хотите сообщить нам?

— Мне нечего вам сообщать! — проворчала Тизон.— И вы сами отлично знаете, я ли вас разбудила, или вы сами не спали и кричали, и разговаривали. Молчите! Незачем возражать мне! Ведь я знаю, вы будете лгать; только повторяю: мои глаза и уши сторожат, и я не позволю себя дурачить. Вы кричали и разговаривали, и, если это случится еще раз, то я сообщу об этом в комитет, и к вам опять поставят на ночь стражу. Тогда другие, по крайней мере, будут иметь возможность спокойно спать по ночам,— не так, как теперь, с открытыми глазами, вроде зайцев!

— Но,— ласково возразила принцесса,— милая мадам...

— Молчите! — повелительным тоном перебила Тизон.— Я вам не «милая» и не «мадам»; я — гражданка Тизон! И избавьте меня от всяких откровений, так как откровенничанье таких особ, как вы, может довести человека до эшафота. Молчите!

Она обошла всю комнату, осматривая с лампой мебель, пол, все предметы на столе, заглядывая под стулья и дива-

ны. Потом, бросив последний грозный взгляд на обеих дам, она вышла в детскую, опять подошла к детским кроватям и остановилась около них, со странным выражением разглядывая детей.

— Как спокойно спят они! — прошептала она. — Даже не пошевелились с той минуты, как я смотрела на них... улыбаются во сне... Это значит, что они видят ангелов! Хотела бы я знать, как это ангелы проникают в старый, отвратительный Тамплъ и что сказала бы вязальщица Симон, если бы узнала, что по ночам ангелы проскальзывают сюда без ее позволения? Смотрите-ка, мальчик опять улыбается и протягивает ручонки, точно хочет удержать ангела... Ах, хотела бы я знать, такой ли крепкий и здоровый сон у моей милой маленькой Соланж и улыбается ли она во сне, и видит ли ангелов... Я хотела бы также знать, видит ли она когда-нибудь во сне своих родителей... видит ли во сне... свою бедную мать, которая так любит ее, так тоскует по ней!..

Слезы заглушили ее шепот, и она поспешно вышла из комнаты.

Королева и принцесса несколько времени прислушивались в глубоком молчании; затем, так как все оставалось тихо, они осторожно встали с постели и, едва смея обмениваться словами, принялись за приготовление к завтрашнему побегу. Вынув из разных потайных мест спрятанные вещи, они привели их в порядок и попробовали примерить. Знаменитый Брегель не мог бы изобразить более тяжелую картину, чем вид этих нежных, бледных истомленных женщин, занимавшихся среди ночи приготовлениями к маскараду, казавшемуся злой, душу раздирающей насмешкой, потому что они должны были изображать чиновников того самого правительства, которое отправило на эшафот короля и держало его семью в тюрьме безжалостной, железной рукой.

Королева и принцесса печально разглядывали друг друга; на обеих были костюмы муниципальных чиновников, поношенные, из грубой материи; трехцветные шарфы обвивали их талии; на головах красовались треуголки с перьями и с трехцветной кокардой. Ах, как звонко, как весело смеялась бы королева по поводу такого маскарада в давние, счастливые времена веселых праздников в Трианоне! Каким фантастичным показался бы тогда ее костюм. Трехцветная кокарда, трехцветный шарф! Что за фантазия! Во Франции царят лилии и будут царить всегда.

В мрачной комнате, едва освещаемой тусклым ночником, не слышно было смеха, потому что это был не маскарад, а страшная действительность, и, пока французская королева и

французская принцесса крови рассматривали одетые на них костюмы революционеров, горячие слезы ручьями текли из их глаз. Французские лилии отцвели и были вырваны с корнем, над Тюильрийским дворцом развевалось трехцветное знамя, а во дворце прежних властителей Тампля жила бледная, изнуренная женщина с поседевшими волосами и покрасневшими от слез глазами, с разбитым сердцем и согбенной фигурой. И эта грустная, бледная тень прошлого была Мария Антуанетта, бывшая королева Франции, признанная красавица, первая женщина в королевстве, а теперь — вдова казненного, которая и сама, может быть, стояла уже одной ногой в могиле.

«Нет, нет,— подумала она,— я спасусь! Господь послал мне спасителя, друга, и этот друг, этот преданный слуга и помощник в нужде уже все приготовил к моему бегству».

XXIII

Разлука

Тихо и лениво ползли часы следующего дня. Где же Тулан, почему его нет? Королева весь день ждала с лихорадочным страхом, прислушиваясь к малейшему шуму, к приближавшимся шагам, к голосу, раздававшемуся в коридоре.

Тулан хотел явиться в полдень, чтобы принять дежурство; в семь следовало приступить к исполнению так искусно и умно задуманного плана. Но часы на башне Тампля пробили уже четыре, а Тулана все еще не было, и комиссары, дежурившие ночью, все еще не были сменены. Они только отлучались в полдень на короткое время, оставив заключенных на попечение четы Симон, которая мучила и терзала королеву своими злобными и насмешливыми гримасами. Это заставило ее уйти в комнату детей, где принцесса занималась с ними со своим обычным спокойствием и кротостью. Королева думала найти здесь спасение и защиту, но у стеклянной двери сторожила гражданка Тизон, глядя на узницу с злобной насмешкой, и вязала длинный чулок, вязала не переставая, так что только спицы звенели! И королева должна была молча переносить это мучение, казаться спокойной и равнодушной, чтобы не возбудить подозрений. Она даже изредка улыбалась дофину, который, детским инстинктом поняв волнение матери, старался развеселить ее веселой шуткой.

На башне пробило пять, а Тулана все не было. И тогда, по чувству безотрадного ужаса, охватившему ее душу, Ма-

рия Антуанетта поняла, сколько в ней было еще жизненного мужества и насколько она надеялась на возможность спасения.

Оставался еще час надежды, последний час! Когда пробьет шесть, все будет кончено: двери тюрьмы останутся для нее закрытыми навсегда. Они откроются лишь для того, чтобы открыть Марии Антуанетте путь к эшафоту.

Тизон наконец ушла; комиссары также удалились из передней и заперли двери. Наконец-то никто не подслушивал и не подсматривал за королевой, и она могла, бросившись на колени, простереть руки к небу, без слов моля о милосердии, о спасении! Она могла прижать к сердцу своих детей и шепнуть им, чтобы они не удивлялись, если их переоденут в другое платье.

— Мама, — прошептал дофин, — разве мы опять поедем в Варенн?

Королева, потрясенная до глубины души, спрятала свое искаженное горем лицо на груди принцессы Елизаветы.

— О, сестрица, я умираю от страха! — шептала она. — Я предчувствую, что этот час решит судьбу, и мне уже чудится, что смерть простирает ко мне свою холодную руку. Мы погибли, и мой несчастный сын получит только мученический венец и...

Она умолкла, потому что в эту минуту часы начали медленно и торжественно бить шесть. Вот он, решающий час! Сейчас должен прийти ламповщик; если им окажется Тулан, они еще могут считать себя спасенными. Его мог задержать непредвиденный случай... Еще светил слабый луч надежды.

В коридоре раздались шаги, голоса... Королева, почти не дыша, прижав руки к сердцу, которое то останавливалось, то начинало бешено колотиться в ее груди, слушала и не сводила взора с дверей передней. Принцесса подошла к ней и нежно обняла ее. Дети, испуганные этим страхом взрослых, робко жались к матери и также смотрели на дверь.

Шаги и голоса становились громче, дверь наконец отворилась. Вот он наконец, ламповщик! Но это был не Тулан, а обыкновенный, настоящий ламповщик, и с ним были его дети. Глухой стон вырвался из груди королевы; она судорожно жала дофина в своих объятиях, шепча:

— О, мой милый, милый сын, пусть Господь возьмет мою жизнь, лишь бы Он сохранил твою!

Где Тулан, где «Верный», храбрый, неутомимый?

Покидая утром этого дня свое жилище, он простился с Маргаритой, только в этот момент сказав ей, что идет на рискованное дело, что должен или спасти королеву и ее де-

тей, или умереть за нее. Его вечная, храбрая молодая жена поборолла свои слезы, чтобы благословить его на опасное дело, и сказала, что будет молиться за него и ждать его; что если он не вернется, погибнув за свою королеву, то его жена также умрет, чтобы соединиться с ним. Глубоко растроганный Тулан поцеловал большие, сияющие глаза своей Маргариты и сказал ей, что никогда не любил ее сильнее, чем в эту минуту, когда покидал ее и шел, может быть, на смерть ради другой женщины.

— В этот час разлуки,— с волнением сказал он,— я хочу отдать тебе самое дорогое, самое святое, что только имею: возьми этот золотой флакон; его дала мне королева; на клочке бумаги, который лежит внутри, она написала собственной рукой: «На память Верному!» Верный — это я; это почетное прозвище, которым моя королева наградила меня за то немалое, что я до сих пор мог для нее сделать. Золотой флакон я дарю тебе, как то, что после твоей любви для меня дороже всего на этом свете. После моей смерти отдай эту вещь нашему сыну, в день его совершеннолетия, и скажи ему, что я завещал ему ее в надежде, что он будет ее достоин, что будет жить и умереть, как истинный сын своего отечества и верно-подданный своего короля, которым, как надеюсь, будет сын Марии Антуанетты. Скажи ему, что его отец безгранично любил и его, и тебя, но что поклялся отдать свою жизнь служению королеве и исполнил свой долг радостно и охотно. Если мне удастся спасти королеву, то сегодня, в десять часов вечера, я забегу к тебе на минуту; если же всю ночь меня не будет... тогда... тогда, значит, меня нет в живых, и наш мальчик стал сиротой. Не плачь, Маргарита! Будь сильна, мужественна и покажи друзьям, соседям и шпионам веселое лицо. Следи за всем, прислушивайся ко всему! Держи дверь открытой, чтобы я всегда мог пробраться в дом! Держи также открытыми потайную дверь из моей комнаты на лестницу, дверь с лестницы в подвал и будь во всякую минуту готова встретить меня, спрятать или даже дать приют и другим.

— Буду ждать тебя день и ночь,— прошептала она,— буду ждать тебя всю жизнь.

— А теперь, Маргарита, дай поцеловать твои прекрасные, милые глаза, всегда сиявшие для меня любовью, всегда ободрявшие меня! Прощай, дорогая, и да благословит тебя Бог за всю твою любовь!

— Подожди еще, мой любимый, не уходи! Пойдем к колыбельке нашего малютки, поцелуй его на прощанье!

— Нет, Маргарита, это расстроит и смутит меня, а сегодня мне надо быть сильным и решительным. Прощай! Я иду в Тамплъ.

Прежде чем он успел завернуть за угол, ему встретился Лепитр, бледный и с расстроенным лицом.

— Слава Богу! — воскликнул он, задыхаясь. — Слава Богу, что я еще застал тебя! Мы должны бежать и сию минуту! Все открыто, и только немедленное бегство может спасти нас!

— Что открыто? — спросил Тулан. — Да говори же, что такое открыто?

— Ради Бога, не будем стоять на улице! Нас, вероятно, уже велено схватить! Войдем в этот дом, в нем есть выход на другую улицу. Слушай. на нас донесли, жена Симона донесла на нас, как на подозрительных, комитету общественной безопасности. Тизон сказала, что вдова и сестра Капета привлекли нас на свою сторону и через нас узнавали обо всем, что происходит. Фабрикант Арно тотчас же обвинил нас обоих в собрании городского совета и сказал, что, по словам гражданки Симон, мы разговариваем с заключенными в Тампле тихо и ласково и тем приводим Марию Антуанетту в радостное настроение. Поэтому совет вычеркнул наши имена из списка дежурящих в Тампле, а также из нового общинного комитета.

— И это все? — спокойно спросил Тулан. — Это — единственные дурные новости, которые ты можешь сообщить мне? Значит, план бегства королевской семьи не открыт? Но тогда против нас нет никаких положительных улик. Вся история заключается в доносе двух баб, ни на чем не основанном!

— Ради Бога, что ты говоришь? Нас объявили подозрительными и вычеркнули из комитета, разве этого мало? Разве не осуждают всех подозрительных поголовно, без исключения? Не смейся, Тулан, не качай головой! Поверь мне, мы погибнем, если сию минуту не скроемся из Парижа. Я на это твердо решился и через час уже покину Париж, одетый санкюлотом. Друг мой, не рискуй безумно жизнью, последуй моему примеру!

— Нет, я останусь. Я поклялся служить королеве и, пока жив, буду верен своей клятве. Пока есть хоть малейшая возможность быть ей сколько-нибудь полезным, я не могу уехать. Если нельзя бежать сегодня, то это может удасться в какой-либо другой день, и этого благоприятного дня я должен ждать и быть наготове.

— Но говорю тебе, что они арестуют тебя! — простонал Лепитр. — Королеве ты тогда не можешь служить и только даром повредишь себе!

— Ба, так легко меня не поймают! — беспечно возразил Тулан. — Фортуна любит смельчаков, а я докажу ей, что я смел. Спасайся, друг, спрячься, и пошли тебе Бог долгую жизнь и душевный покой!

— Ты рассердился на меня, Тулан? Ты считаешь меня трусом? Но повторяю тебе. твоя безумная смелость погубит тебя.

— Нет, Лепитр, я на тебя не рассердился. Каждый должен поступать так, как ему подсказывают собственные ум и сердце. Прощай, друг, позаботься о своей безопасности, потому что надо, чтобы в резерве остались преданные люди, а я знаю, что в случае надобности ты будешь верно служить ей.

— Дай мне еще раз свою руку, Тулан! Если ты поймешь, что должен бежать, то приезжай в Нормандию. ты найдешь меня в местечке Леру, близ Дьеппа, и мой старый отец примет тебя, как родного сына.

— Спасибо, друг, спасибо! Твою руку, так! А теперь уходи в ту сторону, а я сюда.

Тулан с веселым лицом вышел на ту же улицу и отправился прямо в ратушу, где собрался общинный совет.

— Братья и граждане! — смело воскликнул он. — Мне сейчас сказали, что на меня донесли, будто я подозрительный. Друзья предупредили меня и понуждали бежать. Но я не трус, и моя совесть чиста, поэтому я не убежал, а пришел сюда и спрашиваю вас: правда ли это? Неужели вы, в самом деле, можете считать меня дурным патриотом, изменником?

— Да, — ответил председатель Обар спокойным, суровым голосом. — Ты неблагонадежен, и мы не доверяем тебе. Эта низкая соблазнительница Мария Антуанетта остановила на тебе свои рысьи глаза, чтобы завлечь тебя, и, конечно, это удалось бы ей, если бы ты чаще встречался с нею. Поэтому тебя навсегда исключили из списков муниципальных чиновников, назначаемых на дежурство в Тампле, так что уже не представится случая впасть из-за австриячки в искушение. Кроме того, так как сегодня поступил на тебя уже второй донос, в котором говорится, что ты имеешь тайные сношения с аристократами, мы, по требованию комитета общественной безопасности, сочли за нужное приказать арестовать тебя. Пристав только что отправился к тебе на квартиру, чтобы объявить тебе приказ и взять тебя, но ты явился сам. Пристав, солдаты, сюда! — и он приказал отвести Тулана в Консьержери.

— Прекрасно! — с великолепным спокойствием сказал Тулан. — Я знаю, что вы пожалеете о том, что так оскорбили истинного патриота и для успокоения вашей совести желаю только одного. чтобы у вас хватило времени исправить эту несправедливость и чтобы моя голова все еще сидела тогда на моих плечах и я мог сказать вам то, чем в эту минуту полно мое сердце: я прощаю вам! Вы введены в заблуждение, но так

как вы поступаете таким образом ради блага отечества, а не из личных враждебных чувств, то, как верный и любящий сын нашей великой матери-Республики, я прощаю вам, что вы верите моим несправедливым обвинителям. Даже, если уж суждено пролиться моей невинной крови, моим последним, предсмертным вздохом будет благословение моему отечеству и великой Республике!

— Это все прекрасные и очень достойные слова, — холодно ответил Обар, — но если факты противоречат словам, то мы не должны обманываться пустыми речами; правосудие позаботится об этом.

— Я только этого и желаю, — бодро возразил Тулан. — Если я попаду в руки правосудия, то очень скоро окажусь на свободе, потому что, братья, я совершенно не виновен. Ведите меня в тюрьму! Прошу только зайти по дороге ко мне, чтобы я мог захватить с собой кое-какие вещи. Прошу также опечатать мое помещение в моем присутствии, потому что, если хозяин отсутствует, его имущество подвергается известной опасности, и я только тогда буду спокоен, когда на все будут наложены печати республики. При этом вы убедитесь, что ни моя жена, ни друзья не прячут и не скрывают ничего предосудительного, и моя невинность станет еще более явной. Итак, пожалуйста, исполните мою просьбу!

Члены совета, переговорив между собою, решили удовлетворить просьбу Тулана, и председатель приказал двум чиновникам отправиться с арестованным на его квартиру, взять необходимые ему вещи и затем наложить печати на все его бумаги и на все имущество. Тулан поблагодарил его и со спокойным лицом вышел из зала. Идя по улице между своими стражниками, он все время беспечно болтал с ними, смеялся и шутил, но в его душе звучал вопль:

«Ты погиб, погиб! Если двери тюрьмы закроются за тобою, ты не уйдешь от гильотины! Беги, спасайся, или ты безвозвратно погиб!»

Так шел он, весело болтая, а в душе ужасаясь и пытливо оглядываясь кругом, ища своими острыми черными глазами какого-нибудь друга, который мог бы помочь ему. И судьба послала ему такого друга: это был Рикар, его товарищ и доверенный, знавший о плане бегства. Подозвав его к себе, Тулан громким голосом рассказал ему обо всем, что с ним случилось.

— Пойдем со мной, Рикар, — сказал он, — мою квартиру будут опечатывать, а у меня на столе остались некоторые из твоих книг и бумаг; возьми их, чтобы их также не опечатали.

Выразительный взгляд Рикара показал его другу, что он понял, что Рикар признает подозрительные бумаги за свою собственность.

Когда пришли в жилище Тулана, Маргарита спокойно вышла им навстречу. Она знала, что всякая жалоба, всякий признак беспокойства только повредят ее мужу; любовь внушила ей силу казаться совершенно спокойной.

— Ты вернулся, друг мой, — сказала она с улыбкой, и никто не видел, каких усилий стоила ей эта улыбка, — и в каком большом обществе!

— Да, Маргарита, — со смехом ответил Тулан, — и в этом же милом обществе я сейчас уйду в тюрьму!

— Что? — смеясь, воскликнула она. — Это что за шутки? Тулан, истинный патриот, — и вдруг в тюрьму! Перестань! С серьезными предметами нельзя шутить!

— Гражданка, — важно сказал один из чиновников, — это вовсе не шутка: гражданин Тулан арестован и явился домой только затем, чтобы взять необходимое платье и присутствовать при опечатании его имущества.

— И возвратить моему другу Рикару его книги и бумаги, — прибавил Тулан, — пройдемте ко мне в кабинет, друзья!

— Вот эти книги и бумаги — мои, — сказал Рикар, быстро подходя к письменному столу и забирая все, лежавшее на нем.

Но, когда он хотел спрятать бумаги к себе в карман, оба комиссара воспротивились и пожелали завладеть ими. Рикар протестовал, завязался горячий спор, в который вмешалась и Маргарита, громко утверждавшая, что она, наверное, знает, чьи это бумаги и что никто не имеет права запретить Рикару взять свою собственность. Спор становился все громче. Рикар все-таки хотел спрятать бумаги в карман. Тогда оба комиссара бросились на него и хотели отнять их у него силою; Маргарита поспешила ему на помощь, задела круглый стол, который стоял посреди комнаты и на котором помещались графин с водой и несколько стаканов, и уронила его. Раздался стук, звон разбившегося стекла, и, пока в комнате шумели, кричали, суетились, Тулан незаметно открыл потайную дверь, проскользнул в нее и запер ее за собой. Рикар и Маргарита, отлично видевшие этот маневр, удвоили крик и суетню, и Тулан имел время скрыться. Когда оба комиссара наконец заметили его исчезновение, когда после долгих поисков открыли потайную дверь и бросились преследовать беглеца по потайной лестнице, его и след простыл.

Тулан был свободен! Он быстро направлялся к крошечной мансарде, которую заблаговременно нанял в одном из домов,

близко прилежавших к Тамплю Там он перерядился в заранее приготовленное платье и просидел безвыходно целый день.

Когда в эту ночь Мария Антуанетта без сна лежала в своей постели, мучась мыслью, не сделался ли «Верный» жертвой своей преданности, в ночной тишине внезапно раздались звуки валторны. Королева приподнялась и прислушалась, процесса также напрягла свой слух, и обе, затаив дыхание, принимали протяжной, жалобной мелодии, доносившейся до них с ночным ветерком. И их бледные, печальные лица озарились улыбкой, и глубокий вздох облегчил им стесненное сердце.

— Слава Богу, он спасся,— прошептала Мария Антуанетта.— Не правда ли, сестрица, эти звуки доказывают нам, что наш друг близко?

— Да, и, пока мы будем слышать этот сигнал, мы будем знать, что он жив и что он близко от нас.

И в последовавшие затем недели узницы часто находили горестное утешение в этих сигнальных звуках, но Тулан никогда больше не появлялся в числе дежурных комиссаров в передней королевы.

Итак, Тулан не скрылся из Парижа. Он все еще надеялся, что какой-нибудь случай даст ему возможность освободить королеву, все еще старался войти в сношения с друзьями и составить новый план бегства для королевской семьи.

Но именно то, чего ждал Тулан, являлось грозным призраком в глазах конвента,— бегство узницы из Тампля! Они боялись королевы даже за толстыми стенами и железными дверями ее темницы! Еще больше боялись они семилетнего ребенка, бедного, маленького короля без короны, сына казненного. Комитет общественной безопасности в Париже знал, что в народе много говорят о «маленьком короле», что о нем рассказывают трогательные истории.

Какой-то важный человек, изображавший собою пророка, громко кричал на парижских улицах, что королевские лилии снова расцветут и сыновья Брута будут побеждены юным королем, который уже и теперь царит в Храме*.

Положим, этого пророка схватили и отправили на гильотину, но его пророчества нашли отзвук, и интерес к маленькому узнику стал в народе увеличиваться. К этому присоединилось еще то обстоятельство, что в судьбе маленького страдальца приняла участие партия благородных и образованных людей, так называемых жирондистов, они выражали это участие в прекрасных, одушевленных речах, которые они произносили в конвенте и которые вызывали у слушателей слезы сострадания.

* Тампль—по-французски храм

Конвент понял опасность и тотчас решил устранить ее. Первого июля 1793 года появился декрет следующего содержания.

«Комитет общественной безопасности постановил разлучить сына Капета с его матерью и поручить его воспитание наставнику, избранному главным советом».

Королева ничего не подозревала. С тех пор как около нее не стало верного Тулана, никакие вести не доходили до ее ушей, звуки валторны были единственными отголосками внешнего мира.

Наступил вечер третьего июля. Маленького принца уже уложили в постель. У кровати не было занавесок, поэтому заботливые руки матери прикрепили над его изголовьем шаль, чтобы свет не беспокоил ребенка.

Было уже десять часов, королева и принцесса Елизавета почему-то долго не шли сегодня спать. Они занимались починкой своих платьев, а принцесса Тереза, сидя между ними, читала им вслух из исторического словаря. Затем, по желанию матери, она прочла несколько молитв и стихов из «Святой недели».

Вдруг в коридоре раздались поспешные шаги нескольких человек. Загремели замки и задвижки, и в комнату вошли шестеро членов муниципального совета.

— Мы пришли объявить вам приказ комитета! — грубым голосом сказал один из них. — Сын Капета должен быть удален от его семьи!

Королева поднялась, помертвев от ужаса.

— У меня хотят отнять моего ребенка! — вскрикнула она. — Нет, нет, не может быть! Господа, комитет не может желать разлучить меня с моим сыном! Ведь мальчик еще мал и слаб, ему необходимы попечения матери!

— Комитет так решил, конвент утвердил это решение, и мы должны немедленно привести его в исполнение, — ответил чиновник.

— Это невозможно! — в отчаянии закричала Мария Антуанетта. — Именем Бога заклинаю вас, не будьте так жестоки!

Обе принцессы присоединили свои слезы и мольбы к ее мольбам. Все трое обступили постель дофина и умоляли сжалиться, с рыданиями простирая к представителям власти дрожащие руки, но не могли растрогать их.

— К чему все эти вопли! — сказали представители коммуны. — Ведь вашего сына не собираются убивать. Отдайте его добровольно, не то мы отнимем его силою.

Они двинулись было к кровати, королева заступила им дорогу и крепко держала концы шали, закрывавшей дофи-

на, но шаль оторвалась от стены и упала на лицо мальчика, так что он проснулся. Поняв, что происходит, он с громким криком бросился в объятия матери.

— Мама! Ах, мама, не оставляй меня! — рыдал он.

Она дрожа прижимала его к своей груди, утешала, защищала, отталкивая тянувшиеся к нему грубые руки. Но все было напрасно: служители Республики не питали жалости, не имели сострадания к материнскому горю; насильно или добровольно, но дофин должен был идти с ними.

— Обещайте мне, по крайней мере, что он останется в Тампле и я буду видеть его! — воскликнула королева.

— Мы ничего не можем обещать тебе, гражданка. Черт возьми, как можно так визжать и выть только потому, что у тебя берут твоего мальчика! Нашим детям достается гораздо хуже: они каждый день подставляют головы под пули врагов, которых ты натравила на нас!

— Теперь мой сын еще мал, но, когда он вырастет, то с Божией помощью посвятит свою жизнь благу отечества, — кротко возразила королева.

Между тем обе принцессы, понуждаемые чиновниками, уже одели ребенка, королева увидела, что больше не на что надеяться; она упала на стул, обняла плечи дофина и молча, с сухими глазами, смотрела в его розовое, плачущее личико, в его большие голубые глаза, также устремленные на мать.

— Дитя, — сказала она наконец, — мы должны расстаться... Помни свои обязанности, помни их и тогда, когда меня не будет возле тебя, чтобы напоминать о них. Не забывай никогда милосердного Бога, который испытывает тебя... не забывай своей мамы, которая молится за тебя. Будь послушен, терпелив, будь добр... Твой отец с неба благословит тебя.

Ее холодные губы запечатлели на лбу ребенка долгий поцелуй, потом она передала сына тюремщикам. Но малютка снова бросился к ней, охватил ее ручонками и с жалобным криком не хотел оторваться от нее.

— Сын мой, мы должны повиноваться, — сказала Мария Антуанетта, — такова воля Божия!

В эту минуту раздался громкий, жесткий смех. Королева вздрогнула и обернулась; на пороге стояли Симон и его жена, со злорадством устремившая на королеву сверкающие глаза. Схватив ребенка загорелыми обнаженными руками, она стала толкать его к двери.

— Как! Это она будет воспитывать моего сына? — вскрикнула королева.

— Да, — насмешливо ответил Симон, упирая руки в бока и становясь пред королевой, — да, она и я. Маленький Капет

останется у нас и получит отличное воспитание, могу тебя уверить! Мы научим его забыть прошлое и помнить только одно: что он — сын Республики. Если он не научится этому добром, его научат силой! Мой ремень окажется, вероятно, хорошим учителем для твоего сына!

Он с насмешкой кивнул Марии Антуанетте головой и вышел вслед за комиссарами, уже оставившими комнату.

Двери снова закрылись, снова загремели засовы; в комнате настала мертвая тишина. Три женские фигуры безмолвно обнялись и упали на колени для молитвы.

С этого дня у королевы не осталось уже никаких надежд, ее сердце было разбито. Она целыми днями сидела не двигаясь, уставившись взором в пространство, ничем не занимаясь, не слыша нежных слов золотки, не видя ласк дочери. Прежде она помогала убирать комнату, чинить белье и платье; теперь же она все это предоставила обеим принцессам. Только на несколько коротких часов ежедневно оживал ее взгляд: это были часы, когда дофину позволяли подниматься в обществе Симона по наружной лестнице на верхнюю площадку башни и гулять там. Королева припадала к двери и жадно прислушивалась к каждому шагу своего сына, к каждому слову, произнесенному им, пока он проходил мимо.

Скоро она открыла щель в ограде площадки и могла таким образом хоть мельком видеть мальчика. И с этой минуты весь свет, вся жизнь сосредоточились для нее в этой щели, в этих минутах, когда она могла видеть и слышать своего сына.

Иногда какой-нибудь сострадательный комиссар, являвшийся в тюрьму ради надзора, сообщал ей, что мальчик здоров, что он играет в мяч, что его кротость и ласковое обращение привлекают к нему сердца. Тогда на неподвижном лице королевы появлялась слабая улыбка и оставалась на бледных губах, пока ей говорили о ее сыне. Но, к сожалению, скоро до нее стали доходить иные известия! Она услышала жалобы и стоны ребенка, угрозы Симона, ругательства его жены; и сердце матери окаменело от горя и отчаяния. Но и это было еще не самым ужасным из того, что ей пришлось вынести. Она слышала, как сын королевы плакал от жестокого обращения, но еще ужаснее было слышать, как поощряемый и подстрекаемый Симоном и его женой, он пел революционные и непристойные, бесстыдные песни... Ужасно было знать, что не только тело, но и душа королевского сына была обречена на гибель!

Сначала, слыша эти песни, королева раздражалась воплями, рыданиями и громкими угрозами против тех, кто развращал ее ребенка, но потом ее сердце окаменело, и когда вто-

рого августа ее увезли из Тампля в Консьержери, она чуть слышно прошептала бледными губами:

— Слава Богу, я больше не буду слышать его пение!

XXIV

Смерть королевы

Ужасная кровавая Варфоломеевская ночь жестокой Екатерины Медичи и ее безумного сына Карла IX снова повторилась во Франции, но теперь эта ночь ужасов и убийств не пряталась больше от дневного света и яркого солнечного сияния.

Солнце освещало ручьи крови, лившиеся по улицам Парижа, стаи бродячих одичавших собак, наполнявших улицы и питавшихся этой кровью. Оно освещало также эшафот, подобно грозному чудовищу, возвышавшемуся на площади Республики, и ужасную смертоносную машину, под которую попадало ежедневно столько благороднейших голов.

Солнце ярко светило также и в тот день, когда Мария Антуанетта, подобно своему супругу, взойшла на эшафот, чтобы отдохнуть наконец в могиле от всех страданий и позора последних лет.

Этим днем было 16 октября 1793 года. Мария Антуанетта уже четыре месяца ждала этого дня, как необычайного счастья. Четыре месяца тому назад ее перевели из Тампля в Консьержери, а она прекрасно знала, что заключенные выходят оттуда только на свободу, которую Господь посылает страждущим, то есть на смерть!

Мария Антуанетта страстно жаждала этой освободительницы-смерти! Какими бесконечно далекими казались ей дни счастья, веселая пора юности! Как уже давно ее гордые черты утратили всякое сходство с прелестным личиком королевы, которой улыбались все блага мира, которая решалась посещать публичные балы в опере, считала себя в полной безопасности среди французского народа и которую вся Франция приветствовала с таким же восторгом, с какой дикой ненавистью преследовала теперь.

Прежняя королева Мария Антуанетта, с улыбкой на устах принимавшая в раззолоченных залах Версаля и Тюильери поклонение всей Франции, не имела никакого сходства со вдовой Людовика Капета, стоявшей пред революционным трибуналом и спокойно и твердо отвечавшей на его вопросы.

Ко дню суда она даже принарядилась, но какая громадная разница была между ее теперешним костюмом и роскошными туалетами, которые она носила, будучи королевой! Тогда Мария Антуанетта имела возможность проводить целые дни со своими портнихами, обсуждая новый наряд и придумывая для него какую-нибудь необыкновенную отделку, между тем как придворный парикмахер Леонар ломал себе голову, изобретая прически, которые должны были украшать красивую головку королевы, и сооружал на ней целые башни или сады с цветами и фруктами.

Вдове Капет не понадобились ни портниха, ни парикмахер. Ее высокая, стройная фигура была окутана черной широкой одеждой, выданной ей Республикою вследствие ее просьбы о разрешении носить траур по казненному супругу. Ее шея и плечи, некогда вызывавшие восторг всей Франции, были покрыты белой косынкой, данной ей из жалости тюремщиком. Ее голова была не покрыта, и волосы крупными естественными локонами ниспадали по обеим сторонам ее бледного, похудевшего лица. Ее волосы теперь не нуждались больше в пудре, так как бессонные ночи и скорбные дни навсегда напудрили их сединой.

В таком наряде Мария Антуанетта предстала пред революционным трибуналом. Места для публики были битком набиты народом, который собрался полюбоваться унижениями и страданиями Марии Антуанетты и беспрестанно требовал, чтобы она поднималась с своего места, чтобы рассмотреть ее.

Один раз, вставая по требованию публики, королева со вздохом проговорила:

— Неужели народу еще не скоро надоедят мои страдания?

Другой раз ее засохшие губы прошептали:

— Я хочу пить.

Но никто из окружавших не осмелился обратить внимание на ее слова, один смотрел на другого и никто не решался подать ей стакан воды. Один из жандармов наконец отважился сделать это, и Мария Антуанетта поблагодарила его взглядом, вызвавшим слезы на его глазах, за что он, быть может, на другой же день поплатился головой.

Однажды ночью, возвращаясь из зала заседаний в свою тюрьму, Мария Антуанетта почувствовала себя такой утомленной, что зашаталась и пробормотала:

— Я ничего не вижу, я не могу идти дальше.

Жандарм, который шел около нее, подал ей руку и она, опершись на нее, еле дошла до своей тюрьмы.

Наконец в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое октября присяжные вынесли приговор, гласивший:

«Смерть. Казнь на гильотине!»

Мария Антуанетта выслушала этот приговор совершенно спокойно. Шум толпы затих как бы по мановению волшебного жезла. Мария Антуанетта холодно и серьезно поднялась со своего места и сама открыла решетку, чтобы выйти из зала и вернуться в тюрьму.

Наконец утром шестнадцатого октября должны были окончиться ее страдания. Ее душа была преисполнена радости. Она столько страдала, что смерть представлялась ей теперь желанным избавлением.

Она употребила эту последнюю ночь на то, чтобы написать своей золовке, принцессе Елизавете, это письмо представляло собой завещание королевы, но у вдовы Людовика Капета не было никаких сокровищ, у нее остались только слезы да прощальные приветы, которые она просила передать всем, кого она любила.

«У меня были друзья, — написала она, — мысль навсегда расстаться с ними и их горе — это самое тяжелое для меня при моей смерти. Пусть они знают, что я до последней минуты думала о них».

Она решила оставить детям память, не оскверненную рукой палача. Единственное украшение, оставшееся у нее, были длинные волосы; Мария Антуанетта отрезала их и оставила на память детям, родным и друзьям.

Мысленно попрощавшись с жизнью, она стала приготовляться к смерти. Она чувствовала себя утомленной и разбитой и решила подкрепиться пищей, съев крыло принесенной ей курицы. Затем она стала совершать свой туалет смерти!

Жена тюремщика дала ей одну из своих сорочек, и королева надела ее; затем облеклась в то же самое платье, в котором являлась пред судьями, и покрыла голову чепчиком, одним из таких, какие носили женщины из народа. Приготовившись встретить смерть, Мария Антуанетта прилегла на кровать и заснула. Ее разбудили докладом, что пришел священник, но Мария Антуанетта не захотела исповедаться пред одним из служителей Разума, которых назначила Республика, изгнав служителей церкви. Чтобы согреть ооченевшие ноги, Мария Антуанетта стала ходить взад и вперед по камере. Ровно в семь часов дверь открылась, и в нее вошел Сансон, «господин» и палач Парижа. По телу королевы пробежала легкая дрожь.

— Как вы рано пришли! Разве нельзя было немного повременить?

Сансон дал отрицательный ответ, и Мария Антуанетта снова приняла свой холодный и спокойный вид. Она беспре-

кословно выпила чашку принесенного ей шоколада и спокойно дала связать свои руки на спине.

В одиннадцать часов она покинула свою комнату, чтобы поместиться в телеге, ожидавшей у ворот.

Никто не провожал ее и никто не проявлял ни малейшего участия; она прошла мимо жандармов, выстроенных по обеим сторонам коридора; за ней следовал палач, держа конец веревки, которой были связаны руки королевы; затем шли священник и два помощника палача.

Париж знал, что настал час казни королевы, народ уже ждал; на улицах, в окнах домов, на крышах собралась огромная толпа, площадь Республики представляла собой черное море голосов.

Мария Антуанетта сидела в телеге спиной к лошадям, рядом со священником; позади нее стоял палач и его помощники. Королева была бледна; только ее глаза были красны от пролитых слез, но теперь она была совершенно спокойна, ее взгляд был устремлен вдаль, поверх толпы и домов, губы были плотно сжаты. Ничто не выражало ее душевного состояния, хотя она и видела все. Взгляд королевы упал на женщину с ребенком, который посылал ей поцелуй своей маленькой ручкой. Этот единственный знак участия пробудил королеву из ее оцепенения, и слезы застлали ее глаза. Но толпа снова надвинулась и сопровождала позорную колесницу криками, воем, смехом, аплодировала и осыпала королеву градом ядовитых насмешек и прозвищ. Ее лицо снова стало совершенно холодным и бесстрастным, а взгляд безучастно скользил по толпе; только при виде королевского дворца и надписи над его воротами, поставленной Филиппом Эгалитэ, бывшим герцогом Орлеанским, в ней вспыхнул злобный огонек.

Около полудня позорная колесница прибыла к месту своего назначения и остановилась у подножия эшафота. Мария Антуанетта сошла с телеги и стала медленно подниматься по ступеням эшафота.

Во время всего путешествия она не произнесла ни слова, а теперь, бросив прощальный взгляд на Тюильери, вздохнула и наклонила голову. Наступила мертвая тишина. Несколько мгновений спустя Сансон высоко поднял отрубленную гильотиной бледную голову, принадлежавшую королеве Франции. Народ приветствовал его восторженными кликами:

— Да здравствует Республика!

В этот вечер один из чиновников Республики написал счет, хранящийся до сих пор во французской национальной библиотеке в Париже. Этот счет гласит: «Перечень расходов по погребению лиц, присужденных трибуналом к смертной

казни. Затем, начиная с № 1, помещены двадцать четыре номера и имена казненных; под № 25 значится. «Вдова Капет. Гроб — 6 франков; могила и плата могильщикам — 25 франков». Под этим написано. «Просмотрено и утверждено мною, президентом революционного трибунала. Разрешаю могильщику Жюли получить из национальных сумм 264 франка. Париж, 11 Брюмера, 2 года Французской Республики. Эрман, президент».

XXV

Король Людовик Семнадцатый

Республика одержала победу над королевской властью. Король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта покоились мирным сном на кладбище Мадлэн. Республиканцы, проповедники свободы, равенства и братства, ликовали, радостно повторяя, что королевская власть погибла навсегда и над Францией на вечные времена возшло победоносное республиканское солнце.

Однако, несмотря на эту уверенность, лица республиканских главарей часто омрачались и в их сердца закрадывался своеобразный страх, когда их взгляд падал на Тамплъ, мрачное здание которого бросало черные тени на залитые солнцем пути Республики. Быть может, это было раскаяние, шевелившееся в сердцах убийц королевской четы? Нет, эти бронзовые сердца не знали раскаяния, они не опускали голов, проходя мимо кладбища Мадлэн, а при взгляде на гильотину их взоры загорались гордостью. Не воспоминание об умерших заставляло омрачаться их лица, это была мысль о живом узнике, заключенном в темных тюрьмах Республики.

Этому заключенному было, правда, всего восемь лет, но роялисты — а их было еще немало во Франции — называли этого ребенка «королем Франции», а священники в Вандее ежедневно молились о здоровье и освобождении молодого короля, Людовика XVII.

«Король умер, да здравствует король!»

Среди роялистов и легитимистов было также немало таких, которые думали о бедном заключенном с ненавистью и злобой, как и обвиняли его в клевете на свою мать. Как будто ребенок сознавал, что делал, когда, по приказанию своего мучителя и тюремщика Симона, ставил дрожащей рукой свое имя на подаваемой ему бумаге, как будто этот несчастный мальчик понимал ужасное значение задаваемых ему вопросов, на которые он отвечал: «да» или «нет», смотря по тому,

какое выражение читал в жестоком лице Симона, стоявшего около него. Бедный ребенок прекрасно понимал, что каждая складка на лбу Симона повлечет за собой ужасные побои и мучения, он чувствовал непреодолимый страх перед железным кулаком своего мучителя и, чтобы избавиться от побоев, подписывал все, что хотели его безжалостные судьи, не сознавая, что это — самые ужасные и низкие обвинения против его матери.

На основании этих показаний судьи решились обвинить Марию Антуанетту в самом ужасном и гнусном преступлении. Она ответила на их обвинения лишь презрительным молчанием, однако судьи повторили вопрос и требовали ответа. Тогда королева обернулась к женщинам, наполнявшим места для публики и с напряженным вниманием ожидавшим ответа.

— Я обращаюсь ко всем присутствующим здесь матерям, — сказала она своим звучным голосом, — и спрашиваю их, считают ли они возможным подобное преступление?

Никто не решился высказаться громко, но по рядам слушательниц прошел глухой рокот, слышались вздохи. Чуткое ухо председателя прекрасно поняло значение этого шума, и он решил оставить это обвинение, чтобы не возбудить сострадания к королеве, так как ее участь была предreshена уже заранее.

Мария Антуанетта вспомнила об этом ужасном обвинении в ночь на 16 октября 1793 г., накануне своей смерти, когда писала своей золовке.

«Пусть мой сын, — написала она, — никогда не забывает слов своего отца, пусть никогда не думает мстить за нашу смерть. Мне остается сказать несколько слов о крайне тяжелом для меня вопросе. Я знаю, какое горе причинил вам этот ребенок. Простите ему, дорогая сестра, подумайте о его возрасте! Как легко заставить такого ребенка сказать все, что угодно, чего он даже не понимает. Настанет день, когда он оценит, какое большое значение имеет ваша ласка и доброта к обоим моим детям».

В то же самое время, когда Мария Антуанетта писала эти строки, сапожник Симон спорил со своей женой, которой было приказано конвентом наблюдать за тем, чтобы легитимисты не сделали попытки похитить ребенка. Поводом к их ссоре служила предстоявшая казнь королевы. Симон радостно утверждал, что она состоится, а его жена сомневалась в этом.

— Она еще хороша, — мрачно сказала она, — и умеет заговаривать зубы, ей удастся тронуть сердца судей, потому что они — мужчины.

— Но справедливость — женщина, — с жаром воскликнул Симон.

Его жена стояла на своем; тогда сапожник предложил ей побиться об заклад на бутылку водки.

На другое утро Симон со своим маленьким пленником отправился на верхушку башни, откуда было видно, что делается на улицах.

Его жена, со своим ужасным чулком, ушла уже с утра.

— Сегодня надо идти пораньше, а то ничего не увидишь, — сказала она, — а я буду очень огорчена, если не увижу, как отрубят голову этой вдове Капет, и не буду иметь возможность сделать заметку на своем чулке.

— Ты забываешь, что мы побились об заклад, — сказал Симон с ужасной улыбкой, — если ты сделаешь свою заметку, значит, ты проиграла.

— Я согласна проигрывать все пари, которые буду держать в своей жизни, чтобы только сделать эту пометку на моем вязанье, — злобно ответила его жена. — Иди на башню с этим мальчишкой, и жди меня там. Как только я свяжу свою отметку, я прибегу к тебе и покажу тебе ее.

— Какое безобразие, что я не могу пойти с тобой! — вздохнул Симон. — Лучше бы я не брался за воспитание этого маленького Капета!.. Какое противное дело! Из-за него я не могу ни на минуту уйти из Тампля.

— Республика оказала тебе большую честь, — торжественно проговорила его жена, — она знает, что ты из этого ничтожного отпрыска тиранов сделаешь честного сына Республики, полезного гражданина.

— Да, тебе хорошо говорить! — проворчал Симон. — Ведь ты ничего не делаешь, а только имеешь удовольствие мучить сына наших тиранов.

— Это месть; я только мщу за те мучения, которые испытывала от этих тиранов моя родня.

— Да, — продолжал Симон, — тебе почет, а на меня взвалена вся черная работа, ведь вовсе не легко сделать из этого изнеженного плаксы порядочного, пригодного гражданина, да еще приходится из-за этого сидеть, как в плену.

— Послушай, — сказала его жена, положив свою жесткую, загорелую руку на его плечо, — если австриячка будет наказана сегодня за свои злодеяния и палач покажет ее голову отмищенному народу, то я не буду больше стоять у гильотины и делать на чулке свои отметки. Я буду оставаться здесь с тобой; мы будем вместе воспитывать маленького Капета.

— Вот это мне нравится, это хорошо сказано! — воскликнул довольный сапожник. — Вдвоем не будет так скучно си-

деть здесь. Иди в последний раз вязать свой чулок у гильотины, я знаю, что тебе придется покупать водку! Мы с мальчишкой пойдем на башню и будем ждать твоего возвращения.

Он позвал маленького Людовика, сидевшего в своей темной каморке и со страхом ожидавшего появления своего «мастера».

— Иди, маленький Капет, — воскликнул Симон, толкая дверь ногой, — пойдем на башню! Можешь взять с собой мячик, потому что сегодня большой праздник для Республики, я научу тебя быть хорошим республиканцем! Если ты не хочешь, чтобы я отколотил тебя, то будь веселым и довольным и играй в мячик.

— Не бей меня, мастер! — воскликнул ребенок, схватив свой мячик. — Я очень люблю играть в мячик, я буду веселым и довольным; я очень люблю праздники. Какой же сегодня праздник?

— Это тебе вовсе незначет знать! — проворчал сапожник. — Скорей пойдем наверх. Играй и смейся.

Людовик повиновался; он весело побежал по узкой винтовой лестнице и стал прыгать по платформе, подбрасывая свой мячик и радостно взвизгивая всякий раз, как ему удавалось поймать его своими худенькими ручками.

Симон стоял, опершись на железные перила, и внимательно смотрел вниз на улицу, узкой лентой извивавшуюся среди домов.

— Вся улица полна народом, он спешит на площадь, я выиграю пари!

Он прислушался к шуму, доносимому ветром; это были барабанный бой и радостные клики народа.

— Теперь Сансон, вероятно, показывает народу отрубленную голову! — проворчал Симон. — Народ радуется, моя жена делает пометку в своем вязанье, а я, бедный, не могу и посмотреть на это чудное зрелище! В этом виноват этот мальчишка! — вдруг закричал он и, оборачиваясь к ребенку, игравшему в мячик, яростно ударил его по спине, крикнув: — Ты виноват в этом, проклятый мальчишка!

— Мастер, — проговорил ребенок, обращая на него свои голубые глаза, в которых стояли крупные слезы, — прости меня, если я тебе не угодил.

— Да, ты злишь меня, — проворчал Симон. — А теперь еще будешь реветь и скулить. Изволь сейчас же вытереть слезы и весело играть, а то я угощу тебя ремнем!

Мальчик поспешно утер слезы и снова начал играть в мячик.

Симон стал снова прислушиваться и с завистью смотрел на улицу, совсем почерневшую от двигавшейся по ней толпы.

По винтовой лестнице раздались тяжелые шаги, и на башню вошла жена Симона. Она торжественно подошла к мужу и показала ему свое вязанье, на котором виднелись три крупные капли крови.

— Это — ее кровь, — с пафосом проговорила она. — Слава Богу, я проиграла пари!

— Какое пари, гражданка? — смеясь, спросил мальчик, подпрыгнув и словив свой мячик.

— Не твое дело, — ответила ему Жанна Мария, — но если ты будешь умник, то и тебе перепадет кое-что сегодня вечером.

В этот вечер в двух мрачных каморках Симонов состоялось празднество. Жанна Мария купила две бутылки водки и пирог с изюмом; маленький Людовик получил кусок пирога и должен был, во избежание побоев, выпить водки, которая была ему противна.

Несчастный мальчик остался на попечении сурового сапожника и его жестокой жены. Его тетка и сестра тщетно умоляли своих тюремщиков разрешить им хотя бы иногда видеться с Людовиком; однако их просьбы встречали отказ, и только изредка они в щелку двери могли видеть, как мальчик проходил мимо с Симоном, отправляясь наверх, на платформу башни. Иногда снизу доносились жалобные крики и стоны ребенка, наполнявшие сердца принцесс ужасом и состраданием.

Сапожник постоянно бил мальчика то за то, что он отказывался пить водку, то за то, что он, по мнению своего воспитателя, имел очень печальный вид или просился к матери или к сестре, или не хотел петь песни, состоявшие из издевательств над «австрийской волчицей» и «мадам Вето», которым его учил Симон.

В этом отношении ребенок оставался непоколебимым, и никакие угрозы, побои и ругательства не могли заставить его петь песни, в которых осмеивалась его мать. Из страха перед своими мучителями он делал все, что они хотели: пел «Марсельезу» и «Са га, са га», плясал карманьолу, пил водку за процветание Республики, но, как только его заставляли петь песни о «мадам Вето», он замолкал и ничто не могло сломить упрямство этого «змееныша», как говорил Симон.

Людовик никогда не спрашивал о матери, но ночью поднимался со своего жесткого ложа, становился на колени и, сложив руки, читал молитву, которой научила его мать. Симон, проснувшись от шороха, будил свою жену, и они вдвоем

смеялись и издевались над «суеверной обезьяной»; затем Симон набрасывался на ребенка с кулаками, тряс его за плечи и кричал: «Я научу тебя читать молитвы и вставать ночью, проклятый!»

Мальчик молчал. Сапожником овладевала еще большая ярость, он хватал обитый гвоздями сапог и с ужаснейшими ругательствами бросался на свою жертву.

— Что я вам сделал, мастер? — кричал маленький Людовик. — Почему вы хотите убить меня?

— Убить тебя, волчье отродье? — ревел Симон. — Да я и не думал убивать тебя! Ах ты, проклятая змея!

Сапожник бросал ребенка на кровать, и он без всякой жалобы лежал на ней до утра.

Мало-помалу в ребенке стала совершаться перемена. Прежде его взоры часто с немой просьбой устремлялись на мучителей, теперь его веки оставались опущенными; раньше он по малейшему движению лица старался угадать желание мастера, теперь он оставался совсем равнодушным, так как постепенно понял, что все его усилия тщетны и не избавят его от побоев и мучений. Веселое жизнерадостное личико ребенка стало принимать грустное, недетское выражение, его розовые щеки ввалились и побледнели; он вытянулся, его спина сгорбилась, как бы от тяжести всяких унижений и оскорблений, которые ему приходилось выносить. Ребенок скоро понял, что все, что он говорил, перетолковывалось иначе, искажалось и служило поводом к бесконечным насмешкам и издевательствам, а потому он совсем замолк и лишь с большим трудом удавалось добиться от него хотя бы одного слова.

Такое молчание возмущало Симона и приводило его в ярость; он с бешенством требовал, чтобы маленький Людовик смеялся, пел и разделял его веселье. Иногда ему приходила фантазия, чтобы ребенок часами не смел говорить ни слова, не двигался с места и не играл с клеткой, стоявшей на столе и составлявшей единственное утешение мальчика.

В этой клетке было много живых птиц, а также маленькое чудо искусства — автомат в виде птички, которая открывала клюв, перепрыгивала с одной жердочки на другую и насвистывала модную до революции песенку. «Oh, Richard, oh, mon roi!»*. Эта игрушка была найдена в королевском мебельном складе, и мягкосердечный комиссар коммуны, по имени Мюллер, рассказал об этом Симону и подал ему мысль потребовать эту игрушку в Тамплъ для маленького Капета.

* «О, Ричард! О, мой король!»

Симон, который вместе со своей женой не смел покидать Тамплъ, очень злился на подобное стеснение и жаждал какого-нибудь развлечения, а потому очень обрадовался предложению Мюллера и поспешил получить вышеозначенный автомат.

Сначала мальчик очень обрадовался игрушке, и его лицо озарилось счастливой улыбкой; но птица скоро надоела ему, и он перестал обращать на нее внимание.

— Разве птичка больше не нравится тебе? — спросил Мюллер, пришедший через несколько дней для ревизии «заключенного» в Тамплъ.

Мальчик отрицательно покачал головой и, так как сапожник находился в другой комнате, он отважился проговорить:

— Это неживая птичка, а мне хотелось бы настоящую птичку.

Добрый комиссар молча кивнул головой и пошел к Симону, чтобы продолжительным разговором с маленьким Капетом не возбудить подозрений.

Покинув Тамплъ, Мюллер отправился к своим знакомым и со слезами на глазах рассказал им о желании маленького «дофина», как потихоньку все еще называли роялисты бедного мальчика; те поспешили исполнить его желание, и на другой день комиссар явился в Тамплъ с большой клеткой, в которой было четырнадцать живых канареек.

— Это настоящие птицы! — с восторгом воскликнул мальчик и стал по очереди вынимать птичек из клетки и целовать их.

Эти птицы, среди которых была помещена и искусственная, служили единственной отрадой маленького заключенного. Он начал приручать их, и вскоре среди этого пернатого народа он нашел друга, который шел в руки, сидел на пальце маленького Людовика и, растопырив крылышки, пел ему свои веселые песенки. В такие минуты лицо мальчика оживлялось, щеки розовели, а в больших голубых глазах, взор которых был с нежностью устремлен на птичку, вновь появлялось осмысленное выражение. У него было теперь существо, которое он мог любить; у него был друг, и его безотрадное существование хоть немного скрасилось. Чтобы сейчас же узнать своего друга среди других птиц, Людовик снял бантик с птицы-автомата и украсил им шею своего любимца.

К счастью мальчика, Симон сам любил птиц и не отнимал их у него, несмотря на настояния жены. Эти птицы служили также развлечением и жестокому сапожнику, нарушая скучное однообразие его жизни, сопряженное с его новой службой. Пенье и щебетанье птиц хоть немного оживляли темные,

молчаливые комнаты и напоминали весну, зелень и свежий воздух.

Но маленький пленник недолго наслаждался этим развлечением. 19-го декабря 1793 года комиссары муниципальной власти пришли ревизовать Тамплъ. Как раз в тот момент, когда они входили в камеру маленького Капета, птица-автомат своим пронзительным голосом завила: «Oh, Richard, oh, mon roi!», а любимец маленького Людовика стал вторить ей веселым щебетаньем.

Чиновники были поражены такими неслыханными вольностями и с суровыми лицами остановились у дверей, переводя свои сердитые взоры с птицы на мальчика, сидевшего около клетки и с блестящими глазами наблюдавшего за своим другом.

Автомат во второй раз завел свою несчастную арию; комиссары яростно бросились к клетке.

— Что означает это пение? — закричал один из них. — Как могут сохраняться в славной Республике такие пережитки проклятого прошлого!

— Посмотри, гражданин! — воскликнул другой. — Эта птица украшена орденой ленточкой; сейчас же видно, что здесь мы имеем дело с врагом народа; он даже здесь раздает знаки отличия! Мы не должны допускать такую гадость!

Комиссар сунул руку в клетку, схватил птичку с бантиком, так крепко сжал в кулаке, что раздавил несчастное создание, и бросил ее об стену.

Людовик не проронил ни слова, он только с широко раскрытыми глазами смотрел на своего мертвого любимца, и две крупные слезы скатились по его бледным щекам.

На следующее утро комиссары, пылая благородным гневом, доложили высшему начальству об искусственной канарейке, певшей роялистическую песню, и о живой, имевшей орденскую ленточку на шее. Они были убеждены, что это козни роялистов, и записали это происшествие в актах коммуны под заглавием: «Заговор канареек».

Пернатые «заговорщики» и автомат были, конечно, немедленно удалены из Тампля, а Симон получил выговор и лишился своего развлечения. Он был страшно зол и обвинял во всем Людовика, который еще осмеливался строить печальную физиономию и будить его ночью своим плачем.

— Поганый змееныш не дал мне спать, — ворчал Симон на другое утро, — у меня голова, как котел, придется принять ножную ванну, чтобы оттянуть кровь от головы.

Жанна Мария молча принесла мужу жестяной кувшин с горячей водой и села в угол, где часто проводила время, молча

рассматривая свой «календарь революции», на котором еще виднелись следы крови королевы Франции.

Симон между тем, поставив ноги в горячую воду, устремлял свой злой взгляд то на жену, которая была раньше такой веселой и деятельной, а теперь стала мрачной и подавленной, то на маленького Людовика, который с тех пор, как у него отняли птиц, безмолвно и неподвижно сидел на стуле, не сводя взора с того места, где лежал его мертвый любимец.

— От такой жизни можно сойти с ума,— заворчал Симон.— Капет,— вдруг закричал он,— возьми полотенце, согрей у огня и вытри мне ноги.

Людовик тихо поднялся со своего места, взял полотенце и подошел к огню, но жар был очень силен, и слабые пальчики выпустили полотенце, последнее упало на угли и, прежде чем ребенок успел его отдернуть, запылало ярким пламенем.

Симон испустил яростный рев и начал осыпать Людовика градом ругательств и проклятий, пока наконец не охрип и не умолк от усталости.

Людовик взял другое полотенце и, осторожно пограв его, тихо подошел к сапожнику, чтобы вытереть ему ноги, все еще стоявшие в воде.

Симон протянул ему ноги и, когда они были вытерты, изо всех сил толкнул мальчика ногой в голову, тот упал и, стукнувшись головой о пол, потерял сознание. Это еще больше взбесило Симона, он стал колотить ребенка ногами и кулаками, выпуская при этом яростный рев и самые ужасные ругательства, как вдруг почувствовал, что его руки охвачены, как клещами, и, к величайшему изумлению, увидел перед собой бледное лицо своей жены.

— Что ты, Жанна Мария? — спросил Симон.— Зачем ты держишь меня?

— Потому что я не хочу, чтобы ты убил его,— хрипло проговорила она.

Он разразился громким смехом.

— Да никак тебе жаль его?

По телу жены сапожника пробежала судорожная дрожь, из горла вырвался какой-то странный звук; она сорвала с шеи платок, как будто тот душил ее, и глухо пробормотала:

— Нет, мне не жаль этого мальчишки, но, если ты убьешь его, члены правительства должны будут казнить тебя, дабы на них не упало подозрение в том, что они велели тебе убить маленького Капета.

— Да, это правда,— ответил Симон,— хорошо, что ты напомнила мне; это доказывает, что ты все еще любишь меня. Я буду осторожнее; надо будет смотреть,

чтобы этот змееныш не ужалил меня, но постараться не убить его.

Жанна Мария ничего не ответила; она снова пошла в свой темный угол и села, взяв в руки чулок.

— Вставай, проклятый! — закричал Симон. — Вставай и убирайся с моих глаз, а то ты опять разозлишь меня!

Ребенок с трудом поднялся с пола и подошел к тазу, где дрожащими, избитыми руками стал смывать кровь, струившуюся по его лицу.

Из угла, где сидела Жанна Мария, снова раздался странный горловой звук, напоминавший собой сдержанный крик или рыдание. Симон поспешил туда и увидел свою жену бледную и недвижимую, лежащую в обмороке на полу.

Симон схватил ее своими сильными руками, положил на постель и стал мочить ей голову.

— Жанна Мария, очнись, что с тобой? Болит у тебя что-нибудь?

Жена сапожника открыла глаза и ответила:

— Да, я больна.

— Я схожу за доктором. Ты не должна умирать! Больница близко; я сбегаю туда и привезу доктора.

Он уже собрался бежать, но Жанна Мария остановила его, пробормотав.

— Останься! Не оставляй меня одну с ним, я боюсь его.

— Кого? — с изумлением спросил Симон.

— Его, — прошептала Жанна Мария, указывая глазами на маленького Людовика, все еще тщетно старавшегося унять кровь, лившую у него из носа, — я не останусь с ним; он убьет меня.

Симон разразился громким хохотом.

— Теперь я вижу, что ты действительно больна, Жанна Мария, и сейчас приведу доктора.

— Пусть он идет в свою камеру, — пробормотала она, — я не могу видеть его; я с ума сойду, если он будет у меня перед глазами.

— Убирайся, проклятая змея! — заревел Симон.

Мальчик, уже давно привыкший к подобным эпитетам, поспешил в свою каморку.

— Теперь я сбегаю и скажу привратнику, чтобы он послал кого-нибудь за доктором.

Симон поспешно вышел из комнаты и через несколько минут вернулся с известием, что привратник сам побежал за доктором.

— Глупости, — воскликнула Жанна Мария, — мне никакой доктор не поможет, да я вовсе не больна. Дай мне пить,

Симон; у меня жжет в горле, как огнем. Позови маленького Капета, а то его глаза горят в темноте, как звезды; это неприятно мне.

Симон печально покачал головой и, подавая ей воду, сказал про себя.

«Она очень больна, у нее, наверно, лихорадка; надо исполнять ее желания, а то, пожалуй, еще бред начнется».

Затем он закричал:

— Капет, Капет, иди сюда, змееныш!

Мальчик повиновался, тихо вошел в комнату и занял свое место в углу на скамеечке.

— Пусть он не глядит на меня! — закричала Жанна Мария. — Он впивается своими глазами в мое сердце; мне больно, ужасно больно!

— Отвернись, змееныш! — приказал Симон. — Только посмей еще раз сюда взглянуть, я тебе все глаза вырву.

Дверь в коридор была открыта, и в нее, опираясь на палку, вошел старичок в напудренном парике, черном атласном сюртуке, шелковых чулках и башмаках с пряжками.

— Вот тебе на! — воскликнул Симон. — Что это за воронье пугало? Что ему здесь надо?

— Ты сам посылал за мной, гражданин, — приветливо ответил старик.

— Значит, ты доктор?

— Да, я — гражданин Нодэн, друг мой.

— Нодэн? Да ведь это главный врач Отель Дье! И ты сам пришел ко мне?

— Чему же ты удивляешься, гражданин Симон?

— Мне рассказывали, что доктор Нодэн никогда не покидает своих больных, что все аристократы просили его лечить их и даже австриячка посылала за ним, когда еще была королевой, а Нодэн всегда отвечал: «Я лечу только бедных; кто хочет обратиться ко мне, пусть приходит в больницу».

— А разве твоя жена не бедная? — спросил Нодэн. — Разве она — не женщина из народа, которому я посвятил свои знания и свою жизнь? Покажи мне свою больную, гражданин; мне некогда заниматься праздною болтовней.

С этими словами доктор подошел к постели, сел на стул около нее и стал исследовать больную, которая сердито отвечала на его вопросы.

Сапожник не сводил с доктора удивленного взгляда.

— Что ты так устал на меня, гражданин? — спросил доктор, окончив осмотр больной.

— Я удивляюсь, гражданин Нодэн, как ты решаешься ходить по улицам в таком наряде? Ведь это платье аристократов.

— Решаюсь? — повторил доктор, пожимая плечами. — Я всегда носил такое платье и чувствую себя в нем удобно, как при королевской власти, так и при Республике. Я уже слишком стар, чтобы гоняться за модой и мучить свои старые кости вашими кожаными брюками и высокими сапогами.

— Ты очень веселый парень, гражданин, — со смехом воскликнул Симон, — и очень нравишься мне. Я вовсе не удивляюсь тому, что ты предпочитаешь свое мягкое платье нашему жесткому, но только изумлен тем, что тебе спускают это.

— А что же будет без меня в Отель Дье? Кто заменит меня? Вот главари революции и смотрят сквозь пальцы на мои костюмы. Но поговорим лучше о больной. У нее сильная лихорадка; нужно принять меры, чтобы она не усилилась.

— Делай, что хочешь, гражданин, только поправь мне мою Жанну Марию, а то я сойду с ума в этом проклятом доме! Она только оттого и заболела, что не привыкла сидеть на месте, сложа руки; а в этом Тампле мы сидим, как в клетке; это-то и есть причина ее болезни. Жена не выходит на воздух, сидит без движения и не работает.

— Почему же она больше не работает и не выходит на улицу?

— Потому что не смеет, — запальчиво воскликнул Симон. — И во всем виноват этот проклятый змееныш, который отравляет нам всю жизнь, из-за него я не могу больше никуда ходить и должен жить, как заключенный преступник, да и жена тоже должна сидеть дома.

— Да, — застонала Жанна Мария, с трудом приподнимаясь с подушек, — во всем виноват этот проклятый мальчишка; он сглазил меня! Он опять глядит на меня, и его глаза горят, как свечи!

— Проклятая змея! — закричал Симон, бросаясь с поднятыми кулаками на мальчика. — Как ты смеешь смотреть на гражданку? Я научу тебя быть послушным!

Его кулак со всего размаху опустился на спину ребенка и уже поднялся для второго удара, но был удержан сильной рукой.

— Что ты хочешь сделать? — раздался громовой голос, и в глазах доктора Нодэна засверкали молнии.

Симон потупился, не выдержав взгляда доктора, но сейчас же разразился громким смехом и воскликнул:

— Какой ты шутник, гражданин!.. Ты кричишь на меня, как в театре кричат на злодеев. Стоит ли подымать такой шум

из-за того, что я хочу немного поучить этого мальчишку, когда он того заслуживает?

— Это правда, — ответил Нодэн, овладев собой, — я немного вспылil, но это происходит оттого, что я считаю тебя не только хорошим республиканцем, но и порядочным человеком, а потому мне было больно видеть твой поступок, недостойный хорошего республиканца и порядочного человека.

— Что же я сделал такого плохого? — с изумлением спросил Симон.

— Посмотри на этого бедного, разбитого, распухшего и тупоумного мальчика, — сказал старик, указывая на тихо плакавшего и дрожавшего всем телом ребенка, — посмотри на него, гражданин, и не спрашивай меня, что ты сделал плохого.

— Вот глупости! — со смехом воскликнул Симон. — Ему так и надо! Ведь это сын госпожи Вето!

— Он человек, — сказал доктор Нодэн, — и, кроме того, беспомощный мальчик, сирота, отданный под твоё покровительство, чтобы ты воспитал его, как своего сына. Разве ты стал бы так бить своего сына, гражданин?

С постели донеслись громкие рыдания; они совсем смутили Симона.

— Нет, — тихо ответил он, а затем мрачно продолжал: — Но мой сын не стал бы так злить меня, как этот проклятый мальчишка. Он сердит меня с утра до вечера и никогда не делает того, что я хочу. Когда я велю ему петь со мной, он молчит, а когда я приказываю ему сидеть смирно, он шумит. Поверишь ли, гражданин, он не даёт мне спать ни одной ночи! Он встает среди ночи и начинает громко читать молитвы, так что будит меня и жену.

— От этого я заболела, — застонала Жанна Мария, — я ни одной ночи не могу спать!

— Ты слышишь, гражданин? Гражданка так испугалась, что захворала. Ты сейчас увидишь доказательство непослушания этого мальчишки. Капет, сюда!

Мальчик с трудом поднялся со своего места и подошел к мастеру.

— Капет, давай петь, — приказал Симон, — ты должен доказать гражданину доктору, что ты хороший республиканец и совсем забыл, что ты сын австриячки; споем песню о госпоже Вето! Живей! Пой! Слышишь?

Наступила небольшая пауза, затем мальчик поднял распухшее лицо и, устремив взор своих голубых глаз на лицо сапожника, проговорил твердым голосом:

— Гражданин, я не стану петь песни о госпоже Вето; я не забыл моей милой мамы и не могу петь о ней ничего дурного; я люблю свою маму и...

Голос мальчика зазвенел и оборвался; он залился горькими слезами, но, прежде чем поднятый уже кулак Симона опустился на голову маленького мученика, с постели раздались громкие крики:

— Симон, поди сюда!.. Помоги мне, вынь нож из моего сердца, я умираю,— кричала Жанна Мария.

— Какой нож? — воскликнул Симон, подбегая к больной.

— Тише,— прошептал доктор,— она бредит. Ты должен беречь ее, гражданин, а то она умрет. Я сейчас пришлю ей успокоительное лекарство. Завтра утром я приду опять. Не забудь, Симон, что больной прежде всего нужен покой, а то у нее может сделаться нервная горячка.

— Моя жена и нервы!.. — проворчал сапожник по уходе доктора.— Первая вязальщица гильотины и вдруг нервы и слезы! Надо беречь ее, а то, чего доброго, она умрет и оставит меня одного с этим противным мальчишкой! Иди, Капет, в свою камеру и не смей показываться мне на глаза, а то я задушу тебя!

Ребенок снова пробрался в свою каморку, сел на пол, сложил ручонки и устремил взор своих больших голубых глаз на потолок. Сверху ясно доносился звук шагов, и счастливая улыбка озарила лицо мальчика. «Это, наверно, моя милая мама гуляет по комнате, потому что ей нельзя больше выходить на башню,— прошептал он.— Мама, моя милая мамочка, как я люблю тебя!»

Ребенок поцеловал кончики своих пальцев и послал воздушный поцелуй по направлению к потолку. Людовик ничего не знал о смерти своей матери; даже у Симона не хватило мужества сообщить ему об этом, и в мрачном одиночестве заключения мысль о матери была единственной отрадой мальчика. Он вспоминал о счастливых днях, когда был с матерью, представлял себе ее лицо, ласковую улыбку и в таких отрадных мечтах незаметно заснул. Он видел во сне маму, тетку, сестру и даже гражданку Симон, которая смотрела на него с ласковой улыбкой, взяла на руки, обнимала, целовала, просила простить свое скверное отношение к нему, и слезы градом лились у нее при этом из глаз.

В эту минуту открылась дверь, и послышался грубый голос.

Этот голос разбудил мальчика; он открыл глаза и посмотрел вокруг; это все был сон, но он так ясно видел всех, а в особенности гражданку Симон и чувствовал ее

объятия; мальчик провел рукой по лбу и почувствовал, что его волосы были совсем мокры, как бы смочены слезами.

— Что это значит, Жанна Мария? — спрашивал в это время сердитый голос Симона. — Зачем ты вставала с постели и зачем тебе понадобилось ходить в комнату этого мальчишки?

— Ты ушел, надо же мне было посмотреть, что он делает, — застонала она. — Я посмотрела, не убежал ли он, чтобы нажаловаться на нас конвенту.

— Пожалуйста, лежи спокойно, Жанна Мария! Я больше не оставляю тебя одну с этим мальчишкой. Вот лекарство, которое прислал доктор, а завтра он придет опять. Успокойся, Жанна Мария, тебе скоро будет лучше.

На следующее утро доктор Нодэн пришел снова; сапожник поднялся в верхний этаж к принцессам и велел маленькому Капету оставаться в передней и, если придет доктор, открыть ему дверь.

Когда вошел доктор, в комнате, кроме Людовика, никого не было; дверь в соседнее помещение, где лежала Жанна Мария, была закрыта.

— Сударь, — прошептал мальчик, — вы были вчера так добры ко мне и спасли меня от побоев; мне очень хотелось бы поблагодарить вас.

Доктор ничего не ответил, но так ласково посмотрел на мальчика, что тот отважился продолжать свою речь.

— У меня нет ничего, — проговорил он, покраснев, — чем я мог бы выразить вам свою благодарность; вот только эти две груши, которые мне дали вчера на ужин. Вы очень обрадуете меня, если возьмете их.

Он поднял на доктора умоляющий взор и, вынув из кармана своего поношенного, заплатанного костюмчика груши, подал их доктору.

Тут случилось нечто, что без сомнения привело бы в ярость Симона, если бы он в эту минуту вошел в комнату. Гордый доктор Нодэн, главный врач больницы, встал на колени перед бедным ребенком, у которого не было ничего, кроме двух груш, и, взяв эти груши, тихо проговорил:

— Благодарю вас, ваше величество; я никогда не получал более ценного и благородного подарка; клянусь вам, что буду вашим верным и преданным слугой.

Старик прижал к своим губам руку, подававшую ему груши, и две крупные слезы скатились из его глаз.

В коридоре послышались шаги. Нодэн быстро встал и, спрятав груши в карман, пошел в комнату больной, в тот самый момент, когда Симон, окончив свою ревизию, отворил дверь, ведущую в коридор.

Мальчик проскользнул вместе с доктором в комнату больной и, воспользовавшись тем, что никто не обращал на него внимания, пробрался в свою каморку и, опустившись на соломенный тюфяк, стал с бьющимся сердцем раздумывать о случившемся.

— Как поживает наша больная? — спросил доктор, опускаясь на стул около постели и приветливо кивая Симону.

— Скверно мне, — охая, проговорила больная, — сердце жжет как огнем: кажется, я скоро помру. Да и слава Богу: по крайней мере, не придется больше выносить муки, которые я терплю в этой ужасной тюрьме.

— Какие же это муки, гражданка? — спросил доктор. — Чем ты страдаешь?

— Я сейчас скажу тебе, гражданин доктор, отчего она страдает, — нетерпеливо воскликнул Симон. — Муниципальный совет оказал нам большую честь, доверив воспитание маленького Капета, но мы оба не привыкли сидеть взаперти и бездельничать. Мы целыми днями не видим пред собой ничего, кроме этого Капета, который всегда так таращит свои глаза, что просто вся душа перевертывается. Моя жена, Жанна Мария, которая теперь не может двинуться, привыкла работать и может заткнуть за пояс любую бабу. Мы оба участвовали во взятии Бастилии, были в Версале и доставили конвенту мальчишку Капета из Тюильери. Потом Жанна Мария была всегда первой у гильотины и, когда Сансон со своими помощниками приезжал на площадь, он всегда смотрел, тут ли гражданка Симон со своим вязаньем, на котором она отмечала число отрубленных голов. Мне сам Сансон говорил, что Жанна Мария — самая мужественная из всех женщин, она никогда не отворачивалась, сколько бы голов ни падало в корзину. Она была при том, как австриячка...

— Тише! — воскликнула Жанна Мария, быстро садясь на постели. — Не говори об этом, а то мальчик услышит и опять сделает такие страшные глаза. Не говори об этом ужасном дне; наверно, в той водке, которую мы тогда пили, был яд, потому что она до сих пор жжет мои внутренности и мое сердце. О, я умру от этого! — и она закрыла лицо руками и со стоном упала на подушки.

Симон покачал головой и тяжело вздохнул.

— Это не от того, — пробормотал он, — уверяю тебя, гражданин доктор, это не от того! Это от того, что Жанна Мария сидит без движения и без работы.

— Но если ты так уверен в этом, гражданин, почему же ты не откажешься? — спросил доктор Нодэн. — Почему ты не попросишь муниципалитет дать тебе другое место?

— Я уже два раза просил об этом,— закричал Симон, с бешенством ударяя кулаком по столу, так что на нем запрыгали все склянки,— я два раза просил об этом и оба раза получил ответ, что отечество требует, чтобы я оставался на своем посту и что никого нет, кто мог бы заместить меня.

— Это очень лестно и почетно,— заметил доктор.

— Да, но очень неприятно и тяжело,— воскликнул Симон.— Мы сидим, как в плену. Мы не смеем отлучаться из Тампля, потому что с тех пор, как умер старый Капет и проклятые легитимисты называют мальчугана королем Людовиком Семнадцатым, члены конвента очень обеспокоены. Они все боятся заговоров и опасаются, чтобы мальчишку не похитили, поэтому мы должны стеречь его день и ночь и не смеем отлучиться ни на минуту, чтобы не встретиться с другими людьми и чтобы легитимисты не подкупили нас. Мне даже не позволили пойти на большой праздник, когда захватили Тулана!

— Я согласен с тобой, гражданин,— задумчиво проговорил врач,— вся болезнь твоей жены происходит от того, что она живет здесь, в Тампле, и если она будет продолжать безвыходно сидеть тут, то она никогда не поправится.

— Да, я не поправлюсь, я все буду хворать,— простонала Жанна Мария, а затем вдруг поднялась на постели, с повелительным жестом повернулась к мужу и спросила: — Симон, доктор должен узнать, отчего я страдаю, он осмотрит мою грудь и то место, где у меня болит, но ты должен уйти.

— Ладно, ладно! — проворчал Симон— Скажите, пожалуйста, какие нежности!

— Это вовсе не нежности,— серьезно проговорил доктор,— ваша жена — порядочная женщина и хочет доверить свои недуги только доктору. Иди, гражданин Симон, и не сердись на свою жену за то, что она не хочет, чтобы ты слышал то, что она скажет старику-доктору.

— И не думаю,— ответил Симон,— а для того, чтобы вы оба видели, что я вовсе не любопытен и что мне вовсе не интересно знать, о чем вы будете говорить, я с мальчишкой уйду на башню и пробуду там целый час.

— Ты опять будешь бить его,— со слезами проговорила Жанна Мария,— а я услышу. Я теперь слышу все, что творится в Тампле, а когда ты бьешь мальчика, каждый удар отдается у меня в голове, и мне кажется, что она треснет.

— Обещаю тебе, Жанна Мария, что не трону его, я вовсе не буду обращаться на него внимания; пусть себе играет в мячик. Эй, Капет, пойдем! Бери мячик или что хочешь; можешь играть и веселиться.

Мальчик вошел; в руках у него был мячик, но вид у него был вовсе не веселый; он молча вышел из комнаты вслед за Симоном.

— Теперь мы одни,— сказал доктор,— можешь говорить мне обо всем, что у тебя болит и чем ты страдаешь, гражданка.

— Ах, доктор, я не смею,— пробормотала Жанна Мария,— я боюсь, что ты выдашь меня мужу, а тогда мне не сносить головы.

— Я не предатель,— торжественно проговорил доктор.— Врач — что священник: он выслушивает все жалобы и признания своих больных, но всегда свято хранит эти тайны. Чтобы ободрить тебя, я скажу тебе, что знаю болезнь, которой ты хвораешь, твои мучения хуже всех страданий; тебя мучит совесть и имя этой болезни — раскаяние.

Жанна Мария с отчаянным криком поднялась на постели и, схватив доктора за руку, крикнула:

— Ты лжешь! Это ужасная, постыдная клевета. Ты выдумал ее для того, чтобы подвести меня под нож. Я ни в чем не раскаиваюсь, моя совесть совсем чиста!

— И все же она жжет тебя адским огнем и грызет твою душу железными зубами,— мягко сказал доктор.— Не спорь, Жанна Мария, а выслушай спокойно то, что я скажу тебе. Мы будем говорить совсем тихо, чтобы даже стены не слышали нас.

Симон с мальчиком еще не вернулся с башни, когда доктор Нодэн окончил свой длинный и оживленный разговор с больной и собрался уходить.

— Теперь ты знаешь все, что нужно делать, гражданка,— сказал он, подавая ей руку,— ты можешь рассчитывать на меня, а я буду надеяться на тебя. Мы имеем пред собой великое дело, и, если оно удастся, у тебя станет опять легко на сердце, и Господь простит твои грехи. Исполни точно все, что я сказал тебе, и сегодня ночью поговори со своим мужем, но никак не раньше для того, чтобы он от страха не выдал себя.

— Я сделаю все, что вы сказали мне, доктор,— ответила Жанна Мария, забывая республиканское «ты».— Мне кажется, что мне уже стало лучше, после того как я облегчила пред вами свою душу. Если я останусь в живых, то только благодаря вам. Вы ведь придете завтра, доктор?

— Нет,— ответил он,— завтра я пришлю к вам человека, которому вполне можно довериться; он придет под видом моего ассистента; вы условитесь с ним относительно остального. Тише! Я слышу шаги Симона. До свидания!

Доктор поклонился Жанне Марии и поспешно вышел из комнаты. В коридоре он встретил Симона с его молчаливым маленьким воспитанником.

— Ну-с, гражданин-доктор,— сказал Симон,— как поживает наша больная? Она, верно, много наговорила тебе, потому что ты сидел у нее целый час. Твое счастье, что ты старик, а то я приревновал бы тебя к моей жене.

— Какой ты дурак! — с улыбкой проговорил доктор.— А я считал тебя умным и дельным человеком. Что же касается твоей жены, то я должен сказать тебе нечто важное, гражданин Симон, и советую тебе принять мои слова к сведению. Если твоя жена через неделю не выйдет из Тампля и не будет на свободе, то она сойдет с ума или наложит на себя руки. Скажу тебе еще больше: если ты, гражданин Симон, не оставишь как можно скорей этого проклятого места, то с тобой будет то же, что и с гражданкой Симон. Ты сойдешь с ума, и если ты сам не лишишь себя жизни, то это сделает за тебя чахотка.

— Чахотка? — с ужасом воскликнул Симон.— Ты думаешь, что у меня может сделаться чахотка?

— Зачатки ее уже есть в тебе,— торжественно ответил доктор.— Смотри, какие красные пятна у тебя на щеках; колотье в груди, которое так часто бывает у тебя, также предвещает ее начало. Повторяю тебе, что если ты не примешь мер, чтобы через неделю покинуть Тамплъ, то месяца через три ты будешь уже мертвым. Подумай о моих словах, гражданин, а дальше поступай, как знаешь.

— Он прав,— пробормотал Симон, провожая доктора взглядом, полным ужаса,— если я останусь здесь, я умру. Я хочу, я должен уйти отсюда! — закричал он.— Я не хочу здесь умирать, и Жанна Мария тоже не должна. Завтра я подам в отставку и баста!

В то время как Симон медленно и задумчиво возвращался к своей жене, доктор поспешно вышел на улицу и быстрыми шагами направился в больницу Отель Дье.

Привратник доложил Нодэну, что его ожидает тот же старик, который был вчера. Доктор кивнул головой и поспешил в свою квартиру, у дверей которой его ожидал слуга.

— Там ожидает старый доктор Сонье,— сказал он, снимая с Нодэна пальто,— он сказал, что непременно хочет посоветоваться с тобой относительно одного больного, гражданин доктор. Он сказал, что не уйдет до тех пор, пока ты не согласишься пойти с ним к больному; он очень плох, и одна надежда на великого доктора Нодэна; если

кто может спасти жизнь этому больному, то только ты, гражданин доктор.

— Какой ты дурак, что слушаешь такие глупости, гражданин Жоли! — со смехом проговорил доктор, входя в комнату. — И тем паче веришь им.

Старик, в таком же старомодном костюме, как у Нодэна, поднялся к нему навстречу и воскликнул:

— Слава Богу, наконец-то ты пришел, гражданин. Я ждал тебя с нетерпением; умоляю тебя пойти со мной к моему пациенту.

Нодэн, отворив дверь своего рабочего кабинета и приглашая доктора Сонье войти туда, ответил:

— Войди, гражданин Сонье, и расскажи, что с твоим больным.

Оба доктора вошли в кабинет и плотно закрыли за собой дверь. Спустя несколько времени дверь кабинета отворилась, Нодэн позвал слугу и приказал ему привести извозчика, а через несколько минут уехал вместе с доктором Сонье.

У одного дома на улице Монмартр они велели извозчику остановиться и вошли в подъезд. Привратник приветливо поклонился доктору Сонье.

— Это, вероятно, известный доктор Нодэн из Отель Дье? — спросил он, указывая на Нодэна.

— Да, это он, — ответил Сонье. — Если еще возможно спасти жизнь нашему бедному больному, то это может сделать только он. Гражданин Ораж дома?

— Да, он дома; он, как тебе известно, никогда не оставляет своего больного мальчика.

Оба доктора молча поднялись наверх и вошли в квартиру, дверь которой была не заперта.

Никто не встретил их; они тщательно закрыли дверь, заперли ее на задвижку и поспешно подошли к двери, ведущей в комнату.

Сонье трижды постучал в дверь и громко крикнул:

— Пришли доктора осмотреть больного.

Задвижка была отодвинута, дверь открылась и в ней показался высокий мужчина, сделавший докторам знак войти.

— Мы одни? — прошептал Сонье, входя в комнату.

— Да, совсем одни, — ответил хозяин квартиры, — в соседней комнате лежит мой больной мальчик, но вы знаете, что он ничего не сознает из того, что делается вокруг.

— Да, я знаю это, — печально проговорил Сонье. — Я обещал вам привести самого знающего врача во всем Париже и сдержал слово. Вот доктор Нодэн, главный врач больницы Отель Дье и преданный друг королевской семьи, которой мы

оба поклялись в верности до самой смерти. Доктор, — продолжал Сонье, — я не назвал вам имени того человека, к которому привел вас, это тайна; пусть он сам откроет ее вам.

— Господин Нодэн, — сказал хозяин квартиры, — я маркиз Жаржэ.

— Тот Жаржэ, который составил план побега королевской семьи из Тампля? — живо спросил Нодэн. — Маркиз Жаржэ, который, служа королеве, потерял свое состояние, рисковал жизнью для ее спасения? Так вы тот самый маркиз Жаржэ?

— Да, я тот самый. Благодарю вас за лестный отзыв, но я не могу принять эти комплименты в присутствии Тулана, самого мужественного и умного из людей, которого сама королева-мученица дала имя «Верный». Это имя и останется за ним навсегда.

— Да, вы правы, — сказал Нодэн, кладя руку на плечо Сонье, — он вернейший, благороднейший и мужественнейший из всех нас. Когда он пришел ко мне несколько дней тому назад, сказал мне, что он — Тулан и показал золотой флакон королевы, я сейчас же согласился на все его планы и предложения.

— Прошу вас, господа, не хвалите меня, — скромно проговорил Тулан, — и не называйте подвигами самых естественных вещей. Я посвятил королеве свою жизнь, свои мысли и чувства. Я поклялся быть ей верным до самой смерти и выполняю свою клятву. Я не мог спасти королеву, так приложу все старания, чтобы спасти ее сына. И надеюсь, что Господь поможет нам. Разве это не знак Божьего милосердия? Как раз в то время, когда мы тщетно ломали голову, изыскивая способ добраться до сына королевы, приходит привратник Тампля и просит доктора Нодэна прийти к заболевшей жене сапожника Симона?

— Да, это странное совпадение, — задумчиво проговорил Нодэн. — Я обыкновенно вовсе не чувствителен, но когда я увидел страдания и унижения сына нашей королевы, то поклялся приложить все старания, чтобы освободить его.

— Я тоже поклялся сделать это, — с воодушевлением воскликнул маркиз. — Королева умерла, но наша преданность к ней живет, и мы должны доказать ее сыну Людовику Семнадцатому! Я знаю, что полиция следит за мной, знает, кто скрывается под именем гражданина Ораж, и, по всей вероятности, только ради того не арестует меня, чтобы увидеть, с кем я имею сношения, чтобы захватить меня вместе с моими друзьями; мы должны не терять времени и не останавливаться ни перед чем, чтобы освободить молодого короля из рук его мучителей. Я нашел богатого покровителя, преданного слугу

покойной королевы, который согласен помочь нам. Если нам удастся спасти молодого короля, то в Вандее он найдет надежное убежище у принца, среди своих верных подданных. Главной и самой трудной нашей задачей является теперь освобождение Людовика из Тампля.

— С тех пор, как я заручился содействием Нодэна, — воскликнул Тулан, — я твердо уверен, что нам удастся освободить сына королевы Марии Антуанетты, молодого короля Людовика Семнадцатого. У меня в голове уже есть план, и, чтобы сделать его выполнение возможным, я просил доктора Нодэна осмотреть больного мальчика, который находится здесь, у маркиза. Теперь проводите нас к нему, маркиз.

Маркиз молча поклонился и ввел докторов в соседнюю комнату. Там на мягких тюфяках и подушках лежал мальчик лет десяти, с бледными, ввалившимися щеками, безжизненными голубыми глазами, с коротко стриженными белокурыми волосами и бессмысленным, тупым выражением лица. Мальчик неподвижно лежал на своей постели, и только порывистое дыхание, вырывавшееся из его впалой груди, доказывало, что он еще жив.

Доктор Нодэн наклонился к мальчику и стал внимательно осматривать и выслушивать его.

— Мальчик глухонемой? — обратился он к маркизу.

— Да, доктор, он глухонемой.

— Это ваш сын?

— Нет, доктор, это сын моей сестры, баронессы Тардиф, которая погибла на эшафоте вместе со своим мужем. Я взял этого мальчика на свое попечение; на время своего отсутствия из Парижа я отдал его людям, преданным нашей семье. Возвратившись, я узнал, что муж и жена казнены, а мальчик взят из милости какими-то соседями. Я сейчас же переехал с ним в эту квартиру, которую нанял на имя гражданина Оража.

Доктор Нодэн наклонился к больному и стал внимательно выстукивать и выслушивать его. Мальчик совершенно равнодушно относился к этому и только изредка тихо стонал, когда исследование причиняло ему боль.

— Маркиз, — сказал доктор, окончив свое исследование, обращаясь к маркизу, отошедшему к окну, — этот несчастный ребенок никогда больше не поправится; смерть была бы для него лучшим исходом.

— Бедное, несчастное создание! — со вздохом проговорил маркиз. — Я благодарю Бога, что Он избавил мою бедную сестру от страданий видеть своего ребенка в таком виде.

— Доктор Нодэн, — торжественно проговорил Тулан, — вы твердо убеждены в том, что этот ребенок не выздоровеет? Вы думаете, что смерть явится для этого несчастного создания избавлением и его жизнь представляет собой тягость, как для него, так и для других?

— Да, это мое мнение.

— Хорошо, — торжественно ответил Тулан, — я предоставляю этому мальчику высокое прекрасное назначение; его жизнь будет благодеянием для других, а смерть великой жертвой. Маркиз де Жаржэ, заклинаю вас именем короля Людовика Шестнадцатого, именем мученицы-королевы Марии Антуанетты и прошу вас разрешить мне распорядиться этим несчастным созданием и его жизнью по своему усмотрению.

Во время речи Тулана маркиз де Жаржэ подошел к постели несчастного мальчика и опустился на колени, закрыв лицо руками. После продолжительной паузы он поднялся с колен и произнес:

— Вы заклинали меня именем королевы Марии Антуанетты; вы требуете от меня, как от опекуна этого бедного создания, чтобы я передал его вам для того, чтобы он отдал свою жизнь за короля. Все члены нашей семьи были всегда готовы отдать свою жизнь, свою кровь, счастье и состояние за своих королей; я говорю от имени своей сестры, которая предпочла гибель на эшафоте измене королевскому дому, от имени всех своих предков: это последний отпрыск баронов Тардиф; возьмите его и распоряжайтесь его жизнью.

XXVI

Совещание

В ночь, следовавшую за вторым визитом доктора Нодэна, Жанна Мария имела продолжительный и оживленный разговор со своим мужем. При первых ее словах Симон страшно возмутился и пригрозил жене кулаком. Она спокойно посмотрела на него и тихо прошептала:

— Значит, тебе хочется вечно сидеть в этой проклятой тюрьме?

Симон опустил кулак и проговорил:

— Если бы я только знал, как выйти из этой поганой тюрьмы, то, конечно, с удовольствием ушел бы, с меня хватит этой постылой жизни. Если бы я знал средство...

— Такое средство существует, — перебила его Мария, — слушай!

Симон внимательно выслушал свою жену; во время ее убедительной и оживленной речи его лицо стало проясняться и с него как бы свалилась большая тяжесть.

— Если это удастся,— сказал он, потирая руки,— то я наконец освобожусь от этой тяжести, которая лежит на нем теперь день и ночь, и стану снова веселым человеком.

— А если не удастся,— прошептала Жанна Мария,— то самое большое — с нами будет то же, что уже было с тысячами людей, наши головы попадут в корзину, с той только разницей, что некому будет сделать отметку на моем вязанье. Но я скорей согласна умереть на гильотине, чем медленно издыхать здесь в тюрьме.

— Я тоже,— решительно проговорил Симон,— лучше умереть сразу, чем вести такую собачью жизнь. Пусть приходит завтра твой доктор, я поговорю с ним.

На следующее утро пришел доктор в длинной одежде и напудренном парике, чтобы навестить больную гражданку Симон. Часовые беспрепятственно пропустили его и вовсе не заметили, что сегодня под париком находится совсем другое лицо, чем вчера. Два муниципальных чиновника, встретившие доктора на лестнице, также не обратили на него особого внимания; они не знали в лицо доктора Нодэна, им было известно только, что один директор Отель Дье рискует ходить в таком наряде и что ему разрешено посещать больную гражданку Симон.

— Сегодня ты найдешь там двух пациентов,— мимоходом заметил один из чиновников,— мы предоставляем тебе, гражданин-доктор, заняться лечением и другого больного, маленького Капета. Он все молчит, не отвечает на вопросы и, по словам гражданина Симона, уже со вчерашнего дня ничего не ел. Осмотри его и выскажи свое мнение. Мы подождем тебя внизу, так что поторопись.

Они прошли мимо, а доктор поспешил наверх.

Симон встретил его у дверей своей квартиры.

— Ты слышал, гражданин? — спросил доктор. — Чиновники ждут меня внизу.

— Да, я слышал,— пробормотал Симон,— у нас немного времени! Иди!

Он впустил доктора в комнату и запер дверь.

Жена Симона лежала в постели и с любопытством взглянула на вошедшего.

— Кто вы? — спросила она, садясь. — Вы не доктор Нодэн, которого я жду; я не знаю вас.

Доктор молча подошел к постели и наклонился к больной.

— Я тот, который поможет тебе выйти из Тампля,— прошептал он,— меня прислал доктор Нодэн.

— Слушай,— сказала Жанна Мария входившему в эту минуту мужу,— освободитель здесь; он выведет нас из этого ада.

— Я освобожу вас,— решительно проговорил доктор,— только в том случае, если вы поможете мне освободить маленького Капета.

— Ради Бога, говори тише,— со страхом прошептал Симон,— если тебя услышат, мы все пропадем! Мы сделаем все, что вы потребуете, чтобы только вырваться из этой поганой тюрьмы, где мы погребены заживо.

— А эти сны, эти ужасные сны! — с ужасом пробормотала Жанна Мария.— Я не могу больше спать в этой ужасной тюрьме. Здесь каждую ночь бродит ужасная бледная женщина со страшными глазами и слушает у дверей, живы ли еще ее дети. Прошлую ночь она вошла в комнату и мимо моей постели прошла в камеру маленького Капета. Симон спал и ничего не видел, а я вскочила и потихоньку подкралась к двери, потому что боялась, не забрался ли сюда кто-нибудь чужой; я посмотрела в щелку и увидела, что маленький Капет спит на своем тюфяке, а лицо у него такое радостное и довольное, какого я у него еще никогда не видела; около него стояла на коленях белая фигура; она протянула руки над мальчиком и как будто благословляла его. Вдруг белая женщина встала и пошла прямо на меня; ее взоры впились в меня и как ножом стали резать мне сердце. Это был тот самый взгляд, который бросила на меня Мария Антуанетта, когда стояла на эшафоте. Она пошла прямо на меня и, вдруг подняв руку, погрозила мне, а ее глаза говорили: «Убийца!» Я не могла двинуться, не в силах была закричать; в голове у меня звенело это ужасное слово; я не могла отвести от бледной фигуры взор, пока наконец не лишилась чувств.

— Вот видите, доктор,— жалобно сказал Симон, в то время как его жена со стоном упала на подушки,— у нее опять начинаются судороги, а после них она дня два как помешанная и все бредит о белой женщине со страшными глазами, которые смотрят на нее. Ах, доктор, помогите ей!

Доктор вынул из кармана склянку и потер находившейся в ней жидкостью виски больной.

— Это, вероятно, знаменитые капли доктора Нодэна? — спросил Симон, с изумлением увидев, что его жена сразу успокоилась.

— Да, это они,— ответил доктор.— Нодэн посылает их вашей жене в подарок. Дай мне руку, гражданка, и встань; ты здорова. Пойдем к бедному ребенку, я хочу поговорить с вами.

Взяв Жанну Марию за руку, он пошел к двери камеры; Симон последовал за ними. Они молча вошли в мрачную каморку и подошли к матрасу, на котором лежал несчастный ребенок.

Он посмотрел на них широко раскрытыми глазами, но в этих глазах не было блеска и жизни. Доктор встал на колени около тюфяка и прижал губы к худенькой горячей ручке мальчика, однако Людовик Карл остался неподвижным и закрыл глаза.

— Вы видите, доктор, он ничего не слышит и не видит; он совсем безразлично относится ко всему, что творится вокруг. Он уже целую неделю не сказал ни слова.

— С того дня,— пробормотала Жанна Мария,— когда ты хотел заставить его петь песню, в которой издеваются над его матерью.

— Он не пел этой песни? — спросил доктор дрогнувшим голосом.

— Он крайне упрям! — запальчиво воскликнул Симон.— Сначала я просил его, потом грозил, потом, когда он не хотел слушаться, наказал, как полагается, но все было напрасно, дрянной упрямец не стал петь эту песню и с тех пор не проронил ни словечка. Он как будто стал глухонемым в наказание за свое непослушание.

— Но он вовсе не глух и не нем,— ответил доктор,— он только хороший сын, который не хотел петь такие скверные песни. Посмотри: из его глаз текут слезы, он слышал, понял все, что мы говорили, и отвечает слезами. Ваше величество,— с воодушевлением продолжал он,— памятью вашей матери клянусь вам в верности до самой смерти, клянусь, что пришел освободить вас и умереть за вас. Взгляните на меня и постарайтесь узнать меня!

С этими словами доктор вскочил, сбросил с себя парик и длинную одежду и остался в форме чиновника муниципалитета.

— Вот как! — воскликнул Симон.— Ведь это...

— Тише,— перебил его мнимый доктор,— тише! Пусть он сам скажет, кто я. Взгляните на меня, ваше величество!.. Докажите этим людям, что вы прекрасно понимаете все, что здесь совершается. Посмотрите на меня и скажите, кто я.

Он наклонился над ложем ребенка, все еще лежавшего с закрытыми глазами.

— Я же говорю вам, что он глух и нем,— проворчал Симон.

Наступила глубокая тишина; все с напряженным ожиданием смотрели на мальчика. Он медленно и с трудом открыл опухшие красные веки и бросил боязливый взгляд вокруг себя, затем внимательно посмотрел на наклонившегося к нему человека, и его лицо озарилось слабой улыбкой.

— Вы узнаете меня? Как мое имя? — спросил доктор.

Ребенок сделал попытку поднять руку и тихо, но ясно проговорил:

— Тулан! Верный!

Тулан бросился на колени и покрыл маленькую, худую ручку горячими поцелуями.

— Да, я Верный! — с рыданием проговорил он. — Это почетное прозвище дала мне сама королева; она написала его на бумажке и вложила во флакон, который подарила мне. Этот флакон для меня дороже всего на свете. Да, мой бедный мальчик; я Тулан, с которым ты так часто играл и смеялся в тюрьме.

Лицо Людовика озарилось счастливой улыбкой.

— Она тоже смеялась,— прошептал он,— моя мама-королева.

— Да, она тоже улыбалась, глядя на нас,— ответил Тулан, задыхаясь от рыданий. — Верь мне, сын королевы!.. Она смотрит теперь на нас с неба и улыбается, так как знает, что Тулан пришел спасти тебя... Теперь я спрашиваю вас, гражданин и гражданка, согласны ли вы помочь мне!

— Ты знаешь, Тулан,— быстро проговорил Симон,— мы согласны на все, если ты выполнишь наши условия. Достань мне хорошее место, дай немножко деньжонок, чтобы я мог жить беззаботно и, если мне не понравится новое место, уехать в деревню. Верни моей Жанне Марии ее здоровье, и я помогу вам спасти маленького Капета.

— Ты получишь хорошее место,— живо ответил Тулан,— да, кроме того, двадцать тысяч франков деньгами; что касается третьего условия, то я тоже уверен, что выполню его. Разве ты не знаешь, гражданин, чем больна твоя жена?

— Совсем не знаю. Ведь я не доктор.

— Твою жену мучит совесть: она не дает ей спать по ночам и вызывает пред ней образ белой женщины, глаза которой говорят: «Убийца!»

— Он прав, он прав,— простонала Жанна Мария, падая на колени. — Я виновата в ее смерти, потому что выдала Тулана, когда он хотел спасти ее. Я мучила ее, смеялась, когда она

взошла на эшафот, смеялась тогда, когда она посмотрела на меня своими ужасными глазами. С тех пор я не нахожу себе места. Клянусь убитой матерью этого ребенка, что я помогу спасти его. Клянусь всем, что есть святого на небе, что я наложу на себя руки, если не удастся вернуть ему свободу. Только тогда я выздоровею, когда помогу освободить его!

— Освободи его, Жанна Мария, — торжественно проговорил Тулан, — и его мать простит тебя, ее тень не будет больше беспокоить тебя ночью. А ты, гражданин Симон, согласен ли поклясться, что также поможешь нам освободить этого ребенка? Разве ты не знаешь, что и в твоей душе заговорила совесть?

— Знаю, — смущенно пробормотал Симон, — его кроткие глаза терзают мое сердце; надо поскорей отделаться от него, а то со мной будет то же, что и с моей женой, мне так же начнут являться привидения. Клянусь священной Республикой и своей свободой, что помогу вам и сделаю все, что в моих силах, чтобы освободить маленького Капета. Надеюсь, что ты удовлетворен моей клятвой, Тулан?

— Да, я удовлетворен, Симон, и верю тебе. Надо хорошенько обсудить план бегства. К тому же благодаря счастливому совпадению один из таможенных чиновников у заставы Мирон заболел и, вероятно, не выживет, так что его место досталось тебе, Симон. Слушай внимательно, что я скажу.

Они начали подробно обсуждать план действий. Было видно, что Людовик прекрасно понимает слова Тулана, — его лицо принимало все более и более оживленное выражение, он не сводил взора с мнимого доктора. Симон и его жена также остались вполне довольны его планом.

— Я сейчас же сделаю первые шаги для осуществления нашего плана, — сказал Тулан, приветливо кивая Симону и его жене и почтительно целуя руку Людовика.

— Верный, — прошептал мальчик, — вы думаете, что можно меня спасти?

— Я уверен в этом, мой дорогой принц; Господь поможет нам. Будьте здоровы и не меняйте своего безучастного отношения ко всему.

Тулан вышел из Тампля и направился в больницу Отель Дье, где имел долгое совещание с доктором Нодэном. По окончании его главный врач больницы поехал в здание, где заседал комитет общественной безопасности, и подробно изложил ему наблюдения, сделанные им в Тампле по приказанию комитета. Петион, бывший в этот день председателем последнего, внимательно выслушал доклад доктора Нодэна и

совершенно равнодушно отнесся к болезни маленького Капета, но зато очень заинтересовался рассказом о чете Симон.

— Гражданин Симон оказал важные услуги отечеству,— сказал Петион,— он принадлежит к вернейшим слугам единственной и нераздельной Республики; она должна позаботиться о нем, как самая нежная мать о своем сыне. Скажи же, гражданин Нодэн, что нужно сделать, чтобы возвратить здоровье гражданину Симону и его жене?

— Они оба заболели от одной и той же причины,— ответил Нодэн,— и оба поправятся, если переменят квартиру и образ жизни. Надо дать достойному гражданину Симону другое место, чтобы он мог пользоваться свободой, а не сидеть вечно в Тампле; его жена не должна постоянно слушать плач и писк больного Капета и находиться при нем неотлучно, как пленница. Надо вернуть им свободу, без которой они не могут жить так же, как и без воздуха.

— Да, это правда,— сказал Петион,— эти бедные люди ведут в Тампле очень невеселую жизнь и принуждены вдыхать воздух, отравленный последними отпрысками тиранов. Мы должны освободить их. Но как же поступить с Капетом?

— Если даже Симон останется в Тампле, ему не долго придется заниматься воспитанием маленького Капета,— сказал доктор Нодэн.

— Что ты хочешь сказать этим, гражданин доктор? — спросил Петион, причем в его глазах сверкнул радостный огонек.

— Я хочу сказать, что мальчик долго не проживет, потому что у него чахотка и размягчение мозга. Уже по одному тому следовало бы освободить Симона от его обязанностей, чтобы враги Республики не могли распустить слухи, что такой почтенный гражданин виноват в смерти маленького Капета. А для того, чтобы великой Республике не сделали подобного же упрека и не обвинили ее в бесчеловечном отношении к бедному, больному ребенку, следовало бы позаботиться о нем.

Лицо Петиона омрачилось; он испытующе посмотрел на доктора и произнес:

— Ты забываешь, доктор, что ребенок уже благодаря своему рождению — преступник, к которому Республика не может иметь сострадания.

— Для меня каждый больной — человек, достойный сострадания,— порывисто ответил Нодэн.— Подходя к его постели, я не размышляю, преступник ли он или нет, а только изыскиваю средство облегчить его страдания. Рес-

публика же подобна солнцу, которое светит одинаково всем, как праведным, так и грешникам, и преступникам.

— Что же ты хочешь, чтобы Республика сделала этому потомку тиранов? — с досадой спросил Петион.

— Я прошу немногого, — с улыбкой ответил Нодэн, — я хотел бы, чтобы мне было разрешено иногда навещать этого больного ребенка, чтобы я имел возможность немного облегчить его страдания своими лекарствами; кроме того, ему нужно хоть какое-нибудь развлечение; если невозможно доставить ему общество сверстников, то пусть ему дадут хоть какую-нибудь игрушку.

— Ты, кажется, хочешь, чтобы Республика снисходила до покупки игрушек заключенным преступникам? — с презрительной улыбкой проговорил Петион.

— Вы приказали мне навесить в Тампле больного мальчика и прописать лекарства, нужные для его выздоровления. Я не могу излечить его болезнь, но могу доставить некоторое облегчение его страданий. Одно из моих лекарств называется «игрушка», а дальнейшее не мое дело.

— Ты говоришь, что болезнь маленького Капета неизлечима?

— Неизлечима, гражданин.

— Ну, — сказал Петион с жестокой улыбкой, — в таком случае Республика может разрешить купить игрушку последнему из Капетов. Они в течение многих столетий играли счастьем народа и последнее, что Республика даст последнему из Капетов, будет также игрушкой. Гражданин доктор, твое заявление будет уважено. Первое освободившееся место, подходящее Симону, будет предоставлено ему, для того чтобы он имел возможность пользоваться свободой. Маленькому Капету будут даны какие-нибудь игрушки, а ты позаботишься о том, чтобы ему давали укрепляющие лекарства. Ты будешь наблюдать за ребенком до его смерти.

XXVII

Игрушка

На другой день в мрачную камеру маленького Капета было доставлено несколько игрушек и поставлено у постели больного. Но жена сапожника тщетно заставляла плясать картонных плясунов и лаять деревянных собак, ребенок даже не открыл глаз и не обращал никакого внимания на вещи, присланные комитетом.

— Надо будет попробовать что-нибудь другое,— сказал сострадательный чиновник.— Не знаете ли вы, гражданка, какая игрушка может порадовать маленького Капета?

— Дайте ему лошадь,— воскликнул Симон.— Я уверен, что если бы ему сказали, что на улице стоит живая лошадь, на которой можно покататься, то он сейчас же вскочил бы; он просто представляется!

— Ты очень суров, гражданин,— пробормотал чиновник, бросая на больного мальчика сочувственный взгляд.

— Суров? — злобно повторил Симон.— Но в этом виновата эта проклятая тюрьма. Если я останусь здесь еще неделю, то сойду с ума.

— Да, но ведь ты знаешь, гражданин, что это протянется недолго. Первое свободное место будет предоставлено тебе.

— Хоть бы уж поскорей,— со вздохом проговорил Симон,— если я через неделю уйду отсюда, то на радостях куплю маленькому Капету лошадь, конечно, не живую, а деревянную, на которой он будет кататься по комнате. Скажи-ка, маленький Капет,— закричал Симон, наклоняясь над мальчиком,— ты хотел бы иметь красивую деревянную лошадь?

По губам мальчика промелькнула слабая улыбка, он открыл глаза и тихо проговорил:

— Да, я очень хотел бы иметь деревянную лошадку и очень обрадовался бы ей.

— Ну, гражданин,— торжественно воскликнул Симон,— ты свидетель; если я получу другое место, я подарю маленькому Капету лошадь. Ты разрешишь мне это, гражданин?

— Разрешаю, гражданин Симон, и доложу об этом комитету, чтобы потом не было никаких недоразумений. От души желаю тебе, гражданин Симон, чтобы твои желания поскорее исполнялись и чтобы ты поскорей освободился от своих тяжелых обязанностей.

К великому удовольствию Симона, это освобождение не заставило себя долго ждать. Уже через несколько дней предсказание доктора Нодэна исполнилось, и таможенный служащий, лежавший в больнице Отель Дье, умер. Директор больницы поспешил уведомить об этом комитет, и на другой день Симон был назначен преемником умершего.

Тот же самый муниципальный чиновник, который приносил игрушки больному ребенку, пришел, чтобы сообщить Симону новость; она была встречена большой радостью и бурным восторгом.

— Мы уедем отсюда,— ликовал Симон,— немедленно же. Наши вещи уже уложены и все готово.

— Вам придется подождать до завтра, друзья мои,— с улыбкой ответил чиновник.— Твой преемник, гражданин Симон, может прибыть только завтра в десять часов утра.

— Это печально! — со вздохом проговорил Симон. — Время до завтрашнего дня покажется нам бесконечно долгим. Уверяю тебя, гражданин, Тамплъ мог бы обойтись эту ночь и без меня. Обе женщины там наверху заперты крепко, а маленького Капета даже и запирасть не надо: он будет все так же безучастно лежать на своем тюфяке.

— Ребенок, значит, очень болен? — с участием спросил чиновник.

— Не то, чтобы очень болен, — равнодушно ответил Симон, — но доктор Нодэн, который приходит каждый день, говорит, что у него голова не совсем в порядке, и велел обстричь ему волосы, чтобы голове было легче. Жанна Мария обстрижет его, и затем прощайте! Мы уедем!

— Разве больше ты ничего не должен сделать для маленького Капета? — строго спросил чиновник.

— Нет, — со смехом ответил Симон, — ах, я было и забыл!.. Ведь я обещал купить ему лошадь!

— Очень рад, гражданин Симон, что ты вспомнил свое обещание. Должен тебе сказать, что комитет, которому я сообщил о твоём обещании, был очень заинтересован вопросом; не забудешь ли ты его; вследствие, этого мне и было поручено передать тебе о новом назначении, чтобы потом доложить комитету. Поди и купи маленькому Капету обещанную лошадь, а завтра утром ты можешь занять свое новое место.

— Не успеет пробить десять часов на соборе Богоматери, как мы уже выберемся отсюда со всем своим скарбом, — со смехом ответил Симон, — а теперь я побегу, чтобы исполнить свое обещание.

Он надел красный фланелевый колпак на свои черные всклокоченные волосы и быстрыми шагами вышел из Тампля. Проходя мимо привратника последних ворот, выходящих на улицу, Симон остановился и вступил с ним в дружеский разговор. Он сообщил ему о новом назначении и о своём обещании.

— Не удивись, гражданин, — продолжал Симон, — если увидишь меня потом с лошадью; к сожалению, только не она повезет меня, а мне придется тащить ее. Я имел глупость обещать это и теперь приходится держать слово, тем более, что комитет разрешил мне.

— В таком случае я пропущу тебя с лошадью, даже если ты придешь поздно, — важно проговорил привратник. — Без разрешения комитета я не пропустил бы тебя, потому что вовсе не хочу рисковать головой.

— Я вполне понимаю тебя, дружище, — ответил Симон с довольной улыбкой, — мы хоть знаем, что имеем здесь, а куда

нас отправит маленькая машина, никому не известно. Впрочем, ты можешь спросить муниципального чиновника Роже-ра, разрешено ли мне принести в Тамплъ деревянную лошадь.

Приветливо кивнув привратнику, Симон вышел на улицу, а когда дверь закрылась за ним, быстрым взглядом оглянулся вокруг. На углу ближайшей поперечной улицы беспечно стоял молодой посыльный и, казалось, ждал какого-нибудь поручения.

Симон быстро перешел улицу и подошел к посыльному.

— Ну-с? — громко спросил тот. — У тебя есть работа для меня, гражданин?

— Да, — тихо ответил Симон, — да, Тулан, работа есть. Завтра утром в десять часов я покидаю Тамплъ.

— Я это знал, — прошептал Тулан, — говори громко! Там стоит человек, который, кажется, наблюдает за нами.

— Пойдем-ка, пойдем со мной, гражданин, в игрушечный магазин! — громко закричал Симон. — И помоги мне снести мою покупку, мне одному не донести ее.

Посыльный Тулан беспрекословно последовал за ним. На углу улицы Гельдер он толкнул другого посыльного, стоявшего у стены.

— Прости, гражданин, — громко сказал он и шепотом добавил: — Завтра утром в десять часов. Прачка примет грязное белье у ворот. Ровно в десять часов мальчики должны выехать. Лошадь должна быть приготовлена.

— Хорошо, — ответил другой посыльный и с равнодушным видом пошел по улице Гельдер.

На улице Вивьен посыльный вошел в помещение большого игрушечного магазина.

Приказчик вежливо спросил, что ему угодно.

— Прежде всего разреши мне сесть, гражданин, — сказал посыльный, опускаясь на стул, стоявший пред прилавком, — а потом, если хочешь оказать мне благодеяние, дай мне стакан воды.

— Эй, Жан, — крикнул приказчик мальчику, — принеси гражданину стакан воды из колодца, поскорей!

Мальчик взял стакан и выбежал на улицу.

Тогда посыльный произнес:

— Через четверть часа они будут тут; уведоьте, пожалуйста, маркиза.

— Столяра Ламбера, хотите вы сказать? — прошептал приказчик. — Он живет напротив и стоит у двери, ожидая знака.

— Так подайте ему его, дорогой барон, — сказал посыльный.

В эту минуту вернулся мальчик с водой, и посыльный взял у него стакан.

Приказчик между тем подошел к двери, вынул из кармана синий платок с красной каймой и стал медленно и торжественно сморкать себе нос.

Человек в блузе, стоявший на другой стороне улицы, у дверей низенького домика, кивнул головой и вошел в дом.

— Так, — проговорил посыльный, — теперь, когда я немного отдохнул и выпил воды, я могу сказать вам, почему я так бежал. Я послал к вам гражданина, который хочет купить хорошую игрушку; он приведет с собой посыльного. Теперь я хочу знать, сколько процентов ты мне дашь с его покупки; ведь ты не можешь требовать, гражданин, чтобы я даром рекомендовал тебе покупателей?

— Я не хозяин магазина, а только приказчик, — ответил приказчик, пожимая плечами, — и не могу раздавать наград. Спроси мальчика, давал ли хозяин в таких случаях на чай; он служит здесь дольше, чем я.

— Господин Дюваль давал два сантима с франка каждому комиссионеру, который приводил ему покупателя, — важно проговорил мальчик.

— В таком случае и я дам тебе два сантима с франка, конечно, если ты, гражданин, купишь не меньше, чем на франк.

— Ага, вот и мой покупатель! — воскликнул посыльный, указывая на Симона, входившего в магазин вместе с Туланом. — Ну-ка, гражданин, сделай побольше покупок. Чем больше ты купишь, тем приятнее.

— Я думаю, — со смехом ответил Симон, — дайте мне, пожалуйста, лошадь, только самую лучшую, породистую.

— К сожалению, у нас остался небольшой выбор этих игрушек, но мы уже сделали заказ, и если ты согласен подождать несколько дней...

— Несколько дней! — перебил его Симон. — Я не хочу ждать даже нескольких минут. Если у тебя нет таких лошадей, то я пойду в другое место.

Он повернулся к двери, но приказчик остановил его.

— Подожди немного, мне не хочется упускать покупателя. Столяр, которому мы заказываем лошадей, живет напротив; наш заказ должен быть готов завтра; может быть, у него уже есть готовые лошади, я пошлю к нему мальчика справиться.

— Мы пойдем с ним, — сказал Тулан, — это будет скорее.

— Правда, это будет гораздо проще, — воскликнул Симон, — пойдем, гражданин!

— Я пойду с вами, чтобы назначить цену, — сказал приказчик. — Эй, Жан, становись-ка вместо меня за прилавок.

Симон и Тулан перешли через улицу, приказчик со старым посыльным следовали за ними.

— Почему вы не удалили мальчика, граф Сэн-При? — спросил последний.

— Это было невозможно, граф Фроттэ, — прошептал приказчик. — Дюваль очень боязлив и думал, что удаление мальчика, известного всем в околотке, может вызвать подозрение. Может быть, он и прав, а теперь все имеет совсем невинный вид; даже хитрый мальчик ничего не приметил. Значит, вы завтра утром выезжаете в Лондон?

— Да, а вы, граф?

— Я поеду в Кобленц, к принцу, — ответил граф Сэн-При. — Только я боюсь, что мы не достигнем цели своего путешествия.

С этими словами они вошли в дом столяра, где застали Симона и Тулана в оживленных переговорах со столяром и его подмастерьем, которые показывали и расхваливали шесть лошадей, расставленных вмастерской.

— Мне кажется, что они все одинаковы, — сказал Симон. — Скажи-ка, гражданин посыльный, которая из этих кровных лошадей нравится тебе больше всех?

— Вот эта, с красной уздой, — сказал Тулан, кладя руку на шею самой большой лошади.

— Какая большая, черт возьми? — со смехом сказал Симон. — Но красная узда, правда, хороша. Если мы сойдемся в цене, то я согласен взять эту лошадь.

Сторговались. Симон с важным видом заплатил двадцать франков, взял вместе с посыльным Туланом лошадь на плечи и пошел.

— Все эти люди посвящены в тайну? — спросил Симон, идя по улице.

— Нет, гражданин, только столяр; он завтра выезжает из Парижа и свезет принца в безопасное место.

— Ради Бога, не говори так громко! — пробормотал Симон, бросая вокруг беспокойные взгляды. — Почему ты сам не уедешь из Парижа, где тебе постоянно грозит опасность?

— Я не имею права.

— Ты не имеешь права? Кто же запрещает тебе?

— Клятва. Я поклялся королеве Марии Антуанетте спасти из Тампля ее детей или умереть.

— Завтра ты, Бог даст, исполнишь свою клятву и, значит, можешь уехать.

— Завтра я выполню только половину. Если мой план удастся, то завтра я с твоей помощью освобожу сына короле-

вы, а дочь останется в тюрьме. Я не могу покинуть Париж, пока не освобожу ее.

— Я предпочел бы, чтобы ты уехал вместе с мальчиком и никогда не возвращался в Париж,— задумчиво проговорил Симон.

— Почему же, гражданин? Разве ты не доверяешь мне?

— Я никому не доверяю,— мрачно проговорил Симон,— когда-нибудь, когда тебе это будет выгодно или ты таким путем сможешь спастись, ты можешь выдать меня.

— Ведь я могу опасаться того же, Симон; ты тоже можешь выдать меня.

— Я? Ты знаешь, что я буду остерегаться произнести хоть слово относительно всей этой истории; это значило бы погубить самого себя. Но тише, пожалуйста, тише! Вот уже стены Тампля; мне кажется, что они злобно косятся на меня и говорят: «Предатель». Ах, Тулан, какая скверная вещь — нечистая совесть!

— Помоги мне спасти принца, Симон, и твоя совесть не будет больше мучить тебя.

— По-твоему, так,— пробормотал Симон,— но конвент смотрит на это совсем иначе. Однако теперь поздно раздумывать, мы уже пришли.

Он трижды ударил кулаком в закрытые ворота первого двора. Привратник отпер и беспрепятственно пропустил Симона и его спутника, сообщив, что муниципальный чиновник дал особое разрешение на пропуск лошади.

— Но об этом посыльном, которого ты привел с собой, он ничего не говорил,— задумчиво продолжал привратник.— Я могу разрешить ему донести лошадей только до второго двора. В Тамбль он входить не смеет.

— Да я вовсе и не желаю входить в тюрьму,— проговорил посыльный.— Ведь попасть-то в нее легко, а выйти трудно. Ну-ка, гражданин, живей!

Они пошли дальше во второй двор.

— Осторожность прежде всего, помни это! — прошептал Тулан.— Завтра утром я буду стоять на углу в этом же костюме; ты позовешь меня, чтобы помочь тебе переезжать.

— Ох, хоть бы все поскорей прошло! — простонал Симон.— У меня в голове сумбур, а сердце бьется, как у молодой девушки.

— Мужайся, Симон, подумай о том, что завтра ты будешь свободным и богатым человеком. Как только ты передашь прачке у заставы Макон узел с бельем, ты получишь двадцать тысяч франков и...

— Стой! — воскликнул часовой у ворот Тампля.— Никто не смеет входить сюда без пропуска.

— Может быть, гражданин, ты потребуешь, чтобы моя лошадь также предъявила тебе пропуск,— со смехом воскликнул Симон.

— Чепуха! Я говорю о посыльном.

— Он и не собирается входить,— ответил Симон.— Но посмотри на него хорошенько, завтра он придет помогать мне переезжать. Приведи с собой телегу, гражданин, а теперь помоги мне взвалить лошадь на плечи. Ну, до завтра!..

— До завтра! В десять часов я буду у ворот,— ответил мнимый посыльный, медленно возвращаясь по двору.

Около ворот он остановился и вступил в разговор с привратником, говоря, что на другое утро придет помогать Симону, и равнодушным тоном спросил, назначен ли уже последнему преемник.

— Не собираешься ли ты занять это место? — ворчливо спросил привратник.

— Я? Сохрани Бог! Я вовсе не хочу такого места; там, в тюрьме, наверно, ужасный воздух.

— Да,— ответил привратник,— а потому завтра, когда Симон выедет, там будет произведена основательная чистка; его преемник въедет только после полудня.

— Ну, я не завидую ему,— засмеялся Тулан.— До свиданья, гражданин, завтра мы опять увидимся.

Он вышел на улицу и медленно пошел по ней. На одном из перекрестков стоял нищий; мнимый посыльный подошел к нему и подал ему милостыню.

— Сделано? — тихо спросил нищий.

— Да, господин маркиз; слава Богу, до сих пор все шло хорошо. Лошадь в Тампле и ничего не открыто.

— Хотя бы Бог помог нам и завтра,— пробормотал нищий.— Вы уверены, что все будет выполнено в точности?

— Уверен. В то время как вы покинете Париж под видом прачки, наши союзники выедут из других ворот в приличных экипажах.

— И вы, Тулан, явитесь спасителем короля Франции,— прошептал нищий.— Будьте уверены, что Франция впоследствии отблагодарит вас!

— Не надо мне никаких благодарностей. До завтра у заставы Макон.

Маленький Людовик отнесся с несколько большим интересом к лошади, принесенной Симоном, чем к другим игрушкам; он даже приподнялся на матрасе и бросил долгий, испытующий взгляд на красивую, стройную лошадку.

— Ну? — спросил муниципальный чиновник, вошедший вместе с Симоном.— Как тебе нравится эта лошадка, маленький Капет?

Мальчик молча кивнул головой и протянул руку к лошади, делая попытку подняться.

— Завтра, маленький Капет,— воскликнула Жанна Мария,— сегодня ты должен лежать совсем смирно, как велел доктор. А теперь я обстригу тебе волосы. Гражданин,— продолжала она, обращаясь к чиновнику,— я хотела бы, чтобы ты присутствовал при этом, потому что его лицо, вероятно, совсем изменится, и можно будет подумать...

— Что это, совсем не тот мальчик, который так измучил нас,— со смехом перебил ее Симон.— Пожалуй, скажут, что мы так полюбили его, что забрали с собой!

— Никто не может заподозрить верного республиканца Симона в таком вероломстве,— сказал чиновник,— да, кроме того, мальчик ведь останется здесь. Не беспокойся, Симон! Если я увижу завтра перемену в мальчике, то буду знать, отчего она происходит.

— «Буду знать, отчего она происходит!»,— повторил Симон, глядя вслед уходившему чиновнику.

— Запри дверь, Симон,— прошептала Жанна Мария,— надо освободить мальчика, а то он, пожалуй, задохнется.

— Нет, нет! — воскликнул Симон.— Он не задохнется; там, под седлом, всюду сделаны отверстия. Но надо быть как можно осторожнее! Вдруг дежурному чиновнику вздумается сделать обход, что тогда? Можно сделать так, чтобы мальчику не было душно.

Он осторожно снял седло и послушал у отверстия, находящегося под ним.

— Он дышит совсем ровно и спокойно,— тихо сказал Симон,— и, кажется, спит. Возьми-ка седло, Жанна Мария; при малейшем шуме ты опять наденешь его, а я немного поукладываю наши вещи.

Когда дежурные чиновники и часовые сделали свой последний обход и удалились на ночь в свое помещение, в комнате Симона началось необычайное движение.

Жанна Мария, до того времени лежавшая одетая на постели, встала, а Симон, послушав у двери, подошел к тюфяку Людовика и велел ему вставать.

Ребенок, совершенно излечившийся теперь от своего равнодушия и апатии, тотчас же вскочил и стал исполнять дальнейшие приказания Симона. Последний достал из-под своего матраса грубую куртку и панталоны и велел мальчику надеть их.

— Посмотри-ка, Жанна Мария, с этими длинными волосами он вовсе не похож на сына прачки, надо обстричь его. Жанна Мария содрогнулась.

— Я не могу,— пробормотала она,— мне кажется, что я отрезаю ему голову, белая женщина будет опять стоять за мной.

— Опять эти глупости! — пробормотал Симон.— Давай ножницы, я сам сделаю это; надо отрезать ему волосы, прежде чем он попадет в корзину. Ну, ну, не пугайся так, Жанна Мария, не в гильотинную, а в твою бельевую.

Симон взял большие ножницы, сел на скамейку поближе к свечке и сказал:

— Поди сюда, Капет.

Мальчик нерешительно подошел к нему и боязливо сжался, когда Симон схватил его и поставил между коленей.

— Не сделай ему больно, Симон,— пробормотала Жанна Мария,— подумай о том, что она здесь и все видит.

Симон невольно оглянулся, а затем произнес:

— Слава Богу, что мы уезжаем отсюда, а то и я, пожалуй, скоро с ума сойду; давай сюда свою голову, Капет!

Мальчик робко подчинился.

— Чего же ты плачешь? — спросил Симон, срезая с головы ребенка его густые локоны.

— Мне так жалко моих волос, мастер!

— Ах ты, обезьяна! Ты, вероятно, воображаешь, что твои волосы очень хороши?

— Нет, мастер,— сквозь слезы печально проговорил мальчик,— я люблю свои локоны, потому что она целовала их в последний раз, когда я ее видел.

— Кто она? — сурово спросил Симон.

— Моя мама-королева,— сказал Людовик таким нежным голосом, что Жанна Мария прослезилась.

— Тише! — сказал Симон.— Ты никогда не должен называть так свою мать; с завтрашнего дня ты сын прачки. Помни это. Теперь готово! Собери волосы с пола, Жанна Мария, и положи их на стол, чтобы чиновник увидел их и не удивлялся, если не узнает мальчика. Теперь попробуем, влезет ли Капет в корзину.

Корзина была принесена, и Симон велел мальчику лечь на дно.

— Прекрасно! — сказал он жене.— Положи сверху немного грязного белья; пусть сидит Капет там ночь, а то еще чиновникам взбредет в голову сделать ночной обход. Теперь вынем из лошади его преемника.

Симон подошел к лошади, вынул винт, скрытый под украшениями упряжи, и снял верхнюю половину лошади.

Внутри лежал, свернувшись комочком, бледный больной мальчик, племянник маркиза де Жаржэ. Жанна Мария взяла свечу и осветила ребенка.

Маленький Людовик выглянул из своей корзины и с любопытством устремил свои голубые глаза на больного мальчика.

— Он совсем не похож на королевского сына, — пробормотала Жанна Мария, внимательно всматриваясь в бледное, сморщенное лицо идиота.

— Надо скорей одеть его, — прошептал Симон. — Вставай-ка, мальчик!

Он стал трясти больного, тот медленно открыл глаза, но не двинулся.

— Ты забыл, что он глухонемой, — сказала Жанна Мария.

— Правда, забыл. Давай сюда одежду, Жанна Мария, нарядим нашего принца.

Они общими усилиями надели мальчику костюм Людовика, который не сводил взора с больного ребенка.

— Так, — сказал Симон, укладывая глухонемого на тюфяк Людовика, — сиди смирно, Капет, в своей корзинке! Видишь, твое место теперь занято.

— Мастер, — робко проговорил Людовик, — могу ли я задать тебе один вопрос?

— Спрашивай, безымянное создание.

— Мастер, этот мальчик умрет, когда меня спасут?

— Что ты хочешь сказать этим?

— Если этот бедный мальчик должен умереть из-за меня, то лучше я останусь, если...

— Ну, договаривай, договаривай. Что же, ты хочешь остаться здесь?

— Да, мастер, если его будут бить и мучить вместо меня, и он умрет, то я лучше останусь; я не хочу, чтобы другого били из-за меня, это нехорошо и...

— Ты глупый мальчик, — сказал Симон, грозя ему кулаком, — и сам не знаешь, что говоришь. Только посмей еще разговаривать!.. Я забью до смерти тебя и этого мальчишку. Сейчас изволь спрятаться в корзину и не смей нос показывать. Слышишь!

Людовик поспешно юркнул в корзину; когда Жанна Мария через несколько минут осторожно приподняла крышку, она увидела, что Людовик стоял на коленях на дне глубокой корзины, подняв к небу сложенные ручонки.

— Симон, — прошептала она, — Симон, не смейся надо мной и не брани меня! Вы говорите, что Бога нет и Республика упразднила Бога и церковь, но дай мне хоть один раз стать на колени и помолиться, как молится сейчас маленький Капет и молилась австриячка на эшафоте.

Не выжидая ответа мужа, Жанна Мария опустила на колени около корзины и прошептала:

— Людовик, слышишь ли ты меня?

— Да, я слышу тебя, гражданка,— прошептал мальчик.

— Прости меня, умоляю тебя,— прошептала Жанна Мария.— Я очень виновата пред тобой, но раскаяние овладело мной и не давало мне покоя ни днем, ни ночью. Прости меня, сын королевы, и помолись, чтобы твоя мать простила меня.

— Я помолюсь за тебя, и моя мама-королева простит тебя, ведь она была добра и всегда учила меня, что надо прощать своим врагам; я должен был поклясться моему дорогому папе, что забуду и прощу людям все зло, которое они причинили нам.

Жанна Мария опустила голову и зажала рот руками, чтобы заглушить крик, готовый вырваться из ее груди.

Мало-помалу в мрачной комнате Симонов все успокоилось. Шепот в корзине затих, Жанна Мария тихо пробралась к своей постели и заснула; на тюфяке стонал больной ребенок, преемник Людовика, спокойно спавшего на дне корзины. Один только Симон не спал; его, по-видимому, мучила какая-то неотвязная мысль. Он сидел на скамейке, около догоравшей свечи; его лоб был наморщен, а глаза с выражением злобы и угрозы были устремлены в пространство.

— Это должно быть,— пробормотал он наконец,— иначе я ни минуту не буду иметь покоя. Один из нас должен умереть, чтобы не выдал другого. Я не хочу быть одним из них — значит, им будет Тулан.

Он встал с видом человека, принявшего непоколебимое решение, и, кинув взгляд на больного ребенка, бросился на постель; протяжный храп скоро возвестил, что мастер Симон заснул.

На следующее утро в нижнем этаже Тампля царило необычайное оживление; вещи Симона поспешно выносили на наружный двор и нагружали на телегу, приготовленную посыльным Туланом. Около воза стоял член комитета и осматривал каждый вынесенный предмет, открывал всякий ящичек и корзинку.

— Пожалуйста, гражданин, осматривай все хорошенько,— говорил Симон, приветливо кивая чиновнику.— Ведь в Республике мы все равны, а потому почему бы мне не подвергнуться сегодня тому, что я сам буду делать завтра с другими. Ведь ты знаешь, что я назначен таможенным чиновником к заставе Макон и отныне тоже буду переворачивать вещи всех вас. Кажется, уже все? Там осталась еще корзина с платьем и бельем моей жены; вон она несет его с посыльным; это ее святыня.

Жанна Мария вошла во двор, неся на веревках вместе с посыльным большую корзину; крышка корзины была полуоткрыта, и из нее выглядывали различное женское платье и платки.

— Посторонись,— со смехом закричал Симон,— дай место гражданке Симон и ее драгоценному приданому!

— Не смейся, пожалуйста! — сказала жена, грозя ему кулаком.— Если мое имущество, по-твоему, не достаточно хорошо, то купи мне новые вещи!

— Гражданка, твое приданое восхитительно,— засмеялся Симон.— Давай я помогу посыльному поставить его на телегу, а то тебе очень тяжело!

Он схватил корзину и вместе с посыльным в один миг поставил ее на телегу.

— Пойдите, пойдите, дайте мне раньше осмотреть корзину! Ты же знаешь, гражданин, что таково требование закона.

— В таком случае, гражданин, потрудись влезть на телегу; ведь ты не станешь требовать, чтобы мы опять стаскивали такую тяжелую штуку,— спокойно проговорил Симон.

— Хорошо, гражданин, я не требую этого, но должен осмотреть корзину; это моя обязанность.

Чиновник прыгнул на телегу, но Жанна Мария уже предупредила его и, открыв корзину, поддерживала крышку.

— Осмотри ее, гражданин,— с достоинством проговорила она,— и убедись, что здесь находятся только мои платья, а потом доложи Республике, что ты счел нужным осмотреть корзину известной вязальщицы гильотины, как будто Жанна Мария — переодетая герцогиня, собирающаяся уйти из рук правосудия.

— Прошу прощения, гражданка, но такова моя обязанность...

Жанна Мария сняла платья, лежавшие сверху, и показала их чиновнику.

— А ниже что лежит на дне корзины?

— Ниже? — воскликнула Жанна Мария с негодованием.—

Ниже лежит мое грязное белье; я надеюсь, что Республика не сочтет нужным осматривать его; я этого не допущу и позову тогда на помощь всех своих товаров*.

— О, тебе это не понадобится, гражданка,— ответил чиновник, спрыгивая с телеги,— я вовсе не хочу быть нескромным.

* Слова жены Симона, переданные ею самой в 1819 г. монахиням, ухаживавшим за ней во время ее смертельной болезни. Монахини открыто и под присягой повторили эти слова Жанны Марии (умершей в 1819 г. в больнице на улице Сэв, в Париже) пред судом в 1851 г. во время процесса против герцога Нормандского, обвинявшегося в том, что он обманным образом выдавал себя за Людовика XVII. Это обвинение осталось недоказанным.

Жанна Мария с недовольным лицом стала закрывать корзину и укладывать вещи.

— Можно ехать? — спросила она, садясь рядом с корзиной.

— Если гражданин-чиновник ничего не имеет против, то можно, — ответил Симон, — вещи все на возу.

— Поезжайте, — сказал чиновник, — желаю тебе и твоей жене всего хорошего на новом месте.

Воз тронулся; рядом с косматой лошастью шел посыльный, помогая ей на поворотах. Симон шел около телеги, окидывая ее хозяйским оком и по временам поправляя то одну, то другую вещь, сдвинувшуюся от тряски. На возу около своей корзины восседала Жанна Мария, а в корзине под грязным бельем и платьем лежал Людовик Семнадцатый, сын Марии Антуанетты.

Это было 19 января 1794 г.

В этот день сестра Людовика Тереза, которая со своей теткой еще жила в верхнем этаже Тампля, записала в своем дневнике.*

«19 января мы слышали внизу, в помещении брата, большой шум, заставивший нас предположить, что мой брат покидает Тампль; посмотрев в замочную скважину, мы увидели людей, носивших вещи. На следующий день мы слышали шаги и хлопанье дверей в комнате, занимаемой братом, что подтверждало наши предположения».

Между тем воз медленно подвигался по улицам, не возбуждая ничего внимания; только иногда к мнимому посыльному Тулану подходил какой-нибудь его товарищ по профессии, кланялся ему как знакомому и спрашивал, как он поживает, на что тот отвечал, что ему живется хорошо и что он теперь помогает Симону при переезде к заставе Макон.

Посыльные желали ему успеха и счастливого пути и шли своей дорогой, повторяя слова Тулана всем своим встречным приятелям. Таким образом известие быстро распространилось среди друзей Людовика.

Получив это известие, граф Фроттэ, богатый легитимист, которому было разрешено жить в Париже, тотчас же велел подать свой дорожный, запряженный прекрасными лошадьми, экипаж, который уже с полчаса ждал на дворе. Экипаж был подан и в нем поместились граф Фроттэ, закутанный в дорожную шубу, и хорошенький мальчик лет десяти с коротко стриженными белокурыми волосами, на

* Он вышел впоследствии под названием «Recit des evenements, arrives au Temple, par Madame Royale».

которых красовалась бархатная шапочка, он был в длинном бархатном пальто, закрывавшем его ножки в красивых башмаках с пряжками.

Граф очень заботливо относился к мальчику и, поместившись в экипаже, стал тщательно укутывать его одеялом и пледами.

— По дороге в Пюи,— крикнул граф дворецкому, захлопывавшему дверцу экипажа.

— По дороге в Пюи,— громко повторил дворецкий кучеру, и экипаж, стуча колесами, выехал со двора.

Слуги смотрели ему вслед, пока он не исчез за поворотом.

— Я вам скажу кое-что,— с важным видом сказал дворецкий, обращаясь к слугам,— только дайте мне слово никому не болтать!

Слуги торжественно дали требуемое слово, и дворецкий продолжал:

— Господин граф уехал в путешествие, которое должно оставаться в тайне, а потому, если вас кто спросит, где граф, отвечайте, что не знаете. А главным образом не болтайте о том, что граф уехал не один, а с маленьким барином, имя которого мне так же мало известно, как и вам. Обещайте исполнить мои слова.

Слуги обещали и разошлись.

Дворецкий с особым вниманием посмотрел на одного из них и произнес:

— Это шпион комитета общественной безопасности, в этом я убежден, он, вероятно, сейчас же побежит докладывать об отъезде графа с каким-то мальчиком, а этого только нам и надо! Пусть эти проклятые ищейки бегут по ложным следам. Господин Морэн дал моему барину для этого своего единственного сына!

Между тем воз с пожитками Симона добрался до заставы Макон. Недалеко от заставы у здания таможни стояла женщина в опрятном костюме прачки из деревни Ванн, которая уже тогда (как и теперь) служила местопребыванием прачек Парижа.

— Эй,— воскликнула прачка, помогая Жанне Марии сойти с воза,— наконец-то ты приехала, гражданка! Ты велела мне прийти к одиннадцати часам, а теперь уже час. Мой муж и сын, наверно, совсем заждались меня!

— Прости, гражданка,— ответила Жанна Мария,— мы ехали очень тихо, чтобы не растерять вещей; не буду тебя больше задерживать, гражданка, и сейчас дам тебе белье. Его на этот раз очень много, и я уложила его в корзину. Эй, Симон, поставьте-ка с посыльным корзину на телегу прачки Марион, она там, за заставой.

Мужчины тотчас же взяли корзину и понесли к возу, нагруженному большими узлами с грязным бельем. У заставы стоял таможенный служащий, начальником которого был назначен Симон, а потому он и не подумал осматривать корзину. Несколько любопытных, остановившихся на улице, сосредоточили все свое внимание на возе с вещами нового чиновника, который в этой глухой части Парижа представлял собой очень важную персону.

Прачка открыла корзину и стала рыться в сложенных там платьях и белье.

— Слышите ли вы меня? — прошептала она при этом.

— Слышу, — ответил глухой голос изнутри.

— Можете ли вы остаться там еще немного?

— Могу. Только мне страшно и я хотел бы выйти.

Прачка захлопнула корзину, прыгнула с воза и заявила:

— Все в порядке, мне пора ехать.

— С Богом, — сказал посыльный, подавая руку прачке, как старый знакомый.

Воз двинулся и быстро покатился по дороге. Симон и посыльный глядели ему вслед, пока он не исчез в облаке пыли.

— Ну-с, Тулан, — шепотом сказал Симон, — я сдержал свое слово. Сдержишь ли ты свое?

— Конечно, — ответил Тулан, — пойдем в дом!

Они быстро вошли в дом, который отныне становился новым жилищем таможенного чиновника Симона.

В новой квартире царило большое оживление. Жанна Мария заставила помогать себе не только младшего чиновника, но и несколько любопытных с улицы, и при входе Симона набросилась на него с бранью за то, что он так долго болтал с красивой прачкой вместо того, чтобы оказать помощь жене.

— Берите скорей матрасы! — скомандовала она мужу и посыльному. — И несите в спальню!

Они повиновались, понесли матрасы в спальню и закрыли за собой дверь.

Тулан вынул из кармана жилета, одетого под блузой, несколько свертков и передал Симону.

— Сосчитай, Симон, — сказал он, — здесь двести пятьдесят золотых; от души желаю, чтобы они принесли тебе счастье и радость.

— Меня никто не выдаст? — со страхом спросил Симон, пересчитывая золотые и пряча их под тюфяками. — Скажи, Тулан?

— Успокойся, Симон, и не бойся ничего! Выдать тебя — это значит погубить все и подвергнуть молодого короля пре-

следованию врагов; кроме того, я уверил всех, что ты ничего не знаешь о подмене ребенка, только мне известна эта тайна, и она уйдет со мной в могилу. Теперь надо помочь твоей жене, а затем я незаметно уйду. Прощай, Симон!..

В эту минуту раздался голос Жанны Марии, звавшей посылного. Тулан поспешил на ее зов.

Симон мрачно посмотрел ему вслед и, медленно покачив головой, тихо проговорил:

— Так должно быть, иначе я ни днем, ни ночью не буду иметь покоя хуже, чем в Тампле. Если Тулан умрет, то с ним умрет и моя тайна; и это надо сделать поскорее, а то я, пожалуй, сам попаду в яму, которую рою Тулану. Своя рубашка ближе к телу.

Симон с решительным видом вышел из спальни и вошел в соседнюю комнату, где Жанна Мария уставляла мебель с посылным.

— Хорошо, что ты еще здесь,— шепотом сказал ему Симон,— я хотел тебе сказать, что у меня есть кое-что, что обрадует тебя и что я специально для тебя припрятал.

— Что же это, Симон?

— Нечто весьма дорогое для тебя и твоих единомышленников. Я спрятал локоны, которые Жанна Мария вчера остригла у маленького Капета.

— И ты дашь их мне, Симон? — радостно спросил Тулан.— Ты подаришь мне их?

— Да,— со смехом ответил Симон,— они спрятаны в моем рабочем ящике, но теперь я не могу достать их, потому что не знаю, где искать их в этом сумбуре. Приходи завтра утром, часов в десять; если меня не будет, то я отдам локоны Жанне Марии.

— Я приду непременно,— с жаром ответил Тулан,— дай мне пожалть твою руку и поблагодарить за твою чуткую службу. Завтра ровно в десять часов я буду здесь. До свиданья, Симон! Я постараюсь разузнать, не открыта ли в Тампле наша тайна.

Он поспешно вышел, и скоро его высокая, стройная фигура исчезла за углом улицы.

Симон в течение целого дня был очень мрачен и молчалив и усердно помогал жене в устройстве нового жилища. После полудня он заявил, что должен сходить в Тампль, так как забыл в коридоре свой ящик с инструментами.

— Ты, кажется, соскучился по Тампле,— шутливо проговорила Жанна Мария.

— Да, соскучился,— ответил Симон,— именно потому и иду туда.

Однако Симон пошел не в Тампль, а в здание, где происходили заседания комитета общественной безопасности, и так сильно дернул за звонок, что привратник прибежал со всех ног.

— Это ты, гражданин? — с изумлением проговорил он. — А я думал, что случилось несчастье.

— Оно и случилось! Я пришел, чтобы предупредить комитет. Его члены еще не разошлись?

— Нет, они в маленьком зале.

Несколько минут спустя, Симон был введен в зал, где происходило заседание комитета. Все члены знали Симона, как истого республиканца, на которого можно положиться.

— Я пришел, — торжественно проговорил Симон, — чтобы обвинить одного человека в посягательстве на нашу свободу и в заговоре против Республики.

— Кто это и что он сделал? — спросил председатель.

— Что он сделал? Он имеет намерение сделать нечто, и я хочу помешать ему. Он хочет освободить из Тампля молодого Капета и, может быть, уже сделал это, так как сегодня утром, когда я покинул Тампль, мой преемник еще не прибыл, и маленький Капет остался один. Кто же другой, кроме Тулана, в состоянии сделать это?

— Тулан? — переспросил председатель, пожимая плечами, — мы знаем, что Тулан — предатель и на все способен. Он уже был осужден, но бежал и, вероятно, скрывается теперь в Кобленце; наша полиция очень бдительна, но не открыла и признаков его пребывания в Париже.

— В таком случае, гражданин председатель, я помогу полиции, — ответил Симон. — Пришлите ко мне завтра несколько членов комитета, я доставлю вам Тулана.

XXVIII

Смерть Тулана

Ровно в десять часов следующего дня Тулан, одетый посылным, вошел в новую квартиру Симона. Последний встретил его в сенях и ввел в комнату.

— Как видишь, — сказал Тулан, — я очень точен. Я надеюсь, что ты не передумал и отдашь мне то, что обещал?

— К сожалению, не могу, — ответил Симон, пожимая плечами, — жена непременно хотела сама передать тебе локоны маленького Капета, а ее сейчас нет дома; тебе придется подождать, если ты хочешь иметь локоны.

— Хочу ли я иметь их? — воскликнул Тулан. — Эти локоны будут для меня самой дорогой и священной вещью и...

— Ну, ну, — перебил его Симон, — ты преувеличиваешь, гражданин; золотой флакон, который подарила тебе австриячка, вероятно, для тебя еще дороже. Он еще у тебя?

— У меня ли он? — воскликнул Тулан. — Да я скорее соглашусь расстаться с жизнью, чем с этой памятью Марии Антуанетты!

— Ну, это мы посмотрим, — со смехом воскликнул Симон, подбегая к дверям спальни и открывая ее.

Оттуда вышли два члена комитета в сопровождении нескольких вооруженных людей.

— Вы все слышали? — спросил Симон.

— Да, мы слышали и арестуем тебя, Тулан; ведите его в Консьержери. Суд решит, что с ним делать потом.

— Суд, вероятно, сделает мне честь, — спокойно проговорил Тулан, — отправит меня туда же, куда отправил моего короля и королеву! Пойдемте скорей, я не хочу дышать воздухом, отравленным этим предателем Симоном. Ты думаешь купить свое спокойствие ценой моей смерти; но ты ошибаешься, Симон; твоя совесть не даст тебе покоя на смертном одре, ты увидишь меня и услышишь мой голос. Моя кровь падет на твою голову, Симон!*

В этот день в Тампле царило стонущее волнение, и комитет общественной безопасности в полном составе отправился туда. Ламповщик, пришедший зажигать лампу вечером того дня, когда Симон покинул Тамплъ, заявил, что ребенок, лежащий на тюфяке, — вовсе не маленький Капет. Новый тюремный сторож, Август Лан, пришел в ужас от этого заявления ламповщика и на другое утро побегал докладывать об этом комитету. Члены последнего самолично отправились в Тамплъ, чтобы расследовать это дело, давши предварительно друг другу слово держать его в тайне.

Они увидели на тюфяке стонущего, мечущегося в жару мальчика, одетого в платье дофина. Никто из дежурных чиновников и служащих Тампля не мог с достоверностью сказать, действительно ли этот больной ребенок, покрытый нарывами, — сын короля Людовика XVI или нет. Для выяснения этого важного обстоятельства члены комитета прежде всего пригласили доктора Нодэна.

Последний пришел очень скоро и решительно заявил, что это тот самый мальчик, которого он видел несколько

* Симон очень недолго пользовался своей свободой и деньгами, он уже через год сошел с ума и умер в доме для умалишенных «Бисетр». Его жена пред смертью открыла, что «маленький Капет» спасен ею и ее мужем вышеописанным образом из Тампля.

дней тому назад, что у него сильнейший рахит, очень изменивший его, а также, что он выглядит иначе благодаря остриженным волосам, которые были удалены вследствие нарывов на голове.

То же самое сказал Симон, который был также позван для удостоверения личности маленького Капета. Он заявил, что больной мальчик — без сомнения, Капет, которому его жена вчера еще остригла волосы; в доказательство своих слов он представил несколько локонов, которые по цвету вполне подходили к волосам ребенка.

Члены комитета все-таки сомневались, и эти сомнения еще больше усилились, когда в тот же день в комитет поступило донесение о внезапном таинственном отъезде графа Фроттэ с неизвестным мальчиком. Этот мальчик мог быть дофином, которого Фроттэ вместе с Туланом каким-то необъяснимым образом похитили из Тампля, а потому следовало не терять их из вида и по возможности арестовать. В это же самое время было доведено до сведения комитета, что граф де Сэн-При также покинул Париж в сопровождении неизвестного мальчика и отправился в Германию. Было решено спешить вдогонку за Сэн-При и задержать его.

Шазель, посланный в Пюи, арестовал графа Фроттэ, однако последний представил такие неопровержимые доказательства, что мальчик — не дофин, назвал такое количество свидетелей, могущих удостоверить, что ребенок — сын де Гэривьера, находящегося в Кобленце, что не оставалось ничего другого, как отпустить его на свободу.

Член комитета Шовэн не мог догнать графа де Сэн-При и только узнал, что он благополучно перебрался через германскую границу.

Было напрасно производить дальнейшие розыски, а потому было решено утверждать, что мальчик, находящийся в Тампле, — действительно маленький Капет, и тщательно опровергать все сомнения для того, чтобы роялисты не воспрянули духом, узнав, что король Франции спасен*.

Тайные расследования и допросы по этому делу Тулана оттягивали решение его судьбы.

20 января 1794 г. Тулан был заключен в Консьержери и только 9 мая присужден конвентом к смертной казни за

* При позднейших расследованиях в парижских архивах, среди других важных бумаг, касающихся бегства принца, найден декрет конвента от 26 прэри-аля (14 июля) 1794 г., который приказывал всем учреждениям разыскивать молодого Капета по всем направлениям. Мальчик, который содержался в Тампле под именем «маленького Капета», умер 8 июля 1795 г. в полном идиотизме.

«принятие подарков от вдовы Капет и многократные попытки освободить из тюрьмы семью Капет».

В тот же самый день была приговорена к смертной казни и сестра Людовика XVI, принцесса Елизавета, по обвинению в том, что при содействии Тулана вела тайную переписку со своими братьями, находившимися за границей, целью которой было освобождение королевской семьи из Тампля.

Когда принцессе был прочтен приговор, она улыбнулась и сказала:

— Благодарю судей за то, что они разрешают мне отправиться к тем, кого я люблю.

Тулан совершенно спокойно отнесся к своему приговору.

— Не правда ли? — спросил он. — Единственная, нераздельная Республика так же великодушна, как некогда была Монархия, и не отказывает приговоренному к смерти в исполнении его последней просьбы?

— Да, она исполнит твою просьбу, если это возможно.

— В таком случае я прошу казнить меня вместе с принцессою Елизаветой и разрешить мне побыть с ней до ее смерти.

— Тебе осталось в таком случае жить только до завтра, гражданин Тулан, потому что Елизавета Капет будет казнена завтра, — последовал ответ.

Ранним утром следующего дня из Консьержери выехали три телеги; на каждой из них сидели по восьми человек мужчин и женщин из высшей аристократии. Они нарядились в этот день, как на блестящий праздник. Аристократы, заключенные в Консьержери, просили разрешения быть казненными в этот день вместе с сестрой своего короля. Лица осужденных были радостны и довольны, и, когда они подъехали к эшафоту, можно было подумать, что они явились на придворный бал.

На эшафоте возвышалась смертоносная машина, а около нее стоял палач. Осужденные были встречены в том порядке, в котором они должны были положить свою голову под нож гильотины. Мужчины испросили себе милость погибнуть раньше женщин. Они один за другим поднимались на эшафот и, проходя мимо принцессы, отвешивали ей низкий поклон, как при дворе.

Когда головы двенадцати мужчин были отрублены и сброшены в корзину, их тела убраны, настала очередь женщин. Каждая из них испросила себе, в виде величайшей милости, разрешение пред смертью обнять и поцеловать сестру короля, затем они спокойно подымались на эшафот и клали свою голову под нож смертоносной машины.

У подножия эшафота оставались теперь только принцесса Елизавета и Тулан.

— Верный,— прошептала принцесса,— скоро я буду у своего брата и сестры; дай мне свою руку, брат! Ты должен ввести меня в врата смерти; ты был единственным человеком, служившим верой и правдой покойной королеве.

— Елизавета Капет, твоя очередь!

— Иду.

Принцесса стала подниматься на эшафот. Тулан пошел с ней. Когда она поставила ногу на ступеньку, Тулан нежно положил руку на ее плечо.

— Принцесса, я должен открыть вам одну тайну, я торжественно поклялся не открывать ее ни одному смертному, но вы принадлежите уже к другому миру, а потому знайте: мальчик, находящийся теперь в Тампле, не дофин. Я сдержал свое обещание и спас принца; он теперь в Вандее.

— Елизавета Капет, иди же скорей, а то мы потащим тебя силой! — крикнул палач.

— Иду! Прощай, Верный, ты доставил мне последнюю радость на земле. Благодарю тебя. Поцелуй меня, брат!

Тулан поцеловал ее и проговорил:

— Прощай, сестра!

Принцесса поднялась по лестнице и спокойно сняла с головы шарф. У подножия эшафота стоял на коленях Тулан; в его глазах, устремленных на принцессу, светился неземной огонь.

— Любовь побеждает смерть, любовь побеждает жизнь,— шептал он.

— Тулан, иди наверх!.. Тулан, ты не слышишь? Разве ты не видишь, что Елизавета Капет очистила тебе место!

Тулан не видел, как голова принцессы упала в корзину, и не слышал, как палач звал его; он всецело ушел в созерцание слов, огненными буквами написанных в его сердце. Когда он поднялся по ступеням эшафота, его лицо имело совсем неземное выражение.

В толпе раздался душераздирающий крик, и молодая женщина в обмороке упала на руки соседей, а мальчик, стоявший рядом, с ужасом воскликнул, простирая руки к эшафоту:

— Отец, дорогой отец!

Тулан не обернулся на этот крик (ему уже было чуждо все земное) и подставил голову под нож гильотины.

— Любовь есть Бог,— громко сказал он,— кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и...

Нож упал, и голова Тулана скатилась в корзину.

Часть героев романа сошла со сцены. Их благородные головы скатились на кровавый помост эшафота. Но двоим из них удалось избежать гильотины. Они были еще слишком молоды для этого страшного орудия. Мы говорим о несчастных детях короля Людовика XVI. С Людовиком XVII, участь которого до сих пор еще остается загадкой и имя которого все еще служит фактором для крупных судебных процессов, наши читатели встретятся в романах Монтэгу «Кадеты императрицы» и «Король без трона». Что же касается его несчастной сестры, Марии Терезы Шарлотты, то она была до конца 1795 г. в заключении и затем была обменена в Базеле на депутатов Камюса, Кинетта, Банкаля, Ламарка и военного министра Бернонвилля, находившихся в плену у австрийцев, после чего поселилась в Вене. Здесь она вышла замуж (1799 г.) за герцога Ангулемского, в 1785 г. вместе со своим отцом, графом д'Артуа, эмигрировавшего из Франции, и жила вместе с ним сперва в России, а затем в Англии. По реставрации Бурбонов она жила во Франции, но благодаря июльской революции ей снова пришлось покинуть свою родину и поселиться в Австрии, где она и умерла 19 октября 1851 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Баронесса Орчи
ЦАРСТВО ЮБОК

3

Ф. Мюльбах
ТРАГЕДИЯ КОРОЛЕВЫ

185

Орчи, баронесса
ЦАРСТВО ЮБОК

Ф. Мюльбах
ТРАГЕДИЯ КОРОЛЕВЫ

Редактор *Р. Райхлина*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Н. Привезенцева*
Корректор *Л. Чуланова*

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.
Подписано в печать 27.03.98 г.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 31,55. Цена 28 р. 50 к.
Цена для членов клуба 25 р. 90 к.

ТЕРРА—Книжный клуб.
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

*Широкий выбор книг издательств
и книжного клуба
Холдинговой компании «ТЕРРА»
можно купить в магазинах по адресу:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1
Тел 304-57-98, 304-61-13

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, 14 б,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2
Тел 712-34-54

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3
Тел 252-03-50

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4
Тел 281-81-01

или заказать по адресу:

150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2

ТАЙНЫ

В романе баронессы Орчи (1865–1947) «Царство юбок» рассказывается о судьбе прекрасной Лидии Домон при дворе Людовика XV, где царствовала его фаворитка мадам де Помпадур.

Действие романа Ф. Мюльбах (1814–1873) «Трагедия королевы» разворачивается во времена Французской революции и рассказывает о трагической гибели на эшафоте Людовика XVI и Марии-Антуанетты и загадочной судьбе их сына — Людовика XVII.

ИСТОРИИ

ISBN 5-300-01798-1



9 785300 017989